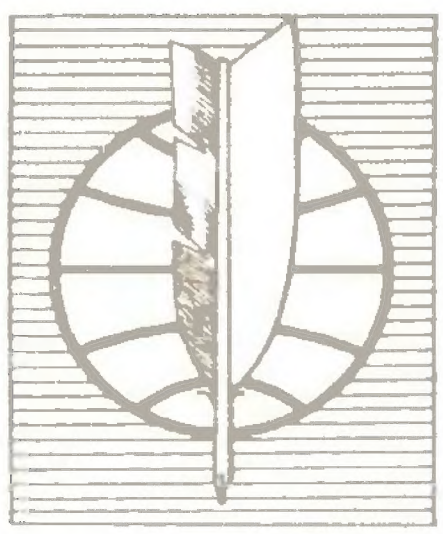
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЖЕК ЛОНДОН
Э.СЕТОН-ТОМПСОН
Ф.ЗАЛЬТЕН

Scan Kreyder - 25.05.2016
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЖЕК ЛОНДОН

Белый Клык

Повесть

Рассказы

●

Э. СЕТОН-ТОМПСОН

Рассказы о животных

●

Ф. ЗАЛЬТЕН

Бемби

Лесная сказка

●

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

1982

СБ 3
Л 76

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

Вступительная статья и комментарии
А. М. ЗВЕРЕВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
В. Е. ЦИГАЛЯ

Л $\frac{4803020000—266}{M101(03)82}$ Подп. изд.

© Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982 г.

БОЛЬШОЙ МАТЕРИК ЕСТЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

В этой книге вы прочтете повести и рассказы трех писателей. Они почти современники. Их произведения появились в самом конце прошлого века и в начале нынешнего.

Один из них был американец. Другой — канадец. Третий — австриец.

Друг на друга они не походили и жизнь прожили разную: кто долгую и сравнительно спокойную, а кто краткую и бурную, полную приключений.

Никогда они не встречались, мало знали или вовсе не знали один о другом. Очень бы удивились, увидев, что написанные ими книги теперь стоят на полке рядом. Каждый из них делал свое дело, как ему казалось, в одиночку.

А выяснилось, что это было общее дело. Потому что все трое любили и понимали животных. Умели не только увлекательно описывать их повадки. Если можно так сказать, умели проникать в их душу.

Общество, в котором жили эти писатели,— буржуазное общество,— вовсе не заботилось о судьбе наших меньших братьев — животных. В этом обществе считалось само собой разумеющимся, что животных можно истреблять поголовно, если охота приносит прибыль. В этом обществе дорожили прямой выгодой, и мало кого тревожило, что леса год от года пустеют, и в реках не остается рыбы, и над полями висит сизый фабричный дым, от которого вянут цветы.

Думали: ну какая там «душа» у лиса, у ворона, у собаки? Или у почтового голубя. У бродячей кошки, подстерегающей добычу в укрытии за мусорным баком. У воробья, который чирикает себе на крыше да прыгает по дорогам, собирая зернышки.

Для людей, усвоивших понятия буржуазного общества, отношения с природой выглядели просто. Человек — царь природы и может распоряжаться природой по своему усмотрению. Других обитателей земли он должен победить, вытеснить, подчинить себе. Заставить на себя работать, если они для этого пригодны. А если мешают — перебить, не ведая жалости.

Он, например, хочет выращивать пшеницу, а неподалеку бродят лоси и вытаптывают его поле,— человек берет в руки карабин, не успокаиваясь, пока не перестреляет все стадо.

Хищники утащили у него из хлева овцу — человек пулями, капканами, отравленной приманкой изведет этих хищников всех до одного.

Понадобилась площадка под новый поселок — и человек сводит леса: крепкие деревья распиливает на доски, а кустарник поджигает, не задумываясь, сколько погибнет в огне птиц, зайцев, грызунов.

Все это делали со спокойной совестью. В буржуазном обществе были убеждены: природа должна служить человеку, а он ей служить не должен. От нее нужно силой взять то, что она не хочет отдать по доброй воле.

Природу убивали. И убивали ее обитателей — четвероногих и крылатых. А бывало и так, что ради животных стремились согнать с земли человека — простого, небогатого человека. В середине позапрошлого века по всей Англии огораживали крестьянские поля и превращали их в пастбища. Крестьяне уходили в города и, вспоминая свой потерянный дом, говорили: «Овцы съели людей».

Конечно, не овцы были в этом виноваты, а богачи и собственники. Овцы, как все другие животные, от таких порядков только страдали. Но порядки оставались неизменными.

И так продолжалось очень долго — до самого конца прошлого века и начала нынешнего. Люди не осознавали, что в природе нет ничего лишнего и ненужного. И что сами они — тоже часть природы.

Только когда в самом конце прошлого века и в начале нынешнего выяснилось, что земля истощена и обезображена, стали задумываться, что, может быть, привычный порядок неправилен, жесток, ложен.

Еще не поздно было что-то исправить. Писатели, с которыми вы сейчас познакомитесь, и некоторые другие писатели — англичанин Редьярд Киплинг, наш Мамин-Сибиряк — старались объяснить простую истину: в отношениях между человеком и животными вражда должна смениться товариществом. К их призывам прислушивались, только мало что от этого менялось — в буржуазном обществе и сегодня к природе относятся хищнически, своекорыстно и бездумно.

За это хищничество человечеству пришлось дорого платить.

Сейчас заведены Красные книги — это списки животных, которые вымирают. Их пытаются сохранить, берут под защиту закона, да только уже поздно. Приходится оберегать в заповедниках последних европейских медведей, последних американских медведей-гризли.

О других, совсем исчезнувших животных в наши дни напоминают лишь названия городов и железнодорожных станций. Они поднялись в тех местах, где такие животные жили мирно и привольно, пока и сюда не пришли буржуазные порядки.

И тогда животные уходили в глушь лесов, забирались все выше по горным кручам, но человек настигал их и здесь, неся с собой ненавистный запах пороха и железа.

Недавно один американский писатель рассказал в своей книге: задумали поставить монумент в память бизона, когда-то населявшего бескрайние просторы американского Запада, и пришлось долго караулить в заповеднике, чтобы зарисовать, как бизоны пасутся у ручья. Ведь теперь и в заповедниках их считанные единицы. А полтора столетия назад только в Америке их было больше семидесяти миллионов.

Задумайтесь над этим. Исчез биологический вид. Исчез весь бизоний «народ». И он исчез по вине человека. Тут уже, конечно, не одно лишь заблуждение, тут психология и принцип. Люди, истребившие бизонов, жили в обществе, где главное — собственность. Они и на природу смотрели как на свою собственность. Старались урвать от нее побольше, присвоить, захватить. Не ведали ни жалости, ни заботы о будущем.

В рассказах и повестях, которые вы прочтете, перед вами пройдет немало таких вот людей. Они охотятся — кто для развлечения, кто для того, чтобы прокормиться, кто защищая свои фермы от набегов из леса, кто вдохновляясь чисто спортивным интересом. Они придумывают всё новые и всё более хитрые способы истребления тех, кого признали своими врагами: волков, лис, медведей, а иногда и безобидных кроликов — их просто слишком много, или голубей — их мясо прекрасная начинка для пирога. Они устраивают собачьи бега, выпуская в качестве приза для самых резвых какого-нибудь зверька, покалеченного капканом и надломленного неволей. Порой наоборот, они стараются обласкать и приручить своих диких пленников, не понимая, что нет ни для одного живого существа беды горше, чем рабство.

И никто из этих людей ни на секунду не задумывается о том, как постыдно насилие, которое они совершают. Какими потерями оно обернется в конечном счете для них самих.

Человеческие поступки не проходят бесследно. А тем более поступки жестокие и ненаказуемые. К жестокости привыкают. С нею сживаются. Перестают ее замечать в себе и в других. Травя и муча животных, человек совершает преступление не только перед природой. Перед самим собой тоже.

Обычно животному не по силам отомстить за себя. Человек намного могущественнее. Но ему мстит жизнь. Мстит тем, что убивает в нем все самое лучшее — чувство справедливости, доброту, милосердие. Опустошает его изнутри, и человек становится несчастным, как бы благополучно ни складывались его дела.

Сто с лишним лет назад повсюду в мире спорили об открытиях Дарвина. Его труды только что увидели свет, вызвав необычайно

сильный отклик. Многие сочли унизительной мысль, от которой он отталкивался,— что у человека и животных общее происхождение. Если так, разве допустимы методы истребления и чувства взаимной ненависти, разве не напоминают они, пусть отдаленно, братоубийственную войну?

С дистанции времени хорошо видно, насколько глубоки и верны были дарвиновские идеи. Время подтвердило их не только достижениями биологии, для которой они давно являются основой основ.

Может быть, не менее весомо время подтвердило их медленными, трудными, но коренными и необратимыми переменами в отношениях человека с животным миром вокруг него. Все меньше становится вражды и все крепче ощущение кровного родства. Все чаще побеждает не принуждение, не насилие, а товарищество.

Писатели, с которыми вы познакомитесь в этом томе, сделали очень много для того, чтобы эти перемены начались и углублялись с каждым новым поколением, воспитывавшимся на их книгах.

В сущности, они (и еще несколько писателей той поры, включая нашего замечательного прозаика Александра Куприна) первыми проникли в ту особую вселенную, которая населена четвероногими и крылатыми обитателями планеты. Конечно, о животных писали и до них. Но как? Почти всегда это были описания домашних животных, преданных друзей человека, счастливых его лаской и страдающих от его равнодушия или суровости, верно разделяющих с хозяином все его радости и невзгоды, лишенных собственной жизни. Или, как в баснях и сказках, изображались животные, только сразу становилось понятно, что на самом деле это люди, которых переодели в ворон и лисиц, ослов и соловьев, волков и овец.

О своей первой книге «Животные, которых я знал» канадец Эрнест Сетон-Томпсон говорил, что она «положила начало новому направлению». И пояснял: «В ней впервые правдиво обрисовано поведение животных». Книга вышла в 1898 году. Еще через восемь лет американец Джек Лондон напечатал свою прославленную повесть о собаке-волке — «Белый Клык». Когда в 1923 году австриец Феликс Зальтен опубликовал «Бемби», повесть об олене, никто уже, наверное, не сомневался, что новое направление и впрямь существует. А самое в нем существенное то, что писателям, которые держатся этого направления, удается рассказывать о животных правдиво — не только об их нравах и привычках, но и об их переживаниях, понятиях, законах. Потому что это у них тоже есть. Совсем как у людей.

Чтобы все это почувствовать и передать, писателю необходим особый дар.

Сетон-Томпсон (1860—1946) открыл его в себе очень рано.

Еще мальчишкой он вырезал из дерева фигурки разных зверей. А как радовался каждой книжке по зоологии! Потом он сам стал зоологом, признанным ученым. Занимал почетную должность государственного натуралиста Канады. Его научные книги удостоились высшей награды — золотой медали.

Но славу ему все же принесли другие книги. Художественные. Те, в которых он выступал не как натуралист, а просто как человек, бесконечно любящий всех животных на свете, знающий о них все и каждого читателя умеющий увлечь своими познаниями, своей любовью.

А вот Зальтен (1869—1945) никогда зоологом не был. Он был поэтом и журналистом. Страстно поклонялся сцене и много писал о театре и для театра. И вдруг, уже опытным, известным литератором, начал сочинять повести о зайцах, об уличных собаках города Флоренции. И об олененке Бемби, который потом вырос, стал воспитывать собственных оленят. Их историю Зальтен описывает в своей последней книге «Дети Бемби».

Создавал он ее во Франции и в Америке, переезжая с места на место. Австрию захватили фашисты. Зальтен был не из тех, кто трусливо приспосабливался к фашистским порядкам. Он уехал, скитался, терпел нужду. Шла война, фашизм праздновал свои недолгие, но шумные триумфы. И в эти черные дни 1940 года старый писатель говорил о том, что жизнь победить нельзя. Никаким варварством, никаким насилием нельзя искоренить то доброе и светлое, что есть в мире. Бессмертен род Бемби и бессмертно добро.

Ну, а Джек Лондон (1876—1916), самый знаменитый из них трех, вообще не получил образования, даже школу не кончил и впоследствии вспоминал: «В пятнадцать лет я был мужчиной, равным среди мужчин».

Его детство прошло в Калифорнии, в красивом городе Сан-Франциско и промышленном Окленде, который лежит на другом берегу воспетой поэтами бухты Золотых Ворот. Издалека Калифорния виделась райским уголком: сказочно щедрая природа, лето круглый год, апельсиновые рощи вдоль просторных тихоокеанских пляжей, виноградники по холмам. Для любимчиков судьбы, для богатых она и вправду была раем. Но большинство, огромное большинство, здесь бедствовало точно так же, как и всюду в Америке.

Лондоны принадлежали к большинству. Джек не знал отца, его воспитывал отчим, крепко потрепанный жизнью человек. Он был плотником, но очень хотел стать фермером. Отказывая себе во всем, скапливал денег и приобретал участок, но быстро разорялся, и опять мечтал о земле, и опять откладывал цент за центом.

А в это время его пасынок развозил лед хозяевам пивных,

помогал владельцу кегельбана, продавал на улице газеты. Когда он чуть подрос, пришлось поступить на консервную фабрику. После десятичасового рабочего дня он приходил домой обессилевшим, отупевшим. И все-таки хватался за книги. Читал с невероятной жадностью все подряд. По утрам, ночами, в постели, за столом.

Через много лет он напишет: «На полках городской библиотеки я открыл для себя огромный мир, простирающийся за горизонтом».

Этот мир властно звал его к себе. Джек Лондон предчувствовал, что сделается писателем. Готовился к этому. Вбирал в себя впечатления жизни. Создавал запас, из которого будет черпать долгие годы.

Он был прирожденный романтик и мечтатель, и с детства жил в нем дух странствий, будоражила кровь жажда приключений. Подростком на легкой быстроходной лодке он уходил в море и опустошал устричные отмели, принадлежавшие акционерному обществу. Рыбачий патруль знал об этом, было несколько стычек, и юного пирата оставили в покое: он умел постоять за себя, его побаивались.

Свое первое большое плавание — матросом на промысловом паруснике, ловившем крабов у побережья Японии и Камчатки,— он совершил, когда ему исполнилось шестнадцать. А через два года пешком и на товарных поездах пересек Америку в толпе безработных, которые двинулись со всех концов страны в столицу, чтобы добиваться справедливости. Его арестовали за бродяжничество, и месяц в тюрьме стал его университетом: сколько горя он здесь перевидал, какое бесправие открылось ему в этих «подземельях отчаяния»!

В Окленд он вернулся другим человеком. Твердо решил посвятить себя борьбе против социального неравенства, жить и работать для революции, которая положит конец обездоленности и нищете. Называл себя социалистом. Представления Лондона о законах общественной жизни остались достаточно смутными, ему недоставало знания революционной теории. Впоследствии это еще не раз скажется — в его срывах, идейных и творческих.

Но чувство, что окружающая действительность бесчеловечна, останется у него навсегда, и останется вера, что революция необходима и неизбежна. Он выразит это свое убеждение в пророческой книге о революции «Железная пята». И в нескольких прекрасных рассказах. В «Отступнике». В «Мексиканце».

Все это будет позже, когда имя Джека Лондона узнают миллионы читателей. А сейчас его снова позовет в дорогу мир за горизонтом.

1897 год. В газетах, потеснив другие сообщения, на первых

полосах появляются рассказы удачливых золотоискателей, только что вернувшихся с Аляски. Уверяют, что самородки там валяются прямо на земле. Тысячи людей осаждают пароходные агентства, требуя билетов на северные рейсы. Подхваченный этой неистовой волной, Лондон оказывается на Клондайке.

Недолгое полярное лето близилось к концу. До поселка Доусон, где располагались прииски, добраться можно было только по рекам, а реки замерзали. На стремнинах что ни день гибли десятки лодок. Но «золотая лихорадка» гнала людей вперед. К бездомью, разорению, цинге, смерти.

Лед стал, когда Лондону надо было пройти еще семьдесят пять миль.

Он зазимовал. Восемь месяцев спустя он тронулся в обратный путь: вниз к океану, потом кочегаром на пароходе, который шел в Ванкувер, и пассажиром товарных составов, увертываясь от охраны. Вернулся без гроша в кармане. Золота не нашел ни унции. Нашел он другое: свою писательскую тему, свою тональность и своих героев.

Дома он засел писать. Рассылал рукописи по журналам. Они приходили назад без ответа или с отказами. Так продолжалось почти два года. Мучило безденежье. Приходилось голодать, бороться с отчаянием, напрягая все силы, физические и душевные.

И ветер удачи наконец подул в его паруса.

Один за другим начали появляться его северные рассказы: «Белое Безмолвие», «Сказание о Кише», «Любовь к жизни». Поразила их необычность, новизна. О старателях Аляски тогда писали много, но никто не писал так, как Джек Лондон. Человек у него оставался наедине с собой и испытывал себя, преодолевая обстоятельства, угрожающие самому его существованию. В таких испытаниях проверялось не только мужество. Проверку на истинность проходило понимание долга, нравственности, ответственности.

Все случайное, наносное и пустое отступало. С беспощадной резкостью обнажалась человеческая сущность каждого персонажа. Ситуации требовали от него величайшего напряжения воли. Ведь от любого решения зависела жизнь. И порой не только своя собственная жизнь.

Своими северными рассказами Лондон вернул высокий и неподдельный смысл понятиям товарищества, стойкости, чести. Он отказывался оправдать обстоятельствами безволие и малодушие. Он доказывал, что в любых условиях все решают духовные качества человека. Его отвага или трусость. Человечность или своекорыстие. Чувство моральной обязанности или желание разбогатеть какой угодно ценой.

На Севере его герои впрямую сталкивались с суровыми истинами жизни, впервые по-настоящему узнавая, что такое голод и

опасность, как много значат кров и покой. Они как бы заново открывали для себя мир. И менялись сами. Освобождались от недоверия друг к другу, от ожесточенности. Становились не соперниками в погоне за богатством, а единой человеческой семьей.

Этим и дорог был им Север — чистотой отношений, бескорыстием помыслов. Конечно, не всем им — только лучшим. Много, слишком много очутилось на Клондайке людей, ни о чем другом не думавших, кроме легкой наживы. Подчас им тоже не занимать было храбрости и упорства, да только вся их энергия расходовалась впустую, потому что ложной оказывалась цель. Романтика и грезы о миллионе, переплетаясь, оставляли причудливый отпечаток в сознании жителей северной страны. Разыгрывались драмы жестокие и непоправимые.

Пока не вспыхнула «золотая лихорадка», Клондайк почти безраздельно принадлежал индейцам. Из поколения в поколение хранили они свои традиции и законы, свои прямодушные и честные понятия о справедливости. Когда из далеких земель явилось «злое племя» золотоискателей, сошлись лицом к лицу индейский «каменный век» и американский «век стали».

Трагичным стал исход этого столкновения. Белые пришельцы грабили и растлевали, пользуясь когда подкупом, а чаще грубой силой. Мир, созданный индейцами, рухнул. Но это не было поражение слабых. Индейцы были обречены, и все-таки они не склонили головы. Они и оказались в лондоновских рассказах о Севере самыми настоящими героями. Прекрасными в самом вызове, который бросают они своей жестокой судьбе. Бесконечно стойкими духом. Как и герои написанных много позднее рассказов Лондона об ограбленной Полинезии. Как и герой «Мексиканца», сражающийся на ринге ради винтовок, которые нужны для восстания.

Через все книги Лондона проходит эта тема вызова обстоятельствам и стойкости в неравной борьбе. Он знал, как высока цена настоящего мужества, собранности и воли. Наделил своих героев сознанием братства всех людей, к какой бы расе они ни принадлежали. И еще — чувством величия природы, ее высшей соразмерности, которая не допускает никакого насилия над собой.

«Жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий»,— писал он в «Белом Безмолвии». На Клондайке туго приходилось белоручкам и краснобаям. Здесь нужны были крепкие мускулы, ясная голова. Здесь дорожили бескорыстием, честностью, готовностью прийти на выручку.

Но больше всего здесь было необходимо умение читать книгу природы и жить по законам, записанным в этой книге.

Тогда появлялась сила, помогавшая выстоять в любой беде, не уронив себя ни малодушием, ни предательством. Возникало

ощущение своего прочного места на земле. Пробуждался дух борьбы, пусть даже положение выглядело безнадежным.

Отчего эта сила, это упорство особенно отличают главного героя повести «Белый Клык», отчего клондайкский волк, у которого лишь четверть собачьей крови, в этом отношении, пожалуй, превосходит всех других персонажей Джека Лондона, во всяком случае — четвероногих? Да, наверное, оттого, что есть в нем такая слитность с природой, которая людьми уже утрачена навсегда. В природе для него не существует ни тайн, ни неведомых угроз, ни той холодной враждебности, которую, попав на Север, постоянно чувствовали люди, привыкшие к благоустроенной, бестревожной жизни: вчерашние конторщики или механики, банковские служащие или фермеры, «чечакос», как их презрительно называли местные ветераны.

Минутами и в душе «чечакос» тоже начинал звучать голос далекой памяти. Они вспоминали, что и человек когда-то был неотъемлемой частицей природы, подчиняясь ее жестким требованиям, чтобы выжить. Но для них это было мимолетное прозрение. Оно вспыхивало, когда создавалась смертельная опасность. И вместе с этой опасностью исчезало. Если, разумеется, им удавалось ее избежать.

А Белый Клык ощущает свое единство с природой всегда. Точнее, даже не ощущает. Просто не в состоянии представить себе, чтобы могло быть иначе. И его не сломит никакая передряга, никакая напасть, пока не ослабла эта крепчайшая связь между ним и миром вокруг него.

Ему ли не знать, какой это жестокий, яростный мир! Кипит в этом мире битва за жизнь, и слабым в ней нет пощады. Поначалу в повести «Белый Клык» увидели чуть ли не учебное пособие, помогающее лучше понять теорию Дарвина. Это наивно и несправедливо. Лондон в самом деле хорошо знал труды великого биолога. Принимал его идеи без всяких оговорок. Иной раз даже пытался с их помощью объяснить отношения между людьми. Ничего путного из этого не получалось. Не могло получиться. В обществе действуют другие силы. Постичь жизнь общества невозможно, полагая, будто она похожа на естественный отбор, когда неприспособленные погибают, а живут лишь физически самые крепкие.

Но разве «Белый Клык» написан о том, как в природе происходил такой вот отбор? Вовсе нет. Знания, почерпнутые из книг Дарвина, пригодились, это бесспорно, однако задача была иной.

Какой же? Давайте присмотримся к биографии нашего героя. Белый Клык растет среди жестокости. Его первое побуждение — страх: нельзя покинуть логово, за ним — на каждом шагу риск смерти. Его первое приобщение к реальным вещам — это кровь и боль: вкус крови птенцов куропатки, боль от ударов их обезу-

мевшей матери. И сразу за этим — ее гибель в когтях ястреба. Камнем падая с неба, ястреб целил в волчонка. Промахнулся самую малость. А уж потом схватил потерявшую осторожность птицу.

Так проходит его жизнь в одиночку. Рядом с людьми жестокости еще больше. Рядом с драчливым индейцем по прозвищу Серый Бобр. Рядом с уродом и садистом по прозвищу Красавчик Смит. Все, кажется, должно воспитать в нем чувства отнюдь не добрые: повинуйся сильному, угнетай слабого.

Но ведь вырастает он совсем другим. Умеющим ценить добро и воздавать за него сторицей. Преданным. Тянущимся к людям, которых вроде бы должен воспринимать как злейших врагов. Способным любить так, как давно разучились любить его «божества» — и озлобленный индеец, и ласковый Уидон Скотт. Жертвующим собой не задумываясь, если этого требует огромная, бездонная его любовь.

Он совсем как человек. Только переживания его острее. Проще, конечно, зато искреннее. Уж игры и фальши в них нет ни капельки. Они неподдельны.

И эта неподдельность чувства, эта самоотверженность да и все другое заложено в нем от рождения. Не выпестовано человеком, а таилось изначально. И раскрывается полно и свободно, потому что он всегда поступал в согласии с природой, выполняя «высшее назначение жизни».

А этого не скажешь ни о ком из людей, с которыми его сводит судьба. Откройте первые главы повести. Там два «чечакос» везут в Доусон останки своего погибшего товарища. Он был английским лордом, а кончил век на Клондайке, и его тело едва не стало добычей полярных волков. Такой конец ждал одного из сопровождающих. Да и второй спасается лишь чудом.

Теперь-то они узнали, до чего могущественна северная глушь. Поняли, как опасно, не рассчитав своих возможностей, восставать против ее воли. Самих себя ощутили ничтожными пылинками, которые беспомощны, когда сталкиваются с игрой слепых сил мироздания.

Но какой ценой пришлось оплачивать этот урок! Как беспощадно развеял Север их уверенность, будто назначением человека может сделаться богатство, знатность или претензия навязать природе свои законы, свои понятия!

Жить так, как велит природа, люди не могут. И не должны, не в этом их призвание. Нельзя зачеркнуть тысячелетия человеческой истории, вернуться к пещерным временам. Попыток «опроститься» было немало, и все они завершались неудачами: человек приходит в мир, чтобы строить жизнь по своему убеждению, а не для того, чтобы просто подчиниться существующему порядку вещей.

Только нужно, непременно нужно, чтобы, строя жизнь, он твердо знал, в чем ее высшее назначение, и не ошибался, как не ошибается, зная свое высшее назначение, Белый Клык. И чтобы не принимали люди за высшее назначение ни мечты о миллионах, ни страсть к авантюрам, ни гнет над теми, кто их слабее, ни высокомерие к тем, кто от них зависит. Ни многое другое, что перевидал Белый Клык, прежде чем найти приют под жарким калифорнийским солнцем.

Вот о чем написана эта повесть: о назначении, которое каждый должен для себя ясно определить, чтобы потом от него уже не отступать, не отклоняться. И о том, что природа сурова, даже жестока, но добра в ней все-таки больше, чем зла. И о равенстве всего живого перед лицом ее законов, ее гармонии. И о преданности, самопожертвовании, настоящем товариществе, настоящей любви.

А первым читателям казалось: перед ними лишь занимательный рассказ про то, как живут волки и как один из них стал ручным, домашним. Конечно, и про это тоже. Но не только про это. Писателю мало этого — лишь с достоверностью передать разные события, приключающиеся с его персонажами: людьми или животными. Тогда получилась бы не литература, а просто интересное чтение. Литературой оно становится, если за точными и увлекательными описаниями светится серьезная, большая мысль и чувствуется значительный конфликт. Так всегда происходит в книгах, посвященных животным, когда их создают действительно талантливые люди. Художники. Писатели в истинном значении слова.

Сетон-Томпсон, например, изучил привычки самых различных животных и птиц до последних тонкостей. Когда он писал о куропатках и бультерьерах, о лисах и койотах, о кроликах и синицах, читатели поражались, до чего наблюдателен автор, в какие сокровенные тайны природы удалось ему проникнуть. Обо всем он повествовал так, словно бы в какой-то другой своей жизни сам успел побывать и вороном, и лисом, и голубем, и медвежонком. В мельчайших подробностях знал он, как устраивают его герои свое жилье, и как выводят потомство, и как добывают корм, и к каким при этом прибегают хитростям, и как удается им обмануть врагов.

Да и неудивительно: он ведь был ученый, десятки лет наблюдал за многими обитателями канадских лесов, от зари до зари пропадал на биологических станциях и в заповедниках. Все увиденное он заносил в свой дневник натуралиста. Записи шли в дело, когда он садился писать рассказы.

Зоолог в этих рассказах чувствуется постоянно. Присмотритесь: герои Сетона-Томпсона не похожи друг на друга — то гигантский серый медведь Уэб, то скромная кошка, прозванная

Королевской Аналостанкой, то мудрый лис Домино, то невзрачная желтая дворняжка Вулли, — а жизнь у них складывается примерно одинаково. Все они познают мир, чутьем и разумом прилаживаются к его порядкам. И все — одним и тем же способом. А вернее, тремя способами. Сначала полагаются на опыт предков, накопившийся за многие века и сделавшийся инстинктом, который оберегает их от опасностей, пока они еще не выучились правилам жизни. Потом начинают учиться у родителей, у взрослых, если только выстрел азартного охотника или несчастная встреча с более сильным и изобретательным врагом не оставит их сиротами еще в младенчестве. И раньше или позже для каждого приходит пора, когда нужно полагаться лишь на собственные знания, опыт, силу, сноровку, а главным образом на свое шестое чувство, подсказывающее, откуда придет угроза и беда.

Тогда для них решается все. Жить или погибнуть. И как жить. Независимо, гордо, встав во главе стаи и без опаски обходя свои владения, на которые иной раз не посягнет даже человек. Или таясь от всех, в вечном страхе, в муках голода, в ожидании неминуемой скорой смерти — от пули, от яда, от нападения коварного и немилосердного противника.

Сетону-Томпсону нравились цельные, по-своему выдающиеся герои. Он повествовал о животных и птицах, которые прославились, вошли в предание. Так стала легендой физическая мощь Уэба. И мудрость ворона Серебряное Пятнышко. И резвость голубя Арно, в давние времена, когда еще не работал телеграф, доставлявшего записки, от которых зависело спасение людей. И бег кролика Джека, легко уходившего от самых знаменитых гончих псов.

Он как будто описывал биологический процесс, а выходили у него характеры — и какие яркие, какие запоминающиеся! Вот хотя бы Красношейка. Это был петух-куропатка, о котором говорили на много миль кругом. Таким умом он отличался. Так ловко уходил от преследований охотника Кэдди, под конец уж ни о чем другом и не думавшего, только бы его изловить.

Грустная это история. По ней, конечно, можно очень хорошо понять, что такое производимый природой отбор: У Красношейки была дюжина братьев и сестер, и никто не выжил. Одни оказались слишком слабы, чтобы вспорхнуть, когда подала предупреждающий сигнал мать. Другие — слишком упрямы, чтобы провести ночь на ветке, а не на земле, как привыкли. Третьи — слишком любопытны, чтобы спрятаться, увидев незнакомую поблескивающую палку в руках незнакомого двуногого существа и не догадавшись, что это человек целится в них из ружья.

Лишь Красношейка уцелел из всего выводка. Потому что раз навсегда усвоил: «На каждый месяц своя пища и свои враги». Природа устраняет непригодных для жизни. И выбирает лучших.

Так об этом весь рассказ? Нет, не только и даже не столько об этом. В конце погибает и Красношейка. Но не из-за своей слабости, упрямства, любопытства. Из-за человеческой подлости. А это совсем другое дело. Гибнет цветущая, прекрасная, полная сил жизнь — оттого что Кэдди поклялся добыть себе на ужин Красношейку, чего бы это ему ни стоило. Гниет в овраге сосновое бревно, которое наш герой превратил в свой дом,— оно теперь никому не нужно. Вторгается в естественный мир тот безжалостный закон добычи и истребления, который для себя приняли люди наподобие Кэдди. И происходит насилие над жизнью. Происходит самая неподдельная драма.

Такие драмы развертываются во многих рассказах Сетона-Томпсона.

Волк Лобо, который мог бы стать братом Белому Клыку — та же в нем отвага и то же благородство,— справляется с любой опасностью, шутя разгадывая все уловки преследователей. Но он погибнет, бросившись на помощь своей подруге, хотя инстинкт подсказывал: бежать немедленно. Он подлинный рыцарь, этот Лобо, настоящий герой, который сохранит мужество и гордость до конца. А ловчие, гонявшиеся за ним месяцы и годы, конечно же, не упустят единственного своего шанса, который дал им он сам. Ни его самоотверженности, ни любви, ни бесстрашия они не оценят. Просто обрадуются, что наконец-то затравлен опасный хищник.

Дворняга Вулли считался лучшим сторожем овец во всей округе, а когда овцы пропадали, обвинения всегда падали на какого-то таинственного лиса, обладающего просто невероятной наглостью и изворотливостью. И в самом деле Вулли был по-своему предан хозяевам. Разве это его вина, что так настойчиво преследовал Вулли знакомый героям Джека Лондона «зов предков», для которых овцы от века означали лишь одно — добычу? А какую расчетливость, какой блестящий актерский талант, какой тонкий ум дала природа этому маленькому хитрецу, так долго умевшему отводить от себя даже тень подозрения! Но все кончится ударом топора, который нанесет ему хозяин. Да и не мог этот сердобольный, добрый человек поступить в той ситуации иначе. Но ведь и Вулли не мог пойти против своей природы. Вот и попытайтесь рассудить, кто из них двух повинен, кто прав.

Почти всегда Сетон-Томпсон заставляет читателей задуматься над очень сложными вещами. Его герои поистине как люди: так же между собою несхожи по нраву и поступкам, так же ненавидят всякое принуждение и несправедливость, так же воинственны, когда кто-то покушается на их детенышей и на их дом, так же отзывчивы к тем, кто с ними добр. Когда им приходится совсем плохо, тайный инстинкт побуждает их искать защиты у человека. Должно быть, тысячелетия вражды все-таки до конца

не заглушили памяти о том, что человек и они сами — из одной огромной семьи, только вот так и не научившейся жить в мире.

Порой эта память прорывается через страх и ненависть. И тогда товарищество берет верх над всеми раздорами. Жил около города Виннипега необыкновенный волк. Он много раз подвергал себя смертельному риску лишь оттого, что не мог забыть мальчика, который его когда-то защитил и обогрел. Тосковал по маленькому Джиму. Кружил вокруг его могилы, чтобы выразить свое не притупляющееся от времени горе.

Люди, воспитанные на предрассудках по отношению к животным, этому бы не поверили. Понаслышке они уверены, будто переживания животных примитивны: лишь бы отыскать корм да уберечь свою шкуру. И Джек Лондон, и Сетон-Томпсон, и Зальтен создали прекрасные книги, показывающие, что это вовсе не так. У Сетона-Томпсона вы прочтете о царственном сером медведе, который ушел из жизни сознательно, потому что ощутил, что его покидают сила и воля, и не захотел терпеть унижения. А как глубоко и тонко воспринимает каждое случающееся с ним событие Бемби! Смотрите, как преодолевает он в себе страх перед миром, обретая чувство гордости, как постепенно осознает он себя полноправным жителем планеты, как крепнет в нем отвращение к убийству, как приходят к нему вера в благородство и ненависть к подлости.

Может быть, кто-то скажет: это все выдумки, писатель просто отдал персонажу свои собственные мысли. Действительно, олени не умеют выразить словами то, что думают. Но свои понятия, свои, если хотите, принципы и убеждения у них есть — как у каждого, кто живет на земле, достаточно просторной, достаточно щедрой для всех.

Так отчего нет на этой земле настоящего понимания и настоящего общения между человеком и другими ее обитателями? Отчего человек полагает, что его права беспредельны и нет у него никаких серьезных обязанностей перед меньшими его братьями, отчего возник и сделался таким прочным барьер между людьми и миром природы, в котором они живут?

Писатели, с которыми вы встретитесь в этом томе, одними из первых поставили все эти вопросы — трудные, важные, ответственные. Прошел с той поры почти целый век, а мы размышляем над такими вопросами по-прежнему напряженно, и нас они волнуют даже больше, чем волновали людей других эпох.

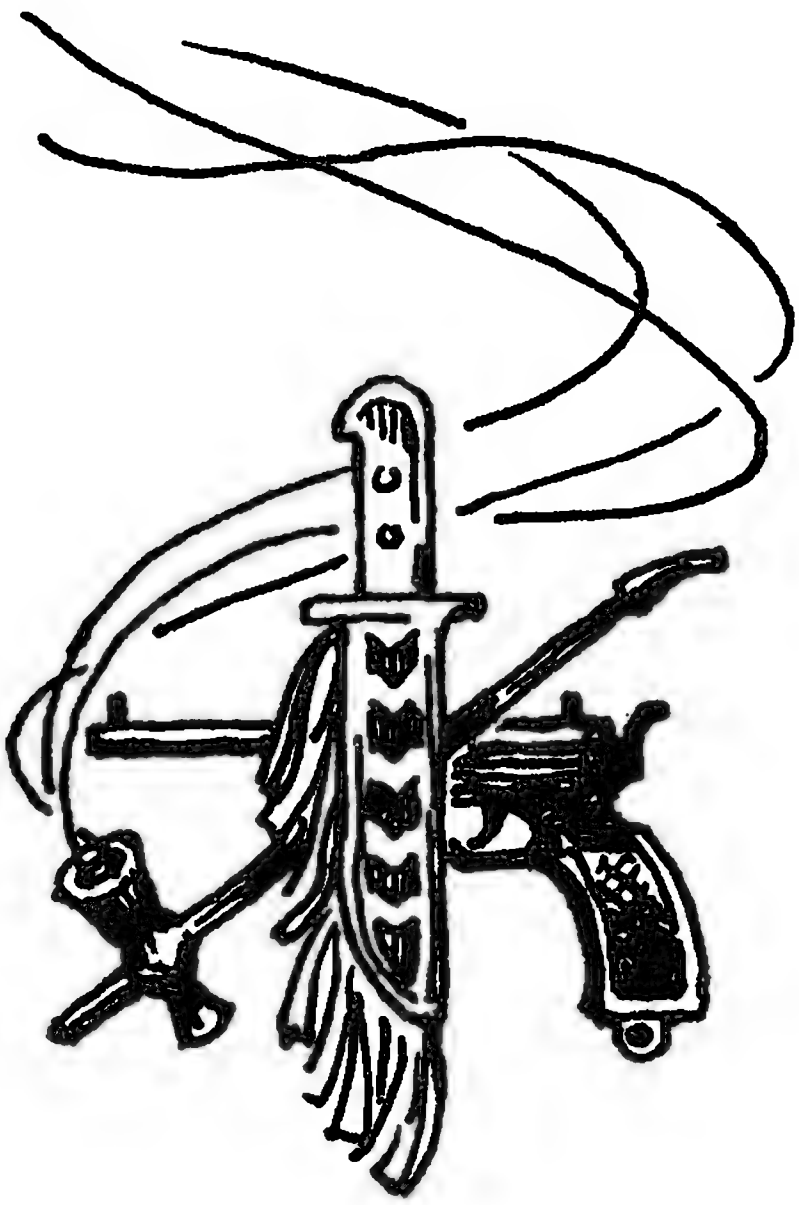
И, размышляя над ними, мы снова и снова перечитываем книги Джека Лондона, Эрнеста Сетона-Томпсона, Феликса Зальтена, первооткрывателей большого материка естественной жизни, сделавших его материком большой литературы.

А. Зверев

ДЖЕК ЛОНДОН

Белый Клык
Повесть

Рассказы



БЕЛЫЙ КЛЫК

ПОВЕСТЬ

Часть первая

Глава первая

ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Темный сосновый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь, смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — властная, вознесенная над миром — смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь.

И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшему речному руслу пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев, из толстой березовой коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны,

встававшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий, продолговатый ящик. Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, сковорода; но прежде всего бросался в глаза узкий, продолговатый ящик, занимавший бóльшую часть саней.

Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях, в ящике, лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю; она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью Северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно прекратиться.

И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшихся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки, которые бесхитростно прокладывают свой путь, не замечая игры слепых сил природы.

Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого, тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремительно взвился кверху, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышались угрюмая ярость и ожесточение голода.

Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и оба они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли.

Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но на этот раз левее.

— За нами гонятся, Билл,— сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.

— Добычи у них мало,— ответил его товарищ.— Вот уже сколько дней я не видел ни одного кроличьего следа.

Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, который поминутно раздавался позади них.

Как только наступила темнота, они повернули собак к соснам на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.

— Что-то они уж слишком жмутся к огню,— сказал Билл.

Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.

— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь.

Билл покачал головой:

— Кто их знает!

Товарищ посмотрел на него с любопытством.

— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме.

— Генри,— сказал тот, медленно разжевывая бобы,— а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?

— Действительно, возни было больше, чем всегда,— подтвердил Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Так вот...— Билл сделал паузу, чтобы придать своим словам больше веса.— Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.

— Значит, обсчитался.

— У нас шесть собак,— безучастно повторил тот.— Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу.

— У нас всего шесть собак,— стоял на своем Генри.

— Генри,— продолжал Билл,— я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым.

Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.

— Сейчас там только шесть,— сказал он.

— Седьмая убежала, я видел,— со спокойной настойчивостью проговорил Билл.— Их было семь.

Генри взглянул на него с состраданием и сказал:

— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.

— Это как же понимать?

— А так, что от этой поклажи, которую мы везем, ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает что.

— Я об этом уж думал,— ответил Билл серьезно.— Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы; потом сосчитал собак — их было шесть. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем — покажу.

Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их чашкой кофе, вытер рот рукой и сказал:

— Значит, по-твоему, это...

Протяжный, тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад, в темноту:

— ...это гость оттуда?

Билл кивнул.

— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.

Протяжный вой слышался все чаще и чаще, издалека доносились ответные завывания,— тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть.

Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.

— Я вижу, ты совсем захандрил,— сказал Генри.

— Генри...— Билл задумчиво пососал трубку.— Я все думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой.— И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели.— Когда мы умрем, Генри, хорошо, если хоть кучка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их не сожрали собаки.

— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни денег,— сказал Генри.— Вряд ли нас с тобой повезут хоронить в такую даль, нам такие похороны не по карману.

— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем человеку, который был у себя на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о теплых одеялах,— зачем такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по этой богом забытой стране?..

— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости,— согласился Генри.

Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не сказал.

Вместо этого он протянул руку в темноту, стеной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке нельзя было разглядеть никаких определенных очертаний — виднелась только пара глаз, горящих, как угли. Генри молча указал на вторую пару и на третью. Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Время от времени какая-нибудь пара меняла место или исчезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.

Собаки беспокоились все больше и больше и вдруг, охваченные страхом, сбились в кучу почти у самого костра, подползли к ногам людей и прижались к ним. В свалке одна собака попала в костер; она завизжала от боли и ужаса, и в воздухе запахло паленой шерстью. Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть отступило назад, но как только собаки успокоились, оно снова оказалось на прежнем месте.

— Вот беда, Генри! Патронов мало!

Докурив трубку, Билл помог своему спутнику разложить меховую постель и одеяло поверх сосновых веток, которые он еще перед ужином набросал на снег. Генри крякнул и принялся развязывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три,— послышалось в ответ.— А надо бы триста. Я бы им показал, дьяволам!

Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем.

— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал Билл.— Вот уже вторую неделю все пятьдесят да пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэрри, играть в криббедж... Много бы я дал за это!

Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже начал дремать, как вдруг голос товарища разбудил его:

— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того — пришлого, которому тоже досталась рыба?

— Уж очень ты стал беспокойный, Билл,— послышался сонный ответ.— Раньше с тобой этого не было. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни в чем не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспокоишься.

Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костер потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался все теснее и теснее. Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил в костер хвороста. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад.

Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло.

— Генри! — окликнул он товарища.— Генри!

Генри застонал, просыпаясь, и спросил:

— Ну, что там?

— Ничего,— услышал он,— только их опять семь. Я сейчас пересчитал.

Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.

Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось еще часа три, хотя было уже шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул постель и стал укладывать вещи в сани.

— Послушай, Генри,— спросил он вдруг,— сколько ты, говоришь, у нас было собак?

— Шесть.

— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.

— Опять семь? — спросил Генри.

— Нет, пять. Одна пропала.

— Что за дьявол! — крикнул рассвирепевший Генри и, бросив стряпню, подошел пересчитать собак.

— Правильно, Билл,— сказал он.— Фэтти сбежал.

— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка сыщи его теперь.

— Пропащее дело,— ответил Генри.— Живьем слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать.

— Фэтти всегда был глуповат,— сказал Билл.

— У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти на верную смерть.

Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинства каждой.

— Эти умнее, они такой штуки не выкинут.

— Их от костра и палкой не отгонишь,— согласился Билл.— Я всегда считал, что у Фэтти не все дома.

Таково было надгробное слово, посвященное собаке, погибшей на Северном пути, и оно было ничуть не скупее многих других эпитафий погибшим собакам,— да, пожалуй, и людям.

Глава вторая

ВОЛЧИЦА

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, заунывный вой; сквозь

мрак и холод он долетал до них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.

В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где выпуклость земного шара встает преградой между полуденным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до трех часов, потом и он погас, и над пустынным, безмолвным краем опустился полог арктической ночи. Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе; по временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках.

После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели в порядок упряжку, Билл сказал:

— Хорошо бы, они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое.

— Да, слушать их малоприятно,— согласился Генри.

И они замолчали до следующей стоянки.

Генри стоял, нагнувшись над закипающим котелком с бобами, и подкладывал туда колотый лед, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг собак. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой хвост вяленого лосося.

— Половину все-таки утащил! — крикнул он.— Зато я всыпал ему как следует! Слышал визг?

— А кто это? — спросил Генри.

— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.

— Ручной волк, что ли?

— Волк или не волк, только, должно быть, действительно ручной, если является прямо к кормежке и хватает рыбу.

Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще больше.

— Хорошо бы, они стадо лосей где-нибудь спугнули и оставили нас в покое,— сказал Билл.

Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное, и минут двадцать они сидели молча: Генри — уставившись на огонь, а Билл — на круг горящих глаз, светившийся в темноте, совсем близко от костра.

— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэрри...— снова начал Билл.

— Да брось ты свое «хорошо бы», перестань ныть! — не выдержал Генри.— Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет веселее.

Утром Генри разбудила отчаянная ругань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искаженным от бешенства лицом яростно размахивает руками.

— Эй! — крикнул Генри.— Что случилось?

— Фрог убежал,— услышал он в ответ.

— Быть не может!

— Говорю тебе, убежал.

Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам. Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной Северной глуши, лишившей их еще одной собаки.

— Фрог был самый сильный во всей упряжке,— заключил Билл.

— И ведь смышленый! — прибавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел невесело; оставшуюся четверку собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по следам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом; собаки тревожились, дрожали от страха и путали постромки, еще больше угнетая этим людей.

— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь,— с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке.

Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу, к палкам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к шее; другой конец палки был прикреплен кожаным ремнем к вбитому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола.

Генри одобрительно кивнул головой.

— Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — все равно что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.

— Ну еще бы! — сказал Билл.— Если хоть одна пропадет, я завтра от кофе откажусь.

— А ведь они знают, что у нас нечем их припугнуть,— заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их стоянку.— Пальнуть бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью все ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону. Ну? Видел вон того?

Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами,

двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь в то место, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертания зверя. По временам удавалось даже заметить, как эти звери переходят с места на место.

Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз палку.

— Смотри, Билл! — прошептал Генри.

В круг, освещенный костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив все внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил.

— Этот болван, кажется, ни капли не боится,— тихо сказал Билл.

— Волчица,— шепнул Генри.— Теперь я понимаю, что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает ее как приманку. Она завлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их.

В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте.

— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.

— Что?

— Это та самая, которую я огрел палкой.

— Можешь не сомневаться,— ответил Генри.

— Я вот что хочу сказать,— продолжал Билл,— видно, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно.

— Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчице,— согласился Генри.— Волчица, которая является к кормежке собак,— бывалый зверь.

— У старика Виллэна была когда-то собака, и она ушла вместе с волками,— размышлял вслух Билл.— Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае волков на лосином пастбище у Литл-Стика. Старик Виллэн плакал, как ребенок. Говорил, что целых три года ее не видел. И все эти три года она с волками бегала.

— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл.

— Если мне только удастся, я ее уложу, и она будет не волк и не собака, а просто падаль,— заявил Билл.— Нам больше нельзя собак терять.

— Да ведь у тебя только три патрона,— возразил ему Генри.

— А я буду целиться наверняка,— последовал ответ.

Утром Генри снова разжег костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарища.

— Уж больно ты хорошо спал,— сказал он, поднимая его ото сна.— Будить тебя не хотелось.

Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его чашка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.

— Слушай, Генри,— сказал он с мягким упреком,— ты ничего не забыл?

Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой, Билл протянул ему пустую чашку.

— Не будет тебе кофе,— объявил Генри.

— Неужели весь вышел? — испуганно спросил тот.

— Нет, не вышел.

— Боишься, что у меня желудок испортится?

— Нет, не боюсь.

Краска гнева залила лицо Билла.

— Так в чем же тогда дело, объясни, не томи меня! — сказал он.

— Спэнкер убежал,— ответил Генри.

Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак.

— Как это случилось? — безучастно спросил он.

Генри пожал плечами:

— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он, конечно, не мог этого сделать.

— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева.— У себя ремень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.

— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и теперь он у них в кишках,— такую эпитафию прочел Генри третьей собаке.— Выпей кофе, Билл.

Но Билл покачал головой.

— Ну, выпей,— настаивал Генри, подняв кофейник.

Билл отодвинул свою чашку.

— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не буду, если собака пропадет,— значит, не буду.

— Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри.

Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдабривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.

— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке,— сказал Билл, когда они тронулись в путь.

Пройдя не больше ста шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла.

— Может быть, тебе это еще понадобится,— сказал Генри.

Билл ахнул. Вот все, что осталось от Спэнкера,— палка, которая была привязана ему к шее.

— Начисто сожрали,— сказал Билл.— И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри... Чего доброго, еще и до нас с тобой доберутся.

Генри вызывающе рассмеялся.

— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался. Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл!

— Посмотрим, посмотрим...— зловеще пробормотал его товарищ.

— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, тогда и посмотришь.

— Не очень-то я на это надеюсь,— стоял на своем Билл.

— Ты просто не в духе, и больше ничего,— решительно заявил Генри.— Тебе надо хины принять. Вот дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу.

Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с таким диагнозом, и погрузился в молчание.

День прошел, как и все предыдущие.

Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через три часа должна была поглотить ночь.

Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружье и сказал:

— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается.

— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри.— Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться...

— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спросил тот.

Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад, в пустынную мглу, где исчез его товарищ.

Час спустя Билл догнал сани, сократив расстояние напрямик.

— Широко разбрелись,— сказал он,— повсюду рыщут, но и от нас не отстают. Видно, уверены, что мы от них не уйдем. Решили потерпеть немного, не хотят упускать ничего съедобного.

— То есть им кажется, что мы не уйдем от них,— подчеркнул Генри.

Но Билл оставил эти слова без внимания.

— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и Спэнкера. А стая большая, съели и не насытились. Здорово отощали. Ребра как стиральная доска, и животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди, всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро!

Через несколько минут Генри, который шел теперь за санями, издал тихий, предостерегающий свист.

Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи.

— Она, волчица,— сказал Билл.

Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к товарищу, стоявшему около саней. Оба стали разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки.

Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, пока не подошел к саням ярдов на сто, потом остановился около сосен, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа.

Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы.

— Ростом фута два с половиной,— определил Генри.— И от головы до хвоста наверняка около пяти будет.

— Не совсем обычная масть для волка,— сказал Билл.— Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то красновато-коричневый.

Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос, но легкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впечатление — шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжим.

— Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее,— сказал Билл.— Того и гляди, хвостом завиляет.

— Эй ты, лайка! — крикнул он.— Подойди-ка сюда... Как там тебя зовут!

— Да она ни капельки не боится,— засмеялся Генри.

Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю кулаком, однако тот не проявил ни малейшего страха и только еще больше насторожился. Он продолжал смотреть на них все с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним было мясо, а он голодал. И, если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их.

— Слушай, Генри,— сказал Билл, бессознательно понизив голос до шепота.— У нас три патрона. Но ведь ее можно наповал

убить. Тут не промахнешься. Трех собак как не бывало, надо же положить этому конец. Что ты скажешь?

Генри кивнул головой в знак согласия.

Билл осторожно вытащил ружье из саней, поднял было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди сосен. Друзья посмотрели друг на друга. Генри многозначительно засвистал.

— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружье на место.— Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормежки собак! Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть собак, а не три. Нет, Генри, я до нее доберусь. На открытом месте ее не убьешь, слишком умна. Но я ее выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады.

— Только далеко не отходи,— предупредил его Генри.— Если они на тебя всей стаей набросятся, три патрона тебе помогут, как мертвому припарки. Уж очень это зверье проголодалось. Смотри, Билл, попадешься им!

В эту ночь остановка была сделана рано. Три собаки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как это делали шесть; они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали бесноваться от страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело подкладывать сучья в костер.

— Моряки рассказывают, будто акулы любят плавать за кораблями,— сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру.— Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моциона. Попадемся мы им, Генри. Вот увидишь, попадемся.

— Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом! — отрезал его товарищ.— Кто боится порки, тот все равно что выпорот, а ты — все равно что у волков на зубах.

— Они приканчивали людей и получше нас с тобой,— ответил Билл.

— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!

Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было похоже, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра».

Глава третья

ПЕСНЬ ГОЛОДА

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону.

— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.

Но Одноухий припустился еще быстрее, волоча по снегу постромки. А там, на только что пройденном ими пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одноухий осторожно навострил уши, перешел на легкий, мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на нее внимательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, потом сделала несколько игривых прыжков и остановилась. Одноухий пошел к ней, все еще с опаской, задрав хвост, навострив уши и высоко подняв голову.

Он хотел было обнюхать ее, но волчица подалась назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он делал шаг вперед, она отступала назад. И так, шаг за шагом, волчица увлекала Одноухого за собой, все дальше от его надежных защитников — людей. И вдруг как будто неясное опасение остановило Одноухого. Он повернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хозяев. Но, если что-нибудь подобное и мелькнуло в голове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешительность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его носом, а потом снова начала, играя, отходить все дальше и дальше.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно лежало под перевернутыми санями. И, пока Генри помог ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близко подошли друг к другу, что стрелять на таком расстоянии было рискованно.

Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Еще не догадываясь, в чем дело, Билл и Генри увидели, как он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А потом они увидели штук двенадцать тощих серых волков, которые мчались под прямым углом к дороге, наперерез Одноухому. В одно мгновение волчица оставила всю свою игривость и лукавство — с рычанием кинулась она на Одноухого. Тот отбросил ее плечом, убедился, что

обратный путь отрезан, и, все еще надеясь добежать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой минутой волков становилось все больше и больше. Волчица неслась за собакой, держась на расстоянии одного прыжка от нее.

— Куда ты? — вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо.

Билл стряхнул его руку.

— Довольно! — сказал он.— Больше они ни одной собаки не получат!

С ружьем наперевес он бросился в кустарник, окаймлявший речное русло. Его намерения были совершенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому бежала собака, Билл рассчитывал перерезать этот круг в той точке, куда погоня еще не достигла. Среди бела дня, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно.

— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Генри.— Не рискуй зря!

Генри сел на сани и стал ждать, что будет дальше. Больше ему ничего не оставалось делать. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками сосен то появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадежно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутреннему, более узкому. Нечего было и думать, что Одноухий сможет настолько опередить своих преследователей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал, что где-то там, в снегах, заслоненные от него деревьями и кустарником, в одной точке должны сойтись стая волков, Одноухий и Билл.

Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Раздался выстрел, потом еще два, один за другим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед за тем послышались визги и громкое рычание. Генри различил голос Одноухого, взвывшего от боли и ужаса, и вой раненого, очевидно волка.

И все. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина.

Генри долго сидел на санях. Ему незачем было идти туда: все было ясно, как будто встреча Билла со стаей произошла у него на глазах. Только один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его ногам и дрожали от страха.

Наконец он поднялся — так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость,— и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шел он недолго и, как только стало темнеть, сделал остановку

и заготовил как можно больше хвороста; потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра.

Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костер, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали. Они свертывались на снегу клубочком, по-собачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз.

Генри развел большой костер, так как он знал, что только огонь служит преградой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина — одна справа, другая слева — в надежде, что он защитит их: они выли, взвизгивали и принимались исступленно лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон.

Круг сжимался все теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперед, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъяренным воем и испуганным рычанием, если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка.

К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бессонницы.

В темноте он сварил себе завтрак, а в девять часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых сосен и, привязав их высоко к деревьям, устроил поперечные перекладины, затем с помощью собак поднял на веревку гроб и установил его там, наверху.

— До Билла добрались и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать,— сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях.

Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри.

Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы — кожа да кости, только мускулы

проступали, точно веревки,— что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег.

Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым ободком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее. Солнце дольше оставалось на небе. Но как только приветливые лучи его померкли, Генри сделал привал. До полной темноты оставалось еще несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы запасти как можно больше хвороста.

Вместе с темнотой к нему пришел ужас. Волки осмелели, да и проведенная без сна ночь давала себя знать. Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, Генри сидел около костра и никак не мог преодолеть дремоту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от себя увидел большого серого волка, одного из самых крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точно разленившийся пес, и всей пастью зевнул Генри прямо в лицо, поглядывая на него, как на свою собственность, как на добычу, которая рано или поздно достанется ему.

Такая уверенность чувствовалась в поведении всей стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотревших на него голодными глазами или спокойно спавших на снегу. Они напоминали ему детей, которые собрались вокруг накрытого стола и ждут только разрешения, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомством суждено стать ему! «Когда же волки начнут свое пиршество?» — думал он.

Подкладывая хворост в костер, Генри заметил, что теперь он совершенно по-новому относится к собственному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев. При свете костра он несколько раз подряд сгибал их, то поодиночке, то все сразу, то растопыривал, то быстро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ногтей, пощипывал кончики пальцев то сильнее, то мягче, испытывая чувствительность своей нервной системы. Все это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежностью к своему телу, которое работало так легко, так точно и совершенно. Потом он бросал боязливый взгляд на волков, смыкавшихся вокруг него все теснее, и его, словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудесное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо,— предмет вожделения прожорливых зверей, которые разорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой голод, так же как он сам не раз утолял голод мясом лося и кролика.

Он очнулся от дремоты, граничившей с кошмаром, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в каких-нибудь шести

футах от костра и тоскливо поглядывала на человека. Обе собаки скулили и рычали у него в ногах, но волчица словно и не замечала их. Она смотрела на человека, и в течение нескольких минут он отвечал ей тем же. Вид у нее был совсем не свирепый. В глазах ее светилась страшная тоска, но Генри знал, что тоска эта порождена таким же страшным голодом. Он был пищей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусовые ощущения. Пасть ее была разинута, слюна капала на снег, и она облизывалась, предвкушая поживу.

Безумный страх охватил Генри. Он быстро протянул руку за головней, но не успел дотронуться до нее, как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к тому, чтобы в нее швыряли чем попало. Волчица огрызнулась, оскалив белые клыки до самых десен; выражение тоскливости в ее глазах сменилось такой кровожадной злобой, что Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил, с какой ловкостью пальцы держали головню, как они прилаживались ко всем ее неровностям, охватывая со всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от горячего места,— взглянул и в ту же минуту ясно представил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда еще Генри не любил своего тела так, как теперь, когда существование его было столь непрочно.

Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горящими головнями, засыпáл, когда бороться с дремотой не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак. Наступило утро, но на этот раз дневной свет не прогнал волков. Человек напрасно ждал, что его преследователи разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепляли костер и смотрели на Генри с такой наглой уверенностью, что он снова лишился мужества, которое вернулось было к нему вместе с рассветом.

Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк промахнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зубы волка щелкнули в каких-нибудь нескольких дюймах от его бедра.

Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг него, и только горящие головни отогнали ее на почтительное расстояние.

Даже при дневном свете Генри не осмеливался отойти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от саней стояла громадная засохшая сосна. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все время держа наготове для своих преследователей несколько горящих веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить сосну в ту сторону.

Эта ночь была точным повторением предыдущей, с той только

разницей, что Генри почти не мог бороться со сном. Он уже не просыпался от рычания собак. К тому же они рычали не переставая, а его усталый, погруженный в дремоту мозг уже не улавливал оттенков в их голосах.

И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица стояла совсем близко. Машинально, не выпуская головни из рук, он ткнул ею в ее оскаленную пасть. Волчица отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслаждением вдыхал запах паленой шерсти и горелого мяса, глядя, как зверь трясет головой и злобно рычит уже в нескольких шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал к правой руке тлеющий сосновый сучок. Едва он закрывал глаза, как боль от ожога будила его. Так продолжалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял волков горящими головнями, подбрасывал в огонь хвороста и снова прилаживал сучок на руку. Все шло хорошо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо привязал сучок, и, как только глаза его закрылись, сучок выпал у него из руки.

Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно. Он играет в криббедж с начальником фактории. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта. Потом — какой странный сон ему снился! — раздался треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то другие очертания. Генри не мог еще понять какие, и понять это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.

А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клыки впились ему в руку. Он прыгнул в костер и, прыгая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки от огня, он полными горстями расшвыривал во все стороны горящие угли, и костер стал под конец чем-то вроде вулкана.

Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены, ноги уже не терпели жара. Схватив в руки по головне, он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили. Справа и слева — всюду, куда только падали угли, шипел снег, и по отчаянным прыжкам, фырканью и рычанию можно было догадаться, что волки наступали на них.

Расшвыряв головни, человек сбросил с рук тлеющие рукавицы и принялся топать по снегу ногами, чтобы остудить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал, что они послужили очеред-

ным блюдом на том затянувшемся пиру, который начался с Фэтти и в один из ближайших дней, может быть, закончится им самим.

— А все-таки до меня вы еще не добрались! — крикнул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям.

Услышав его голос, стая заметалась, дружно зарычала, а волчица подступила к нему почти вплотную и уставилась на него тоскливыми, голодными глазами.

Генри принялся обдумывать новый план обороны. Разложив костер широким кольцом, он бросил на тающий снег свою постель и сел на ней внутри этого кольца. Как только человек скрылся за огненной оградой, вся стая окружила ее, любопытствуя, куда он девался. До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они расселись около него тесным кругом и, как собаки, жмурились, зевали и потягивались в непривычном для них тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, подняла голову и начала выть. Волки один за другим подтягивали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами в звездное небо, затянула песнь голода.

Стало светать, потом наступил день. Костер догорал, хворост подходил к концу, надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца, но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни заставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убедившись наконец в безнадежности своих попыток, он отступил внутрь горящего кольца, и в это время один из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от страха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить на снегу обожженные лапы.

Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безвольно опущенным плечам и поникшей голове можно было понять, что у него больше нет сил продолжать борьбу. Время от времени он поднимал голову и смотрел на догорающий костер. Кольцо огня и тлеющих углей кое-где уже разомкнулось, распалось на отдельные костры. Свободный проход между ними все увеличивался, а сами костры уменьшались.

— Ну, теперь вы до меня доберетесь,— пробормотал Генри.— Но мне все равно, я хочу спать...

Проснувшись, он увидел между двумя кострами прямо перед собой волчицу, смотревшую на него пристальным взглядом.

Спустя несколько минут, которые показались ему часами, он снова поднял голову. Произошла какая-то непонятная перемена, настолько непонятная для него, что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчезли. Только по вытоптанному кругом снегу можно было судить, как близко они подбирались к нему.

Волна дремоты снова охватила Генри, голова его упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.

Откуда-то доносились людские голоса, скрип саней, нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке между деревьями подъезжало четверо саней. Несколько человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угасающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и бормотал вялым, сонным голосом:

— Рыжая волчица... приходила к кормежке собак... Сначала сожрала собачий корм... потом собак... А потом Билла...

— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из приехавших, с силой тряхнув его за плечо.

Он медленно покачал головой.

— Его она не тронула... Он там, на деревьях... у последней стоянки.

— Умер?

— Да. В гробу,— ответил Генри.

Он сердито дернул плечом, высвобождаясь от наклонившегося над ним человека.

— Оставьте меня в покое, я не могу... Спокойной ночи...

Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на грудь. И, как только его опустили на одеяло, в морозной тишине раздался громкий храп.

Но к этому храпу примешивались и другие звуки. Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, взамен только что оставленного ими человека.

Часть вторая

Глава первая

БИТВА КЛЫКОВ

Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак, и она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей.

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда те отваживались забегать вперед. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу.

Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для нее, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак

не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед,— напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался все время бежать рядом. А ей это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не подпуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков, всем своим видом и поведением напоминая сконфуженного деревенского ухажера.

Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от нее бежал тощий старый волк, серая шкура которого носила следы многих битв. Он все время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухаживание самца, бежавшего слева, и, когда оба они начинали приставать к ней одновременно, ей приходилось туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг на друга зубы. В другое время они бы подрались, но сейчас даже любовь и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю.

После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивого предмета своих вожделений и сталкивался с молодым, трехлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трехлеток был вполне возмужалый и, если принять во внимание слабость и истощенность остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И все-таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поравняться с ним (что случалось довольно редко), старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трехлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот маневр встречал двойной, даже тройной отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трехлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева.

Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и, весь ощетинившись, показывал зубы. Замешательство во главе стаи неизменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натыкались на трехлетка и выражали свое недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод

и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и доставляли ему лишь одни неприятности.

Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей, и она рассеялась бы. Но положение ее было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Все они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И все-таки в их движениях — если не считать тех, кто прихрамывал,— не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как веревки, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение, за ним третье, четвертое — и так без конца.

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще бежали. Оледеневшее мертвое пространство. Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их — и жить, жить!

Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обогнуть не один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костер, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжелых копыт он распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречен на гибель, и в конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а зубы остальных волков рвали его на части — живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться.

Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они пожирали пищу, и вскоре от великолепного, полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, осталось лишь несколько разбросанных по снегу костей.

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и это продолжалось

весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути, стельных самок или старых, больных лосей.

И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и Одноглазый, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток, к реке Макензи и дальше, к озерам. И эта маленькая стая тоже с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка. И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и дерзкий трехлеток остались вчетвером.

К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы, повиливали хвостом и семенили вокруг нее, стараясь умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трехлетка перешла все границы. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой тот ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и исполосованная рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему пережить на своем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас.

Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить о ее исходе, если бы к старому вожаку не присоединился молодой; вместе они набросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились; добыча, которую они вместе убивали; голод, одинаково терзавший их троих. Все это было делом прошлого. Сейчас перед ними стояла любовь — чувство еще более суровое и жестокое, чем голод.

Тем временем волчица — причина всех раздоров — с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час — что случается редко,— когда шерсть встает дыбом, клык ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело,— и все это только ради обладания ею.

И трехлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся с любовью, поплатился из-за нее жизнью. Оба соперника стояли над

его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр — мудр в делах любви не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул голову — зализать рану на плече. Загривок его был обращен к сопернику. Своим единственным глазом старик углядел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и тут же отскочил назад.

Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал туман. Удары и прыжки становились все слабее и слабее.

А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остается в живых, она уже не трагедия, а торжество осуществившегося желания.

Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одноглазый гордой поступью направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приема и так же простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов,— впервые за все это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй даже еще более глупого, чем волчица.

Забыты были и побежденные соперники, и повесть о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом Одноглазый, когда остановился на минуту, чтобы зализать рану. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. Но в следующую же минуту все было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес.

А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались — вместе гонялись за добычей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и она проводила целые часы, обнюхивая запорошенные снегом расселины в утесах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка все это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал ее.

Не задерживаясь подолгу на одном месте, они пробежали до

реки Макензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не допускал этого, и стоило только волчице стать плечо к плечу с ним, ощетиниться и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь.

Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как собака на стойке. Что-то встревожило его, и он продолжал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Все еще не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес ему ветер.

Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом, весь насторожившись, каждым своим волоском излучая безграничное недоверие, к ней подошел Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом.

До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С поляны им были видны только большие, обтянутые кожей палатки, пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся в спокойном воздухе. Но их ноздри уловили множество запахов индейского поселка, говорящих о вещах, совершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчице до мельчайших подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться все с большим и большим наслаждением. Но Одноглазый все еще сомневался. Он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаивая, потом снова стала смотреть на поселок. В ее глазах светилась тоска, но это уже не была тоска, рожденная голодом. Она дрожала от охватившего ее желания спуститься туда, подойти ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей.

Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее; но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова почувствовала непреодолимую потребность найти то, что так долго искала. Она

повернулась и, к большому облегчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытие деревьев.

Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двигался вперед, а его подруга следовала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, но теперь он оставил всякую осторожность. Впереди него мелькало какое-то неясное белое пятно.

Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймленной по обеим сторонам зарослью молодых сосен и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Еще один прыжок — и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не последовало. Белое пятно, оказавшееся кроликом, взвилось высоко в воздухе прямо над головой Одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец.

С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил назад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить кролика. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий.

Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив кролика зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту позади послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую сосну, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались; оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад, в горле его заклокотало рычание, шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное деревце выпрямилось, и кролик снова заплясал высоко в воздухе.

Волчица рассвирепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, с остервенением полоснул ее зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умилостивить волчицу, но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал увертываться от ее укусов, пряча голову и подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое.

Тем временем кролик продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу. И Одноглазый, боясь теперь своей подруги еще больше, чем таинственной сосны, снова сделал прыжок. Схватив кролика и опустившись с ним на землю, он уставился своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съежился, ожидая неминуемого удара, шерсть на нем встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склоненным над ним. Стоило волку двинуться, как сосна тоже двигалась, и он ворчал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось, и волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь кролика была такая вкусная!

Из этого затруднительного положения Одноглазого вывела волчица. Она взяла у него кролика и, пока сосна угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Сосна сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с Одноглазым поделили между собой добычу, пойманную для них этой таинственной сосной.

Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где кролики раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а Одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать капканы. И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.

Глава вторая
ЛОГОВИЩЕ

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый около индейского поселка. Одноглазый беспокоился и трусил, а волчицу поселок чем-то притягивал, и она никак не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воздухе, совсем неподалеку от них, раздался выстрел и пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от головы Одноглазого, волки уже больше не колебались и пустились в путь длинными ровными прыжками, быстро увеличивая расстояние между собой и опасностью.

Они бежали недолго — всего дня три. Волчица все с большей настойчивостью продолжала свои поиски. Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро бегать. Однажды, погнавшись за кроликом, которого в обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть. Одноглазый подошел к ней, но не успел он тихонько коснуться носом ее шеи, как она с такой яростью укусила его, что он упал на спину и, являя собой весьма комическое зрелище, стал отби-

ваться от ее зубов. Волчица сделалась еще раздражительнее, чем прежде; но Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.

И вот наконец волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению небольшого ручья, летом впадавшего в Макензи; теперь, промерзнув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной лед. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий глинистый берег нависает над ручьем. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в береге и образовали там небольшую пещеру.

Волчица остановилась у входа в нее и внимательно оглядела наружную стену пещеры, потом обежала ее с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в пологий скат. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на небольшую круглую площадку футов шести в диаметре. Головой она почти касалась потолка. Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обследовать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпеливо наблюдал за ней. Опустив голову и почти касаясь носом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. Одноглазый, навострив уши, посмеивался над ней, и волчице было видно, как кончик его хвоста добродушно ходит взад и вперед на фоне светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем своим видом выражая полное удовлетворение и спокойствие.

Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пещеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпался и, навострив уши, прислушивался к тому, что говорил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, играющим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал дремать, до ушей его доносился еле уловимый шепот невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряженно вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось на небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв волку. Все вокруг оживало. В воздухе чувствовалась весна, под снегом зарождалась жизнь, деревья набухали соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.

Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, но она не выказывала ни малейшего желания подняться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стайку пуночек, вспорхнувших неподалеку от него, приподнялся, но, взглянув еще раз на свою подругу, лег и снова задремал. До его слуха донеслось слабое жужжание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул лапой морду, потом проснулся. У кончика его носа с жужжанием вился

комар. Комар был большой,— вероятно, он провел всю зиму в сухом пне, а теперь солнце вывело его из оцепенения. Волк был не в силах противиться зову окружающего мира; кроме того, ему хотелось есть.

Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал убедить ее подняться. Но она только огрызнулась на него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается и путешествие будет делом не легким. Он побежал вверх по замерзшему ручью, где снег в тени деревьев был все еще твердый. Побродив часов восемь, Одноглазый вернулся затемно, еще голоднее прежнего. Он не раз видел дичь, но не мог поймать ее. Кролики легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и барахтался в снегу.

Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазого остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знакомое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостерегающее рычание своей подруги. Это не смутило Одноглазого, но заставило все же держаться в некотором отдалении; его интересовали другие звуки — слабое, приглушенное повизгиванье и плач.

Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк снова стал искать источник этих смутно знакомых звуков. В предостерегающем рычании волчицы появились новые нотки: в нем слышалась ревность,— и это заставляло волка держаться от нее на почтительном расстоянии. И все-таки ему удалось разглядеть, что между ногами волчицы, прильнув к ее животу, копошились пять маленьких живых клубочков, слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой и удачливой жизни, это случалось часто, и все-таки каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на него с беспокойством. Время от времени она тихо ворчала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал ей, что отцы могут съесть свое беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх заставлял ее гнать Одноглазого от порожденных им волчат.

Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк, в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, перешедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним, не противясь ему, он ощутил это веление всем своим существом и, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски пищи.

В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлялся, и оба

его рукава под прямым углом поворачивали к горам. Волк пошел вдоль левого рукава и вскоре наткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись, что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул в том направлении, куда они вели. Потом не спеша повернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы были гораздо крупнее его собственных,— и он знал, что там, куда они приведут, надежды на добычу мало.

Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук. Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который, встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на удачу. Так далеко на севере дикобразы ему не попадались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою жизнь ни разу не попробовал их мяса. Однако опыт научил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы с живым существом никогда нельзя знать заранее.

Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все стороны свои длинные острые иглы, и нападение стало теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнулся однажды мордой в такой же вот безжизненный с виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом по носу. Одна игла так и осталась торчать у него в носу, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только через несколько недель. Он лег, приготовившись к прыжку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста дикобраза. Замерев на месте, он ждал. Кто знает? Все может быть. Вдруг дикобраз развернется. Вдруг представится случай ловким ударом лапы распороть нежное, ничем не защищенное брюхо.

Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно зарычал на неподвижный клубок и побежал дальше. Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить дикобразов — вот так же, без всякого толка,— чтобы сейчас тратить на это время. И он побежал дальше по правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его поиски все еще не увенчались успехом.

Проснувшийся инстинкт отцовства управлял волком. Он знал, что пищу надо найти во что бы то ни стало. В полдень ему попалась белая куропатка. Он выбежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на пне в каком-нибудь футе от его морды. Они увидели друг друга одновременно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк ударил ее лапой, сшиб на землю и схватил зубами как раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вонзились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти его заработали. Потом он вдруг вспомнил что-то и пустился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.

Пробежав еще с милю своей бесшумной поступью, скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к каждому новому береговому изгибу, он опять наткнулся на следы все тех же больших лап. Следы удалялись в ту сторону, куда лежал и его путь, и он приготовился в любую минуту встретить обладателя этих лап.

Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том месте, где ручей круто поворачивал в сторону, и его зоркий глаз заприметил нечто такое, что заставило его сейчас же прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который оставил большие следы на снегу,— крупная самка-рысь. Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дикобразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одноглазого можно было сравнить со скользящей тенью, то теперь это был призрак той тени, осторожно огибающий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную пару — дикобраза и рысь.

Волк лег на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развертывающейся у него на глазах,— за рысью и дикобразом, которые хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждый свое существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из ее участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным. Старый волк тоже принимал участие в этой игре из своего прикрытия, надеясь, а вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пищу, необходимую ему, чтобы жить.

Прошло полчаса, прошел час; все оставалось по-прежнему. Клубок игл сохранял полную неподвижность, и его легко можно было принять за камень; рысь превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый — тот был точно мертвый. Однако все трое жили такой напряженной жизнью, напряженной почти до ощущения физической боли, что вряд ли когда-нибудь им приходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они чувствовали сейчас, когда тела их казались окаменелыми.

Одноглазый подался вперед, насторожившись еще больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены. Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалился. Медленно, осторожно стал он расправлять свою непроницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее подозрение. Колючий клубок медленно-медленно развернулся и начал выпрямляться. Одноглазый почувствовал, что рот у него наполняется слюной при виде живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое пиршество.

Еще не успев развернуться до конца, дикобраз увидел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.

Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распорола нежное брюхо и тотчас

же отдернулась назад. Если бы дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь отдернула лапу, дикобраз ударил ее сбоку хвостом и вонзил в нее свои острые иглы.

Все произошло одновременно: удар, ответный удар, предсмертный визг дикобраза и крик раненой большой кошки, ошеломленной болью. Одноглазый привстал, навострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения. Рысь не помнила себя от злобы; она с яростью набросилась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дикобраз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок, чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха внутренности, еще раз ударил хвостом. Большая кошка снова взвыла от боли и с фырканьем отпрянула назад; нос ее, весь утыканный иглами, стал похож на подушку для булавок. Она царапала его лапами, стараясь избавиться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мордой в снег, терлась о ветки и прыгала вперед, назад, направо, налево, не помня себя от безумной боли и страха.

Не переставая фыркать, рысь судорожно дергала своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла. Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрогнул и ощетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каждый свой прыжок пронзительным визгом. И только тогда, когда она скрылась и визги ее замерли вдали, Одноглазый решился выйти вперед. Он ступал с такой осторожностью, как будто весь снег был усыпан иглами, готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яростным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый клубок: порванные мускулы не повиновались ему — он был разорван почти пополам и истекал кровью.

Одноглазый хватал пастью и с наслаждением глотал окровавленный снег. После такой закуски голод его только усилился; но он недаром пожил на свете,— жизнь научила его осторожности. Надо было выждать время. Он лег на снег перед дикобразом, а тот скрежетал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько минут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело обмякло и больше уже не двигалось.

Робким, боязливым движением лапы Одноглазый растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на спину. Все обошлось благополучно. Дикобраз был мертв. После внимательного осмотра волк осторожно взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, волоча ее за собой и повернув голову в сторону, чтобы не наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил что-то, бросил

дикобраза и вернулся к куропатке. Он не колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо съесть куропатку. И, съев ее, Одноглазый побежал туда, где лежала его добыча.

Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица осмотрела ее, подняла голову и лизнула волка в шею. Но сейчас же вслед за тем она легонько зарычала, отгоняя его от волчат; правда, на этот раз рычание было не такое уж злобное: в нем слышалось скорее извинение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом ее потомства постепенно пропадал. Одноглазый вел себя, как и подобало волку-отцу, и не проявлял беззаконного желания сожрать малышей, произведенных ею на свет.

Глава третья
СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери-волчицы, а он пошел весь в Одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца — один.

Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И, даже когда глаза у него были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И, когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал.

Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал: он ограничивался стенами логовища; волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной.

Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других,— там был выход из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у него появились мысли и осознанные жела-

ния. Она непреодолимо влекла к себе волчонка еще в ту пору, когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти теплые искорки, вызывавшие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же как сложные химические реакции заставляют растение поворачиваться к солнцу.

Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями; химический процесс, называющийся жизнью, требовал света; свет был необходимым условием их существования; и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно.

Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка.

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки — результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно,— так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль.

Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока.

С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер, припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь.

И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И, уж конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры.

Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствования по пещере, стремясь к выходу из нее, и так же поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое. Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена — солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир — путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует.

У этой стены света было одно странное свойство. Его отец (а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира — похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительное свойство, так же как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери.

В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четки и определенны, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желание разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не принимали участия в формировании его мозга.

Как и большинству обитателей Северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец

перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили и бóльшую часть времени проводили во сне; потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать; и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, а жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла.

Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал кроличьи силки, но, как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк.

Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась только одна сестра. Остальные исчезли. Лишь только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь; а для нее пища пришла слишком поздно. Она все время спала, и искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала все слабее и слабее и наконец угасла.

Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть.

Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого, вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней.

После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не стоит загнать на дерево фыркающую, ощетинившуюся рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок.

Но Северная глушь есть Северная глушь, и материнство есть материнство — оно не останавливается ни перед чем как в Север-

ной глуши, так и вне ее; и неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица отважится пойти по левому рукаву, к норе в скалах, навстречу разъяренной рыси.

Глава четвертая

СТЕНА МИРА

К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его, и все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и волчицы; но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх — наследие Северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку!

Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться: он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желаниям. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод выработали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им — значило избегать боли и всяких жизненных осложнений.

Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничил окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего, причиняющего боль — то есть запретов и преград,— и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь.

Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу.

Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая

остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно: звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные,— ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх.

Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом,— и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснения в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев,— лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли.

Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету — и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И наконец страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры.

В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступала все дальше и дальше, по мере того как он приближался к ней. Испытующе вытянув вперед свой маленький, нежный нос, он ждал, что натолкнется на твердую поверхность, но стена оказалась такой же прозрачной и проницаемой, как свет. Волчонок вошел в то, что мнилось ему стеной, и погрузился в составляющее ее вещество.

Это сбивало его с толку — ведь он полз сквозь что-то твердое! А свет становился все ярче и ярче. Страх гнал волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка, внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивавшемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала

пестрой: в нее входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы.

На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру.

Однако все обошлось благополучно. Волчонок продолжал смотреть и от любопытства даже позабыл, что надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, крепнущая в нем, на время победила страх, и страх уступил место любопытству. Волчонок начал различать то, что было у него перед глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он примостился.

До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхности, ему еще не приходилось испытывать ушибов от падения — да он и не знал, что такое падение,— поэтому он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него задержались на выступе у входа в пещеру, так что он упал головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он жалобно тявкнул и тут же вслед за этим покатился кубарем по откосу. На него напал панический страх. Неизвестное наконец овладело им, оно держало его в своей власти и готовилось причинить ему невыносимую боль. Жизнь, крепнущая в нем, снова уступила место страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий перепуганный щенок.

Неизвестное грозило ему; он еще не мог понять чем и выл и визжал не переставая. Это было куда хуже, чем лежать, замирая от страха, когда неизвестное только промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им целиком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь его терзал уже не страх, а ужас.

Но откос становился все более пологим, а у его подножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Остановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем как ни в чем не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось заниматься своим туалетом, принялся слизывать приставшую к бокам сухую глину.

Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам, так же как это сделал бы первый человек, попавший с земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира, неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остался невредимым. Но первый человек на Марсе встретил бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок здесь, на земле. Без всякого предварительного знания,

без всякой подготовки он очутился в роли исследователя совершенно незнакомого ему мира.

Теперь, когда страшная неизвестность отпустила волчонка на свободу, он забыл обо всех ее ужасах. Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда.

Это придало волчонку храбрости, и, хотя дятел, с которым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уверенность эта возросла до такой степени, что, когда какая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя, протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клюнула его в нос; он припал к земле и завизжал. Птица испугалась его визга и тут же упорхнула.

Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.

Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И наконец волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспособлялся. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой.

Счастье всегда сопутствует новичкам. Рожденный, чтобы стать охотником (хотя сам он и не знал этого), волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное гнездо куропатки попалось ему только вследствие его же собственной неловкости: он свалился на него. Он попробовал пройтись по стволу упавшей сосны, гнилая кора подалась под его ногами, и он с отчаянным визгом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, пролетев сквозь листву и ветви, очутился в гнезде, где сидели семь птенцов куропатки.

Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; потом, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птенцы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепыхался еще сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он обнюхал птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод. Челюсти его сомкнулись, нежные косточки хрустнули, и он почувствовал на языке теплую кровь. Кровь оказалась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкуснее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца и остановился только тогда, когда покончил со всем выводком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как это делала его мать, и стал выбираться из куста.

Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы дергать и таскать ее из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим крылом. Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он только что уничтожил семь маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит большое живое существо. Он был слишком поглощен дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать свое счастье. Он весь дрожал от возбуждения, которое до сих пор ему никогда не приходилось испытывать.

Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зубы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она попыталась втащить его туда обратно, он выволок ее на открытое место. Птица кричала и била его свободным крылом, а перья ее разлетались по воздуху, как снежные хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинственная кровь предков поднялась и забушевала в нем. Сам того не ощущая, волчонок жил в эти минуты полной жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, делал то дело, для которого был рожден,— убивал добычу и дрался, прежде чем убить ее. Он оправдывал свое существование, выполняя высшее назначение жизни, потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.

Наконец птица перестала бороться. Волчонок все еще держал ее за крыло. Они лежали на земле и смотрели друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе зарычать. Куропатка клю-

нула его в нос и без того болевший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица клюнула его еще и еще раз. Он завизжал и попятился, не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добычу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на другую сторону поляны и лег там возле кустарника, тяжело дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неизвестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста. На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зловещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся на волчонка из поднебесья, промахнулся.

Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда, на другой стороне поляны из разоренного гнезда выпорхнула куропатка,— горе утраты заставило ее забыть о крылатой молнии небес. Но волчонок все видел, и это послужило ему предостережением и уроком. Он видел, как ястреб камнем упал вниз, пронесся над землей, почти задевая траву крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзительно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и взмыл ввысь, унося ее с собой.

Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он познал многое. Живые существа — это мясо, они приятны на вкус. Но большие живые существа причиняют боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куропатки, а с большими, как сама куропатка, лучше не связываться. И все же его самолюбие было ущемлено. Ему вдруг захотелось еще раз схватиться с большой птицей — жаль, что ястреб унес ее. А может быть, найдутся другие куропатки? Надо пойти поискать.

Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью. Воды он до сих пор еще не видал. На первый взгляд она была вполне надежная, никаких неровностей. Он смело шагнул вперед и, визжа от страха, пошел ко дну, прямо в объятия неизвестного. Стало холодно, у него перехватило дыхание. Вместо воздуха, которым он привык дышать, в легкие хлынула вода. Удушье сдавило ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равносильно смерти. Он не знал, что́ такое смерть, но, как и все жители Северной глуши, боялся ее. Она была для него олицетворением самой страшной боли. В ней таилась самая сущность неизвестного, совокупность всех его ужасов. Это была последняя непоправимая беда, которой он страшился, хоть и не мог представить ее себе до конца.

Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошел ко дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это было для него самым привычным

делом, и поплыл. Ближний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка, но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сейчас же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз в этом месте разливался широкой заводью.

На середине волчонка подхватило и понесло вниз по течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся там, где русло снова суживалось. Плыть здесь было трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок то выбивался на поверхность, то уходил с головой под воду. Его кидало из стороны в сторону, переворачивало то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каждом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам можно было сосчитать, сколько подводных камней попалось ему на пути.

Ниже порогов, где берега снова расширялись, волчонок попал в водоворот, который легонько отнес его к берегу и так же легонько положил на отмель. Он выкарабкался из воды и лег. Его знакомство с внешним миром продолжалось. Вода была не живая и все-таки двигалась! Кроме того, на первый взгляд она казалась твердой, как земля, на самом же деле твердости в ней не было и в помине. И волчонок пришел к выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Страх перед неизвестным, бывший ничем иным, как унаследованным от предков недоверием к окружающему миру, только усилился после столкновения с действительностью. Отныне в нем на всю жизнь укоренится это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем довериться им, он постарается узнать, каковы они на самом деле.

В этот день волчонку было суждено испытать еще одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть мать, и почувствовал, что она нужна ему больше всего на свете. От всех перенесенных испытаний у него устало не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за один этот день. К тому же волчонку захотелось спать. И он отправился на поиски пещеры и матери, испытывая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощности.

Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услышал пронзительный, свирепый крик. Перед глазами у него промелькнуло что-то желтое. Он увидел метнувшуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчонок не испугался ее. Потом у самых своих ног он увидел живое существо, совсем крохотное,— это был детеныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка юркнула в траву. Волчонок перевернул ее на спину. Ласка пискнула — голос у нее был скрипучий. В ту же минуту перед глазами у волчонка снова пронеслось желтое пятно. Он услышал свирепый крик, что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ласки-матери впились ему в шею.

Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка подбежала к

своему детенышу и скрылась с ним в кустах. Боль от укуса все еще не проходила, но боль от обиды давала себя чувствовать еще сильнее, и волчонок сел и тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая, а кусалась так больно! Волчонок еще не знал, что маленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему предстояло узнать это.

Он еще не перестал скулить, когда ласка-мать снова появилась перед ним. Она не бросилась на него сразу, потому что теперь ее детеныш был в безопасности. Она приближалась осторожно, так что он мог рассмотреть ее тонкое змеиное тельце и высоко поднятую змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом, и он зарычал. Она подходила все ближе и ближе. И вдруг прыжок, за которым он не мог уследить своим неопытным глазом,— тонкое желтое тело на одну секунду исчезло из его поля зрения,— и ласка вцепилась ему в горло, глубоко прокусив шкуру.

Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод, это был его первый выход в мир, и поэтому рычание его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вырваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпускала волчонка. Продолжая висеть у него на шее, она добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка любила кровь и предпочитала сосать ее прямо из горла — средоточия жизни.

Серого волчонка ждала верная гибель и рассказ о нем остался бы ненаписанным, если бы волчица не выскочила из-за кустов. Ласка выпустила его и метнулась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух. Не дав тонкому желтому тельцу даже опуститься на землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встретила свою смерть на ее острых зубах.

Новый прилив материнской нежности послужил наградой волчонку. Мать радовалась еще больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели ее, вернулись в пещеру и легли спать.

Глава пятая
ЗАКОН ДОБЫЧИ

Волчонок развивался с поразительной быстротой. Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путешествовать. В этот свой выход он встретил молодую ласку, мать которой была съедена с его помощью, и позаботился, чтобы детеныш отправился

вслед за матерью. Но теперь он уже не плутал и, устав, нашел дорогу к пещере и лег спать. После этого волчонок каждый день отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил все дальше и дальше.

Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности.

При встречах с куропатками волчонок становился сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая ответить злобным рычанием на трескотню белки, которая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.

Но бывало и так, что волчонок не обращал внимания даже на птиц,— и это случалось тогда, когда ему грозило нападение других хищников, которые, так же как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл ястреба и, завидев его тень, скользящую по траве, прятался подальше в кусты. Лапы его больше не разъезжались на ходу в разные стороны: он уже перенял от матери ее легкую, бесшумную походку, быстрота которой была неприметна для глаза.

Что касается охоты, то удачи его кончились с первым же днем. Семь птенцов куропатки и маленькая ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать крепла в нем день ото дня, и он лелеял мечту добраться когда-нибудь до белки, которая своей трескотней извещала всех обитателей леса о его приближении. Но белка с такой же легкостью лазала по деревьям, с какой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось только одно: незаметно подкрадываться к ней, пока она была на земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие — плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Мать была олицетворением силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более резких ударах ее лапы, и в том, что толчки носом, которыми мать наказывала его прежде, заменились теперь свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку уважение к матери. Она требовала от него покорности, и, чем больше он подрастал, тем суровее становилось ее обращение с ним.

Снова наступил голод, и теперь волчонок уже вполне сознательно испытывал его муки. Волчица совсем отощала в поисках пищи. Проводя почти все время на охоте, и большей частью безуспешно, она редко приходила спать в пещеру. На этот раз

голодовка была недолгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни капли молока из материнских сосков, а мяса ему уже давно не перепадало.

Прежде он охотился ради забавы, ради того удовольствия, которое доставляет охота, теперь же принялся за это по-настоящему, и все-таки ему не везло. Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка. Он с еще большей старательностью изучал повадки белки и прилагал еще больше усилий к тому, чтобы подкрасться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых мышей и учился выкапывать их из норок, узнал много нового о дятлах и других птицах. И вот наступило время, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее, опытнее, чувствовал в себе бо́льшую уверенность. Кроме того, голод ожесточил его. Теперь он садился посреди поляны на самом видном месте и ждал, когда ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба летала пища — пища, которой так настойчиво требовал его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и волчонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарования и голода.

Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое она приносила раньше. Это был детеныш рыси, уже подросший, но не такой крупный, как волчонок. И все мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже успела утолить свой голод, хотя сын ее и не подозревал, что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не подозревал он и того, какой отчаянный поступок пришлось совершить матери. Волчонок знал только одно: молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом; и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском.

Полный желудок располагает к покою, и волчонок прилег в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбудил ее голос. Никогда еще волчонок не слыхал такого страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его мать никогда не рычала страшнее. Но для такого рычания повод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчица. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.

В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру. Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смотрел ему в глаза — он понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в ее хриплом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама за себя.

Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула его вперед. Он зарычал и храбро занял место рядом с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий вход не позволял рыси сделать прыжок; она скользнула в пещеру, но волчица ринулась

ей навстречу и прижала ее к земле. Мало что удалось волчонку разобрать в этой схватке. Он слышал только рев, фырканье и пронзительный визг. Оба зверя катались по земле; рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а волчица могла пускать в ход только зубы.

Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он, сам того не подозревая, мешал ее движениям и помогал матери. Борьба приняла новый оборот: сражающиеся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось разжать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга, и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, ударила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему плечо до самой кости и отбросила к стене. Теперь к реву сражающихся прибавился жалобный плач. Но схватка так затянулась, что у волчонка было достаточно времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать новый прилив мужества. И к концу схватки он снова вцепился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжатые челюсти.

Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полученных ран. Она принялась было ласкать волчонка и лизать ему плечо, но потеря крови лишила ее сил, и весь этот день и всю ночь она пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы напиться, волчица еле передвигала ноги, так как каждое движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь была съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что она могла снова начать охоту.

Плечо у волчонка все еще болело, и он еще долго ходил прихрамывая. Но за это время его отношение к миру изменилось. Он держался теперь с большей уверенностью, с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью. Он убедился, что жизнь сурова; он участвовал в битве; он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это придало ему смелости, в нем появился даже задор, чего раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мелких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами по-прежнему властвовало над ним и не переставало угнетать его.

Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон *добычи*. В жизни есть две породы — его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй — все остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них существуют нехищники и мелкие хищники — те, кого убивают и едят его сородичи; и существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадаются им. И из этого разграничения складывался закон. Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: *ешь*, или

съедят тебя самого. Волчонок не мог ясно и четко сформулировать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он даже не думал о нем, а просто жил согласно его велениям.

Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок подрос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не была убита и съедена. Так оно и шло. Все живое вокруг волчонка жило согласно этому закону, крохотной частицей которого являлся и он сам. Он был хищником. Он питался только мясом, живым мясом, которое убегало от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям, пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда и обращало его в бегство.

Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, возможно, пришел бы к выводу, что жизнь — это неутомимая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследуют друг друга, охотятся друг за другом, поедают друг друга; арена, где льется кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца.

Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не обладал способностью к обобщениям. Поставив себе какую-нибудь одну цель, он только о ней и думал, только ее одной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. Кроме этого, в жизни было много других приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнышке — все это служило волчонку наградой за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Часть третья

Глава первая
ТВОРЦЫ ОГНЯ

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Все произошло по его вине. Осторожность — вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его

оплошности, возможно, было еще и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охоте, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно.

Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ — таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание.

Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство: волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор.

Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз — на него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой, и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра.

Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом:

— Вабам вабиска ип пит та! (Смотрите! Какие белые клыки!)

Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов: покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бо-

роться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего.

Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.

И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери — своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием: она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь.

Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка ее спасительный гнев только обрадовал.

Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались.

И вдруг один из индейцев крикнул:

— Кичи!

В этом возгласе слышалось удивление.

Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса.

— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко и повелительно.

И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.

Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом.

— Что же тут удивительного? — заговорил один из индейцев.— Отец у нее был волк, а мать собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на три ночи в лесу! Значит, отец Кичи был волк.

— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошел целый год,— сказал другой индеец.

— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося,— ответил Серый Бобр.— Тогда был голод и собакам не хватало мяса.

— Она жила среди волков,— сказал третий индеец.

— Ты прав, Три Орла,— усмехнулся Серый Бобр, дотронувшись до волчонка,— и вот доказательство твоей правоты.

Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почесывать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство твоей правоты,— повторил Серый Бобр.— Кичи — его мать. Но отец у него был волк. Поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал. Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву.

Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык Лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с боку на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычания он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только уси-

лилось. И, когда наконец человек погладил его в последний раз и отошел, Белый Клык окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты.

Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, перекочевывавшее на другое место. Их было человек сорок — мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать — тридцать весом.

Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительна эта разница. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружавшие его со всех сторон разверстые собачьи пасти; собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары.

Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлеченного понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нем существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляют подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когти, как все прочие звери, а использовали силу неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле. Так, камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары.

Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью, она выходила за пределы всего мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов, в лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, которые ощутил бы человек при виде божества, мечущего с горной вершины молнии на землю.

Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась. И Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих собратьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движения волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери.

Волчонку это не нравилось, и, когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана Кичи, и повело ее за собой, как пленницу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим.

Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Макензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов; тут, собственно, не было ничего примечательного,— это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся.

Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще маячили в вышине. И, когда ветер пробегал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него.

Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность — потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность появляться самым неожиданным, самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего... Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.

Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев.

Белый Клык признал в щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем не опасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский прием. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык тоже подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и Белому Клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришелся как раз в то плечо, которое все еще болело у Белого Клыка после схватки с рысью,— болело глубоко, около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами.

Но Лип-Лип недаром родился в индейском поселке и недаром участвовал в стольких драках со щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал под защиту матери. Это была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врожденную нена-

висть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям.

Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство Белого Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый Клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому Клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще ближе.

Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык не подозревал о существовании огня. Но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый Клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык.

В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей.

Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей.

А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с Белым Клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал

глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи,— к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним.

Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и миру, царившему у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ — мужчин, женщин, детей,— все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий.

Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому как человек взирает на им же сотворенных богов, Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами — божеством. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделяет бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира; они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь! Они были боги!

Глава вторая
НЕВОЛЯ

Каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе.

Человек испытывает душевную боль, когда его богов ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его руками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль неведома. В противоположность человеку, боги которого — это легкая дымка мечты, никогда не обретающая реальности, это призраки, наделенные добротой и силой, это взлеты его *я* в царство духа,— в противоположность человеку, волк и дикая собака, пригревшиеся у разведенного человеком костра, видят, что их боги облечены в плоть и кровь, что

они осязаемы, занимают определенное место в пространстве и подчиняются закону времени, чтобы выполнить поставленные ими перед собой цели и оправдать свое назначение в жизни. Вера в таких богов дается легко, ее ничто не может поколебать. От такого бога никуда не уйдешь. Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всесильный, гневный и добрый. В нем тайна и могущество, облеченные плотью, которая истекает кровью, когда ее рвут, и которая на вкус ничем не хуже любого другого мяса.

Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа казались ему богами, несомненными и вездесущими богами. И он покорился им, так же как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил; когда прогоняли прочь, поспешно убегал; когда грозили, припадал к земле; потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича.

Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его тело они вольны были искалечить, растоптать или пощадить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался он ему нелегко: слишком многое в его натуре восстало против того, с чем ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. И вместе с тем, незаметно для самого себя, Белый Клык начинал постигать прелесть новой жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному.

Но все это случилось не сразу — за один день нельзя отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог отречься от наследия предков, не мог забыть Северную глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный, встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым пытливым язычком.

Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться,— чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее.

Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип

преследовал свою жертву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и забияка был тут как тут, ходил за ним по пятам, рычал, привязывался к нему и, если людей поблизости не было, лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громадное удовольствие, потому что он всегда выходил из них победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым большим наслаждением в жизни, приносило Белому Клыку лишь одни страдания.

Однако запугать Белого Клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему, как волку, а бесконечные преследования еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное, что было в нем, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками — Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его прочь.

Вскоре почти все щенячье, что было в Белом Клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишенный возможности давать выход своей энергии в игре, он ушел в себя и стал развиваться умственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом.

Еще в первые дни своей жизни в поселке Белый Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, Белый Клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя.

Возбужденный погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всем бегу обогнув вигвам, он с размаху налетел прямо на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хотя Кичи и была привязана, но отделаться от нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впилась в него зубами.

Откатившись наконец от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно и морально. Шерсть на нем торчала клочьями в тех местах, где по ней прошлись зубы Кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему докончить, он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка! Лип-Лип пустился наутек, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и Белый Клык, превратившийся в разъяренного дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней.

Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему поселку. И, пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от Белого Клыка на почтительном расстоянии. Белый Клык даже ощетинивался и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать с отмщением до тех пор, пока не встретится с Белым Клыком один на один.

В тот день Кичи и Белый Клык вышли на опушку леса неподалеку от поселка. Белый Клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и, когда она остановилась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на нее. Она стояла не двигаясь. Белый Клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смотрел на нее, и казалось, что настойчивость и нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на поселок.

Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов. Но еще яснее она слышала зов огня и человека — зов, на который из всех зверей откликается только волк — волк и дикая собака, ибо они братья.

Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала обратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми, таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый Клык сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Белому Клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов Северной

глуши или человека. Он привык полагаться на нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый Клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который все еще летел из лесной чащи.

В Северной глуши мать и детеныш недолго живут друг подле друга, но люди часто сокращают и этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Макензи на Большое Невольничье Озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики Серого Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека, так боялся он разлуки с матерью.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как следует. Рука у индейца была тяжелая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим.

Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые разнообразные чувства волновали его. Сначала он удивился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара. Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе — Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее.

Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно, кто-то должен был уступить — и уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Боль от случайных ударов палкой или камнем казалась лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец Серый Бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести. Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в Белом Клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин.

Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Серый Бобр пустил в ход тяжелое весло, и, когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый Бобр еще раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя кусать бога — твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за которые не было ни пощады, ни снисхождения.

Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаха ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый Клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспомощен и не мог защищаться; и ему бы несдобровать, если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от Белого Клыка.

Такова была человеческая справедливость. И Белый Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствовать признательности к человеку. Он послушно поплелся за Серым Бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают.

В ту же ночь, когда в поселке все стихло, Белый Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил Серого Бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю лишь тогда, когда выходил один на опушку леса.

В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая Кичи.

Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого Клыка. Многое в ней его интересовало. События в поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с Серым Бобром. Послушание — строгое, неукоснительное послушание требовалось от Белого Клыка; и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.

А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швырял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не погладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть, его тяжелый кулак, может быть, его справедливость и могущество или все это вместе влияло на Белого Клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину.

Какие-то предательские силы незаметно опутывали Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке.

И, хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, поселок становился ему все дороже и дороже. Но сам он не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по Кичи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к прежней, свободной жизни.

Глава третья
ОТВЕРЖЕННЫЙ

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в поселке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что причина всего этого Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем.

Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не выпадало. Начало каждой

драки служило сигналом для всех молодых собак — они сбегались со всего поселка и набрасывались на Белого Клыка.

Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему возможно большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его,— Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле.

Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал: рычат, прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встает дыбом. Белый Клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать. И Белый Клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякого предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, когда тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжелые раны. Кроме того, Белый Клык понял, что важно застать врага врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится,— и тогда дело наполовину сделано.

Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у нее на шее будет незащищенным. Белый Клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на нее неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей в горло.

Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов, но все же не один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища Серого Бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам.

Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на него зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался все время начеку: каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно:

сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад.

Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак — и старых и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза, подергивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать план действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почетом даже при стычках со взрослыми собаками.

Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на верную смерть, или оглашал весь поселок пронзительным визгом, улепетывая от выскочившего из засады волчонка.

Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлекшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбужденные погоней собаки забывали обо всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.

В молодых собаках живет непреодолимая потребность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту потребность, превращая войну с ним в увлекательную забаву. Охота за волчонком стала для них самым любимым развлечением — правда, развлечением нешуточным и подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с ко-

торым никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою очередь, не останавливался перед риском. В те дни, когда надежда на возвращение Кичи еще не покидала Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в соседний лес. Но собакам не удавалось догнать его там. По тявканью и вою Белый Клык определял, где они находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя между деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме того, связь его с Северной глушью была теснее, чем у собак,— он лучше понимал все ее тайны и хитрости. Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке: переплывал ручей, запутывал свои следы и спокойно отлеживался где-нибудь в лесных зарослях, прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей.

Вызывая и у своих собратьев, и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нём не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого — вот закон, который руководил им. Серый Бобр — божество, он наделен силой; поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом,— слабы, и их надо уничтожать.

В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто: он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь.

Глава четвертая
ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уж чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и, когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены на пироги, он понял все. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.

Белый Клык решил остаться и при первой же возможности улизнуть из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть,

проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом послышались и другие голоса: жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серого Бобра.

Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни движения... Это показалось ему подозрительным, его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг.

Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поджимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного: перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность.

Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению поселка, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность.

И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами: на землю легла тень дерева, освещенного выглянувшей из-за облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк.

Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда.

Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать было некуда.

Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его обрадовал бы даже камень, брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжелая рука Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.

Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам Серого Бобра, сел посередине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствие грядущих невзгод и страданий — все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.

С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось: он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше.

Там, где река протекала между крутыми берегами, Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега: тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся в глубь страны.

По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев, и все-таки мысль о другом береге реки Маккензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Маккензи.

Белый Клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать — сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение

всего небо нахмурилось и пошел снег — мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу.

В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Макензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не заметила бы лося, Серый Бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Макензи, а Белый Клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней.

Наступила ночь. Снег повалил сильнее. И Белый Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клу-Куч, занятую стряпней, Серого Бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо!

Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но все же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам.

Белый Клык ползком приближался к костру. Серый Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык пополз еще медленнее; чувство унижения и покорности давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком. Он полз прямо к Серому Бобру, все замедляя и замедляя движения, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и наконец лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый Клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало.

Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный,

Белый Клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а в поселке, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.

Глава пятая
ДОГОВОР

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по реке Макензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним. Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял или взял на время у соседей. Во вторые сани, поменьше, были впряжены молодые, собаки, и ими правил Мит-Са. Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.

Белому Клыку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и, когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперек груди и через спину; к этому ремню была привязана длинная веревка, соединявшая его с санями.

Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному Белому Клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной веревке. Все веревки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольце на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев — не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих саней и поклажи распределялась на бóльшую поверхность. С той же целью — как можно более равномерного распределения тяжести — собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой.

У веерообразной упряжки было еще одно преимущество: разная длина веревок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно было только с той соседкой, которая шла на более короткой веревке. Однако тогда нападающий оказывался лицом к лицу со своим врагом и, кроме того, подставлял себя под удары бича погонщика. Но самое большое преимущество этой упряжки заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на постромки, а чем быстрее катились сани, тем быстрее бежала и преследуемая собака. Таким образом, задняя никогда не могла догнать переднюю.

Чем быстрее бежала одна, тем быстрее удирала от нее другая и тем быстрее бежали все остальные собаки. В результате всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитрыми уловками человек и укреплял свою власть над животными.

Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него и мудрость. Он давно уже заметил, что Лип-Лип не дает прохода Белому Клыку; но тогда у Лип-Липа были свои хозяева и Мит-Са осмеливался только исподтишка бросить в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са привязал его на самую длинную веревку. Таким образом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали большую честь, но на самом деле чести в этом было мало, потому что забияку и главаря всей стаи Лип-Липа ненавидели и преследовали теперь все собаки.

Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную веревку, собакам казалось, что он удирает от них. Им были видны только его задние ноги и пушистый хвост, а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бегущей собаки вызывает в других собаках уверенность, что она убегает именно от них и что ее надо во что бы то ни стало догнать.

Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорбленный Лип-Лип то и дело порывался кинуться на своих преследователей, но Мит-Са каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом, свитым из вяленых оленьих кишок, и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей стаей, однако бич был куда страшнее,— и ему не оставалось ничего другого, как натягивать веревку и уносить свои бока от зубов товарищей.

Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, возбуждая в них ревность и ненависть к вожаку. Мит-Са кормил его мясом в присутствии всей своры и никому другому мяса не давал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмеливались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке. А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку подальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.

Белый Клык принялся за работу охотно. Покорившись богам, он в свое время проделал гораздо более длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже, чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле богов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличивала значение человека. Он не нуждался в обществе своих собратьев: Кичи была почти забыта, и верность богам,

власть которых признал над собой Белый Клык, служила ему чуть ли не единственным способом выражать свои чувства. И Белый Клык усердно работал, слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он трудился честно и охотно. Честность в труде присуща всем прирученным волкам и прирученным собакам, а Белый Клык был наделен этим качеством в полной мере.

Белый Клык общался и с собаками, но это общение выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не играл с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сторицей за все укусы и притеснения, которые ему пришлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарем стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь тогда, когда бежал на конце длинной веревки впереди своих товарищей и подскакивающих по снегу саней. На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Серому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, потому что теперь клыки всех собак были направлены против него и он испытал на себе всю горечь вражды, которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.

После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться вожаком стаи, но он был слишком угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил закон: *притесняй слабого и подчиняйся сильному*. Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда — горе той собаке, которая еще не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока Белый Клык доканчивал ее долю.

Время от времени то одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку.

Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все что угодно. Это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или

ощетиниться, как Белый Клык кидался на него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения.

Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него. Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось вести с раннего детства, когда вдвоем с матерью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И когда Серый Бобр встречал на своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно.

Прошло несколько месяцев, а путешествие Серого Бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий.

Мир этот был суров и жесток, в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.

Белый Клык не чувствовал привязанности даже к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но богом жестоким. Белый Клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Белого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таились еще никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы коснуться этих глубин, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Это было не в его обычае. Превосходство Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара.

И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук: в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они причиняли боль. От них надо было держаться подальше: они швыряли камнями, размахивали палками, дубинками, бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь затем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не выносил их. Когда те подхо-

дили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил.

В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего Озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый Клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом.

Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый Клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено, он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый Клык хорошо знал закон: все остатки мяса, например кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник, тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка прокусили ему руку, державшую дубинку.

Но Белый Клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съежившись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем: Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сделали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, Белый Клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные: они делятся на его богов и на богов чужих; и это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все — и справедливость и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом.

В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Мит-Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой — это дело богов, это

его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит-Са рассказал в поселке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно.

Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними; и все-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга побеждало в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество Серого Бобра в покое.

Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трусливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того (как он убедился на опыте), промежуток времени между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, Белого Клыка, а потому, что боится Серого Бобра. Учуяв вора, Белый Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять,— он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогали Белому Клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в себе.

Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из Северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам — волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога Белый Клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему.

Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испы-

тывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с Северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз.

Глава шестая
ГОЛОД

Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Мит-Са снял с него упряжь. Хотя Белый Клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков. Унаследовав свой рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное; в драках он брал скорее увертливостью, чем силой; шкура — серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без участия.

Белый Клык бродил по поселку, с чувством спокойного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие.

Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем.

Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыто с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, Белый

Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними.

Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим позором.

Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся он грозным и свирепым видом — все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость.

Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению, он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события: Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бэсика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.

Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся Белый Клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с еще большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое совершенно не заслу-

живало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бэсик лег на землю и начал зализывать свои раны.

После этого случая Белый Клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет,— он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось упряжке Белого Клыка. Щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех Белый Клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше.

В середине лета с Белым Клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, но все-таки *помнил*, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом.

Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла Белого Клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.

Один из ее щенков подполз к Белому Клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый Клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна Белому Клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога́ ему.

В его мире не осталось места для Кичи, так же как и в ее мире не осталось места для Белого Клыка.

Воспоминаний как не бывало — он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе, он постиг его не на основании жизненного опыта — этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного.

Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка прибывало, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяла наследственность и окружающая среда. Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый Клык на огонь, зажженный человеком, Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из Белого Клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк.

И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан Белый Клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня все больше и больше ценил его.

Но возмужалость не освободила Белого Клыка от одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались Белому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому Бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведенный смехом до бешенства.

Когда Белому Клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Макензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, кролики почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой.

Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, кто был посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы.

В это тяжелое время Белый Клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки,— сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю; при этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда, и только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги.

Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало Белому Клыку наедаться досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в тысячу раз более свирепой.

Когда голод донимал Белого Клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на кролика, поставленный Серым Бобром, а Серый Бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.

Как-то раз Белый Клык накинулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и в конце концов примкнул бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.

Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он на-

ходил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало,— ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей.

Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Ки́чи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов и, как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился Белый Клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни — молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.

Прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день.

Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который, так же как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон крутой берег, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно,— это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Так было и теперь: завидев своего врага, Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега.

Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Макензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся

поселок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки говорили о довольстве. И, когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой — значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему свежей рыбы. И он лег и стал ждать возвращения Серого Бобра.

Часть четвертая

Глава первая
ВРАГ

Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са подкидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался; возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног.

И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение трех лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком.

Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог — таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость, а бежать так приходилось целый день.

Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с Белым Клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами тридцатифутового бича, свитого из оленьих кишок. И Белый Клык терпел все это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав.

Если какое-нибудь живое существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти,— все это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грызней, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом.

Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак, все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот: размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И собаки поняли наконец, что, если сани останавливаются по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу.

Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

Но для собак эти уроки пропадали даром — они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляли ее забывать то, что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало еще одно нема-

ловажное обстоятельство: они чувствовали в нем иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу.

Так же как и Белый Клык, все они были прирученные волки, но за ними стояло уже несколько прирученных поколений. Многое, чем наделяет волка Северная глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность Белого Клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глушью; он был символом и олицетворением ее. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме, со всех сторон обступавшей костры человека.

Впрочем, один урок собаки заучили твердо: надо держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но стоило только кому-нибудь из них затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры мигом забывались.

Однако загрызть Белого Клыка они не могли при всем своем старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый Клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах — были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам.

Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом своих собратьев — врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительною сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мог надивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой собаки!» — говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый Клык расправлялся с их собаками.

Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у Скалистых Гор, вдоль рек Макензи и Поркьюпайна, вплоть до самого Юкона,

долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого, им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.

Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки, Белый Клык избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться на ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчужденность с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нем это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу. Белый Клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не покидал его.

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык увертывался от их клыков; он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сразу несколько противников и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк.

Он обладал еще одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро. Координация сил умственных и физических была совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображение, его мозг без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от ее клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалы за это не следует — природа одарила его более щедро, чем других, вот и все.

Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В конце зимы Серый Бобр пересек водораздел между Макензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах Скалистых Гор.

А когда река Поркьюпайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом, как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял форт Компании Гудзонова залива. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались еще сотни миль, а между тем многие из них находились в пути уже год; меньше пяти тысяч миль не сделал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца света.

В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слухи о «золотой лихорадке» достигли и до его ушей, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если бы его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов сто процентов, а убедился, что можно выручить и тысячу. И, как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы — богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них? Белый Клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов он довольствовался тем, что шнырял вокруг и следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе.

В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание: его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой,— и хорошо, что не удавалось.

Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из этих богов— всего человек десять — постоянно живут в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал пароход (еще одно великое доказательство всемогущества белых людей) и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же два дня Белый Клык увидел их столько, сколько не видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться.

Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло.

Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли исключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и позволял стае докончивать начатое им дело. В это время белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку. Белый Клык был очень мудр.

Но его собратья тоже кое-чему научились: они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристает к берегу. Вот собаки сбежали с парохода, и две-три из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обрат-

но и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его собаку-сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд, и шесть собак из стаи повалились замертво. Это было еще одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившееся Белому Клыку.

Белый Клык упивался всем этим, он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его, потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала следующего парохода.

Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов.

Для того чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому Клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег,— этого было достаточно, они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу; чуяли в нем то, что ходило, крадучись, во мраке, окружающем человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед Северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать все живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим правом, они защищали себя и богов, допустивших их в свое общество.

И поэтому выходцам с юга, сбегавшим по трапу на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед Северной глушью сохранился и в них. На представшего перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами — они смотрели на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду.

Все это доставляло удовольствие Белому Клыку. Если одним

своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них самих. Они чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно так же относился к ним и он.

Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет в уединенном логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь по-иному — и он сам был бы иным. Не будь в поселке Лип-Липа, Белый Клык подружился бы с другими щенками, был бы больше похож на собаку и с большей терпимостью относился бы к своим собратьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нем чувство привязанности и любви. Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих собратьев.

Глава вторая

СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя «закваской» и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались «чечакос». Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на соде, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что соды у них не было.

Но все это — между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы Белого Клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечение не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках Белый Клык.

Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора во главе с Белым Клыком разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого Клыка.

Старожилы форта прозвали этого человека «Красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало; поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы, удлиненная голова. В детстве, еще до того как за ним укрепилось новое прозвище «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком».

Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди, а может быть, это только так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши.

Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось,— возможно, потому, что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре Красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски, она соскребла для них все остатки со своей палитры — и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек уродился. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпней, а Красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело.

Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Потом, когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.

Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть все то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдание. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть.

Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впервые зашел к Серому Бобру. Еще задолго до появления Красавчика Смита, по одному звуку его шагов, Белый Клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но, лишь только этот человек подошел к палатке, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый Клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у Серого Бобра, он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал на Белого Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии пятидесяти футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад, на разговаривавших людей.

Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь — ни на Макензи, ни на Юконе. Белый Клык — мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит — все равно что человеку прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не продаст Белого Клыка.

Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у Серого Бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и, чем больше пустел мешок, в котором они хранились у Серого Бобра, тем он становился беспокойнее.

Наконец все ушло: и деньги, и товары, и спокойствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит снова завел речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и Серый Бобр прислушался к предложению более внимательно.

— Сумеешь поймать — собака твоя,— было его последнее слово.

Бутылки перешли к нему, но через два дня Красавчик Смит сам сказал Серому Бобру:

— Поймай собаку.

Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со вздохом облегчения улегся около палатки. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе руки этого человека, он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше.

Как только Белый Клык улегся, Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда Белый Клык слышал бульканье.

Так прошел час, и вдруг до ушей Белого Клыка донеслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый Бобр сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и Серый Бобр проснулся.

Красавчик Смит подошел к палатке и остановился рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а Белый Клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю.

Белый Клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый Клык все еще лежал. Серый Бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги.

Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он по-

плелся за Красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и улегся спать. Белый Клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну: ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к палатке Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не мог владеть им.

Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый Бобр снова привязал его и утром отвел к Красавчику Смиту. Вот тут-то Белый Клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст. И таких побоев Белому Клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал Серый Бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь.

Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда Белый Клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и Красавчик Смит не представлял собою исключения: не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Красавчика Смита не следует винить за это.

Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр надел ремень ему на шею и передал привязь Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И, когда Красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый Клык не любил Серого Бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого Клыка, верность отличала его от всех

других животных, верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами.

После избиения Белого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз Красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за Серого Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же Белый Клык отдался Серому Бобру телом и душой. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать.

И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами, а для того чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки.

Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к Серому Бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью — он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова Белый Клык позволил надеть себе ремень на шею, и снова за ним пришел Красавчик Смит. И на этот раз Белому Клыку досталось еще больше. Серый Бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться. Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за Красавчиком Смитом в форт.

На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Макензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал богом — страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасшествие; он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Глава третья
ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота.

Издеваясь над Белым Клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем Красавчик Смит.

До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — правда, свирепую вражду — только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Красавчика Смита.

Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в вышину, он весил девяносто фунтов — гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия — и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме.

Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы (это был мастиф), но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь уверты-

ваться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад.

Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять себя. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трех собак. Потом, через несколько дней,— только что пойманного взрослого волка. А в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал.

Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Доусона. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «Боевого Волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю.

Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решетку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспособляться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка, но пока что все его старания были тщетны.

Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на

то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке; теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.

Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил напоказ своего Боевого Волка, и люди платили по пятидесяти центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.

Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели, как на страшного дикого зверя, и это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого Клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан,— доказательство его способности применяться к окружающей среде.

Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка напоказ, он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому Клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников.

Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда Белому Клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого Клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков — волков, пускали в ход свой излюбленный боевой при-

ем: кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие с Макензи, ньюфаундленды, эскимосские собаки — все испробовали на Белом Клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их.

Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, ощетиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку.

Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении.

Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и Красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами.

Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться — никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога — первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна. И в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров.

Глава четвертая

ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.

И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал:

— Взять его!

Приземистый, неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился против Белого Клыка.

Из толпы закричали:

— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его!

Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, стоявшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык встречать таких противников и ждал, когда к нему приведут настоящего бойца.

Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Послышалось низкое приглушенное рычание. Движения рук человека точно совпадали с рычанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперед, он начинал рычать, потом умолкал, но на следующее прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук, поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком, и так же, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание.

Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону.

На толстой шее у бульдога, около самого уха, показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за Белым Клыком. Подвижность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Белый Клык прыгнул на буль-

дога еще и еще раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невредимым, а этот необычный противник продолжал спокойно и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась какая-то определенная цель, от которой его ничто не могло отвлечь.

Все его движения, все повадки были проникнуты этой целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жизни не встречалась ему такая собака. Шерсть у нее была совсем короткая, кровь показывалась на ее мягком теле от малейшей царапины. И где пушистый мех, который так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого труда впивались в податливое тело бульдога, который, судя по всему, совсем не умел защищаться. И почему он не визжит, не лает, как делают все собаки в таких случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог терпел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони за противником.

Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но Белый Клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюдным. Но эта собака все время держалась на расстоянии, прыгала взад и вперед и увертывалась от него. И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжимала челюсти и отскакивала прочь.

А Белый Клык никак не мог добраться до горла своего противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме того, выдающаяся вперед челюсть служила ему хорошей защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку.

В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, и без того изодранное в клочья, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок в противоположную сторону.

Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрач-

ной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя. Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить все нападения противника. Короткие уши Чероки повисли бахромой, шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были располосованы и залиты кровью,— и все это наделали молниеносные укусы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать.

Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый Клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника, он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. И впервые за всю боевую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями того, что Боевой Волк не сумел устоять на ногах. Он извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следующее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло.

Хватка была не совсем удачная, она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый Клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала его движения, лишала его свободы, как будто он попал в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не помнил себя. Жажда жизни овладела им. Его тело властно требовало свободы. Мозг, разум не участвовали в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни, к движению — прежде всего к движению, ибо в нем и проявляется жизнь.

Не останавливаясь ни на секунду, Белый Клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть пятидесятифунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно — не разжимать челюстей. Изредка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться лапами земли, он пытался сопротивляться Белому Клыку и тут же описывал круг в воздухе, повинуясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево.

Все это не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не разжимать зубов, и он не разжимал их.

Белый Клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не приходилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зубами, отскочил; вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не разжимая зубов Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый Клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчетливо: стараясь не упустить захваченного, он пользовался малейшей возможностью захватить больше. Такая возможность предоставлялась ему, когда Белый Клык лежал спокойно, но лишь только тот начинал рваться, бульдог сразу сжимал челюсти.

Белый Клык мог дотянуться только до загривка Чероки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но перебирать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был незнаком ему, да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и, все еще не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым углом к Белому Клыку.

Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки медленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка оберегали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шкурой, но это не мешало ему пользоваться малейшей возможностью, чтобы захватить ее еще больше. Он душил Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой становилось все труднее и труднее.

Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники Белого Клыка приуныли и отказывались поставить десять против одного и двадцать против одного. Но нашелся один смельчак, который не побоялся принять пари в пятьдесят против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Это возымело свое действие. Белый Клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидесятифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взви-

вался на дыбы, вскидывал своего врага вверх, и все-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.

Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. Но аплодисменты не помешали ему. Хвост и массивные челюсти действовали совершенно независимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сторону, а челюсти все сильнее и сильнее сдавливали Белому Клыку горло.

И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с санями. Они направлялись в город, возвращаясь, по всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспедиции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, что тут происходит.

Один из них был высокий молодой человек; его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами.

Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротивление было бесцельно. Безжалостные челюсти бульдога все сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало, и дыхание его становилось все прерывистее и прерывистее. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени, к тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры Белого Клыка.

Тем временем зверская жестокость Красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на левую, он находился в состоянии неустойчивого равновесия. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.

Молодой человек повернулся к толпе.

— Трусы! — закричал он.— Мерзавцы!

Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым загорается только здравомыслящий человек. Его серые глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял его намерений. Не подозревая, что перед ним отчаянный трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и, крикнув: «Мерзавец!» — вторично опрокинул его навзничь. Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу безопаснее, и уже не делал больше попыток подняться на ноги.

— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг.

Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были напрасны. Сдавливая ему морду, стараясь разомкнуть челюсти, он не переставал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»

Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошеного вмешательства. Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на толпу, как протестующие голоса смолкли.

— Мерзавцы вы такие! — крикнул он снова и принялся за дело.

— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их никогда не растащим,— сказал наконец Мэтт.

Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.

— Крови вышло немного,— сказал Мэтт,— до горла еще не успел добраться.

— Того и гляди, доберется,— ответил Скотт.— Видали? Еще выше перехватил.

Волнение молодого человека и его страх за участь Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове — раз, другой. Но это не помогло. Чероки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и не разожмет челюстей.

— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе.

Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов.

— Всуньте ему что-нибудь в пасть,— посоветовал Мэтт.

Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками.

Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:

— Не сломайте ему зубов, незнакомец.

— Не зубы, так шею сломаю,— ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.

— Говорю вам, не сломайте зубов! — еще настойчивее повторил Тим Кинен.

Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось.

Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил:

— Ваша собака?

Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.

— Тогда разожмите ей зубы.

— Вот что, друг любезный,— со злобой заговорил Тим,— это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать.

— Тогда убирайтесь,— последовал ответ,— и не мешайте мне. Видите, я занят.

Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.

Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.

— Держите свою собаку! — скомандовал Скотт Тиму.

Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога.

— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие.

Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его! — приказал Скотт.

И Тим Кинен увел Чероки в толпу.

Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу... Задушенная собака.

Мэтт осмотрел его.

— Чуть жив,— сказал он,— но дышит все-таки.

Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на Белого Клыка.

— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт.

Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен:

— Триста долларов.

— Ну, а такая, на которой живого места не осталось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.

— Половину,— решил погонщик.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту:

— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее полтораста долларов.

Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму.

Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Не продаю,— сказал он.

— Нет, продаете,— заявил Скотт,— потому что я покупаю. Получите деньги. Собака моя.

Все еще держа руки за спиной, Красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком.

Красавчик Смит втянул голову в плечи.

— Собака моя...— начал было он.

— Вы потеряли все права на эту собаку,— перебил его Скотт.— Возьмите деньги, или мне ударить вас еще раз?

— Хорошо, хорошо,— испуганно забормотал Красавчик Смит.— Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права.

— Верно,— ответил Скотт, передавая ему деньги.— У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь!

— Дайте мне только вернуться в Доусон,— пригрозил ему Красавчик Смит,— там я найду на вас управу.

— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доусона выпровожу! Поняли?

Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.

— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.

— Да,— буркнул Красавчик Смит, попятившись от него.

— Как?

— Да, сэр! — рявкнул Красавчик Смит.

— Осторожнее. Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с Белым Клыком.

Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой.

К одной из этих групп подошел Тим Кинен.

— Что это за птица? — спросил он.

— Уидон Скотт,— ответил кто-то.

— Какой такой Уидон Скотт?

— Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков друг-приятель.

— Я сразу понял, что это важная персона,— сказал Тим Кинен.— Нет, думаю, с таким лучше не связываться.

Глава пятая
НЕУКРОТИМЫЙ

— Безнадежно! — сказал Уидон Скотт.

Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который так же безнадежно пожал плечами.

Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь ощетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из саней. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта — наставлений, подкрепленных палкой, по́нимали, что с Белым Клыком лучше не связываться.

Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании.

— Нет, он волк, а волка не приручишь,— сказал Уидон Скотт.

— Да кто его знает? — возразил Мэтт.— Может, в нем от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с того меня уже не собьешь...

Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону Лосиной горы.

— Ну, не заставляйте себя просить! — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения.— Выкладывайте, в чем дело.

Погонщик ткнул большим пальцем назад, показывая на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это неважно, а только его пробовали приручить.

— Быть того не может!

— Я вам говорю — пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на груди.

— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил в упряжке.

— А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?

— А в самом деле! — воскликнул Скотт.

Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой:

— Мы его держим уже две недели, а он, кажется, еще злее стал.

— Давайте спустим его с цепи — посмотрим, что получится,— предложил Мэтт.

Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Да, да! — продолжал Мэтт.— Я знаю, вы это уже пробовали, так попробуйте еще раз, только не забудьте взять палку.

— Хорошо, но теперь я поручу это вам.

Погонщик вооружился палкой и подошел к сидевшему на

привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя.

— Смотрите, как на палку уставился,— сказал Мэтт.— Это хороший признак. Значит, пес не так уж глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой. Не бешеный же он, в конце концов.

Как только рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он ощетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время следил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.

Белому Клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел Красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь.

Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку?

Белый Клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую минуту ожидая нападения. Он не знал, как вести себя, настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и все обошлось благополучно.

Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и, остановившись футах в двенадцати от людей, настороженно уставился на них.

— А не убежит? — спросил новый хозяин.

Мэтт пожал плечами.

— Рискнем! Риск — благородное дело.

— Бедняга! Больше всего он нуждается в человеческой ласке,— с жалостью пробормотал Скотт и с этими словами вошел в хижину.

Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали.

— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно. Майор кинулся к мясу, и в ту же минуту, когда кусок уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал свое дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, красной лужей расползлась по снегу.

— Жалко Майора, но поделом ему,— поспешно сказал Скотт.

Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить Белого Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок, лязг зубов и громкий крик боли.

Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.

— Цапнул все-таки,— сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее белье, на котором расплывался кровавый круг.

— Я же говорил вам, что это безнадежно,— упавшим голосом проговорил Скотт.— Я об этой собаке много думал, не выходит она у меня из головы. Ну что ж, ничего другого не остается.

С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем есть.

— Послушайте, мистер Скотт,— взмолился Мэтт,— чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок.

— Полюбуйтесь на Майора,— ответил Скотт.

Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании.

— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.

— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему должна быть мера.

— И мне поделом,— не сдавался Мэтт.— За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить.

— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку,— настаивал Скотт.— Нам ее не приручить!

— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он черт знает что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.

— Да мне вовсе не хочется его убивать,— ответил Скотт, пряча револьвер.— Пусть побегает на свободе, и посмотрим, чего от него можно добром добиться. Вот я сейчас попробую.

Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом.

— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег его Мэтт.

Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.

Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скотта не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться

над его головой. Белый Клык съежился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство! Руки богов с их непререкаемой властью и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще злее, пригнулся к земле еще ниже, а рука все продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной жаждой жизни.

Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку.

Но тут ему довелось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца.

Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь ощетинившись, скаля зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж наверное его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от Красавчика Смита.

— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт.

А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьем в руках.

— Ничего особенного,— медленно, с напускным спокойствием проговорил он.— Хочу сдержать свое обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.

— Нет, не застрелите!

— Нет, застрелю! Вот смотрите.

Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт.

— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте! Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам виноват. И... посмотрите-ка на него!

Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик.

— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.

— Видите, какой он понятливый! — торопливо продолжал Скотт.— Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Отставьте ружье.

— Ладно. Давайте попробуем.— И Мэтт прислонил ружье к штабелю дров.— Да нет! Вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.

Белый Клык успокоился и перестал ворчать.

— Попробуйте еще раз. Следите за ним.

Мэтт взял ружье — и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошел от ружья — Белый Клык спрятал зубы.

— Ну, еще раз. Это просто интересно!

Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его становилось все громче и громче, по мере того как ружье поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за углом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а место, где только что стояла собака, пустовало.

Погонщик медленно опустил ружье, повернулся и посмотрел на своего хозяина.

— Правильно, мистер Скотт. Пес слишком умен. Жалко его убивать.

Глава шестая
НОВАЯ НАУКА

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый Клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не потерпит расправы над собой. С тех пор как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство: впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое суровое наказание грозит ему.

Бог сел в нескольких шагах от него. В этом еще не было ничего страшного — обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе. Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев Белого Клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с Белым Клыком. В мягких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта нежность находила какой-то отклик в Белом

Клыке. Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта, он почувствовал доверие к своему новому богу. В нем родилась уверенность в собственной безопасности — в том, в чем ему столько раз приходилось разубеждаться при общении с людьми.

Бог говорил долго, а потом встал и ушел! Когда же он снова появился на пороге хижины, Белый Клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность.

Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но Белый Клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Боги мудры — кто знает, какое коварство таится в этой безобидной с виду подачке? По своему прошлому опыту, особенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Белый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь.

В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не глядя на нее,— глаза его были устремлены на бога. Ничего плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и проглотил его. Но и тут все обошлось благополучно. Бог предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять подачку у него из рук.

Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью он подошел ближе и наконец решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с бога, Белый Клык вытянул шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось.

Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка — то, о чем Белый Клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал

ему предостережение. Боги хитры — трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей.

Так и есть! Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в Белом Клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их.

И Белый Клык пошел на сделку с самим собой: он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой Белого Клыка становилось все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съежившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть в один день все то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля бога, и он делал все возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей.

Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гладя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у Белого Клыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове и в горле начинало клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреждая бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся истинные намерения бога! В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос может перейти в гневный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмут Белого Клыка, словно тисками, и лишат его всякой возможности сопротивляться наказанию.

Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука его все так же поднималась и снова касалась Белого Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство. Инстинкт восставал против такого обращения, оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, эти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почесывать их; приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка: он все так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нем верх.

— Ах черт возьми!

Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.

При первых же звуках его голоса Белый Клык отскочил назад и свирепо зарычал.

Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой.

— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад.

Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над Белым Клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во все глаза — не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины.

— Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт,— разглагольствовал погонщик,— но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее.

И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума. А Белый Клык должен был преодолеть веления инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь.

Прошлое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но опровергало эту новизну. Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришел из Северной глуши и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то время он был всего-навсего щенком, еще не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь обработала Белого Клыка слишком усердно: она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого Боевого Волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться — значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки. И это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую твердость, стала узловатой, неподат-

ливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения.

И все-таки новая обстановка, в которой очутился Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры Белого Клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так Белый Клык узнал, что такое *любовь*. Она заступила место *склонности* — самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами.

Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому Клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на Белом Клыке с тех далеких дней, когда он покинул Северную глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из Северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке Серого Бобра.

И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше Красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ездовые собаки уже спали, и первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значат походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина.

Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза,— тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство.

Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыком и долг этот надо выплатить,— и поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно

больше нежности. Он взял себе за правило ежедневно и подолгу ласкать и гладить его.

На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клыка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-помалу он начал находить в ней удовольствие. И все-таки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог отучиться: как только рука человека касалась его, он начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки. Посторонний не расслышал бы их: для него рычание Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением первобытной дикости, от которой у человека кровь стынет в жилах. С той дальней поры, когда Белый Клык жил с матерью в пещере и первые приступы ярости овладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже не мог выразить по-иному своих чувств. Тем не менее чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом реве новые нотки, которые только одному ему чуть слышно говорили о том, что собака испытывает удовольствие.

Время шло, и *любовь*, возникшая из *склонности*, все крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью — необузданной радостью, пронизывающей все существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения.

Белый Клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жесткость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые и новые черты. В нем зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь Белый Клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь все стало иначе: ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, например, по утрам, вместо того чтобы бродить в поисках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, Белый Клык оставлял теплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде — даже о еде! — лишь бы побыть около бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город.

И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество,

лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже немолод и слишком суров для этого. Постоянное одиночество выработало в нем сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтобы доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке, но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым, молчаливым обожанием. Только пристальный взгляд глаз, следивших за каждым движением хозяина, выдавал чувства Белого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом.

Белый Клык начинал приспособляться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле.

Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэтта,— и Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками.

У клондайкских саней, в отличие от тех, на которых ездят на Макензи, есть полозья. Способ запряжки здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегая целый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый Клык.

— Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение,— за-

говорил как-то Мэтт,— то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку полтораста долларов. Ловко вы провели Красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили.

Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!»

Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер; он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше.

Хозяин не приходил. Утром дверь открылась, и на крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел на погонщика: у него не было другого способа спросить о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.

Получив письмо в Серкл-сити, Уидон Скотт прочел следующее:

«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох».

Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать — ничего не действовало: Белый Клык поднимал на него потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на передние лапы.

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам.

— А где волк? — спросил он и увидел его.

Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина.

— Черт возьми! — воскликнул Мэтт.— Да он хвостом виляет!

Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движения его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение: чувство глубокой любви засветилось в них.

— На меня небось ни разу так не взглянул, пока вас не было,— сказал Мэтт.

Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присев на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его — почесывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем прежде.

Но это было не все. Каким образом радость помогла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку; и, спрятавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину все теснее и теснее.

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза.

— Вот поди ж ты! — воскликнул пораженный Мэтт. Потом добавил: — Я всегда говорил, что это не волк, а собака. Полюбуйтесь на него!

С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести, у них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен,— и как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон.

— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины.— Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует. Ну, еще, еще!

Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно — чудесная буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один — собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности.

Научившись прижиматься к хозяину головой, Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Голову

свою он оберегал больше всего и не выносил, когда до нее дотрагивались. Так велела ему Северная глушь: бойся капкана, бойся всего, что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь к хозяину, Белый Клык по собственной воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной как знаешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и еще двойка...— подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычание.

Переглянувшись, они вскочили из-за стола.

— Волк дерет кого-то! — сказал Мэтт.

Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.

— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо.

Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежавшего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предосторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык старался во что бы то ни стало добраться зубами до горла незнакомца; от рукавов куртки, синей фланелевой блузы и нижней рубашки у того остались одни клочья, а искусанные руки были залиты кровью.

Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил назад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозяина и после его резкого окрика быстро успокоился.

Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию Красавчика Смита, погонщик отскочил назад как ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо его перекосило от ужаса, как только он взглянул на Белого Клыка.

В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку.

Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял Красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух.

А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:

— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так, так, значит, просчитался этот молодчик!

— Он небось подумал, что на него вся преисподняя кинулась,— ухмыльнулся Мэтт.

А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Часть пятая

Глава первая
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают.

— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином погонщик.

Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливанье, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз.

— Чует, в чем дело,— сказал погонщик.

Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз.

— На кой черт мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Вот я то же самое говорю,— ответил Мэтт.— На кой черт вам волк в Калифорнии?

Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему показалось, что Мэтт осуждает его.

— Наши собаки с ним не справятся,— продолжал Скотт.— Он их всех перегрызет. И, если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему.

— Настоящий бандит, что и говорить! — подтвердил погонщик.

Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Нет, это невозможно,— сказал он решительно.

— Конечно, невозможно,— согласился Мэтт.— Да вам придется специального человека к нему приставить.

Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул головой. В наступившей тишине стало слышно, как Белый Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь.

— А все-таки здорово он к вам привязался,— сказал Мэтт.

Хозяин вдруг вскипел:

— Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.

— Я не спорю, только...

— Что «только»? — оборвал его Скотт.

— Только...— тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится: — Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать.

Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном:

— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда...— И, помолчав, добавил: — Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой.

— Я с вами совершенно согласен,— ответил Мэтт.

Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина.

— Каким образом он догадывается, что вы уезжаете, вот чего я не могу понять! — как ни в чем не бывало продолжал Мэтт.

— Я и сам этого не понимаю,— ответил Скотт, грустно покачав головой.

А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит: бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь.

Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный волчий вой. Белый Клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.

В хижине только что легли спать.

— Он опять перестал есть,— сказал со своей койки Мэтт.

Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под одеялом.

— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверно, сдохнет.

Одеяло на другой койке опять пришло в движение.

— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт.— Заладили одно, как старая баба!

— Совершенно справедливо,— ответил погонщик.

И у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку.

На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь

ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления.

Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину.

— Эх ты, бедняга,— ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине.— Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощанье, порычи, порычи как следует.

Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой.

— Гудок! — крикнул Мэтт.

С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены.

— Кончайте прощаться! Да не забудьте закрыть переднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!

Обе двери захлопнулись одновременно. И Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.

— Берегите его, Мэтт,— говорил Скотт, когда они спускались с холма.— Напишите мне, как ему тут живется.

— Обязательно,— ответил погонщик.— Стойте!.. Слышите?

Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния.

Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, и люди, которых «золотая лихорадка» разорила,— и все они стремились уехать из этой страны, так же как в свое время стремились попасть сюда.

Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина.

Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.

— Вы заперли переднюю дверь?

Скотт кивнул головой и спросил:

— А вы заднюю?

— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.

Белый Клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.

— Придется увести его с собой.

Мэтт сделал два шага по направлению к Белому Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но Белый Клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту.

Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык покорно подошел к нему.

— Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает! — обиженно пробормотал погонщик.— А вы хоть бы раз покормили с того первого дня! Убейте меня — не знаю, как он догадался, что хозяин — вы.

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами.

Мэтт провел рукой ему по брюху.

— А про окно-то мы с вами забыли! Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил.

Но Уидон Скотт не слушал его, он быстро обдумывал что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять Белого Клыка на привязь. Скот схватил его за руку.

— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка... Я... я...

— Что? — вскрикнул погонщик.— Неужели вы...

— Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу.

Мэтт задержался на сходнях.

— Он не перенесет климата! Вам придется стричь его в жару!

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье рукой и повернулся к Белому Клыку, стоявшему рядом с ним.

— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи,— сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клыка и почесывая его за ушами.

Глава вторая

НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско.

Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И никогда еще белые

люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны,— а по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах.

Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей. Белый Клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду.

Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало Белого Клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги.

И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул Белого Клыка,— по крайней мере, Белый Клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей, и, учуяв, стал на стражу около них.

— Вовремя пожаловали,— проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт.— Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов.

Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность! Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед Белым Клыком расстилалась веселая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый Клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов.

Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею... Это враг! В следующую же минуту Уидон Скотт вырвался из ее объятий и схватил Белого Клыка, который рычал и бесновался, вне себя от ярости.

— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Белого Клыка и стараясь усмирить его.— Он думал, что ты хочешь меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего. Он скоро все поймет.

— А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну только тогда, когда его собаки не будет поблизости,— засмеялась миссис Скотт, хотя лицо ее побелело от страха.

Она смотрела на Белого Клыка, который все еще рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз.

— Он скоро все поймет, вот увидишь,— должен понять! — сказал Скотт.

Он начал ласково говорить с Белым Клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом:

— Лежать! Тебе говорят!

Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно.

— Ну, мама!

Скотт протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка.

— Лежать! — крикнул он еще раз.

Белый Клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и Белый Клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля; еще дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон.

Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого так и не последовало. Белый Клык остановился на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку —

К стр. 121

значило бы для Белого Клыка ни больше ни меньше, как пойти против велений инстинкта.

Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед Северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый Клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только Белый Клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обежать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны — овчарка не давала ему проходу.

— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.

Уидон Скотт засмеялся.

— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь.

Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его.

А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как она малопомалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он пробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием — ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости.

Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а Белый Клык несся вперед молча, без малейшего напряжения и, словно призрак, скользил по траве.

Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу, а борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара Белый

Клык со всего размаха кубарем покатился по земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен: уши, прижатые вплотную к голове, судорожно подергивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.

Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый Клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела как шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справедливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из Северной глуши, который ухитрился ловким маневром провести и обогнать ее и вдобавок вывалял в пыли. Она кинулась на Белого Клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой, и вторично сшибла его с ног.

Подоспевший к этому времени хозяин схватил Белого Клыка, а отец хозяина отозвал собак.

— Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики,— говорил Скотт, успокаивая Белого Клыка.— За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты.

Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к Белому Клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый Клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове.

По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла Колли за шею и принялась ласкать и гладить ее. Но Колли никак не могла успокоиться и, возмущенная присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в свое общество.

Боги поднялись на веранду. Белый Клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него; Белый Клык ощетинился и ответил ему тем же.

— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся,— сказал отец Скотта.— После драки они станут друзьями.

— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, Белому Клыку придется выступить в роли главного плакальщика на его похоронах,— засмеялся хозяин.

Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белого Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына.

— Ты думаешь, что?..

Уидон кивнул головой.

— Ты угадал. Твой Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две.

Он повернулся к Белому Клыку.

— Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Колли, а тебя.

Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.

Глава третья

ВЛАДЕНИЯ БОГА

Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыке умение приспособляться к окружающей среде, дарованное ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сиерра-Висте — так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. Здесь, на Юге, собаки знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование Белого Клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в свое жилище. До сих пор Колли и Дику никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться.

На первых порах отношение Дика к Белому Клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сиерра-Висты. Если бы все зависело от одного Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок вещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прогонял его прочь. Еще на Севере Белый Клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей

обособленности и замкнутости и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пес оставил все попытки завязать дружбу с волком и в конце концов уделял ему внимания не больше, чем коновязи около конюшни.

Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные волком и его родичами против его предков. Набеги на овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение, они взывали о мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка, но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом Белому Клыку.

Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял Белому Клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на него, он подставлял под ее острые зубы свое плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону, если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от нее голову. Впрочем, когда она все же ухитрялась вцепиться ему в заднюю ногу, отступать приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил.

Белый Клык много чему должен был научиться в Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами; точно так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали хозяину Белого Клыка.

Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина — Бэт и Мери. Была жена хозяина, Элис, и, наконец, его дети Уидон и Мод, двое малышей четырех и шести лет. Никто не мог рассказать Белому Клыку о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию

голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И соответственно всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин, ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.

Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук: он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. И, когда Уидон и Мод в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчиниться их ласкам, хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика.

Все же проявлять свои чувства Белый Клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но на все это требовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда тот читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка.

Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, а никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности

говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью.

Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он со своей стороны воздерживался от нападений на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они варили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно так же как на Клондайке все это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сиерра-Висты.

Много нового пришлось узнать Белому Клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сиерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов — дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его.

Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в самое сердце.

В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет, к нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью.

На Севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и наткнулся

на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье — и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.

В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава Белого Клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара Белый Клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости.

Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаяв, не зарычав. Все еще не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появись на сцене Колли, ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения оправдались: это грабитель! Он снова принялся за свои старые проделки! Он неисправим!

Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли не оставляла его в покое, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоинство и удрал в поле.

— Он не будет охотиться на кур,— сказал хозяин,— но сначала мне нужно застать его на месте преступления.

Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый Клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного теса, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство.

Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище: конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов. Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался

очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы; затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его — голосе бога — слышался гнев. Больше того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком.

С тех пор Белый Клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Белый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей.

— Такие охотники на кур неисправимы,— грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому Клыку.— Стоит им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови...— И он снова с грустью покачал головой.

Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.

— Знаешь, что я сделаю? — сказал он наконец.— Я запру Белого Клыка в курятнике на целый день.

— Что же будет с курами? — запротестовал отец.

— Больше того,— продолжал сын,— за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар.

— На папу тоже надо наложить какой-нибудь штраф,— вмешалась Бэт.

Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать.

— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался.— Если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе, ты скажешь ему совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, Белый Клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания — они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбегу на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому... Он усвоил новый за-

кон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Но многообразие законов очень часто сбивало Белого Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого ознакомления с этим законом у него создалось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал всем телом, но все же смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов.

Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка присоединиться к погоне. Таким образом Белый Клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и в конце концов усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся человеку,— законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть.

Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки — той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы.

В городе он видел мясные лавки, в которых на самом виду висело мясо. Но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним и, что было хуже всего, трогали его руками. Приходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук, но терпением Белый Клык

уже успел запастись. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью.

Но Белому Клыку не всегда удавалось отделываться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути, встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной цивилизованной собакой.

И все же такое положение дел не совсем удовлетворяло Белого Клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости, и Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек. Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и Белый Клык все понял и почувствовал полное удовлетворение.

Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявших себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню, издали лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин остановил коляску.

— Взять их! — сказал он Белому Клыку.

Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный взгляд.

Тот кивнул головой:

— Возьми их, старик! Задай им как следует.

Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки

лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге в предсмертных судорогах, а третья бросилась наутек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в поле. Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее.

Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разошелся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к Боевому Волку.

Глава четвертая
ГОЛОС КРОВИ

Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой — он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву.

И все-таки между Белым Клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Она знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большой точностью,— и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто Северная глушь все еще держала его в своей власти, как будто волк, живший в нем, только задремал на время.

Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омраченных враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красавчика Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей.

Кроме того, на Юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью: он будил в них инстинктивный страх перед Северной глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же со своей стороны понял, что кусать их совсем не обязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъяренную собаку.

Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого

Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Ее злобное истеричное рычание неотвязно преследовало Белого Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами и была твердо уверена в преступности всех его намерений. Она находила вину там, где ее еще и не было. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный способ Белого Клыка отделаться от нее заключался в том, что он ложился на землю, опускал голову на передние лапы и притворялся спящим. В таких случаях она всегда терялась и сразу умолкала.

За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя, твердо усвоил законы. В характере его появилась положительность, спокойствие, философское терпение. Среда перестала быть враждебной ему. Предчувствие опасности, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой.

Ему не хватало снега, но сам он не понимал этого. «Как затянулось лето!» — подумал бы, вероятно, Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность в снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испытывал легкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта проявлялась только в беспокойстве, причины которого оставались неясными ему самому.

Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться, и, когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог — что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться.

Научился он и играть с хозяином: позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого

никогда не доходило: его зубы щелкали в воздухе, не задевая Скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье зубами и рычание становились все сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друг на друга. А потом так же внезапно — будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся морем — они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку.

Но, кроме хозяина, никто не осмеливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если Белый Клык разрешал хозяину вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и налево, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь.

Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. На Севере он доказывал свою верность людям тем, что ходил в упряжке, но на Юге никто не ездил на санях, и здешних собак не нагружали тяжестями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во время его поездок, найдя в этом новый способ для выражения своей преданности. Ему ничего не стоило бежать так хоть целый день. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью и, проделав миль пятьдесят, все так же резво несся впереди лошади.

Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств, и замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволила ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону. Она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял на нее.

После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только один раз, причем хозяина в то время не было поблизости. Поводом к этому послужили следующие события: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись

выскочившего из-под самых ее копыт зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его.

— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана.

Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому Клыку бежать домой.

Белый Клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. Хозяин заговорил с ним ласково, но серьезным тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным напряжением вслушиваясь в слова.

— Не смущайся, старик, ступай домой,— говорил Уидон Скотт.— Ступай домой и расскажи там, что случилось. Домой, волк, домой!

Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая остального, все же догадался, о чем говорит хозяин. Он повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остановился в нерешительности и посмотрел назад.

— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот раз Белый Клык повиновался.

Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь в пыли и тяжело дышал.

— Уидон вернулся,— сказала мать Скотта.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в дальний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал, пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно посмотрела в ту сторону.

— Все-таки я в постоянной тревоге за детей, когда они вертятся около Белого Клыка,— сказала она.— Только и ждешь, что в один прекрасный день он бросится на них.

Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ловушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозвала их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Белого Клыка в покое.

— Волк всегда останется волком,— заметил судья Скотт.— На него нельзя полагаться.

— Но он не настоящий волк,— вмешалась Бэт, вставая на сторону отсутствующего брата.

— Ты полагаешься на слова Уидона,— возразил судья.— Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь, но ведь это только его предположение. А по виду...

Судья не закончил фразу. Белый Клык остановился перед ним и яростно зарычал.

— Пошел на место! На место! — строго проговорил судья Скотт.

Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю.

Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу и не находило себе выхода.

— Уж не взбесился ли он? — сказала мать Уидона.— Я говорила Уидону, что северная собака не перенесет теплого климата.

— Он, того и гляди, заговорит! — воскликнула Бэт.

В эту минуту Белый Клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем.

— Что-то случилось с Уидоном,— с уверенностью сказала жена Скотта.

Все вскочили с мест, а Белый Клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли.

После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с искусанной рукой признал, что Белый Клык — умный пес, хоть он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки зрения и, к всеобщему неудовольствию, приводил в доказательство своей правоты описания и таблицы, взятые из энциклопедии и различных книг по естествознанию.

Дни шли один за другим, щедро заливая долину Санта-Клара солнечными лучами. Но с приближением зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал странное открытие — зубы Колли перестали быть такими острыми: ее игривые, легкие укусы уже не причиняли боли. Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отравляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игривостью, проделывал это до смешного неуклюже.

Однажды Колли долго носилась по лугу, а потом увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирался покататься верхом с утра, и Белый Клык знал об этом: оседланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было сильнее всех познанных им законов, сильнее всех привычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. И, когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оставил свою нерешительность, повернулся и последовал за ней. В тот день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал по лесу бок о бок с Колли — так же, как много лет назад в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с Одноглазым.

Глава пятая
ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из сан-квентинской тюрьмы одного заключенного, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать.

В сен-квентинской тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до последнего издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с ним с самого раннего детства, проведенного им в трущобах Сан-Франциско, когда Джим Холл был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества.

В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем заключалась лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях.

После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не вышел из нее, ни разу не увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — черное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не обменялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он мог выть от ярости день за днем, ночь за ночью, потом замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую душу.

А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста, а на пороге ее лежал убитый сторож. Еще два трупа отмечали путь преступника

через тюрьму к наружной стене,— всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно.

Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с винтовками в руках. Свора ищеек мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жалованье у общества, звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днем ни ночью не прекращая своих розысков.

Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались от него врассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека.

А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооруженные люди задерживали ни в чем не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп.

Все это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними,— впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор.

На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму».

Джима Холла «закатали» за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему пятьдесят лет тюрьмы.

Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл, со своей стороны, не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому, когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джима Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличающейся от смерти, Джим

Холл, ненавидевший мир, который так круто обошелся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его на пол. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и грозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере... и он убежал оттуда.

Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор.

В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несшуюся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый бог ступал очень тихо, но еще тише ступал Белый Клык, потому что на нем не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно застать ее врасплох.

Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Он стоял не шевелясь и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку; он стал подниматься вверх по лестнице...

И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею.

Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.

Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше трех минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу, из темноты, доносились

булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух.

Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти.

— Джим Холл! — сказал судья Скотт.

Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но, когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.

— Кончено твое дело, бедняга,— пробормотал хозяин.

— Ну, это мы еще посмотрим,— заявил судья и пошел к телефону.

— Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу,— сказал хирург, полтора часа провозившись около Белого Клыка.

Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический свет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о Белом Клыке.

— Перелом задней ноги,— продолжал тот.— Три сломанных ребра, и по крайней мере одно из них прошло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на тысячу — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и одного на десять тысяч.

— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул судья Скотт.— Я заплачу любые деньги! Надо сделать просвечивание — все, что понадобится... Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно.

— Ну, разумеется, разумеется! Я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за

больным ребенком. И следите за температурой. Я загляну в десять часов.

И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург.

Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила Белого Клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом и телом с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу.

Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок и бандажей, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище с Кичи; дрожа всем телом, подползал к ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность; спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры щенков.

Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щелкают бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге. День за днем прошла перед ним жизнь у Красавчика Смита и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили, что Белому Клыку снится дурной сон.

Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него, точно громадные, пронзительно воющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу... Но белка мгновенно превращается в страшный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на него огнем. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету все в тот же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Красавчика Смита. Кругом собирается толпа,

и он знает, что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распахивается — и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днем, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык испытывал ужас во сне.

Наконец в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста собралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный Волк! Бесценный Волк!»

Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чем-то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону.

— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.

Судья Скотт бросил на них торжествующий взгляд.

— Вашими устами глаголет истина! — сказал он.— Я твердил об этом все время. Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.

— Бесценный Волк,— поправила его миссис Скотт.

— Да, Бесценный Волк,— согласился судья.— И отныне я только так и буду называть его.

— Ему придется сызнова учиться ходить,— сказал врач.— Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Выведите его во двор.

И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сиерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал.

Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы Белого Клыка наливались силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Колли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков.

Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по траве щенка. Белый Клык ощетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спускала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться еще рано.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как теплый язычок щенка

лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость; он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву.

Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

РАССКАЗЫ

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, схваченные ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике,— сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед,— такая холодная, что ноги

у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и поглядел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; стоял конец июля или начало августа, и он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, и Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев,

ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни,— и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл,— и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил,— но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг,— а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней,— на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но, как ни трудно ему было идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника.

Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше,— оставалось только лечь на землю и умереть. И в то время как тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту,— оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Он лежал на боку довольно долго, не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно: он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень был от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал ку-

рок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни кустов, ни деревьев — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли все три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное,— и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И, когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: «кр-кр-кр...» Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки всё вспархивали вокруг него, и наконец это «кр-кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руках у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать,— так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю, в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать

и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им овладело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что капли дождя падают на его лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить страны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко вле-

во. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не более десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам; одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешочек. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми; они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей

крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон,— ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог ее побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, прони-

занный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо — и жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось тук-тук-тук, словно предостерегая, потом бешено подскочило кверху и затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться на оленей, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может ли быть, что к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Уме-

К стр. 193

реть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотал с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели; в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водораздела, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели,— он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое, блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова

открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышалось сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это, по крайней мере, не кажется»,— подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Макензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные под подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю,— очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному

волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк. И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на замоpенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце; и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него,— разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же

он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним,— оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорился смерти. Воз-

можно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогли ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий, сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере, он хотел их вскинуть,— пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхание он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось

продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку к кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели незаметно его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

ЧЕРЕЗ СТРЕМНИНЫ К КЛОНДАЙКУ

Мы спешили. Все спешили. Спешка типична для «золотой лихорадки», а для клондайкской лихорадки 97-го года особенно. Октябрь был на носу, земля покрылась снегом, река вот-вот грозила замерзнуть, а до Доусона все еще было далеко — несколько миль на север.

Никогда за всю историю Севера никто не рисковал так безрассудно, и никогда еще туда не проникали более отчаянные люди. Ветераны Клондайка — те самые, которые принесли оше-

ломляющие вести и тяжелые мешочки арктического золота, которые, собственно, и были виновниками охватившей всю страну азартной погони, высмеяли наше заявление о том, что мы пронесем снаряжение через перевалы и сплавим его в лодках до Доусона этой же осенью. Но мы все же это сделали, и, когда в самый разгар снежного бурана и ледяного затора несколько тысяч нас прибыло в Доусон, старожилы ахнули. Прекрасно представляя невероятные трудности подобного путешествия в это время года, они и вообразить не могли, что кто-нибудь на него отважится и тем более успешно его завершит.

Понятно, часть из нас погибла по дороге, другая была затерта льдами, тысячи изможденных, потерявших веру в свои силы вернулись с перевалов назад, но наша группа оказалась в числе тех, кому повезло. Мы знали, на что идем, и в нас была крепка решимость, начав путь, пройти его до конца. Дав вам понятие об этом, я приступаю теперь к рассказу о Бокс-каньоне и стремнинах Белой Лошади.

Для того чтобы вы поняли, с каким благоговением относятся к этим местам старожилы, приведу цитату из Майнера У. Брукса, аляскинского пионера,— в пути мы не раз обращались к его книге.

«Если путешественник — опытный гребец, он сможет провести свою лодку по каньону и причалить к правому берегу. Если же нет, то ему надлежит переправить лодку волоком. Отсюда на протяжении двух миль до начала стремнин Белой Лошади ему следует держаться левого берега. Большая осторожность необходима при достижении места причала выше Белой Лошади. В случае низкой воды лодку можно спустить с помощью веревки, но, если вода высока, ее нужно перетащить волоком».

Река Шестидесятой Мили, которая, собственно, является верховьем Юкона, вытекает из озера Марш и имеет в ширину от одной восьмой до четверти мили. Она глубока и стремительна — судите сами, сколько воды она несет. То она разливается на сотню ярдов, огибает мысок, образуя довольно тихую заводь, где еще можно пристать, то мчится, стиснутая до восьмидесяти футов скалистыми стенами гор. Вся эта огромная масса воды, зажатая в узкой теснине, развивает чудовищную скорость, бурлит вся в водоворотах, вздымающихся, словно стены волн. Наткнувшись на препятствия, середина сдавленной скалами стремнины подымается, как хребет высотой футов шесть — восемь, его называют гребнем.

Каньон тянется милю. Примерно на полпути стены по обеим сторонам его раздвигаются, образуя гигантскую круглую чашу. Врывающийся в нее поток создает могучий водоворот. Говорят, когда-то два шведа попали в этот водоворот. Лодка у них была крепкая, и поначалу они пытались выбраться, но, потерпев неудачу, принялись то вычерпывать воду, то молиться, положив-

шись на счастливый случай. Целых четыре часа их крутило и вертело, а потом какой-то непостижимый каприз вод вынес их в каньон целыми и невредимыми, если не считать нервного потрясения.

Привязав нашу лодку «Красавица Юкона» перед порогами Бокса, мы — я и три моих товарища — отправились на разведку. Сотни золотоискателей тащили свое снаряжение на себе. Для нас это означало бы два дня изнурительного пути, тогда как, если бы мы попытали счастья и решились проскочить, все дело заняло бы только две минуты. По нашему обычаю, мы проголосовали, и второй способ был принят единодушно.

Я надежно закрепил рулевое весло, чтобы его не вырвало, рассадил своих товарищей — ведь я был капитаном. Искушенный в странствиях по Южной Америке и уже поплававший на лодках, Меррит Слопер вооружился гребком и занял место на носу. «Сухопутные моряки» Томпсон и Гудман, не имевшие до этой поездки понятия о гребле, были посажены на весла. Для ясности необходимо добавить, что, помимо людей, наша двадцатисемифутовая лодка несла еще свыше пяти тысяч фунтов багажа и, следовательно, не обладала запасом столь необходимой для подобного предприятия плавучести.

— Держитесь гребня! — крикнули нам с берега, когда мы отчалили.

Несмотря на быстрое течение, поверхность воды казалась спокойной и отливала масляным блеском, но стоило нам очутиться в пасти Бокса, как река мгновенно превратилась в сорвавшийся с цепи хаос. Опасаясь, что гребцы упустят весла или совершат еще какую-нибудь роковую ошибку, я велел убрать весла.

Все происходило с чудовищной быстротой. Какой-то миг я видел фигуры людей, наблюдавших за нами с окрестных скал, мчащиеся мимо, подобно двум экспрессам-близнецам, каменные стены; но затем сосредоточил все силы на том, чтобы удержаться на гребне. Он весь был в зубцах упругих волн, на которые перегруженная, неуклюжая лодка не могла взобраться — она пронзала их носом. Я поймал себя на том, что, несмотря на страшную опасность, улыбаюсь нелепым антраша, которые выделывал примостившийся на носу Слопер. Он как сумасшедший работал своим гребком, но всякий раз, когда он делал исполинский замах, корма проваливалась в яму между волнами, нос взмывал вверх, и Слопер черпал воздух. При следующем взмахе нос исчезал под водой, которая вот-вот грозила смыть гребца, весившего всего-то сотню фунтов. Но он не терял присутствия духа и выдержки. Внезапно Слопер обернулся и что-то встревоженно крикнул,— слова его потонули в оглушительном реве волн. В следующее мгновение мы соскользнули с гребня. Вода со всех сторон хлынула в лодку: подхваченная водоворотом, она вот-вот

готова была стать поперек течения. Это означало гибель. Я изо всех сил налег на весло, так что оно затрещало; в тот же миг сломался гребок Слопера.

Мы стремительно неслись вниз, не более чем в двух ярдах от стены. Не раз казалось, что наши расчеты с жизнью покончены. Но, поднявшись почти боком на гребень, лодка в конце концов перепрыгнула через гигантскую волну и, как ядро из пушки, вырвалась в водоворот гигантской чаши.

Отдав приказ спустить весла, чтобы выровнять лодку, и внимательно следя за игрой течения, я мог теперь перевести дух, но тут нас унесло в другую половину каньона. Нас снова швыряло слева направо и справа налево через гребень, но теперь это было не более как повторение испытанного прежде, и несколько секунд спустя «Красавица Юкона» мягко стукнулась о берег. Милю по каньону мы проделали за две минуты по часам.

Слопер и я отправились по берегу назад и проскочили с лодкой одного нашего приятеля, что было довольно рискованным предприятием, так как суденышко это — длиною-то всего двадцать два фута — было перегружено, как и наше. Потом мы вычерпали воду и, минуя остовы разбитых лодок — свидетельство гибели многих смельчаков, пронеслись мили две по «обычным» порогам до начала стремнин Белой Лошади.

Белая Лошадь опаснее Бокса. До нас ее никто не проходил: все попытки оканчивались трагически. Здесь было принято переносить не только снаряжение, но даже и лодки тащить волоком с помощью словых жердей. Однако мы спешили и к тому же были ободрены предыдущей удачей, поэтому ни на фунт не облегчили лодки.

Самый опасный участок стремнин находится в дальнем их конце и за пенистые вздыбленные волны назван Гривой. Скалистый порог, перегораживающий реку на три четверти, бросает могучий водный поток на правый берег, откуда его вновь отбрасывает на левый, и этот водоворот куда более опасен, чем водоворот Бокс-каньона.

Как только мы оказались на Гриве, «Красавица Юкона» запрыгала, будто забыв о тяжелом грузе: она то почти отрывалась от воды, то глубоко погружалась в провалы между волнами. До сих пор не могу понять, как случилось, что я потерял контроль над управлением лодки. Боковая струя увлекла корму, и лодка стала поворачиваться боком. Затем мы соскочили в водоворот (тогда я этого не понял). Слопер сломал второй гребок, и вода снова окатила его с ног до головы.

Учтите, что мы двигались со скоростью скаковой лошади, и все эти события заняли вдесятеро меньше времени, чем рассказ о них. Грозя утопить нас, вода со всех сторон хлынула в лодку. «Красавицу Юкона» несло прямо на скалы левого берега, и,

хотя я налегал на рулевое весло так, что оно трещало, мне не удалось повернуть лодку по течению. С откоса нас пытались сфотографировать, но напрасно: из-за нашей бешеной скорости им удавалось схватить лишь картину разъяренной воды да летящие клочья пены.

Берег был угрожающе близок, а лодка все упрямилась. Но тут я наконец сообразил, что борюсь с водоворотом, и мгновенно навалился на весло с противоположной стороны. Лодка подалась. Следуя за направлением потока, она повернулась носом против течения. Гибель, казалось, была так близка, что Слопер выпрыгнул на камень, но, увидев, что мы проскочили, он снова кувырком свалился в лодку, словно на комету.

Хотя нас по-прежнему увлекал бешеный водоворот, мы вздохнули свободнее. По завершении круга нас опять выбросило на Гриву. И на этот раз, проскочив ее, мы благополучно пристали к берегу тихой заводи.

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

— Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились,— сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку.— Они чахнут и в конце концов издыхают под таким бременем. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума, он...

Раз! Отощавший пес взметнулся, белые зубы едва не впились Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по уху рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я говорю, посмотри на Шукума. Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, он съест Кармен к концу недели.

— А я,— сказал Мэйлмют Кид, повертывая хлеб, оттаивающий у костра,— бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести

миль по непроложенному пути, еды хватит всего на шесть дней, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их глотком.

— С завтрашнего дня никаких завтраков,— сказал Мэйлмют Кид,— и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, бросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в мечтательное созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас есть плиточный чай. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что на женщину можно смотреть не только как на животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь,— продолжал ее муж на том условном языке, на котором они только и могли объясняться друг с другом,— вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода,— целые водяные горы пляшут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, сорок снов,— для большей наглядности он отсчитывал количество дней на пальцах,— и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен! Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, и глаза Руфи расширились от удивления и счастья: она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... ящик и — пифф! — поехали.— В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали. О великие шаманы! Ты едешь в форт Юкон, а я еду в Арктик-Сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь:

«Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь сколько нужно соды. И все время ты в форте Юкон, а я — в Арктик-Сити! Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатились со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны. И к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали потихоньку повизгивать, натягивая постромки, уперся в поворотный шест[1] и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и даже грубый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну, вперед, хромоногие! — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от перпендикуляра на ничтожную долю дюйма грозит бедой,— пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, тот свалится от изнеможения через сто ярдов, даже если у него все сойдет благополучно и он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во всю длину, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по великой северной тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и, подавленные величием Белого Безмолвия, путники молча делали свое дело. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чере-

---

[1] Поворотный шест — прикрепленный сбоку у передка толстый шест, с помощью которого направляют нарты.

дование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ясно, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек, оробев, пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, понимая, что жизнь его не более чем жизнь червя. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек и остается наедине с богом.

Так день клонился к вечеру. Русло реки вдруг сделало крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий перешеек. Но собаки не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на высокий берег. Но вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой всю упряжку

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид.— Она, несчастная, и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, взмахнул рукой — и длинный бич снова обвился вокруг тела провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом повернулась на бок.

Это была трудная, тягостная минута для путников. Издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь озадаченно переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький упрек, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в

низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. В воздухе пронесся вздох; они не услышали, а, скорее, ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал предостерегающий треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался и с тем и с другим! Еще дрожали иглы сосны, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища были немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог — натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз,— способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре. Перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды; сделать ничего нельзя. Медленно подкрадывалась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоицизмом отчаяния, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйл-

мюта Кида прибавилось еще несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон — он перенесся в Западный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. И трогательно звучала мелодия давно забытого южного говора, когда он бредил о купанье в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все и сочувствовал каждому слову, как только может сочувствовать тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя. И Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот.

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом я привязался к ней. Она мне была хорошей женой, всегда поддерживала в трудную минуту. А уж что касается нашего промысла, ты сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьего Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Но Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать нашу более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает... Дай ему хорошее образование... А главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше! Помни: это моя жена, мой сын...

Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид.— Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, что будет.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид, не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; а может быть, я подстрелю лося.

— Нет! Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... Скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова,— признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку[1], надел лыжи, прихватил ружье и скрылся в лесу. Он не был новичком в борьбе с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет крепли узы дружбы, связывавшие его с Мэйсоном,— в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо было разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, вся дичь покинула страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвратился с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки

---

[1] П а́ р к а — верхняя меховая одежда.

нарушили железный закон своих хозяев и набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, попадая то в цель, то мимо; гибкие тела метались из стороны в сторону, дико сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль осталось не более пяти фунтов муки. Руфь вернулась к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки начали грызться между собой. Вся свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось и следа — ни костей, ни шкуры, ни шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова был в Теннесси, снова вел яростные споры с друзьями юности.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело. Руфь наблюдала, как он сооружает нечто вроде тех хранилищ, что устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича заставив собак смириться, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Его он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах охотничьего ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко в воздух.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед господином всего живущего — перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не препятствовал взрыву горя, когда Руфь поцеловала мужа,— ее народ не знает такого обычая,— потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, понукая собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впавшему в беспамятство, и долго, после того как Руфь скрылась из виду, сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди

Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, окутывая его своим покровом и сострадая ему; прозрачная чистота и холод Белого Безмолвия под стальным небом безжалостны.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним, и его охватил страх. Раздался короткий выстрел; Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

КОСТЕР

День едва занимался, холодный и серый — очень холодный и серый,— когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подыматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было — ни намека на солнце в безоблачном небе, и поэтому, хотя день выдался ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу подымется над горизонтом и мгновенно скроется из глаз.

Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, лежал под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в местах ледяных заторов. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль дальше до Нулато и до Сент-Майкла на Беринговом море — полторы тысячи миль снежного пути.

Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необы-

чайный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был «чечакос», новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означало восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что в пути будет очень холодно и трудно, и больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью человека вообще, способного жить только в узких температурных границах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно оградиться рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, никогда не приходила ему в голову.

Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он еще раз сплюнул. И опять, еще в воздухе, раньше чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — определить трудно. Но это неважно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда с берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак здесь — он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки; завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке: лепешки были разрезаны вдоль и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.

Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завязанного в носовой платок. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, с удивлением думал он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие скулы и большой нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.

За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы,

рослая, с серой шерстью, ни внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало ясное представление о сильном холоде — представление, которым обладает человеческий мозг. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое тепло.

Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда, вплоть до ресниц, была густо покрыта инеем. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а ему уже дважды пришлось делать переходы в сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке. Это и был ручей Гендерсона; отсюда до развилины оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилины будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.

Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Тропа была ясно видна, но следы последних проехавших по ней нарт дюймов на десять занесло снегом. Видимо, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до

развилины, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем, и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.

Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через одну секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от этого еще никто не умирал.

Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так что если путник проваливался, он проваливался постепенно и, погружаясь все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.

Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст подается под ногами, и услышал треск покрытой снегом ледяной корки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега ее, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста.

Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.

В ближайшие два часа он несколько раз натыкался на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздреватый и словно засахарен-

ный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу; вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег; она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную корку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинуясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она этого не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше минуты, и он поразился, как быстро они закоченели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.

К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего проходит боль, оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это онемение.

Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним!

Никогда не нужно быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом вынул спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой — в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у костра, он позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.

Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша, выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому руслу ручья. Собака была недовольна — она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норке под снегом, дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была рабом, трудом которого он пользовался, и не видела от него другой ласки, кроме ударов бича и хриплых угрожающих звуков, предшествующих ударам бича. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии; ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам. Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и ресницы мгновенно заиндевели. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих признаков.

А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничто не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.

Эта неудача разозлила его, и он выругался вслух. Он надеялся в шесть часов уже быть в лагере среди товарищей, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре,— это, по крайней мере, он знал твердо. Он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и

ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.

Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать сучки потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести костер. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги у него сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращение в мокрых, коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.

Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. Быстрая ходьба со скоростью четырех миль в час заставляла его сердце накачивать кровью все сосуды на поверхности тела. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и, так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги коченели все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, ползли мурашки.

Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, ибо костер разгорается все ярче. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута, и уже можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов. И что

же? Лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина всегда справится один. Но странно, что щеки и нос так быстро мертвеют. И он никак не думал, что руки подведут его. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживая в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат его телу. Когда он дотрагивался до сучка, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.

Но все это неважно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной коркой, толстые шерстяные носки, словно железные ножницы, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.

Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, его оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он сидел, скопилось много снегу. Ветра не было очень давно, и на вершине дерева лежал снег. Каждый раз, когда человек выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.

Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик с Серного ручья все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность — спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз не должно быть ошибок. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, должно быть, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.

Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сделал новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла загасить его.

Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня все не было.

Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил размахивать руками, колотить ими по бедрам, а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на человека. И человек, размахивая руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем поднимается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.

Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое покалывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же снова онемели. Потом он достал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно старался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать; но сообщение было прервано, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе на колени. Но этого было мало.

После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было

мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по бедру, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.

Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук. Подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек запылали как одна! И ни малейшего ветра, можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.

Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха придавил едва разгорающийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра: тлеющие травинки и прутики рассыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их, но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер разваливался. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, погасали..Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.

Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что

убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помогла ей почуять опасность,— она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами, но не трогалась с места. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.

Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что его онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему стать на ноги, как подозрения собаки рассеялись; а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напомнившим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.

Но это было все, что он мог сделать: сидеть в снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими бессильными руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить. Он выпустил ее, и собака кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. В двадцати шагах она остановилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам, и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях,— откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.

Гнетущая мысль о близости смерти смутно и вяло шевельнулась в его мозгу. Но тотчас же этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног,— теперь это был вопрос жизни и смерти, и надежды на спасение почти не было. Его охватил

панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее — берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время рассудок говорил ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком закоченели и что скоро он будет мертв и недвижим.

Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.

Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по поверхности, не задевая ее. Он как-то видел на картинке крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.

В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян; у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги у него стали заплетаться, и наконец он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не трясло, и по всему телу даже разливалась приятная теплота. Но, дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Потом его поразила мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и он снова как безумный бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно

прося прощения. На этот раз озноб возобновился быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, пробежав не больше ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой,— почему-то именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости.

Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрел на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему пригрезился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав,— пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, да и опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Тогда собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

КОНЕЦ СКАЗКИ

I

Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной — это замерзала влага от человеческого дыхания.

Роббер был решающим: проигравшей паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в семифутовой толще льда и снега, покрывавших Юкон.

— Такая вспышка мороза в марте — это редкость! — заметил человек, тасовавший карты.— Сколько, по-вашему, градусов, Боб?

— Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док?

Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда.

— Никак не больше пятидесяти. Или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки «пятьдесят», но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семидесяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше.

Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в ответ на раздавшийся стук в дверь:

— Войдите!

Вошедший был рослый, плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стало возможно только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг.

— Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор появился,— вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжких испытаниях.— Я приехал издалека. С северной развилины Вайо.

— Я доктор. А что?

Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто, бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда.

— Дайте погляжу,— нетерпеливо прервал его доктор.— Положите руку на стол. Сюда, вот так!

Швед осторожно, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели.

— Гм,— буркнул доктор,— растяжение сухожилия. Из-за этого вы тащились сюда за сто миль! Да ведь вправить его — дело одной секунды. Следите за мной — в другой раз вы сумеете проделать это сами.

Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаха опустил ее нижний край на распухший, скрюченный палец. Человек взревел от ужаса и боли. Крик был какой-то звериный, да и лицо у него было как у дикого зверя; казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую шутку.

— Тише! Все в порядке! — резко и властно остановил его доктор.— Ну как? Полегчало, правда? В следующий раз вы сами это проделаете... Строзерс, вам сдавать! Кажется, мы вас обставили.

На туповатом, бычьем лице шведа выражалось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом.

— Сколько?

Доктор нетерпеливо мотнул головой.

— Ничего. Я не практикую. Ваш ход, Боб.

Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора.

— Вы хороший человек. Звать-то вас как?

— Линдей, доктор Линдей,— поторопился ответить за доктора Строзерс, словно боялся, как бы тот не рассердился.

— День кончается,— сказал Линдей шведу, тасуя карты для нового круга.— Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка.

Доктор Линдей был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, но в этой бледности не было ничего болезненного. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально,— казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные, нервные, были как бы созданы для тонкой работы, и с первого же взгляда в них угадывалась сила.

— Опять наша! — объявил он, забирая последнюю взятку.—

Теперь только доиграть роббер, и посмотрим, кому придется делать прорубь!

Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул:

— Войдите! Кажется, нам так и не дадут докончить этот роббер,— проворчал он, когда дверь отворилась.— А с вами что случилось? — Это относилось уже к вошедшему.

Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах, должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед — в нем виднелось лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замерз янтарной сосулькой, заостренной книзу, как ван-дейковская бородка.

Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отдирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку.

— Со мной-то все в порядке,— произнес он наконец.— Но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литтл Пеко человек схватился с пантерой, и она его черт знает как изувечила.

— А далеко это? — осведомился доктор Линдей.

— Миль сто будет.

— И давно это с ним случилось?

— Я три дня сюда добирался.

— Плох?

— Плечо вывихнуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.

— Удружили человеку! — усмехнулся доктор.— А в каких местах эти раны?

— На животе.

— Ну, так теперь ему конец.

— Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим, и только потом зашили — на время, конечно. Надергали ниток из белья — другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли.

— Можете уже считать его мертвецом,— дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты.

— Ну нет, он не умрет! Не такой человек! Он знает, что я поехал за врачом, и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет. Я его знаю.

— Христианская наука — как лечить гангрену? — фыркнул доктор.— Впрочем, какое мне дело. Я ведь не практикую. И не

подумаю ради покойника ехать за сто миль в пятидесятиградусный мороз.

— А я уверен, что поедете! Говорю вам, он не собирается помирать!

Линдей покачал головой.

— Жаль, что вы напрасно ездили в такую даль. Заночуйте-ка лучше здесь.

— Никак нельзя! Мы двинемся отсюда через десять минут.

— Почему вы так в этом уверены? — запальчиво спросил доктор.

Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни:

— А потому, что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю, прежде чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она — молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. Если он сдаст, она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной, что он будет живехонек, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут.

Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел.

— Черт его побери! — крикнул Линдей, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь.

II

В ту же ночь, когда было пройдено двадцать пять миль и давно наступила темнота, Линдей и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело бы нехитрое, хорошо им знакомое: развести костер на снегу, а рядом, настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линдей, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины, потом, завернувшись в одеяла, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей.

Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линдея, была примерно пятнадцать ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что, если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высо-

той где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени.

В тот вечер, удобно расположившись в темном, мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля.

— Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантеру,— говорил Доу.— Рокки называет ее «кугуар». Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон,— я ведь тамошний уроженец,— и там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище! И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу.

Линдей не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину.

Линдей вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный, тревожащий гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несся через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселинах каменных склонов, и путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахами весны, промчался мимо, взметнув из костра целый дождь искр.

Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по-волчьи: долго, протяжно.

— Это Чинук,— сказал Доу.

— Значит, двинемся по реке?

— Конечно. Десять миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге.— Доу долго и внимательно всматривался в Линдея.— А ведь мы уже идем пятнадцать часов! — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линдея, и опять помолчал.— Док,— сказал он наконец,— вы не из трусливых?

Вместо ответа Линдей выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке, вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел Чинук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцатисемичасового пути.

— Часок можно соснуть,— сказал Доу после того, как они

с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом.

Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком, оседающем снегу. Снег оседал на глазах: за два часа его уровень понизился на три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое вешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литтл Пеко, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы.

Доу тронул Линдея за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его.

— Ну и спите же вы! — восхищенно шепнул он.— И можете проспать еще сколько угодно!

Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент.

— Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док! — снова встряхнул он Линдея, у которого смыкались глаза.— Послушайте, док! Я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного?

Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег.

— Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья,— подбодрял спутника Доу.— А там хоть провались этот лед, нам все равно: мы двинемся берегом. И всего-то нам остается пройти миль десять до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за один день доплыть в лодке к себе.

Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литтл Пеко сердито урчала. На каждом шагу, по мере того как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила десяти, пройденных верхней дорогой, появлялись всё новые трещины и полыньи.

— Садитесь на нарты, док, и вздремните немного,— предложил Доу.

Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение.

Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о не-

подвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу.

— Значит, выше река вскрылась,— объяснил Доу.— Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться. Ну, пошли, док! Гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не одну неделю!

Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье: словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, тянули за собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду.

Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линдея возмутило, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем.

— Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли!

Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче.

— Железный вы человек, Доу! — восхитился он.

— Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала. Я горец, но куда мне до него! Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я, грешным делом, думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу! А он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам! Меня даже обида взяла. «Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят?» — «Ясно!» — говорит. И ведь пока-

зал! Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя.

Этот человек ни в чем удержу не знает! Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую — фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли! «Не делай этого! — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье.— У тебя единственный патрон, а темень такая — не видать, в кого целишься».

«Полезай, говорит, на дерево». На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом,— скажу честно, пожалел я, что его не послушался. Ну и попали в переделку! Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, фута в четыре высотой. С одного края собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь: собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона!

Что же делает Рокки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии: жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут как понесется вся честная компания — медведь, собаки и Рокки! Промчались футов двадцать, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь, и бултых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки! Уж если он на что решился, ничто его не остановит.

На следующем привале Линдей услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье.

— Прошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад — слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. «Кто ж это, думаю, возится?» Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву! Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу — Гарри ударяет ее; потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера

пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть.

Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка делалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось: дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим»,— говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется»,— говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере.

Не хотел бы я опять увидеть такое! Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все шесть футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в четыре дюйма! Кошка и сгребла его. Схватились они — не видать, где он, где она! Стрелять нельзя! Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло.

— Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал! — сказал Линдей.

Доу кивнул в знак согласия:

— Она так и говорила. И просила меня, чтоб я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось.

— Он что, сумасшедший? — сердито спросил Линдей.

— Оба они шальные какие-то — и он и брат его,— все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились. Что бы ни взбрело в голову, за все берутся! И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей Рокки — на все пойдет! Но он очень бережет ее. Обращается, как с королевой, никакой тяжелой работы делать не дает. Для того и наняли меня да еще одного человека за хорошее жалованье. Денег у них уйма. А уж любят друг друга как сумасшедшие!

«Похоже, здесь будет недурная охота»,— сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся»,— говорит Гарри. Я-то все время думал, что они золото ищут, а они за всю зиму и таза песку не промыли на пробу.

Раздражение Линдея еще усилилось.

— Терпеть не могу сумасбродов! Я, кажется, способен повернуть обратно!

— Нет, этого вы не сделаете! — уверенно возразил Доу.— И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад!

Как ни был Линдей измучен, огонь сверкнул в его черных

глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку.

— Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки.

III

Не день, а три спустя, после того как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линдей и Том Доу добрели наконец до хижины в плодородной долине, на берегу бурной Литтл Пеко. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линдей сперва не разглядел как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линдей заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны резцом.

— Чем промывали? — спросил Линдей у женщины.

— Сулемой, обычным раствором.

Линдей быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь это скрыть. Линдей повернулся к мужчинам.

— Уходите отсюда! Займитесь колкой дров, чем угодно, только отсюда уходите!

Один из них стоял в нерешимости.

— Случай очень серьезный. Мне надо поговорить с его женой,— продолжал Линдей.

— Но я его брат,— возразил тот.

Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери.

— И мне вон идти? — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел.

— И вам.

Линдей принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет.

— Так это и есть твой Рекс Стрэнг?

Женщина бросила взгляд на лежащего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он, потом молча посмотрела в глаза Линдею.

— Что же ты молчишь?

Она пожала плечами.

— К чему говорить? Ты ведь знаешь, что это Рекс Стрэнг.

— Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись.— Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью.— Я отчаянно устал. Шоссейной дороги от Юкона сюда еще не провели.

Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца.

— Что ты думаешь делать? — спросила она, подождав минуту.

— Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь.

— Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь? — Женщина движением головы указала на человека, лежавшего без сознания.

— Ничего.

Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос.

— Ты хочешь сказать, что убьешь его? — медленно проговорила она.— Дашь ему умереть без помощи? А ведь, если ты захочешь, ты можешь спасти его.

— Понимай как знаешь.— Линдей подумал и сказал с хриплым смешком: — С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.

— Ты несправедлив, Грант,— возразила она тихо.— Ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе.

— Удобная точка зрения! — сказал Линдей.— Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло?

— Мыслящий человек способен и сильно любить...

— И в то же время действовать разумно,— вставил Линдей.

— Значит, ты признаешь, что я поступила разумно?

Он поднял руки к небу.

— Черт возьми, вот что значит говорить с умной женщиной! Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом.

Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излучало женскую гордость.

— Нет, нет, беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила бы его и кого угодно — лицом, фигурой, всем!.. Кому, как не мне, знать это! Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

Он говорил быстро, нервно, раздраженно и, как всегда (Медж это знала), искренне. Она ответила только на его последние слова:

— Ты еще помнишь Женевское озеро?

— Еще бы! Я был там до нелепости счастлив.

Она кивнула головой, и глаза ее засветились.

— От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни... на одну только минуту... вспомни, чем мы были друг для друга... И тогда...

— Вот чем ты хочешь меня подкупить,— улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал: — Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина.

— Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека,— настаивала она.

Линдея наконец прорвало:

— Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены?

— Но ты уже здесь... Посмотри, в каком он состоянии! Что ты сделаешь?

— Ничего. С какой стати? Он ограбил меня.

Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали.

— Убирайтесь вон! — закричал Линдей.

— Может, вам нужно помочь?

— Уходите, говорю! Принесите только ведро воды и поставьте его у двери.

— Ты хочешь...— начала она, вся дрожа.

— Умыться.

Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью, и губы ее плотно сжались.

— Слушай, Грант,— сказала она твердо.— Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя. Да что! Даже Том Доу сделает это, если я попрошу.

— Мало же ты меня знаешь, что угрожаешь мне! — серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил: — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?

Она судорожно вздохнула, но тут же крепко стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бивший ее озноб.

— Это не истерика, Грант! — торопливо воскликнула она, стуча зубами.— Ты знаешь, что со мной никогда не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу: и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант! И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей! О Грант, умоляю... умоляю тебя...

— Просто нервы! — сухо заметил Линдей.— Перестань! Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была мужчиной, я рекомендовал бы тебе покурить.

Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, силясь овладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал

сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линдея сложились в улыбку, не предвещавшую ничего хорошего.

— Ты сильно его любишь? — спросил он.

Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко заблестели. Она глядела на него гордо, не тая страсти. Линдей кивнул в знак того, что ответ ему ясен.

— Давай потолкуем еще немного.— Он помолчал, словно обдумывая, с чего начать.— Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка. Написал ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать... Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, по натуре цыган, бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня... там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя: оно нарушает обмен веществ.

Потом случилось так, что человек этот ослеп и через десять лет, приведенный за руку, как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. А она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. (Вспомни, он поклонялся красоте.) Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее.

Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать: «Конец!» — и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир: стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью.

Линдей передернул плечами.

— Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала? Прозрев, он напишет пять картин, но ее он тогда покинет, ведь красота — его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром...

Линдей замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков.

— Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?

— А если да?

— Действительно любишь?

— Да.

— И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?

Медленно, с усилием она ответила:

— Да.

— И ты уйдешь со мной?

На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот:

— Когда он поправится, да.

— Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.

Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой.

— Очень хорошо! — Линдей быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни.— Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех... Нужен будет кипяток, как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайтесь кипятить воду — всю, сколько ее есть под рукой. А вы,— обратился он к Гарри,— вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи! Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простыней, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще по мере надобности. Теперь слушайте: я научу вас, что надо делать. Прежде всего — умеете вы следить за пульсом?

IV

Линдей славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя.

Потому ли, что Стрэнг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость.

Были дни очень высокой температуры и бреда; дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно; дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу: сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде.

— Он останется калекой? — спрашивала Медж.

— Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга, нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами — словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю: он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна? Не забывай: тебя-то с ним не будет.

— Продолжай, продолжай свое дело,— отвечала она беззвучно.— Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.

Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции: он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины.

Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм.

— Вы убьете его! — запротестовал Гарри.— Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой калека, чем полностью починенный труп.

Линдей вспыхнул от гнева.

— Убирайтесь вон! Вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь! Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске. Понятно? Дуньте на нее — и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалять дурака.

Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Медж, как бы спрашивая совета.

— Уйди, пожалуйста, уйди! — взмолилась она.— Доктор прав. Я знаю, что он прав.

В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал:

— Док, вы чудодей! А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия.

— Не ваше дело! Уходите, не мешайте!

Процесс заживления истерзанной правой руки неожиданно приостановился, страшная рана опять вскрылась.

— Наркоз,— сказал Линдей.

— Теперь ему конец! — простонал брат.

— Замолчите! — прикрикнул на него Линдей.— Ступайте

вместе с Доу, возьмите и Билла — добудьте мне зайцев... живых и здоровых! Наловите их силками. Повсюду расставьте силки.

— Сколько зайцев вам надо?

— Сорок... четыре тысячи... сорок тысяч... сколько сможете добыть! А вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело. А вы, ребята, ступайте за зайцами.

Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание.

— Этого, конечно, никогда бы не случилось,— объяснил он Медж,— если б у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать... Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была.

Из сотни принесенных зайцев Линдей отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой.

И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдеем и Медж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости.

— Это хлопотливое дело! — говорил он.— Но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро?

— Как хочешь! — отвечала она.

А в другой раз он сказал:

— Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, знаю. Но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год, я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов.

— А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне.

— Вот как! — насмешливо буркнул Линдей.— А может, твой Рекс слишком поглощен пантерами и короткими палочками?

Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил.

— Этого не объяснишь,— всегда отвечала она.

И наконец однажды ответ ее прозвучал резко:

— Никто не может объяснить, что такое любовь, и я — мень-

ше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую,— вот и все. В форте Ванкувер какой-то магнат из Компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой, в Англию, жаловался, что служащие Компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы растет книзу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет книзу. Я только констатирую факт».

— К черту умных женщин! — закричал Линдей. Глаза его сверкали гневом.

— Что тебя привело на Клондайк? — спросила Медж.

— У меня было слишком много денег и не было жены, чтоб их тратить. Захотелось отдохнуть — должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл— та же история, Ренсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить! Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И вот когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу...

Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух.

— Разреши мне теперь сказать ему,— попросила Медж.

— Нет, подожди еще,— ответил Линдей.

Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемый с обеих сторон.

— Пора сказать ему,— твердила Медж.

— Нет. Я хочу прежде довести работу до конца. Чтобы не было никаких недоделок! Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на десятерых хватит.

Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах Скалистых гор, на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом.

Линдей не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движения тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или

клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая, розовая поверхность, к которой он подсадил живую ткань.

— Позволь мне наконец сказать ему! — умоляла Медж.

— Еще не время,— был ответ.— Скажешь ему, когда лечение будет закончено.

Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость — такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий — казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху.

— Хватит! — крикнул он Стрэнгу.— Не могу угнаться за вами!

Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам.

— Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль? — спросил Линдей.

Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом.

— Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.

— Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить... Я до сих пор даже не знаю вашего имени!

— Это неважно. Помог вам выпутаться — вот что главное.

— Но ваше имя должно быть известно многим! — настаивал Стрэнг.— Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.

— Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание — и я вас оставлю в покое. За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток, Биг Винди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так вот, заночуйте здесь, а я пришлю вам Доу со всем,

что нужно в дорогу. Вам дается задание: дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.

V

— Ну,— сказал Линдей, обращаясь к Медж,— даю тебе час времени на сборы, а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется дотемна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю — в Доусоне.

— А я надеялась...— Медж из гордости не договорила.

— Что я откажусь от платы?

— Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким: зачем ты отослал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно!

— Оставь ему письмо.

— Да, я все ему напишу.

— Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем троим,— сказал Линдей.

Когда он вернулся с лодкой, вещи Медж были уже сложены, письмо написано.

— Если ты не возражаешь, я прочту его.

После минутного колебания она протянула ему письмо.

— Достаточно прямо и откровенно,— сказал Линдей, прочтя его.— Ну, ты готова?

Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживая челнок на месте, другую протянул Медж, помогая ей войти. Линдей внимательно следил за ней, но Медж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт.

— Постой! — сказал он.— Одну минуту! Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я тебе рассказывал? Я ведь тогда ее недосказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях...

Медж ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение.

— Ты очень красива, Медж...— Линдей сделал паузу, потом сухо добавил: — Остальное ясно. Думаю, что объятия Стрэнга недолго останутся пустыми. Прощай.

— Грант! — промолвила она почти шепотом, и голос ее сказал ему все то, что понятно и без слов.

Линдей рассмеялся коротким, неприятным смехом.

— Я только хотел тебе доказать, что я не так уж плох: как видишь, плачу добром за зло.

— Грант!

— Прощай! — Он вошел в лодку и протянул Медж свою гибкую, нервную руку.

Медж сжала ее в своих.

— Дорогая, мужественная рука! — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее.

Линдей резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил туда, где зеркальная вода уже вскипала белой клокочущей пеной.

СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной йглу[1], достиг почета и занял высокое место в своем поселке.

Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.

— Я скажу правду,— так начал он.— Мне и матери моей

---

[1] Иглу — хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит.

дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.

Охотники — и совсем седые, и только начавшие седеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны,— все разинули рты. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросил им в лицо дерзкие слова!

Но Киш продолжал твердо и сурово:

— Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.

— Вон его! — закричали охотники.— Убери́те отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седоголовыми мужчинами.

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.

— У тебя есть жена, Уг-Глук,— сказал он,— и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук,— жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.

— Разве мальчишка смеет говорить на совете? — прошамкал старик Уг-Глук.

— С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? — зычным голосом спросил Массук.— Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?

Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вскочил с места.

— Слушайте меня, вы, мужчины! — крикнул он.— Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда — прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будет больше плакать ночью оттого, что у них

нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от боли в животе, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал все.

Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни направо, ни влево.

На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.

— Он скоро вернется,— сочувственно говорили женщины.

— Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком,— говорили охотники.— Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими.

Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.

Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.

— Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу,— сказал он.— За день пути отсюда найдете много мяса на льду — медведицу и двух медвежат.

Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее восторги, как настоящий мужчина, сказав:

— Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, потому что я устал.

И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.

Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот наконец они отправились в путь, ворча, что

если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.

Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? — спрашивали охотники друг у друга.— Даже собаки не берет с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте».

— Почему ты охотишься только на медведя? — спросил его как-то Клош-Кван.

И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:

— Кто же не знает, что только на медведе так много мяса!

Но в поселке стали поговаривать о колдовстве.

— Злые духи охотятся вместе с ним,— утверждали одни.— Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?

— Кто знает! А может, это не злые духи, а добрые? — говорили другие.— Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!

Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать его.

— Я хочу построить себе новую иглу,— сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам.— Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.

— Так,— сказали те, с важностью кивая головой.

— Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы

мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.

И они выстроили ему такую большую, просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу — она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке, и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.

Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.

— Тебя обвиняют,— зловеще сказал Уг-Глук,— в сношениях с злыми духами; вот почему твоя охота удачна.

— Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш.— Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад — просто потому, что тебя душит зависть?

И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения,— так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был спешно созван совет. И Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ:

— Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь...

— Больше и не бывает,— перебил Боун и повел рассказ дальше: — Но медведь не хотел вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шел прямо на медведя...

— Да, да,— подхватил Бим.— Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал

и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их.

Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.

— Собственными глазами видели мы это,— убеждал их Бим.

— Да, да, собственными глазами,— подтвердил и Боун.— И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.

— Да, большую беду,— перебил Бим.— Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли,— и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел.

— Да, и я не видел,— опять вмешался Боун.— А какой это был огромный медведь!

— Колдовство,— проронил Уг-Глук.

— Не знаю,— отвечал Боун.— Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел, и тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой, а потом садился и рычал и выл от боли — и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы — за Кишем, и так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли.

— Это колдовство! — воскликнул Уг-Глук.— Ясно, что это колдовство!

— Все может быть.

Но тут Бим опять сменил Боуна:

— Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и наконец пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем.

— А потом? — спросил Клош-Кван.

— Потом Киш принялся свежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.

К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.

И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился к иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшин-

ству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.

Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:

— Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься? Нет ли здесь колдовства?

Киш поднял на него глаза и улыбнулся.

— Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.

— И каждый может сделать это?

— Каждый.

Наступило долгое молчание.

Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И ты... ты расскажешь нам, о Киш? — спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я расскажу тебе.— Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места.— Это очень просто. Смотри!

Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку — и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.

— Вот так,— сказал он.— Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку — вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус — вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и, когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится — медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто.

И Уг-Глук воскликнул:

— О!

И Клош-Кван сказал:

— А!

И каждый сказал по-своему, и все поняли.

Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.

НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО

Ветер мчится — хо-хо-хью! —
Прямо в Калифорнию.
Сакраменто — край богатый:
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким, пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, когда крутят лебедку, снимаясь с якоря, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, который никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его, потому что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды, в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над проклятой лебедкой, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище, среди больших суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании — сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, ша-

гах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие простой силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, все повторялось снова, повторялось много, много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубахе, с винтовкой на плече, вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здоро́во, Малыш! — крикнул он.— Что ты тут делаешь один-одинешенек?

— А я здесь теперь за хозяина,— ответил малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному.— Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он еще вчера вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри будь поосторожней,— посоветовал ему Холл,— не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне «Колченогая Корова».

— Как бы дождя не было,— степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня, уж конечно, гулять не придется,— решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: — Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен — фермеры, жившие в уединенной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел, в каньон «Колченогая Корова». А вам что, на ту сторону надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри,— сказал Спиллен.— Отца у нее,— он ткнул пальцем в сторону плачущей жены,— задавило на руднике, в шахте «Клеверный Лист». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров и она уже давно находилась в бездействии.

— А может быть, Холл скоро придет,— промолвил мальчик.

Спиллен покачал головой.

— А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско,— коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в не-

решительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш,— сказал он тоном, не допускающим возражений,— нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл,— робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону. (Джерри нерешительно кивнул.) А дожидаться Холла нет никакого смысла,— продолжал Спиллен,— ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогая Корова» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Неудивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку» — так невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась бездной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, гонимые неистовым ветром клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра.

Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку. Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверху.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

— Триста футов...— шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле.— Триста пятьдесят... четыреста... четыреста...

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле, на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега, висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это стряслось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хотя и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену

и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на этом и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услыхал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу:

— Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что́ надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского каната. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер.

Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... А вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку, и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо над ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе,— крикнул Спиллен,— да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставлю! — крикнул ему в ответ Джерри.— Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо было освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и

все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно,— длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно,— вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко расплакался.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверный Лист».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, ибо твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Однако только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ВОЗДУШНОМ ОКЕАНЕ

Я отставной капитан верхнего моря. Иначе говоря, в молодости (а это было не так уж давно) я был воздухоплавателем и странствовал по воздушному океану, что простирается над нами и вокруг нас. Понятно, профессия эта опасная, и, понятно, я пережил немало волнующих приключений; но самым волнующим и, уж конечно, самым тяжким испытанием было то, о котором я хочу рассказать.

Случилось это еще до того, как я стал летать на водородных аэростатах с двойной оболочкой из покрытого лаком шелка на подкладке,— такие аэростаты держатся в воздухе не часами, а целыми днями. В ту пору я поднимался на «Маленьком Нассау» (названном так в честь «Великого Нассау», который бороздил воздушный океан за много лет до него). «Маленький Нассау» был солидных размеров, с однослойной оболочкой; наполненный нагретым воздухом, он поднимался вверх на милю и даже больше, и на нем можно было летать чуть не целый час. Меня это вполне устраивало: я тогда совершал с высоты в полмили прыжки с парашютом над общественными парками и сельскими ярмарками. У меня был подписан на все лето контракт с трамвайной компанией города Окленда (штат Калифорния). Этой компании принадлежал большой загородный парк, и, естественно, ей выгодно было устраивать всякие развлечения, ради которых горожане трамваем отправлялись на лоно природы подышать воздухом.

По условиям контракта, я поднимался на своем аэростате дважды в неделю, и мой номер программы был самым заманчивым — в эти дни в парк стекалось больше всего народу.

Чтобы вы могли понять, что произошло, сперва объясню вкратце, что за штука этот самый наполняемый нагретым воздухом аэростат, с которого совершаются парашютные прыжки. Если вы хоть раз видели такой прыжок, вы помните, что, едва парашют отделится, аэростат переворачивается вверх дном, горячий воздух и дым выходят из него — и пустая плоская оболочка падает на землю. Таким образом, не приходится рыскать по всей округе, догоняя покинутый воздушный шар, и тратить на его розыски много времени и сил. Достигается это так: к вершине воздушного шара прикрепляется на длинном канате груз. Воздухоплаватель с парашютом и трапецией висит внизу, под шаром, и своим весом удерживает его в нужном положении. Но как только он отделяется, груз тотчас заставляет шар перевернуться — и нагретый воздух выходит из его устья. На «Маленьком Нассау» грузом служил небольшой мешок с песком.

В тот день, о котором я хочу рассказать, публики собралось больше обычного, и полиция из сил выбивалась, осаживая толпу.

Мужчины, женщины и дети толкались и напирали, стараясь подойти поближе, и канаты, которыми была огорожена площадка с аэростатом, чуть не лопались. Когда я, переодевшись для полета, вышел из своей будки, я заметил у самого каната двух девочек лет четырнадцати и шестнадцати, а по эту сторону каната — мальчонку лет восьми. Девочки удерживали его за руки, а он, хоть и со смехом, отчаянно вырывался. В ту минуту я не обратил на них внимания: дети разыгрались, невелика важность. Но после случилось такое, что эта сценка сразу ожила у меня в памяти.

— Никого не подпускай близко, Джордж! — велел я своему помощнику.— А то как бы кого не зацепило.

— Ладно,— отозвался он.— Не беспокойся, Чарли, я уж пригляжу.

Джордж Гаппи десятки раз помогал мне подниматься в воздух, и, зная, что он человек хладнокровный, рассудительный и надежный, я привык спокойно вверять ему свою жизнь. Джордж всегда наполнял аэростат горячим воздухом и заботился о том, чтобы парашют работал безотказно.

«Маленький Нассау», уже надутый, туго натягивал удерживавшие его веревки. Парашют был аккуратно разложен на земле перед трапецией. Я сбросил плащ, занял свое место и дал знак пускать. Как вы знаете, в первую секунду аэростат взлетает очень резко, рывком, а на этот раз, подхваченный ветром, он сильно накренился и потом выпрямился не так быстро, как всегда. Я глянул вниз; мне давно знаком был вид убегающей из-под ног земли. Как всегда, подо мною были тысячи зрителей, тысячи запрокинутых лиц, но все молчали. Их молчание поразило меня: ведь прошло уже несколько секунд, обычно за это время толпа успевала перевести дух и разражалась бурей приветственных криков. А тут никто не хлопал в ладоши, не свистел, не кричал «ура», стояла мертвая тишина. И в тишине, громкий, как колокол, отчетливо и спокойно прозвучал в рупор голос Джорджа:

— Посади его, Чарли! Посади шар наземь!

Что случилось? Я помахал рукой в знак, что слышал, и стал раскидывать мозгами. Может, что-нибудь неладно с парашютом? Чего ради сажать аэростат, когда тысячи людей собрались поглядеть, как я прыгну? Что такое стряслось? Я терялся в догадках, и вдруг новая неожиданность. Земля осталась далеко внизу, и, однако, я услышал, как где-то, кажется совсем рядом, негромко плачет ребенок. И хотя «Маленький Нассау», словно шутиха, стремительно уносился в небо, плач не стихал, не замирал вдали. Невольно я поднял глаза, поглядел в ту сторону и, признаться, чуть не ошалел от страха: на мешке с грузом, который должен был опустить «Маленького Нассау» на землю, сидел

верхом мальчуган, тот самый, что раньше вырывался из рук двух девочек,— как я потом узнал, это были его сестры.

Он сидел верхом на мешке, изо всех сил вцепившись обеими руками в канат. Порыв ветра слегка накренил аэростат, непрошеного пассажира отнесло футов на двенадцать в сторону и опять прибило к туго натянутой оболочке, о которую он ударился с такой силой, что и меня порядком тряхнуло, а я находился на добрых тридцать футов ниже. Я думал, он сорвется, но мальчишка хоть и захныкал, а каната не выпустил. После мне рассказали, что в ту самую минуту, когда аэростат освобождали от привязи, малыш вырвался из рук сестер, нырнул под канат и оседлал мешок с песком. Ума не приложу, как он не свалился от толчка при взлете.

Так вот, увидал я его, и тошно мне стало, и я понял, почему на этот раз аэростат так долго не выпрямлялся и почему Джордж кричал, чтобы я садился. Ведь прыгни я с парашютом, шар тотчас перевернется, горячий воздух выйдет, и пустая оболочка сразу упадет на землю. Остается одна надежда, что я сумею посадить его, а мальчуган не выпустит каната. Добраться до него невозможно. Ни один человек не мог бы вскарабкаться по тонкому сложенному парашюту; а если бы это и удалось, если бы и подтянуться к отверстию внизу аэростата, что дальше? Мальчишка на своем ненадежном насесте мотается в пятнадцати футах от устья аэростата, и эти пятнадцать футов пустоты никакими силами не одолеешь.

Мысль моя работала куда быстрей, чем я сейчас все это рассказываю, и я мигом понял, что надо отвлечь мальчика от грозящей ему опасности. Призвав на помощь все свое самообладание и стараясь казаться спокойным, я окликнул весело:

— Эй, на мешке, ты кто такой?

Он поглядел на меня сверху вниз, проглотил слезы, оживился, но тут аэростат попал во встречный воздушный поток, завертелся и почти лег набок. Мальчишка на своем канате закачался, как маятник, потом снова ударился о туго натянутую ткань. И опять заплакал.

— Здóрово, а? — сказал я весело, точно лучшего удовольствия не придумаешь. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — А тебя как звать?

— Томми Дирмот,— отозвался мальчик.

— Рад с тобой познакомиться, Томми Дирмот,— сказал я.— А интересно знать, кто тебе позволил со мной лететь?

Он засмеялся и сказал, что решил полететь просто так, для забавы. И мы продолжали беседовать, причем я до смерти боялся за мальчишку и ломал себе голову, о чем бы еще поговорить. Я знал, что больше ничего сделать не могу — только бы не давать ему думать об опасности, от этого зависит его жизнь. Я показывал

ему, какой великолепный вид простирается в четырех тысячах футов под нами до самого горизонта. Вон раскинулась бухта Сан-Франциско, точно безмятежное озеро, вон и самый город, окутанный дымным маревом, а там Золотые ворота, и за ними, в тумане, океан, и над всем, четко вырезанная в небе, высится гора Тэмелпайс. Прямо под нами виднелся кабриолет; казалось, он ползет, как черепаха, но я по опыту знал, что седоки, несясь за нами вдогонку, изо всех сил нахлестывают лошадей.

Но скоро Томми устал любоваться окрестностями. И я видел: ему становится страшно.

— Может, пойдешь ко мне в компаньоны? — предложил я.

Он сразу оживился и спросил:

— А вы хорошо зарабатываете?

Но теперь «Маленький Нассау», постепенно остывая, начал спускаться, встречные воздушные потоки то и дело немилосердно встряхивали его. Беднягу Томми раскачивало из стороны в сторону, и один раз он сильно ударился о стенку аэростата. Губы его задрожали, и он опять заплакал. Я пробовал шутить, смеяться, но все понапрасну. Мужество покидало мальчика, и я с минуты на минуту ждал, что руки его разожмутся и он рухнет вниз.

Меня взяло отчаяние. И вдруг я вспомнил, что иной раз страх страхом вышибают. Я сурово сдвинул брови и крикнул:

— А ну, цепляйся покрепче за канат! Не то, когда спустимся, я тебя так отлуплю — своих не узнаешь! Понятно?

— Д-да-а, сэр,— прохныкал Томми.

И я понял, что хитрость удалась. Я был к нему ближе, чем земля, и меня он боялся больше, чем падения.

— Тебе хорошо сидеть там, на мягком мешке,— болтал я, не давая ему опомниться.— Не то что мне на этой жесткой перекладине.

Тут ему пришла в голову такая мысль, что он даже забыл, как у него ноют пальцы.

— А когда вы будете прыгать? — спросил он.— Я хочу посмотреть, как вы прыгаете.

Пришлось мне его разочаровать: прыгать я не собирался.

— А в газете написано, что вы прыгнете! — заспорил Томми.

— Мало ли что,— сказал я.— Меня нынче лень одолела, посажу шар на землю — и ладно. Это мой шар, что хочу, то с ним и делаю. Да и все равно мы уже почти спустились.

И правда, мы были уже низко и быстро спускались. И тут мальчишка стал на меня наседать: мол, нехорошо обманывать людей, все ждут, чтоб я прыгнул, значит, надо прыгать. А я, в душе радуясь такому обороту дела, гнул свое и на все лады доказывал ему, будто имею полное право не прыгать; но вот мы пролетели над эвкалиптовой рощей и спустились к самой земле.

— Цепляйся крепче! — крикнул я и повис на руках на трапеции, чтобы спружинить ногами.

Мы пронеслись над сараем, едва не задели веревку, на которой сушилось белье, распугали кур на каком-то дворе, перемахнули через стог сена — все куда быстрей, чем я сейчас рассказываю. Наконец мы опустились в чей-то фруктовый сад, ноги мои коснулись земли, и, несколько раз обернув трапецию вокруг ствола ближайшей яблони, я остановил аэростат.

Однажды мой аэростат загорелся в воздухе; в другой раз я зацепился и повис на карнизе десятиэтажного дома; случилось мне камнем падать шестьсот футов, когда не раскрылся вовремя парашют; но никогда еще я не чувствовал такой слабости, никогда у меня так не кружилась голова и не подкашивались ноги, как в минуту, когда я, шатаясь, подошел к этому мальчишке, целому и невредимому, без единой царапинки, и схватил его за плечо.

— Томми Дирмот,— сказал я, кое-как совладав с собой.— Томми Дирмот, сейчас я тебя разложу и задам тебе такую трепку, какой еще никогда с сотворения мира ни одному мальчишке не задавали!

— Нет, не зададите! — сказал он, вырываясь у меня из рук.— Вы говорили, что не станете меня бить, если я буду крепко цепляться.

— Верно, говорил. Но все равно я тебя отлуплю. На воздушных шарах летает народ самый что ни на есть дрянной и непутевый, и ты себе заруби на носу: от таких надо держаться подальше и от воздушных шаров тоже.

И я действительно выдрал его на совесть. Не знаю, как другим мальчишкам, а ему, уж наверно, сроду так не доставалось.

А у меня после этого случая всякое мужество пропало. Я расторг контракт с Оклендской трамвайной компанией и потом стал летать на водородных аэростатах. Это все-таки спокойнее.

ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.
Господь, укрепи мои мышцы к труду.
А если мне смерть суждена, я творца
Молю дать работу свершить до конца.
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки,

и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне — постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты.

Он повис на краю кровати, и казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие; потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его — он проснулся.

— Ладно,— пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться,— упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось

вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем,— сказала мать, когда Джонни сел к столу.— Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это значит еды прибавится,— заметил он рассудительно.— Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой,— сказала она.— Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка,— поспешно сказала мать.— Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, ему же подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него,— пояснила она.

Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом,— сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице.

День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним над ящиком с мелкими шпульками быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой, как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похва-

ла стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И неудивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цеху.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Также и мастер.

Но в одиннадцать часов в цеху началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка, работавший рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которую создал для себя Джонни; это был инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, отта-

щил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худощав немного,— тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ.— А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду,— сказал, вернее, прокричал инспектор, наклоняясь к его уху.— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать,— солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать,— сказал управляющий.

— Или все шестьдесят! — отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то! — Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок.— Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие.

Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор.— Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одноногому:

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался, лечь ли ему спать, или выйти на улицу, и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь

была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него бо́льшую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и не отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристает! — отвечал Джонни.— Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью.— Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой,— огрызнулся Джонни.— Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал,— запротестовала она.— Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать его.— От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел

слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно — не отлынивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было

быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличить производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее — он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта Клауса — он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он получил первое жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема»,— сказала мать. Джонни годами ждал

того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть, домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание о действительном событии,— нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте.

Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины, да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

...Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном» или «до», или «после того как я перешел в крахмальный» — вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов,— и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивая губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров»! — объявила она с торжеством.

— А-а,— сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а,— повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они всё ускоряли ход; челноки сновали всё быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа»,— сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху,— сказал он матери.— Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни,— озабоченно сказала мать.— Он так был плох, до сих пор в себя не пришел,— виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова

уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы.— И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь,— сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал, не встану,— повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс.

— Ничего особенного,— сказал доктор,— очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой,— сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама,— объявил он.— Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот дожила! — проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства.— Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запе-

чатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она.— Что ты говоришь!

Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он.— Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню,— сказал он.— Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч,— он сказал это с великодушием щедрого филантропа,— отбросим даже восемьдесят тысяч, и то остается миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.

А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать... а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну конечно, Вилли и ребятишки...— повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила,— заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила,— сказал он кротко и грустно.— Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу...

Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла,— всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать,— сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

ПРЯМОЙ РЕЙС

Сан-Франциско — Япония — прямой рейс — южное плавание — тропики. Какое богатство содержания в этих словах! Какие дивные воспоминания пробуждают они! Какую дружбу приводят на память! Какие счастливые часы были прожиты!

Уже одно воспоминание о чудесах такого путешествия опьяняет. В сознании возникают долгие тропические дни, когда северо-восточный пассат натянет все паруса и замрет за кормой, а часы проносятся за часами и дни за днями, о, слишком стремительно! Дни, дремлющие, зачарованные в своей волшебной красоте; дни, когда заря занимается во всем своем неподражаемом южном великолепии, а вечерние сумерки неуловимо сменяются ночной тьмой; дни, каждый из которых, как капля воды, напоминает предыдущий и, однако, отличается чем-то своим — быть может, более величественным восходом или более яркими красками заката, необычной игрой света и тени в танцующем океане, или небесами, усыпанными бисером пушистых облачков, золотистых, румяных, пурпурных узоров, более роскошных, чем прежде.

Время летит на крыльях. Что там вахта, штурвал! С этим верным ветром за кормой, поглощенный созерцанием, совсем забываешь о штурвале. Каждое мгновение рождает новые дива, невиданные красоты; они поражают и увлекают. Мечтательным взглядом следишь ты за огромными чайками, за тем, как торжественно и грациозно проплывают они над океанской бездной. Величественно совершая круг за кругом, они неизменно одаряют летящий по волнам корабль своими спиральными виражами. Вот твой взгляд отвлечен стаей дельфинов или привлечен серебристым полетом летучей рыбы, скользящей по ветру с волны на волну в сиянии солнечных лучей. Плавник акулы-людоеда за кормой, фонтан кита с подветренной стороны; какой-то парус разрезал горизонт; ветер крепчает — и океан улыбается веселей; ветер спадает — и океан затихает, погружается в сон; а вот пробитый с утлегаря гарпуном дельфин являет многоцветную, неуловимо переменчивую гамму красок, пока последние искры жизни угасают в его трепетном, брошенном на раскаленной палубе теле,— вот эти и тысячи подобных событий привлекают внимание, занимают ум и невольно наполняют грудь тихим, упоительным, всецело захватывающим тебя счастьем.

Карты лежат нетасованными, книги отложены в сторону, забыты матросские мешочки для ниток и иголок, забыты и мелкие дела; умиротворенные, расслабленные чудесами природы, моряки бродят по палубе, лениво сидят кучками или, растянувшись во весь рост, задумчиво лежат на баке. Умолкли «блюстители судовых законов»: их повседневное ремесло стало ненужным. Нет шумных ссор, не слышно лживых историй и драк из-за них. Все это приберегается для бурной погоды.

А ночи! Целая наука о свете и тени! Смутные очертания рулевого; яркий свет от судового компаса; паруса, теряющиеся из виду в черной бездне над головой; нос корабля пропадает в ночи; с трудом, почти интуитивно угадываешь снасть, блок, утлегарь, тали; темные фигуры то растворяются во мраке, то вновь

возникают, занимая свои обычные места; огоньки трубок и мгновенная вспышка спички; звезды, словно драгоценные камни, усыпавшие небосвод; море, каждая волна увенчана переливающейся огненной диадемой,— все это доставляет наслаждение утомленной душе, играя на ее артистических струнах, неуловимо, но тем не менее неуклонно наполняя ее невыразимой, тихой радостью.

И так же прекрасны все звуки. Нет ничего резкого, диссонирующего, все — в гармонии. Скрип блока звучит, как музыка. Тяжелые вздохи вздымающейся парусины, всплески танцующей под форштевнем воды, трепет не в меру смелой, случайно наткнувшейся на парус летучей рыбы, неясные, едва доносящиеся обрывки разговора и своеобразное, почти не различимое пение каждого натянутого троса, штанга, болты блока создают умиротворяющую симфонию, которая убаюкивает, и успокаивает, и навевает мечту, погружает тебя в дрему.

Когда же небо затягивают темные, грозовые тучи (прекрасный фон для змеящихся молний) и океан одевается пеной, а воздух становится завывающим демоном, тогда душа испытывает наслаждение. Забыта дремотная истома, неистовая радость включается в битву стихий. Чем грознее ревет ветер, грохочет гром и вздымаются волны, а с ними и борющийся с бурей корабль, тем пламеннее охвативший тебя восторг. Буйный разгул природы будит буйные чувства в груди. Ветер встает, как стена; мелкие брызги и дождь секут лицо и руки, как ножи; палуба превратилась в поток вспенившейся воды, но непередаваемый восторг охватывает всех и вся. Сердце сочувственно загорается всякий раз, когда корабль взбирается по крутым отрогам океанских гор, взволнованно трепещет в восхитительном предчувствии, когда он, вздев кверху нос, замирает на головокружительной вершине, а потом с силой низвергается в бездну крутящейся пены. Надсадные команды шкипера принимаются с лихорадочным нетерпением, радость битвы стремительней гонит кровь. И вот, когда упругий парус побежден, а непослушный трос уложен, ты, заслышав напев любимой матросской песни, просыпаешься от грез и, обновленный, ободренный, возвращаешься к повседневным, обычным заботам своей однообразной жизни.

ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек откинулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не

ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает,— свинья. Он не сказал: «поступила по-свински», а грубо заявил, что она — свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так выразиться о женщине.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор,— позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал,— пробормотал он неуверенно,— что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что...— начал он дрожащим голосом.

— Что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое, напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который выразился не совсем деликатно, и высказали свое мнение о нем,— сказал Трелор спокойным, ровным тоном.— Теперь я расскажу вам об одной женщине — прошу прощения, о леди,— и когда кончу, прошу вас высказать ваше мнение о ней. Я назову ее хотя бы мисс Кэрьюферз,— просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать — изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не буду, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяюсь,— была изумительна! Другого слова не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно, как кто-то сказал о Наполеоне. А как она плавала,— стань она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела! Она была одной из тех редких жен-

щин, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем сила. Сочеталось это в ней удивительно. У нее были чудесные руки: у плеча — только намек на мускул, нежная округлость до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну, я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как она умудрялась это проделывать.

Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет зараз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался слегка не отставать от нее.

Море было ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... Она была совершенством. Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда полудюжиной пылких поклонников, томно-небрежную или сверкающую остроумием, которым она их покоряла и жертвой которого они часто бывали, можно было подумать, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться,— все ходили перед ней на задних лапках, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов. Был среди нас и один приятный, немолодой уже человек — фамилия его, кажется, была Перкинс,— который вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз поставила его на место.

Мужчины были воском в ее руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как ей вздумается. Она была сдержанна и надменна, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто

из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что она была горда. В ней соединялись гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Странная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле, или серой, которая забредает сюда из австралийских вод, и раньше чем пассажиры разберутся, в чем дело, мальчишки все уже выбрались в безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрьюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся,— словом, дирижировала всем.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок согнувшись и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. И только один из них делал превосходно и это, как и все остальное. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой», и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое:

прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, и падал, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь, как чудесный, яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в его глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода,— такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали вверх. Мальчуганы карабкались наверх, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное,— ответил капитан Бентли.— Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она вздрогнула.— Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула,— пояснил он, указывая на воду.

— Нет,— сказала она,— акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен,— шепнул Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли.— Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрьюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его,— настаивал Деннитсон.— Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените,— заметила она.— Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено,— был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь,— сказал Деннитсон.— Дурачьтесь сколько хотите, только, ради бога, не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это было полной

неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска нырнул в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Вода была прозрачна, и мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю кто, может быть, я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я... мне и в голову не приходило...— сказала она с коротким истеричным смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, но никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон! — сказала она.— Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И всё. И кругом — молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнулась и должна была опереться о стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну,— заговорил он наконец,— что вы скажете о ней?

Человечек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать,— пробормотал он,— нечего.

МЕКСИКАНЕЦ

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты[1] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-

[1] Хýнта (испанск.) — комитет, общественно-политическая организация.

своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса[1]. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета.

Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба.

Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней; она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что́ — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично,— холодно произнес он.— Ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции,— отвечал Паулино.

---

[1] Дíас Порфúрио (1830—1915) — реакционный правитель Мексики. Свергнут в 1911 году в результате движения народных масс.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо,— сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит, найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем

у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое,— заметил Рамос.

— В его душе все притупилось,— сказала Мэй Сэтби.— Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю: боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он разрушил все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и всё поняли.

— Я говорил вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо, Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,— говорил Ареллано.

— Завсегдатай злачных мест,— говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра.— Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,— заметила Мэй Сэтби.— Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,— предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,— сказал Вэра.— Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,— признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя,— подхватил Вэра,— он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем,— сказала Мэй Сэтби.— У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок...— Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано

К стр. 288

утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все: социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся от самых берегов Атлантического океана.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать Юг. Но пламя перекинется и на Юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к рево-

люции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпнут до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда — новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен своей собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки,— сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели,— отвечал Ривера.— Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки,— повторил он.— Я ухожу.

III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от

спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями, контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда.— Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание.— Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью. Келли без обиняков приступил к делу:

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,— последовал неторопливый ответ.— Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично.— Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне». Щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.— Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился:

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый, как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и выносливость невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю,— заметил секретарь.— Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем,— подтвердил Робертс.— И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам,— сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего,

ему нужны деньги; и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал, да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника.— Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это так! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру.— Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анджелес здорово обеднел, если это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс.— И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана,— жалобно протянул Келли.— Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потише, потише,— осадил Дэнни менеджер.— С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту,— улыбнулся Дэнни.— Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет,— последовал ответ.— Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу.— Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят.— Он обратился к менеджеру: — Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай,— сказал Келли.— Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера,— подтвердил Робертс.— Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь,— поспешил пояснить Дэнни.— Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все,— решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей,— сказал он.— Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову.— Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все,— угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей,— начал доказывать Келли.— Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анджелеса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат,— пожав плечами, отвечал Ривера,— после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?! — не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,— убеждал Келли.— Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,— отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет и то не победишь,— заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера.— Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен,— с внезапной решимостью крикнул Дэнни.— Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере: — Когда взвешиваться?

— Перед выходом,— последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять,— продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова заскрипело

— Это, значит, лишних пять фунтов,— недовольно заметил Робертс Ривере.— Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Билли Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким, маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более тонко организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из здесь присутствующих, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хагэрти. Спайдер был главным секундантом.— Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анджелес, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц»,— год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио[1] и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего, длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо[2], игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой, добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хагэрти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее, локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение

---

[1] Па́тио (испанск.) — внутренний дворик.

[2] Мучача́ (испанск.) — мальчик.

в горы за ягодами, кореньями и травами,— все они этим питались и мучились резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании, тысячи голодных рабочих, генерал Росальо Мартинес, и солдаты Порфирио Диаса, и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли высказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хагэрти склонилась над ним.

— Не поддаваться страху,— предупредил Спайдер.— Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая не слышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок,— прошипел Дэнни, не переставая улыбаться,— сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хагэрти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера,— тянул Робертс.— Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу.— Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали

в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья рознял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту были безграничны, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем,— этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю,— тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше чем будет произне-

сено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах», и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца,— шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от

страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам — винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца: четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его про-

тивник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким, быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой руки теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете девять. Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу», от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давал дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что́ у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хагэрти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бес-

сильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул.— Дэнни должен победить... не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцать — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,— сказал он.— Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется.

В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он.— Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь,— поддал жару Спайдер Хагэрти.— Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик,— настаивал Келли,— и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела

вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть губительного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает!

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере.—Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть, Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья.— Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенце. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надуваательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновре-

менно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это — винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

Э. СЕТОН-ТОМПСОН

Рассказы о животных

ДОМИНО

Часть первая
ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО

I. РОДНОЙ ДОМ

Солнце село за Го́лдерские горы, и мягкие сумерки, которые так любят все животные, разлились над морем холмов и равнин. Закат пылал, а маленькие долинки были наполнены кротким сиянием, лишенным теней. Высоко на холме невдалеке от реки Шоба́н зеленел сосновый лесок. Хорошо и спокойно было здесь в сумерки. Посреди этого леса на полянке жила семья лисиц.

Вход в нору скрывался на опушке. В этот час все семейство вышло на воздух порезвиться и наслаждалось вечерней прохладой.

Мать следила за игрой детей. Она самым усердным образом поддерживала общее веселье. Пушистые малыши резвились с беззаботностью только что начавших жить существ, для которых

высшей силой является мать, и эта сила вся к их услугам, а следовательно, весь мир для них — друг. Они играли и боролись, с буйным весельем гонялись друг за другом, за мухами и жучками, смело принюхивались к толстым шмелям и бешено носились, стараясь поймать кончик материнского хвоста или отнять друг у друга какой-нибудь старый, давно уже брошенный объедок.

Они играли ради игры и рады были всякому предлогу, чтобы поднять новую кутерьму.

В этот вечер игрушкой лисят было засохшее утиное крыло. Десятки раз оно переходило от одного к другому. Но вот его наконец схватил самый бойкий лисенок, с черной полосой поперек мордочки. Не уступая никому, он стал носиться по кругу со своей добычей, пока остальным не надоела бесполезная погоня и игра. Тогда он выпустил крыло, но тотчас же вцепился в хвост матери и теребил его до тех пор, пока она внезапным прыжком не вырвала своего хвоста, опрокинув на спину маленького забияку.

Во время этой суматохи на полянке появился старый лис. Увидев его, мать вздрогнула, лисята испугались, но знакомый облик тотчас же успокоил всех: это был отец.

Он нес пищу, и потому все жадно повернули в его сторону глаза и носы. Отец опустил на землю свою ношу — только что задушенную выхухоль,— и мать побежала за ней.

Охотники рассказывают, что лиса никогда не приносит добычу к самой норе, если лисята не дома. А в охотничьих рассказах иногда бывает и правда.

Мать швырнула выхухоль детям, и они набросились на нее. Они дергали и таскали зверька, рыча и страшно тараща глазенки друг на друга, и каждый отчаянно тряс головой, стараясь урвать свою долю добычи.

Мать смотрела на возню лисят с мертвой выхухолью, но в то же время поглядывала и на окружающий лес. Там всегда могли скрываться коварные враги: люди с ружьями, мальчишки и собаки, орлы и совы — всем хочется поохотиться на маленьких лисят.

Она постоянно была настороже, и в этом ей помогал муж. Хотя он играл второстепенную роль в семейных делах и, пока лисята были еще слепыми сосунками, даже совсем не допускался в нору, тем не менее он добросовестно приносил пищу и сторожил нору.

Веселый пир малышей был в самом разгаре, как вдруг издали донеслось отцовское «юр-юр-юр-яап» — сигнал приближающейся опасности. Будь лисята постарше, они сами поняли бы значение этого сигнала. Но они были еще очень малы, и мать поспешила объяснить им, что надо делать; пересказав лисятам отдаленный лай отца низким, угрожающим ворчанием, она загнала их обратно в нору, где в полутьме они спокойно доели выхухоль.

Среди ферм одной только Новой Англии живет не менее тысячи пар лисиц. Каждая пара ежегодно приносит потомство, и пото-

му весьма вероятно, что такие сцены, как только что описанная, происходят перед каждой лисьей норой в каждый погожий весенний день. Следовательно, не менее чем сто тысяч раз в год эти сцены повторяются у нас под самым носом, а между тем все это происходит в такой тайне и до того осторожны родители зверят, что, быть может, лишь одному из ста тысяч людей посчастливится наблюдать подобную семейную сцену.

В городе Голдере таким счастливцем, одним на сто тысяч, оказался Абнер Джукс. Это был долговязый, белобрысый, веснушчатый мальчишка, который лазил по деревьям за вороньими гнездами, вместо того чтобы пасти коров.

Он наблюдал за игрой лисят не просто как всякий мальчишка, а с трепетом будущего естествоиспытателя. Он тотчас заметил лисенка с черной маской на морде, как бы одетого в домино, и радостно улыбался его штукам.

Мальчику и в голову не приходило мешать забавам малышей, но тем не менее он оказался невольным виновником неожиданного перерыва в игре, а также и всех бедствий, обрушившихся на лисье семейство впоследствии.

Абнер охотился на лисиц только зимой. Он гордился своей охотничьей собакой, которая обещала стать «самым лучшим псом во всем штате». Правда, пока это был еще не пес, а только щенок, но щенок с большими лапами, тонкой талией и широкой грудью. Голос у него был сильный, звучный, и, судя по угрюмому дикому нраву, щенок обещал вырасти презлющим зверем. Обычно Абнер запирал его дома, но на этот раз щенок как-то вырвался на волю и, конечно, тотчас же пустился искать своего хозяина. Его-то приближение и встревожило отца лисят.

Лисица-мать, убедившись, что все семеро ее дорогих малюток находятся в безопасности, сейчас же побежала навстречу врагу. Она нарочно избрала такой путь, чтобы непременно попасться на глаза собаке, если та приближается к норе, и действительно вскоре услыхала металлический лай, который заставил биться сильнее даже закаленное сердце ее супруга.

Но теперь она не думала о себе. Она увлекла за собою неуклюжего пса, затем, очутившись на безопасном расстоянии от норы, очень просто отделалась от него, сдвоив свой след, и вернулась в нору. Там было все благополучно. Только черномордый лисенок, обыкновенно встречавший ее у входа, на этот раз забился в самую глубь норы и уткнул нос в песок.

Минут пять назад он выглянул было из норы, но услышал жуткий, пронзительный собачий лай, и дрожь пробежала у него по всему хребту, до самого кончика пушистого хвоста. Малыш поспешно забрался в самый дальний угол и лежал там, скорчившись, еще долго после того, как всякая опасность миновала. До сих пор он жил в мире любви. Теперь в этот мир вторгся страх.

II. НЕСЧАСТЬЕ

Среди охотников очень распространено мнение, будто лиса не трогает птичника, расположенного ближе всех к ее норе. Она старается не навлечь на себя гнев ближайшего соседа и поэтому предпочитает ходить за добычей на более отдаленные фермы.

Быть может, по этой причине на птичьем дворе Джукса все было благополучно, а у Бе́нтона то и дело пропадали куры. Старик Бентон вообще не отличался долготерпением, а когда исчезло более четверти его прекрасных кур, он окончательно взбесился.

В следующее воскресенье сыновья Бентона — Си и Бэд,— проходя по вершине холма, услышали лай Джуксовой собаки, напавшей на след лисы. Мальчики не особенно дружили с собакой и потому не стали вмешиваться в это дело. Они остановились и, наблюдая сверху за погоней в долине, видели, как ловко лиса провела собаку, когда ей надоело убегать.

Но не успели они тронуться с места, как лиса появилась опять, и на этот раз с белой как снег курицей в зубах. Бентон очень гордился своими породистыми белыми курами, и не было сомнения, что лиса несет именно его курицу. Белая курица хорошо заметна издали, и мальчики без труда проследили похитительницу до самого входа в нору.

Полчаса спустя они уже стояли среди белоснежных перьев породистой курицы. Мальчики попробовали было просунуть в нору длинный шест, но он застрял в изгибе хода, и лисята, хотя и страшно перепуганные, остались невредимы. Старые лисы в это время метались поблизости в лесу. Испуганные, они убежали от норы, но нора — ведь в ней остались лисята — тянула их к себе. Они пытались подойти к норе, но каждый раз, услышав людские голоса, отбегали и прятались в кустах.

Хотя нора находилась на земле, принадлежавшей Джуксу, сыновья Бентона все-таки решили прийти еще раз на другой день и выкопать лисят. Но лисица-мать уже встревожилась: ее дом стал теперь опасным. Она тотчас же начала рыть новую нору и на рассвете приступила к переноске своего семейства.

У деревенских жителей, если они хотят отобрать лучшего из новорожденных котят, существует простой и естественный способ отбора: они выносят котят в открытое поле. Кошка скоро находит своих детей и начинает перетаскивать их обратно. Тот котенок, которого она возьмет первым, и считается самым лучшим. Это верная примета: самый шустрый котенок всегда выберется из кучи наверх, первый обратит на себя внимание матери, а потому она и несет его домой прежде всех.

В старой норе первым встретил лисицу тот лисенок, который был самым бойким и самым сильным,— Домино, и его первого перенесла она в новое, безопасное убежище. Затем она взяла

самую здоровую из его сестер, а в третий раз — маленького крепыша-брата. Отец тем временем сторожил на соседних холмах.

Стало рассветать. Мать пустилась в путь с третьим лисенком, как вдруг отец подал сигнал тревоги.

Мальчики Бентона явились с заступом и киркой, чтобы раскопать лисью нору, но в трех шагах от входа они наткнулись на большой камень. Пока они рассуждали, как им быть, из каменоломни в горах донесся гул взрыва, и план действий был готов. Один из мальчиков сходил в каменоломню и вскоре вернулся с динамитным патроном. Они заложили патрон в трещину камня. Через минуту страшный взрыв потряс склон холма. Когда улеглось облако пыли, оказалось, что взрыв засыпал вход в нору грудой камней. Лисята, без сомнения, были раздавлены или задохлись. Взрыв превратил жилище в могилу, и мальчики ушли.

Если бы они вернулись сюда ночью, они увидели бы, как лисы, отец и мать, разрывали лапами землю и напрасно грызли осколки гранита, стараясь попасть в родную нору. На следующую ночь лисы приходили снова. На третью ночь явилась только одна мать, а затем и она оставила безнадежные попытки.

III. НОВЫЙ ДОМ

Новый лисий дом находился на расстоянии мили от прежнего и уже не на холме, а внизу, у реки, там, где она покидает холмы и растекается по лугам. Тут, в широкой лощине, окруженной скалами, где густо переплетались корни осин и берез, лисы устроили новое жилище. Вход в него охраняли два больших камня. Прежняя нора находилась на склоне холма, в сосновом лесу, а эта — в лощине, заросшей осиной. Сосна вечно шумит и вздыхает, осина все время дрожит и трепещет. А мимо со звонкой песней катит свои волны река.

У входа в нору начинались густые заросли трав, тянувшиеся до заросшей осокой тихой речной заводи. Этот зеленый скат служил местом игр для трех малышей, и здесь все лето можно было десятки раз наблюдать прежнюю сцену возвращения домой охотника-отца с добычей. Трава вокруг была примята от вечной возни лисят и вытоптана их лапками.

Лисята росли быстро, но быстрее всех рос тот, у которого с каждым днем все темнее становилась маска на мордочке.

Родители принялись обучать их правилам охоты. Лисята почти все уже не сосали мать и ели то же, что и взрослые. И вот теперь отец и мать устраивали так, чтобы детям приходилось добывать пищу как бы самостоятельно. Они уже не приносили добычу к самой норе, а оставляли ее в лесу — все дальше и даль-

ше, по мере того как лисята становились сильнее. Заслышав призыв матери, дети бросались в лес, и там начиналась серьезная игра, от результатов которой зависел обед.

Надо было видеть, как они носились в чаще кустарника, как рыскали и кружили по заросшим травой склонам, разглядывая и обнюхивая каждую ямку!

Как радостно они летели вперед, опрокидывая друг друга, когда ветер подсказывал им, куда бежать, и как прекрасно в конце концов они научились мчаться во весь опор по следу отца или матери прямо к запрятанной пище!

Так они приучались к настоящей охоте.

Темномордый лисенок был самый сметливый, самый сильный и самый ловкий. Он умел лучше всех находить пищу и потому питался лучше всех. Ему всегда доставались самые большие и лакомые куски. Он рос быстрее других лисят, и разница между ними становилась заметнее с каждым днем. Но у него было и еще одно отличие: его детская темно-серая шубка стала темнеть. У брата и сестры начала пробиваться рыжая и желтая шерсть, свойственная их породе, а у него шерсть день ото дня чернела, а на морде и на лапах сделалась совсем черной.

Был уже конец июля. Старые лисы не только без устали добывали детям пищу с соседних ферм, но и заботливо оберегали их от всякой опасности. Звонкий лай черной собаки часто раздавался вблизи их лощины, и всегда, услышав его, черный лисенок дрожал. Но каждый раз отец или мать отправлялись навстречу врагу и, обманув его какой-нибудь простой уловкой, заставляли вернуться домой ни с чем. Среди прибрежных скал обмануть собаку было так легко, что лисы стали относиться с пренебрежением к своему неуклюжему противнику и сделались не в меру самоуверенны.

Однажды, когда все три лисенка сновали по лужайке в поисках только что принесенной отцом добычи, откуда ни возьмись, на них ринулась пятнистая собака.

В ужасе от ее громового рычания лисята бросились в разные стороны, но младший братишка не успел увернуться: громадные челюсти схватили его.

Страшный зверь принес свою добычу на ферму и, положив к ногам хозяина, смотрел на него, ожидая похвалы. Однако хозяин не похвалил пса.

Беда никогда не приходит одна. На рассвете следующего дня лис-отец бежал домой с только что пойманной уткой, как вдруг собачий лай заставил его свернуть в сторону с привычного и хорошо знакомого пути. Он очутился на дорожке, обнесенной высокой изгородью с обеих сторон. Он не мог перебраться через изгородь, не выпустив изо рта утки. Лис побежал вдоль изгороди, но собаки уже нагоняли его. Тогда он юркнул в первый попавшийся проход.

Увы! Несчастный попал во двор, где жила другая собака, и тут ему пришел конец.

Семья его об этом не узнала. Отец не вернулся домой, не принес добычи. Мать и двое лисят остались голодными. Голод — вот, пожалуй, и все, что они ощущали в этот день.

В норе среди осин осталась только мать с двумя детьми. Лисица-мать отважно приняла на себя все тяготы. Впрочем, ее заботы о детях уже почти окончились. В августе они начали ходить вместе с нею далеко на охоту и сами добывали себе пищу. В сентябре дочь была уже с мать ростом, а темношерстный сын значительно перерос ее и стал гораздо сильнее матери. Теперь между сестрой и братом и между матерью и сыном отношения изменились: обе лисицы начали сторониться этого высокого красавца лиса и, наконец, стали просто избегать его.

Мать с дочерью еще продолжали жить вместе, но какой-то тонкий инстинкт уже разрушал семейные узы. Они держались дружески с высоким черным лисом, когда встречались случайно, но, по-видимому, избегали этих встреч. Так быстроногий Домино, научившись заботиться о себе, покинул ложбинку в осиннике и начал жизнь лиса-одиночки.

IV. НОВЫЙ НАРЯД И НОВАЯ ЖИЗНЬ

С этих пор Домино вступил в широкий мир, полный житейских бурь, лежавший за пределами родного уголка под сенью осин. Теперь он начал самостоятельную жизнь и должен был полагаться только на собственные силы, чтобы быть сытым и целым. С каждым днем он становился умнее, осторожнее и красивее.

Вскоре после ухода из родной норы ему пришлось спасаться от преследования, которое показало ему, что иной раз сметливость спасает лучше, чем самые быстрые ноги. Кроме того, он сделал открытие, что в минуту опасности у него есть верный друг, которого он и раньше видел каждый день, но с которым познакомился только теперь.

Однажды за Домино погнались две собаки, и, спасаясь от них, долго бегая по скалам, он изрезал в кровь свои лапы. День был сухой и знойный. Сделав отчаянное усилие, Домино намного опередил своих преследователей и помчался к реке, чтобы охладить свои разгоряченные, усталые, окровавленные ноги. Спустившись к реке, он побрел по мелкой воде против течения, наслаждаясь прохладой. Он прошел по воде уже с четверть мили, как вдруг снова услышал приближающийся лай и увидел собак, добежавших до реки по его следу. Молодой лис спрятался в кустах на островке и из своего безопасного убежища с удовольствием

наблюдал, как собаки у воды потеряли след и носились взад и вперед по берегу, стараясь отыскать его снова, и наконец, не найдя ничего, совершенно сбитые с толку, повернули домой.

Быть может, лис не понимал отчетливо, что вода скрыла следы, но у него все же создалось представление, что река — хорошее место, где можно ускользнуть от неминуемой опасности. Впоследствии это подтверждалось не один раз. Так, например, у другого берега, гораздо ниже по течению, была песчаная отмель, на которой, по-видимому, не оставалось следов и которая, следовательно, не могла выдать присутствие беглеца. Когда настала зима и река покрылась тонким слоем блестящего льда, Домино увидел, что этот лед прекрасно держит его и ломается под собакой, которая проваливается в воду.

Но самым полезным местом оказался скалистый обрыв над рекой. Под обрывом вилась тропинка, вначале довольно широкая, а затем суживавшаяся настолько, что еще кое-как была проходима для лисицы, но слишком узка для охотничьей собаки. Тропинка эта огибала мыс, а потом отлого поднималась на скалу и вела в лес, до которого любой иной дорогой было добрых две мили.

Кроме того, Домино узнал, что, когда в других местах охота плоха, у реки всегда найдется что-нибудь съестное. Была ли то выброшенная на берег рыба, или дохлая птица, или хоть лягушка, все же можно было утолить голод. И у него составилось твердое убеждение, что вообще река — прекрасное место, полезное в трудные минуты жизни. Река стала его другом.

Но за это время наш молодой зверь очень изменился, и постоянно угрожавшая его жизни опасность удесятерилась.

С наступлением молодых осенних ночей его шуба стала гуще, пушистее и изменила цвет. С каждым днем шерсть все темнела, пока наконец рыжие и серые оттенки не исчезли совсем. И всякий, кто знает толк в мехах, мог бы сказать: «Не предвестник ли это еще большей красоты? Не станет ли этот молодой лис настоящим черно-бурым лисом?»

Добыть шкуру черно-бурой лисицы — величайшее счастье, о котором только может мечтать охотник. Но это сокровище тщательно охраняется хитростью и быстротой самого зверя.

Черно-бурая лисица только зимой сильно отличается от обыкновенной. Черно-бурого лисенка, пока он еще не сменил своей детской шубки, легко принять за обыкновенного. Только с приближением зимы можно обнаружить красоту счастливца. И вот, когда прошла осень и в Голдере наступили морозные ночи, темнеющая зимняя шуба Домино с каждым днем становилась все пышнее и гуще, хвост с белым кончиком — пушистее, а темная полоса поперек морды — все чернее, резко выделяясь, подобно маске, среди обрамляющей ее серебристой шерсти. Голова и шея также приобрели блестящий черный цвет. Наконец, как звезды,

усеивающие темное ночное небо, появились блестящие белые кончики волос на фоне черного, как мрак, меха. Тот, кто видел черномазого лисенка в июле, ни за что не узнал бы его теперь, в ноябре, в полном блеске благородного зимнего наряда: Домино превратился в великолепного черно-бурого лиса.

V. КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ

Скоро всем стало известно, что в Голдере появился черно-бурый лис. Люди уже не раз видели этого красавца, это чудо среди пушных зверей, и некоторые полагали даже, что собаке Джукса, черной Гекле, не раз удавалось гнаться за ним по пятам. Так, по крайней мере, рассказывал сам Джукс, хотя соседи его смеялись над подобными баснями и утверждали, что черно-бурая лисица просто издевалась над глупым псом и, заставив его бежать сломя голову, всегда оставляла в дураках с помощью какой-нибудь из своих бесчисленных уловок.

У Геклы был замечательный голос: громкий, низкий и такой звучный, что в тихие ночи он был слышен за несколько миль. Лай этот казался механическим, потому что собака неизменно лаяла при каждом скачке, даже когда возвращалась домой по собственному следу.

Сыновья Джукса воображали, что Гекла — чудесная, образцовая охотничья собака. Но соседи говорили, что это просто помесь лисьего капкана и паровой сирены, да к тому же еще угрюмая и дикая скотина. Более беспристрастные люди признавали, что Гекла — крупный, быстроногий, злой щенок, обладающий действительно особенным, незабываемым голосом.

Впервые я услыхал лай Геклы, когда она была заперта на ферме. Этот звонкий, жуткий, металлический голос потом целый день отдавался у меня в ушах.

И вот однажды осенью, на закате солнца, когда я бродил в лесу у подножия Голдерских холмов, мой слух поразил тот же самый металлический лай, доносившийся издали. Я тотчас же узнал его и догадался, что Гекла идет по чьему-то следу. Я прислушался и вскоре понял, в чем дело. Послышался легкий шелест листьев, и через несколько мгновений я увидел великолепное животное — черную, как уголь, лисицу. Она на минуту задержалась, став передними лапами на поваленное дерево, чтобы оглянуться в сторону врага. Лисица была всего в пятидесяти шагах от меня, и я знал, как поступить: приложив к губам руку, я втянул в себя воздух и громко чмокнул. Лисица тотчас повернулась ко мне и стала быстро ползти в мою сторону.

Когда между нами было уже не больше двадцати шагов, она остановилась в грациозной позе, с настороженными ушами, не-

сколько загнутым кверху хвостом и приподнятой передней лапой, стараясь определить, откуда донеслось заманчивое чмоканье крысы или кролика.

О, что это был за мех!

Стояла еще ранняя осень, но на фоне черного блестящего меха уже резко выделялись белая как снег грудь и светлый кончик хвоста. Желтые глаза лисы горели, как огоньки, а серебристые кончики волос окружали, как сиянием, ее голову и шею. Мне кажется, я еще никогда в жизни не видал такого прелестного создания. Наконец я сообразил, что это, должно быть, и есть голдерская черно-бурая лисица. Я не двигался, она тоже. Как это часто случается, животному, по-видимому, не приходило в голову, что перед ним человек. Но лисица хорошо слышала по приближающемуся металлическому лаю, что по ее следам идет Гекла, и повернулась, чтобы бежать далее. Тут я снова чмокнул и еще раз имел счастье наблюдать изящную позу насторожившегося животного. Но я выдал себя неосторожным движением, и лисица мгновенно скрылась.

Минут десять спустя передо мною появилось другое животное: мерно лая через каждые несколько футов, продираясь сквозь кустарник, ломая на пути все, что не гнулось, неуклюжая, тяжелая, с налитыми кровью глазами, не обращая ни на что внимания, кроме следа на земле, с мрачным упорством двигаясь вперед, показалась Гекла — знаменитая Гекла, которая собиралась помериться силами с самым быстроногим из обитателей Голдерских холмов.

Невольно становилось страшно при виде того, как этот громадный, грузный зверь обнюхивал землю и безошибочно находил каждый поворот лисьего следа. Было как-то жутко подумать, что след может точно сказать, куда направилась лисица. А между тем это было так, и Гекла ни разу не сбилась, не заколебалась. Я чмокнул собаке, но с таким же успехом можно было бы чмокнуть какому-нибудь капкану. Единственной ее мыслью было не терять следа, пока он не приведет к лисице. А что было бы потом, об этом я мог судить по злым, налитым кровью глазам собаки и по ощетинившейся шерсти на хребте. Я сам охочусь на лисиц и люблю эту охоту, но в тот день вид прелестного создания, преследуемого безжалостным Цербером, от которого нельзя уйти, произвел на меня такое же впечатление, как вид ядовитой змеи, душащей прекрасную певчую птичку.

Старинная дружба человека с собакой была забыта, и с тех пор мое сердце перешло на сторону черно-бурого лиса.

VI. ЗИМНЯЯ ЖИЗНЬ ДОМИНО

Пришла зима, и деревенские мальчишки принялись за свою беспорядочную охоту на лисиц. Пустив вперед двух-трех псов, они обычно следуют за ними пешком, со своими ружьями.

Но однажды на след Домино напала настоящая конная охота с целой сворой собак, но Домино скрылся в скалах возле реки. С каждым удачным уходом от врагов он становился все сильнее и все лучше умел сбивать с толку преследователей. Кроме того, он совершенствовался еще и в умении владеть собой. Страшный лай громадной собаки пугал его по-прежнему, но Домино научился преодолевать свой страх, и мужество его все возрастало.

Он вел теперь обычную жизнь одинокого лиса. У него не было норы — лисы зимой мало живут в норах. Он ложился спать на открытых местах, где защитой от холода ему служили его пышная, густая шуба и пушистый хвост. А острый нюх надежно охранял его от приближающейся опасности.

Спал он только днем, на солнце. Таков уж неписаный закон лисиц: «Ночь существует для охоты, день — для сна». Когда солнце садилось и сгущались сумерки, Домино отправлялся на поиски пищи.

Существует ошибочное мнение, будто всякое дикое животное может видеть в непроглядной тьме: нет, свет ему нужен. Разумеется, он ему нужен гораздо меньше, чем человеку, но все-таки немного света требуется и для него. Животное может лучше пробираться ощупью в темноте, чем человек, но все же оно передвигается лишь ощупью. Животные не любят яркого полуденного света. Любимое их время — мягкий полумрак. При луне или в звездную ночь зимой, когда лежит снег, охотиться удобнее.

Итак, едва садилось солнце, Домино выходил на охоту. Он бежал рысцой, держась против ветра, сворачивал в стороны, чтобы обследовать всякую заманчивую заросль, всякий заросший травой буерак, наведывался во все места, где ему когда-нибудь посчастливилось прежде, и подбегал ко всякому приметному столбу, камню или углу ограды понюхать, не побывала ли там недавно какая-нибудь лисица. Ведь лисицы, подобно собакам и волкам, имеют обыкновение оставлять свои следы у каждого камня и столба. Затем он выбирался на гребень холма, принюхиваясь, не донесется ли с ветром запах съестного. При малейшем шорохе он останавливался и стоял неподвижно, пока не убеждался, что ничего не случилось, или подкрадывался, словно кошка, поближе, чтобы лучше разузнать, в чем дело. Иногда он взбирался на какое-нибудь пригнувшееся к земле дерево, чтобы осмотреться, или, если дерева не было, делал высокий дозорный прыжок вверх.

Во время этих ночных походов он вовсе не избегал фермерских дворов, охраняемых собаками. По мере заселения пустынных мест

число лисиц там увеличивается, так как каждая ферма служит для них источником пищи и непременно имеет двух-трех постоянных нахлебников лисьей породы. Так и наш Домино, несмотря на присутствие собак, все-таки бежал от одной фермы к другой. А чтобы не попасть собаке в зубы, он останавливался на некотором расстоянии и вызывающе лаял. Если собака выскакивала на лай, он удирал, а если никто не отзывался, он делал вывод, что собака заперта. Тогда он смело прокрадывался во двор и хватал все, что попадалось. Разумеется, наилучшей добычей ему казалась жирная курица, которую он мгновенно заставлял замолчать, сжав ей шею зубами. Но порой Домино приходилось довольствоваться и брошенными курам хлебными корками или дохлой крысой, выброшенной из крысоловки. Он не гнушался даже таскать куски из свиного корыта.

Почти всегда, хотя и не каждую ночь, он находил съестное, а ведь, в общем, иметь хороший ужин раз пять в неделю вполне достаточно для того, чтобы не потерять жира и протянуть зиму.

VII. ДОМИНО НАХОДИТ СЕБЕ ПОДРУГУ

Ни одно дикое животное не блуждает бесцельно с места на место — каждое из них имеет свой родной округ, определенный участок для охоты. За этот участок оно готово сражаться и будет защищать его от всякого другого животного своей породы.

Многочисленные наблюдения показывают, что охотничий округ лисицы обыкновенно простирается на три-четыре мили от норы во все стороны. Возможно, впрочем, что округ одной лисицы отчасти совпадает с округами других лисиц. Но к таким постоянным соседям животное скоро привыкает, хорошо изучив их наружность и запах их следов; в конце концов соседи перестают обращать друг на друга внимание.

Совершенно иное дело, если в округе появляется чужой зверь. Тогда приходится драться или уходить.

Когда «Снежный месяц» пошел на ущерб, Домино, достигший полного расцвета своих сил, одетый в роскошный мех, начал страдать от одиночества. Временами безотчетное стремление к общению с кем-нибудь заставляло его долго просиживать на пригорке вблизи какой-нибудь фермы, прислушиваясь к лаю собак, если это не было особенно опасно, или даже нарочно вызывать их на погоню за собой. Иногда он останавливался на вершине освещенного луной холма и испускал протяжный лающий вой. Ученые называют его лисьим лаем, а охотники зовут тоскливым плачем:

Яп, яп, яп, яп, юррр-йоу,
Яп, яп, яп, яп, юррр-йоу...

К стр. 324

Однажды, в одну из ночей «Голодного месяца», Домино печально завывал, не надеясь, что кто-нибудь отзовется. Воя, он еще сильнее чувствовал свое одиночество.

На языке людей «Голодный месяц» называется февраль. Зима стала понемногу сдавать, подул мягкий, влажный юго-восточный ветер, тот самый, который несет с собою таинственное веяние весны.

Яп, яп, яп, яп, юррр-йоу,
Яп, яп, яп, яп, юррр-йоу...—

снова повторил свой призыв Домино и, зорко осмотревшись кругом, на этот раз уловил вдали тень, промелькнувшую по белому покрову полей. Пока он следил за ней, насторожив уши, другая тень быстро пронеслась по снегу, но уже ближе, и Домино пустился вслед за нею.

Человек знает всех своих соседей только по наружности и легко ошибается, если они хоть слегка изменят ее. Лисица в этом отношении стоит выше: она знает своих соседей по запаху их следов, их тела и, кроме того, по наружности, а все это вместе не может измениться до неузнаваемости. Через несколько мгновений Домино уже напал на след второй тени, и сразу же чутье безошибочно подсказало ему, что это след рыжего лиса, который живет на Шобане. У Рыжего издавна были тут права охоты, и потому Домино спокойно побежал дальше. Но когда он напал на другой след, оставленный первой тенью, кровь его тотчас же вскипела жаждой битвы: это был след чужой лисы, зашедшей в его места, и он помчался в погоню. Однако, по мере того как он бежал, принюхиваясь к следу, гнев его пропадал, уступая место иному чувству.

Он еще раз принюхался к следу и со всех ног бросился по нему вдогонку. Нос его, этот чудесный, непостижимый вожатый, уже шептал: «Скорей!»

С удвоенным пылом понесся он вперед и вдруг еще раз напал на след Рыжего. Всего несколько минут назад Домино пересек этот след совершенно равнодушно, но теперь все изменилось: опять новое чувство переполнило его. Теперь это была бешеная злоба. Вся его шерсть, от ушей до хвоста, ощетинилась. Наконец, пробежав три-четыре поляны, он увидел обеих лисиц. То, что они делали, не походило ни на преследование, ни на драку, и было неясно, в мире они или во вражде. Чужая лиса, небольшая рыжая самочка с пышной белой манишкой, отбегала немного вперед. Рыжий быстро настигал ее, и тогда она оборачивалась и кидалась на него. Он отскакивал, но не огрызался. Так они продолжали бежать, бросаясь из стороны в сторону. При виде этой сцены целая буря страсти и гнева овладела Домино.

Ему почему-то казалось, что он имеет больше прав на внима-

ние Белогрудки, и он был немало озадачен, когда она отвергла его еще энергичнее, чем соперника. С диким рычанием Домино обернулся к Рыжему. Тот поднял хвост, выпрямился и, оскалившись, показал два ряда страшных зубов.

Несколько секунд они стояли так один против другого. Воспользовавшись этим, Белогрудка опять пустилась бежать. Соперники бросились за ней, угрожая друг другу на бегу, и Домино первый нагнал беглянку. Она остановилась и огрызнулась, но не очень сердито. Рыжий подошел с другой стороны и увидел, что ему угрожают и Домино, и Белогрудка.

Соперники схватились между собой. Рыжий был опрокинут и лежал, щелкая зубами. Домино стоял над ним, не причиняя ему никакого вреда.

Белогрудка побежала снова, а соперники держались теперь по обе стороны ее, рыча друг на друга.

По мере того как они перебегали через поле, Белогрудка понемногу удалялась от Рыжего и приближалась к черно-бурому лису, а когда все трое опять остановились, то лицом к лицу оказались уже не трое друг против друга, а двое против одного. Высокий черный лис выпрямился во весь свой рост, шерсть на его шее ощетинилась, хвост поднялся. Грозно рыча и оскалив свои блестящие зубы, он гордо двинулся на противника, а по пятам за ним шла Белогрудка.

Рыжий понял, что для него все кончено, повернулся и понуро побежал прочь.

Часть вторая

ВДВОЕМ

VIII. ВЕСНА

Светлая весна вступила в свои права на Голдерских холмах. Потемнели склоны холмов, вскрылись реки, воздух наполнился хлопаньем крыльев, громкими криками на заре и свистом маленьких жаб в уже оттаявших прудах.

В лесу, еще одетом по-зимнему, проглянула сквозь снег грушица и, выпрямив свои блестящие листочки, казалось, говорила: «Вот чего я ждала, вот когда кстати мои красные ягодки». Куропатки, белки и сурки лакомились этим угощением «Вороньего месяца», и у всех, кто любит мир диких животных, невольно являлась отрадная мысль о том, как мудро мать-природа поступила, припася к голодному времени такую вкусную пищу.

В лесах и на озере уже начиналась пора ухаживаний, которая говорила о близком зарождении новых жизней. Все это находило живейший отклик в сердцах Белогрудки и Домино.

Как только по откосам заструились первые холодные ручейки тающего снега, наша пара отправилась на поиски жилища.

Они бегали и искали, искали и бегали повсюду, или, правильнее, искала одна Белогрудка, а Домино лишь покорно следовал за ней. Так исходили они песчаные равнины на востоке от Голдерских холмов. Но там везде встречались маленькие знаки, оставленные другими лисицами, смысл которых в переводе на лисий язык был вполне ясен: «Чужим здесь придется брать место с боя». Затем они излазили все овраги Голдера. Однако в оврагах лежал еще слишком глубокий снег. Вернувшись снова к реке, они наконец напали на осиновую рощицу — ту самую осиновую рощицу, где протекало детство Домино. Тут поиски его подруги, по-видимому, окончились, так как на этот раз она нашла все, что было ей нужно.

Понюхав там и сям, она начала рыть яму в чаще орешника. Земля здесь была покрыта глубоким снегом, под которым лежал толстый слой опавших листьев, и потому сохранила свою мягкость. В других же местах земля была совершенно промерзшая, и лисице не удалось бы вырыть нору.

Какое-то необъяснимое чутье подсказало ей, что нужно рыть именно тут. Домино тем временем взобрался на вершину ближайшего холма и сидел там на страже. Проработав около часа, лисица вылезла из ямы, и Домино сменил ее.

Так они рыли поочередно несколько дней, и наконец нора была готова. Эта нора состояла из длинного коридора, который сначала спускался вниз, затем шел кверху, в более широкое помещение, откуда другой коридор, в несколько шагов длиной, вел в боковое помещение; первый же коридор снова поворачивал кверху и, достигнув замерзшего слоя земли, пока оканчивался там.

Лисицы ежедневно царапали изнутри замерзшую землю, которая с каждым днем все более и более оттаивала, и наконец пробились наружу. Аккуратный круглый вход в нору они прикрыли пучком прошлогодней травы. После этого они зарыли первоначальный вход. Около нового входа не было вырытой земли, и никто не мог бы заметить его даже стоя рядом, а растущая трава с каждым днем скрывала его еще больше.

Пищи стало попадаться уже немало, и однажды, поймав неосторожного сурка, вышедшего побродить ночью, Белогрудка зарыла его в сухом песке боковой комнаты.

Теперь супруги старались как можно реже попадаться кому-нибудь на глаза вблизи норы. Много раз Белогрудка бегала по воде ручейка, чтобы не оставлять заметных следов к дому, а Домино нередко распластывался за поваленным деревом в траве, пока какой-нибудь деревенский мальчик проходил мимо, даже и не подозревая близкого присутствия лиса. Черно-бурый зверь с каждым днем все более опасался таких прохожих.

IX. СОБЫТИЕ

Когда вслед за «Вороньим месяцем» наступил «Травяной», воздух лесов и полей наполнился ожиданием грядущего плодородия. И с Белогрудкой произошла резкая перемена: она стала избегать Домино, как врага, и свирепо рычала на него, когда он пытался следовать за нею в нору.

Домино по целым дням не заходил в нору. И вот во время его отсутствия произошло знаменательное событие.

На свет появилось пять лисят, маленьких, нескладных, «безобразных», как сказали бы люди, но для матери они были самыми прелестными, самыми драгоценными существами в мире. С этой минуты, охваченная материнским чувством, она целиком и безраздельно принадлежала своим детям.

Лишь много часов спустя она решилась на минутку оставить их одних, и то затем только, чтобы утолить жажду прохладной водой ближайшего ручейка. Там на берегу ждал Домино. Белогрудка слегка повела ушами, но не издала ни звука и вообще ничем не показала, что заметила своего супруга. Он лег ничком на листья, а она вернулась в нору. На следующий день Белогрудка почувствовала голод, но и не подумала выйти за добычей. Пища была у нее припрятана заранее в норе.

Два дня спустя, когда запасы иссякли, она вышла из норы и неподалеку от входа нашла кучку недавно убитых мышей. Быть может, отец принес их для детей, а не для матери. И мыши пошли впрок детям, хотя были съедены матерью. С этих пор Белогрудка ежедневно находила какую-нибудь пищу, оставленную у входа в нору или спрятанную поблизости в траве.

Две недели лисята оставались слепыми, но затем глазки их открылись. Теперь они уже меньше пищали, и мать могла уходить спокойнее. Домино заметил, что теперь она не так гонит его прочь, а еще через несколько дней и ему было дозволено присоединиться к семье.

Когда лисятам было уже около месяца, маленькие увальни впервые решились выползти на свет божий. Они двигались очень медленно и неуклюже: в них не было еще ни ловкости, ни красоты, но была прелесть беспомощных малюток. И всякий, кому случилось бы увидеть молодую семью, тотчас заметил бы чувства, которые эта беспомощность внушала родителям: им, как и всяким родителям, хотелось все время ласкать и пестовать пушистых крошек, и они были постоянно готовы защищать своих малюток даже от такого врага, от которого в другое время непременно убежали бы. С тех пор все чаще стали повторяться сцены, происходившие в детстве перед домом самого Домино. Лисята с каждым днем крепли и становились все более похожими на лисиц.

X. СТАРЫЙ ВРАГ

Однажды Домино возвращался домой с добычей. Навстречу ему из норы высунулись пять черных носиков, и пять пар глазенок, блестящих, как бисер, уставились на него. Вдруг невдалеке раздался громкий собачий лай, и Домино в тревоге вскочил на пень, чтобы лучше прислушаться. Сомнения не было: это был тот самый жуткий лай — голос его давнишнего врага. Нельзя было подпустить собаку к дорогому гнездышку, и, подавив страх в своем сердце, Домино отважно устремился ей навстречу, между тем как мать увела малюток в нору.

Гекла тотчас же пустилась за Домино, но теперь она тоже была в полном расцвете сил, и уходить от погони стало труднее. На мгновение собака остановилась, почуяв след Белогрудки, но Домино смело показался из-за кустов, вызывающе залаял и снова увлек преследователя за собой. Лис и собака были молоды и сильны. Гонка продолжалась целый час, но они даже не начали уставать. Наконец Домино надоело бегать, и он попытался отделаться от собаки, как бывало прежде. Однако теперь это оказалось не так легко: Гекла за это время научилась многому и стала опытной гончей. И первая и вторая уловка не удалась. Тогда Домино вспомнил об узком карнизе на скалистом обрыве, там, где Шобан выходит из гор, и помчался туда, увлекая за собой своего неумолимого врага.

Неизвестно, было ли это случайностью или обдуманным планом, но только оба неслись прямо к обрыву. Все ближе и ближе. Уже черная пышная лисья шубка замелькала по берегу реки. Домино начал замедлять бег. Гекла напрягла все свои силы и, тяжело дыша всей грудью, стала нагонять лиса. Так они достигли наконец широкой тропинки. Домино еще больше замедлил бег, а черная собака, уже видя свою жертву совсем близко, удвоила свои усилия. Казалось, вот-вот она настигнет лиса.

Между тем тропинка становилась все у́же и у́же. Собака наседала. Она была уверена в своей победе: еще один скачок — и усталый лис будет у нее в зубах... Но хитрый зверь вдруг помчался стрелой по узкому карнизу вдоль скалы. И Гекла, широкогрудая, коренастая, бросившись за ним, ударилась боком о скалу и кувырком полетела по каменистой круче — все вниз, вниз, вниз, пока наконец, избитая и окровавленная, не скатилась в ледяную воду реки.

А сверху этот полет спокойно наблюдал черный лис.

В этом узком месте Шобан и летом течет со страшной быстротой, весной же он превращается в клокочущую стремнину. Самая сильная собака устрашилась бы прыжка в такую пучину, и бедная Гекла, жестоко израненная, выбивалась из сил, борясь за свою жизнь. Бурный поток с диким воем нес ее целых две мили, под-

кидывая, перевертывая, швыряя об острые камни и крутя в водоворотах, пока наконец с презрением не выбросил несчастное, искалеченное животное на песчаную отмель. Лишь на другой день Гекла кое-как доплелась домой и уже ни в эту весну, ни в это лето не могла снова приняться за охоту.

А пять черных носишек и пять пар блестящих, как бисер, глазенок на пушистых невинных мордашках продолжали каждый день спокойно появляться у входа в нору.

Их отец оказался хорошим защитником, и осиновая ложбина, где находился их дом, стала долиной мира.

XI. ЛАНЬ

Лето было в полном разгаре, и «месяц Роз» сиял во всем блеске. Лисята росли поразительно быстро, и двое из них уже успели покрыться темно-свинцовой шерстью, которая указывала на их благородное происхождение и много обещала в будущем. Белогрудка и Домино старались теперь приносить домой живую дичь, чтобы лисята могли поохотиться и загрызть ее сами.

Каждый день родители устраивали для лисят новые приключения, давали им возможность показать свою быстроту и чутье. С каждой охотой лисята научались чему-нибудь новому и совершенствовались в охотничьем искусстве. Ради этого Домино почти каждый день приходилось пускаться в рискованные предприятия, где любая другая лисица легко могла бы поплатиться жизнью. Но он выходил благополучно из всех испытаний и только развивал свою силу, быстроту и сметливость.

На Голдерских холмах водились сурки, и однажды, разыскивая их в папоротниках, Домино внезапно был поражен странным запахом. Через мгновение он увидел притаившееся в траве довольно крупное животное — светло-рыжее, с белыми пятнами.

Домино инстинктивно замер на месте, не спуская глаз с неизвестного создания и готовый отскочить в сторону, если бы оно бросилось на него. Но рыжее с белыми пятнами существо лежало как мертвое, припав головой к земле, и глядело на него большими, круглыми, блестящими, полными ужаса глазами.

Лани — это был детеныш лани — очень редки в долине Шобана, и потому Домино, никогда не встречавший их прежде, не знал, что ему делать. Одно было ясно: что притаившийся детеныш больше боится лиса, чем лис его. Когда первый испуг прошел, любопытство взяло верх, и Домино сделал шаг по направлению к лежащему зверю. Тот не двигался и не дышал. Тогда он сделал еще шаг. Их разделял всего один прыжок. Но животное продолжало лежать неподвижно.

Еще один шаг — и когда Домино стоял уже перед самым

теленком, тот вскочил наконец на свои длинные ноги и с жалобным блеяньем неуклюже запрыгал по папоротнику. Домино сделал высокий прыжок в ту же сторону и уже ради забавы последовал за ним.

Вдруг послышался топот, и через несколько мгновений примчалась мать-лань. Шерсть у нее на хребте стояла дыбом, глаза горели злым зеленым огнем, и Домино тотчас же понял, что попал в беду. Он пустился прочь, но лань, дико фыркая, погналась за ним, яростно стуча по земле острыми копытами. Она была в десять раз больше его и летела как ветер. Быстро догнав Домино, она лягнула передней ногой, направив в лиса предательский удар, от которого он едва увернулся. Она сделала новый выпад — и опять ловкий прыжок в сторону спас его.

Разъяренная лань неотступно преследовала Домино, не довольствуясь тем, что ее детеныш остался цел и невредим. Она, видимо, решила во что бы то ни стало разделаться с лисом, который, по ее мнению, намеревался напасть на ее дитя.

Она продолжала преследовать свою жертву в зарослях папоротника и терновника и не только не уставала, но как будто становилась все сильнее. Кусты мешали лису бежать, но для тяжелой лани они были пустячным препятствием. Если бы не этот проклятый кустарник, такая бешеная скачка, пожалуй, доставила бы даже удовольствие Домино.

Так они прыгали уже с полчаса, и было ясно, что, увернувшись сто раз, Домино на сто первый оплошает, и тогда один удар копытом принесет ему верную смерть. Поэтому он счел благоразумным как можно скорее выбраться на более безопасное место и, выбежав из кустов, пустился во весь дух по открытому полю. Но как ни быстро мчался Домино, спасая свою жизнь, лань не отставала от него ни на шаг. Они вбежали в лес. Домино едва успел увернуться от удара переднего копыта. К счастью, этот удар пришелся по толстому дереву.

Здесь, среди спасительных стволов, Домино мог вздохнуть свободно и посмеяться над разъяренной ланью и ее глупым детенышем. Однако все это послужило ему хорошим уроком. Он уже никогда не забывал, что чужой — всегда враг.

XII. ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

Одни люди ставят капканы, чтобы добывать меха, другие — чтобы уничтожить вредных зверей, а иные, сами не зная зачем, расставляют ловушки круглый год. Так поступали и сыновья Бентона. Они не имели понятия о настоящей ловле капканами и всегда делали одну и ту же ошибку: привязывали приманку не к тому концу спуска. Эта ошибка сразу же выдавала поставленные ими

капканы, и всякая лиса, обладавшая хоть крупицей лисьего здравого смысла, относилась к ним с величайшим презрением. Вокруг бентоновских капканов всегда были три верных, предостерегающих лисиц признака: запах железа, запах человеческих рук и запах человеческих ног. Запах ног скоро пропал бы, но мальчики сами постоянно возобновляли его. Запах железа оставался и еще усиливался после каждого дождя.

Домино знал все капканы, поставленные в горах. Он мог найти их в любое время дня и ночи гораздо скорее, чем сами Бентоны. Он наведывался к капканам каждый раз, когда проходил мимо. Осмотрев их на почтительном расстоянии, он делал то, что не хуже человеческих слов выражало бы презрение и насмешку. Даже у глупого сурка и коротколапого кролика — и у тех хватало смекалки посмеяться над бентоновскими капканами. Ну, и Домино смеялся над ними. Он никогда не забывал, проходя мимо, посмотреть на них и затем оставить следы своего посещения на каком-нибудь камне или пне.

И вот как раз в это время Бэд Бентон узнал новый способ ловли капканами. Один старый охотник с Севера дал ему какой-то волшебный тошнотворный состав из бобровой струи, анисового семени, глистогонного масла и других пахучих веществ. Он говорил, что нескольких капель этого волшебного зелья достаточно, чтобы привлечь всех лисиц, усыпить в них всякую осторожность и завлечь их в любую западню.

Захватив с собой чудесную склянку, молодой Бентон отправился в обход и опрыскал из нее все свои капканы. Бывают запахи, которых человек почти не замечает, они для него словно тихий, едва слышный голос, а для лисицы эти запахи гремят, как целый оркестр, ибо у лисиц есть чутье. Запах, который противен человеку, может показаться лисице благоуханием роз, сладчайшим фимиамом. Капли этого состава, попавшие на одежду Бентона, распространяли такую вонь, что лошади фыркали у себя в конюшне, а дома отец предлагал ему пересесть на другой конец стола. Для изощренного чутья Домино этот запах, доносимый ветром, был так же ясен, как облако дыма, тянущееся от громадного костра, и он так же легко мог определить его источник, как можно узнать, где стоит горнист, по звуку горна или положение водопада — по грохоту. Этот запах был слышен всюду и не возбуждал в Домино никакого отвращения, а, напротив, тянул к себе, как огонек привлекает путника, заблудившегося во мраке, или как волшебная музыка могла бы заманить в лес какого-нибудь мечтателя. Выйдя на свою вечернюю охоту, Домино тотчас поднял кверху нос, чтобы узнать, откуда доносится этот запах, и пустился бегом по направлению к нему.

Через милю запах привел его к давно знакомому месту, где всегда воняло человеческими следами и разило железом и лишь

по временам немного примешивался, как бы для приличия, слабый запах куриной головы, глупо привязанной к капкану. У Домино представление об этом месте всегда вызывало чувство презрения, но что за перемена произошла с ним теперь! Подобно тому как заходящее солнце озаряет чудным светом кучу грязи или превращает серые облака в величавые горы пурпура и золота, эта новая, волшебная, все растущая сила, это очарование, еще издалека проникшее через ноздри лиса в глубину его души, лишили его всякого самообладания.

Вытянув вперед нос, Домино медленно, но неудержимо двинулся на запах. Теперь запах уже пьянил его, туманил голову. В ушах звенело, по всему телу пробегала сладкая дрожь. Тут было и ощущение покоя после утомительного бега, и чувство приятной теплоты в холодный день, и радость наполнения голодного желудка свежей, горячей кровью.

Домино с раздутыми ноздрями, с бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием, полузакрыв глаза, медленно крался все ближе и ближе к источнику этого чудесного, полного всесильных чар запаха и наконец подошел вплотную к скрытому капкану. Он знал, что здесь капкан, он его тотчас же заметил, но уже был околдован, уже находился в полной власти чар. Он страстно жаждал прикоснуться к этому месту, пропитаться насквозь этим запахом, столь властным и пленительным. И, весь извиваясь, он повернул набок голову и стал тереться своим красивым затылком о загрязненную землю, затем повалился на спину и начал кататься, пачкая свою пышную шубу в пыли, пропитанной этим зловонием. Он был в экстазе, как вдруг — щелк! — и неумолимые железные челюсти схватили его за спину, глубоко зарывшись в драгоценный серебристо-черный мех.

Домино очнулся, и все очарование исчезло в одно мгновение: проснулся инстинкт самосохранения. Он вскочил на ноги и выпрямил свою гибкую спину. Железные челюсти капкана, запутавшиеся в шерсти, соскользнули, и Домино был свободен. Если бы он попал в капкан не широкой спиной, а лапой, его участь была бы решена. Но теперь он уже мчался прочь, широко раздувая ноздри.

Бывают неразумные лисы, которые способны несколько раз поддаваться коварному очарованию запаха и играть с верной смертью. Но для Домино было достаточно однажды понять скрытый в этом запахе ужас. Впоследствии этот завлекательный запах мгновенно пробуждал в нем воспоминание о мертвой хватке страшных, сильных челюстей.

XIII. МЕД ИЗ ЛЬВИНОГО ЧРЕВА

Лисы продолжали взимать свою обычную дань с курятника Бентона. Так как мальчики ничего не могли поделать с ними, то наконец сам старик рассердился. Сначала он ворчал, отпуская разные презрительные замечания, начинавшиеся: «Когда я был мальчиком, то...», а затем решил тряхнуть стариной и сам принялся за ловлю.

Капканы не следует ставить около фермы, так как они только калечат собак, кошек и свиней. Хороший ловец прячет свои ловушки где-нибудь вдали от жилья, в лесу.

Старик взялся за дело и отправился в обход. Он сразу же внес несколько существенных изменений в расстановку капканов. Прежде всего старик окурил каждый капкан кедровым дымом, чтобы заглушить запах железа. Затем он изгнал всякие опрыскивания пахучими веществами. «Иной раз,— говорил он,— эта вонь действует хорошо, но она привлекает только дураков, а умные звери скоро догадываются, в чем дело, и избегают пахучих мест. Для всех лисиц всегда был и есть только один испытанный запах: это запах свежей куриной крови». Он перенес капканы подальше от загрязненных, хорошо известных мест и зарыл их в пыли. В пяти шагах от каждого капкана он разбросал куски курицы, после чего замел следы кедровой веткой — и ловушка была готова.

Несколько ночей спустя Домино проходил мимо. Еще шагов за двести он почуял запах курятины, но чем ближе он подходил, тем сильнее в нем пробуждалась его обычная осторожность. Он стал медленно подкрадываться. С раздутыми ноздрями, насторожившись, он подвигался, держась против ветра. Не пахло ни железом, ни человечьими следами, но слышался довольно едкий запах дыма, а единственное животное, которое может дымить,— это человек. Однако возможно, что эти аппетитные куски курятины просто обронены другой лисой. Он заметил, что если подойти к кускам курицы сбоку, то запах дыма не заглушает куриного запаха.

Домино еще колебался, но в это время ветер переменился, запах дыма исчез, и остался только чистый, соблазнительный запах курятины. Домино приблизился еще на три шага, остановился. Потом повел носом во все стороны, тщательно принюхиваясь. Нигде не слышно было запаха человеческих следов. Перед ним была только пища, которую он столько раз ел по ночам, которую он так любил и так часто таскал к себе в нору. Однако временами он все же чувствовал едва заметный запах дыма. Домино был осторожный зверь. Он начал уже медленно пятиться назад, выбирая почву своими стройными лапами и ставя их не на шероховатые места, а лишь на ровную, гладкую землю, как вдруг —

щелк! — Домино оказался пойманным, и на этот раз уже не за широкую спину, которую капкан не мог удержать, а за ногу. Да, теперь он попался крепко!

Напрасно он прыгал и напрягался, напрасно грыз зубами ненавистный капкан: стальные челюсти не выпускали его лапу, и все усилия освободиться только утомляли его.

Так прошло два часа в безнадежной, изнуряющей борьбе. Домино то лежал, измученный и задыхающийся, то опять впадал в бессильное бешенство, кусал холодное, неумолимое железо и вырывал зубами молодые кустики, торчавшие кругом. Много раз он бился и напрягался, много раз, обессиленный, замирал. Он очень страдал. Страх и боль смешались в этом страдании; но временами вспыхивала ярость. Тогда, измученный и ослабевший, он на миг становился сильным и начинал рваться и грызть капкан.

Так прошел день... Так прошла еще одна долгая, томительно долгая ночь.

С первыми проблесками рассвета послышались чьи-то шаги. Несчастный, измученный, испачканный в пыли, выбившийся из сил лис поднял свою еще недавно такую красивую мордочку и с ужасом увидел своего заклятого врага — лань с пятнистым детенышем! Домино застыл, как мертвый, надеясь ускользнуть от внимания лани, но, увы, ее зрение и чутье были слишком остры. Она тотчас заметила лиса. С фырканьем поднялась она на дыбы, вся шерсть ее ощетинилась, зеленые огоньки бешенства сверкнули в глазах, и она бросилась на пойманного зверя. Домино увернулся. Он отскочил, насколько позволяла цепь капкана, но дальше бежать не мог. Лань как будто знала это: теперь враг был в ее власти, и единственной ее мыслью было сокрушить его. Торжествуя легкую победу, она подпрыгнула, как прыгают лани, желая раздавить ядовитую змею, высоко над головой Домино, чтобы обрушиться на него всей своей тяжестью. Он дернулся было в сторону. Спасения не было, и копыто изо всех сил ударило... но — о счастье! — не лиса, а мимо, по пружине страшного капкана. Стальные челюсти широко раскрылись, и Домино был свободен.

Собрав остаток сил, он бросился к ближайшей изгороди и юркнул в щель. Лань несколько раз обегала изгородь кругом, но лису, несмотря на всю его слабость и изнеможение, все-таки каждый раз удавалось снова проскальзывать на другую сторону. Наконец, на его счастье, детеныш лани пронзительно закричал, призывая к себе мать, и та оставила преследование, а Домино, хромая, медленно поплелся домой.

Глупому нужно много раз попасться, чтобы научиться чему-нибудь, а для умного довольно и одного раза, чтобы стать еще умнее. Этих двух страшных уроков было совершенно достаточно для Домино. С тех пор он на всю жизнь понял, что не только

нужно сторониться запаха железа и человека, но следует вообще остерегаться всех необычных запахов.

Необычные запахи таят в себе гибель.

XIV. ЛЕТО И ДЕВОЧКА

Однажды, в начале лета, Домино ковылял на трех лапах около фермы, стоявшей на высоком пригорке. Это был старинный дом с обширным садом и большим огородом, который тянулся почти до самого леса и занимал все открытое пространство вокруг дома. Тут легко было подойти незамеченным, и Домино бродил всюду, принюхиваясь ко всему, что останавливало на себе его внимание. Наконец он нашел прорытую курами лазейку под оградой и пролез в огород. В огороде он долго крался среди разросшейся ботвы картофеля, затем среди густых кустов смородины. Осторожно двигаясь вперед, он увидел в чаще что-то маленькое, черное и блестящее. Он остановился как вкопанный и вскоре понял, что это глаза индюшки, сидящей на яйцах.

Как раз у хвоста, в конце спины, у каждой лисы есть маленький пучок волос, который щетинится при возбуждении. Только по этому ощетинившемуся пучку и можно было заметить волнение Домино при виде такой роскошной добычи. Но, пока он еще стоял в нерешительности, сзади послышался какой-то звук, и, повернув голову, Домино увидел невдалеке маленького человечка.

— А, лисичка! Ты, кажется, собираешься напроказить? — сказала с упреком девочка.

Домино вздрогнул, услышав звуки человеческой речи. Он приготовился к прыжку, но не прыгнул. Девочка не казалась ему особенно опасной — она была такая маленькая. А индюшка была слишком соблазнительна.

Страх боролся в Домино с охотничьим инстинктом. Косясь на девочку, он шагнул к индюшке. Девочка вскрикнула и побежала. Этот крик решил дело: быстрым прыжком Домино скрылся в кустах. Индюшка была спасена.

В тот же вечер девочка спросила отца:

— Папа, если бы у тебя индюшка высиживала яйца в лесу, как бы ты защитил ее от лисиц, не вредя лисицам?

— Я положил бы вокруг несколько кусков железа, и тогда ни одна лиса не подошла бы близко,— ответил отец.

После этого девочка взяла в саду кусок цепи, сломанный сошник, подкову и разложила их вокруг гнезда индюшки.

Через несколько дней Домино опять пришел за индюшкой. Он хорошо запомнил место, где встретил такую лакомую добычу.

Он шел осторожнее, чем всегда: ведь здесь, рядом с индюш-

кой, он мог встретить человека. Однако, прежде чем индюшка успела поднять тревогу, обоняние и зрение предупредили его о присутствии опасных, пахнущих железом вещей. Он попятился и попробовал подойти с другой стороны, но и там оказался один из этих зловещих предметов. Голос благоразумия шептал: «Назад!» — и Домино ушел.

Девочка так и не знала бы об этом, но на другой день отец сказал: «А знаешь, дочка, ведь я сегодня утром видел свежие лисьи следы в картошке».

Таким образом, обманутый Домино принужден был оставить в покое индюшку, но вскоре он нашел другую добычу — курицу в гнезде. Одним укусом он перегрыз ей горло и потащил к себе, однако по дороге сообразил, что напрасно не воспользовался целой кучей яиц. Поэтому, зарыв курицу в листьях в лесу, он вернулся и, перетаскав яйца одно за другим на опушку леса, спрятал их там, отметив тайник выделением из своей мускусной железы, чтобы самому найти их впоследствии и чтобы другие лисицы знали, что это его собственность. Затем он вырыл курицу и отнес ее домой.

Куриные яйца могли долго пролежать и подвергнуться множеству изменений, прежде чем понадобились бы Домино. Но зато на случай нужды они всегда были наготове, и в голодное время он, конечно, съел бы их даже тухлыми.

Домино прятал добычу уже не первый раз. Некоторые лисы не прячут пищи, но только потому, что они плохие добытчицы и никогда не имеют что спрятать. Те же лисы, которые охотятся успешно, быстро усваивают привычку прятать добычу.

Месяц спустя внимание Домино привлекли ягоды терна, которых в тот год уродилось необычайно много. Он пожевал и проглотил одну-две ягодки. Однако они не особенно ему понравились, потому что он был в это время сыт и жирен. Тем не менее его забавляло подпрыгивать и срывать красные гроздья. Сперва он просто разбрасывал их, затем накидал целую кучу. Наконец все-таки инстинкт накопления взял верх: он зарыл эту кучу в листья и оставил мускусную заметку на соседнем пне. В случае нужды он мог бы отыскать этот запас ягод даже под снежным сугробом.

XV. НАСЛЕДНИК ДОМИНО

В это лето Домино хромал и не мог бегать скоро, но, на его счастье, и его враг, быстроногая Гекла, тоже была еще калекой. Домино приходилось добывать пищу для своих детей, а мать-природа в этом году была особенно щедра; охотился он всегда удачно и каждый день приносил домой живую дичь: то это была просто какая-нибудь лягушка, из-за которой малышам приходи-

лось проделывать целый ряд головоломных прыжков, прежде чем она давала себя поймать; то жирная полевая мышь, которая забиралась под листья, и лисята успевали нахватать полные рты песка и травы, прежде чем какому-нибудь счастливцу удавалось наконец схватить юркого зверька. Но однажды отец принес им для упражнения другого рода добычу.

Домино наметил свою жертву, бродя в тумане около реки. Животное, которое он выслеживал, ходило сначала по воде на мелком месте, а затем взобралось на лежавшую в реке колоду и уселось на ней, искусно открывая и пожирая ракушки. Это была громадная выхухоль. Своими крепкими желтыми зубами она с треском разгрызала створки раковин и из-за этого шума совсем не слышала, как подкрался к ней наш охотник. Мелькнул черный мех, и через несколько мгновений борьбы Домино уже держал выхухоль за шею. Напрасно она извивалась, пищала и скрежетала острыми, как резец, зубами: он бежал во всю прыть и через двадцать минут был уже у норы.

Услышав хорошо знакомое фырканье отца, лисята стремглав выскочили из норы, толкая друг друга. Отец выпустил добычу. Лисята тотчас же кинулись на нее, но это была живая выхухоль, а выхухоль сопротивляется отчаянно. Она бросалась то туда, то сюда, расшвыривая в стороны лисят, которые прыгали вокруг нее, как собаки вокруг медведя, и с визгом отскакивали прочь, отведав ее острых зубов. Только один из них не отступил перед выхухолью даже после трех схваток. Он был не больше ее самой и не больше своих братьев, но, очевидно, обладал врожденной отвагой, и, пока остальные стояли кругом, он продолжал сражаться. Это был поединок на жизнь и на смерть. Лисенок подбирался все ближе к голове выхухоли и наконец впился врагу прямо в горло. Он держал выхухоль за горло, пока не прикончил ее, и после этого вся семья принялась за пиршество.

Родители спокойно смотрели на эту битву. Какое же чувство удерживало их и почему они не умертвили выхухоль сами? Быть может, дело станет яснее, если мы спросим себя, зачем отец-человек дает сыну решать задачу, легкую для него самого, но трудную для мальчика.

Этот смелый лисенок не был самым большим, но он был одним из самых темных. Впоследствии он вырос достойным наследником своего отца, и желающие могут прочесть его историю в летописях верховьев Шобана.

«Месяц Гроз» медленно подходил к концу, и лисята уже заметно подросли. Некоторые из них были теперь ростом с мать, и тут начался неизбежный распад семейных уз; сперва самый большой из братьев, а затем и сестры стали чаще и чаще охотиться самостоятельно и не приходили домой по нескольку дней. Так они все более отвыкали друг от друга, и наконец, к концу «Красного

месяца жатвы», все разбрелись в разные стороны. В норе остались только Домино и Белогрудка.

К началу осени лапа Домино совсем зажила, и он вновь стал самым быстроногим лисом Голдерских холмов. Как прежде, он мог удрать от любой собаки. Теперь он снова был в полном расцвете сил и вполне владел своим величайшим даром — быстротой. Во всех окрестных горах не было ни одной лисицы, которая могла бы поспорить с ним в беге, и ни одной собаки, которой он опасался бы. Легкие его, казалось, обладали беспредельной выносливостью, а ноги были так же крепки, как легкие. Он сам наслаждался своей быстротой.

Часть третья

ИСПЫТАНИЕ И ТОРЖЕСТВО

XVI. ДИКИЕ ГУСИ

Каждый год весной и осенью на Голдерские холмы прилетали стаи длинношеих диких гусей, оглашая воздух громкими криками. Они не оставались тут надолго, но все-таки появление их всегда привлекало сюда охотников.

Домино давно чутьем угадывал, что гуси — хорошая дичь, но однажды он убедился в этом на деле, найдя в болоте только что убитого гуся, который успел уйти от подстрелившего его охотника и околел в болоте. В тот день Домино и Белогрудка сытно пообедали.

Гуси паслись в поле и на болоте. Домино не раз пробовал подкарауливать их, но осторожность и проворство этих птиц были необычайны: с таким же успехом он мог бы охотиться за ними на широкой глади озера. Однако существует такой способ охоты, который дает возможность охотнику близко подходить к сидящей птице или к притаившемуся зайцу. Вот этот способ и применил Домино в охоте.

Небольшая стайка гусей паслась на сжатом поле. Домино и Белогрудка целый день рыскали по берегу реки в кустах, высматривая, где бы удобнее подобраться к гусям. Но со всех сторон гусей защищало открытое пространство, и все время, оберегая стаю, какая-нибудь длинная шея торчала кверху, подобно сторожевой башне. Тогда лисья пара затеяла игру, которая применяется с незапамятных времен, неведомо кем придуманная.

Домино спрятался в кустах на одном конце сжатого поля, а Белогрудка отправилась на другой конец и там, выйдя на открытое место, начала проделывать разные забавные штуки: она то каталась по земле, то кувыркалась в воздухе, то распластывалась

на животе и виляла хвостом. Гуси повернули головы в ее сторону, дивясь, что за странное представление дает им лиса. К тому же лиса была далеко и не внушала им никакого опасения. Любопытство птиц было сильно возбуждено, и они продолжали глазеть, а Белогрудка, пользуясь этим, с каждым прыжком все приближалась к ним. Наконец всегда подозрительный старый гусак заметил ее хитрость и, не подавая виду, не поднимая тревоги, так как не было еще ничего особенно опасного, отошел на несколько шагов. Прочие гуси — очевидно, его семья — отступили вместе с ним. Но глупая лиса продолжала кататься и кувыркаться по земле, как гонимый ветром клок сена. Все это было очень забавно, но старый гусак не поддавался на ее хитрости и с каждым коварным движением лисы продолжал отступать все дальше.

Таким образом, игра тянулась несколько минут, и в конце концов гуси были оттеснены почти к самому концу поля. Они уже собирались было взлететь, но сделали еще несколько последних шагов, отделяющих их от кустарника. Тут Домино, как ястреб, бросился на них и, прежде чем гусак успел подскочить, схватил его за горло.

Это была самая удачная совместная охота Домино и Белогрудки. Она их сблизила еще более, и все чаще стали они сражаться плечом к плечу в битве жизни.

XVII. ГУБИТЕЛЬ ОВЕЦ

Зима прошла гораздо благополучнее, чем обыкновенно, так как привычка делать запасы спасла Домино и его подругу от голода, хотя, надо признаться, спрятанные впрок плоды и рыба к зиме так испортились, что даже лисицы ели их с отвращением. Миновала пора любви, и уже близилась весна, когда однажды на пути через горы домой Домино пришлось быть свидетелем гнусного злодеяния. Он теперь становился уже опытным лисом, а опытный лис никогда не переступает вершины холма, не заглянув предварительно через нее. И вот, подняв потихоньку голову над одной такой вершиной, Домино увидел внизу, на огороженной и защищенной от ветра площадке, стадо овец, метавшихся как безумные. За овцами гонялась громадная черная собака. Это был старый враг Домино — Гекла.

Две-три овцы уже валялись мертвые, и Домино видел, как чудовище уложило еще одну. Собака хватала овец за горло, валила на землю и долго терзала. Из раны била горячая кровь. Затем собака принималась за другую овцу.

Не ужас, а любопытство, смешанное с удивлением, приковало Домино на месте. Гекла уже гонялась за новой овцой, когда раздался выстрел и пуля ударилась в скалу над головой злодейки.

Окровавленная собака отлично сообразила, что ее ждет. Она спрыгнула в овраг и под прикрытием его пустилась со всех ног прочь, никем не замеченная, так что никто не мог пожаловаться на нее хозяину.

Домино тоже побежал через поле, но его, на беду, заметили. Вбежав за ограду, пастух увидел дюжину зарезанных овец, но не нашел собачьих следов, потому что метавшееся в панике стадо затоптало их. Все улики против Домино были налицо. Много овец пострадало уже и до того, и пастух, поклявшись жестоко отомстить всем лисицам, задумал против них ужасный план.

Сначала он находил мало сторонников своего плана, но в марте было зарезано еще несколько овец, в том числе несколько молодых ярок. Многие утверждали, что видели крупные собачьи следы на месте преступления. Но большинство все-таки поверили, что это дело лисиц, и с величайшей готовностью согласились участвовать в облаве. Они были убеждены, что злодей — черно-бурый лис.

XVIII. СПАСИТЕЛЬ БЕЛОГРУДКИ

Все население верховьев Шобана было на ногах. Устраивалась грандиозная облава на лисиц. Люди, у которых пропали овцы, отправлялись на нее, чтобы уничтожить лису-злодейку. Молодежь смотрела на облаву, как на интересный спорт. Всех привлекало еще и то, что наградой за труды была великолепная шкура черно-бурой лисицы.

— Я уж знаю, что сделать с денежками, если они мне достанутся,— говорил один.

— А ведь недурно было бы за один день охоты заработать денег на выкуп всей нашей фермы! — замечал другой.

— Ну, уж я обзаведусь парой хороших лошадей за эту черную шкурку,— мечтал третий.

Джуксы не принимали участия в этой затее: у них не пропало ни одной овцы, да, кроме того, они были не в ладах с Бентонами. Абнер Джукс вдобавок был занят на другой охоте, и его Гекла, конечно, тоже не разделяла забот врагов своего хозяина.

Американские фермеры, охотясь на лисиц, стараются убить лису, не портя ее шкурку. Поэтому обычно человек двадцать берут с собой всего одну свору. Такова была и охотничья компания, выступившая в поход в одно мартовское утро.

Обычно лисы роют каждый год новую нору, но иногда они возвращаются и в старую, если она оказалась спокойным убежищем, оставившим приятные воспоминания. В осиновой ложбинке еще никто не заметил жилища Домино и Белогрудки благодаря их неустанной осторожности, и потому в марте они снова приня-

лись приводить в порядок свою старую нору и готовить ее для вновь ожидавшегося прибавления семейства.

Решив устроить тут свой дом, они старались не привлечь к этому месту внимание врагов. Они приходили и уходили с величайшими предосторожностями и охотились только вдали от дома.

Когда началась облава, Белогрудка бродила в верховьях реки. Собаки тотчас напали на ее след, подали голос и пустились вдогонку. Обычно фермеры не пытаются скакать за собаками. Они рассыпаются в начале охоты по высоким местам с хорошим кругозором и, определив по лаю собак направление гона, спешат занять господствующие над местностью позиции и узкие долинки между холмами, чтобы стрелять в лису, когда она будет пробегать мимо.

Услышав лай собак, охотники взобрались на самые высокие наблюдательные пункты, чтобы определить, куда собаки гонят зверя, и затем занять ту позицию, которая наиболее выгодна для обстрела.

Заслышав приближающийся собачий лай, Белогрудка тотчас же сообразила, в чем дело, и пустилась вниз по долине Бентонского ручья. Перебегая несколько раз по сваленным стволам то на тот, то на другой берег ручья с верным расчетом задержать этим собак, она помчалась во всю прыть, чтобы подальше уйти от собак и дать остыть своему следу. В сухой день след ее, вероятно, был бы совершенно потерян. Но, на ее несчастье, в этот день дул теплый ветер, снег лежал глубокий и сильно таяло. Ручей превратился в шумящий поток, снег был рыхлый, и лисица проваливалась на каждом прыжке. Собаки пошли по горячему следу. Их длинные лапы давали им большое преимущество перед лисицей.

Белогрудка бежала все тише, и выигранное ею вначале расстояние стало заметно уменьшаться. Пока она еще не попалась никому из стрелков, но было ясно, что долго ей не выдержать. По мере того как пригревало солнце, снег делался все мягче, и постепенно хвост ее стал опускаться.

Хвост для лисицы поистине может представлять большую опасность, и положение его служит показателем ее силы. Сильная, храбрая лиса во время преследования поднимает свой хвост. Когда она падает духом, хвост опускается, причем в сырую, снежную погоду он намокает и никнет еще больше. Потом он начинает волочиться по земле, пропитывается водой и слякотью и превращается в тяжелый якорь, который лишь ускоряет печальный конец. Поэтому мужественный зверь выживает долее, а слабый духом падает на пути.

У Белогрудки не было недостатка в храбрости, но снег был очень мокрый и глубокий, а она к тому же через несколько дней ожидала появления новых малюток. Неудивительно, что при таких условиях она наконец отчаялась. В это время ей опять пришлось перебираться через разлившийся ручей по тонкому дерев-

цу. Она поскользнулась и упала в воду. Конечно, она скоро выбралась на берег, но теперь вся ее шерсть намокла и дело было совсем плохо. Всякая надежда, казалось, погибла. Добравшись в изнеможении до следующего холма, она, полная отчаяния, громко закричала. Этот крик был услышан: в ответ раздался уверенный, короткий лай, и Домино, сильный и отважный, вылетел ей навстречу. Белогрудка не могла рассказать ему о своей беде, да в этом не было и надобности. Он и без того все понял и поступил так, как может поступить лишь самый лучший, благороднейший друг: он взял всю опасность на себя и пошел по ее следу навстречу гнавшимся за ней собакам. Это не значит, что он решил пожертвовать собою,— нет, он просто чувствовал в себе достаточно сил, чтобы перехватить свору и увлечь ее далеко в сторону. Пока псы будут гоняться за ним, Белогрудка спокойно уйдет к себе домой.

XIX. ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВА

Домино пробежал навстречу своре около полумили и остановился. Теперь свора была очень близко, шагах в трехстах. Она быстро приближалась, и вот уже всего двести шагов отделяли ее от лиса, а он все еще стоял. Наконец он повернулся и стал уходить обратно, держась пока следа Белогрудки. Однако он все еще не спешил. Чего ради? Может быть, для того, чтобы своими глазами убедиться, куда бегут собаки, или, может быть, для того, чтобы они его увидели. И вот они увидели друг друга. Собаки залились оглушительным лаем, оставили прежний след и пустились за лисом, который быстро исчез. На том месте, где он стоял, они почуяли запах другой лисы и, надо отдать им справедливость, тотчас же поняли, что оставляют след самки и идут за сильным самцом. Однако природный инстинкт подсказал им, что именно так и следует поступить.

Домино сначала уходил медленно, желая убедиться, что собаки идут за ним. Он даже показался им еще раз и окончательно удостоверился, что погоня направилась за ним. Тогда он быстро повел свору далеко в сторону от той дороги, по которой шла домой его подруга.

Когда Домино перебегал открытое пространство, его заметили в бинокль охотники, и дикая радость обуяла их, когда они увидели, что собаки подняли черно-бурого лиса. Фермеры хорошо знали местность, им были известны все проходы. Раздался громкий выстрел, и Домино почувствовал жгучую боль: одна дробинка попала ему в бок, причинив неглубокую, но болезненную рану. Черный лис не видел охотников, но теперь он уже знал, с кем имеет дело.

Можно было предположить, что Домино непременно пересечет

какую-нибудь долинку, но он понимал, что на этот раз ему нужно во что бы то ни стало держаться возвышенностей. Через три мили он круто свернул в поле и шесть миль бежал по линии железной дороги. Пробежав целую милю за стрелку и оставив собак далеко позади, он по рельсам вернулся обратно к стрелке и оттуда направился по боковой ветке в сторону. Сделав порядочный крюк, он безбоязненно повернул домой, усталый, с ноющей раной, но по-прежнему неся высоко свой хвост, как подобает победителю.

Он пересек всю местность в верховьях Шобана и, голодный, направился в лес, чтобы отыскать там спрятанную про запас пищу, как вдруг услышал звуки, от которых сердце его тревожно забилось. Обогнув холм, он увидел свору собак — другую, свежую свору, по крайней мере штук тридцать, с дюжиной следовавших за ними верхом охотников. Дикий лай псов, несомненно, показывал, что они напали на его след и шли за ним. В другое время для Домино, пожалуй, было бы нетрудно уйти от такой своры собак, но теперь силы были неравны.

Он был утомлен и голоден, лапы у него были натружены многочасовой гонкой, а рана горела,— он жаждал отдыха. Охота эта была настоящая, без ружей: охота ради травли, а не ради шкуры. И кто упрекнул бы черно́-бурого лиса за то, что на этот раз он пустился от преследователей хотя и быстро, но без того увлечения, с которым мчится бегун, уверенный в победе?

Домино плохо знал эти холмы, находившиеся далеко от обычно посещаемых им мест. А знакомые холмы остались в нескольких милях позади, и между ними сидели охотники с ружьями, которые были бы только рады воспользоваться помощью свежей своры собак. Никогда еще Домино не проявлял так мало хитрости, убегая от преследователей, как в этот раз, но никогда еще он не напрягал так все свои силы и не бежал так быстро. Час за часом он все скакал и скакал с одного холма на другой.

Но солнце продолжало пригревать и превратило в слякоть весь снег в лесах. Все канавы были полны холодной, как лед, водой. Все ручейки разлились. Даже на твердом льду выступили лужи, и пышный хвост лиса — знамя его мужества — был теперь забрызган водой и грязью и начал опускаться от собственной тяжести.

Домино знал, что и теперь он мог еще загнать собак до изнеможения, как это бывало прежде, но все же на этот раз он жаждал ночи. Ночь принесет мороз, а мороз принесет твердую кору на снегу. Вот тогда он мог бы быть совершенно спокоен за свою судьбу.

Пока, однако, он все еще продолжал нырять между холмами. Его беспримерная быстрота сократилась теперь наполовину, но и собаки тоже начали выбиваться из сил. Снег и разлившиеся ручьи утомили и охотников. Только двое из них еще продолжали гнаться

за лисом — хозяин собак и высокий юноша, по имени Абнер Джукс. Лишь ему было известно, что лисица, которую они травят, и есть знаменитый голдерский черно-бурый лис.

Все-таки преимущество было на стороне собачьей своры, которая приближалась. Домино уже не мог сдвоить след, и самым благоразумным оставалось бежать прямо. Он и бежал вперед, вперед, но все тише и тише, все более короткими скачками, начиная задыхаться. Так он миновал одну ферму, другую и вдруг у ворот третьей увидел девочку с корзинкой.

Неизвестно, что побуждает иногда дикое животное в отчаянии искать защиты у человека. Но голдерский лис кинулся, ослабевший, к девочке и прижался к ее ногам. Та схватила его, втащила в дом и захлопнула дверь перед самым носом осатаневшей своры.

Собаки прыгали и бешено лаяли вокруг дома.

Прискакали охотники, пришел и хозяин фермы.

— Он наш, он принадлежит нашим собакам. Они загнали его сюда,— сказал главный охотник.

— Он в моем доме, и он мой,— возразил фермер, совершенно не узнавая черно-бурого лиса в забрызганном, выпачканном красной глиной беглеце.

Хотя у фермера также пропадали куры, овладеть лисицей он не особенно стремился, так как шкура зверя казалась теперь совершенно испорченной и потерявшей всякую ценность.

— Ну, так и быть, получайте вашего лиса,— сказал он наконец охотнику.

Но тут девочка заплакала.

— Не отдавай, не отдавай его, он мой! — кричала она.— Он сам прибежал ко мне. Не смейте убивать его!

Фермер заколебался.

— Мы поступим с ним честно,— сказал успокоительно охотник.— Мы дадим ему убежать вперед дальше, чем он был, когда мы его нагнали здесь.

Фермер поспешил уйти, чтобы не видеть происходящего. Он, пожалуй, забыл бы бедного, загнанного зверя, искавшего убежища в его доме, но он не в состоянии был забыть детских криков, звеневших у него в ушах: «Не смейте, не смейте! Он мой! О папа, папа! Они убьют его! Папа, папочка!»

И не у одного только отца этот отчаянный детский вопль оставил в сердце глубокий след.

XX. РЕКА И НОЧЬ

Но охотники все-таки унесли Домино, отпустили и дали отбежать на «законную» четверть мили. Это они называли «поступить честно» — выпустить три десятка сильных собак на одну

измученную лису! Долина снова огласилась лаем. Опять Домино поскакал по глубокому мокрому снегу, и вначале ему удалось уйти далеко вперед.

Он пробежал длинную долину Бентонского ручья, миновал склоны холмов, перебрался через их вершины и направился уже обратно, как вдруг со двора одной фермы выскочила все та же ненавистная Гекла и присоединилась к гнавшейся за ним своре. Высокий охотник приветствовал ее появление дружеским криком. Как мог теперь спастись Домино, когда враги его получили третье свежее подкрепление? Оставалась только одна надежда: близость ночи, если только она будет морозная.

Но вечером ветер стал еще теплее. Воды Шобана, над которым целый день дул теплый ветер, неслись теперь к западу могучим, широким потоком, до краев наполняя долину и с треском увлекая с собой массу разбитого льда.

Солнце садилось вдалеке над водной гладью, и этот пылающий закат был великолепен, как блестящий конец благородной жизни. Но ни собаки, ни охотники не остановились, чтобы полюбоваться им: они спешили все вперед и вперед.

Собаки дышали тяжело, языки у них свисали до земли и глаза были красны. Далеко впереди всех мчалась свежая собака — нежданно-негаданно появившееся чудовище, а перед ней несся черно-бурый лис. Но теперь пышная шуба его была вся в грязи, роскошный хвост, намокший в слякоти, волочился, а стертые до живого мяса лапы оставляли за собой кровавые следы.

Домино никогда еще так не уставал. Теперь ему представилась возможность достигнуть тропинки, ведущей на каменный карниз. Но возле этой тропинки был его дом, а неумолимый инстинкт всегда говорил ему: «Туда нельзя». Однако в последнюю минуту, побуждаемый отчаянием, он устремился к этому месту, как к единственному оставшемуся ему выходу. Собрав последние силы, он понесся по берегу могучего Шобана. На короткое время ему удалось вернуть свою прежнюю быстроту, и он был бы спасен, если бы не эта проклятая громадная собака, далеко опередившая всех псов.

Когда Домино уже приближался к скале, Гекла залаяла. Домино узнал страшный, металлический голос собаки, и трудно сказать, сколько силы и быстроты отнял у него этот звук. Теперь он был отрезан от скалы и принужден бежать обратно по берегу реки вдоль шумно несшейся воды, освещаемой заревом заката. Всякая надежда пропала, но Домино все-таки продолжал бежать, и его фигурка, слабо мечущаяся из стороны в сторону, по-прежнему чернела впереди. Он был чуть жив от усталости, но все еще боролся за жизнь.

Высокий охотник — теперь уже единственный — подскакал ближе. Зная, что лисице пришел конец, он не мог оторвать глаз

от двух темных пятен, двигавшихся на ослепительно ярком снегу, озаренном заходящим солнцем.

Торжествующий лай собачьей своры раздавался в ушах несчастной жертвы. Домино изнемогал. Пышный хвост, его краса и гордость, уже не реял в воздухе, а волочился по земле, мокрый и тяжелый, затрудняя и без того медленный бег. Собаки, видя близкую победу, мчались вслед, лая как бешеные.

Домино бежал теперь, увы, по косе, которая полуостровом вдавалась в реку и, следовательно, была западней. Река обманула его. Собачья свора настигала лиса; впереди всех со злобным, глухим лаем мчалась Гекла, первая отрезавшая ему всякое отступление. Все было видно как на ладони: большая прибрежная отмель, усеянная бегущими лающими собаками, и широкая река с несущимися по ней льдинами. И сзади и впереди — везде верная смерть. Слабый тут пал бы духом и погиб, но сильный продолжал держаться, несмотря ни на что.

Воющая свора с Геклой во главе уже достигла начала косы и быстро неслась по ней. С бешеным ревом мчалась река мимо поросшего осиной берега. Собаки усеяли берег, как льдины усеяли реку. Все теснее набегали льдины и наконец, столкнувшись в одну сплошную массу, на минуту с треском коснулись берега. И тут Домино сделал то, на что решилась бы далеко не всякая лисица. Он оглянулся на собак, глянул на льдины и... прыгнул. Очутившись на льду, он потихоньку стал перескакивать с льдины на льдину.

Но тут ледяной затор рухнул и, оторвавшись, поплыл далее. Между льдом и берегом образовалась полоса черной воды, которая становилась все шире. На самой дальней льдине, как на белом седле, покрывающем темную спину потока, стояла, изогнувшись, черная лисица. Свора с воем бессильной ярости остановилась на берегу, но Гекла, не помня себя, бросилась к краю ледяной гущи как раз в ту секунду, когда оторвавшийся лед уносил ее жертву. Река, неудержимая, неумолимая, быстро отделила от берега и ту льдину, на которой стояла собака. Так обе они — гонимая лиса и гонительница собака — понеслись навстречу своей гибели. Они плыли по реке, освещенные заходящим солнцем, а по берегу за ними следовали собаки и юноша охотник верхом на лошади.

Какой-то фермер из другой охоты, случившийся тут, прицелился было в лисицу, но юноша вышиб ружье из рук глупца и невольно крикнул: «Ура!» Крик замер, оставив свору в недоумении.

У поворота реки льдины достигли быстроты — длинного, ровного пространства воды перед тем местом, где река низвергается, образуя Харнейский водопад. Юноша и собаки остановились, смотря на пылающий закат и на озаренную пурпуром реку, покрытую блестящими льдинами, уносившими в гаснущее сияние

два живых существа. Туман стал сгущаться над бурлящей рекой, и последние прорвавшиеся сквозь него лучи солнца ярко позолотили и реку, и лед, и черно-бурую лисицу, а затем огненное зарево заката скрыло все из глаз.

Бестрепетно гибнущий смельчак на дальней льдине не издавал ни звука, но ветер донес жалобный вой собаки, в котором слышался ужас смерти.

— Прощай, дружище! — сказал молодой охотник.— Прощай, моя славная собака! — Голос у него осекся.— Прощай, черно-бурый лис! Ты жил победителем, и ты умираешь победителем. Мне хотелось бы спасти вас обоих, но вы погибаете славной смертью. Прощайте!

Абнер уже не мог ничего больше разглядеть, а собаки стояли на берегу, дрожали и скулили.

У противоположного берега течение образовало широкий водоворот. Крутясь в водовороте, льдины, находившиеся у берега, постепенно выплывали на середину реки, а льдины с середины реки подошли совсем близко к берегу. Воспользовавшись благоприятной минутой, Домино собрал все свои силы и прыгнул на берег. Он благополучно перескочил через черный поток и очутился снова на твердой земле. Река, выручавшая лиса из беды в юности, спасла его и теперь.

А позади, среди несущихся льдин, раздался протяжный, отчаянный вой погибающей собаки. Но его заглушил шум воды.

БИНГО

I

Это случилось в начале ноября 1882 года, когда в Манитóбе уже установилась зима. Я сидел, развалившись на стуле, и лениво поглядывал в единственное окно нашей хижины, откуда виднелся кусочек прерии и угол хлева.

Но моя мечтательная лень сразу исчезла, едва я увидел стремительно вбежавшего в хлев большого серого зверя, преследуемого по пятам другим животным, поменьше, с черными и белыми пятнами.

— Волк! — воскликнул я и, схватив ружье, бросился на помощь собаке.

Однако, прежде чем я подоспел, собака и волк уже выскочили из хлева. Пробежав немного по снегу, волк обернулся, готовясь к защите. Собака — шотландская овчарка нашего соседа — бегала кругом, выжидая удобного момента для нападения.

Я дважды выстрелил на большом расстоянии, но промахнулся, и погоня возобновилась. На этот раз смелый пес нагнал волка и схватил его за бедро, но тут же отскочил, увертываясь от его свирепых челюстей. Волк принял оборонительную позу, а затем пустился наутек. Эта сцена повторялась снова и снова. Собака явно гнала волка к человеческому жилью, и волк напрасно пытался прорваться к темной линии леса, видневшейся на востоке. Наконец, когда они пробежали таким образом целую милю, мне удалось их настигнуть, и собака, надеясь на мою помощь, бросилась в решительную атаку.

Прошло несколько секунд. Клубок борющихся животных, в котором трудно было что-нибудь различить, распался, и я увидел волка, лежащего на спине, и окровавленного пса, схватившего его за горло. Теперь мне было уже нетрудно положить конец борьбе, всадив пулю в голову волка.

Когда этот удивительный пес, обладавший необыкновенной выносливостью, увидел, что враг мертв, он тут же забыл про него

и пустился рысцой по снегу на ферму, находившуюся в четырех милях отсюда, к своему хозяину.

Это был замечательный пес; даже если бы я не подоспел к нему на помощь, он и один справился бы с волком, как это уже не раз бывало, несмотря на то что волки, хотя и более мелкой, степной породы, были гораздо крупнее его.

Я был в восторге от храбрости пса и тут же решил купить его, уплатив за него какую угодно цену. Но хозяин собаки сердито отказался, ответив:

— Отчего бы вам не купить у меня щенка?

Раз Фрэнк не продавался, мне волей-неволей пришлось удовольствоваться щенком. Этот сын столь знаменитого отца оказался комком черного меха и был больше похож на длинно-хвостого медвежонка, чем на щенка. Но у него были точно такие же рыжие отметины, как у Фрэнка, и я надеялся, что это послужит залогом его будущего величия, так же как и характерное белое кольцо вокруг носа.

После того как я приобрел щенка, мне оставалось только придумать ему имя, и я назвал его Бинго.

II

Конец зимы Бинго провел в нашей хижине, живя жизнью ленивого, толстого, добродушного и проказливого щенка. Он объедался до отвала и с каждым днем становился все больше и неуклюжее. Даже печальный опыт не научил его, что он должен держать нос подальше от крысоловки. Самые дружественные его попытки сблизиться с кошкой были совершенно ею не поняты, и результатом явился вооруженный нейтралитет, который изредка прерывался войной.

Наконец Бинго, рано проявивший самостоятельность, решил лучше вовсе избегать хижины и ночевать в сарае.

С наступлением весны я серьезно принялся за его воспитание. Это стоило мне больших трудов, а ему — многих страданий, однако он все же выучился по моему приказанию разыскивать нашу старую рыжую корову, которая паслась на воле в прерии.

Поняв наконец, что от него требуется, он полюбил это дело, и ничто так не нравилось ему, как приказание пригнать корову домой. Он тогда мчался в прерию с радостным лаем, высоко подпрыгивая, чтобы разглядеть, где пасется его жертва. И через самое короткое время возвращался назад, гоня перед собой корову галопом и оставляя ее в покое лишь тогда, когда она, фыркая и отдуваясь, пряталась в самый отдаленный угол хлева.

Конечно, если б он тратил на это дело поменьше энергии, мы не мешали бы ему, но он до такой степени пристрастился к этой

ежедневной охоте, что стал пригонять домой нашу старушку Дóнни без всякого приказания. В конце концов наш усердный пастух стал загонять корову в хлев по двенадцати раз в день. Дело дошло до того, что, когда у него являлось желание пробежаться или оказывалось несколько свободных минут, а иногда просто потому, что ему приходила такая фантазия, Бинго стремглав бежал в прерию и через несколько минут возвращался, гоня вскачь перед собой нашу бедную рыжую корову.

Сначала это, казалось, было не так уж плохо, потому что мешало корове забрести далеко от дома. Но скоро мы убедились, что она недоедает: она похудела и стала давать меньше молока. По-видимому, эта охота действовала и на состояние ее духа, так как она, беспокойно озираясь, постоянно с тревогой ожидала появления собаки. А по утрам не отходила от хлева, точно боялась отправиться на пастбище, чтобы снова не подвергнуться нападению.

Это было уже слишком. Все наши старания заставить Бинго умерить свой пыл не приводили ни к чему, и пришлось в конце концов вовсе прекратить эту забаву. Бинго больше не смел загонять корову, но все-таки выказывал к ней большой интерес и лежал, свернувшись, у дверей хлева, пока ее доили.

Когда наступило лето, комары стали отравлять нам существование, но еще несноснее было то, что из-за комариных укусов корова при доении размахивала хвостом.

Мой брат Фред, обычно доивший коров и столь же изобретательный, сколь нетерпеливый, придумал простое средство помешать корове махать хвостом: он привязал к ее хвосту кирпич и безмятежно принялся за свое дело, уверенный, что корова уже не будет мешать ему своим хвостом. Но мы с некоторым сомнением отнеслись к этому опыту.

И вот внезапно сквозь тучу комаров до нас донесся глухой шлепок и взрыв ругательств. Корова продолжала спокойно пережевывать жвачку, а Фред вскочил на ноги и яростно замахнулся на нее скамеечкой. Как же не прийти в ярость, если старая, глупая корова хватила его по уху кирпичом! А злорадство и насмешки зрителей окончательно вывели его из себя.

Бинго, услышав шум и полагая, что присутствие его необходимо, бросился на корову с другой стороны. Прежде чем удалось водворить порядок, молоко было пролито, ведро и скамейка сломаны, а корова и собака жестоко избиты.

Бедный Бинго никак не мог понять, в чем он провинился. Он давно уже презирал эту корову и теперь, окончательно возмущенный, решил даже не смотреть на дверь ее хлева и переселился к лошадям в конюшню.

Корова была моя, а лошади принадлежали моему брату, и, сменив хлев на конюшню, Бинго тем самым как бы отказался и от меня. И наше ежедневное общение прекратилось. И все же если

случалось что-нибудь серьезное, Бинго всегда обращался ко мне, а не к брату. И мы оба как будто чувствовали, что связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью.

В роли пастуха Бинго пришлось выступить еще только один раз. Это было осенью того же года на ярмарке в Карберри. Там происходило состязание собак, и овчарке, которая лучше всех пригонит корову туда, куда ей прикажут, обещан был приз в два доллара.

Соблазненный одним коварным приятелем, я записал Бинго для участия в состязании, и рано утром в назначенный день корову выгнали в прерию, за поселком. Когда началось состязание, я указал на нее Бинго и сказал:

— Ступай приведи корову!

Само собой разумеется, я хотел, чтобы он пригнал ее ко мне, туда, где сидели судьи.

Но животные лучше нас знали, что им делать. Недаром они все лето репетировали. Когда Донни увидала бегущего к ней во весь карьер Бинго, она вспомнила, что единственная надежда на спасение — это ее хлев, а Бинго был уверен, что единственная цель его жизни — как можно скорее загнать ее туда. И вот они понеслись по прерии друг за другом, как волк за ланью, держа прямой курс на хлев, находившийся на расстоянии двух миль оттуда, и вскоре исчезли из виду. Судьи больше не видели ни коровы, ни собаки. Награда досталась другой овчарке, единственной сопернице Бинго.

III

Я принялся воспитывать Бинго ранней весной, но очень скоро он сам стал учить меня.

На половине дороги между нашей хижиной и поселком Карберри, в двух милях от нас, стоял столб, отмечавший границу нашей фермы. Это был большой, толстый столб, поставленный на маленьком холмике и хорошо видный издали.

Я скоро заметил, что Бинго никогда не пройдет мимо этого столба без того, чтобы не обследовать его самым тщательным образом. Спустя немного времени я убедился, что столб этот посещается также койотами и всеми окрестными собаками.

С помощью подзорной трубы я сделал целый ряд наблюдений, давших мне возможность узнать, в чем тут дело, и более основательно познакомиться с личной жизнью Бинго.

Столб этот, по взаимному соглашению животных, служил своего рода адресным столом для собачьего племени. Благодаря своему изумительному чутью каждая собака могла тотчас же определить по следу и запаху, кто из собак побывал здесь недавно.

Когда же выпал снег, то я узнал еще многое другое. Этот столб, как я убедился, был лишь частью целой системы адресных столов, покрывавших сетью все окрестности.

Короче говоря, во всей этой области были расположены, на соответствующем расстоянии друг от друга, сигнальные станции. Они были отмечены каким-нибудь бросающимся в глаза предметом. Это мог быть столб, череп бизона или еще что-нибудь, лишь бы место оказалось подходящим. И тщательное наблюдение скоро убедило меня, что тут существовала целая система сигнализации. Каждая собака или койот непременно посетит те станции, которые лежат у них на пути, для того чтобы узнать, кто тут был недавно. Это похоже на то, как поступает член клуба, который, вернувшись в город, берет для просмотра книгу записи посетителей, желая знать, кто посещал клуб в его отсутствие.

Я видел, как Бинго подходил к столбу, нюхал, исследовал землю вокруг него. Он рычал, ощетинивал шерсть и, сверкая глазами, принимался яростно и с презрением скрести землю задними ногами. Затем он надменно удалялся, временами оглядываясь. В переводе на человеческий язык это означало следующее:

«Гррр! Ввууф! Опять эта грязная дворняга, пес Маккáрти! Ввууф! Сегодня вечером я ему задам! Ввввууф! Ввууф!»

В другой раз, обнюхав столб, Бинго внезапно с волнением начинал изучать след койота, ворча про себя, как я потом догадался:

«След койота, идущий с севера и пахнущий околевшей коровой... Да ну! Старуха Бриндл, корова Поллуáрта, околела наконец! Это стоит расследовать».

Иногда же он принимался махать хвостом, бегал кругом и снова возвращался к столбу, чтобы сделать свое посещение еще заметнее,— может быть, для того, чтобы оставить весточку своему брату Биллу, только что вернувшемуся из Брендона. Таким образом, вовсе не случайно однажды вечером Билл явился в гости к Бинго и вместе с ним отправился к холмам, где они могли как следует отпраздновать свою встречу над свежим лошадиным трупом.

Бывало и так, что новость, которую Бинго узнавал у столба, потрясала его до глубины души. Тогда он бежал по следу к следующей станции, чтобы там получить свежие известия.

Порой я замечал, что он внимательнейшим образом осматривал столб, точно спрашивая себя: «Что это? Кто бы это мог быть?..»

Или как будто размышлял, исследуя столб: «Кажется, я встречался с ним прошлым летом у переправы?»

Однажды утром, когда Бинго подошел к столбу, вся шерсть у него встала дыбом, хвост повис и задрожал, а внезапные признаки

тошноты были явным доказательством крайнего ужаса, который он испытывал. Он не выказал ни малейшего желания идти по следу дальше, а прямо направился домой; и даже полчаса спустя он все еще не мог успокоиться: шерсть на загривке стояла у него дыбом, а взгляд выражал страх и ненависть.

Тогда я, в свою очередь, исследовал этот страшный след и узнал, что горловые звуки: «Грр! Вууф!» — означают на языке Бинго: «Лесной волк!»

Вот чему научил меня Бинго. И когда потом мне случалось видеть, что он встает со своей холодной постели у входа в конюшню, потягивается и стряхивает снег, облепивший его лохматую спину, а затем исчезает в темноте, мерно постукивая лапами — трот, трот, трот,— я всегда думал про себя:

«Ага, старый пес! Знаю, куда ты бежишь и почему ты не хочешь ночевать под крышей! Теперь мне понятно, почему твои ночные прогулки по окрестностям всегда бывают так своевременны и почему ты всегда в точности знаешь, куда тебе надо идти за поживой и как и когда надо ее искать!»

IV

Осенью 1884 года хижина на ферме де Ви́нтона была заколочена, и Бинго переменил свое местожительство. Он переселился в другое место — в конюшню нашего соседа Го́рдо́на Ра́йта, моего друга.

Бинго с детства ни за что не хотел входить в дом, за исключением тех случаев, когда разражалась гро́за. Гром и ружья внушали ему величайший страх. И, несомненно, он стал бояться грома после того, как познакомился с ружьями при не слишком приятных обстоятельствах, о которых ниже.

Бинго всегда ночевал на дворе, у конюшни, даже в самую холодную погоду, и было ясно, что, получая таким образом полную свободу на всю ночь, он не стеснялся этой свободой пользоваться.

По ночам Бинго совершал многомильные прогулки. Этому было немало доказательств. Фермеры, жившие очень далеко от Райтов, неоднократно предупреждали старика Гордона, чтобы он не отпускал своего пса шляться по ночам, не то они угостят непрошеного гостя дробью. Очевидно, это не была пустая угроза: недаром Бинго так боялся огнестрельного оружия.

Один человек, живший далеко, в Пе́треле, рассказывал, что он видел большого черного волка, который однажды зимним вечером загрыз койота. Но после он изменил свое мнение и говорил, что, по всей вероятности, это был не волк, а пес Райта.

Где бы ни лежал труп быка или лошади, околевших зимой,

Бинго непременно отправлялся туда каждую ночь и, отгоняя койотов, наедался до отвала.

Иногда он уходил из дому только для того, чтобы подраться с собакой какого-нибудь дальнего соседа. Но, несмотря на все угрозы, мы никогда не опасались, что род Бинго прекратится. Один человек даже уверял, что он видел самку койота с тремя детенышами, которые были крупнее матери и черные, а вокруг их носов сверкали белые кольца.

Я не знаю, правду ли он говорил, но во всяком случае однажды, в конце марта, когда мы ехали в санях, а Бинго бежал за нами, вдруг из ложбины выскочил койот. Он бросился наутек, Бинго — за ним. Однако вскоре стало ясно, что койот вовсе не пытается спастись от преследования. Вскоре Бинго настиг его, но, как это ни странно, никакой схватки не произошло. Бинго спокойно бежал с ним рядом и наконец лизнул его в морду.

Мы были поражены и кричали, чтобы науськать Бинго на койота. Наши крики пугали койота и заставляли ускорять бег, но Бинго снова бросался за ним и настигал его с самым дружелюбным видом.

— Это самка! Он не сделает ей никакого вреда! — воскликнул я, догадавшись наконец, в чем дело.

Мы отозвали Бинго, который подчинился с большой неохотой, и поехали дальше.

В течение нескольких недель после этого мы подвергались нашествиям койота, который душил наших цыплят, воровал куски свинины из кладовой и несколько раз пугал детей, заглядывая в окно, когда взрослых не было дома.

А Бинго никак не мешал разбойнику. Наконец койот, оказавшийся самкой, был убит, и Бинго страшно рассердился. Он объявил непримиримую войну Оли́веру, ее убийце.

V

Удивительная и трогательная вещь — дружба человека с собакой! Рассказывают об одном индейском племени на дальнем Севере, которое почти погибло из-за внутренней распри, а все началось с того, что собака одного индейца была убита его соседом. Но ведь и у нас бывают распри, тяжбы и смертельная вражда, возникающие из-за нарушения древнего правила: «Любишь меня — люби мою собаку».

У одного из наших соседей была прекрасная гончая, по имени Тан. Он считал ее самой лучшей и самой красивой собакой на свете. Я любил его и потому любил его собаку. И когда однажды бедный Тан приполз домой страшно израненный и испустил дух у порога дома, я негодовал вместе с его хозяином и сам взялся за

поиски преступника, а также предложил награду за его поимку. В конце концов стало ясно, что Тана убил один фермер, живший к югу от нас. На него указывало много улик, и мы не сомневались, что заставим негодяя понести должное наказание за гнусное убийство бедного старого Тана.

Однако тут случилось нечто, заставившее меня совершенно изменить мою точку зрения на это дело, и я пришел к выводу, что убийство этого старого пса вовсе не было таким уж страшным преступлением и вполне извинительно.

Ферма Гордона Райта лежала к югу от нас, и, когда я однажды туда зашел, Гордон-младший, зная, что я разыскиваю убийцу, отвел меня в сторону и, боязливо озираясь, прошептал трагическим голосом:

— Тана убил Бинго...

Этого было достаточно. И должен сознаться, что с этой минуты я делал все от меня зависящее, чтобы сбить с толку правосудие, тогда как раньше, наоборот, прилагал все усилия, чтобы разыскать убийцу.

Я давно уже отдал Бинго, но дружба наша не кончилась, а, наоборот, вскоре нашла новое подтверждение.

Гордон и Оливер были старыми товарищами. Они подрядились вместе рубить лес и работали дружно до половины зимы. Но затем старая лошадь Оливера пала, и он, желая извлечь из нее наибольшую пользу, выволок ее в прерию и разбросал вокруг отраву для волков.

Увы, бедный Бинго! Он упорно стремился жить по-волчьи и постоянно подвергался тем же опасностям, что и волки. Он так же любил лакомиться падалью, как и его дикие родичи. В ту же ночь он отправился к трупу лошади вместе с собакой Гордона Райта, которую звали Ке́рли. По-видимому, Бинго больше отгонял койотов, зато Керли ел вволю.

Следы на снегу рассказали историю пира, прервавшегося, когда яд стал действовать. Псы кое-как добрели до дому, где Керли свалился в судорогах к ногам Гордона и умер в страшных мучениях.

«Любишь меня — люби мою собаку!»

Никакие объяснения не помогли. Напрасно было доказывать, что произошло. Это была несчастная случайность. Давнишняя вражда между Бинго и Оливером выставлялась как неопровержимое доказательство. Договор о рубке леса был расторгнут, и дружбе двух приятелей пришел конец. И до сего дня в этой местности существуют две враждебные партии, образовавшиеся из-за смерти Керли.

Прошло много месяцев, прежде чем Бинго окончательно оправился от действия яда. Мы даже боялись, что он больше уже никогда не будет прежним сильным и смелым Бинго. Но с наступле-

нием весны он начал поправляться, и через несколько недель к нему вернулись здоровье и энергия на радость друзьям и на горе соседям.

VI

Некоторые перемены в моей жизни заставили меня уехать далеко от Манитóбы, но когда я вернулся туда в 1886 году, Бинго все еще жил в доме Гордона Райта. Я думал, что он забыл меня за время моего двухлетнего отсутствия, но я ошибся.

Однажды, в самом начале зимы, он пропадал около двух суток и наконец приполз домой, волоча за собой волчий капкан с тяжелым бревном. Лапа, попавшая в капкан, была отморожена и тверда, как камень. Никто не осмелился приблизиться к псу, чтобы освободить его, так как он тотчас же приходил в ярость. Тогда я, ставший для него уже совсем чужим, подошел к нему, одной рукой взялся за капкан, а другой схватил его ногу. Он мгновенно сомкнул зубы на моем запястье.

— Бинго, разве ты не узнаешь меня? — сказал я спокойно.

Он не укусил меня и тотчас же выпустил мою руку. Он больше не сопротивлялся, хотя громко визжал, пока снимали капкан. Он все еще признавал во мне своего господина, несмотря на то что жил у других людей и долго не видал меня. И я также, хотя отказался от своих прав на него, все же чувствовал, что это моя собака.

Бинго, против его желания, все-таки внесли в дом, и его замерзшая лапа оттаяла. Всю зиму он хромал, и два пальца у него омертвели и отпали. Но еще до наступления теплой погоды он совсем поправился.

VII

В ту зиму много койотов и лисиц попалось в мои капканы. Я не убирал капканов даже весной, так как за каждого убитого хищника выплачивалась премия.

Равнина Кеннеди — очень удобное место для капканов, так как люди мало ее посещают. Она расположена между густым, дремучим лесом и фермами. Я добыл много шкур в этих местах.

В конце апреля я отправился туда в один из своих объездов, которые всегда совершал регулярно.

Капканы делают из толстых стальных полос. Они снабжены двумя пружинами, и сила каждой из них равняется ста фунтам. Вокруг приманки ставят четыре капкана и крепко привязывают их к хорошо запрятанным бревнам. После этого капканы тщательно прикрывают ватой и засыпают сверху мелким песком.

В один из моих капканов попался койот. Я убил его ударом дубины и, отбросив труп в сторону, принялся вновь устанавливать капкан. Так я поступал уже сотни раз.

Скоро все было готово. Я бросил отвертку, отмыкающую капкан, туда, где стояла моя лошадь, и, заметив поблизости хороший, мелкий песок, решил подсыпать еще горсть к кучке над капканом.

Какая это была несчастная мысль! Какая безумная неосторожность! Этот мелкий песок лежал поверх соседнего капкана, и я в один миг очутился в плену.

Я не был ранен, потому что эти капканы не имеют зубьев, а мои толстые охотничьи перчатки ослабили тиски, но все же я был крепко схвачен стальными челюстями поперек ладони.

Сначала я не очень испугался и попытался достать отвертку правой ногой. Распластавшись на животе во всю длину, я старался подобраться к ней, вытягивая мою зажатую капканом руку насколько возможно. Я не мог одновременно и смотреть и шарить, но полагался на большой палец своей ноги, который, конечно, даст мне знать, если я прикоснусь к маленькой железной отвертке.

Моя первая попытка была неудачной. Как я ни дергал цепь капкана, я ничего не мог достать. Я медленно повернулся, но снова потерпел неудачу. Кое-как скосив глаза, я обнаружил, что отодвинулся слишком далеко в сторону, и попробовал вернуться на прежнее место, слепо шаря по земле. И вот, занятый правой ногой, я совсем забыл про левую ногу, как вдруг послышалось резкое щелканье и над ней сомкнулись крепкие челюсти капкана номер три.

Я не сразу понял весь ужас моего положения, но скоро убедился, что мне из капканов не вырваться. Я даже не мог сдвинуть их с места и лежал, вытянувшись во всю длину, пригвожденный к земле.

Что же теперь будет со мной? Я не боялся замерзнуть, так как холода давно кончились, но знал, что равнину Кеннеди посещают только дровосеки зимой. Никто не знает, куда я поехал, и если мне не удастся освободиться, меня растерзают волки или я умру с голоду.

Пока я лежал, красное солнце зашло за еловый лесок у болота на западе. В нескольких шагах от меня, на бугре, жаворонок прощебетал свою вечернюю песенку, точь-в-точь как накануне вечером у дверей моей хижины. И хотя тупая боль поднималась в моей руке и меня охватывал мертвящий холод, я все же заметил, как длинны были пучки перьев по сторонам его головки.

После этого мои мысли перенеслись к уютной кухне в доме Райта. Я думал о том, что они, быть может, как раз в эту минуту жарят свинину к ужину или уже садятся за стол. Моя лошадь продолжала стоять на том самом месте, где я оставил ее, с уздечкой на земле, и терпеливо ждала, чтобы отвезти меня домой. Она

не понимала, отчего я задерживаюсь так долго, и, когда я позвал ее, она перестала щипать траву и взглянула на меня с немым, беспомощным недоумением.

Если б она вернулась домой! Пустое седло вызвало бы подозрение, что со мной случилось несчастье. Меня стали бы искать и могли бы спасти. Но преданность лошади заставляла ее ждать час за часом, в то время как я погибал от голода и холода.

Тут я вспомнил, как исчез старый охотник Жиру́. Только на следующую весну нашли его скелет, схваченный за ногу медвежьим капканом. И я думал о том, какая часть моей одежды поможет моим друзьям опознать мой скелет...

Тут мне в голову пришла мысль. Так вот что чувствует волк, когда попадает в капкан! Сколько же мучений причинил я им на своем веку! Теперь я расплачиваюсь за это.

Медленно наступала ночь. Где-то завыл койот. Лошадь насторожила уши и, подойдя ближе ко мне, остановилась, опустив голову. Завыл другой койот, и еще третий... Я понял, что они собираются где-то рядом. А я лежал распростертый на земле и беспомощный и думал, что будет, пожалуй, только справедливо, если они сейчас явятся сюда и растерзают меня на части.

Я долго слышал их призывное завывание, а потом увидел неясные тени. Лошадь первая заметила койотов, и ее испуганное фырканье заставило их сначала несколько отступить. Но затем они подошли ближе и уселись вокруг меня на равнине. Вскоре один из них, более смелый, чем другие, подкрался к трупу своего родича и стал его теребить. Я крикнул, и он с рычанием попятился. Лошадь в ужасе отбежала в сторону. Вскоре койот опять вернулся; после некоторых колебаний он в конце концов оттащил труп, который тут же и съел в компании с остальными своими товарищами.

После этого койоты подошли еще ближе и уселись вокруг, разглядывая меня. Один из них, самый смелый, даже понюхал мое ружье и забросал его землей. Он отбежал, когда я с криком замахнулся на него свободной ногой, но, по мере того как я слабел, он делался храбрее и даже рычал мне прямо в лицо. Увидя это, другие койоты тоже зарычали и приблизились ко мне. Я понял, что мне предстоит быть растерзанным зверями, которых я вчера презирал, как вдруг из окружающей темноты выскочил с глухим ревом черный волк.

Койоты тотчас же разбежались в разные стороны, кроме смельчака, который был схвачен этим новым пришельцем и мгновенно убит. Но — о ужас! — страшный зверь после этого бросился ко мне, и... Бинго, мой благородный Бинго,— это он терся о меня своими мохнатыми боками и лизал мое похолодевшее лицо!

— Бинго! Бинго! Старый друг! Принеси мне отвертку!

Он тотчас же побежал и вернулся, волоча ружье.

— Нет, Бинго! Принеси отвертку!

Он опять побежал и принес мой кушак. Но в конце концов он все же принес отвертку и радостно махал хвостом, оттого что угадал мое желание.

Протянув свободную руку, я с величайшим трудом отвинтил гайку. Капкан раскрылся, и моя рука освободилась, а через минуту и я сам был на свободе. Бинго пригнал ко мне лошадь. Медленно пройдясь немного, чтобы восстановить кровообращение, я наконец мог сесть в седло.

Мы отправились домой, сначала тоже медленным шагом, а потом вскачь. Бинго бежал впереди, как герольд, и громким торжествующим лаем возвестил о нашем возвращении. Дома я узнал, что накануне вечером этот удивительный пес очень странно вел себя, хотя я никогда не брал его с собой для осмотра капканов. Он визжал и не спускал глаз с лесной дороги. Наконец, когда настала ночь, он, несмотря на все попытки удержать его, убежал и поспел как раз вовремя, чтобы разделаться с дерзким койотом и освободить меня.

Мой верный старый Бинго! Какой это был странный пес! Его сердце, несомненно, принадлежало мне, а между тем на другой же день он почти не удостоил меня взглядом и весело отправился с младшим Гордоном охотиться на сурков. И таким он оставался до конца.

Так же до конца он жил волчьей жизнью и всегда отправлялся, согласно своей волчьей повадке, отыскивать трупы павших зимой лошадей. Он опять наткнулся на отравленный лошадиный труп и с волчьей прожорливостью полакомился им. Затем, в предсмертных муках, он притащился, но не к Гордону Райту, а ко мне, к дверям моей хижины, где меня в ту ночь не было.

На следующий день, возвращаясь домой, я нашел его мертвым на снегу. Он лежал, уткнувшись мордой в порог. До последней минуты он оставался моей собакой, и моей помощи он искал — напрасно искал! — в минуту предсмертной тоски.

ЛОБО

I

Большая скотоводческая область в северной части Нью-Мексико называется Курру́мпо. Это край богатых пастбищ, огромных стад, высоких холмов и прозрачных, но немногочисленных потоков, впадающих в реку Куррумпо, которая и дала название всей местности. И властелином края был старый серый волк.

Старый Лобо был гигантским вожаком стаи серых волков, опустошавших долину Куррумпо в течение долгих лет. Все пастухи и скотоводы хорошо знали его, и где бы он ни появлялся со своей верной стаей, там воцарялся ужас и владельцы стад приходили в отчаяние. Старый Лобо был волк-великан, а его хитрость и сила соответствовали его росту. Его ночной вой был хорошо известен всем местным жителям, которые узнавали его сразу. Обыкновенный волк мог часами выть вблизи пастушьего лагеря, не привлекая к себе внимания, но когда в ущелье раздавался громкий рев старого вожака, пастухами овладевало беспокойство, и они знали, что утром им придется узнать о новых опустошениях в стадах.

Стая Лобо была невелика. Я никак не мог понять почему. Обыкновенно вокруг такого выдающегося вожака собирается значительная свита. Но, может быть, Лобо не хотел водить большую стаю, а может быть, ее увеличению препятствовал свирепый нрав. Несомненно одно: в последние годы жизни Лобо его стая состояла всего лишь из пяти волков, однако каждый из них пользовался известностью и отличался огромными размерами. Один из них, помощник Лобо, был настоящим гигантом. Но даже он далеко уступал Лобо в силе и проворстве.

Остальные волки этой стаи тоже обладали своими особенностями. Одного из них, красивого белого волка, мексиканцы назвали Бланкой, полагая, что это волчица и, вероятно, подруга Лобо. Другой, желтый волк, отличался быстротой бега и, по рассказам, не раз догонял быстроногую антилопу.

Жизнь этих волков была тесно связана с жизнью скотоводов, которые рады были бы их уничтожить. Любой скотовод отдал бы многих молодых быков за скальп любого волка из стаи Лобо. Но убить их не удавалось никакими способами. Они точно насмехались над охотниками, презирали всякую отраву и продолжали, по крайней мере в течение пяти лет, взимать дань со скотоводов Куррумпо по одной корове каждый день. Следовательно, эти волки по самому скромному подсчету истребили более двух тысяч животных, а к тому же они всегда выбирали самых лучших из всего стада.

Старинное убеждение, что волк постоянно голоден и готов пожирать все, что угодно, в данном случае никак не соответствовало истине, так как эти хищники были толсты, упитанны и отличались большой разборчивостью в еде. Они никогда не прикасались к животному, умершему естественной смертью, больному или хилому и даже пренебрегали теми, которых убивал пастух. Обычно они выбирали себе на обед самую нежную часть только что убитой ими годовалой телки. Старым быком или коровой они брезговали. Известно также, что они не любили баранины, хотя частенько убивали овец ради забавы. Однажды ночью в ноябре 1893 года Бланка и желтый волк растерзали двести пятьдесят овец и даже не попробовали их мяса.

Я мог бы привести еще много таких же рассказов о разорительных набегах этой стаи. Ежегодно в ход пускались всевозможные новые средства для их истребления, но они продолжали жить и благоденствовать, несмотря на все усилия и ухищрения своих врагов.

За голову Лобо была назначена огромная премия, и для него всюду разбрасывались отравленные приманки, но он всегда угадывал присутствие яда и оставался цел. Одного он только боялся — огнестрельного оружия. Зная, что все жители этой области носят с собой ружья, Лобо никогда не нападал на человека и старался не встречаться с ним. У стаи было правило тотчас же обращаться в бегство, едва только кто-нибудь замечал днем человека, как бы далеко тот ни был в ту минуту. Лобо позволял своей стае употреблять в пищу лишь тех животных, которые были убиты ими самими, и это было спасением для них. Его тонкое чутье давало ему возможность тотчас же обнаружить прикосновение человеческих рук и присутствие отравы и оберегать стаю.

Однажды один ковбой услышал слишком хорошо ему знакомый призывный вой старого Лобо и, прокравшись в ту сторону, увидел, что стая окружила небольшое стадо коров.

Лобо сидел в стороне на пригорке, а Бланка вместе с остальными волками старалась отогнать в сторону телку, которую они облюбовали себе на обед. Но стадо сбилось в одну плотную массу

и стояло головами наружу, выставив навстречу врагу сплошной ряд рогов.

В конце концов Лобо потерял терпение и, покинув пригорок, с глухим ревом бросился к стаду.

Перепуганные животные расступились перед ним, и он вскочил в середину стада. Коровы кинулись во все стороны, точно осколки разорвавшейся бомбы. Намеченная жертва тоже бросилась бежать, но не успела она сделать и двадцати пяти шагов, как Лобо настиг ее. Схватив телку за шею, он внезапно остановился, напрягая все силы, и телка повалилась на землю. Рывок был так силен, что телка перекувырнулась вверх ногами. Лобо тоже упал, но тотчас же вскочил на ноги. Остальные волки бросились на бедную телку и покончили с ней в несколько секунд. Лобо не принимал в этом никакого участия. Швырнув на землю свою жертву, он точно сказал другим волкам: «Отчего никто из вас не сделал этого раньше, вместо того чтобы понапрасну терять время?»

Ковбой, видевший все это, с громким криком поскакал на них, и волки разбежались. Он вынул бутылочку со стрихнином, быстро в трех местах отравил тушу мертвой телки и удалился, зная, что волки непременно вернутся съесть телку, раз они ее сами убили. Но когда на следующее утро он пришел взглянуть на свои предполагаемые жертвы, то увидел, что волки хотя и ели телку, но при этом тщательно отделили и выбросили все отравленные части.

Страх перед огромным волком распространялся среди скотоводов все больше и больше, и награда, назначенная за голову Лобо, ежегодно увеличивалась, пока не достигла наконец тысячи долларов — еще небывалой цены за убитого волка.

Соблазненный такой наградой, техасский охотник Теннерей прискакал однажды в ущелье Куррумпо. Он был превосходно снаряжен для волчьей охоты, располагал отличнейшими ружьями, отличными лошадьми и сворой огромных волкодавов. У себя в Техасе он вместе со своими собаками истребил немало волков и потому нисколько не сомневался, что через несколько дней скальп старого Лобо будет болтаться на луке его седла.

И вот он ранним летним утром, едва рассвело, отважно отправился на охоту, и вскоре большие собаки веселым лаем возвестили, что напали на след добычи. Не пробежали они и двух миль, как впереди замелькала прославленная стая Лобо, и погоня стала еще яростнее, еще неистовее. Собаки-волкодавы должны были только задержать волков, пока не подоспеет охотник и не перестреляет их. Это нетрудно сделать на открытых равнинах Техаса, но тут условия были иные. Старый Лобо хорошо умел выбрать местность. Скалистые ущелья реки Куррумпо и ее притоков пересекали равнину во всех направлениях. Старый волк тотчас же отправился в ближайшее из этих ущелий и, перебравшись через поток, ушел от охотника. Его стая разбежалась в разные стороны, а вслед

за волками разбежались и собаки. Затем волки опять собрались вместе и, воспользовавшись тем, что часть собак отстала, разделались с остальными. Когда Теннерей вечером стал сзывать своих собак, то вернулось только шестеро, и из них две были сильно изранены. Однако охотник все-таки не отказался от своего намерения и сделал еще две попытки овладеть скальпом Лобо, но столь же безуспешно. Последняя попытка стоила жизни его лучшей лошади, которая упала и разбилась насмерть. Тогда он, отчаявшись в успехе, вернулся в Техас, предоставив Лобо по-прежнему деспотически властвовать в Куррумпо.

На следующий год явились еще два охотника, соблазненные заманчивой наградой.

Каждый думал, что именно ему удастся справиться с этим знаменитым волком.

Один из них надеялся достигнуть этого с помощью новоизобретенной отравы и особого способа располагать приманку. Другой, француз из Канады, тоже хотел применить отраву, но, кроме того, намеревался присоединить к ней заклинания, так как был твердо уверен, что Лобо не простой волк, а оборотень, и потому его нельзя убить обычными средствами.

Однако никакие искусно приготовленные яды, никакие чары и заклинания не могли одолеть серого хищника. Он по-прежнему совершал свои еженедельные обходы и ежедневно пировал. Вскоре охотники, отчаявшись, отказались от дальнейших попыток и отправились охотиться в другие края.

Ферма Джо Кало́на была расположена на одном из маленьких притоков Куррумпо, в живописном ущелье среди скал.

Всего в какой-нибудь тысяче ярдов от дома Лобо со своей подругой устроили логовище и вырастили детенышей.

Они прожили там все лето, истребляя коров, овец и собак Джо, точно смеясь над всеми его ухищрениями, над его отравами и западнями. Они жили в полной безопасности среди пещер и скал, а Джо ломал себе голову, стараясь придумать, как выкурить их оттуда или уничтожить с помощью динамита. Но они остались целы и невредимы и продолжали свои набеги, как и раньше.

— Вот где Лобо прожил нынешнее лето,— сказал Джо, указывая мне на каменистый обрыв.— А я ничего не мог с ним поделать. Он морочил меня, как хотел.

II

Рассказы ковбоев не возбуждали во мне особого доверия, пока осенью 1893 года я не познакомился сам с этим лукавым разбойником и не узнал его лучше, чем другие.

За несколько лет до этого, когда был еще жив Бинго, я за-

нимался охотой на волков. Но с тех пор род моих занятий изменился, и я оказался прикованным к стулу и к письменному столу. Я очень нуждался в перемене образа жизни, и когда один мой приятель, хозяин фермы в Куррумпо, пригласил меня приехать к нему и попробовать, не справлюсь ли я как-нибудь с этой разбойничьей стаей, я тотчас же принял приглашение.

В первые дни я много ездил верхом, чтобы познакомиться с местностью. Мой проводник по временам указывал мне на кости какой-нибудь коровы, еще покрытые остатками шкуры, и замечал при этом: «Вот его работа!»

Мне стало ясно, что среди этих холмов и ущелий нечего и думать преследовать Лобо с собаками и лошадьми. Единственными пригодными средствами поэтому оставались капканы и отрава.

Не стану вдаваться в подробности и описывать всевозможные способы и ухищрения, к которым я прибегал, чтобы перехитрить этого «волка-оборотня». Не было такой смеси стрихнина, мышьяка и цианистого калия, которую я не испробовал бы как отраву для Лобо. Не было ни одного сорта мяса, которое я не употреблял бы как приманку. Но каждый день, отправляясь утром узнать о результатах, я убеждался, что все мои усилия оказывались бесплодными. Старый волк был слишком хитер, и я не мог его перехитрить.

Достаточно привести один пример, чтобы доказать его удивительную сообразительность.

По совету одного старого охотника я растопил немного сыру вместе с почечным жиром только что убитой телки; сыр я варил в фарфоровой миске и резал костяным ножом, чтобы избежать металлического запаха. Когда смесь остыла, я разделил ее на куски и, сделав отверстие в каждом куске, вложил туда большую дозу стрихнина и цианистого калия, заключенных в капсулу, не пропускающую никакого запаха. Затем я закупорил дыры сыром. Во время этой работы я не снимал перчаток, смоченных в теплой крови телки, и даже старался не дышать на приманку. Когда все было готово, я положил приманку в мешок из сыромятной кожи, тоже весь вымазанный кровью, и поехал верхом, волоча за собой на веревке печень и почки телки. Я сделал круг в десять миль, бросая через каждые четверть мили по куску приманки, тщательно избегая при этом прикасаться к ней руками.

Лобо появлялся в этой местности в начале каждой недели, а остальное время проводил, по-видимому, где-нибудь около подножия Сьéрра Грáнде.

Дело было в понедельник, и в тот самый вечер, когда мы уже собирались уезжать, я услыхал басистый вой. Один из ковбоев коротко заметил:

— А, вот и он! Теперь посмотрим, что будет.

На следующее утро я с зарей отправился в путь, желая по-

скорее узнать результаты моей хитрости. Я быстро напал на следы стаи, которую вел Лобо — его след всегда можно было легко отличить, так как он был значительно крупнее следа обычного волка.

Волки скоро почуяли приманку, которую я волочил за собой. Я убедился, что Лобо подошел к первому куску, обнюхал его и в конце концов взял и проглотил.

Тут я не мог скрыть своей радости.

— Наконец-то он попался! — воскликнул я.— Скоро я увйжу его мертвым.

И я поскакал вперед, не сводя глаз с больших следов, оставленных его лапами в пыли. Они довели меня до того места, где я бросил вторую приманку, и я увидел, что она тоже исчезла.

Как я ликовал при этом!

Теперь он попался! И, вероятно, еще несколько других волков из его стаи.

Но широкий след его лап не исчезал с дороги, и хотя я поднимался на стременах и осматривал всю равнину, я нигде не мог разглядеть мертвого волка.

Я поехал дальше по его следу и увидел, что третья приманка тоже исчезла, а след вел дальше, к четвертой. И тут я убедился, что Лобо не проглотил ни одной из них, а только тащил их в своей пасти и затем, сложив в кучу, загрязнил их нечистотами, чтобы выразить свое полное презрение к моей хитрости. Сделав это, он свернул в другую сторону, уводя за собой стаю, которую оберегал так бдительно...

Я рассказал только один из многих подобных же случаев, убедивших меня, что с этим разбойником нельзя справиться посредством отравы. Я выписал капканы и, ожидая их прибытия, занялся истреблением койотов и других хищных обитателей прерий.

Однажды мне пришлось наблюдать еще один случай, доказавший поразительное лукавство Лобо. Волки его стаи нередко, ради одного только развлечения, распугивали и убивали овец, которых почти никогда не пожирали. Овец обыкновенно пасут стадами в несколько тысяч голов. На ночь их загоняют в защищенное место, где-нибудь по соседству, и с каждой стороны стада ночует пастух. Овцы настолько бестолковы, что малейший пустяк заставляет их бросаться куда попало, но все же у них существует твердо укоренившаяся привычка всегда следовать за своим вожаком. Пастухи используют эту привычку и пускают в овечье стадо несколько козлов. Овцы признают превосходство ума своих бородатых родичей и, если ночью возникает тревога, собираются вокруг козлов.

Однажды ночью, в конце ноября, два пастуха были разбужены нападением волков. Все стадо сбилось вокруг козлов, которые не

отличались ни тупостью, ни трусливостью и храбро оставались на месте. Но — увы! — этим нападением руководил не простой волк. Старый Лобо, «волк-оборотень», знал не хуже пастухов, что моральную силу стада составляют именно козлы, и поэтому, быстро проскочив по спинам тесно скучившихся овец, бросился на их вожаков и мгновенно покончил с ними. Злополучные овцы тотчас же разбежались во все стороны.

В течение многих недель после этого ко мне почти ежедневно обращался какой-нибудь встревоженный пастух:

— Не встречались ли вам где-нибудь заблудившиеся овцы с клеймом «ОТО»?

И почти всегда мне приходилось отвечать:

— Да, я наткнулся на пять или шесть овечьих трупов у Бриллиантового источника.

Или:

— Нет, я не видал, но Хуáн Мейер два дня назад видел около двадцати только что зарезанных волками овец на Кедровом холме.

Наконец прибыли волчьи капканы, и я проработал с двумя помощниками целую неделю, чтобы установить их. Мы не жалели трудов и усилий, и я прибегал ко всем уловкам, которые, как мне казалось, могли обеспечить успех. На следующий день после того, как были поставлены капканы, я поехал осматривать их и скоро напал на след Лобо, который вел от одного капкана к другому. По этим следам я прочел всю историю его ночных похождений.

Он рыскал в темноте и, хотя́ капканы были тщательно запрятаны, сразу же обнаружил первый из них. Остановив стаю, он начал старательно разгребать землю вокруг, пока не отрыл капкан, а также цепь и бревно. Затем он отправился дальше, проделывая то же самое с другими капканами. Вскоре я заметил, что он останавливался и сворачивал в сторону, как только подмечал на дороге что-нибудь подозрительное.

Тут мне пришел в голову новый план: я поставил капканы в виде буквы «Н», то есть расположил их в ряд с каждой стороны тропы, а один капкан поместил посередине, чтобы он служил перекладиной для этой буквы. Но мне пришлось долго ждать, чтобы убедиться в новой неудаче.

Лобо отправился по тропе и находился уже между двумя параллельными рядами капканов, когда заметил единственный капкан, спрятанный на самой тропе. Он остановился вовремя.

Как и почему он догадался, в чем дело, я не знаю. Во всяком случае, Лобо не свернул ни вправо, ни влево, а медленно и осторожно попятился, стараясь ставить каждую лапу на свой прежний след, пока не выбрался из опасного места. Затем, обойдя капканы с другой стороны, он стал скрести задними ногами камни и комья земли, пока не захлопнул все капканы.

То же самое он проделывал и во многих других случаях, и как

ни разнообразил я свои способы, он всегда уходил невредимым. Вероятно, он и до сих пор продолжал бы свои опустошения, если бы не злополучная привязанность, которая привела его к погибели и прибавила его имя к длинному списку героев, которые в одиночку были непобедимы и погибли лишь из-за неосторожности товарища, которому доверяли.

III

По некоторым признакам я заметил, что в стае Лобо происходит что-то странное. Например, временами следы показывали, что впереди старого вожака бежал другой небольшой волк. Для меня это было непонятно. Но как-то раз один из ковбоев сказал мне:

— Я видел их сегодня. Бежит впереди и своевольничает Бланка.

Тут мне стало все ясно, и я добавил:

— Значит, Бланка — действительно волчица, потому что с волком Лобо немедленно разделался бы за такую дерзость.

Это навело меня на новую мысль. Я зарезал телку и поставил около ее трупа два хорошо заметных капкана. Затем, отрубив голову, которая считается никуда не годной частью, недостойной внимания волков, я положил ее немного поодаль, а вокруг нее поставил, хорошо замаскировав, шесть мощных стальных капканов, выветренных так, что не оставалось никакого запаха. Во время этой работы мои руки, обувь и все инструменты были вымазаны свежей кровью. Я обрызгал кровью также и землю кругом, точно эта кровь вытекала из головы. Когда капканы были закопаны, я прикоснулся к песку над капканами шкурой койота, а его лапой наделал множество следов вокруг. Голову я положил так, что между нею и кустарником был лишь узкий проход. В этом проходе я поставил свои лучшие капканы, прикрепив их к самой голове.

Волки имеют привычку подходить к каждому трупу, который они почуяли, хотя бы у них и не было намерения съесть его; и я надеялся, что благодаря этой привычке стая Куррумпо попадется в мою ловушку. Я нисколько не сомневался, что Лобо откроет мою проделку с мясом и не допустит к нему стаю. Но я все же надеялся на голову, которая имела такой вид, точно она была отброшена в сторону как вещь совершенно бесполезная.

На следующее утро я прежде всего отправился осматривать капканы. И вот — о радость! — там были ясно видны следы волков, и место, где лежала голова с капканами, было пусто. Поспешно осмотрев следы, мы убедились, что Лобо действительно не пустил свою стаю к мясу, но один небольшой волк, очевидно,

подошел обнюхать голову, брошенную в стороне, и сразу попал в капкан.

Мы отправились по следу и через милю увидели, что этим злополучным волком была Бланка. Завидев нас, она бросилась бежать, и хотя ей страшно мешала тяжелая голова телки, она двигалась быстрее моего спутника, который шел пешком. Но мы все же настигли ее у скал, так как рога телки прочно зацепились за камни.

Никогда я еще не видал такой красивой волчицы, как Бланка. Ее ровная, густая шерсть была почти совершенно белого цвета.

Она повернулась, готовая вступить с нами в бой, и завыла. Это был протяжный, призывный вой. И вот с далекого холма донесся ответный вой старого Лобо. Но это был ее последний зов, потому что мы уже подбежали к волчице и ей были нужны все ее силы, чтобы защищаться.

Затем последовала неизбежная трагедия, воспоминание о которой не раз заставляло меня впоследствии содрогаться. Мы оба набросили по лассо на шею злополучной волчицы и погнали лошадей в противоположные стороны. У нее хлынула кровь из пасти, глаза остановились, лапы вытянулись и бессильно повисли. Мы отправились домой, увозя мертвую волчицу и радуясь, что нам удалось наконец нанести первый смертельный удар стае Лобо.

По временам мы слышали вой Лобо. Он бродил по холмам, должно быть, разыскивал Бланку. Он не хотел ее покинуть, но, понимая, что уже не в состоянии ее спасти, не мог преодолеть свой страх перед огнестрельным оружием.

Весь этот день мы слышали его жалобный вой, и я сказал одному из ковбоев:

— Теперь я уже не сомневаюсь, что Бланка действительно была его подругой.

К вечеру Лобо, очевидно, направился к нашему ущелью, так как его голос звучал все ближе и ближе. В этом голосе слышалось горе. Он выл не яростно, как прежде, а протяжно и жалобно. Он как будто звал свою подругу: «Бланка, Бланка!» В конце концов он, должно быть, напал на наш след и, когда достиг того места, где она была убита, издал душераздирающий жалобный вой. Раньше я никогда не думал, что мне так тяжело будет слушать его. Даже суровые ковбои удивлялись этому горестному вою.

Лобо прекрасно понял, что произошло, так как земля там была забрызгана кровью Бланки. По следам лошадей он дошел до самой фермы. Быть может, он надеялся найти там Бланку или хотел отомстить,— я не знаю. Но во всяком случае мщение ему удалось: он настиг за воротами нашу сторожевую собаку и разорвал ее на клочки в пятидесяти шагах от фермы. Очевидно, он приходил на этот раз один, потому что утром я нашел только его след. Судя

по этому следу, он метался вокруг фермы, совсем забыв про осторожность. Я рассчитывал на это и потому наставил по всему пастбищу множество добавочных капканов. Впоследствии я убедился, что Лобо попался в один из них, но он был так силен, что ему удалось вырваться из капкана.

Я предполагал, что Лобо будет рыскать по соседству, пока не найдет труп Бланки; поэтому я употребил все старания, чтобы захватить его, прежде чем он успокоится. Тут я понял, что сделал большую ошибку, умертвив Бланку,— воспользуйся я ею как живой приманкой, я захватил бы его в первую же ночь. Я собрал все капканы, какие только мог. У меня набралось сто тридцать крепких стальных волчьих капканов, и я расставил их по четыре на каждой тропе, ведущей к ущелью. Каждый капкан был отдельно прикреплен к бревну и каждое бревно отдельно засыпано землей. Зарывая их, я аккуратно снимал дерн и клал на брезент так, чтобы потом, когда дерн был положен на место и все было закончено, не оставалось никаких признаков человеческой деятельности.

Когда капканы были спрятаны, я проволок между ними труп бедной Бланки. Потом я отрезал одну из ее лап и проложил линию следов поверх каждого капкана. Я принял все предосторожности, прибегнул ко всем известным мне уловкам и наконец поздно вечером удалился. Ночью мне показалось, что я услыхал голос Лобо, но я не был в этом уверен. На следующий день я поехал верхом, но темнота наступила раньше, чем я успел объехать северное ущелье, и я вернулся ни с чем. За ужином один из ковбоев сказал:

— Сегодня утром скот в северном ущелье был чем-то встревожен. Уж не попался ли кто-нибудь в капкан?

Только на следующий день под вечер я наконец добрался до указанного места и, подъехав ближе, увидел, что какая-то большая серая тень поднялась с земли, напрасно пытаясь убежать. Передо мною стоял Лобо, гроза Куррумпо. Капканы крепко держали его. Бедный старый герой! Он не переставал искать свою любимую и, когда нашел след, проложенный ее телом, безрассудно бросился по этому следу и попал в ловушку. Четыре железных тиска держали четыре его лапы. Он лежал совершенно беспомощный, а множество следов вокруг указывали, что тут собирался скот, чтобы поглумиться над павшим деспотом, не решаясь, однако, приблизиться к нему.

Два дня и две ночи он пролежал там и теперь совсем обессилел. Тем не менее, когда я приблизился к нему, он поднялся, ощетинился и в последний раз потряс стены ущелья, издав громкий, протяжный вой, призывавший на помощь стаю. Но никто не откликнулся, не ответил ему, и, покинутый в час бедствия, он отчаянно рванулся, пытаясь броситься на меня. Все было напрасно! Каждый капкан весил более трехсот фунтов, и стальные

челюсти крепко держали все четыре лапы волка. Как скрежетали его огромные клыки, когда он хватал ими твердые цепи! А когда я попробовал прикоснуться к нему стволом ружья, он оставил на нем следы зубов, сохранившиеся и до сих пор. Его глаза потемнели от ненависти и злобы, и его челюсти глухо щелкали, когда он старался схватить зубами меня и мою дрожавшую от страха лошадь. Но он ослабел от голода и потери крови и скоро упал в изнеможении на землю.

Что-то вроде сожаления шевельнулось в моей душе, когда я собрался поступить с ним так, как он поступал с другими.

— Великий старый хищник, герой бесчисленного множества беззаконных набегов,— сказал я, обращаясь к нему,— через несколько минут ты превратишься в груду падали. Но иначе я не могу поступить.

Я взмахнул лассо, и оно просвистело над его головой. Но не тут-то было! Он далеко еще не покорился, и не успела гибкая петля упасть ему на шею, как он схватил ее зубами и сразу перекусил крепкие, толстые пряди и бросил их к своим ногам.

Конечно, у меня было ружье, но мне не хотелось портить его великолепную шкуру. Поэтому я поскакал назад в лагерь и вернулся с ковбоем и новым лассо. Мы бросили своей жертве кусок дерева, который он схватил зубами, и прежде чем Лобо успел выпустить его, наши лассо просвистели в воздухе и обвились вокруг его шеи. Но когда свирепые глаза Лобо начали тускнеть, я крикнул своему помощнику:

— Погоди, не будем убивать его! Возьмем его живьем и отвезем в лагерь.

Он настолько обессилел, что нам нетрудно было просунуть ему в пасть толстую палку позади клыков и обмотать челюсти толстой веревкой, привязанной к палке. Палка удерживала веревку, а веревка — палку, и, таким образом, он был совершенно безопасен для нас. Как только он почувствовал, что его челюсти крепко связаны, он уже больше не сопротивлялся и не издал ни одного звука, а лишь спокойно смотрел на нас, точно хотел сказать нам:

«Хорошо. Вы наконец одолели меня, так делайте со мной теперь что хотите!..»

И с этой минуты он уже больше не обращал на нас никакого внимания.

Мы крепко связали ему ноги, но он не издал при этом ни одного стона, ни разу не завыл и не повернул головы. Затем мы с большим трудом взвалили его на мою лошадь. Он дышал ровно и спокойно, как во сне, и глаза его снова стали ясными и блестящими. Но на нас они не смотрели. Взор его был устремлен вдаль, на холмы, по которым теперь разбрелась его знаменитая стая.

Мы не торопились и благополучно достигли фермы. Там,

надев на Лобо ошейник с крепкой цепью, мы привязали его на нашем пастбище и освободили от веревок.

Тут я в первый раз как следует рассмотрел его и убедился, как мало можно доверять сплетням о еще живых героях или тиранах. На шее Лобо не оказалось золотого ошейника, а на плечах — перевернутого креста, свидетельствовавшего о том, что он заключил союз с дьяволом. Зато я увидел у него на боку большой, широкий рубец, след, который Юно́на — вожак своры Теккерея — оставила за миг перед тем, как он бросил ее бездыханной на песок ущелья.

Я поставил перед волком воду и мясо, но он и не взглянул на них. Он лежал спокойно на животе, устремив пристальный взгляд желтых глаз мимо меня, ко входу в ущелье, и дальше, в прерию, где он царствовал. Он даже не шевельнулся, когда я дотронулся до него. И когда солнце зашло, он все еще продолжал пристально смотреть туда же, в прерию.

Я ждал, что ночью он станет призывать свою стаю, и даже приготовился к этой встрече. Но он уже однажды призывал ее в минуту отчаяния, и тогда никто не явился. Больше он не захотел звать.

Говорят, что лев, лишившийся своей силы, орел, потерявший свободу, и голубь, разлученный с подругой, умирают от разбитого сердца. И разве можно было думать, что сердце этого свирепого хищника вынесет тройное испытание? Он потерял и силу, и свободу, и подругу. Когда настало утро, он все еще лежал спокойно, точно отдыхал. Но он уже был мертв... Я снял цепь с его шеи. Один из ковбоев помог мне оттащить труп под навес, где лежали останки Бланки. Мы положили его рядом с ней, и ковбой проговорил:

— Ты все искал ее? Ну, так теперь вы снова вместе!

В У Л Л И

Ву́лли был маленькой желтой дворняжкой. Впрочем, желтая дворняжка необязательно должна иметь совершенно желтую шерсть. Дворняжки вовсе не составляют одной собачьей породы, на которую природа потратила слишком много желтой краски. В каждой дворняжке соединены все породы собак, так что она представляет союз всех собак, не принадлежа в то же время ни к одной из пород. В то же время всякая дворняжка принадлежит к более древней и лучшей породе, нежели все другие ее аристократические родичи, так как она представляет попытку природы восстановить первородного шакала — предка всего собачьего племени.

В самом деле, научное название шакала «Canis aureus» означает попросту: «желтая собака». И немало характерных черт этого животного встречается у собаки-дворняжки. Этот пес-плебей очень сметлив, деятелен, смел и несравненно лучше приспособлен к жизненной борьбе, нежели любой из его «чистопородных» сородичей.

Попробуйте покинуть на необитаемом острове борзую, бульдога и дворняжку. Которую из этих трех собак вы найдете спустя полгода живой и здоровой? Без сомнения, это будет презренная дворняжка. Она не так быстронога, как борзая, но зато не несет в себе зародыша легочных и накожных болезней. Она, конечно, не может сравниться по силе и безрассудной отваге с бульдогом, но у нее имеется нечто в тысячу раз более ценное — здравый смысл. Здоровье и ум — это качества, которые имеют немалое значение в жизненной борьбе, и когда собаки лишаются покровительства человека, они погибают все, за исключением дворняжек.

Иногда дворняжки бывают очень похожи на шакалов и рождаются с острыми, торчащими ушами. Остерегайтесь их! Такая собака бывает хитра и смела и может кусаться, как волк. В ней заложена странная дикость, которая под влиянием жестокого обращения или долгих лишений может сделать ее способной на самое свирепое предательство, несмотря на те прекрасные свойства, которые присущи собачьей породе и являются основой привязанности человека к собаке.

I

Далеко, в шотландских горах Чи́виот, родился маленький Вулли. Из всех щенят оставили только двоих: его брата, потому что он был похож на лучшего пса в околотке, и Вулли, потому что он был маленьким желтым красавчиком.

Свое раннее детство Вулли провел в обществе опытной шотландской овчарки, обучившей его своему ремеслу, и старого пастуха, почти не уступавшего по уму им обоим. Когда Вулли минуло два года, он уже стал совсем взрослым псом и хорошо изучил овец. Он знал в своем стаде каждого ягненка, и старый пастух Ро́бин, его хозяин, в конце концов стал так доверять его сметливости и благоразумию, что очень часто целыми ночами просиживал в трактире, предоставляя Вулли стеречь на холмах глупых косматых овец. Вулли получил разумное воспитание и был очень способным щенком, которому предстояло блестящее будущее. И все же он не чувствовал ни малейшего презрения к пустоголовому Робину. Этот старый пастух, со всеми своими недостатками и склонностью к пьянству, редко бывал жесток с Вулли. И Вулли питал к нему глубокую привязанность, которой напрасно стал бы добиваться самый великий и самый мудрый человек в стране.

Вулли не мог представить себе более великого человека, чем Робин, а между тем и умственными и физическими силами Робина за пять шиллингов в неделю владел не очень крупный скотопромышленник, настоящий хозяин стада, которое стерег Вулли.

И когда по приказанию этого человека — ничтожества даже по сравнению с местным помещиком — Робин погнал триста семьдесят четыре овцы в Йо́ркшир на ярмарку, среди этих трехсот семидесяти пяти живых существ Вулли был самым интересным и самым сметливым.

Путешествие по Нортумберле́нду прошло без всяких приключений. Через реку Тайн овец перевезли на пароме и благополучно высадили в дымном городе Са́ут-Шилдс. Огромные фабричные трубы только-только начали изрыгать клубы густого черного дыма, затемняющего дневной свет и низко висящего над улицами, словно грозовая туча. Овцам показалось, что скоро разразится буря, они перетрусили и, несмотря на все усилия сторожей, разбежались по городу в трехстах семидесяти четырех различных направлениях.

Робин был возмущен до глубины своей ничтожной душонки. Он тупо смотрел вслед овцам, а затем отдал приказ:

— Вулли, собери-ка их!

Сделав это умственное усилие, он уже больше ни о чем не заботился, закурил свою трубку, сел и принялся вязать недоконченный носок.

Вулли чтил Робина, как божество. Он бегал по тремстам семи-

десяти четырем различным направлениям, настиг и привел обратно триста семьдесят четыре беглянки к домику у парома, прежде чем Робин успел довязать свой носок. В конце концов Вулли, а не Робин подал знак, что все овцы собраны. Старый пастух начал их пересчитывать: 370, 371, 372, 373...

— Вулли,— укоризненно сказал он собаке,— тут не все! Одной не хватает. Ищи еще!

И Вулли, страшно сконфуженный, побежал искать недостающую овцу по всему городу.

Вскоре какой-то маленький мальчик указал Робину на его ошибку: все триста семьдесят четыре овцы были налицо. Старик растерялся. Что же делать теперь? Ему было приказано спешить в Йоркшир, а между тем он знал, что гордость не позволит Вулли вернуться к нему без овцы, уж скорее он украдет где-нибудь чужую овцу.

Нечто подобное случалось и прежде и приводило к разным неприятным осложнениям.

Робин был в большом затруднении. Как ему быть? Ведь он, чего доброго, лишится пяти шиллингов в неделю! Правда, Вулли — превосходный пес и терять его очень жалко, но приказание хозяина должно быть исполнено. А кроме того, если Вулли украдет овцу для пополнения своего стада, что же будет тогда с Робином на чужой-то стороне?

Эти размышления привели к тому, что Робин решил покинуть Вулли и продолжать путь с овцами. Благополучно ли он совершил свое путешествие, неизвестно, да и не представляет интереса.

Между тем Вулли обегал все улицы, напрасно разыскивая пропавшую овцу. Он искал весь день, а к ночи, голодный и усталый, с виноватым видом приплелся обратно к переправе и там увидел, что и хозяин и овцы исчезли.

Его горе было так велико, что просто жалко было на него смотреть. Он с жалобным визгом бегал взад и вперед, потом переправился на пароме на другую сторону и всюду искал Робина. Затем он вернулся в Саут-Шилдс и продолжал свои поиски даже ночью. Весь следующий день он искал Робина и несколько раз переправлялся на пароме взад и вперед. Он осматривал и обнюхивал каждого, кто приходил к парому, и с удивительной сметливостью заглядывал во все окрестные кабаки, рассчитывая найти Робина где-нибудь там. И на следующий день он делал это вновь, систематически обнюхивая каждого, кто подходил к парому.

Этот паром совершал пятьдесят рейсов в день и в среднем перевозил по сотне человек, но Вулли всякий раз стоял у сходней и обнюхивал каждую пару ног, ступающих на землю. В этот день он исследовал не менее пяти тысяч пар, или десяти тысяч пар, или десяти тысяч ног. Так продолжалось и на второй день, и на третий, и всю неделю. Он постоянно оставался на своем посту,

забывая даже о еде. Но скоро голод и усталость дали себя почувствовать. Он исхудал и сделался очень раздражителен, так что малейшая попытка помешать ему в его ежедневном занятии — обнюхивании ног — приводила его в исступление.

День за днем, неделя за неделей Вулли ждал и высматривал своего хозяина, который все не возвращался. Паромщики прониклись уважением к его верности. Вначале он с презрением относился к предлагаемой ему пище и приюту, и никто не знал, чем он питается, но в конце концов голод все же заставил его принимать подачки. Ожесточенный против всего мира, он оставался верным своему хозяину.

Я познакомился с Вулли четырнадцать месяцев спустя. Он все еще упорно караулил у парома. Но он уже поправился и пополнел. Его умная морда с блестящими глазами, острые уши невольно привлекали внимание. Едва он убедился, что мои ноги не те, которые ему нужны, как утратил ко мне всякий интерес, и как я ни старался в течение следующих десяти месяцев завести с ним дружбу, я не мог ничего добиться. Для него я значил не больше, чем всякий другой прохожий. Вот так этот преданный пес провел у парома целых два года. Он не возвращался в родные горы не потому, что боялся заблудиться или же расстояние казалось ему слишком далеким,— нет, он не уходил от парома, убежденный, что его хозяин, божественный Робин, желал, чтобы он там оставался! Ну вот он и остался.

Однако он переезжал на пароме на другой берег всякий раз, когда ему казалось, что это может помочь в его поисках. За переправу собаки обычно взимался один пенни, и когда Вулли наконец прекратил свои поиски, паромщики высчитали, что он успел задолжать компании несколько сот фунтов.

Вулли не пропустил ни одного пассажира, вступившего на сходни. В общем, около шести миллионов ног было исследовано этим удивительным экспертом. И все понапрасну. Однако его непоколебимая верность оставалась прежней, хотя нрав его, несомненно, испортился под влиянием такого долгого ожидания.

Мы так и не узнали, что сталось с Робином. Но однажды к парому спустился коренастый гуртовщик. Обнюхивая по привычке очередного незнакомца, Вулли внезапно подскочил. Шерсть на нем встала дыбом, и он задрожал. Затем он тихо зарычал, устремив на гуртовщика пристальный взгляд.

Не понимая, в чем дело, один из паромщиков крикнул ему:

— Слушай, эй ты, не обижай нашу собаку!

— Да кто же ее обижает, дуралей? Она сама скорее обидит меня.

Но дальнейших объяснений не потребовалось. Поведение Вулли сразу изменилось. Он стал подобострастно ласкаться к

незнакомцу, усиленно виляя хвостом, чего не случалось с ним ни разу за все эти годы.

Все объяснилось в нескольких словах: гуртовщик Дорли был раньше знаком с Робином, шарф и рукавицы, которые он носил, были связаны Робином и прежде их носил сам старик. Вулли почуял это и, отчаявшись в возможности когда-нибудь увидеть его самого, покинул свой пост у парома и решил следовать за владельцем рукавиц.

Дорли был очень доволен и охотно взял с собой Вулли в горы Дербишира, где Вулли снова вернулся к своим прежним обязанностям: стал стеречь стадо овец.

II

Монсалдэл — одна из известнейших долин Дербишира. Единственный, но знаменитый трактир в этой местности назывался «Свинья и свисток», и хозяином его был Джо Греторекс, крепкий смышленый йоркширец. Природа предназначала его в покорители необжитых земель, но жизнь сделала из него трактирщика. Однако врожденные наклонности заставляли его... Ну, да это неважно! Достаточно будет сказать, что в этой округе незаконная охота была очень развита.

На восточном склоне долины, как раз над трактиром Джо, жил теперь Вулли, и это обстоятельство сыграло свою роль, когда я решил побывать в Монсалдэле. Дорли, новый хозяин Вулли, имел в долине небольшое поле. На лугах паслись его многочисленные овцы. Вулли стерег их так же бдительно, как и свое прежнее стадо, наблюдая за ними, когда они паслись, и загоняя их на ночь в овчарню. Он был необщительный, угрюмый пес и охотно оскаливал зубы при виде чужих. Но стадо оберегал так внимательно, что Дорли не потерял за год ни одного ягненка, хотя соседние фермеры, как обычно, сильно страдали от орлов и лисиц.

В этой местности трудно устраивать охоту на лисиц с гончими. Гряды скал, высокие каменные изгороди и пропасти мешают скакать за сворой, а в скалах у лисиц столько надежных убежищ, что остается только удивляться, почему они не расплодились в Монсалдэле в еще большем количестве.

Впрочем, на лисиц не жаловались до 1881 года. Но тут одна старая, хитрая лисица поселилась вблизи тучных пастбищ, точно мышь внутри сыра. Она насмехалась над гончими охотников и над собаками фермеров.

Во время охоты свора не раз гналась за этой лисицей, но она всегда спасалась в Чертовой Дыре. Добравшись до этого ущелья, где расселины в скалах тянутся на целые мили, лисица была в полной безопасности. Окрестные фермеры вскоре решили, что

Чертова Дыра полюбилась ей недаром, и когда одна из гончих, чуть было не поймавшая эту лисицу у входа в ущелье, через неделю взбесилась, никто уже не сомневался, что эта лисица — родная сестра черта.

Между тем лисица продолжала красть ягнят, производя чрезвычайно смелые набеги. Часто она находилась на волосок от смерти, но всякий раз спасалась. В конце концов, как это часто делают многие старые лисицы, она стала убивать просто из любви к искусству.

Фермер Ди́гби потерял десять ягнят за одну только ночь, Каро́лл потерял семь на следующую ночь, а затем был опустошен утиный пруд священника. Словом, редкая ночь проходила без того, чтобы кто-нибудь в околотке не пожаловался на гибель птиц, овец и даже телят.

Все эти убийства приписывались лисице из Чертовой Дыры. Об этой лисице знали только, что она очень велика, так как оставляет большие следы. Никому из охотников, однако, не удавалось хорошенько рассмотреть ее. Лучшие собаки в своре, Гром и Звонок, отказывались подать голос, найдя ее след, и ни за что не соглашались бежать по этому следу.

Когда же пошел слух, что эта лисица — бешеная, начальник местной охоты стал избегать долины Монсалдэл. А фермеры, собравшись под предводительством Джо, решили дождаться зимы и, когда выпадет снег, сообща разделаться с этой проклятой лисицей, не обращая внимания ни на какие правила.

Но снег все не выпадал, и рыжая разбойница продолжала свой прежний образ жизни. Работала она, несмотря на бешенство, аккуратно и хитро. Она никогда не посещала две ночи кряду одну и ту же ферму. Она никогда не съедала ничего на том месте, где совершала убийство, и никогда не оставляла следа, который мог бы выдать ее отступление. Обыкновенно он обрывался где-нибудь в сухой траве или на проезжей дороге.

Я, впрочем, однажды видел ее. Я возвращался в Монсалдэл из Бэ́куэлла поздно вечером во время сильной бури. Когда я огибал овечий загон Стэ́да, вдруг сверкнула молния, и в ярком мгновенном свете я увидал картину, которую запомнил навсегда. У дороги, в двадцати шагах от меня, сидела на задних лапах огромная лисица, устремив на меня злобный взгляд, и как-то подозрительно облизывалась. Больше я ничего не видел и, вероятно, забыл бы об этом происшествии или решил бы, что лисица мне почудилась, но на следующее утро в этом загоне нашли двадцать три трупа ягнят и овец.

Только один человек не страдал от набегов хищника: это был Дорли. Он жил всего в одной миле от Чертовой Дыры, и все же лисица не трогала его овец. Верный Вулли доказал, что он стоит всех собак околотка. Каждый вечер он пригонял овец, и все они

были налицо. Не пропала ни одна из них. Бешеная лисица могла бродить сколько угодно около фермы Дорли — Вулли, смелый, умный, проворный, был ей достойным противником и не только сохранял в целости стадо своего хозяина, но и сам оставался цел и невредим.

Вулли все уважали, и он мог бы стать всеобщим любимцем, если бы не его строптивый нрав. Он никогда не отличался веселым характером, но теперь становился все угрюмее и угрюмее. Пес как будто привязался к Дорли и к его старшей дочери, Гу́льде, красивой, веселой девушке, которая вела хозяйство и кормила собаку. Других членов семьи Вулли только терпел, а весь остальной мир — и людей и собак — ненавидел.

Однажды я проходил по тропинке через пустошь позади дома Дорли. Вулли лежал на пороге. Когда я подошел ближе, он встал и, не подавая виду, что заметил меня, вышел на тропинку и остановился поперек ее в десяти шагах от меня. Он стоял неподвижно, пристально всматриваясь в даль, и только его слегка ощетинившийся загривок указывал, что это живая собака, а не каменное изваяние. Он не пошевелился, когда я поравнялся с ним. Не желая с ним связываться, я обошел его и продолжал идти дальше. Тогда Вулли ожил. Все так же сохраняя жуткое молчание, он пробежал около двадцати шагов и снова стал мне поперек дороги. Я еще раз поравнялся с ним и, снова ступив на траву, прошел мимо его носа. Не издав ни единого звука, он схватил меня за левую пятку. Я хотел ударить его другой ногой, но он увернулся. Не имея с собой палки, я схватил большой камень и запустил в него.

Камень попал ему в бедро и свалил его в канаву. Падая, Вулли злобно зарычал, но, выкарабкавшись из канавы, молча заковылял прочь.

Но как ни был угрюм и свиреп Вулли для всего́ мира, к овцам Дорли, которых он оберегал, он относился очень ласково. Много ходило рассказов о его подвигах: как он спасал ягнят, свалившихся в яму или болото, где они без него неминуемо погибли бы, как он зорко высматривал орлов и с неколебимым мужеством отгонял их от стада.

III

Монсалдэлские фермы все еще продолжали платить дань бешеной лисице каждую ночь, когда выпал наконец снег. Бедная вдова Джелт лишилась всего своего стада в двадцать овец, и на следующее утро, на рассвете, все население деревни отправилось на разведку. Широкоплечие фермеры, в открытую неся ружья, пошли по лисьим следам, найденным на снегу,— большим следам, несомненно принадлежавшим свирепому убийце.

Вначале след был ясно виден, но у реки лисица проявила всегдашнюю хитрость: она спустилась к воде под острым углом, вниз по течению, и соскочила в незамерзшую быстрину. На другой стороне не было видно никаких следов, и только после долгих поисков охотникам удалось наконец найти то место, где лисица вышла из воды. Отсюда след привел их к высокой каменной ограде, где не было снега. Однако упрямые охотники не хотели прекратить поиски. Когда след пересек полосу снега между оградой и большой дорогой, мнения охотников разделились: одни уверяли, что след ведет вверх по дороге, а другие — что, наоборот, вниз. Но Джо примирил спорщиков, и после новых долгих поисков охотники набрели, по-видимому, на тот же самый след, хотя, по мнению некоторых, он был крупнее. Этот след привел их от дороги к овечьему загону, все обитатели которого были целы и невредимы. Оттуда хитрый зверь, ступая по следам какого-то прохожего, выбрался на проселок и направился по нему прямо к ферме Дорли.

В этот день овцы оставались дома из-за снега, и Вулли, свободный от работы, лежал на досках, греясь на солнышке. Когда охотники подошли к дому, он злобно зарычал и побежал к овцам.

Джо Греторекс пошел за ним. Взглянув на следы, оставленные собакой, он остолбенел. Потом, указав на удалявшегося пса, крикнул:

— Друзья, мы думали, что идем по следу лисицы! А ведь это вот кто загрыз овец вдовы!

Некоторые из охотников согласились с Джо, другие же, вспомнив сомнения, вызванные следами на дороге, предлагали вернуться, чтобы разобраться во всем как следует.

В это время из дома вышел сам Дорли.

— Том,— сказал ему Джо Греторекс,— твой пес загрыз прошлой ночью двадцать овец у вдовы Джелт, и я думаю, что он не первый раз проделывает такие вещи.

— Слушай, приятель,— возразил Том Дорли,— да ты, видно, спятил! Никогда у меня не бывало лучшего сторожа овец, чем Вулли. Овцы для него — как родные дети.

— Как бы не так! Мы-то видели, что он сделал со своими детьми у вдовы Джелт! — заметил Джо.

Напрасно охотники старались убедить Дорли, рассказывая ему о своих утренних розысках. Он не хотел ничему верить и утверждал, что они придумали все это из зависти, чтобы отнять у него Вулли.

— Вулли спит на кухне каждую ночь,— говорил он,— и его выпускают только, чтобы сторожить овец. Ведь он живет с овцами круглый год, и мы еще не потеряли ни одной за все это время. Понимаешь, приятель?

Том Дорли очень взволновался, видя во всем этом лишь по-

кушение на жизнь и доброе имя Вулли. Джо и его сторонники тоже разгорячились, и спор прекратился лишь благодаря вмешательству Гульды.

— Отец,— сказала она,— что, если я сегодня лягу спать на кухне? Если Вулли улизнет, я это увижу. Если же он не выйдет ночью, а овцы у соседей окажутся убитыми, то, значит, Вулли тут ни при чем.

Гульда так и сделала. Она устроилась в кухне, на скамье, а Вулли улегся, как обычно, под кухонным столом. Через некоторое время Вулли забеспокоился. Он ворочался на своей подстилке, раза два вставал, потягивался и, посмотрев на Гульду, снова укладывался.

К двум часам ночи Вулли, по-видимому, был уже не в силах больше противиться какому-то необъяснимому внутреннему побуждению. Он тихо встал, посмотрел на низенькое окно, а затем на лежащую неподвижно молодую девушку. Гульда дышала ровно и спокойно, будто спала. Вулли подошел ближе, понюхал ее и дунул ей в лицо. Но она не пошевелилась. Тогда он тихонько толкнул ее носом, а затем, насторожив уши и склонив голову набок, стал внимательно всматриваться в ее спокойное лицо.

Гульда не двигалась. Тогда Вулли бесшумно подкрался к окну, уперся носом в перекладину легкой рамы и приподнял ее настолько, чтобы можно было просунуть под нее лапу. Затем он носом поднял раму и протиснулся наружу. Опуская раму, он придерживал ее спиной и хвостом с ловкостью, говорившей, что он проделывает это не в первый раз. Очутившись за окном, Вулли исчез в темноте.

Гульда с величайшим изумлением незаметно следила за ним. Подождав немного и убедившись, что он в самом деле убежал, Гульда встала и хотела тотчас же позвать отца. Но, подумав, решила подождать и посмотреть, что будет дальше. Она пристально всматривалась в ночную темноту, но Вулли нигде не было видно.

Подложив дров в печь, она опять легла на скамью. Так пролежала она без сна более часа, вздрагивая при всяком шорохе и прислушиваясь к тиканью кухонных часов.

Она с недоумением думала о собаке: неужели Вулли действительно загрыз овец вдовы?

И недоумение ее еще возросло, когда она вспомнила, как заботливо и ласково Вулли обращался с их собственными овцами.

Прошел еще час.

Гульда услыхала за окном шорох, и сердце ее сильно забилось.

Опять поднялась оконница, и через минуту Вулли снова очутился в кухне, опустив за собой окно.

При мерцающем свете горящих дров Гульда заметила какой-то странный, дикий блеск в его глазах и увидела, что его морда и

белоснежная грудь обрызганы свежей кровью. Он несколько запыхался, но, сдерживая дыхание, стал всматриваться в девушку. Она не шевелилась. Тогда, успокоенный, он лег и стал облизывать себе морду и лапы, тихонько ворча, точно вспоминая какое-то недавнее происшествие.

У Гульды уже не оставалось никаких сомнений, что Джо Греторекс был прав. И тут новая мысль пришла ей в голову. Она внезапно поняла, что странная, заколдованная лисица Монсалдэла находится тут, перед нею!

Быстро поднявшись на ноги, она взглянула Вулли в глаза и воскликнула:

— Вулли! Вулли! Значит, это правда?.. О, Вулли, какой ты свирепый зверь!..

Ее голос разнесся по кухне, точно удар грома. Вулли отшатнулся, словно подстреленный. Он бросил отчаянный взгляд на закрытое окно. Его глаза сверкнули и шерсть встала дыбом, но он припал к полу и пополз к девушке, точно моля о пощаде.

Он медленно подползал к ней все ближе и ближе, точно собирался лизать ее ноги, но, приблизившись вплотную, внезапно с яростью тигра, не издав ни единого звука, бросился на нее, пытаясь схватить за горло.

Гульда успела только поднять руку, чтобы защитить горло, и длинные блестящие клыки Вулли вонзились в локоть и коснулись кости.

— Помогите! Помогите!.. Отец! Отец!..— закричала она.

Вулли был легок, и ей удалось на миг отбросить его. Но сомневаться в его намерении было нечего: он понял, что проиграл; за этот проигрыш либо он, либо девушка заплатят жизнью.

— Отец! Отец! — звала она, а желтый разъяренный зверь, стремясь умертвить ее, кусал и рвал зубами беззащитные руки, столько раз кормившие его...

Девушка напрасно силилась избавиться от пса. И он, конечно, скоро вонзил бы зубы ей в горло, если бы в эту минуту не вбежал в кухню ее отец.

Вулли бросился прямо на него, сохраняя все то же страшное молчание.

Он неистово рвал и грыз его руки, пока смертельный удар топора не сбросил его на каменный пол, где он, задыхаясь и корчась в предсмертных муках, все еще пытался приподняться, чтобы продолжать безнадежную борьбу.

Новый быстрый удар топора раскроил ему череп, и мозг его разлетелся по камням очага — того самого, которому он так долго и честно служил. И Вулли — умный, свирепый, верный, коварный — задрожал, вытянулся и затих навсегда...

КРАСНОШЕЙКА

I

Мать-куропатка привела своих птенцов к подножию лесистого Тейлорского холма, туда, где протекал ручей с кристальной водой. Ручей этот, по какому-то странному капризу людей, назывался Илистый. К нему-то куропатка и повела пить в первый раз своих птенцов, которые вылупились только накануне, но уже твердо держались на маленьких ножках.

Она двигалась медленно, припадая к земле, так как лес был полон врагов, и по временам тихо кудахтала, призывая птенцов, похожих на маленькие шарики пестрого пуха. Птенцы, переваливаясь на тоненьких красных ножках, нежно и жалобно пищали, если отставали хотя бы на несколько дюймов от матери.

Они были такими хрупкими, эти птенчики, что даже кузнечики казались неуклюжими и большими по сравнению с ними.

Их было двенадцать, но мать-куропатка зорко следила за каждым из них и оглядывала каждый куст, каждое дерево, заросли и даже небо. Она, по-видимому, всюду высматривала врагов, потому что друзей было слишком мало. И одного врага ей удалось обнаружить.

По ровной зеленой поляне пробирался большой зверь — лиса. Этот зверь направлялся прямо к ним и через несколько секунд должен был наверняка почуять птенцов и напасть на их след. Времени терять было нельзя.

«Крр, крр!» («Прячьтесь, прячьтесь!»)— крикнула мать твердым, но тихим голосом, и маленькие птенчики, величиной чуть-чуть побольше желудя и имеющие всего только один день от роду, разбежались в разные стороны (на целых пять-шесть дюймов!) и попрятались. Один птенчик залез под листок, другой притаился между двумя корнями, третий забрался в свернутую бересту, четвертый прыгнул в ямку. Скоро все спрятались, кроме одного, который не мог найти для себя подходящего укрытия и, прижавшись к большой желтой щепке, лежал на ней совсем распластав-

шись, закрыв глазки и уверенный, что теперь-то ему уже не грозит никакая опасность.

Птенцы перестали испуганно пищать, и все затихло.

Мать-куропатка полетела прямо навстречу страшному зверю, смело опустилась на землю всего в нескольких шагах от него и захлопала крыльями, как будто была ранена и уже не могла подняться. Она громко и жалобно пищала. Быть может, она просила пощады — пощады у этой кровожадной свирепой лисицы?

О нет! Куропатка была не так глупа. Мы часто слышим о хитрости лисицы. Так вот подождите, и вы увидите, как глупа лиса по сравнению с матерью-куропаткой.

Обрадовавшись, что́ добыча внезапно очутилась так близко, лисица прыгнула и схватила... Нет, она ничего не схватила — охромевшая куропатка каким-то чудом отскочила чуть дальше, чем рассчитала лиса, отодвинулась дальше. Лиса опять прыгнула и на этот раз, конечно, достала бы птицу, если бы не деревце, вдруг очутившееся между ними.

Куропатка неловко заковыляла дальше под бревно, но лисица, щелкнув челюстями, прыгнула через него. Тогда птица, как будто немного оправившись, сделала неуклюжую попытку полететь и покатилась вниз с пригорка. Лисица кинулась за ней и уже почти схватила ее за хвост, но промахнулась. Как ни быстро прыгала лисица, а птица двигалась еще быстрее.

Это было уже совсем необычайно. Как это быстроногая лисица не могла поймать раненую куропатку? Какой позор для лисицы!

Но у куропатки как будто прибавлялось сил по мере того, как лиса начинала уставать. Отведя врага на четверть мили от Онейло́рского холма, куропатка вдруг стала совсем здоровой и, решительно взмахнув крыльями, полетела через лес, оставив лисицу в дураках. А самое досадное было то, что лисица вспомнила, что она уже так попадалась прежде.

Между тем мать-куропатка, описав большой круг в воздухе, опустилась на землю в том самом месте в лесу, где укрывались ее маленькие пуховые шарики.

Дикие птицы обладают чрезвычайно острой памятью местности, и потому мать-куропатка опустилась как раз на ту самую кочку, поросшую травой, с которой вспорхнула, чтобы полететь навстречу лисице. Она постояла мгновение, восхищаясь, как тихо, не шелохнувшись, сидят ее дети. Ее шаги не заставили пошевелиться ни одного из них, даже того малютку, который притаился на щепке. В сущности, он не так уж плохо спрятался. Но вот раздался голос матери: «Криит!» («Идите сюда, дети!») — и моментально, точно по волшебству, из всех тайников вылезли маленькие птенцы-куропатки, и крошка на щепке, самый крупный из птенцов, открыл свои глазки и побежал с нежным писком «Пиип, пиип!» под защиту широкого материнского хвоста. Его голосок,

конечно, враг не услышал бы и в трех шагах, но мать услышала бы его, даже если бы расстояние было втрое больше. Все остальные тоже подняли писк и, без сомнения, воображали, что страшно шумят. Они были счастливы.

Солнце стояло высоко и сильно припекало. Чтобы добраться до воды, надо было пройти открытую поляну. И вот, посмотрев хорошенько, нет ли поблизости врагов, мать-куропатка собрала малюток под тень своего распущенного веером хвоста и повела их, защищая от солнечного жара, к зарослям шиповника на берегу ручья.

Из зарослей выскочил кролик и очень напугал куропатку. Но белый флаг мира, который он нес позади, скоро успокоил ее: кролик был старым приятелем. И малютки научились в этот день, что не надо бояться кролика. Они узнали, что кролик больше всего на свете любит мир.

А затем они стали пить кристально чистую воду ручья, который глупые люди почему-то назвали Илистым.

Сначала малютки не знали, что надо делать, чтобы напиться, но они стали подражать своей матери и скоро научились пить так же, как она, и кланяться после каждого маленького глотка. Они стояли в ряд вдоль берега ручья, эти двенадцать маленьких золотисто-коричневых шариков на двадцати четырех крохотных розовых ножках, и кивали двенадцатью маленькими золотыми головками, точно благодарили кого-то.

Затем мать-куропатка повела их короткими перегонами, держась все время под прикрытием, к дальнему краю поляны, где возвышался большой бугор. Она приметила этот бугор уже давно. Такие бугры необходимы куропаткам для того, чтобы вырастить своих птенцов. Это муравейники.

Мать-куропатка взобралась на верхушку муравейника, осмотрелась и, не заметив ничего подозрительного, стала разрывать его своими когтями. Вскоре муравейник был вскрыт, и на траву посыпались останки земляных галерей. Муравьи постепенно выбирались наружу и, очевидно не сообразив, что им надо делать, начали ссориться между собой. Большинство растерянно металось вокруг муравейника, и лишь немногие, наиболее сообразительные, начали выносить наружу толстые белые муравьиные яйца. Но мать-куропатка тут как тут — схватила одно из этих сочных яичек и, клохча, бросила его на травку перед своими птенцами. Затем с новым клохтаньем опять подняла его и проглотила.

Малютки окружили мать и смотрели на нее с любопытством. Наконец маленький желтый птенчик, тот самый, который спрятался на щепке, схватил муравьиное яичко. Он несколько раз ронял его и затем, словно повинуясь какому-то внезапному побуждению, проглотил. Так он научился есть. Минут через двадцать уже весь выводок умел есть.

Как весело было разыскивать в земле превосходные муравьиные яйца, пока мать-куропатка разрывала муравейник и сбрасывала вниз подземные галереи со всем их содержимым! Так продолжалось до тех пор, пока каждый птенчик не набил свой зобик до отказа и уже больше не в состоянии был есть.

Потом все осторожно отправились вверх по течению ручья, на маленький пляж, хорошо закрытый кустами терновника. Там они пробыли весь день, наслаждаясь прохладным песком, в который они погружали свои горячие маленькие лапки.

Следуя врожденной наклонности к подражанию, они лежали на боку, совсем как их мать, и так же скребли своими тонкими ножками и хлопали своими крылышками, хотя крыльев у них еще не было, а были только бугорки с каждого бока, указывающие место, где вырастут крылья.

В эту ночь мать отвела их в чащу засохшего кустарника, и там, среди хрустящих, сухих листьев, по которым никакой враг не мог бы подойти бесшумно, под густым сплетением ветвей шиповника, которые защищали от всех воздушных врагов, она уложила детей в мягкую колыбель под своими крыльями, радуясь на малюток, которые попискивали во сне и так доверчиво прижимались к ее теплому телу.

II

На третий день птенцы крепче держались на ногах. Им уже не нужно было обходить желудь, они могли даже влезать на сосновые шишки, а маленькие бугорки, где потом будут крылья, покрылись уже синими толстыми кровяными выпуклостями.

Еще через день из кровяных наростов сбоку выступили кончики перьев. Эти перья с каждым днем высовывались наружу все больше и больше, и через неделю уже у всех пушистых птенчиков имелись крепкие крылья. Впрочем, нет, не у всех. Бедный малютка Ру́нти с самого начала был очень слаб. Он целый час носил на спинке половину скорлупы, когда вылупился из яйца. Он бегал тише и пищал больше своих братьев, и когда однажды вечером мать, увидев скунса, приказала детям: «Квит, квит!», что значит «летите», Рунти остался на земле.

А когда она потом собрала свой выводок на холме, Рунти не пришел, и они уже больше его не видели.

Между тем воспитание птенцов шло своим чередом. Они узнали, что самые лучшие кузнечики водятся в высокой траве у ручья. Они узнали, что с кустов смородины падают жирные, мягкие зеленые червяки. Они узнали, что муравейники по краям поляны полны вкусных яиц. Они узнали, что ягоды земляники, хоть и не похожи на насекомых, однако почти так же вкусны. Они узнали,

что большие бабочки данаиды — прекрасная дичь, хотя их не так просто поймать, и что кусок коры, свалившийся с гнилого бревна, заключает в себе много разных хороших вещей. Они узнали, кроме того, что ос, мохнатых гусениц и сороконожек лучше не трогать.

Наступил июль — «месяц Ягод». Птенцы выросли и удивительно развились за последний месяц. Они были уже настолько велики, что мать-куропатка, чтобы укрыть их своими крыльями, должна была простаивать на ногах всю ночь.

Они ежедневно купались в песке — сначала на берегу ручья, а потом выше, на холме. Там купались многие птицы, и сначала куропатка-мать была этим недовольна. Но песок там был такой мелкий и приятный и дети бежали туда брать ванну с такой охотой, что она смирилась.

Через две недели малютки начали чахнуть, да и сама куропатка-мать чувствовала себя не совсем хорошо. Их терзал мучительный голод. И хотя ели они страшно много, они все больше и больше худели. Мать их заболела позднее, но зато болела тяжелее. Она страдала от голода, от головной боли и испытывала страшную слабость. Причины своей болезни она так и не узнала. Она не могла знать, что песок, в котором купалось столько разных птичек и от которого вначале ее предостерегал верный инстинкт, действительно был вреден. Он кишел червями-паразитами, и вся семья куропатки заразилась ими.

Мать-куропатка не имела ни малейшего представления о том, как лечат болезни, но неясная потребность — она сама не знала в чем — заставляла ее есть все, что казалось годным для еды, а также искать самой прохладной тени в лесу. Там она набрела на куст, покрытый ядовитыми плодами. Месяц назад она прошла бы мимо этого куста, но теперь она попробовала эти малопривлекательные ягоды. Их едкий, кислый сок как будто удовлетворял эту странную потребность ее организма. Она ела ягоды без конца, и все птенцы последовали ее примеру. Никакой доктор не мог бы ей прописать лучшего лекарства. Едкий сок этих ягод оказался сильным слабительным, и страшный тайный враг был таким путем удален из ее внутренностей. Опасность миновала. Однако не все были спасены. Четыре птенца, слишком ослабевшие, не вынесли лекарства. Мучимые жаждой, они беспрестанно пили воду из ручья и на следующее утро умерли. Но их смерть явилась карой скунсу, тому самому, который мог бы рассказать, куда девался их бедный маленький братец Рунти. Он съел их тела и вскоре околел от действия яда, который они проглотили.

Теперь на зов матери откликалось семь птенцов. И у каждого был характер. Самые слабые уже погибли, но в выводке был один лентяй и один глупый птенец. Мать-куропатка не могла удержаться, чтобы не баловать одних больше, чем других. Ее любимцем был самый большой птенец, который когда-то спрятался на

желтой щепке. Он был не только самый большой, но и самый сильный и самый красивый из всех. Но что лучше всего — он был самый послушный. Материнское «рррр!» («опасность!»), которым она предостерегала своих птенцов, не всегда удерживало их от рискованных шагов и сомнительной пищи. Он один всегда повиновался. Он никогда не оставлял без ответа ее нежный зов: «Криит!» («Иди сюда!»). И наградой за послушание стала долгая жизнь.

Наступил август — «месяц Линьки». Птенцы уже почти выросли. Они знали очень много и считали себя чрезвычайно мудрыми. Маленькими они спали на земле, и мать укрывала их, но теперь они выросли, и мать стала обучать их обычаям взрослых птиц. Пора было садиться на ветви деревьев. В лесу уже начали бегать молодые норки, хорьки, лисицы и скунсы. Проводить ночи на земле становилось опаснее с каждым днем, и вот мать-куропатка как-то на закате крикнула: «Криит!» — и взлетела на густое низкое дерево.

Маленькие куропатки последовали за ней, за исключением глупенького упрямца, который пожелал остаться ночевать на земле, как прежде. Первая ночь прошла благополучно, однако на следующую его братья были разбужены криками. Затем наступила тишина, прерываемая только ужасным хрустом костей и чавканьем. Птенцы заглянули вниз в страшную темноту. Они увидели два блестящих, близко посаженных глаза, почувствовали особый запах и поняли, что убийцей их глупого братца была норка.

Теперь уже только шесть маленьких куропаток сидели рядом с матерью по ночам. Правда, если у них зябли ножки, они взбирались матери на спину.

Но их воспитание продолжалось. Теперь они учились шумно махать крыльями. Куропатка может взлететь совершенно бесшумно, если хочет, но шумный взмах крыльев бывает иногда очень важен. Этим достигается многое: во-первых, такой шум крыльев предупреждает о близкой опасности других куропаток, затем он приковывает внимание врага к шумно взлетевшей птице, отвлекая его от других, которые могут тем временем тихонько ускользнуть или притаиться.

Поговорка куропаток могла бы гласить: «На каждый месяц есть своя пища и свои враги». Наступил сентябрь. Ягоды и муравьиные яйца сменились семенами и зернами, и вместо скунсов и норок врагами куропаток сделались охотники.

Куропатки хорошо знали лисиц, но почти никогда не видели собак. Они знали, что лисицу легко можно провести, вспорхнув на дерево. Но когда в «Охотничьем месяце» старик Кэдди отправился на охоту и стал пробираться по оврагу в сопровождении желтой собачонки с обрубленным хвостом, мать-куропатка, завидев ее,

тотчас же закричала: «Квит, квит!» («Летите, летите!») Двое из ее птенцов решили, что мать их понапрасну так волнуется из-за лисицы, и захотели показать хладнокровие. Услышав крик матери: «Квит, квит!» — они взлетели на дерево, вместо того чтобы последовать ее примеру и бесшумно улететь подальше.

Между тем странная лисица с обрубленным хвостом подошла к дереву и стала неистово лаять. Куропатки насмешливо поглядывали на нее и не обратили ни малейшего внимания на шорох в кустах. Раздалось громкое «паф-паф!», и на землю полетели две окровавленные, бьющие крыльями куропатки, которые тотчас же были схвачены желтой собакой.

III

Кэдди жил в жалкой лачуге около реки Дона, к северу от Торонто. Его жизнь, с точки зрения греческих философов, могла быть названа идеальным существованием. У него не было богатства, и ему не надо было платить налоги. Он работал очень мало и предпочитал развлекаться; он любил охотиться. Соседи считали его просто бездельником. Он стрелял и ставил западни круглый год. Кэдди хвастался, что может назвать месяц по вкусу мяса убитой куропатки, даже не заглядывая в календарь. Конечно, это указывало на большой опыт и наблюдательность, но в то же время и на нечто другое, заслуживающее порицания. Законное время охоты на куропаток начинается 15 сентября, но Кэдди не дожидался этого срока. Однако он как-то ухитрялся избегать наказания из года в год, и репортер одной газеты даже напечатал интервью с ним и отозвался о нем как о любопытном типе.

Он редко стрелял влёт, но в густой листве нелегко попасть в сидящую птицу; вот почему выводок в третьем овраге так долго жил спокойно. Однако близилось 15 сентября, и, опасаясь, как бы другие охотники не нашли облюбованных им птиц, Кэдди решил покончить с ними. Он не слыхал шума крыльев, когда мать-куропатка улетела и увлекла за собой своих четырех уцелевших птенцов. Поэтому он удовольствовался двумя убитыми куропатками и вернулся в свою хижину.

Но птенцы узнали теперь, что собака — не лисица и с ней надо вести себя иначе. А старое правило, что послушание обеспечивает долгую жизнь, подтвердилось еще раз и навсегда запечатлелось в их памяти.

Весь конец сентября они прятались от охотников и прежних своих врагов. Они по-прежнему ночевали на длинных тонких ветках больших деревьев, среди густой листвы, защищающей их от воздушных врагов. Вышина деревьев предохраняла их от врагов, обитающих внизу, на земле, и им оставалось бояться только

енотов, которые умеют лазить по деревьям. Но хруст нижних сучьев всегда вовремя предупреждал их.

Однако листья начали опадать. Каждый месяц приносит с собой новую еду и новых врагов. И теперь наступило время орехов и время сов: северные совы откочевывали к югу, и там, где прежде жила одна ночная хищница, теперь их охотилось две, а то и три. Ночи становились холоднее, а еноты — менее опасными. Куропатка переменила место ночлега и вместо древесных ветвей пряталась в густую зелень болиголова.

Только один из птенцов пренебрег ее призывом «Криит, криит!» и остался на ночь на высокой ветке вяза, почти совершенно лишенной листьев. И под утро его утащила огромная желтоглазая сова.

Теперь у матери-куропатки остались только три птенца. Но птенцы эти уже настолько выросли, что по величине сравнялись с нею. А самый старший, тот самый, который притаился когда-то на щепке, был даже больше своей матери.

У юных куропаток уже показались вокруг шеи перышки будущих воротничков. Пока еще эти перышки были очень малы и тонки, но уже можно было себе представить, какие они будут, когда вырастут. И молодые куропатки очень гордились этим украшением.

Воротничок для куропатки то же самое, что хвост для павлина. Это их главное украшение. Воротничок у самок черного цвета с легким зеленоватым отливом, у самца же воротник шире, чернее и с ярко-зеленым отливом. Но порой какая-нибудь куропатка достигает гораздо большей величины и силы, чем обыкновенно, тогда воротник у нее бывает медно-красного цвета, с лиловатым, зеленым и золотистым отливом.

Птенец, который лежал на щепке и всегда слушался свою мать, стал взрослым еще до наступления октября — «месяца Желудей» — и теперь сверкал медно-красным с золотом воротничком. Это и был Красношейка, прославленный петух-куропатка долины Дона.

IV

Однажды в «месяце Желудей», в середине октября, когда семья куропаток, наевшись до отвала, грелась на солнышке вблизи большого соснового бревна, раздался отдаленный выстрел. Красношейка вскочил на бревно, с важностью прошелся несколько раз, затем, возбужденный воздухом и светом, громко и вызывающе захлопал крыльями. Он хлопал в воздухе крыльями, пока весь ближний лес не наполнился их громом. Брат и сестра слушали его с удивлением и восторгом. А мать с этой минуты начала его немного побаиваться.

Ноябрь — это «месяц Безумия». По какому-то странному закону природы все куропатки в первый год своей жизни безумствуют в ноябре. У них появляется непреодолимое стремление отправиться в путь — все равно куда! И самые разумные из них делают в это время много глупостей. Они бесцельно летают по ночам и так спешат, что часто погибают, либо перерезанные надвое проволокой, либо разбившись о фонарь маяка или паровоза. Утро застигает их в самых неожиданных местах: в сараях, на открытых болотах, или на телеграфных проводах в каком-нибудь большом городе, или даже на кораблях, стоящих на якоре у берега.

Такое стремление к странствиям, по-видимому, является пережитком привычки к осенним перелетам. Оно обязательно овладевает молодыми птицами в первый год их жизни, а иногда и на второй год, так как оно очень заразительно, но взрослые птицы ему уже не поддаются.

Мать Красношейки поняла, что наступает именно такой период, когда заметила, что виноградные кисти темнеют, а клен начинает ронять на землю красные листья. Но мать могла заботиться о здоровье своих уже взрослых детей и удерживать их в самой тихой части леса.

К югу потянулись стаи диких гусей. Юные куропатки никогда еще не видели этих птиц. Они приняли их за ястребов с длинными шеями и, конечно, испугались. Но, увидев, что мать не боится, они тоже осмелели и наблюдали за полетом гусей с величайшим волнением.

Взволновал ли их дикий звонкий крик гусей или возникло внутреннее побуждение, но только ими овладело странное влечение следовать за гусиной стаей. Они смотрели на косяки этих трубачей, летевших к югу и мало-помалу исчезавших вдали, и взбирались на самые высокие ветки, чтобы только еще раз увидеть их. И с этого часа в них совершилась перемена.

Ноябрьская луна становилась все круглей, и в полнолуние пришло безумие, с наибольшей силой оно овладевало более хилыми. Маленькая семья распалась. Красношейка несколько ночей улетал в далекие странствия. Его влекло на юг, но там расстилалась перед ним беспредельная гладь озера Онта́рио, и Красношейка возвращался назад. Конец «месяца Безумия» застал его снова на берегу Илистого ручья, но уже совершенно одного.

V

Была зима, и пищи становилось все меньше. Красношейка продолжал жить в лесном овраге, но каждый месяц приносил с собой и особую пищу, и особых врагов. Ноябрь принес безумие, одиночество и гроздья винограда; декабрь — «Снежный месяц» — при-

нес ягоды шиповника, а «Бурный месяц» январь — метели. Трудно было держаться на ветке и срывать с нее замерзшие почки. Клюв Красношейки сильно истерся от этой работы и даже не мог плотно закрываться.

Природа, однако, приспособила Красношейку к хождению по скользкой земле. На его пальцах, таких тонких и изящных, выступил ряд острых роговых наростов, и когда выпал снег, он уже оказался вполне снаряженным для зимы: природа снабдила его лыжами и коньками.

Холод прогнал ястребов и сов и лишил возможности четвероногих врагов Красношейки приближаться бесшумно. Таким образом, Красношейка был почти в полной безопасности.

Ежедневные полеты в поисках пищи увлекали Красношейку все дальше и дальше, пока он не открыл и не исследовал берега Роздэлского ручья, поросшие серебристой березой, и Честерские леса, где под снегом краснели ягоды.

Еще не кончилась осень, а веселые синички уже начали распевать свою знаменитую песенку: «Скоро придет весна!» — и не переставали самым добросовестным образом повторять этот припев в течение самых суровых зимних бурь, пока наконец не миновал «Голодный месяц» — наш февраль — и не появились подлинные признаки весны. Тогда синицы восторженно заявили миру: «Мы же говорили вам это!» Солнце стало теплее и растопило снег на южном склоне холма Кэстл Франка, обнажив множество сочных зеленых кустиков брусники, ягоды которой служили вкусной пищей для Красношейки. Он перестал обрывать замерзшие почки с деревьев, которыми питался зимой. Теперь его клюв мог отдохнуть и снова принять прежнюю форму.

Очень скоро прилетела первая трясогузка и, пролетая мимо, прощебетала: «Весна идет!» Солнце с каждым днем становилось ярче, жарче, и однажды в марте — «месяце Пробуждения весны» — перед самым рассветом послышался громкий крик: «Карр, карр!» Ворон Серебряное Пятнышко прилетел с юга во главе своей стаи и возвестил: «Весна пришла!»

Вся природа подтвердила начало весны и птичьего нового года. Синички совсем обезумели и распевали: «Весна! Весна! Весна!» — так настойчиво и так долго, что невольно приходилось удивляться, как это они находят время для добывания пищи.

И Красношейка ощущал какой-то радостный трепет во всем своем теле. Он вспрыгивал с особенной живостью на пень и громко хлопал крыльями, пробуждая отдаленное эхо и изливая свою радость, радость по́ поводу прихода весны.

Далеко внизу, в долине, стояла хижина Кэдди. Услышав громкое хлопанье крыльев, разносившееся в утреннем воздухе, Кэдди понял, что это гремит самец куропатки. Взяв ружье, он подкрался к оврагу. Однако Красношейка бесшумно улетел и

остановился лишь у Илистого ручья. Там он взобрался на то самое бревно, на котором он в первый раз забарабанил своими крыльями, и снова захлопал ими, да так громко, что маленький мальчик, проходивший через лес, побежал в страшном испуге домой и сказал матери, что на них собираются напасть индейцы, так как он слышал в роще бой их военных барабанов.

Почему мальчик радостно кричит? Почему юноша вздыхает? Они сами не могут объяснить этого и знают об этом не больше, чем знал Красношейка, когда влезал ежедневно на какое-нибудь свалившееся дерево и громко хлопал крыльями, наполняя этими барабанными звуками весь лес. Затем он начинал важно расхаживать, раздувая яркие перья своего воротника. Полюбовавшись, как переливаются и блестят они в солнечных лучах, словно драгоценные камни, он снова начинал хлопать крыльями.

Откуда у него вдруг возникло желание, чтобы кто-нибудь любовался им? И отчего такое желание не появлялось у него раньше, когда еще не наступил апрель, «месяц Ивовых сережек».

Красношейка продолжал хлопать и греметь крыльями.

Каждый день он возвращался к своему любимому бревну. Он стал еще красивее. Над его ясными, блестящими глазками появилось новое украшение — пунцовые перышки. Неуклюжие снеговые лыжи на ногах совершенно исчезли. Его воротничок стал еще лучше, блеск глаз еще усилился, и, когда он важно разгуливал, сверкая на солнце разноцветными перьями, вид у него был великолепный.

Но он был теперь ужасно одинок!

Он по-прежнему гулял и хлопал крыльями. Наконец, в самом начале мая, когда его бревно украсили серебряные звездочки цветов, чуткий слух Красношейки вдруг уловил в кустах какой-то легкий шорох. Он замер и ждал, зная, что и за ним наблюдают.

Возможно ли? Да! Там, в кустах, показалась маленькая, робкая самка куропатки, стыдливо прячущаяся. Он кинулся к ней. Он весь пылал. И как он гордо выступал, как распускал свои перья, красуясь перед нею! Но откуда он знал, что это может ей понравиться? Он раздувал свой разноцветный воротничок и старался, чтобы солнце освещало его. Важно выступая, он тихо и нежно кудахтал. И сердце куропатки было побеждено. И, сказать правду, уже давно. В течение целых трех дней она приходила сюда, услышав его громкое хлопанье, и застенчиво издали любовалась им, несколько обиженная тем, что он так долго не может ее заметить, хотя она находится от него совсем близко. И, пожалуй, не случайно топот ее ножек наконец долетел до его ушей. Она скромно потупила головку и с нежной, покорной грацией подошла к нему.

Томительная пустыня была пройдена, и бедный, истомленный жаждой странник нашел прозрачный ручей.

Одиночество кончилось.

О, какие радостные дни провели они в прелестной долине! Солнце никогда еще прежде не светило так ярко и смолистый воздух не был так ароматен! Большая благородная птица ежедневно приходила к своему бревну, иногда вместе со своей подругой, иногда без нее, и хлопала крыльями просто от прилива радости, наполнявшей все ее существо.

Но отчего Красношейка не всегда был с Буркой, со своей подругой? Отчего она проводила с ним часы, а затем вдруг украдкой исчезала и он не видел ее в течение нескольких часов, а иногда и целого дня, пока наконец громкое хлопанье крыльев не указывало ей на его беспокойство и не заставляло ее вернуться к нему? Тут крылась какая-то лесная тайна, которую он не мог разгадать.

С каждым днем Бурка все меньше и меньше оставалась с ним и наконец совсем исчезла. Она не появлялась, и он в отчаянии хлопал крыльями на своем старом бревне, летел вверх по течению потока и снова барабанил крыльями на другом бревне или перелетал через холм, к другому оврагу, и там опять барабанил крыльями. Но призыв его не находил отклика. Наконец, на четвертый день, он пришел и снова стал громко звать ее, как в былое время, и вдруг, как и тогда, услыхал в кустах шорох, и из кустов вышла Бурка, но не одна! Ее сопровождали десять маленьких пищавших птенцов.

Красношейка порхнул к ней и страшно напугал крошечных пушистых птенцов с блестящими глазами. Его несколько озадачило, что они заявляли права на его подругу и пользовались ее вниманием даже больше, чем он. Впрочем, он вскоре примирился с такой переменой и стал делить с ней заботы о птенцах, чего никогда не делал его собственный отец.

VI

Среди куропаток хорошие отцы встречаются редко. Обычно самка строит гнездо и воспитывает птенцов без помощи отца. Она даже часто скрывает от него, где находится ее гнездо, и встречается с ним лишь в определенных местах: у бревна, где он барабанит крыльями, или там, где они привыкли искать пищу, а иногда на том месте, где они купаются в песке.

Когда малютки вылупились из яйца, Бурка была так поглощена заботами о них, что часто забывала об их великолепном отце и не шла к нему на зов. Но на четвертый день, когда малютки несколько окрепли, она взяла их с собой и пошла познакомить детей с отцом.

Некоторые отцы не интересуются своими детьми, но Красношейка был не таков: он сразу начал помогать своей подруге воспи-

тывать малюток. Они научились пить и есть совершенно так же, как некогда научился их отец, и могли, переваливаясь, следовать за своей матерью, а отец охранял их сзади.

На следующий же день, когда они отправились к ручью и, вытянувшись в ряд друг за дружкой, словно нитка бус, стали спускаться по склону холма, красная белка, поглядев из-за соснового ствола на эту процессию пушистых птенцов, заметила, что Рунти, самый слабый, далеко отстал от других. Красношейка, вскочив на высокий пень, занялся чисткой своих перьев, и белка его не заметила. Она испытывала странное влечение попробовать птичьей крови, и при виде отставшего птенчика, показавшегося ей легкой добычей, эта жажда крови у нее усилилась. С этим жестоким намерением она бросилась к отставшему птенцу. Бурка слишком поздно поняла, что происходит, но белку увидел Красношейка и бросился на рыжего убийцу. У него не было другого оружия, кроме кулаков, то есть выпуклых суставов крыльев, но какие удары он мог наносить ими! При первой же атаке он с силой ударил белку в самое чувствительное место — в кончик носа, и белка завертелась и свалилась на землю. Поднявшись, она с трудом заковыляла к куче хвороста. Там она лежала задыхаясь, и из носа у нее текли крупные капли крови. Красношейка предоставил ей лежать там. Что с нею сталось, он не узнал никогда, да и не интересовался ее дальнейшей судьбой.

Семья куропаток направилась к воде, но на песке какая-то корова оставила глубокие следы своих копыт, и в одну из этих ямок упал маленький птенчик. Он жалобно пищал, потому что не мог вылезти оттуда.

Положение было трудное. Родители не знали, что им делать. Но пока они растерянно топтались вокруг ямки, ее песчаные края обсыпались, и образовался пологий склон. По этому склону малютка выбрался из ямы и весело побежал к своим братьям, укрывавшимся под широким веером материнского хвоста.

Бурка была веселая маленькая мать, очень живая, находчивая и разумная. Она и днем и ночью не переставала заботиться о своих детках. Как гордо выступала она, кудахтая, когда вместе со своим выводком прогуливалась в лесу! Как старательно распускала она свой хвост во всю ширину, чтобы доставить им возможно больше тени, и никогда не терялась при виде врага, готовая сразиться или улететь — как того потребует благо ее крошек.

Еще до того как птенцы научились летать, они уже повстречались со старым Кэдди. Хотя был только июнь и охота была еще запрещена, но он шел с ружьем по склону третьего оврага, и его собака Тэк, бежавшая впереди, так близко подошла к Бурке и ее выводку, что Красношейка тотчас же устремился ей навстречу Он употребил старую, но всегда удающуюся хитрость: увлек собаку за собой вниз, к реке.

Однако Кэдди случайно пошел в ту сторону, где находился выводок, и Бурка, дав сигнал птенцам, чтобы они спрятались («Крр, крр!»), постаралась увлечь охотника за собой таким же способом, каким Красношейка отвлек собаку.

Преисполненная самоотверженной материнской любви и прекрасно зная лес, она летела бесшумно, пока не приблизилась к охотнику, и тогда, громко захлопав крыльями перед самым его лицом, свалилась на листья и так превосходно представилась раненой, что на минуту обманула браконьера. Но когда она потащила одно крыло и запищала, поднимаясь, а затем медленно заковыляла дальше, он уже понял, в чем дело. Это был просто обман. Его хотели удалить от выводка.

Он свирепо бросил в нее палку. Но Бурка была очень ловка и проворна. Она увернулась и, ковыляя, спряталась за молодым деревцем. Там она снова стала биться, упав на листья с жалобным писком, и казалось, так сильно ударила себе крыло, что едва могла двигаться. Это заставило Кэдди опять запустить в нее палкой, но она опять ускользнула. Желая во что бы то ни стало отвлечь его от беспомощных малюток, она смело полетела к нему и затем упала, ударившись своей нежной грудью о землю, с тихим стоном, точно моля о пощаде. Кэдди снова не попал в нее палкой. Тогда он поднял ружье и, выпустив заряд, который мог бы убить медведя, превратил бедную мужественную Бурку в трепещущие окровавленные клочья.

Жестокий, грубый охотник знал, что выводок должен скрываться где-нибудь поблизости, и потому принялся его искать. Но никто не шевелился, и ниоткуда не было слышно писка. Он не увидел птенцов. Он несколько раз проходил по тому месту, где прятались малютки, и многие из этих безмолвных маленьких страдальцев были раздавлены им насмерть.

Красношейка увел рыжую собаку подальше и вернулся к тому месту, где оставалась его подруга. Убийца уже ушел, подобрав ее останки, чтобы бросить их своему псу. Красношейка стал искать Бурку, но нашел только кровь и перья. Это были ее перья, и Красношейка понял, что означал слышанный им выстрел...

Кто может рассказать, какой ужас он испытал и как он горевал! Несколько минут стоял он неподвижно, точно ошеломленный, опустив голову и глядя на окровавленное место. Затем вдруг с ним произошла перемена — он вспомнил о беспомощных птенцах.

Он вернулся туда, где они спрятались, и прокричал хорошо знакомое им: «Криит, криит!» Но многих птенцов уже не было в живых. Только шесть пушистых шариков на ножках открыли свои блестящие глазки и побежали к отцу, а четыре маленьких пушистых тельца лежали неподвижно.

Красношейка продолжал сзывать своих птенцов, пока не

убедился, что все, кто мог отозваться на его зов, пришли к нему. Тогда он увел их подальше от этого ужасного места, туда, где изгородь из колючей проволоки и чаща ежевики могли служить более надежным, хотя и менее приятным приютом.

Там он воспитывал своих детей так же, как раньше его самого воспитывала мать. Но он был опытнее и знал гораздо больше, чем она, и это давало ему много преимуществ. Он хорошо знал всю округу, все места, где можно было найти пищу, и знал, как предупреждать разные несчастные случаи, которые так часто угрожают здоровью и жизни куропаток.

Благодаря его опытности и бдительному надзору за все лето ни один птенчик не погиб. Они росли, развивались и благоденствовали, а когда наступил «Охотничий месяц», это уже была прекрасная семья из шести взрослых куропаток с Красношейкой во главе, по-прежнему гордившимся своим великолепным убором из блестящих красных перьев.

Красношейка не барабанил крыльями с тех пор, как лишился своей подруги. Но хлопанье крыльями для куропатки то же самое, что для жаворонка пение. Это не только песнь любви, но тоже выражение избытка сил, энергии и здоровья. И когда время линьки прошло и сентябрь вернул блеск его перьям и бодрость его духу, он пришел опять к своему старому бревну. Повинуясь какому-то непреодолимому побуждению, он взобрался на него и опять забарабанил крыльями.

С тех пор он часто приходил туда и барабанил, а его дети сидели вокруг, а порой то один, то другой из них взбирался на ближайший пень или камень и хлопал крыльями, подражая отцу.

Гроздья винограда потемнели, и наступил ноябрь — «месяц Безумия». Но птенцы Красношейки были крепкими и здоровыми, и хотя их тоже охватило стремление к странствованиям, оно прошло через неделю, и только трое куропаток покинули отца.

Красношейка с оставшимися у него тремя птенцами по-прежнему жил в овраге. Наступила зима, и выпал снег. Снег был легкий и мягкий. Погода стояла теплая, и семья куропаток приютилась на ночь под низкими, плоскими ветвями кедра. На следующий день стало холоднее, поднялась метель, и за день навалило целые сугробы. Ночью снег перестал падать, но мороз усилился, и Красношейка повел свою семью к березе, возвышавшейся над глубоким сугробом. Он нырнул в снег, и его дети последовали его примеру. Ветер сдувал рыхлый снег в проделанные куропатками ямки и покрыл их тонким белым слоем, точно простыней. Прикорнув в ямке, они прекрасно проспали всю ночь, так как снег сохраняет тепло и пропускает достаточно воздуха для дыхания. На следующее утро молодые куропатки обнаружили над собой довольно толстую ледяную стенку, образовавшуюся от их замерзшего дыхания, но вылезли без особого труда, услы-

шав утренний зов Красношейки: «Криит, криит, квит!» («Сюда, дети, сюда!»)

Это была их первая ночь, проведенная в снежном сугробе, хотя Красношейка ночевал так не раз прошлой зимой. На следующую ночь они опять нырнули в сугроб, и северный ветер снова прикрыл их белой простыней. Но погода изменилась, и ночью ветер подул с востока. Сначала шел дождь со снегом, потом все покрылось льдом, и когда утром куропатки проснулись и захотели выбраться из своих убежищ, оказалось, что они заперты под твердым покровом льда.

Снег в глубине был по-прежнему мягким, и Красношейка без особого труда проложил себе дорогу кверху, но там твердый ледяной покров преградил ему путь. Все усилия пробиться наружу оказались напрасными, и он только поранил себе крылья и голову Он до сих пор не сталкивался с такими затруднениями. Ему приходилось часто попадать в трудные положения, но то, что случилось теперь, по-видимому, было хуже всего.

Отчаяние охватило Красношейку. Силы его слабели, и никакие старания освободиться не приводили ни к чему. Он слышал, как барахтались его птенцы, стараясь вырваться на волю, и как они жалобно пищали, призывая его на помощь: «Пи-и-ти! Пи-и-ти!»

Они были защищены в своем убежище от многих врагов, но не от мук голода; и когда наступила ночь, истомленные пленники, измученные бесполезными усилиями и терзаемые голодом, дошли до полного отчаяния. Сначала они боялись, что явится лисица и они окажутся в ее власти. Но когда стала медленно приближаться вторая ночь, мысль о лисице уже больше их не пугала. Они даже желали, чтобы она пришла и разломала затвердевший снег.

Однако когда лисица действительно явилась и медленно прошла по замерзшему снегу, глубоко заложенная в них любовь к жизни воскресла, и они сидели не шелохнувшись, пока она не ушла.

На второй день началась метель. Сильный северный ветер со свистом гнал снег по земле. Но продолжительное трение крупных зерен снега, гонимого ветром, разрушало твердую снежную кору, и она становилась все тоньше и прозрачнее. Красношейка долбил эту кору снизу целый день, пока у него не разболелась голова и он не поранил себе клюв. Но когда солнце село, он, казалось, был так же далек от освобождения, как и в первый день.

Вторая ночь прошла, как и первая, но только лисица больше не ходила над их головами. Утром Красношейка снова принялся долбить, но уже далеко не с прежней силой. Он больше не слышал голосов своих птенцов, не слышал, как они долбят своими носиками. Но, по мере того как становилось светлее, он мог разглядеть над собой более светлое место, и он долбил, долбил, долбил, а метель по-прежнему точила лед, так что в конце дня клюв

Красношейки пробился наружу. Это вдохнуло в него новые силы, новую жизнь.

Он продолжал долбить, и наконец, перед заходом солнца, его голова, шея и даже великолепный воротник из перьев могли высунуться в отверстие. Оно было еще слишком мало для его широких плеч, но он мог теперь долбить ледяную кору сверху с учетверенной силой. И кора скоро уступила его натиску. Он вырвался из своей ледяной тюрьмы.

Но что стало с детьми? Красношейка поспешно полетел к ближайшему холму, утолил свой голод несколькими красными ягодами шиповника и опять вернулся к своей тюрьме. Он клохтал и стучал, но услышал в ответ только один слабый писк: «Пи-и-ти! Пи-и-ти!», доносившийся из глубины. Царапая снег острыми когтями, он скоро пробил кору, и птенец Серый Хвостик с трудом выполз из отверстия.

И всё. Остальные птенцы, лежавшие под снегом в разных местах, не отвечали ему. Он не знал, где они лежат, и вынужден был оставить поиски. Когда весной снег растаял, тела их обнажились. Это были скелеты, обтянутые кожей и покрытые перьями,— больше ничего!

VII

Прошло довольно много времени, прежде чем Красношейка и Серый Хвостик окончательно оправились. Но сытная пища и отдых вылечивают всё. Ясный день в середине зимы оказал свое прежнее действие на Красношейку, и он опять отправился к своему любимому бревну и там забарабанил крыльями.

Этот ли звук или следы их лыж на снегу выдали старому Кэдди его и Серого Хвостика, неизвестно, но Кэдди снова появился с ружьем и собакой. Он шел крадучись по оврагу, твердо намереваясь выследить куропаток. Большой красноперый петух-куропатка прославился на всю долину, и в течение охотничьего сезона многие охотники старались убить его.

Однако Красношейка был слишком опытен в лесной науке. Он знал, когда спрятаться и когда бесшумно взлететь, знал, когда надо прижаться к земле и сидеть смирнехонько, пока не пройдет охотник, а затем подняться, загреметь крыльями, чтобы тотчас укрыться за каким-нибудь толстым древесным стволом и улететь.

Но Кэдди не переставал с ружьем в руках преследовать Красношейку и не раз давал по нему промах.

Красношейка продолжал жить и благоденствовать и барабанил крыльями вопреки всему.

Когда наступил «Снежный месяц» — декабрь, он перебрался с Серым Хвостиком в леса Кэстл Франка, где пищи было вдоволь и где росли большие, старые деревья. Там среди ползучего болиго-

лова стояла одна огромная сосна. Ее нижние ветви начинались на уровне верхушек других деревьев. Летом на вершине этой сосны сойки устроили свое гнездо. На необычайной высоте, недоступные выстрелам, они были в безопасности и могли весело резвиться и играть. Самец сойки распускал свои блестящие голубые перья и пел чудесные, нежные песенки, которые могла расслышать лишь та, для которой они предназначались.

Эта большая сосна очень понравилась Красношейке, который жил теперь поблизости вместе со своим единственным птенцом. Но его интересовала не вершина, а нижняя часть ствола. Кругом росли ползучий болиголов, дикий виноград и брусника. А из-под снега можно было выкапывать нежные черные желуди. Лучшее место, для того чтобы всегда быть сытым, трудно было найти. Если же придет сюда охотник, то можно будет спрятаться от него, пробежав через заросли болиголова к большой сосне, и, прячась за огромным стволом, лететь дальше в полной безопасности.

Сотни раз сосна спасала их во время законного сезона убийств. Однако Кэдди придумал новую уловку. Он спрятался за бугром, а его товарищ, другой охотник, пошел вокруг холма Сахарная Голова, чтобы спугнуть птиц. Он шумно вошел в густой подлесок, где искали пищу Красношейка и Серый Хвостик. И Красношейка тут же издал тихий, предостерегающий звук: «Рррр!» («Опасность!») — и тотчас же направился к большой сосне, готовясь взлететь.

Серый Хвостик остался несколько позади, на склоне холма, и вдруг увидел совсем близко нового врага. Это была рыжая собачонка, которая бежала прямо к нему. Красношейка был гораздо дальше, и кусты заслоняли от него пса. Серый Хвостик очень встревожился.

«Квит, квит!» («Лети, лети!») — прокричал он, сбегая вниз по склону холма и готовясь взлететь.

«Криит, крр!» («Сюда прячься!») — прокричал более хладнокровный Красношейка, увидев, что к ним идет человек с ружьем. Он достиг большой сосны. Укрывшись за ее стволом, он на мгновение остановился и крикнул Серому Хвостику: «Сюда, сюда!» — но тут услышал легкий шорох в кустах за бугром и понял, что там засада.

Затем раздался испуганный крик Серого Хвостика. Собака кинулась на него.

Серый Хвостик поднялся в воздух, чтобы укрыться за стволом от охотника, стоявшего на открытом месте, и очутился как раз под выстрелом притаившегося за бугром злодея.

«Шррр!» — прошуршал он крыльями и полетел вверх — прекрасная, полная сил птица.

Паф! — и он упал, окровавленный и трепещущий, и остался лежать на снегу неподвижным, безжизненным трупом.

Красношейка притаился внизу. Собака пробежала в десяти шагах от него, а приятель Кэдди прошел в пяти. Но Красношейка не шевельнулся. Только потом он наконец скользнул за широкий ствол и укрылся от обоих охотников. Теперь он мог спокойно подняться и полететь к своему родному оврагу.

Безжалостное ружье погубило одного за другим всех, кто был ему близок, и Красношейка опять стал одинок.

Медленно протекал «Снежный месяц», и Красношейка часто бывал на волосок от смерти, так как охотники преследовали его беспрестанно, зная, что он один остался в живых из всей своей семьи. И от этого преследования он дичал с каждым днем.

Но по-видимому, это была лишь напрасная трата времени — преследовать его с ружьем в руках, и потому Кэдди придумал другой план. Когда выпал глубокий снег и пища стала более скудной, он расставил ряд силков в том месте, где Красношейка искал пищу. Старый приятель Красношейки, белохвостый кролик, прогрыз некоторые из силков своими острыми зубами, но остальные были целы. Однажды Красношейка, заметив в небесах какую-то точку и думая, не ястреб ли это, неосторожно ступил в западню. В одно мгновение он был подброшен в воздух и повис на одной ноге.

Какое право имеет человек подвергать такому длительному мучению живое существо только потому, что оно не говорит на его языке?

Весь этот день, испытывая невыносимые муки, несчастный Красношейка висел и хлопал своими большими, мощными крыльями, тщетно стараясь освободиться. Весь день, всю ночь длилась эта пытка, и он уже желал только, чтобы скорее пришла смерть и прекратила его мучения. Но смерть не являлась.

Настало утро. Прошел еще день, и начали медленно спускаться сумерки.

Сила и здоровье Красношейки стали для него проклятием.

На землю спустилась ночь. И когда большая ушастая сова, привлеченная слабым трепетаньем крыльев, сразу окончила мучения Красношейки, это было поистине добрым делом...

Ветер дул с севера и гнал снег по замерзшему болоту. Все было бело кругом. По белоснежной поверхности ветер разметал темные перышки. Это были остатки великолепного воротничка, знаменитого украшения Красношейки. И перышки эти уносило ветром всё дальше к югу. Они неслись над потемневшим озером, как несся некогда он сам во время «месяца Безумия». Наконец их засыпало снегом, и последние следы рода куропаток, обитавших в долине Дона, исчезли навсегда.

Теперь не слышно уже больше голоса куропаток в Кэстл Франке, и в овраге Илистого ручья медленно гниет сосновое бревно, безмолвное и никому не нужное.

СЕРЕБРЯНОЕ ПЯТНЫШКО

I

Многим ли из вас удалось близко познакомиться с каким-нибудь диким животным? Я спрашиваю не о случайных встречах с животными и не о животных, живущих в клетках. Я говорю о том, знали ли вы какое-нибудь животное в течение долгого времени тогда, когда оно жило на воле. Обыкновенно бывает трудно отличить одно животное от его сородичей. Каждая лисица и каждая ворона так похожи на других лисиц и других ворон, что нелегко решить, точно ли встречаешь все одну и ту же лисицу или ворону. Но бывает, что одно какое-нибудь животное и по силе и по уму превосходит своих сородичей. Оно становится великим вожаком. Мы могли бы его назвать гением. Если такое животное крупнее других, если по каким-либо признакам его могут узнавать люди, оно вскоре становится знаменитым в своей стране.

К таким выдающимся диким животным принадлежали: Куртáн — короткохвостый волк, в течение почти десяти лет наводивший ужас на весь город Париж в начале XIV столетия; Клабфýт — хромой серый медведь, разоривший в какие-нибудь два года в верховьях реки Сакраме́нто всех свиноводов и заставивший половину фермеров бросить свое дело; Лобо — волк в Нью-Мексико, ежедневно убивавший по корове в течение пяти лет, и, наконец, пантера Сене́, погубившая менее чем в два года около трехсот человеческих жизней. Такой же знаменитостью был и Серебряное Пятнышко, историю которого я собираюсь вкратце рассказать здесь.

Серебряное Пятнышко был мудрой старой вороной. Свое прозвище он получил от серебристо-белого пятна величиной с небольшую монету, которое было у него с правой стороны, между глазом и клювом. Благодаря этому пятну мне удалось отличать его от других ворон и связать вместе отдельные отрывки его истории.

Вороны, как вы должны знать,— самые умные наши птицы. Ведь недаром есть поговорка: «Мудра, как старая ворона».

Вороны знают, как много значит дисциплина, и вымуштрованы не хуже солдат. Их вожаки должны быть не только самыми старыми и умными в стае, но и самыми сильными и храбрыми, чтобы в любую минуту справиться с каким-нибудь выскочкой и мятежником. Все остальные в стае — это молодежь и рядовые вороны, не обладающие особыми способностями.

Серебряное Пятнышко был предводителем большой стаи ворон, избравшей своим местопребыванием холм Кэстл Франк, поросший соснами и находящийся вблизи города Торонто. В его стае насчитывалось около двухсот ворон. Когда зима стояла мягкая, вороны оставались у берегов Ниага́ры, а в более суровые зимы они улетали дальше на юг. Но каждый год в последнюю неделю февраля старик Серебряное Пятнышко собирал свою стаю и смело перелетал с ней водное пространство в сорок миль, отделяющее Торонто от Ниагары. Однако он никогда не летел по прямой линии, а делал изгиб в западном направлении, чтобы не терять из виду гору Дендáс, которая служила для него вехой, пока не показывался холм, поросший соснами. Он прилетал каждый год со своей стаей на этот холм и жил там около шести недель. Каждое утро вороны разделялись на три отряда и отправлялись на промысел. Один отряд летел к югу, к бухте Атбридж, другой — на север, к реке Дону, а третий, самый большой,— на северо-запад. Во главе этого третьего отряда находился Серебряное Пятнышко. Кто предводительствовал другими отрядами, мне так и не удалось узнать.

Если утро было тихое, вороны сразу поднимались высоко и улетали. Если же погода была ветреная, то они летели низко, держась под защитой оврага.

Мои окна выходили как раз на этот овраг, и таким образом в 1885 году я впервые заметил старого предводителя.

Сам я недавно приехал в эту местность, но один старожил сказал мне, указывая на стаю:

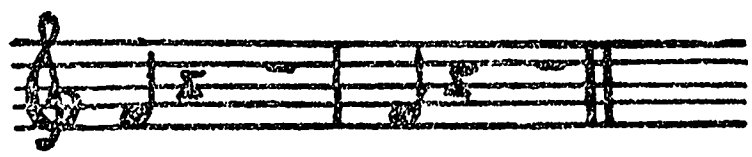
— Вон та старая ворона в это время года летает над оврагом уже более двадцати лет.

Серебряное Пятнышко всегда упрямо придерживался старого пути, хотя вдоль оврага уже были настроены дома, а через овраг переброшены лозы, и скоро стал мне хорошо знаком. Ежедневно в марте и в первой половине апреля, а потом в конце лета и в начале осени он пролетал мимо меня два раза в день.

Я следил за всеми его движениями и слышал, как он командовал подчиненными. Мало-помалу я понял, что вороны очень умны, имеют свой язык и общественный строй, поразительно схожий с человеческим.

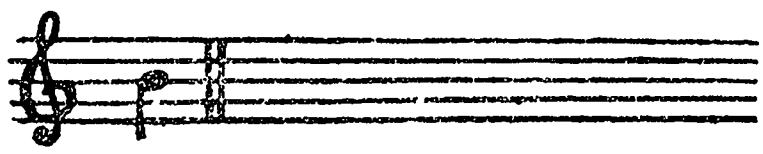
Однажды я стоял на высоком мосту, перекинутом через овраг.

День был ветреный, и я увидел, что старая ворона во главе растянувшейся стаи летит домой. За полмили я уже мог расслышать довольный крик, означавший: «Все благополучно, летите дальше!»



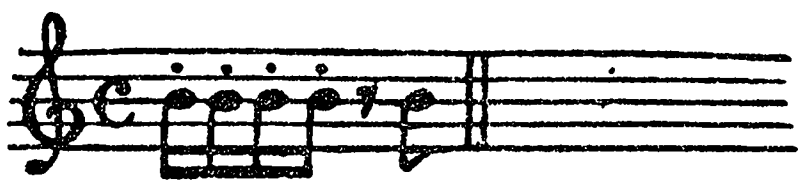
«Кар, кар!» — кричал Серебряное Пятнышко, и его помощник вторил ему в тылу стаи. Они летели низко, так как наверху был сильный ветер. Но мост, на котором я стоял, заставил их подняться выше. Серебряное Пятнышко увидел меня, и ему не понравилось, что я пристально за ним наблюдаю. Он замедлил свой полет, крикнул: «Ка-ар!», что означало «Будьте настороже!» — и тотчас же поднялся выше.

Но, заметив, что я не вооружен, он пролетел над самой моей головой, и все остальные вороны проделали то же самое. Пролетев мост, стая спустилась на прежний уровень.



На следующий день я пошел на то же самое место и остановился на мосту. Когда вороны приблизились, я поднял свою палку и сделал вид, будто прицеливаюсь в них.

Старый предводитель тотчас же крикнул: «Опасность!»— «Ка!» — и взлетел в вышину. Однако убедившись, что в руках у меня все-таки не ружье, он рискнул полететь дальше. Но на третий день я действительно пришел на мост с ружьем, и Серебряное Пятнышко тут же крикнул: «Большая опасность! Ружье!» — «Ка, ка, ка, ка, кар!»

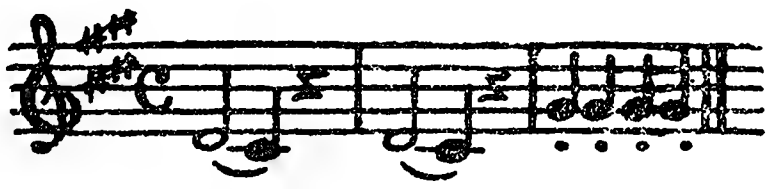


Его помощник повторил этот крик, и каждая ворона в стае тотчас же отделилась от прочих и полетела вверх, пока все не очутились вне выстрела. Перелетев через опасное место, они снова спустились под защиту долины, где считали себя в безопасности.

В другой раз, когда растянувшаяся стая пролетала над долиной, на дерево, близко стоявшее у намеченного им пути, спустился краснохвостый ястреб. Старый ворон моментально крикнул: «Ястреб! Ястреб!» — «Кар, кар!» —

и замедлил свой полет. То же самое сделала каждая ворона, приближаясь к нему. Вся стая сгрудилась в одну кучу. Тесной куче ястреб не страшен. Но через четверть мили они увидели человека с ружьем, и тотчас же крик: «Берегитесь! Ружье! Разлетайтесь в разные стороны!» — заставил их броситься врассыпную. «Ка, ка, ка, ка, кар!»

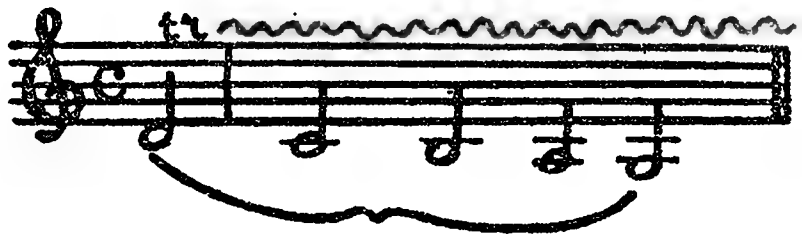
В течение своего продолжительного знакомства с этой стаей я узнал многие из сигналов старого предводителя и научился различать их. Я убедился, что едва заметная разница в тоне нередко означает огромную разницу в смысле. Так, например, в одном



случае крик означает появление ястреба или вообще какой-нибудь опасной хищной птицы, в другом он значит: «Поворачивай!» Очевидно, тут происходит смешение двух сигналов: одного — означающего опасность и другого — означающего отступление. А простое «кар, кар!» чуть повыше тоном означает: «Здравствуй!» — приветствие, обращенное к пролетающему мимо товарищу.

Есть еще один возглас, который обыкновенно адресуется ко всей стае и значит: «Внимание!»

В первых числах апреля среди ворон началась большая суматоха. Вороны полдня проводили среди сосен, вместо того чтобы летать в поисках пищи с утра до вечера. Они гонялись друг за другом по две и по три и временами устраивали нечто вроде состязания в полете. Любимой забавой для них было нырять с большой высоты по направлению к какой-нибудь сидящей на ветке вороне и в последний миг, на волосок от нее, внезапно свернуть и взмыть вверх с такой быстротой, что шум крыльев напоминал рокот отдаленного грома. Иной раз одна из ворон, взъерошив перья, наклоняла голову и, близко подлетев к другой вороне, протяжно ворковала: «Кр-р-р-ау»!



Что же все это означало? Я скоро узнал, в чем дело. Это была пора ухаживания самцов за самками. Самцы-вороны показывали силу своих крыльев и своих голосов. И, должно быть, выказанные ими таланты были оценены по достоинству, так как к середине апреля все вороны разделились на пары и разлетелись во все стороны. Темные старые сосны Кэстл Франка опустели.

II

Холм Сахарная Голова стоит одиноко в долине реки Дона. Он покрыт лесами, которые смыкаются с лесами Кэстл Франка. В лесу между этими двумя холмами стоит сосна, на верхушке которой находится покинутое ястребиное гнездо. Каждый школьник в Торонто хорошо знает это гнездо, но никто никогда не видел возле него никаких признаков жизни, и только мне удалось однажды подстрелить на краю этого гнезда черную белку. Так это гнездо и оставалось там из года в год, старое, истрепанное и полуразвалившееся. Но, как ни странно, оно не развалилось окончательно.

Однажды утром, в мае, я вышел из дому на рассвете и тихонь-

ко пошел по лесу. Пожелтевшие опавшие листья, покрывавшие землю, так намокли, что совсем не шуршали. Мне пришлось проходить как раз под старым гнездом, и я с удивлением заметил, что над краем его торчит черный птичий хвост. Я с силой ударил по стволу, и тотчас же из гнезда вылетела ворона. Тайна была раскрыта. Я давно подозревал, что ежегодно в этих соснах какая-нибудь воронья парочка устраивает свое гнездо, но тут я убедился, что это был Серебряное Пятнышко со своей подругой. Они завладели этим старым гнездом, но были настолько благоразумны, что не придавали ему каждую весну обновленного и жилого вида. Там они долго проживали в полной безопасности, несмотря на то что ежедневно под этим гнездом проходили мужчины и мальчики с ружьями в руках, жаждущие пострелять ворон. Но и мне больше не удалось застать старого ворона врасплох, хотя я несколько раз видел его в свою подзорную трубу.

Однажды, занимаясь, по обыкновению, наблюдениями, я увидел ворону, перелетавшую через долину реки Дона. Держа в клюве что-то белое, она летела по направлению к устью Раздейльского ручья, а потом свернула к большому вязу. Там ворона выпустила из клюва какой-то белый предмет и стала оглядываться, дав мне возможность узнать своего старого приятеля, Серебряное Пятнышко. Через минуту он поднял свою ношу — это была раковина — и, пройдя мимо источника среди болотных трав, вырыл из земли кучку раковин и белых блестящих камешков. Он раскладывал их на солнце, поворачивал, по очереди поднимал в клюве и затем снова бросал на землю, присаживался на них, точно это были яйца, забавлялся ими и пожирал их глазами, словно скупец. Это было его увлечение, его слабость. Он не мог бы, конечно, объяснить, почему они так ему нравятся, как не может объяснить школьник, почему ему нравится собирать почтовые марки, или девушка — почему ей нравится жемчуг больше, чем рубины. Но, во всяком случае, удовольствие, которое он испытывал при этом, было самое искреннее. Поиграв с полчаса, он снова прикрыл свои сокровища землей и листьями и улетел.

Я тотчас же отправился на это место и осмотрел его тайник. Он скрывал кучку белых камешков, ракушек и кусочков жести. Однако среди них была ручка от фарфоровой чашки — вероятно, самая главная драгоценность всей его коллекции. Но больше я не видел этих сокровищ. Серебряное Пятнышко как-то проведал, что я нашел их, и немедленно перенес их на другое место. Куда — я так и не узнал.

За то время, пока я наблюдал за ним, Серебряное Пятнышко пережил много приключений и много раз спасался от опасности. Однажды я видел, как за ним гнался ястреб. Ему очень досаждали кролики. Не то чтобы они причиняли ему большой вред, но они были так шумны и назойливы, что он всегда старался скрыться

от них как можно быстрее. Так взрослый человек обыкновенно избегает общества шумных и невоспитанных мальчишек.

У него были некоторые жестокие привычки. Он, например, каждое утро обследовал гнезда маленьких птичек и поедал снесенные яйца. Он проделывал это с такой аккуратностью, с какой доктор ежедневно обходит своих больных. Но мы не можем осуждать его за это: ведь и мы так же поступаем с курами в нашем курятнике.

Его сообразительность часто удивляла меня. Однажды я увидел, что он летит над оврагом, держа в клюве кусок хлеба. В это время внизу, под ним, рабочие заключали ручей в кирпичную трубу. Часть ручья, около двухсот ярдов, была уже совсем закрыта. Серебряное Пятнышко, пролетая над открытой частью ручья, вдруг выронил хлеб из клюва. Хлеб был унесен течением и быстро скрылся из виду в туннеле. Серебряное Пятнышко слетел вниз. Сначала он тщетно вглядывался в темную пещеру, а затем его словно осенила счастливая мысль. Он полетел к нижнему концу туннеля, где и дождался появления куска хлеба, вынесенного течением.

Серебряное Пятнышко был необыкновенно удачливой вороной. Он жил в такой местности, которая хотя и была полна опасностей, но изобиловала пищей. Он ежегодно поселялся в старом, запущенном гнезде со своей подругой, которую, кстати сказать, я так и не научился отличать от других ворон, и благополучно выводил там птенцов. А когда вороны вновь собирались стаей, он опять становился их признанным вожаком.

Сбор стаи обыкновенно происходит в конце июня. Родители со своими птенцами — короткохвостыми, с мягкими крыльями и пискливыми голосами, но ростом уже почти сравнявшимися с ними,— являются в старый сосновый лес, который служит для ворон и школой, и крепостью. Там молодежь вводится в воронье общество. Здесь, где их многочисленность и хорошо защищенные убежища на высоких ветвях обеспечивают им безопасность, начинается их ученье. Молодежь посвящается во все тайны, которые необходимо знать каждой вороне,— ведь в отличие от человека невежественная ворона не может наверстать упущенное. Она гибнет.

Сначала молодые вороны знакомятся друг с другом, так как каждая ворона должна быть обязательно знакома со всеми остальными членами своей стаи. Теперь родители могут отдохнуть немного после трудов по вскармливанию и воспитанию своих птенцов, потому что птенцы выросли и могут уже сами отыскивать себе пищу.

Недели через две начинается время линьки. В эти дни старые вороны бывают обыкновенно очень раздражительны и сердиты. Они продолжают учить и дрессировать молодых, которым, конеч-

но, не очень приходятся по вкусу выговоры и наказания, когда еще совсем недавно их нежно баловали матери. Но старик Серебряное Пятнышко был прекрасным учителем. Иногда он как будто произносил перед ними речь. Что он говорил, я, конечно, не мог угадать, но, судя по тому, как относились к его речи слушатели, надо полагать, что она была чрезвычайно остроумна.

Молодые вороны обучаются не вместе, а по классам, словно дети в человечьей школе: воронята постарше — в одном классе, а воронята помоложе — в другом. К сентябрю шумная толпа глупеньких воронят, по-видимому, уже постигает основы вороньей науки, их глаза из светло-голубых становятся темно-карими, как у взрослых ворон. Они перестали быть птенцами, узнали всё, что надо знать взрослой вороне, и научились правилам осторожности. Они узнали про ружье и западни и научились отличать ядовитых насекомых от съедобных. Узнали, что толстуха жена старого фермера несравненно менее опасна для них, нежели ее пятнадцатилетний сын, хотя она гораздо крупнее его, и научились отличать мальчишку от его сестры. Они узнали, что зонтик — это не ружье. Они научились считать до шести, что очень хорошо для таких юных ворон, хотя Серебряное Пятнышко умел сосчитать почти до тридцати. Запах пороха тоже стал им знаком, и они научились распознавать южную сторону дерева. В конце концов они, разумеется, заважничали и стали считать себя совсем взрослыми. Усаживаясь на ветку, они всегда складывали свои крылья три раза, для того чтобы быть уверенными, что крылья сложены аккуратно. Они знали, каким способом можно заставить лисицу отдать половину своего обеда, и знали, что от корольков или зимородков надо немедленно прятаться в кусты при нападении, так как сражаться с этими маленькими врагами так же невозможно, как невозможно толстой торговке поймать мальчишек, стащивших у нее из корзины яблоки. Все это уже узнали юные вороны, но еще не научились воровать чужие яйца. Они еще не имели никакого представления о ракушках, они ни разу еще не отведали лошадиных глаз, не видели кукурузных початков и ничего не знали о путешествиях, воспитывающих лучше всего.

Сентябрь производит большие перемены и в старых воронах. Пора линьки прошла. Оперение у них выросло вновь, и они гордятся своим красивым одеянием. Здоровье у них опять восстановилось, и они приободрились. Даже строгий учитель Серебряное Пятнышко стал веселым, и молодые, давно уже научившиеся уважать его, теперь действительно полюбили своего вожака.

Он хорошо воспитал их, обучил всем сигналам и приказаниям, и теперь просто приятно было смотреть на них ранним утром.

«Первый отряд!» — крикнет старый командир на вороньем языке, и первый отряд отвечает ему громким гамом.

«Летите!» И все летят вперед во главе со своим предводителем.

«Поднимайтесь!» И в ту же минуту все взлетают вверх.

«Собирайтесь в кучу!» И все собираются в одну плотную массу.

«Разлетайтесь!» И все моментально рассеиваются в разные стороны, словно опавшие листья на ветру.

«Стройтесь в ряд!» И все тотчас же вытягиваются в одну линию.

«Спускайтесь!» И все ныряют вниз, чуть не до самой земли.

«Ищите пищу!» И все спускаются на землю и рассыпаются в разные стороны, между тем как два постоянных часовых сторожат: один — на дереве с правой стороны, другой — на пригорке с левой. Спустя две минуты раздается крик Серебряного Пятнышка, означающий: «Человек с ружьем!» Часовые повторяют этот крик, и весь отряд моментально взлетает и направляется вольным строем к деревьям. Очутившись в безопасности за деревьями, они снова растягиваются в линию и летят к своим родным соснам.

И наконец в ноябре стая улетает на юг, чтобы познакомиться с новыми странами и новой пищей под руководством мудрого Серебряного Пятнышка.

III

Ворона бывает глупа только ночью, и только одна птица на свете страшна для вороны — сова. Встреча с совой ночью означает смерть. Даже самый отдаленный крик совы в темноте пугает ворон. Они тотчас же высовывают голову из-под крыла и сидят, прислушиваясь и дрожа от страха всю ночь. Во время больших морозов вороны иногда отмораживают себе глаза и слепнут. Ведь для больных ворон нет больниц.

С наступлением утра к воронам возвращается мужество. Приободрившись, они отправляются обыскивать леса. Обнаружив сову, напугавшую их своим криком, они или убивают ее, или, замучив до полусмерти, прогоняют за двадцать миль.

В 1893 году вороны, по обыкновению, прилетели в Кэстл Франк.

Несколько дней спустя, прогуливаясь по лесу, я увидел на снегу след кролика, бежавшего изо всех сил и петлявшего среди кустов, словно за ним гнались. Но, как ни странно, следов преследователя я не видел.

Я пошел по следу и скоро заметил на снегу капли крови, а затем набрел на полусъеденные останки коричневого зверька. Но кто же был убийцей? После тщательных розысков я обнаружил большие двупалые следы и коричневое перо с изящным рисунком. Тайна объяснилась. Ушастая сова!

Через два дня после этого на рассвете среди ворон началась

суматоха. Я вышел рано, желая узнать, отчего разволновались птицы, и увидел на снегу несколько черных перьев, уносимых ветром. Я пошел навстречу ветру, чтобы узнать, откуда он принес эти перья, и вскоре увидел окровавленные останки вороны, а рядом — все тот же двупалый след. Значит, убийцей опять была сова. Кругом были заметны явные признаки борьбы. Но свирепый убийца был гораздо сильнее несчастной вороны. Он стащил ее с ветки, когда темнота лишила ее возможности сопротивляться.

Я перевернул окровавленные останки птицы и, увидев ее голову, невольно вскрикнул.

Увы, это была голова моего старого знакомца — Серебряного Пятнышка!

Кончилась долгая жизнь Серебряного Пятнышка, столь полезная для его племени. Его убила сова, от которой он предостерег столько сотен молодых ворон.

Старое гнездо на холме Сахарная Голова опустело. Вороны по-прежнему прилетают весной в Кэстл Франк, но с ними уже нет их знаменитого вожака. С его гибелью их ряды обеднели, и, вероятно, скоро вороны совсем исчезнут в старой сосновой роще, где их предки жили и учились жизни в течение стольких веков.

ЖИЗНЬ СЕРОГО МЕДВЕДЯ

I

Далеко-далеко отсюда, на Диком Западе, в верховьях реки Литл-Па́йни, там, где теперь находится ранчо Пале́тт, тихо жила серая медведица. Это была самая обыкновенная медведица, занятая заботами о своих детях. Больше всего на свете она желала, чтобы ее семью оставили в покое.

Был уже июль, когда медведица наконец решила повести свое семейство к реке Грейбули и показать детям, что такое земляника и где ее надо искать.

Медведица-мать не сомневалась, что у нее самые крупные и смышленые медвежата в мире, но это не совсем отвечало истине; зато их было целых четверо, а медведица ее породы, медведица-гризли, редко может похвастаться более чем двумя детьми. Мохнатые малыши чудесно проводили время, наслаждаясь прекрасным летом и множеством вкусных вещей.

Мать выворачивала для них каждый пень, каждый плоский камень, попадавшийся на пути. Медвежата сейчас же бросались туда, как куча поросят, и вылизывали прятавшихся там муравьев и личинок.

Медвежатам никогда не приходило в голову, что силы могут изменить матери и она выпустит из лап огромный камень, как раз когда они залезли под него. Собственно говоря, этого никто не подумал бы, хоть раз увидев громадную лапу и плечо, скрытое под косматой изжелта-серой шубой. Нет-нет, эта лапа никак не могла уронить камень — малыши были совершенно правы. Они опрометью кидались к каждому новому пню, толкая и давя друг друга, чтобы поспеть первыми, и пищали, визжали, ворчали, как целая куча поросят, щенят и котят, вместе взятых. Медвежата уже хорошо знали маленьких бурых муравьев, которые гнездятся под пнями в горах. Но вот им в первый раз встретился муравейник с большими, жирными, сладкими лесными муравьями. Медвежата толпились вокруг, стараясь поймать на язык

разбегавшихся насекомых. Однако они скоро убедились, что слизывают больше кактусовых колючек и песка, чем муравьев. Наконец мать им сказала по-медвежьи:

«Постойте, я вам сейчас покажу, как это делается».

Опять сшибла верхушку муравейника, потом положила на нее плашмя свою широкую лапу и через несколько секунд, когда рассерженные муравьи облепили ее, слизнула их всех разом и аппетитно зачавкала, набив полный рот. Вскоре и медвежата поняли, в чем дело. Каждый из них положил на муравейник обе свои бурые лапки. Так они долго сидели вокруг муравейника, облизывая попеременно то правую, то левую лапу и давая друг другу затрещины, если кто-нибудь принимался лизать чужую лапу. Вскоре муравейник был опустошен, и лакомки были готовы приняться за что-нибудь новое.

Но муравьи — довольно кислая пища, и медвежата захотели пить. Медведица свела их вниз, к реке. Наплескавшись вдоволь в воде, они пошли по берегу и дошли до места, в котором зоркий взгляд медведицы заметил много рыбок, гревшихся на дне. В этом месте реки на дне чернели глубокие ямы, а между ямами было очень мало воды, и текла она по камням. Мать сказала малышам: «Ну, теперь посидите на берегу, а я вам покажу новую штуку».

Сперва она подошла к одной яме, находившейся пониже, и подняла со дна целое облако грязи, которое потянулось вниз по течению. Затем по берегу подошла к верхней яме и со всего размаха со страшным шумом плюхнулась в воду. Рыбки при таком неожиданном нападении бросились в паническом страхе в мутную воду, и так как среди пятидесяти рыб всегда найдется несколько глупых, то с полдюжины их устремилось сквозь мутную воду дальше по течению; не успели они опомниться, как уже беспомощно бились на каменистой отмели. Медведица стала выкидывать их на берег. Медвежата шумно набросились на этих смешных коротеньких змеек и стали уписывать их за обе щеки, пока животы у них не надулись, как барабаны.

Солнце пекло жарко, медвежата наелись досыта, и всех начало клонить ко сну. Медведица увела их в укромный уголок, легла, и все медвежата улеглись вокруг нее.

Пыхтя от жары, они тотчас же заснули, подобрав свои бурые лапки и уткнув черные мордочки в шерсть, как будто день был очень холодным.

Медвежата сладко поспали часок-другой, а затем начали зевать и потягиваться. Самая маленькая, Мохнатка, высунула было на минутку свой острый носик, а затем опять зарылась между большими лапами матери; эта маленькая неженка была ее любимицей. Самый большой медвежонок, Уэб, перевернулся на спину и начал тормошить торчавший из земли корень. Он

тихонько ворчал и то грыз его, то шлепал лапой, когда тот не лежал, как ему хотелось.

Проказник Лыска стал дергать Кудряша за ухо и получил от него здоровую затрещину. Они начали бороться. Потом, сцепившись в серовато-желтый ком, они покатились по траве — все дальше и дальше — и не успели опомниться, как полетели вниз, к реке.

Почти немедленно раздались их полные ужаса голоса. Несомненно им грозила какая-то страшная опасность.

Нежная мать мигом превратилась в настоящего дьявола. Она одним прыжком подлетела к своим медвежатам. И как раз вовремя, потому что громадный бык уже готов был кинуться на Кудряша, которого он, вероятно, принял за рыжую собачонку. Медведица взревела и бросилась на быка.

Бык не испугался. Он испустил грозное мычанье и устремился на медведицу. Однако, едва он нагнул голову, чтобы пырнуть ее своими рогами, она нанесла ему оглушающий удар по голове. Когда он пришел в себя, медведица уже сидела на нем верхом и терзала ему бока своими ужасными когтями.

Бык ревел от бешенства и бросался то вперед, то назад, таща на себе медведицу. Наконец он тяжело скатился с берегового обрыва в реку, и только тогда, спасаясь сама, медведица оставила его.

II

Богатый скотовод — старый полковник Пикетт объезжал свои стада. Проезжая под горой, он услышал отдаленный рев. «Верно, быки подрались»,— подумал он.

Сначала он не обратил на это никакого внимания. Однако вскоре увидел, что часть его скота роет копытами землю. Подъехав ближе, он разглядел, что сам «хозяин», большой бык, весь в крови. Его спина и бока были истерзаны когтями, а голова разбита, как после стычки с другим быком.

— Гризли,— проворчал Пикетт.

Винтовка была с ним, и он быстро поехал по следам быка. Доехав до усеянного галькой брода неподалеку от того места, где Литл-Пайни впадает в Грейбули, он перебрался на другой берег и начал взбираться вверх по откосу. Как только голова Пикетта поднялась над краем откоса, он увидел прямо перед собой все семейство: медведицу и четверых медвежат.

Медведица знала, что люди всегда ходят с ружьями. «Бежим в лес!» — проворчала она.

Мать боялась не за себя, а за своих дорогих крошек. Она уже повела их к лесной чаще, когда началась ужасная пальба.

Паф! — и сердце бедной матери сжалось в смертельной тоске.

Паф! — и бедная малютка Мохнатка покатилась со стоном и замолкла.

С бешеным ревом медведица повернулась и бросилась на человека, но — паф! — и она сама упала со смертельной раной. Оставшиеся медвежата, не зная, что им делать, побежали обратно к матери.

Паф, паф! — и Лыска с Кудряшом упали рядом с нею в предсмертных судорогах.

Испуганный и ошеломленный, Уэб обежал кругом Лыски и Кудряша. Потом, едва ли сознавая зачем, пустился в лес и скрылся там. Но последний выстрел нагнал и его. Этот выстрел попал в одну из задних лапок и перебил ее.

Всю ночь маленький хромой медвежонок бродил по лесу. Бедный Уэб ковылял на трех лапах. Каждый раз, когда он пробовал ступить на больную лапу, из нее текла кровь, и он плакал и стонал:

«Мама, мама, мама! Где же ты?»

Медвежонок озяб, проголодался, и у него очень сильно болела нога. Но мать уже не могла прибежать на его зов, а сам он боялся вернуться туда, где ее оставил, и продолжал бесцельно бродить между деревьями.

Вдруг он почуял какой-то странный запах и, не зная, что делать, вскарабкался на дерево.

Под деревьями показалось несколько высоких, длинноногих, тонконогих животных. Уэб видел их однажды, когда он был с матерью. Тогда он их не испугался, а теперь совсем тихо притаился на дереве. Однако большие животные, подойдя к дереву, перестали щипать траву и, потянув носом воздух, быстро скрылись из виду.

А бедняжка Уэб просидел на дереве почти до утра и так закоченел от холода, что еле мог слезть вниз. Но взошло жаркое солнце, он почувствовал себя лучше и стал искать ягоды и муравьев, потому что был очень голоден.

Потом он отправился обратно к родной реке и опустил раненую лапу в холодную, как лед, воду. Ему хотелось уйти в горы, но он решил прежде побывать там, где остались мать и братья. После полудня стало совсем тепло, и он заковылял лесом вниз, а затем по берегу реки Грейбули. Уэб шел, шел и дошел до того места, где вчера, объедаясь рыбой, они пировали все вместе с матерью. Рыбьи головы еще валялись здесь, и он их с жадностью подобрал. Но откуда-то доносился странный, отвратительный запах. Этот запах пугал медвежонка. Когда он приблизился к тому месту, где в последний раз видел мать, запах еще больше усилился. Осторожно выглянув из-за деревьев, медвежонок увидел стаю койотов, терзавших что-то.

Что это было, он не знал, но матери его тут не было, а запах становился все сильнее и сильнее, и Уэб почувствовал себя скверно. Он повернул тихонько назад, в лес, и решил больше не возвращаться сюда. Ему по-прежнему хотелось увидеть мать, но он догадывался, что искать ее бесполезно.

Наступила холодная ночь. Бедный медвежонок все больше тосковал по матери. Горько всхлипывая, ковылял все дальше и дальше бедный беспризорный сиротка медвежонок. Он был болен и одинок, нога мучила его, а желудок жаждал материнского молока, которого ему больше никогда не придется отведать! В эту ночь он нашел поваленное дуплистое дерево и заполз туда. Он постарался представить себе, свернувшись поудобнее, что лежит в объятиях больших лохматых лап своей матери, и, убаюканный этими мечтами, заснул.

III

Уэб всегда был угрюмым медвежонком, а несчастья сделали его еще более мрачным.

Все, казалось, было против него. Он старался не выходить из леса. Днем Уэб искал пищу, а ночь проводил в дупле дерева. Однажды вечером его дупло занял дикобраз, ростом с него самого и колючий, как кактус. Медвежонок ничего не мог с ним поделать и должен был покинуть свое жилище.

Как-то раз Уэб спустился к Грейбули поискать вкусных кореньев, которые показывала ему мать. Однако не успел он приняться за работу, как из норы в земле выскочил какой-то серый зверь и с ворчаньем и шипеньем бросился на медвежонка. Это был барсук. Уэбу он показался очень свирепым животным, к тому же Уэб был болен и хром. Он поспешно заковылял прочь и не остановился до тех пор, пока не дошел до перевала в соседнее ущелье. Но тут его заметил койот и побежал за ним, подзывая еще одного койота. Уэб влез на ближайшее дерево, койоты прыгали и лаяли внизу. Но вскоре они поняли, что на дереве сидит серый медвежонок и, значит, где-нибудь поблизости должна быть медведица, а потому сочли за лучшее оставить его в покое.

Койоты скрылись, и Уэб слез с дерева. Он решил вернуться обратно на свою реку Пайни. Корм был, правда, лучше на Грейбули, но, с тех пор как он лишился матери, казалось, все были против него. На Пайни же его, по крайней мере, никто не тревожил. К тому же там было много деревьев, где можно было укрываться от врагов. Раненая лапа заживала медленно. Собственно говоря, она так и не выздоровела вполне. Закрылась рана, прошла боль, но подошва срослась совсем не так, как на другой лапе, и Уэб всегда слегка прихрамывал. Это было особенно

неудобно, когда приходилось влезать на дерево или быстро удирать от врагов.

Врагов же у сиротки Уэба было много, а друзей не было совсем. Его единственным и лучшим другом была погибшая мать. Много, много несчастий выпало на долю бедняжки Уэба, рано лишившегося матери,— так много несчастий, что только благодаря своей природной выносливости пережил он их.

В этом году был урожай на кедровые шишки. С каждым порывом ветра на землю сыпались спелые орехи. Уэбу стало жить немного легче. Он набрался здоровья и сил. Теперь уже те животные, которых он встречал каждый день, не трогали его.

Но однажды утром, когда он лакомился кедровыми орехами, с горы спустился большой черный медведь. Уэб быстро полез на ближайшее дерево. Черный медведь почуял запах серого медведя и сначала струсил. Увидев, что это еще медвежонок, он осмелел и, рыча, погнался за Уэбом. Черный медведь лазил очень хорошо, и как высоко ни карабкался Уэб, он лез за ним. Наконец наш медвежонок уцепился за самую высокую, тонкую ветку. Тогда черный медведь безжалостно сбросил его вниз. Хромая, со стонами улепетывал разбитый, исцарапанный и оглушенный Уэб. Черный медведь мог погнаться за ним и совсем доконать его, но он боялся, что серая медведица бродит где-нибудь поблизости. Так черный медведь изгнал Уэба из прекрасных кедровых лесов.

А на берегах Грейбули стало совсем мало корма: ягоды почти все сошли, не было ни рыбы, ни муравьев.

Бедный, одинокий Уэб должен был уходить все дальше и дальше в поисках пищи.

Как-то раз в зарослях полыни за ним погнался койот. Уэб побежал, но койот настиг его. С неожиданным приливом храбрости, рожденной отчаянием, Уэб обернулся и сам бросился на койота. Озадаченный койот струсил и убежал, поджав хвост.

Так Уэб узнал, что в лесу мир покупается ценой войны.

Но и в новых местах было мало пищи. Тогда Уэб направился к далеким кедровым лесам в ущелье реки Мититсé. Здесь он внезапно увидел человека, совершенно такого же, как тот, который убил его мать. В ту же минуту раздалось «паф!» — и как раз над ним зашуршали и упали стебли полыни. Уэб вдруг вспомнил все запахи и звуки того страшного дня и пустился бежать так, как еще никогда не бегал. Вскоре он достиг оврага и спустился по нему в ущелье. Уэб увидел расселину между двумя скалами и решил, что это будет хорошим убежищем. Однако когда он подошел поближе, ему навстречу выскочила одичавшая корова; она угрожающе фыркала и трясла рогатой головой.

Медвежонок прыгнул на ствол ближайшего дерева, но сейчас же на другой стороне этого дерева показался дикий кот. Бедный

Уэб принужден был и отсюда убраться: дикий кот отнесся к нему недружелюбно, а спорить теперь было не время. С горечью убеждался бедный медвежонок, что весь свет полон врагов. Нечего было делать — он влез на скалистый откос и пошел в глубь кедровых лесов Мититсе.

Однако здесь его появление совсем не понравилось белкам, и они подняли страшный крик. Белки боялись за свои орехи — они знали, что медведь пришел их грабить. Они прыгали вслед за Уэбом по ветвям и осыпали его сверху крикливой руганью, стараясь шумом привлечь какого-нибудь врага. В этом, собственно, и состояла хитрость белок.

Пока не было видно никого из врагов, но медвежонок уже забеспокоился и шел не останавливаясь до верхней опушки леса, где было мало корма, но мало и врагов. Только тут, где леса кончались и начинались пастбища горных овец, он смог наконец спокойно отдохнуть.

IV

Преследования многочисленных врагов ожесточали Уэба всё больше и больше. И почему все не дают покоя ему, несчастному? Почему все, решительно все против него? О, хоть бы вернулась его мать! О, если бы он мог расправиться с черным медведем, который прогнал его из родного леса! Он пока еще не догадывался, что со временем он станет большим. Даже этот негодный дикий кот и тот прогнал его; а человек хотел застрелить его. О, он не забыл никого из своих врагов и всех их ненавидел!

На этот раз Уэб поселился в довольно хорошем месте. Кругом было много орехов. Скоро его чутье стало ему подсказывать, где находятся зимние запасы белок. Эти находки, конечно, причиняли большое горе белкам, но Уэб был очень счастлив, так как орехи — превкусная вещь. Когда дни начали уменьшаться, а по ночам стало подмораживать, Уэб сделался гладким и жирным.

Теперь Уэб путешествовал по всем лесам ущелья Мититсе. Бóльшую часть времени он проводил в верхних лесах, но иногда спускался за пищей почти до самой реки.

Раз ночью, проходя по берегу, он почувствовал какой-то особенный запах, который ему показался очень приятным. Уэб подошел к самой воде. Запах шел от погруженного в воду бревна. Уэб полез на него, но вдруг что-то громко щелкнуло, и одна из его лап оказалась в крепком, стальном бобровом капкане.

Уэб завыл и изо всей силы дернулся назад и вытащил кол, к которому был прикреплен капкан. Сначала он старался стряхнуть этот капкан, потом побежал в кусты, волоча его за собой.

Он стал кусать его зубами, но холодный, крепкий, стальной капкан не двигался с места и продолжал спокойно висеть на лапе медвежонка. Каждую минуту Уэб останавливался, царапал ненавистный капкан, колотил им о землю. Он пробовал зарыть его в землю, влезал с ним на дерево, надеясь хоть таким образом избавиться от него, но капкан все так же впивался в его лапу. Тогда Уэб пошел в лес, сел там и стал думать, что делать с этим капканом. Он никак не мог понять, что это за штука. В его зеленовато-коричневых глазках отражались и боль, и страх, и ненависть к этому новому врагу.

Уэб прилег под кустом, собираясь разгрызть капкан. Он прижал один конец капкана лапой, а другой конец зажал в зубах. Стальные челюсти капкана раскрылись и освободили лапу Уэба.

Уэб совершенно случайно нажал одновременно обе пружины. Он не понял, почему именно освободился от капкана, но вся эта история глубоко запечатлелась в его памяти, и он представлял все это себе таким образом: «Среди врагов есть один маленький, который прячется у воды и там подстерегает медвежат. Враг этот сильно пахнет. Он хватает за лапу, и его самого никак нельзя укусить. Его можно снять, только крепко нажав».

Почти неделю болела у маленького Уэба лапа, попавшая в капкан. Но она болела сильно только тогда, когда приходилось лазить по деревьям.

Стояла ранняя осень. Лоси оглашали горы трубными звуками. Каждую ночь слышал Уэб эти звуки. Несколько раз приходилось ему влезать на деревья, спасаясь от большерогого лося. Приходили теперь в лес звероловы, а вверху раздавались крики диких гусей. Появилось в лесу и несколько новых запахов. На один из этих запахов пришел Уэб. Он подошел к месту, где было навалено в кучу несколько коротких бревен. Тут к манящему запаху примешался еще и тот ненавистный запах, который он хорошо запомнил с того дня, как потерял мать. Запах этот был не очень сильный. Уэб осторожно обнюхал кругом и убедился, что этот отвратительный запах шел от переднего бревна, а вкусный запах шел из-под кустарника позади. Медвежонок обошел сзади, раздвинул кустарник, добрался до приманки — мяса. Как только он схватил мясо, бревно с шумом шлепнулось о землю.

От неожиданности Уэб подскочил, но все же успел уйти благополучно с куском мяса и несколькими новыми понятиями. Он еще тверже убедился, что «этот ненавистный запах всегда не к добру».

Погода становилась все холоднее, и Уэба сильно клонило ко сну. Когда бывал мороз, он спал целые дни. Определенного места для спанья он не имел, но все же у него было несколько сухих мест для хорошей погоды и один-два уголка на случай бури. Особенно любил он лежать в удобном гнездышке под корнями. И вот однажды, когда поднялся ветер и пошел снег, Уэб забрался

в это гнездышко, свернулся клубочком и заснул. Вьюга все усиливалась, все больше и больше падало снега. Снег покрывал ветви деревьев, ветви сгибались под тяжестью снега, он падал, но вскоре ровные хлопья вновь густо засыпали ветки. Снег носился по горам, заметал долины. Ветер наполнял снегом овраги до краев. Над убежищем Уэба навалило целый сугроб. Этот сугроб прекрасно защищал его от холода, и Уэб в своей берлоге все спал да спал.

V

Как все медведи, Уэб проспал всю зиму. Когда же наступила весна и Уэб проснулся, он понял, что спал очень долго. Уэб мало изменился: он подрос и немного похудел. Он был очень голоден и потому, пробившись сквозь толщу снега, еще закрывавшую его берлогу, отправился на поиски пищи.

Однако сейчас не было ни кедровых орешков, ни ягод, ни муравьев. Уэб стал усиленно нюхать воздух, и чутье привело его к ущелью, где лежал погибший зимой лось. Уэб наелся вдоволь, а оставшуюся тушу припрятал. Каждый день приходил он к этому месту и пировал. Однако вскоре от лося ничего не осталось, и два месяца он голодал. За эти месяцы Уэб постепенно потерял весь жир, который у него еще остался после зимней спячки.

Как-то раз он перешел за водораздел в другую долину, и там в густом лесу ему послышался запах другого серого медведя. Уэб пошел навстречу этому запаху и пришел к одинокому дереву у медвежьей тропинки. Он поднялся на задние лапы и стал обнюхивать дерево; оно сильно пахло медведем. Грязь и клочья шерсти были так высоко, что Уэб не мог их достать. Очевидно, об это дерево чесался очень большой медведь. Уэб встревожился. Ему давно хотелось встретить какого-нибудь медведя своей породы, но теперь ему стало страшно. В своей одинокой жизни он видел только врагов, и теперь он не знал, как встретит его этот большой медведь.

Пока Уэб стоял, размышляя, что делать, на склоне горы показался сам старый медведь. Он шел опустив голову, по временам останавливался и вырывал лапой дикую репу или сладкий корень.

Этот старый медведь был похож на громадное чудовище. Уэб сразу почувствовал опасность и пробрался между деревьями на выступавшую скалу. Здесь он стал наблюдать, что будет делать медведь.

Вот медведь увидел следы Уэба. Он злобно зарычал и пошел по следам к дереву. Здесь он поднялся на задние лапы и стал рвать когтями кору с дерева. Он доставал гораздо выше, чем Уэб.

К стр. 394

Затем медведь оставил дерево и быстро пошел по следу Уэба. Уэб сильно испугался и побежал обратно в свое ущелье: он смутно понимал, что раз там мало корма, другой медведь туда не пойдет.

Приближалось лето, и Уэб начал линять. У него чесалась кожа, и он с большим удовольствием валялся в грязи и скреб себе спину о корни и камни. Лазить по деревьям он теперь уже не мог: у него отросли очень длинные когти, а передние лапы, хотя и были уже большие, утратили ту гибкость, благодаря которой медвежата-гризли и черные медведи так хорошо лазят. Теперь у Уэба выработалась новая медвежья привычка: почесываясь о дерево, он пытался как можно выше достать своим носом. Пожалуй, Уэб и сам еще не замечал того, что каждый раз, когда он приходил к одному и тому же дереву через неделю или две, он доставал всё выше. Он теперь быстро рос и входил в силу.

Уэб бывал то в одной, то в другой части ущелья Мититсе и всюду чувствовал себя хозяином. Он чесался о разные деревья и всюду на деревьях оставлял отметины. Таким образом он сам обозначал границы своих владений.

Стояло уже позднее лето. Однажды Уэб увидел в своих владениях черного медведя с лоснящейся шерстью. Уэб очень рассердился. Черный медведь подошел ближе, и Уэб ясно рассмотрел его коричнево-красную морду, белое пятно на груди, разрез его ушей, услышал его запах. И запах этот был такой же, какой был у черного медведя, который прогнал маленького Уэба с берегов его родной Пайни. Но какой же теперь он стал маленький, этот черный медведь! Было время, когда черный медведь казался Уэбу великаном, а теперь Уэб чувствовал, что может раздавить его лапой. И Уэбу приятно было сознавать, что он может теперь отомстить этому красноносому медведю. Однако черный медведь вскочил, как белка, на невысокое дерево. Уэб хотел полезть за ним, но никак не мог вскарабкаться. Он оставил попытки взобраться на дерево и ушел, хотя черный медведь своим насмешливым кашлем заставлял его несколько раз возвращаться обратно. Немного позже в этот же самый день Уэб опять пришел к этому дереву, но красноносого уже нигде не было.

Лето подходило к концу. На высотах стало мало корма. Однажды ночью Уэб решился спуститься в поисках пищи к Нижней Мититсе. Ветер нес какой-то приятный запах, и по этому запаху наш медведь набрел на тушу павшего быка. На некотором расстоянии от него сидело несколько койотов. Они показались Уэбу совсем карликами по сравнению с теми койотами, которых он видел когда-то. Один койот стоял около самой падали. Он бессмысленно скакал на одном месте, и казалось, что он никак не может отсюда уйти. Уэб увидел его, и старая ненависть проснулась в его сердце. Он бросился на койота и одним ударом лапы превратил его в жалкий комок шерсти. Тут Уэб почуял ненавистный

ему запах железа: убитый койот бессмысленно топтался на месте потому, что был пойман в капкан.

Уэб сделал несколько шагов, как вдруг — щелк! — и его лапа попала в волчий капкан.

Но Уэб вспомнил, как он однажды освободился от капкана. Он наступил задними лапами на обе пружины, прижал их и освободил защемленную лапу.

Всюду в этих местах был противный Уэбу запах человека. Он пошел вниз по течению реки, но запах доносился и сюда. Тогда он повернул обратно, к своим кедровым лесам.

VI

Наступало третье лето жизни Уэба. Теперь он уже достиг роста взрослого медведя, но у него еще не было настоящей медвежьей дородности и силы. Шерсть его очень посветлела. Тогда-то охотник, индеец Спава́т, не раз охотившийся за ним, и прозвал его «Уэб», то есть «Светлая шкура».

Спават был хороший охотник, и, как только он увидел у верховьев реки Мититсе дерево, о которое чесался Уэб, он сразу сообразил, что это большой медведь и что он должен находиться где-нибудь поблизости. Много дней он ходил по долине, прежде чем ему удалось выстрелить в медведя, но он только ранил Уэба в плечо. Уэб страшно заревел от боли, но желания сразиться с врагом у него не было. Он стал карабкаться вверх, перебрался через предгорья, нашел спокойное местечко и лег. Инстинкт подсказал ему, как нужно лечиться. Он стал лизать рану и старался лежать не шевелясь. Лучшего лечения нельзя было и придумать. Вылизав рану, он удалил с нее грязь, а шерсть его слиплась от слюны, и на ране образовалось нечто вроде повязки. Она предохраняла рану от воздуха, пыли и микробов.

Но Спават шел по следам медведя. Уэб в своем убежище почувствовал запах приближающегося врага и спрятался в другом месте — повыше, на горе. Но скоро Уэб и здесь услышал запах охотника — опять пришлось уходить. Долго отступал он перед врагом, пока наконец второй выстрел Спавата не нанес ему новую рану. Тут уже Уэб пришел в бешенство. С тех пор как была убита его мать, он ничего так не боялся, как запаха человека, железа и ружья, но теперь у него прошел всякий страх. Пересиливая боль, Уэб поднялся выше на гору, прошел под огромным уступом, обогнул его, поднялся еще выше, потом повернул обратно к этому уступу и, растянувшись, притаился на нем.

Спават быстро подвигался вперед по следам медведя. Вооруженный ружьем и ножом, он ловко отыскивал следы Уэба; с большой радостью смотрел он на кровавые отпечатки, оставленные

раненым зверем. Он весело поднимался по склону горы, покрытому острыми камнями. А наверху, на выступе, едва сдерживая боль и бешенство, подстерегал его Уэб. Упрямый охотник подходил все ближе и ближе. Все его внимание было занято кровавыми следами медведя. Он ни разу не посмотрел на вершину уступа.

Уэб прекрасно видел приближавшегося индейца, который нес ему смерть, слышал противный человеческий запах. Он собрал все силы, оперся на израненную дрожащую лапу и приподнялся. Он выжидал. Дождавшись, он здоровой лапой нанес один сокрушительный удар. В этом ударе соединилась вся непомерная природная сила Уэба с отчаянной ненавистью к охотнику. Индеец упал, даже не застонав. Тогда Уэб встал и пошел разыскивать новое, спокойное местечко, чтобы полечить свои раны. С тех пор он больше ни разу не видел индейца Спавата и мог спокойно поправляться.

Так Уэб узнал, что, если хочешь мира и спокойствия, нужно сражаться и бороться.

VII

Годы шли, почти ничего не изменяя. Только каждую новую зиму Уэб спал все менее крепко и каждую новую весну просыпался все раньше. Он превратился в огромного медведя, и все меньше оставалось врагов, решавшихся встречаться с ним один на один. Через шесть лет он был уже громадным, сильным, угрюмым медведем. Он не знал в своей жизни ни любви, ни дружбы с тех самых пор, как потерял мать и братьев.

Пора любви медведей наступала и проходила год за годом, но никто никогда не слыхал, чтобы у Уэба была подруга. Уэб в расцвете своих сил был так же одинок, как и в дни юности. Медведю нехорошо оставаться одному. Его угрюмость вырастала вместе с его силой. Теперь всякий, кто имел бы несчастье встретиться с ним, назвал бы его опасным медведем.

Попав когда-то в долину Мититсе, Уэб так и продолжал там жить. Характер его сложился под влиянием множества приключений с капканами и столкновений с другими дикими зверями. Правда, теперь уже никто из диких зверей ему не был страшен. Капканы также не были страшны, потому что он научился прекрасно распознавать острый запах железа и человека. Особенно хорошим уроком послужило для него то, что ему пришлось пережить на шестом году жизни.

Однажды он почуял, что в лесу лежит падаль, пошел на запах и увидел великолепную тушу мертвого лося.

Самое лучшее место этой туши было уже растерзано. Ужасный запах человека и железа еле-еле ощущался здесь, а лакомство

было так заманчиво. Уэб обошел вокруг туши, поднялся на задние лапы, осмотрел ее с высоты своего восьмифутового роста и осторожно пошел вперед. Вдруг он взревел от боли и стал бешено метаться во все стороны: его правую переднюю лапу защемил громадный медвежий капкан.

Уэб принялся яростно грызть капкан, из пасти у него от бешенства била пена. Затем он пробовал применить свой старый прием: опершись обеими задними лапами на обе пружины, он давил на них всей своей тяжестью, но этого было мало. Тогда Уэб вытянул кол и, гремя капканом, потащил его за собой на гору. Всеми силами он старался освободить свою лапу, но все было напрасно. Случайно ему попалось на глаза толстое поваленное дерево, которое лежало поперек дороги. Уэбу пришла в голову счастливая мысль. Подойдя к лежащему дереву, он надавил опять задними лапами на пружины капкана, а сам уперся могучими плечами в ствол дерева и собрал все свои гигантские силы. На этот раз капкан не выдержал, челюсти его раскрылись, и Уэб вытащил лапу. Лапа была свободна, но в капкане остался оторванный палец.

Уэбу опять пришлось залечивать болезненную рану. Кроме того, он стал на некоторое время левшой. Так, например, когда ему нужно было перевернуть камень, он становился на правую переднюю лапу и работал левой лапой. В результате Уэб лишился возможности есть те вкусные вещи, которые можно находить под камнями и пнями.

Наконец рана зажила. Однако этого случая Уэб уже никогда не забывал. С этих пор запах человека и железа приводил его в бешенство. Частый опыт научил его, что, если чуешь или слышишь охотника издалека, лучше бежать. Если человек уже близко, надо начинать отчаянный бой.

Вскоре все пастухи узнали, что в верховьях реки Мититсе живет медведь, которого лучше не трогать.

VIII

Как-то раз Уэб спустился в низовья своей реки. Он тут не был долгое время и теперь с большим удивлением увидел деревянную берлогу, в каких живут люди. Уэб обошел кругом, стал под ветер и тотчас услышал запах человека и ружья, приводивший его в бешеную ярость. Тотчас же раздалось громкое «паф!» — и Уэб почувствовал сильную боль в той самой левой задней лапе, которая уже давно была искалечена. Уэб обернулся и увидел человека, который бежал к построенной хижине. Если бы Уэба ранили в плечо, он был бы бессилен, но его ранили только в лапу.

Могучие лапы Уэба могли швырять сосновые бревна, как палочки; один удар этих лап мог уложить самого большого горного быка; когти его могли отрывать огромные куски камня от скалы,— что же значило для него даже смертоносное ружье?

Вечером в хижину вернулся компаньон человека, стрелявшего в Уэба. На залитом кровью полу хижины он нашел мертвое тело своего товарища. По кровавым следам возле дома и по записке, написанной дрожащей рукой на обрывке газеты, он узнал обо всем.

В записке говорилось:

Меня растерзал Уэб. Я увидел его у воды и выстрелил.
Я хотел убежать в дом, но он догнал меня. Как мне больно!
Джек.

Прочтя записку, Миллер, товарищ Джека, поклялся убить этого медведя. Он отправился по следам Уэба в ущелье и бродил там целыми днями. Он раскидывал приманки, ставил капканы и однажды услышал треск, стук, глухие удары, а затем увидел, как громадный камень скатился по склону горы в лес, по дороге спугнув двух оленей, которые умчались как стрела.

Сначала Миллер подумал, что случился обвал. Однако вскоре он понял, что камень скатил Уэб, чтобы достать из-под него двух-трех муравьев.

Ветер дул от Уэба к человеку, и Миллеру удалось как следует разглядеть медведя, оставаясь незамеченным.

Громадный Уэб бродил, разыскивая пищу. Он старался не ступать на левую заднюю лапу и глухо рычал, когда неосторожное движение вызывало боль.

Миллер притаился и подумал: «Или я его сейчас уложу, или промахнусь». Он оглушительно свистнул.

Медведь остановился как вкопанный, насторожив уши, и Миллер выстрелил ему в голову. Но медведь чуть-чуть повернулся, и пуля только поцарапала громадную косматую голову. Дым указал Уэбу место, где был человек, и в страшной ярости он галопом помчался за врагом.

Миллер бросил ружье и легко взобрался на единственное высокое дерево, находившееся вблизи. Напрасно Уэб бушевал около дерева, рвал кору зубами и когтями; до того места, где сидел охотник, он не мог дотянуться.

Четыре часа подряд караулил охотника Уэб, затем медленно ушел в кусты и скрылся там. Миллер сидел еще целый час на дереве, чтобы удостовериться, что Уэб действительно ушел. Затем он слез с дерева, взял свое ружье и направился домой. Однако Уэб был достаточно хитер: он только притворился, что уходит, а сам вскоре вернулся и стал опять караулить. И как только Миллер отошел от дерева настолько, что не мог успеть

опять добежать до него, медведь бросился его догонять. Несмотря на свои раны, он двигался быстрее Миллера и через четверть мили сделал с человеком то, что собирался сделать человек с медведем.

Лишь много времени спустя товарищи нашли ружье Миллера и догадались, как было дело.

Хижина в долине Мититсе развалилась. Новых жильцов она не дождалась: никому не хотелось селиться в этой малопривлекательной местности, где царствовал такой ужасный медведь.

IX

Потом в верховьях Мититсе нашли золото; тотчас же появились золотоискатели. Они блуждали среди горных вершин, копали землю и портили ручейки. Большей частью это были пожилые люди, начинающие седеть. Они жили постоянно в горах и походили на медведей. Подобно медведям, они копали и рылись везде, но не ради вкусных, питательных кореньев, а ради блестящего желтого песка, который нельзя есть. И, подобно медведям, они очень хотели, чтобы их оставили в покое и не мешали им рыться в земле.

Казалось, они понимали Уэба. Когда Уэб встретил их в первый раз, он поднялся на задние лапы и в глазах его загорелись злые огоньки. Старший из золотоискателей сказал своему товарищу:

— Не трогай его — и он нас не тронет.

— Но ты посмотри, что за громадина! — ответил тот.

Уэб уже собрался броситься на них, но почему-то остановился. Он, конечно, не понял, о чем говорили люди между собой, но почувствовал в них что-то иное, чем всегда. Он чувствовал и здесь запах человека и железа, но запах не был таким острым и потому не приводил его в ярость.

Люди продолжали стоять неподвижно. Тогда Уэб, глухо рыча, опустился на четвереньки и ушел.

В конце этого года Уэб опять встретил красноносого медведя, но какой он был теперь маленький! Одним ударом Уэб мог бы перебросить его через Грейбули.

Увидя Уэба, черный медведь поспешно влез на дерево. Это был толстый, жирный медведь, он пыхтел от усилий. Уэб подошел к дереву, приподнялся и достал лапой на девять футов от земли. Затем Уэб сорвал когтями всю кору с дерева. От каждого удара его когтей тряслось все дерево, трясся и черный медведь и вскрикивал от страха.

При виде этого черного медведя Уэб вспомнил о родной Па́лии и о тамошних лесах, богатых всякой едой. Уэб оставил

дрожащего медведя на дереве и отправился вниз по Мититсе, потом по Грейбули и несколько часов спустя очутился в знакомых лесах нижней Пайни, богатых ягодами и муравейниками.

Какие это были чудесные места! К тому же там не было никаких признаков пребывания хотя бы одного серого медведя. Владели этими местами черные медведи, но на них можно было не обращать никакого внимания.

Уэб был очень доволен. Он прежде всего выкупался в грязи. Затем подошел к дереву, которое стояло как раз у слияния двух рек. Он прислонился спиной к стволу и сделал метку больше чем в восьми футах над землей.

В следующие дни Уэб шел все дальше и дальше по новым местам между скалистыми отрогами Шошóнских гор и ставил свои метки. Если ему встречались сухие деревья с отметками черных медведей, он ударял их своей громадной лапой, и деревья с треском валились на землю; если же отметки черных медведей были на зеленых деревьях, он ставил на этих же самых деревьях гораздо выше собственные метки, закрепляя их глубокими царапинами своих железных когтей.

В этих местах долго хозяйничали черные медведи. Они истребляли беличьи запасы в дуплах деревьев, и белки стали устраивать теперь свои склады в углублениях под большими плоскими камнями. Черные медведи не могли перевернуть эти камни. Но для Уэба, который переворачивал их с легкостью, здесь было приготовлено множество пищи. Под каждым четвертым или пятым камнем в лесу он находил беличьи запасы, а иногда там же была и маленькая хозяйка склада. Уэб бесцеремонно прихлопывал ее лапой и съедал как приправу к ее же запасам.

Всюду, где шел Уэб, он ставил свои надписи:

«Нарушители границ, берегитесь!»

Эти надписи помещались на деревьях так высоко, как он только мог достать. Всякий, кто подходил к этим отметкам на деревьях, по запаху и по шерсти, оставляемой Уэбом, догадывался, что в этой местности поселился громадный серый медведь.

Если бы Уэба воспитывала мать, она научила бы его, что там, где хорошо весной, очень плохо летом. А Уэбу пришлось самому узнавать, что в каждое время года нужно менять местожительство.

Ранней весной хорошо пировать в местах, где пасется скот и водятся лоси. Здесь бывает много трупов погибших зимой животных. Ранним летом лучше всего добывать пищу на пригретых солнцем склонах холмов. Там можно найти разные вкусные коренья и дикую репу. В конце лета поспевает много ягод на кустах в низинах вдоль рек. Осенью же в сосновых лесах есть много пищи, и там можно запастись жиром на зиму.

С каждым годом, переходя с места на место, Уэб расширял свои владения.

Он не только очистил от черных медведей бассейны рек Пайни и Мититсе, но отправился за водораздел и убил старого гризли, который когда-то прогнал его оттуда.

Уэб умел не только завоевывать новые места, но и отстаивать их.

Как-то раз во владениях Уэба, по среднему течению реки Мититсе, разбили лагерь люди, искавшие место для постройки фермы. Уэб разогнал их лошадей и разгромил весь лагерь.

Теперь все животные и люди хорошо узнали, что вся местность от пика Франко до отрогов Шошонских гор принадлежит властелину, которого зовут Уэб с Мититсе и который умеет защищать свои владения от всяких посягательств.

Тот, кто так силен, что может не опасаться открытого нападения, обычно утрачивает хитрость. Но Уэб не забыл своих приключений с капканами в дни юности. У него выработалось строгое правило: никогда не подходить близко к месту, где пахнет железом и человеком, и потому он больше уже не попадался.

Итак, одинокая жизнь Уэба проходила в скитаниях по горам, где в поисках пищи он разбрасывал громадные валуны, словно камешки, и огромные стволы деревьев, словно спички. Теперь уже все животные в горах и на равнинах знали Уэба и в ужасе бежали от этого чудовища, которое когда-то было несчастным, всеми гонимым медвежонком.

Много черных медведей убил Уэб, как бы мстя за то, что когда-то сделал Уэбу один из них. Дикие кошки, завидя его, спешили скрыться на деревьях, но если дерево было сухое, Уэб валил его на землю и превращал в мелкие кусочки вместе с кошкой. Даже гордый жеребец, предводитель табуна мустангов, и тот при встрече с Уэбом предпочитал уступать ему дорогу. При появлении Уэба уходили прочь и оставляли свежеубитую добычу большие серые волки и горные львы. Испуганные антилопы стремительно уносились от него, когда он пробирался по заросшей полынью равнине. Если же Уэбу случалось встретиться с каким-нибудь быком, слишком большим, чтобы испугаться, и слишком неблагоразумным по молодости, он одним ударом громадной лапы разбивал быку череп. Много всяких лишений и бедствий пришлось перенести Уэбу в молодости, но от этого он стал только выносливее, опытнее и умнее.

Так и проходила год за годом жизнь Уэба: без подруги, без товарищей. Всегда угрюмый, ничего не боящийся, всегда готовый к бою, он больше всего хотел только одного — чтобы его оставили в покое. Он знал только одно острое удовольствие — постоянное наслаждение своей гигантской силой, легкую радостную дрожь в ту минуту, когда падал побитый и изуродованный враг или когда он пробовал свою чудовищную силу, выворачивая огромные камни.

X

Для тех, у кого хорошо развито обоняние, каждая вещь имеет свой запах. Всю свою жизнь Уэб изучал разные запахи. Теперь он уже прекрасно знал значение большинства тех запахов, которые встречаются в горах. Каждый предмет рассказывал о себе Уэбу своим запахом. И каждая вещь как бы говорила Уэбу: «Вот я кто!»

Все ягоды можжевельника, шиповника, земляники нежным, мягким голосом пели: «Вот мы, ягоды, ягоды!» Громко пели громадные хвойные леса: «Вот мы, сосны, кедры!»

А когда Уэб подходил ближе к этим лесам, он слышал нежное: «Вот мы, кедровые орешки!»

Из зарослей кустов со сладкими корнями доносился целый хор: «Сладкие коренья, сладкие коренья!»

И когда Уэб входил в эти заросли, он слышал каждый отдельный голос.

Каждый корень произносил свою собственную маленькую речь, например: «Вот я, крупный корень, спелый и вкусный!», или же резким, тонким голосом: «Вот я, никуда не годный жесткий корешок!»

Громко звали осенью широкие, сочные грузди: «Вот я, жирный, питательный гриб!»

Ядовитый гриб поганка кричал: «Я — поганка, не тронь меня, ты заболеешь!»

Цветы также имели свои голоса. По склонам ущелий слышна была песня колокольчиков, тонкая, как их стебельки, и нежная, как голубой цвет лепестков. Но голоса цветов не интересовали Уэба, он их даже не замечал.

И так всякое живое существо, каждый цветок, каждая скала, каждый камень рассказывали о себе носу нашего Уэба. Днем и ночью, в туманную и ясную погоду большой влажный нос медведя говорил ему о многих вещах, которые нужно было знать, и не замечал тех вещей, которые медведю неинтересны. С течением времени Уэб стал полагаться на нос все больше и больше. Случалось, что глаза и уши вместе говорили ему о чем-нибудь, но он не верил им до тех пор, пока нос не подтверждал: «Да, это верно!»

Уэб знал сотни приятных запахов. Тысячи запахов были ему безразличны, многие неприятны, но некоторые приводили его в сильную ярость.

Когда Уэб попадал в верхнюю часть ущелья Пайни, он слышал там, если ветер дул с запада, какой-то странный запах. Временами Уэб не обращал на этот запах никакого внимания, временами этот запах был ему противен. Но Уэб никогда не ходил далеко в направлении этого запаха.

По временам северный ветер из-за водораздела доносил до его носа какой-то ужаснейший запах, совершенно ни на что не похожий. Это был запах, от которого хотелось скорее убежать.

Уэб был уже далеко не молод, и его задняя лапа, в которую его столько раз ранили, начинала у него болеть. В сырую погоду или после холодной ночи он еле мог ступить на нее. Однажды, когда у него болела нога и он хромал, западный ветер из ущелья опять принес ему этот странный запах.

Уэб не понимал, что говорит ему этот запах, но какой-то внутренний голос, казалось, звал его к этому запаху, шептал: «Иди!»

Сытому зверю противен запах пищи, но когда зверь голоден, запах пищи манит его. Обычно странный запах, приносимый западным ветром, вызывал отвращение Уэба. Теперь он манил его к себе, и Уэб ковылял вверх по тропинке, на гору, ворчал себе под нос и яростно отмахивался от веток, которые иногда били его по морде.

А странный запах все усиливался и манил. Наконец Уэб пришел в такое место, где раньше никогда не бывал. Это был склон горы, покрытый светлым песком. Со склона текла какая-то странная вода, а из ямы выходил странный пар. Нос Уэба подозрительно насторожился — какой непонятный запах! Уэб побрел вверх по склону. Извиваясь, ползла по песку змея. Уэб так прихлопнул ее, что деревья кругом задрожали, а свисавший камень сорвался и полетел вниз. При этом Уэб так зарычал, что его рык пронесся по долине, как гром. Уэб подошел к покрытой паром яме. Яма была полна воды, которая слегка дымилась и волновалась. Уэб попробовал лапой воду. Она была теплая и вызывала приятное ощущение. Тогда Уэб влез в яму обеими задними лапами. Затем он весь стал погружаться в воду, и вода хлынула из ямы через край. В конце концов он весь растянулся в этом почти горячем серном источнике. Он грелся в зеленоватой воде. Ветер крутил пары над его головой.

Хотя в Скалистых горах и много таких серных источников, но во владениях Уэба этот источник был единственным. Более часа Уэб лежал в воде, а затем решил, что пора вылезать, и выбрался из ямы. Он чувствовал себя необыкновенно легко и хорошо, а ломота в задней лапе совершенно прошла.

Уэб стряхнул воду со своей косматой шубы и отправился к выступу, который был залит солнцем. Там он лег, чтобы отдохнуть, но прежде встал на задние лапы перед ближайшим деревом и оставил здесь свою метку. Около этого источника можно было, правда, найти много признаков пребывания и других животных, лечивших здесь свои недуги, но Уэб с этим не считался.

Теперь около этого источника была надпись, которая бла-

годаря своему запаху, грязи и шерсти ясно говорила всем живым существам:

«Моя ванна. Не подходить! Уэб».

Уэб лежал на выступе и грел спину до тех пор, пока она не высохла. Потом он лег на спину и стал греть живот, тяжело переворачиваясь с боку на бок, пока весь не обсох. Он окончательно убедился, что чувствует себя после ванны очень хорошо. Конечно, он не мог сказать себе: «Я страдаю неприятной болезнью — ревматизмом, и мне хорошо помогают серные ванны», но он ясно понимал: «Мне было ужасно больно и стало лучше, когда я вывалялся в этой вонючей яме».

И с тех пор каждый раз, когда у него начинались боли, он приходил к источнику и каждый раз возвращался поправившимся.

XI

Годы всё шли и шли. Уэб уже больше не рос, но делался все светлее, все злее и все опаснее. Владения его стали действительно громадными. Каждую весну он проходил по всем своим землям и поправлял надписи, стертые зимними вьюгами. Собственно говоря, ходить весной по своим владениям вынуждал Уэба недостаток пищи. К тому же весной бывало всюду много ям с глиной, а Уэб испытывал сильный зуд во всей коже, потому что его зимняя шуба линяла и ему было приятно прикосновение холодной влажной глины, после которого почесыванье о дерево вызывало такое болезненно-острое удовольствие, которое ни с чем нельзя было сравнить. Но как бы то ни было, метки Уэба возобновлялись каждую весну.

Но вот в низовьях реки Литл-Пайни было основано ранчо Палетт. Обитатели его вскоре познакомились со «старым страшилищем». Клеймовщики скота увидели его и сразу решили, что «медведи им ни к чему, и лучше держаться от него подальше и не вмешиваться в его дела». Часто встречать Уэба им не приходилось, но следы и метки его были везде. Однако хозяин ранчо, страстный охотник, очень заинтересовался Уэбом. Кое-что из истории старого медведя он узнал от Пикетта, но и сам догадался об очень многом из жизни Уэба. Он узнал, что в медвежьих капканах Уэб понимает больше, чем звероловы: он или обходит капканы, или вытаскивает приманку, не трогая капкана. Иногда ему даже удается захлопнуть капкан каким-нибудь колом.

И еще узнал хозяин фермы, что каждый год Уэб во время сильной летней жары куда-то исчезает, словно зимой, когда он спит в берлоге.

XII

Много лет назад правительство благоразумно решило превратить область, расположенную у верховьев Йе́ллоустона, в заповедник. Здесь, в этой великой стране чудес, никто не должен был испытывать страха, потому что никому нельзя было причинять вред. И зверь, и птица здесь не знали насилия; девственные леса не знали топора, заводы и шахты не мутили потоков. Здесь все сохранилось в таком виде, каким было до появления белого человека.

Дикие животные скоро узнали об этом заповедном парке. Они быстро усвоили границы этого не огражденного ничем парка и прекрасно зажили здесь, причем и характер их совершенно изменился: здесь, в парке, они без всякого страха встречаются с человеком, не боятся его и сами на человека никогда не нападают. Даже друг к другу в этой стране безопасности животные относятся более терпимо.

Помимо спокойствия, дикие животные находили в Йеллоустонском парке множество пищи, и потому они собирались здесь в таком количестве, как нигде.

Там, в самом центре Йеллоустонского парка, построили гостиницу. Около этой гостиницы собиралось особенно много медведей. В четверти мили от нее в лесу находилась ровная поляна, куда служители каждый день сносили отбросы и остатки пищи для медвежьей трапезы. И с каждым годом все больше медведей принимало участие в этой трапезе. Очень часто там можно было увидеть сразу чуть ли не дюжину медведей различных пород: черных, бурых, коричневых, серых, серебристых, больших и маленьких. Здесь были и целые семьи, и одинокие бродяги. Все они прекрасно понимали, что в этом парке насилие запрещено, и самые свирепые из них вели себя здесь очень тихо. Десятки медведей бродили вокруг гостиницы, порой даже ссорились между собой, но никогда ни один медведь не напал на человека. Из года в год медведи приходили сюда и уходили, и живущие в гостинице часто видели их.

Служащие гостиницы уже хорошо знали многих медведей. Медведи появлялись во время летнего сезона, когда гостиница бывала открыта, и уходили, когда гостиница закрывалась. Никто не знал, откуда они приходили и куда уходили.

Однажды в Йеллоустонский парк попал и владелец ранчо Палетт.

Он остановился в гостинице и отправился на поляну посмотреть медвежью трапезу. Там кормилось несколько черных медведей. К вечеру они быстро удалились, так как к ним приближался громадный серебристый медведь. Указывая на него, проводник сказал владельцу ранчо:

— Это самый большой медведь во всем парке. Хорошо, что он смирный, а то могло бы произойти бог знает что.

— Этот медведь смирный? — удивился владелец фермы.

Он внимательно смотрел на медведя, который шел своей обычной переваливающейся походкой и возвышался, как среди поляны копна сена.

— Да ведь это Уэб с Мититсе! Самый опасный медведь в нашем крае!

— Вряд ли это тот,— сказал проводник.— Он бывает здесь у нас каждый год в течение июля и августа, и я уверен, что он живет где-нибудь поблизости.

— В течение июля и августа? Ну, так и есть, это Уэб! Как раз в это время он исчезает из наших мест,— говорил хозяин ранчо.— Вот посмотрите, он немного хромает на заднюю лапу, а на одной передней у него не хватает когтя... Так вот где он проводит лето! Однако я никогда бы не поверил, что старый буян умеет вести себя прилично вдали от дома.

Уэб стал знаменитостью Йеллоустонского парка. Только один раз он вел себя непозволительно. Это было в первый сезон его пребывания здесь, когда он еще не знал хорошо обычаев парка.

Как-то раз он подошел к гостинице и вошел прямо в парадную дверь. В передней он вытянулся во весь свой восьмифутовый рост и пошел к конторе.

Все постояльцы в ужасе разбежались. Уэб вошел в контору. Сидевший там конторщик сказал: «Если тебе так уж приспичило сидеть в конторе,— пожалуйста, уступаю», перескочил через стол и заперся в телеграфной комнате.

Отсюда он телеграфировал заведующему парком: «Старый медведь расселся в конторе и, как видно, собирается управлять гостиницей. Можно стрелять?» — и телеграфно же получил ответ: «Стрелять в парке не разрешается. Действуйте пожарной кишкой». Конторщик так и поступил. Медведь, совершенно не ожидавший такого оборота дела, тоже перескочил через стол и пустился бежать из гостиницы. Он тяжело топал лапами, стучал по полу когтями. Заблудившись, он побежал к черному ходу и, проходя через кухню, успел стащить висевшую там четверть бычьей туши. Это был единственный его проступок, хотя он и еще раз нарушил мир в парке, но тут была виновата одна медведица, которая сама на него напала. Медведица эта принадлежала к породе черных медведей и славилась своей сварливостью. У нее был жалкий, болезненный медвежонок. Но она гордилась своим сыном и всегда была готова заступиться за него. А медвежонок, избалованный матерью, как и все балованные дети, был капризным задирой. Медведица была очень большая и свирепая и над всеми другими черными медведями легко брала верх, но когда она вздумала прогнать старика Уэба, он дал ей такой шлепок, что она

отлетела прочь, как мячик. Уэб погнался за нею и, наверно, убил бы ее, но медведица успела влезть на дерево. Ее несчастный медвежонок уже сидел на верхушке этого же дерева и визжал от страха.

Этим и окончилось дело с медведицей. В будущем она уже старалась не затевать никаких ссор с Уэбом. И за Уэбом мало-помалу установилась репутация очень мирного медведя. Многие обитатели гостиницы даже думали, что он пришел из каких-нибудь отдаленных мест, где еще нет ни ружей, ни капканов, и потому он такой благонравный.

XIII

Всем известно, что серые медведи из Биттерру́та — самые подлые медведи на свете.

Хребет Биттеррут расположен в самой недоступной части гор. Местность там всюду пересечена глубокими ущельями и поросла густым кустарником.

Верхом проехать там невозможно, стрелять очень трудно.

Там очень удобные места для медведей. Изобилие медведей и привело сюда множество звероловов.

«Лохматые», как называют биттеррутских медведей,— очень хитрые и смелые звери. Старый «лохматый» понимает в растениях и кореньях больше, чем целый ботанический институт, а в капканах он смыслит больше, чем сотня охотников. «Лохматый» с точностью знает, где и когда именно водится та или иная порода червей или личинок. За целую милю чутьем он узнает, с чем идет на него охотник: с ядом, с собаками, с капканом, с ружьем или со всем этим вместе. И у «лохматых» существует общее правило, которое постоянно приводит в недоумение охотников: «Если решил что-нибудь сделать, так делай сразу и доводи начатое до конца».

При встрече с человеком «лохматый» мгновенно решает, напасть или бежать, и если уж бросится на человека, то бьется с ним насмерть.

Медведи из Бэдле́нда так не поступали. Они становились обыкновенно на дыбы и громовым голосом рычали. Охотник в это время успевал пустить пулю. К рычанию люди привыкли, но к пулям с мягким наконечником медведи привыкнуть не могли. Вот почему медведи в Бэдленде полностью истреблены.

«Лохматые» — дело другое. Никогда не предугадаешь, как поступит «лохматый».

Вообще биттеррутские медведи, как видно, очень хорошо научились избегать врагов и, несмотря на множество белых людей в этой местности, продолжают жить и размножаться.

Но всякая местность, конечно, может прокормить только определенное количество медведей, остальные же должны уходить на новые места. Вот так-то именно и случилось с одним молодым, проворным «лохма́тым». Он не мог оставаться там, где родился, и пошел по свету искать себе пристанища.

Он был не очень большого роста — иначе ему не пришлось бы уходить,— но достаточно хитер, чтобы хорошо устроиться где угодно. Он дошел до гор реки Солмег, которые ему не понравились; попал в колючие проволочные изгороди равнины Снейк и, конечно, ушел оттуда; случай помешал ему пойти к Йеллоустонскому парку, где он мог бы жить; ходил он и к горам реки Снейк, но там больше охотников, чем ягод; перебрался он и в Тето́нские горы, но там его неприятно поразил кишащий людьми поселок Дже́ксон-Хо́ул.

Это все пока не имеет отношения к истории нашего Уэба, но в конце всех этих путешествий «лохматый» перешел через хребет Грос-Вентр и вышел к верховьям реки Грейбули, то есть вступил через водораздел уже во владения серого медведя с Мититсе.

С тех пор как «лохматый» покинул Джексон-Хоул, он уже не встречал больше человека. Владения Уэба показались ему раем — столько там было разной пищи. Он с удовольствием лакомился всякими вкусными вещами, как вдруг заметил дерево с надписью Уэба: «Нарушители границ, берегитесь!»

«Лохматый» стал спиной к дереву и удивился: «Черт возьми, однако, какой громадный медведь!»

Метка носа Уэба приходилась на голову и шею выше самого высокого места, до которого мог достать наш медведь. Сделав такое открытие, другой медведь ушел бы из этих мест, но этот «лохматый» быстро понял, что здесь ему было бы очень хорошо жить, если бы только не громадный серый медведь. Он хорошенько обнюхал место, внимательно осмотрел, нет ли где медведя, и начал по-прежнему искать пищу.

В двух шагах от дерева с надписью Уэба торчал старый сосновый пень. В Биттеррутских горах под такими пнями «лохматый» часто находил мышиные гнезда. Теперь он тоже вывернул пень, но там ничего не оказалось. Пень покатился к дереву с меткой Уэба. В хитром мозгу «лохматого» быстро возник новый замысел. Он покрутил головой, посмотрел своими свиными глазками на пень, потом на дерево, встал на пень спиной к дереву и сделал свою собственную надпись на дереве. И надпись эта приходилась на целую голову выше надписи Уэба. «Лохматый» долго и крепко терся о дерево спиной. Потом он нашел грязную лужу, вымазал хорошенько в ней голову и плечи, влез еще раз на пень и опять потерся спиной о дерево. Получилась громадная метка на дереве, которая была к тому же подкреплена царапинами когтей на коре. Надпись «лохматого» была вызовом старому хозяину

этих мест, вызовом на бой — смертный бой за обладание этими благодатными местами. Пень, когда «лохматый» соскочил с него, откатился в сторону.

«Лохматый» пошел дальше вниз по ущелью, всюду зорко смотря, нет ли поблизости врага.

Уэб скоро заметил в своих владениях следы чужого медведя, и в нем мгновенно проснулась вся его бешеная свирепость. Миля за милей ходил он по следу врага, но «лохматый» был очень хитер, и ему удавалось не попадаться на глаза Уэбу. «Лохматый» подходил к каждому дереву с меткой Уэба и хитрил, стараясь поставить собственную метку выше.

Пользовался он для этого пнями, камнями, кочками: где чем удобно было. Если же попадалось дерево, где сплутовать уже совсем нельзя было, он не подходил к нему, а выбирал другое поблизости, возле которого торчал пень или лежал камень.

И вскоре Уэб увидел, что всюду на деревьях, высоко над его собственными метками, поставлены метки каким-то чудовищным медведем. Уэб не был уверен, способен ли даже он справиться с таким гигантом. Однако Уэб, как и всегда, не трусил и готов был на бой с кем угодно. И каждый день он ходил по своим владениям и выслеживал врага. Каждый день находил он его следы, и все чаще и чаще попадались ему деревья с метками, стоявшими гораздо выше его собственных.

За последние годы зрение старого медведя сильно испортилось, отдаленные предметы сливались у него в глазах, и хотя часто Уэб слышал запах «лохматого», но увидеть его ему не удавалось. Вообще Уэб уже был далеко не молод, когти и зубы его стерлись, притупились, и эта постоянно грозящая ему опасность очень беспокоила его. Старые раны болели теперь все чаще и чаще, и хотя, если бы его вызвали, у него хватило бы отваги сразиться с кем угодно и даже с каким угодно количеством врагов, все-таки это постоянное напряженное ожидание и боязнь, что враг застанет его врасплох, сильно влияли на настроение и даже на его здоровье.

XIV

«Лохматый» тоже был всегда настороже. Он запутывал следы и всегда готов был бежать, зная, что встреча с Уэбом грозит ему смертью.

Часто ему приходилось, спрятавшись где-нибудь, наблюдать за гигантом медведем, боясь, чтобы ветер как-нибудь не выдал его присутствия. Его часто спасало только нахальство. Один раз он спасся от Уэба только тем, что вскарабкался вверх по узкой расселине, куда Уэб никак бы не мог протиснуть свое огромное

тело. И с упорной настойчивостью он все метил да метил деревья, проникая все дальше и дальше во владения Уэба.

Как-то раз «лохматый» почуял серный источник и пошел к нему. Он не понимал, что это такое, и не заинтересовался источником. Однако «лохматый» обратил внимание на следы вокруг, оставленные Уэбом.

Увидя эти следы, «лохматый» прежде всего постарался наскрести побольше грязи в источник. На дереве, где чесался Уэб, он, взобравшись на выступ утеса, сделал свою собственную метку ровно на пять футов выше метки Уэба. Затем он слез с выступа и стал бегать взад и вперед, загрязняя ванну. В то же время «лохматый» зорко посматривал по сторонам. Вдруг из леса послышался шум, и «лохматый» замер на месте. Шум слышался все ближе и ближе, и вскоре «лохматый» ясно почувствовал ненавистный ему запах — запах Уэба. Тогда «лохматый» в ужасе побежал в противоположную сторону и спрятался между деревьями.

Уэбу последнее время нездоровилось. У него возобновились прежние боли в лапе, да к ним прибавились еще и боли в правом плече, где все еще сидели две пули. Уэб медленно шел, хромая и подергиваясь. Вдруг нос Уэба почуял врага. В то же время он увидел следы на грязи. Следы принадлежали, как говорили глаза, небольшому медведю, но нос упорно твердил, что это следы медведя-исполина. К тому же он увидел дерево со своими метками, и выше этих меток были метки чужого медведя. Уэб чувствовал, что этот чужой медведь совсем близко и может появиться каждую минуту.

Уэб давно уже был нездоров и ослабел от боли. Он не хотел начинать смертельной схватки. Поэтому он, не воспользовавшись даже своей ванной, повернул обратно и поплелся в противоположную от источника сторону. В первый раз со времен детства Уэб уклонился от встречи с врагом.

Это была решающая минута в жизни Уэба. Если бы он и пошел по следам своего врага, то через каких-нибудь пятьдесят шагов он нашел бы его полумертвым от ужаса, скорчившимся, дрожавшим всем телом. «Лохматый» сидел около пня на лужайке, со всех сторон окруженной скалами. Эта лужайка была естественной западней, и здесь Уэб, без сомнения, мог бы прикончить своего врага. Даже выкупайся он в своей серной ванне, его сила и храбрость вернулись бы к нему, и если не сейчас, то в другой раз он все же встретил бы «лохматого» должным образом. Но Уэб повернул назад, и это решило его судьбу.

Уэб брел потихоньку, сильно прихрамывая, вдоль нижних отрогов Шошонских гор. Вскоре он почувствовал тот самый ужасный запах, который слышал уже много лет, но не понимал.

Но теперь этот запах доносился прямо оттуда, куда он шел.

И Уэб наконец узнал, что запах исходит из небольшой голой лощинки, дно которой сплошь было покрыто скелетами и темными телами. Уэб теперь уже ясно чувствовал запахи разных зверей. Но это были запахи не живых зверей, а мертвых. Из расселины в скалах, в верхнем конце лощинки, выходил смертоносный газ. Этот газ, невидимый, но тяжелый, наполнял всю лощину и с ее нижнего конца выходил наружу. Это был отвратительный смрад: от него кружилась голова и хотелось спать. Уэб поспешил уйти и был очень доволен, когда снова вдохнул свежий запах соснового леса.

Позволив пришельцу завладеть серным источником, Уэб уже больше туда не ходил. Ревматизм его без лечения все развивался, и с каждым днем Уэб становился все менее способным не только к борьбе с врагом, но даже к бегству.

Иногда все же, напав на след врага, Уэб чувствовал прежнюю отвагу и, испустив свое громоподобное рычание, ощущая сильную боль и прихрамывая, пускался по следу, чтобы разом покончить с ненавистным медведем. Однако ему никогда не удавалось догнать таинственного великана.

Бывало так, что Уэб угадывал приближение врага в такую минуту, когда находился в каком-нибудь неудобном для битвы месте. Тогда он откладывал битву до другого случая. Но когда условия для битвы были благоприятны, ему никак не удавалось подойти к «лохматому». Ведь известно, что преимущество на стороне того, кто выжидает.

Случались дни, когда Уэб чувствовал себя настолько плохо, что не мог и думать о битве, а когда ему было легче, враг прятался от него.

Вскоре Уэб заметил, что следы врага чаще всего встречаются в местах, наиболее богатых кормом. И Уэб в те дни, когда чувствовал себя неспособным к борьбе с врагом, стал избегать таких мест. Но так как он теперь почти всегда чувствовал себя скверно, то получалось, что он отдал пришельцу лучшую часть своих владений.

Проходили недели. Уэб все собирался принять серную ванну, но не шел, и ему становилось хуже и хуже. Теперь у него постоянно, кроме задней лапы, болело и правое плечо.

От долгого ожидания битвы Уэб всегда был в напряжении. Постоянная тревога лишила его отваги, и теперь он думал уже только о том, как бы ему не встретиться с врагом до тех пор, пока ему не станет лучше.

Итак, первая маленькая уступка Уэба привела к окончательному отступлению. Уэб уходил все дальше и дальше вниз по реке, чтобы не встречаться с «лохматым». Каждый день он находил все меньше и меньше пищи. От постоянного недоедания Уэб стал слабеть.

Мало-помалу из всех владений Уэба ему остались только низовья Пайни. Это были как раз те места, где он жил когда-то со своей матерью и братьями. И жизнь его теперь очень напоминала жизнь маленького, беспомощного серого медвежонка, оставшегося без семьи. Может быть, теперь он тоже чувствовал бы себя иначе, если бы у него была семья.

Однажды утром Уэб, прихрамывая, тихо шел по обнаженной осиновой рощице. Он искал каких-нибудь корешков или червивых ягод, которыми брезговали даже белки и куропатки.

Вдруг он услышал, как вблизи с треском скатился камень, и вскоре до его носа донесся противный запах врага. Уэб быстро перешел через холодную, как лед, Пайни. В былое время он перескакивал через нее. От этой холодной ванны он почувствовал ужасные боли. Но, несмотря на это, он уходил все дальше и дальше. Куда же идти? У него была в запасе одна дорога — к человеческому жилью. Однако там еще задолго до его прихода поднялась такая суета, что он решил повернуть обратно.

Куда же идти? Приходилось, по-видимому, оставить все свои владения ненавистному пришельцу.

Уэб чувствовал, что он теперь потерпел окончательное поражение, что он низложен и изгнан из своих земель чужим медведем, слишком сильным, чтобы с ним можно было сразиться. И Уэб повернул на запад, уходя из своих владений. Его могучие ноги не имели прежней быстроты и силы, и потому теперь он тратил в три раза больше времени на каждый хорошо знакомый переход. Время от времени он оглядывался, чтобы узнать, не преследует ли его враг. Далеко впереди виднелись Шошонские горы. В этих мрачных, неприступных горах не было врагов, а за этими горами был Йеллоустонский парк. Вперед, вперед!

Уэб уже начал, пошатываясь, взбираться наверх, как вдруг его нос почувствовал запах оврага Смерти — той лощинки, которая вся была наполнена смертоносным газом и где все было мертво. Обычно Уэб уходил подальше от этого тяжелого запаха, но в этот раз его что-то влекло к нему. Овраг Смерти находился как раз на пути Уэба.

Он поднял вверх свою серую морду с длинной белой, развевающейся по ветру бородой. Этот тяжелый запах, прежде неприятный ему, вдруг показался каким-то странно манящим и сладостным. Уэб стоял и глядел вокруг. Далеко во все стороны, насколько хватал глаз, простиралась громадная область, когда-то всецело принадлежавшая ему, где властвовал он много-много лет и где никто не осмеливался встречаться с ним один на один.

Расстилавшийся перед Уэбом вид был очень красив, но Уэб думал сейчас не о его красоте. Он думал о том, как хорошо было жить в этой стране, думал о том, что когда-то эта страна была его владением, а теперь он ее потерял, думал о том, что пропала его

сила и он должен искать себе место, где мог бы спокойно пожить.

Там, за Шошонскими горами, есть такое место, где можно жить ему, теперь слабому и беспомощному, спокойно-спокойно,— это парк. Но может ли он туда дойти? Ведь парк так далеко... Зачем же идти туда? Вот здесь, в этой маленькой лощине, тоже можно найти покой и сон.

Уэб на мгновение остановился у входа.

Пока он стоял, смертоносные пары, подхваченные ветром, уже начали потихоньку свою работу. И мало-помалу засыпали пятеро его верных стражей: обоняние, зрение, слух, осязание и вкус. Вот и его нос, его верный руководитель с самого рождения, совсем перестал ему служить. Прошло еще несколько мгновений. Уэб продолжал колебаться. Но вот былое мужество всколыхнуло косматую грудь старика медведя, и он бросился в лощину. Удушливые пары нахлынули на него, наполнили все его огромное тело. Спокойно опустился изгнанник Уэб на голую, каменистую землю, опустился и тихо заснул. И, засыпая, он чувствовал себя так хорошо, так бесконечно хорошо, как в тот далекий день на Грейбули, когда он уснул между косматыми лапами своей матери.

ВИННИПЕГСКИЙ ВОЛК

I

Первая моя встреча с Ви́ннипегским волком произошла во время большой метели 1882 года. В середине марта я выехал из Сент-По́ля, надеясь за сутки пересечь прерии и добраться до Виннипега. Но царь ветров решил иначе и послал на землю свирепую вьюгу. Час за часом валил снег — упорно, яростно. Никогда в жизни я не видывал такой метели. Весь мир погрузился в снег — снег, снег, снег, крутящийся, кусающий, жалящий, мчащийся снег. И пыхтящий чудовищный паровоз вынужден был остановиться по приказу этих воздушных пушистых кристаллов непорочной чистоты.

За преградившие нам путь заносы взялось много сильных рук с лопатами, и час спустя наш паровоз сдвинулся с места — для того лишь, чтобы застрять в следующем сугробе. Нелегкая была это работа: день за днем, ночь за ночью мы попеременно то зарывались в сугробы, то вылезали из них, а снег все продолжал виться и кружить в воздухе.

«Двадцать два часа до Эмерсо́на»,— сказал кондуктор, но прошло две недели, прежде чем мы достигли Эмерсона с его тополевыми рощами — лучшей защитой от заносов. Отсюда поезд пошел быстрым ходом. Тополевые рощи становились гуще, переходили в большие леса, тянувшиеся на целые мили, с редкими просветами там и сям.

Приближаясь к восточной окраине Виннипега, мы возле Сент-Бонифе́йса медленно проехали мимо небольшой просеки, в пятьдесят шагов ширины, и посреди нее я увидел картину, потрясшую меня до глубины души.

На полянке собралась огромная стая собак, больших и малых, рыжих, белых и черных. Сомкнувшись в кольцо, они то рвались вперед, то пятились. Сбоку припала к снегу рыжая собачонка, а с внешней стороны кольца рвался и лаял огромный черный пес, держась, однако, все время позади остальных. А в середине стоял большой угрюмый волк — центр и причина всего.

Волк? Он показался мне львом. Он стоял один-одинешенек — решительный и спокойный, с ощетинившимся загривком. Прочно расставив ноги, он поглядывал то туда, то сюда, готовый встретить нападение с любой стороны. Изгиб его губ напоминал презрительную усмешку, хотя это был, вероятно, всего лишь обычный боевой оскал. Под предводительством волкоподобной собаки, которой следовало бы стыдиться такого предательства, свора бросилась на него, должно быть, в двадцатый раз. Но рослый серый зверь метнулся туда, сюда, щелкнув ужасными челюстями: щелк, щелк, щелк. Волк не визжал, не выл и не лаял. Между тем в рядах его врагов раздался не один предсмертный вопль, прежде чем они снова отпрянули от него, оставив его по-прежнему неподвижным, неукротимым, невредимым и презрительным.

Как бы я хотел теперь, чтобы поезд снова застрял в снегу! Сердце мое рвалось к серому волку. Мне хотелось броситься к нему на помощь. Но белоснежная поляна промелькнула мимо, стволы тополей заслонили ее, и мы понеслись дальше.

Вот все, что я видел,— самую малость. Но несколько дней спустя я узнал, что удостоился редкостного зрелища: увидел при свете дня замечательнейшее существо — не более не менее, как самого Виннипегского волка.

Странная была у него судьба: это был волк, предпочитавший город лесам, равнодушно проходивший мимо овец, но убивавший собак и неизменно охотившийся в одиночку.

Рассказывая историю оборотня, как называли его некоторые, я говорю о событиях его жизни, словно о чем-то известном местным жителям. Тем не менее многие из горожан и не слыхали о нем. Так, например, богатый лавочник на главной улице узнал про его существование в тот день, когда произошла последняя сцена у бойни и труп большого волка был доставлен чучельнику Гайду. Здесь из волка сделали чучело для Чикагской выставки, но затем оно, к сожалению, погибло, когда в 1896 году сгорела местная школа.

II

Как-то раз в июне 1880 года скрипач Поль Дерóш, красивый бездельник, предпочитавший не трудиться, а охотиться для собственного развлечения, рыскал с ружьем по лесистым берегам Красной реки. Увидев, что из ямы под обрывом вышел волк, он наудачу выстрелил и убил его. Послав на разведку собаку, чтобы убедиться, что в логовище не осталось взрослого волка, он вполз туда сам и, к великому своему удивлению и радости, нашел там восемь волчат. Девять премий по десяти долларов! Сколько же это составит? Целое состояние, наверно. Он пустил в ход палку

и с помощью рыжего пса перебил всех малышей, кроме одного: существует поверье, что убийство последнего в выводке приносит несчастье. И вот Поль вернулся в город со скальпами волчицы и семи волчат и с живым волчонком в придачу.

Трактирщик Хóган, в собственность которого вскоре перешли все заработанные доллары, получил затем и волчонка. Звереныш вырос на цепи, что не помешало ему обзавестись челюстями и грудью, какими не мог похвастать ни один из городских псов. Его держали во дворе для забавы посетителей, и эта забава заключалась преимущественно в травле пленника собаками. Несколько раз молодой волк был искусан до полусмерти, но каждый раз выздоравливал, и с каждым месяцем число собак, желавших потягаться с ним, становилось все меньше. Жизнь его была очень тяжела. Единственным отрадным проблеском стала дружба, возникшая между ним и маленьким Джимом, сыном трактирщика.

Джим был своенравный плутишка, умевший поставить на своем. Он полюбил волка с тех пор, как тот загрыз укусившую его собаку. С тех пор он начал кормить и ласкать его. И волк разрешал ему всякие вольности, которых не позволил бы никому другому.

Отец Джима не был образцовым родителем. Обыкновенно он баловал сына, но подчас приходил в ярость и жестоко избивал его из-за пустяков. Джим вскоре понял, что его бьют не за дело, а потому, что он подвернулся под сердитую руку. Стоило поэтому укрыться на время в надежном месте, и больше нечего было бояться. Однажды, спасаясь бегством от отца, он бросился в волчью конуру. Бесцеремонно разбуженный, серый приятель повернулся к выходу, оскалил двойной ряд белоснежных зубов и весьма понятно сказал отцу: «Не смей его трогать».

Трактирщик чуть было не пристрелил волка, но побоялся убить сына и предпочел оставить их в покое. А полчаса спустя он уже сам смеялся над происшествием. Отныне маленький Джим бежал к конуре волка при малейшей опасности, и иногда только тогда и догадывались, что он провинился, когда видели, как он прячется за спину сурового узника.

Хоган был скуп. Поэтому буфетчиком у него служил китаец, которому он мог платить гроши. Это был кроткий, робкий человек, с которым скрипач Поль позволял себе не стесняться. Однажды, застав китайца одного в трактире, Поль, уже подвыпивший, захотел угоститься в кредит. Но Тун Лин, послушный полученному приказанию хозяина, отказал ему. Поль кинулся к стойке, желая отомстить за оскорбление. Китаец мог бы серьезно пострадать, если бы не подвернулся Джим, ловко подставивший длинную палку под ноги скрипачу. Скрипач растянулся на полу, потом он поднялся на ноги, клянясь, что мальчик поплатится за это

жизнью. Но Джим воспользовался близостью двери и мгновенно очутился в волчьей конуре.

Увидев, что у ребенка есть покровитель, Поль схватил длинную палку и, став на почтительном расстоянии, принялся избивать волка. Серый зверь рвался на цепи, отражая бесчисленные удары и хватая палку зубами. Однако ему приходилось плохо. Вдруг Поль заметил, что Джим, язык которого ни на миг не переставал работать, возится с ошейником волка и что волк вскоре очутится на свободе,— собственно говоря, этому мешал только сам волк, натягивавший цепь так, что расстегнуть ошейник было просто невозможно.

Мысль, что он окажется во дворе один на один с разъяренным чудовищем, заставила содрогнуться храброго Поля.

Тут послышался умильный голос Джима:

— Потерпи немного, волчок, только чуточку подвинься, и ты получишь его на обед. Ну, подвинься, подвинься! Вот и молодец!

Этого было достаточно: скрипач бежал, старательно закрывая за собой все двери.

Дружба между Джимом и его любимцем росла. Чем старше становился волк, тем яростнее он ненавидел собак и пахнущих водкой людей. Зато его любовь к Джиму и ко всем другим детям росла с каждым днем.

III

В это время, осенью 1881 года, местные фермеры сильно жаловались на то, что волки очень размножились и истребляют стада. Отрава и капканы оказались бессильными, и понятно, что когда в виннипегском клубе появился знатный немецкий путешественник, сообщивший, что у него есть собаки, способные в короткое время избавить страну от волков, его заявление возбудило живейший интерес. Ведь фермеры — большие любители охоты, и мысль освободить округ от волков с помощью своры волкодавов казалась им очень заманчивой.

Немец вскоре привел двух великолепных датских догов: один был белый, другой — палевый с черными крапинками. Каждый из этих огромных псов весил около двухсот фунтов. Мускулы у них были как у тигров, и все охотно поверили словам немца, что одна эта пара легко одолеет самого крупного волка. Немец так описывал их обыкновение охотиться:

— Нужно показать им след, и будь он хоть суточный, псы тотчас же побегут искать волка. Их ничем не собьешь. Как бы волк ни прятался и ни кружил, они живо отыщут его. Чуть только он кинется бежать, палевый пес хватает его за бедро и подкидывает вот так,— и немец подбросил кверху ломтик хлеба,— и не

успеет он опуститься на землю, как белый вцепится ему в голову, палевый — в хвост, и он будет разорван пополам.

Все это казалось весьма правдоподобным. Всякому хотелось проверить собак на деле. Старожилы посоветовали отправиться за волками на Асинибуа́н, и охотники не замедлили снарядить туда экспедицию. Но, напрасно проискав волков в течение трех дней, они готовы уже были отказаться от охоты, когда кто-то вспомнил, что у трактирщика Хогана есть цепной волк, которого можно дешево купить и который, хотя ему только год, вполне пригоден для испытания собачьих способностей.

Цена волка сразу подскочила, едва трактирщик узнал, для какого важного дела понадобился его питомец. Кроме того, ему «совесть не позволяла» продать волка. Однако «совесть» сразу перестала мешать ему, едва охотники заплатили сполна.

Затем трактирщик позаботился отослать маленького Джима с поручением к бабушке, а волка загнали в ящик, ящик заколотили гвоздями, поставили в фургон и отвезли в открытую прерию.

Собак с трудом могли удержать — так они рвались в бой, едва почуяв волка. Но несколько сильных мужчин держали их на поводке, пока фургон не отъехал на полмили дальше.

Волка не без труда выгнали из ящика. Сперва он казался оробевшим и угрюмым. Он не пытался кусаться, а только искал, где бы спрятаться. Тревожимый криками и свистом и поняв наконец, что находится на свободе, волк пустился крадущейся рысцой к югу.

В тот же миг спустили собак, и они с яростным лаем ринулись вслед за ним.

Люди, весело улыбаясь, поскакали за собаками. С самого начала стало ясно, что волку несдобровать. Доги были несравненно проворнее его. Белый мог бежать не хуже любой борзой. Немец громко восторгался, видя, как его любимый пес несется по прерии, приближаясь к волку с каждой секундой.

Многие предлагали держать пари, что победят собаки, но это было настолько ясно, что пари никто не принимал — соглашались только ставить на одну собаку против другой. Молодой волк бежал теперь во всю прыть, но скоро белый пес уже настиг его.

— Теперь смотрите,— крикнул немец,— как этот волк взлетит на воздух!

Минуту спустя волк и собака на мгновение сошлись, но оба тотчас же отпрянули друг от друга. Ни один из них не взлетел на воздух, но белый пес упал на землю с ужасной раной на плече, выведенный из строя, если не убитый. Десять секунд спустя налетел, разинув пасть, второй пес — палевый. Схватка была так же мимолетна и почти так же непонятна, как и первая. Животные едва соприкоснулись. Серый зверь метнулся в сторону. Палевый пес отшатнулся, показав окровавленный бок.

Понукаемый людьми, он снова бросился в атаку, но получил вторую рану, окончательно научившую его уму-разуму.

В это время подоспел слуга немца с еще четырьмя большими собаками. Их спустили на волка, и охотники с дубинами и арканами уже спешили вслед, чтобы прикончить его, когда через равнину примчался верхом на пони маленький мальчик. Он соскочил на землю и, протолкавшись сквозь оцепившее волка кольцо, обхватил его шею руками. Он называл его «милым волчком», «дорогим волчишкой»; волк лизал ему лицо и махал хвостом. Затем мальчик обратил к толпе мокрое от слез лицо и сказал... Ну, да лучше не печатать того, что он сказал. Ему было всего девять лет, но он был очень груб, так как вырос в низкопробном трактире и успешно усвоил все постоянно слышанное там сквернословие.

Он ругал их всех и каждого, не исключая и родного отца.

Взрослый человек, позволивший себе такие оскорбительные и неприличные выражения, не миновал бы жестокой расправы. Но что делать с ребенком? И в конце концов охотники сделали самое лучшее: они громко рассмеялись — не над собой, конечно, смеяться над собой никто не любит,— нет, все до одного они смеялись над немцем, знаменитые собаки которого спасовали перед молоденьким волком.

Тогда Джим засунул грязный, мокрый от слез кулачок в свой мальчишеский карман и, порывшись там среди камушков и леденцов, смешанных с табаком, спичками, пистолетными пистонами и другой контрабандой, выудил из всего этого обрывок тоненькой бечевки и надел ее волку на шею как поводок. Затем, все еще всхлипывая, поскакал домой, уводя волка на шнурке и бросив немецкому дворянину прощальную угрозу:

— Я бы за два цента натравил его на вас, чтоб вы сдохли!

IV

В начале зимы Джим заболел.

Волк жалобно выл на дворе, не видя своего дружка, и наконец, по просьбе больного, был допущен в его комнату. И здесь большой дикий пес — ведь волк просто дикий пес — верно дежурил у постели приятеля.

Болезнь казалась сперва несерьезной, и все были поражены, когда наступил внезапный поворот к худшему и за три дня до рождества Джим скончался.

Волк оплакивал его искреннее всех. Большой серый зверь откликался жалобным воем на колокольный звон, бредя в сочельник за погребальным шествием. Вскоре он возвратился на задворок трактира, но при первой же попытке снова посадить его на цепь перескочил через забор и был таков.

Той же зимой в бревенчатой хижине у реки поселился старый капканщик Рено́ с хорошенькой девочкой Нинеттой. Он никогда не слышал о маленьком Джиме и немало удивился, увидев волчьи следы на обоих берегах реки у самого городка.

Старик с любопытством и сомнением выслушивал рассказы служащих Компании Гудзонова Залива о поселившемся по соседству волке, который иногда проникает даже в самый город и особенно любит рощу, находящуюся рядом с церковью в предместье Сент-Бонифейс.

В сочельник, едва зазвонили колокола, как они звонили по Джиму, в лесу раздался одинокий печальный вой, убедивший Рено в правдивости рассказов. Он хорошо знал все волчьи песни: призыв о помощи, любовную песнь, одинокий вой и резкий вызов. Это был одинокий вой.

Старик спустился к реке и ответил таким же воем. От дальнего леса отделилась неясная тень и перешла по льду к тому месту, где сидел на бревне человек, неподвижный как бревно. Тень приблизилась к нему, обошла его кругом и потянула носом. Тогда в ее глазах вспыхнул злобный огонек, она зарычала, как рассерженная собака, и скользнула обратно во мрак.

Таким образом Рено, а вслед за ним и многие из горожан узнали, что по городским улицам бродит огромный серый волк, «втрое больше того, что когда-то сидел на цепи у питейного заведения Хогана». Он был грозой для собак, умерщвлял их при каждом удобном случае, и говорили даже, хотя это осталось недоказанным, что он сожрал не одного пьяницу, загулявшего на окраине.

Вот кто был Виннипегский волк, которого я увидел в занесенных снегом лесах. Я хотел ему помочь, воображая, что его дело очень плохо. Но то, что я узнал позднее, изменило мое первое впечатление. Не знаю, как окончился виденный мною бой, но знаю, что волка не раз видели с тех пор, а некоторые собаки исчезли бесследно.

Ни один волк никогда еще не жил такой странной жизнью. Имея возможность уйти в леса и прерии, он предпочел вести полное превратностей существование в городе — каждый день на волосок от смерти, каждый день совершая отважные подвиги. Ненавидя людей и презирая собак, он каждый день разгонял собачьи стаи и убивал попадавшихся ему в одиночку псов. Он пугал пьяниц, избегал людей с ружьями, изучил капканы, изучил и отраву — как именно, невозможно сказать, но изучил несомненно, так как много раз с презрением проходил мимо отравленных кусков мяса.

Не было в Виннипеге ни одной улицы, на которой он не побывал бы; не было полицейского, который не видел бы его быстро

мелькающей, неясной тени в сером рассвете; не было собаки, которая не дрожала бы от ужаса, когда предательский ветер доносил до нее весть о близости старого оборотня. Он жаждал войны, и врагом его был весь мир. Но не было случая, чтобы волк обидел ребенка.

V

Нинетта родилась в пустыне. Мать ее была индианка. Серые глаза она унаследовала от нормандца-отца и была теперь прелестной девушкой шестнадцати лет, первой красавицей во всем округе. Она могла бы выйти замуж за любого из богатых и степенных женихов в околотке, но избранником ее сердца стал Поль Дерош. Видный малый, лихой танцор и недурной скрипач, Поль получал приглашения на все пирушки и был неисправимым пьяницей. Рено поступил правильно, прогнав его, когда он пришел свататься. Однако это ни к чему не привело.

Покорная во всем остальном, Нинетта не хотела отказаться от своего избранника. На другой же день после того, как ее отец отказал ему, она обещала Полю встретиться с ним в лесу за рекой. Пробираясь по глубокому снегу к назначенному месту, Нинетта заметила, что следом за ней идет большая серая собака. Животное показалось ей вполне дружелюбным, и девочка (так как она была еще просто девочкой) не испытывала никакого страха. Но когда она приблизилась к месту, где ее дожидался Поль, большая собака вышла вперед, злобно ворча. Поль взглянул, узнал в звере большого волка и бросился бежать, как последний трус. Позднее он говорил, что побежал за ружьем. Должно быть, он забыл, где оно может находиться, так как влез за ним на дерево. Между тем Нинетта побежала по льду домой, чтобы предупредить знакомых о грозящей Полю опасности. Не найдя на дереве огнестрельного оружия, отважный рыцарь смастерил копье, прикрепив свой нож к сучку, и ухитрился нанести волку мучительную рану в голову. Зверь грозно зарычал, но отошел на некоторое расстояние, выказывая, впрочем, твердое намерение дождаться, пока человек спустится на землю. Но приближение толпы изменило его решение, и он ушел.

Скрипачу Полю легче было объяснить свое поведение Нинетте, нежели другим: она по-прежнему любила его. Но отец ее относился к нему с таким безнадежным презрением, что они решили обвенчаться тайно, как только Поль возвратится из форта Александра, куда он нанялся доставить из форта Гарри почту на собаках. Он считался опытным собачьим погонщиком, так как был беспощадно жесток.

Рано утром, выпив на дорогу, Поль бодро двинулся вниз по

реке. Быстро неслась по льду упряжка из трех лаек, рослых и сильных, как телята, и свирепых, как разбойники. Они проехали на полном скаку мимо хижины Рено на берегу, и Поль, щелкая бичом и следуя бегом за санями, махнул рукой стоявшей на пороге Нинетте.

Вскоре сани со свирепыми собаками и пьяным погонщиком исчезли за поворотом реки, и никто с тех пор никогда не видел скрипача Поля.

В тот же вечер лайки по одной возвратились в форт Гарри. Они были обрызганы запекшейся кровью и ранены в нескольких местах, но, как это ни странно, совсем не голодны.

По следу отправились разведчики. Они разыскали на льду пакеты, которые вез Поль; дальше валялись обломки саней; недалеко от пакетов нашли обрывки принадлежавшей скрипачу одежды.

Ясно было, что собаки загрызли и съели своего погонщика.

Владелец собак был очень расстроен этим происшествием — он мог за него поплатиться своими псами. Отказываясь верить другим, он решил лично проверить дело. Рено был послан сопровождать его, и не прошли они и трех миль до рокового места, как старик указал на очень крупные следы, переходившие с восточного берега реки на западный, позади саней. Он повернулся к владельцу собак и сказал на ломаном английском языке:

— Большой волк шел за санями.

Тогда они по следу переправились на западный берег. За Килдона́нским лесом волк сменил галоп на шаг, перестал гнаться за санями и направился было к лесу. Но Поль что-то уронил здесь — быть может, пакет. Обнюхав оброненную вещь, волк узнал, что в санях едет пьяный Поль, который рассек ему когда-то голову.

Через милю след бегущего волка уже тянулся по льду за самыми санями. Человеческие следы теперь исчезли, так как человек вскочил в сани и погнал собак. Чтобы облегчить сани, он срезал поклажу. Вот почему пакеты были разбросаны по снегу.

Как скачут собаки под взмахами бича! Вот валяется на снегу нож Поля. Должно быть, он уронил его, пытаясь защищаться от волка. А здесь волчий след исчезает, но сани стрелой несутся дальше: волк вскочил в сани. Собаки в ужасе прибавляют шагу, но в санях сзади летит волк. Через минуту все кончено. Человек и волк скатываются с саней. Волчий след снова появляется на восточном берегу и вскоре исчезает в лесу. Сани несутся к левому берегу, где через милю задевают за корень дерева и разбиваются.

Снег рассказал старику Рено о том, как собаки, запутавшись в упряжке, стали драться между собой, пока не порвали постром-

ки, затем — как они нашли труп своего бывшего мучителя и устроили пир.

Хорошего здесь было мало, но все же с собак было снято обвинение в убийстве. Ответственность, несомненно, падала на волка, и Рено, когда прошла первая минута ужаса, сказал со вздохом облегчения:

— Это Виннипегский волк. Он спас мою девочку от Поля. Он всегда был добр к детям.

VI

Гибель Поля послужила поводом для большой заключительной охоты, назначенной на рождество, ровно два года спустя после смерти маленького Джима. На эту охоту, казалось, привели собак со всего околотка. Были здесь три лайки из упряжки Поля — владелец считал их присутствие необходимым,— были и доги, и ищейки, и целая свора дворняжек, не помнящих родства. Все утро прошло в безуспешных поисках в лесах, лежащих на восток от предместья Сент-Бонифейс. Но по телефону пришло известие, что волчий след замечен в Асинибуанских лесах, на запад от города, и час спустя охотники уже мчались по горячим следам Виннипегского волка.

Вот они несутся: стая собак, отряд всадников, толпа пеших мужчин и мальчиков. Волк не боялся собак, но он знал, что у людей есть опасные ружья. Он направился к темной линии Асинибуанских лесов, но всадникам было раздолье на равнине, и они скоро, обогнав волка, заставили его повернуть обратно. Он помчался вдоль оврага Колóни-Крик и тем избежал свистевших уже над ним пуль. Дальше он повернул к изгороди из колючей проволоки и, перескочив через нее, на время избавился от всадников, но должен был по-прежнему держаться лощины, недоступной для пуль. Собаки уже приближались к нему. Вероятно, он мечтал о том, как бы остаться с ними наедине, хотя их было сорок или пятьдесят против одного. Теперь они уже окружили его, но ни одна не решалась подступиться. Сухопарая борзая, понадеявшись на свою прыть, придвинулась было сбоку, но волк рванул ее клыками, сбил с ног. Всадникам пришлось проехать кружным путем, но теперь охота приблизилась к городу. Навстречу выбежало много людей и собак, чтобы принять участие в травле.

Волк повернул к городской бойне, хорошо знакомому ему месту, и стрельба на время прекратилась, так как охотники боялись попасть в собак, да и домá были уже совсем близко. Собаки так тесно сомкнулись вокруг волка, что дальше он бежать не мог. Он огляделся, ища прикрытия с тыла для последней схватки, и, увидев деревянный мостик через уличную канаву, спрятался

под ним. Тогда люди достали лом и разрушили мостик. Он выскочил наружу, зная, что пришло время умереть, готовый к смерти, но желая достойно постоять за себя напоследок. И здесь впервые при свете белого дня люди могли хорошенько разглядеть его. Вот он, загадочный собачий палач, бесплотный голос лесов Сент-Бонифейса, легендарный Виннипегский волк!

VII

Наконец, после трех долгих лет борьбы, он стоял один против четырех десятков собак, которым помогали вооруженные ружьями люди. Но он встречал врагов не менее отважно, чем в тот день, когда я увидел его впервые в зимних лесах. Тот же презрительный изгиб кривил его губы, мускулистые бока чуть-чуть вздымались, изжелта-зеленые глаза светились прежним блеском. Собаки сомкнулись. Их вели не огромные лайки — те еще не забыли их предыдущей встречи,— а бульдог, никогда не покидавший городских улиц. Послышался топот многих ног. Тявканье своры на время сменилось глухим рычаньем. Седовато-багровые челюсти волка ощерились. Собаки шарахнулись во все стороны, и снова волк стоял один. Он был готов к нападению, угрюмый и сильный старый бандит. Трижды собаки нападали на него — и трижды были отражены. Смелейшие из бойцов валялись уже вокруг. Первым погиб бульдог. Умудренные опытом, собаки теперь отступили, оробев, а волк еще не выказывал никаких признаков усталости. После минутного нетерпеливого ожидания он ступил на несколько шагов вперед — увы, предоставив стрелкам долгожданный удобный случай! Грянуло три выстрела, и сраженный оборотень упал на снег, свершив свой боевой путь.

Кто может заглянуть в душу волка? Кто скажет нам, о чем он думал? Почему он оставался жить возле города, в котором испытал столько страданий? Ведь кругом тянулись густые леса и пищи повсюду было вдоволь. Вряд ли он был одержим жаждой мести: никакое животное не потратит целую жизнь на месть — это злобное чувство свойственно одному лишь человеку. Животные жаждут покоя.

Итак, остается всего одна цепь, которая могла приковать его к городу, и эта цепь есть величайшая в мире власть, могущественнейшая сила на земле — любовь.

Волка не стало. Даже чучело его сгорело, но и по сей день сторож церкви в Сент-Бонифейсе утверждает, что в сочельник, едва зазвонят колокола, в ответ несется жуткий и скорбный волчий вой с соседнего лесистого кладбища, где лежит маленький Джим — единственное существо на свете, научившее волка любви.

КОРОЛЕВСКАЯ АНАЛОСТАНКА

ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ

I

— Мя-я-со! Мя-я-со! — пронзительно разносилось по Скримпе́рскому переулку.

Все кошки околотка сбегались на этот призыв. А собаки отворачивались с презрительным равнодушием.

— Мя-я-со! Мя-я-со! — раздавалось все громче и громче.

Наконец появился грязный, всклокоченный человек с тачкой. Со всех сторон к нему спешили кошки, испускавшие вопли, которые почти повторяли его призыв. Через каждые пятьдесят шагов, как только кошек собиралось достаточно, тачка останавливалась. Человек доставал из ящика вертел, унизанный кусочками пахучей вареной печенки. Длинной палкой он поочередно спихивал эти кусочки с вертела. Каждая кошка хватала по куску, прижав уши, и, метнув злобный взгляд, с урчаньем бросалась прочь, чтобы насладиться добычей в надежном убежище.

— Мя-я-со! Мя-я-со!

Все новые и новые пансионерки прибывали за своими порциями. Все они были хорошо известны продавцу печенки. Вот тигровая — Касильо́не, вот черная — Джо́нса, вот черепаховая — Прали́цкого, вот Белая, принадлежащая мадам Данто́н. Там вон крадется ангорская — Бленкинсго́фа. А тот, что залез на тачку, старый рыжий Би́лли — кот Со́ера, наглый плут, за которого никто еще никогда не платил. Каждого надо помнить. Вот бежит кошка, хозяин которой аккуратно вносит свои десять центов в неделю. Зато вот та, другая, ненадежна. А вот кот Джона Уа́ши; этот получает кусочек поменьше, потому что Джон задерживает платеж. Разукрашенный ошейником и бантами крысолов трактирщика получает добавочную порцию в награду за щедрость хозяина. Не менее счастлива и кошка сборщика податей, хотя сборщик не дает, а требует деньги. Вот доверчиво прибегает чер-

К стр. 463

ная кошечка с белым носиком, но — увы! — ее беспощадно отталкивают. Бедняжка не понимает, что случилось. Она получала печенку в течение долгих месяцев. Почему такая жестокая перемена! Но продавец печенки хорошо знает, в чем дело: ее хозяйка перестала ему платить. У него нет никаких книг, он руководствуется только памятью, но память его никогда не обманывает.

Кошки, не числящиеся в списках аристократии, дожидались на почтительном расстоянии, вдыхая упоительный аромат и надеясь на счастливую случайность. В числе этих прихлебателей находилась одна серая жительница трущоб, бездомная кошка, пробавлявшаяся чем бог послал, тощая и грязная. Нетрудно было догадаться, что в каком-то темном закоулке ее ждет голодное семейство. Одним глазом она следила за тачкой, а другим поглядывала, не подстерегает ли ее собака. Десятки счастливых удалились, получив свою ежедневную долю печенки, а у нее все еще не было никакой надежды на завтрак. Но вот большой кот, такой же бездомный, как и она, напал на одну из пансионерок, чтобы отнять у нее добычу. Жертва выронила мясо, готовясь к обороне. Пока они дрались, серая трущобница схватила кусок и была такова.

Она скользнула под калитку, перескочила через задний забор, затем уселась, проглотила кусок печенки, облизнулась и, блаженствуя, отправилась окольными путями к свалке, где на дне старого ящика из-под сухарей дожидалось ее семейство. Вдруг она услышала жалобное мяуканье. Она помчалась к своим детенышам и увидела большого черного кота, преспокойно пожиравшего ее котят. Кот был вдвое больше ее, но она набросилась на него с такой яростью, что он, застигнутый на месте преступления, повернулся и бросился бежать. Из котят уцелел всего один — маленький серый котенок, похожий на мать, но с черными полосками на спинке и белыми отметинами на носу, ушах и кончике хвоста.

Первые дни мать горевала безмерно. Но потом горе ее утихло, и вся любовь и забота сосредоточились на оставшемся в живых малыше. Черный кот, пожирая котят, конечно, не собирался сделать доброе дело, а между тем он оказался невольным благодетелем и матери, и ее детеныша: легче выкормить одного котенка, чем многих. Ежедневные поиски пищи продолжались. Поживиться у продавца печенки удавалось редко, но в мусорных ящиках всегда бывала картофельная шелуха, которой можно было заглушить голод.

Однажды ночью мать-кошка почуяла чудесный запах. Он доносился с Ист-Ри́вер в конце переулка. Этот запах привел кошку в док, а оттуда — на пристань. Услыхав внезапное рычание, она поняла, что путь к бегству отрезан ее давнишним врагом, собакой с верфи. Выбора не было: она перескочила на судно,

с которого доносился чудесный рыбный запах. Собака осталась на берегу, и когда утром рыбачье судно отправилось в плавание, кошка поневоле отчалила на нем, и больше ее никто никогда не видел.

II

Напрасно дожидался матери трущобный котенок. Утро пришло и прошло. Котенок сильно проголодался. Перед вечером он пустился на поиски пищи. Он вылез из ящика и стал рыскать по мусорным кучам, обнюхивая все, что казалось съедобным, но не находил ничего. Наконец он достиг деревянных ступенек, спускавшихся в подвальную лавку продавца птиц, Японца Ма́ли. Дверь была приоткрыта. Котенок вступил в целый мир едких и странных запахов. Он увидел множество заключенных в клетки живых существ.

На ящике в углу сидел негр. Негр заметил маленького незнакомца и стал с любопытством следить за ним. Котенок миновал несколько клеток с кроликами, не обратившими на него никакого внимания. Но вот он подошел к клетке с широкой решеткой, в которой сидела лисица. Знатная дама с пушистым хвостом находилась в самом дальнем углу клетки. Она приникла к полу. Глаза ее загорелись. Котенок приблизился, принюхиваясь, к решетке, просунул голову внутрь, еще раз понюхал, затем двинулся к миске с едой — и в тот же миг был схвачен карауливщей его лисицей. Послышалось испуганное «мяу!», лисица встряхнула свою жертву, и сразу кончилась бы кошачья жизнь, если бы не вмешался негр. Оружия у него не было, войти в клетку он не мог, но он пустил в морду лисицы такой решительный плевок, что та мгновенно выронила котенка и забилась в угол, мигая от страха.

Негр вытащил котенка из клетки. Встряска ошеломила его. Малютка был невредим, но словно одурманен. Он некоторое время кружился, пошатываясь, на одном месте, а потом стал понемножку приходить в себя. Несколько минут спустя он уже мурлыкал на коленях у негра. Тут в лавку вернулся продавец птиц, Японец Мали. Японец Мали родился вовсе не в Японии, а в лондонском предместье. Но у него на месте глаз были такие крошечные прорезы, косо расставленные на плоском круглом лице, что настоящее его имя было забыто, и все называли его Японцем. Он не был жесток к птицам и животным, которыми торговал. Он только соблюдал свою выгоду и знал, что ему нужно. Ему не был нужен трущобный котенок. Негр накормил малыша всласть, затем отнес его в отдаленный квартал и покинул там во дворе скобяного склада.

III

Одного обильного обеда вполне достаточно на два-три дня. Наевшийся котенок был очень оживлен и весел. Он обрыскал груды мусора, с любопытством поглядывая на висевшие за окнами недосягаемые клетки с канарейками, заглянул через забор, увидел большую собаку, потихоньку спустился обратно, разыскал защищенное местечко на самом припеке и проспал там целый час.

Его разбудило легкое фырканье. Перед ним стоял большой черный кот со сверкающими зелеными глазами. На одной его щеке белел рубец, и левое ухо было порвано. Глядел он совсем неприветливо. Уши были прижаты к голове, хвост подергивался, и в горле раздавалось глухое клокотанье. Котенок простодушно пошел к нему навстречу. Он не узнал губителя своих братьев. Черный кот потерся мордой о тумбу, затем медленно, спокойно повернулся и исчез. Последнее, что котенок увидал, был подергивавшийся кончик его хвоста. И малыш никогда не узнал, что был так же близок к смерти, как в ту минуту, когда отважился войти в клетку лисицы.

К вечеру котенок проголодался. Он внимательно изучил длинный невидимый и разнородный поток воздуха, именуемый ветром. Выбрав наиболее интересное из его течений, он побрел ему навстречу, повинуясь указаниям носа. В углу двора оказалась помойка, в которой ему удалось разыскать немного пищи. Поев, он напился из кадки с водой, стоявшей под краном. Всю ночь он старательно изучал двор. Следующий день, как и предыдущий, он провел в сладком сне на солнышке.

Так шло время.

Иногда он находил в помойке целый обед, иногда ничего не находил. Однажды он застал там большого черного кота, но осторожно удалился, прежде чем тот успел его заметить. Кадка с водой почти всегда стояла на своем месте, а когда ее уносили, на камне под краном оставались мутные лужицы. Но помойка была чрезвычайно ненадежна. Однажды она на целых три дня оставила котенка без еды. Малыш стал обследовать забор и, отыскав небольшое отверстие, вылез на улицу. Не успел он как следует оглядеться, как вдруг что-то ринулось, зашумело: на него налетела с размаху большая собака. Котенок едва успел проскочить обратно во двор сквозь дыру в заборе. Он был страшно голоден. К счастью, он нашел немного картофельной шелухи, слегка заглушившей резь в желудке. Утром он не лег спать, а отправился на промысел.

Во дворе щебетали воробьи. Они и прежде бывали здесь, но теперь котенок глядел на них другими глазами. Томительный голод пробудил в нем хищнические инстинкты. Теперь эти воробьи были добычей, были пищей. Котенок припал к земле и стал

подкрадываться к воробьям. Много раз он повторял попытку, но безуспешно: воробьи были проворнее его и всегда улетали вовремя. Наконец он понял, что хотя воробьи — пища, но пища недосягаемая.

На пятый день этого невезения трущобный котенок снова выбрался на улицу, надеясь что-нибудь поесть. Когда он отошел на порядочное расстояние от щели в заборе, несколько мальчишек принялись обстреливать его обломками кирпича. Он пустился бежать. К погоне присоединилась собака. Положение беглеца становилось безнадежным. Но вдруг он увидел старомодную железную решетку перед фасадом дома и проскользнул между прутьями, еле успев увернуться от собаки. В окне наверху показалась женщина, прикрикнувшая на собаку. Она бросила бедняжке обрезок мяса, и котенок полакомился, как никогда еще в жизни. Затем он забился под крыльцо, просидел там до тех пор, пока наступившая ночь не принесла с собой покоя, и тогда, словно тень, проскользнул обратно в свой двор.

Такая жизнь длилась два месяца. Котенок вырос, набрался сил и хорошо изучил все окрестности. Он познакомился с Да́унинг-стрит, где каждое утро появлялись ряды мусорных ящиков, и по ним судил об обитателях каждого дома. Большой дом для него был складом мусорных ящиков, всегда полных лучшими рыбными отбросами. Он вскоре познакомился также с продавцом печенки и примкнул к робкой стае кошек, за которых никто не платил. Пришлось ему встретиться и с собакой с верфи, и с другими страшными псами. Он знал, чего от них следует ожидать, и научился их избегать.

Вскоре, к своему счастью, он изобрел новый промысел. Наверное, многие кошки топтались в напрасной надежде вокруг заманчивых бидонов с молоком, которые оставляет по утрам на порогах и подоконниках молочник. Счастливая случайность однажды натолкнула нашего котенка на бидон со сломанной крышкой. Это научило его поднимать и целые крышки и напиваться всласть. Откупорить бутылку он, разумеется, не мог, но ему немало попадалось бидонов с плохо прилегающей крышкой. Наш котенок усердно разыскивал такие бидоны. Мало-помалу он изучил весь свой квартал. Проникая все дальше, он наконец снова очутился среди бочонков и ящиков заднего двора, за лавкой продавца птиц.

Двор скобяного склада всегда оставался для него чужим, но тут в нем сразу проснулось чувство собственности, и он отнесся с негодованием к появлению другого котенка. С угрожающим видом он двинулся к пришельцу. Дело уже дошло до фырканья и урчанья, когда выплеснутое из верхнего окна ведро воды основательно охладило их пыл. Они бросились в разные стороны: незнакомец — через забор, а трущобный котенок — под тот самый ящик, в котором он родился. Эти задворки были необычайно

милы его сердцу, и он вновь обосновался здесь на жительство. В этом дворе пищи было так же мало, как в прежнем, и вовсе не было воды, но зато его посещали вкуснейшие мыши. Благодаря этим мышам наш котенок скоро нашел себе друга.

IV

К этому времени котенок превратился уже во взрослую красивую кошку тигровой масти. Ее бледно-серую шкурку украшали черные полосы, а четыре белых пятна на носу, хвосте и ушах придавали ей чрезвычайно изящный вид. Несмотря на то что она отлично умела отыскивать пищу, ей иной раз приходилось голодать по нескольку дней, и тогда она снова безуспешно принималась охотиться за воробьями. Она была совсем одинока.

Однажды в августе, когда киска нежилась на солнце, она увидала большого черного кота, который шел прямо к ней. Она тотчас узнала его по рваному уху, попятилась к своему ящику и спряталась в нем. Черный осторожно двигался вперед, легко перепрыгнул со стены на сарай в конце двора и стал переправляться через его крышу, как вдруг перед ним вырос светло-рыжий кот. Черный уставился на него с рычанием, рыжий отвечал тем же. Хвосты их злобно извивались. Крепкие глотки рычали и урчали. Они приблизились друг к другу с прижатыми ушами, с напряженными мускулами.

«Яу-яу-уау!» — сказал черный.

«Уау-у-у!» — прозвучал в ответ грозный бас.

«Я-уау-уау-уау!» — сказал черный, придвигаясь на четверть дюйма ближе.

«Яу-у-у! — ответил рыжий. Выпрямившись во весь рост, он с необычайным достоинством сделал шаг вперед.— Яу-у!» И он ступил еще раз, хлеща себя по бокам хвостом.

«Я-уау-яу-у!» — взвизгнул черный, повышая тон, и отступил на одну восьмую дюйма перед широкой непреклонной грудью противника.

Вокруг открывались окна, слышались людские голоса, но кошачья ссора не прерывалась.

«Яу-яу-у! — загремел рыжий, понижая голос по мере того, как голос черного повышался.— Яу!» И он шагнул вперед.

Теперь между их носами было каких-нибудь три дюйма. Они стояли боком, оба готовые вцепиться друг в друга, но дожидаясь, чтобы начал враг. Минуты три они молча пожирали друг друга глазами, неподвижные, как изваяния; шевелились только кончики их хвостов.

Затем рыжий начал снова:

«Я-у-у!» — низким басом.

«Я-а-а-а!» — завизжал черный, стараясь вселить ужас своим воплем, но в то же время отступая на одну шестнадцатую дюйма.

Рыжий ступил вперед на полдюйма. Теперь усы их смешались. Еще шаг — и носы их чуть не столкнулись.

«Я-у-у!» — пророкотал рыжий.

«Я-а-а-а-а!» — взвизгнул черный, отступая на тридцать вторую часть дюйма.

Рыжий воин ринулся вперед и вцепился в него.

О, как они кувыркались, кусались и царапались! Как они кусали, таскали и мяли друг друга! Особенно отличался рыжий.

Кубарем, через голову, иногда один сверху, иногда другой, но чаще рыжий, они катились всё дальше и дальше, пока не свалились с крыши под радостные крики зрителей, толпившихся у окон. Даже во время падения они продолжали мять и царапать друг друга. Особенно больно царапался рыжий.

Когда они коснулись земли, верхним оказался рыжий. И когда они наконец расстались, каждому досталось вдоволь, и в особенности черному. Он взобрался на стену и, ворча, истекая кровью, исчез, в то время как от окна к окну передавалась весть, что наконец-то Оранжевый Билли как следует отдул Черного Нига.

Либо светло-желтый кот был очень искусный сыщик, либо трущобная киска не слишком усердно пряталась, но он нашел ее среди ящиков, и она не пыталась бежать. Ничто так не покоряет женское сердце, как победа на поле боя. Светло-рыжий кот и киска вскоре подружились. Не то чтобы они делили жизнь и пищу — это не в обычае у кошек,— они только признавали друг за другом особые приятельские права.

V

Прошел сентябрь, и уже наступили короткие октябрьские дни, когда в старом ящике из-под сухарей произошло важное событие. Если бы сюда явился Оранжевый Билли, он увидел бы пятерых котят, свернувшихся в объятиях своей матери, маленькой трущобной кошечки. Настало и для нее счастливое время. Она испытывала величайший восторг, она облизывала их с нежностью, удивившей бы ее самое, если бы она только была способна рассуждать.

В ее безрадостную жизнь вошла радость, но прибавилась также и забота. Теперь все ее силы уходили на поиски пищи. Заботы увеличивались по мере того, как росли котята. Через полтора месяца они начали вылезать из ящика и лазили всюду каждый день, как только мать уходила на промысел.

В трущобном мире хорошо известно, что беда идет тучей,

а счастье — полосой. На киску трижды нападали собаки, а негр, слуга Японца Мали, чуть не попал в нее кирпичом. Затем произошел перелом. На следующее же утро она нашла молочный бидон без крышки, успешно ограбила одного из пансионеров тачки и отыскала большую рыбью голову — все это в каких-нибудь два часа. Возвращаясь домой с тем чувством безмятежного покоя, какое может дать только полный желудок, она увидела у себя на дворе маленькое коричневое существо. Киска вспомнила прежние свои охоты. Она убила и съела не одну мышь на своем веку и решила, что этот коричневый зверь, вероятно, крупная мышь с коротким хвостом и большими ушами.

Она подкрадывалась к нему с ненужной осторожностью. Маленький кролик только привстал, словно все это его очень забавляло. Он и не пытался бежать, и кошка без труда схватила его.

Так как ей не хотелось есть, она отнесла его к ящику и бросила на кучу котят. Ему было не очень больно. Он скоро оправился от страха и, видя, что не может выбраться из ящика, пристроился к котятам. Когда же они начали ужинать, он без колебаний присоединился к ним. Кошка опешила. Охотничий инстинкт одержал было верх над всем остальным, но она была сыта, и это спасло кролика. В нашей киске проснулся материнский инстинкт, и она стала кормить кролика своим молоком.

Кролик сделался членом семьи и стал пользоваться уходом и пищей наравне с котятами.

Прошло две недели. Котята весело резвились среди ящиков в отсутствие матери, кролик же не мог выбраться наружу. Увидав котят на заднем дворе, Японец Мали приказал своему негру перестрелять их, что тот в одно прекрасное утро и проделал, вооружившись двадцатидвухдюймовой винтовкой. Он застрелил одного за другим всех котят. Вдруг на стене показалась взрослая кошка с крысой в зубах. Он готовился застрелить также и ее, но вид крысы изменил его намерение: кошка-крысолов достойна жить.

Эта крыса была первой, когда-либо пойманной нашей киской, но она спасла ей жизнь. Кошка пробралась через кучи хлама к ящику, но, к ее удивлению, ни один из котят не явился на зов. А кролик отказывался есть крысу. Она стала кормить его молоком, продолжая время от времени звать своих котят. Прислушиваясь к этому зову, негр подкрался к ящику, заглянул в него и, к величайшему своему изумлению, увидел, что в нем находятся кошка, живой кролик и мертвая крыса.

Мать-кошка прижала уши к голове и зашипела. Негр удалился, но минуту спустя на ящик опустилась доска, а ящик вместе с его обитателями, живыми и мертвыми, был препровожден в птичий подвал.

— Смотри-ка, хозяин, вот где пропавший крольчонок! А ты-то думал, что я его украл!

Кошку с кроликом поместили в большую железную клетку и в течение нескольких дней выставляли как образец счастливого семейства, но кролик вскоре захворал и умер.

Кошка ни на минуту не чувствовала себя счастливой в клетке. Нужды нет, что ей вдоволь давали пить и есть. Она тосковала в неволе и, весьма вероятно, добилась бы скоро свободы или смерти, но, к своему несчастью, во время четырехдневного заключения в клетке она так хорошо отмыла свою шкурку и шерсть ее оказалась такой необычной расцветки, что Японец решил оставить ее у себя.

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ

VI

Японец Мали был самый плутоватый из сынов лондонского предместья, когда-либо торговавших дешевыми канарейками в подвальном этаже. Он был очень беден, и негр жил с ним потому только, что уроженец Лондона соглашался делить с ним стол и кровать и вообще считал его равным себе, в отличие от подавляющего большинства американцев.

Японец считал себя честным человеком, хотя всем было известно, что зарабатывал он укрывательством краденых собак и кошек. С полдюжины канареек служили просто-напросто ширмой. Однако Японец не унывал. «Вот увидишь, Сэ́мми, я еще буду разъезжать в собственной карете!» — любил он повторять после сделки, которую считал удачной. Он по-своему был не лишен честолюбия и хотел, чтобы его считали знатоком своего дела. Однажды он даже отважился представить кошку на великосветскую выставку кошек и других домашних любимцев, устраиваемую обществом Никербо́кер. Он руководствовался тремя довольно-таки смутными целями: во-первых, это удовлетворяло его самолюбие, во-вторых, давало возможность бесплатно посещать выставку, а в-третьих, «надо, знаете ли, присматриваться к дорогим кошкам, если уж занимаешься кошачьим делом». Но выставка была великосветская, животные принимались только от людей известных, и жалкая ангорская полукровка была отвергнута с презрением.

Единственными интересными для Японца газетными столбцами были те, где помещались объявления о пропаже и находке собак и кошек, но все же он вы́резал и сохранил заметку «о выращивании кошек на мех». Эта заметка была пришпилена к стене лавчонки, и она заставила Японца приняться за жестокий

опыт над трущобной кошкой. Прежде всего он вымазал ее грязную шкуру особым снадобьем для уничтожения насекомых. Затем основательно вымыл ее в теплой воде с мылом, невзирая на вопли, когти и зубы. Киска была в ярости. Но потом клетку поставили поближе к печке, и киску вдруг охватило блаженное чувство, а ее шерсть распушилась и сделалась необыкновенно чистой и мягкой. Японец и его помощник были очень довольны. Впрочем, это было только начало: самый опыт еще предстоял впереди. «Для улучшения меха успешнейшим средством является обилие маслянистой пищи и постоянное пребывание на холодном воздухе»,— гласила газетная заметка.

Зима была уже на носу, и Японец Мали выставил клетку киски во двор, защитив ее только от дождя и ветра, а затем принялся кормить свою пленницу сколько влезет жмыхами и рыбьими головами.

Через неделю уже наступила заметная перемена. Кошка с каждым днем становилась сытее и пушистее; ей нечего было делать, как только набираться жиру и ухаживать за своей шерсткой. Клетка содержалась в чистоте, и так как природа, откликаясь на холодную погоду и маслянистую пищу, делала кошачью шубку с каждым днем все пышнее и блестящее, к середине зимы трущобная киска превратилась в кошку редкостной красоты, с чудесной, пушистой шерстью, разрисованной прекрасными полосами. Японец был очень доволен результатом опыта и мечтал о небывалой славе. Почему бы не послать киску на приближающуюся выставку? Но после прошлогодней неудачи он стал осторожнее.

— Видишь ли, Сэмми,— сказал он негру,— предлагать ее как бродячую кошку не годится. Но мы ублаготворим Никербокеров. Прежде всего необходимо хорошее имя. Ты понимаешь сам, что здесь нужно что-нибудь «королевское»,— ничем так не проймешь Никербокеров, как чем-либо «королевским». Что ты скажешь, например, о Королевском Дике или Королевском Саме? Однако постой, это все мужские имена. Скажи-ка, Сэмми, как звали тот остров, где ты родился?

— Остров Аналостáн был моей родиной, сэр.

— Здорово! Королевская Аналостáнка, черт возьми! Единственная Королевская Аналостанка с родословной на всей выставке. Умора, да и только!

И оба захохотали во все горло.

— Придется только заготовить родословную.

И друзья принялись за сочинение подробной поддельной родословной.

Однажды в сумерки, украсившись взятым напрокат цилиндром, Сэм вручил кошку и ее родословную распорядителям выставки. Негр отлично преуспел в задуманном. Он был когда-то

цирюльником на Шестой авеню и умел держаться гораздо солиднее и важнее, чем Мали. Это и было, вероятно, одной из причин, почему Королевская Аналостанка встретила на кошачьей выставке почтительный прием.

Японец очень гордился тем, что его кошка попала на выставку: в нем жило благоговение лондонского лавочника перед высшим обществом. И когда в день открытия он подошел к выходу, у него дух занялся при виде целого моря экипажей и цилиндров. Швейцар зорко взглянул на него, но, увидев билет, пропустил, вероятно приняв его за конюха какого-нибудь важного барина, выставившего кошку. В зале перед длинными рядами клеток лежали бархатные ковры. Японец осторожно шел по боковым проходам, поглядывал на кошек разных пород, беря на заметку голубые и красные банты, и выискивал свою кошку, но не смел спросить о ней и трепетал в душе при мысли, что скажет это пышное великосветское сборище, если узнает, какую он сыграл с ним штуку.

Он видел много премированных животных, но никак не мог найти свою трущобную кошку. Он робко пробрался сквозь толпу, заполнявшую центральный проход, но киски все не было видно. Японец решил, что произошла ошибка: вероятно, судьи в конце концов отказались ее принять. Нужды нет: он получил свой входной билет и знает теперь, где можно будет отыскать ценных персидских и ангорских кошек.

В середине центрального прохода помещались лучшие, классные кошки. Возле них собралась огромная толпа. Вдоль прохода были протянуты веревки, и два полицейских следили за тем, чтобы толпа не задерживалась на месте. Японец пробрался в самую давку. Он был слишком мал ростом, чтобы заглянуть через плечи, и хотя расфранченная публика сторонилась его отрепьев, он все же никак не мог протиснуться к средней клетке. Однако он понял из замечаний окружающих, что здесь находится самый гвоздь выставки.

— Ну, не красавица ли? — сказала высокого роста женщина.

— Что за изящество! — был ответ.

— Это ленивое выражение глаз создано веками утонченной жизни.

— Приятно бы иметь у себя это великолепное создание!

— Сколько достоинства! Сколько спокойствия!

— Говорят, ее документально подтвержденная родословная доходит чуть ли не до фараонов.

И бедный, грязный маленький Японец подивился, как у него хватило дерзости послать трущобную кошку в столь изысканное общество.

— Виноват, сударыня! — Через толпу пробирался директор выставки.— Здесь находится художник «Спортивной газеты», которому заказано сделать набросок с «жемчужины выставки»

для немедленного опубликования. Могу ли попросить вас немножко посторониться?.. Вот так, благодарю вас.

— О, господин директор, не можете ли вы уговорить продать мне это великолепное существо?

— Гм, не знаю,— был ответ.— Насколько мне известно, хозяин — человек с большими средствами и большой нелюдим и к нему приступиться трудно. А впрочем, попробую, сударыня, попробую. Как мне сказал его дворецкий, он насилу согласился выставить свое сокровище... Послушайте-ка, куда вы лезете? — заворчал директор на обтрепанного человека, нетерпеливо оттеснившего художника от аристократического животного.

Но обтрепанный человек хотел во что бы то ни стало узнать, где проживают дорогие кошки. Он мельком взглянул на клетку и прочел ярлык, возвещавший, что «голубая лента и золотая медаль выставки общества Никербокер выданы чистокровной, породистой Королевской Аналостанке, вывезенной и выставленной известным любителем Я. Мали, эсквайром. (Не продается.)» Японец перевел дух и снова взглянул. Да, сомнений нет: там, высоко на бархатной подушке, в золоченой клетке, под охраной четырех полицейских, красуясь бледно-серой с ярко-черными полосами шубкой, чуть-чуть прижмурив голубоватые глаза, лежала его трущобная киска. Ей было очень скучно. Она не ценила поднятого вокруг нее шума.

VII

Японец Мали целыми часами простаивал около клетки, выслушивая похвалы в адрес трущобной киски и упиваясь славой, какая ему даже и не снилась. Однако он понял, что будет разумнее держаться в тени и предоставить ведение дела своему «дворецкому». Всем своим успехом выставка была обязана трущобной киске. С каждым днем цена кошки росла в глазах ее владельца. Он не имел понятия, какие деньги иной раз платят за кошек, и думал, что заломил неслыханную цену, когда его «дворецкий» дал директору разрешение продать Аналостанку за сто долларов.

Вот каким образом случилось, что трущобница переселилась с выставки в особняк на Пятой авеню. Она сразу выказала необъяснимую дикость. Однако ее нелюбовь к ласкам была истолкована как аристократическое отвращение к фамильярности. Бегство от комнатной собачки на середину обеденного стола объяснялось прирожденным, хотя и неоправданным стремлением избежать оскверняющего прикосновения. Покушения на домашнюю канарейку объяснялись деспотизмом, которым славился ее родной Восток. Ее аристократические замашки при открывании бидона с молоком снискали ей всеобщее восхищение. Нежелание

спать в подбитой шелком корзине и частые столкновения с оконными стеклами доказывали только, что корзинка недостаточно нарядна, а зеркальные стекла не были в ходу в ее родном дворце. Частые, но неудачные попытки поймать воробьев, порхавших в огороженном высокой стеной заднем дворе, служили лишним доказательством непрактичности королевского воспитания, а посещения мусорного ящика — только простительным чудачеством высокорожденной особы.

Киску угощали и ласкали, однако она не была счастлива. Киска тосковала по родине. Она теребила голубую ленту на шее, пока не избавилась от нее; билась в оконные стекла, потому что они казались ей дорогой на улицу; избегала людей и собак, потому что люди и собаки были ее старыми врагами. Она подолгу сидела у окна, с тоской разглядывая крыши и задние дворы. Как бы ей хотелось снова вернуться к ним! Но за ней строго следили и никогда не выпускали на улицу. Тем не менее в один мартовский вечер Королевская Аналостанка улучила минутку, когда мусорные ящики выставлялись во двор, выскользнула за дверь и была такова.

Нечего и говорить о происшедшем переполохе. Но киска не знала и знать не хотела о нем. Она думала только о том, как бы поскорее добраться домой. После многих незначительных приключений она очутилась возле Грамерси́-Грэндж-Хи́лла. Но что дальше? Домой она не попала, а, с другой стороны, лишилась верного куска хлеба. Голод уже давал себя знать, но, несмотря на все, она испытывала странную радость.

Некоторое время она прождала, притаившись в палисаднике одного дома. Поднялся резкий восточный ветер и принес ей дружескую весть. Люди назвали бы эту весть скверным запахом из порта, но для нашей кошки это была желанная весточка из дому. Она побежала рысью по длинной улице на восток, держась вблизи домовых решеток, изредка замирая на месте, как изваяние, и наконец достигла порта и воды. Но место оказалось ей незнакомым. Можно было повернуть и на юг и на север. Что-то заставило ее повернуть к югу, и, лавируя между собаками, повозками и кошками, извилинами бухты и прямыми решетками, она очутилась часа через два среди привычных запахов. Солнце еще не встало, когда она проползла, усталая и охромевшая, сквозь ту же старую щель на задворки птичьей лавки — в тот самый ящик, в котором родилась. О, если бы семейство с Пятой авеню могло увидеть ее в обстановке ее «родного Востока»! Отдохнув как следует, она подошла к ступеням птичьего подвала, разыскивая пищу. Дверь отворилась, и на пороге появился негр. Он крикнул птичьему торговцу:

— Слышь-ка, хозяин, поди сюда! Королевская Аналостанка вернулась домой.

Когда Японец вышел на порог, кошка перебиралась через забор. Оба принялись звать громкими и в то же время умильными, заискивающими голосами: «Кис-кис! Бедная киска! Иди сюда, киска!» Но киске они не нравились, и она отправилась в свой прежний приют.

Королевская Аналостанка один раз уже оказалась для Японца настоящим кладом. На полученные за нее сто долларов он купил немало новых пленников и всяких нужных вещей. Поимка «ее величества» казалась ему поэтому чрезвычайно важным делом. В ход были пущены протухшая говядина и прочие неотразимые приманки, и в конце концов киска, измученная голодом, подкралась к большой рыбьей голове, положенной в ящик с ловушкой. Негр дернул веревку, крышка захлопнулась, и минуту спустя Королевская Аналостанка снова была водворена среди пленников подвала. Между тем Японец внимательно изучал газетные объявления. Вот оно: «5 долларов награды» и т. д. В тот же вечер «дворецкий» мистера Мали явился в особняк на Пятой авеню с пропавшей кошкой.

— Поклон от мистера Мали, сэр. Королевская Аналостанка возвратилась к своему прежнему владельцу, сэр. Мистер Мали очень рад вернуть вам Королевскую Аналостанку, сэр.

Разумеется, не могло быть и речи о вознаграждении мистера Мали, но «дворецкий» дал понять, что охотно примет обещанную награду «на чай».

Надзор за киской после этого усилился. Но вместо того чтобы разочароваться в прежней голодной жизни и радоваться уютному углу, она становилась все более дикой и раздражительной.

VIII

Весна трудилась изо всех сил, насколько это вообще возможно в Нью-Йорке. Грязные воробьи дрались и барахтались под водосточными трубами. Коты вопили по ночам на крышах, а семейство с Пятой авеню подумывало о переезде на свою загородную виллу. Уложили вещи, заперли дом и уехали за пятьдесят миль от Нью-Йорка, взяв с собой киску в корзине.

— Как раз то, что ей нужно: перемена воздуха и обстановка отвлечет ее от разлуки с прежними хозяевами, и она будет счастлива.

Корзину поставили в багажник кареты. В нее проникали мимолетные звуки и запахи и сразу же исчезали. Карета повернула. Затем послышался топот многих ног, корзина снова закачалась. Короткая остановка, новый поворот, щелканье, хлопанье, продолжительный и резкий свисток, звонки, грохот, шипенье,

неприятный запах, отвратительный запах, ужасный, ненавистный, удушливый запах, убийственный, ядовитый смрад. Грохот заглушил вопли бедняжки — она задыхалась от недостатка воздуха. И вдруг снова явился свет, явился воздух. Затем человеческий голос прокричал: «Вынуть багаж!» Для киски это был, разумеется, только бессмысленный человеческий рев. Грохот замер.

Немного погодя тряска возобновилась. Снова множество звуков и колыханий, но без ядовитого смрада. Глухой нарастающий рев. Вот приятный запах порта. Опять толчки, крики, скрипы, остановки, щелканье, хлопанье, вонь, прыжки, потряхиванья. Затем новые запахи, еще толчки — большие толчки, малые толчки,— газ, дым, визг, звон, дрожь, вопли, громы. И опять новые запахи, стуки, колыхания, грохот. Снова запахи. Наконец остановка. Сквозь крышку корзинки просвечивают лучи. Королевскую кошку вновь поместили в багажник кареты. Еще один поворот, и колеса загремели по-новому. Прибавился новый и ужасный звук — лай собак, совсем близко, над самым ухом. Корзинку открыли, и трущобная кошка оказалась на загородной вилле.

Окружающие были добры до навязчивости. Всем хотелось угодить королевской особе, но почему-то никому это не удавалось, кроме большой толстой кухарки, с которой киска познакомилась на кухне. Запах этой женщины напоминал запах трущоб, и Королевская Аналостанка сразу прониклась к ней симпатией. Узнав, что хозяева боятся, как бы кошка не удрала , кухарка обещала приручить ее. Она проворно схватила недоступное божество в передник и совершила ужасное кощунство — смазала ей пятки салом. Киска, разумеется, возмутилась. Однако, когда ее отпустили на волю, она принялась облизывать лапки, сало пришлось ей весьма по вкусу. Она лизала все четыре лапы в течение целого часа, и кухарка торжествующе объявила, что «теперь уж она наверняка останется». И точно, киска осталась, но зато обнаружила непонятное и возмутительное пристрастие к кухне, кухарке и помойному ведру.

Хотя хозяева и сокрушались по поводу этих аристократических чудачеств, они тем не менее рады были видеть Королевскую Аналостанку довольной и подобревшей.

Спустя одну-две недели ей стали предоставлять несколько больше свободы. Ее охраняли от малейшей неприятности. Собаки научились уважать ее. Ни один человек, ни один мальчик в околотке не смели швырнуть камнем в знаменитую кошку с родословной. Пищи ей давали вдоволь, и все же она была несчастна. Ей смутно хотелось многого; она сама не знала чего. У нее было все, но ей хотелось чего-то другого. У нее было много еды и питья, но у молока совсем не тот вкус, когда можно пойти и лакать сколько угодно из блюдечка. Надо выкрасть его из жестяного

бидона, когда подвело живот от голода и жажды, а то в нем не будет того смака — не молоко это, да и только.

Правда, за домом находился большой двор, но он весь был опоганен и отравлен розами. Даже лошади и собаки пахли не так, как следует. Вся страна была сплошной пустыней, состоящей из противных садов и лугов, без единого квартала ветхих домишек, без единой заводской трубы. Как все это было ей ненавистно! Во всей ужасной усадьбе был один только благоуханный кустик, и тот скрывался в заброшенном углу. Она с удовольствием пощипывала его листочки и валялась на нем. Это было единственное приятное место в усадьбе, ибо с самого приезда она не видела ни одной тухлой рыбьей головы, ни одной помойки.

Дачная местность казалась ей гнусной, безобразной страной. Она, несомненно, удрала бы в самый первый вечер, если бы была на воле. Но воля пришла много недель спустя, а тем временем она подружилась с кухаркой. Однажды в конце лета произошел ряд событий, вновь пробудивший в трущобной киске все былые инстинкты.

В деревенскую усадьбу привезли большой тюк товара из порта. Он весь пропитался острейшими и пленительнейшими ароматами порта и трущоб, и прошлое киски властно возникло перед нею. А на следующий день кухарку рассчитали из-за каких-то недоразумений в связи с этим самым тюком. После ее ухода кошка совсем осиротела. В тот же вечер младший сын хозяйки, скверный маленький американец, лишенный всякого почтения к королевской крови, задумал привязать жестянку к хвосту аристократки — несомненно из самых лучших и благих побуждений. Однако киска ответила на эту вольность движением лапки, вооруженной пятью большими рыболовными крючками. Вой оскорбленной Америки взорвал американскую мать. Киска каким-то чудом увернулась от запущенной в нее с чисто женской ловкостью книжки и бросилась бежать. Побежала она, разумеется, наверх. Крыса, когда ее гонят, бежит вниз, собака — прямо, кошка — кверху.

Она притаилась на чердаке, укрылась от преследования и дождалась ночи. Тогда, проскользнув вниз по лестнице, она перепробовала все двери одну за другой, пока не нашла отпертую, и погрузилась в черную августовскую ночь. Черная, как смола, для человеческих глаз, для нее она была только серой. Беглянка прокралась между отвратительными кустами и клумбами, щипнула на прощанье привлекательное растение в саду и отважно пустилась обратно по тому пути, который проделала весной.

Но как найти дорогу, которой она никогда не видела? Каждое живое существо наделено чувством направления. Оно очень слабо у человека и очень сильно у лошади. У кошек оно могущественно, и этот таинственный путеводитель направил беглянку на

запад. За час она пробежала две мили и достигла реки Гудзона. Обоняние несколько раз убеждало ее, что она избрала правильный путь. Ей припоминался один запах за другим, точно так же, как человек, пройдя незнакомую улицу, сразу забывает ее, но, увидав ее вторично, внезапно что-то припомнит и скажет себе: «Ну да, я уже был здесь однажды». Итак, главным вожаком киски было чувство направления. А также нос все время ободрял ее: «Да, теперь верно, прошлой весной мы здесь проезжали».

По берегу реки тянулись рельсы железной дороги. Киске пришлось выбирать, куда свернуть — на север или на юг. Чувство направления четко подсказало ей: «Иди на юг», и киска побежала по дорожке между рельсами и забором.

ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ

IX

Кошки могут очень быстро влезть на дерево или на забор, но в долгом ровном беге первенство остается не за кошачьей припрыжкой, а за собачьей рысью. Несмотря на ровную дорогу, прошел целый час, прежде чем она удалилась еще на две мили от гнусных роз.

Она устала и немножко захромала. Бедняжка уже совсем собралась отдохнуть, как вдруг по ту сторону забора раздался ужасающий собачий лай. Киска в страхе рванулась вперед и побежала изо всех сил по дорожке, посматривая в то же время, не пролезла ли собака сквозь забор. Нет, пока еще нет! Но собака скакала рядом с ней, оглушительно рыча, затем рычание превратилось в глухой грохот, в рев, в ужасающий гром. Блеснул огонь. Киска оглянулась и увидела... не собаку, а надвигавшегося на нее огромного черного зверя с одним-единственным красным глазом — зверя, визжавшего и шипевшего, как полный двор кошек. Киска напрягала все свои силы, мчалась с небывалой скоростью, но не решалась перескочить через забор. Она бежала, летела... Все напрасно: чудовище настигло ее, но промахнулось в темноте и промчалось мимо, затерявшись в пространстве, в то время как киска, задыхаясь, припала к земле на полмили ближе к дому, чем была до того, как гигантская собака подала голос.

Она впервые увидела это странное чудовище. Впрочем, она узнала его по запаху. Она уже встречалась с ним, когда ехала в корзине на дачу. Страх, внушаемый ей этими чудовищами, значительно убавился: она убедилась, что они очень бестолковы и никогда не поймают ее, стоит только залечь под забор и притаиться. Прежде чем наступило утро, она повстречала их несколько, но осталась невредимой.

На рассвете она оказалась в районе трущоб, и в куче золы ей удалось отыскать немного восхитительных отбросов. День она провела возле конюшни, где жили две собаки и множество мальчишек, едва не убивших ее. Эти ветхие дома и дворы были очень похожи на ее родные места, но она не собиралась здесь оставаться. Старое стремление неудержимо влекло ее, и с наступлением сумерек она снова пустилась в путь.

Мимо нее весь день пробегали одноглазые громовики. Но она теперь освоилась с ними и продолжала бесстрашно бежать всю ночь. Следующий день она провела в амбаре, где ей удалось поймать мышь; ночь прошла приблизительно так же, как и предыдущая, с той разницей, что ей повстречалась настоящая собака, которая отогнала ее далеко назад. Несколько раз она сбивалась с пути на перекрестках и забиралась далеко в сторону, но постоянно возвращалась к прежнему направлению. Дни она тратила на то, чтобы искать пищу и прятаться от собак и ребятишек, а по ночам продолжала свой путь. Беглянка начинала уставать, однако по-прежнему подвигалась вперед, миля за милей, к югу, все к югу. Собаки, мальчишки, громовики, голод... Собаки, мальчишки, громовики, голод... А она плелась все вперед и вперед, и нос время от времени ободрял ее: «Этот самый запах мы чуяли прошлой весной».

X

Так прошла неделя, и киска, грязная, хромая, без ленточки, добралась до Гарлемского моста. Несмотря на прекрасный запах, мост ей не понравился. Она полночи пробродила взад и вперед по берегу, не найдя иных средств переправы, кроме других мостов, и не узнав ничего интересного, за исключением того, что мужчины так же опасны, как и мальчишки. Пришлось поневоле возвратиться к Гарлемскому мосту. Запахи его казались знакомыми, а главное, когда по нему пробегал одноглазый громовик, поднимался тот глухой грохот, который она слышала во время своего весеннего путешествия.

Когда кошка вскочила на балку и побежала над водой, вокруг царила уже ночная тишина. Она не миновала еще и третьей части пути, когда с противоположного конца моста на нее с ревом ринулся одноглазый громовик. Она сильно перепугалась, но, зная глупость и слепоту громовика, спрыгнула на нижнюю балку и замерла. Бестолковое чудовище промахнулось и пролетело мимо, и все было бы хорошо, да только оно повернуло обратно или другое, подобное ему, внезапно зашипело у нее за спиной.

Киска сломя голову пустилась вперед. Быть может, она и достигла бы родного берега, если бы с этой стороны на нее с

воплем не бросился третий красноглазый зверь. Она бежала изо всех сил, но оказалась между двух огней. Не оставалось ничего, кроме отчаянного прыжка с моста в неизвестность. Вниз, вниз, вниз... Шлеп, плеск — и она погрузилась в глубокую воду, еще не холодную в августе, но ах какую противную! Она всплыла на поверхность, кашляя и отплевываясь, оглянулась посмотреть, не гонятся ли за ней чудовища, и поплыла к берегу. Она никогда не училась плавать, а между тем плыла по той простой причине, что положение и движения кошки при плавании те же, что и при ходьбе. Попав в неприятное ей место, она, естественно, попыталась уйти и в результате поплыла к берегу. К которому же? Любовь к родине никогда не обманывает: единственным берегом для нее был южный, ближайший к дому. Мокрая, она вскарабкалась на илистый берег и пробралась между грудами угля и кучами сора, черная, замазанная и совсем не царственная, а самая обыкновенная трущобная кошка.

Немного оправившись от потрясения, королевская трущобница почувствовала, что ванна пошла ей впрок. Ей стало тепло, и у нее появилось гордое сознание победы — ведь она перехитрила трех больших чудовищ. Нос, память и чувство направления склоняли ее вернуться к старому следу, но прямой путь кишел одноглазыми громовиками, и осторожность заставила ее пойти по речному берегу, который своей вонью напоминал ей о родине. Так она избежала невыразимых ужасов туннеля.

Более трех дней ушло на изучение различных опасностей набережных Ист-Ри́вер. Однажды она по ошибке попала на паром, который перевез ее на Лонг-Айленд, но вернулась оттуда с первым обратным паромом. Наконец на третью ночь она достигла знакомого места, пройденного ею в ночь первого своего бегства. Теперь все стало просто и ясно. Она в точности знала, куда идет, и как добраться до дому, и где именно укрыться от собак. Беглянка прибавила шагу; на сердце стало веселее. Еще немного — и она свернется клубочком в ящике на своем «родном Востоке» — заднем дворе.

Еще один поворот — и она увидит знакомые дома.

Но что это? Они все исчезли! Киска не верила своим глазам, но поневоле пришлось им поверить. Там, где прежде торчали покосившиеся ветхие домишки, виднелся безжизненный хаос кирпичей, хлама и ям. Киска обошла все пустыри. Она знала по цвету мостовой, что достигла своей родины, что именно здесь жил продавец птиц, здесь находился старый двор. Но все это исчезло, исчезло безвозвратно, унеся с собой все привычные запахи, и сердце бедняжки сжалось от полной безнадежности. Любовь к родине была главным ее двигателем. Она пожертвовала всем на свете, чтобы вернуться к дому, который перестал существовать, и впервые ее отважное сердечко переполнилось отчаянием.

Она обошла безмолвные кучи сора и не нашла ни утешения, ни пищи.

Разорение захватило несколько кварталов и дошло до самой реки. Это не был пожар: киска однажды видела пожар и знала, как он выглядит. Скорее, это было похоже на работу целого стада красноглазых чудовищ. Киска не подозревала о большом мосте, который собирались воздвигнуть на этом самом месте.

С восходом солнца она принялась искать пристанища. Один из соседних кварталов сохранился почти в первоначальном виде, и Королевская Аналостанка направилась туда. Ей были известны некоторые из тамошних ходов и выходов. Но, перебравшись туда, она была неприятно поражена обилием кошек, изгнанных, подобно ей, со старого местожительства. Теперь на каждый мусорный ящик приходилось по нескольку кошек. Это означало голод, и киска, потерпев несколько дней, была вынуждена отправиться на розыски своего другого дома, на Пятой авеню. Она застала его запертым и пустым. Прокараулив там целый день, она поссорилась с высоким человеком в синей одежде и на следующий вечер возвратилась в свою переполненную трущобу.

Прошел сентябрь, за ним и октябрь. Многие из кошек околели с голоду или, ослабев, пали жертвой своих врагов. Но наша киска, крепкая и молодая, все еще была жива.

Между тем в разрушенных кварталах произошли большие перемены. Эти кварталы киска впервые увидела ночью, и тогда они были пустынны; но днем их заполняли шумные рабочие. К концу октября там уже высилось огромное здание, и трущобница, гонимая голодом, однажды прокралась к ведру, оставленному во дворе негром. К сожалению, ведро не было помойным. Это было ведро для мытья пола — новинка в здешних местах. Печальное разочарование сопровождалось, однако, некоторым утешением: ручка пахла знакомой рукой. В то время как киска изучала ведро, на пороге появился негр-лифтер. Несмотря на синюю ливрею, она по запаху узнала его и попятилась на другую сторону улицы. Он не сводил с нее глаз.

— Неужто это Королевская Аналостанка? Слышь-ка, кис, кис, кис-с-с! Сюда, киска, сюда! Уж и голодна-то, наверно!

Голодна! Она за несколько месяцев ни разу не поела досыта. Негр вошел в дом и вскоре вернулся с частью своего собственного завтрака.

— Слышь-ка, киска, кис, кис, кис!

Еда была очень заманчива, но киска имела основания не доверять этому человеку. Наконец он положил мясо на мостовую и вошел обратно в дверь. Трущобница осторожно подкралась, понюхала мясо, схватила его и умчалась, как тигрица, чтобы съесть добычу в безопасности.

XI

Так началась новая эпоха. Теперь киска стала приходить к дверям дома, когда была очень голодна, и с каждым днем ее теплое чувство к негру росло. Она раньше не понимала этого человека. Он всегда казался ей врагом. А оказалось, что это ее друг, единственный друг в целом свете.

Однажды ей выпала счастливая неделя: семь сытных обедов семь дней подряд. И как раз после последнего обеда ей подвернулась мертвая крыса, настоящая крыса, сущий клад. Киска ни разу не видала взрослой крысы за все свои разнообразные жизни, однако схватила находку и потащила ее, намереваясь припрятать впрок. Она перебиралась через улицу у нового дома, когда показался ее старый враг — собака с верфи, и она бросилась к двери, за которой жил ее друг. Как раз когда она поравнялась с ней, негр распахнул дверь, выпуская хорошо одетого человека. Они оба увидали кошку с крысой.

— Ого! Вот так кошка!

— Да, сэр,— отозвался негр.— Это моя кошка, сэр. Гроза крыс, сэр. Всех почти переловила, сэр, вот почему она так худа.

— Не давайте ей голодать,— сказал господин, по всем признакам домохозяин.— Неужели вы не можете кормить ее как следует?

— Продавец печенки приходит каждый день, сэр. Четверть доллара в неделю, сэр,— сказал негр, находя, что имеет полное право на добавочные пятнадцать центов за выдумку.

— Хорошо, я буду платить.

XII

— Мя-я-со! Мя-я-со! — раздается чарующий крик старого продавца печенки, везущего свою тачку по переродившемуся Скримперскому переулку, и кошки, как в прежнее время, стаей сбегаются за своей порцией.

Надо помнить всех кошек — черных, белых, рыжих и серых,— а главное, надо держать в памяти всех их владельцев.

Обогнув угол нового дома, тачка останавливается там, где в былые дни не останавливалась.

— Эй вы, прочь с дороги, низкий сброд! — кричит продавец печенки и размахивает волшебным жезлом, очищая дорогу для серой кошечки с голубыми глазами и белым носом.

На ее долю выпадает самая большая порция, потому что негр разумно делит доходы пополам с продавцом печенки. Трущобная

киска удаляется со своим обедом под кров большого здания, сделавшегося ее жилищем. Ее четвертая жизнь принесла ей такое счастье, о каком она и не мечтала. Вначале все было против нее, теперь же все сложилось как нельзя лучше. Вряд ли она поумнела после своих странствий, но теперь она хорошо знала, чего хочет, и получает то, чего хотела. Честолюбивая мечта всей ее жизни также осуществилась, ибо ей удалось поймать не одного воробья, а целых двух, в то время как они дрались на мостовой.

Ей так и не удалось поймать крысу, но негр подбирает дохлых крыс, где только может, и выставляет их напоказ. Покойница лежит в сенях до прихода домовладельца, затем с извинением торопливо выбрасывается вон.

— Чтоб ее, эту кошку, сэр!.. Это аналостанская кровь, сэр, гроза крыс.

За это время у нее несколько раз бывали котята. Негр думает, что светло-рыжий кот — отец некоторых из них, и негр, без сомнения, прав.

Он продавал ее несчетное количество раз со спокойной совестью, хорошо зная, что Королевская Аналостанка возвратится домой через несколько дней. Она привыкла к лифту и даже приучилась подниматься и спускаться в нем. Негр упорно утверждает, что в один прекрасный день, когда она услышала зов продавца печенки, находясь на верхнем этаже, она ухитрилась нажать кнопку и вызвать лифт.

Шерсть ее вновь стала шелковистой и прекрасной.

Киска числится в первых рядах кошачьей аристократии. Продавец печенки чрезвычайно почтителен с ней. Даже вскормленная на сливках и цыплятах кошка жены ростовщика не занимает такого положения, как Королевская Аналостанка. А между тем, несмотря на все ее благополучие, общественное положение, королевское звание и поддельную родословную, она никогда не бывает так счастлива, как в то время, когда ей удается улизнуть в сумерки и порыскать по задворкам, потому что в глубине души она осталась и навсегда останется бродячей трущобной кошкой.

С Н А П

История бультерьера[1]

1

Я увидел его впервые в сумерках.

Рано утром я получил телеграмму от своего школьного товарища Джека:

«Посылаю тебе замечательного щенка. Будь с ним вежлив. Так оно безопаснее».

У Джека такой характер, что он мог прислать мне адскую машину или бешеного хорька вместо щенка, поэтому я дожидался посылки с некоторым любопытством. Когда она прибыла, я увидел, что на ней написано: «Опасно». Изнутри при малейшем движении доносилось ворчливое рычание. Заглянув в заделанное решеткой отверстие, я, однако, увидел не тигренка, а всего-навсего маленького белого бультерьера. Он старался укусить меня и все время сварливо рычал. Собаки рычат на два лада: низким, грудным голосом — это вежливое предупреждение или исполненный достоинства ответ; и громко, почти визгливо — это последнее слово перед нападением. И белый песик рычал именно так. Как любитель собак, я думал, что сумею справиться с любой из них. Поэтому, отпустив носильщика, я достал свой складной нож, с успехом заменявший молоток, топорик, ящик с инструментом и кочергу (гордость нашей фирмы) и сорвал решетку. Бесенок грозно рычал при каждом ударе по доскам и, как только я повернул ящик набок, устремился прямо к моим ногам. Если бы только его лапка не запуталась в проволочной сетке, мне пришлось бы плохо — он явно не собирался шутить. Я вскочил на стол, где он не мог меня достать, и попытался урезонить его. Я всегда был сторонником разговоров с животными. По моему глубокому убеждению, они улавливают общий смысл нашей речи и наших на-

---

[1] Бультерьер — порода собак.

мерений, хотя бы даже и не понимая слов. Но этот щенок, по-видимому, считал меня лицемером и презрел все мои заискивания. Сперва он уселся под столом, зорко глядя во все стороны, не появится ли пытающаяся спуститься нога. Я был вполне уверен, что мог бы привести его к повиновению взглядом, но мне никак не удавалось взглянуть ему в глаза, и поэтому я оставался на столе. Я человек хладнокровный. Ведь я представитель фирмы, торгующей скобяными изделиями, а наш брат вообще славится присутствием духа, уступая разве только господам, торгующим готовым платьем.

Итак, я достал сигару и закурил, сидя по-турецки на столе, в то время как маленький деспот дожидался внизу моих ног. Затем я вынул из кармана телеграмму и перечел ее: «Замечательный щенок. Будь с ним вежлив. Так оно безопаснее». Думаю, что мое хладнокровие успешно заменило в этом случае вежливость, ибо полчаса спустя рычание затихло. По прошествии часа он уже не бросался на газету, осторожно опущенную со стола для испытания его чувств. Возможно, что раздражение, вызванное клеткой, немного улеглось. А когда я закурил третью сигару, щенок неторопливо прошествовал к камину и улегся там, впрочем не забывая меня — на это я не мог пожаловаться. Один его глаз все время следил за мной. Я же следил обоими глазами не за ним, а за его коротким хвостиком. Если бы этот хвост хоть единый раз дернулся в сторону, я почувствовал бы, что победил. Но хвостик оставался неподвижным. Я достал книжку и продолжал сидеть на столе до тех пор, пока не затекли ноги и не начал гаснуть огонь в камине. К десяти часам стало прохладно, а в половине одиннадцатого огонь окончательно потух. Подарок моего друга встал на ноги и, позевывая, потягиваясь, отправился ко мне под кровать, где лежал меховой коврик. Легко переступив со стола на буфет и с буфета на камин, я также достиг постели и, без шума раздевшись, ухитрился улечься, не встревожив своего повелителя. Не успел я еще заснуть, когда услышал легкое царапанье и почувствовал, что кто-то ходит по кровати, затем по ногам. Снап[1], по-видимому, нашел, что внизу слишком холодно, и решил расположиться со всем возможным комфортом.

Он свернулся у меня в ногах очень неудобным для меня образом. Но напрасно было бы пытаться устроиться поуютнее, потому что едва я пробовал двинуться, как он вцеплялся в мою ногу с такой яростью, что только толстое одеяло спасало меня от тяжкого увечья. Прошел целый час, прежде чем мне удалось так расположить ноги, передвигая их каждый раз на волосок, что можно было наконец уснуть. В течение ночи я несколько раз был разбужен гневным рычанием щенка — быть может, потому, что

---

[1] Снап (snap) означает «хвать», «щелк».

осмеливался шевелить ногой без его разрешения, но, кажется, также и за то, что позволял себе изредка храпеть.

Утром я хотел встать раньше Снапа. Видите ли, я назвал его Снапом... Полное его имя было Джи́нджерснап[1]. Некоторым собакам с трудом приискиваешь имя, другим же не приходится придумывать клички — они являются как-то сами собой.

Итак, я хотел встать в семь часов. Снап предпочел отложить вставание до восьми, поэтому мы встали в восемь. Он разрешил мне затопить камин и позволил одеться, ни разу не загнав меня на стол. Выходя из комнаты, чтобы приготовить завтрак, я заметил:

— Снап, друг мой, некоторые люди стали бы воспитывать тебя с помощью хлыста, но мне кажется, что мой план лучше. Теперешние доктора рекомендуют систему лечения, которая называется «оставлять без завтрака». Я испробую ее на тебе.

Было жестоко весь день не давать ему еды, но я выдержал характер. Он расцарапал всю дверь, и мне потом пришлось ее заново красить, но зато к вечеру он охотно согласился взять из моих рук немного пищи.

Не прошло и недели, как мы уже были друзьями. Теперь он спал у меня на кровати, не пытаясь искалечить меня при малейшем движении. Система лечения, которая называлась «оставлять без завтрака», сделала чудеса, и через три месяца нас водой было не разлить. Оказалось также, что в телеграмме он не зря был назван замечательным щенком.

Казалось, чувство страха было ему незнакомо. Когда он встречал маленькую собачку, он не обращал на нее никакого внимания, но стоило появиться здоровому псу, как он струной вытягивал свой обрубленный хвост и принимался прохаживаться вокруг незнакомца, презрительно шаркая задними ногами и поглядывая на небо, на землю, вдаль — куда угодно, за исключением его самого, и отмечая его присутствие только частым рычанием на высоких нотах. Если незнакомец не спешил удалиться, начинался бой. После боя незнакомец в большинстве случаев удалялся с особой готовностью. Случалось и Снапу проиграть сражение, но никакой горький опыт не мог вселить в него и крупицы осторожности.

Однажды, катаясь в извозчичьей карете во время собачьей выставки, Снап увидел слоноподобного сенбернара на прогулке. Его размеры вызвали у щенка такой бешеный восторг, что он стремглав ринулся из окна кареты и сломал себе ногу.

Он не знал, что такое страх. Он не был похож ни на одну из известных мне собак. Например, если мальчишке случалось швыр-

---

[1] Джинджерснап (gingersnap) — хрустящий пряник с имбирем.

нуть в него камнем, он тотчас же пускался бежать, но не от мальчишки, а к нему. И если мальчишка снова швырял камень, Снап немедленно разделывался с ним, чем приобрел всеобщее уважение. Только я и рассыльный нашей конторы умели видеть его хорошие стороны. Только нас двоих он считал достойными своей дружбы. К половине лета Карнéги, Вандербúлдт и Астор[1], вместе взятые, не могли бы собрать достаточно денег, чтобы купить у меня моего маленького Снапа.

II

Хотя я не был коммивояжером, тем не менее фирма, в которой я служил, отправила меня осенью в путешествие, и Снап остался вдвоем с квартирной хозяйкой. Они не сошлись характерами. Он ее презирал, она его боялась, и оба ненавидели друг друга.

Я был занят сбытом колючей проволоки в северных штатах. Письма мне доставлялись раз в неделю. В своих письмах моя хозяйка постоянно жаловалась на Снапа.

Прибыв в Мендóзу, в Северной Дакóте, я нашел хороший сбыт для проволоки. Разумеется, главные сделки я заключал с крупными торговцами, но я потолкался и среди фермеров, чтобы узнать их нужды и потребности, и таким образом познакомился с фермой братьев Пéнруф.

Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях какого-нибудь лукавого и кровожадного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья Пенруф, как и все разумные скотоводы, отказались от отравы и капкана и принялись обучать разного рода собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от врагов, но и поразвлечься.

Гончие оказались слишком слабосильными для решительной схватки, датские доги — чересчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры, и, когда меня пригласили на охоту, я очень забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки — между прочим, несколько русских волкодавов, стоивших, наверно, уйму денег.

Гúлтон Пенруф, старший из братьев и «начальник» местной охоты, необычайно гордился ими и ожидал от них великих подвигов.

---

[1] Три американских миллиардера.

— Борзые слишком изнежены для волчьей охоты, доги медленно бегают, но увидите, полетят клочья, когда за дело возьмутся волкодавы.

Таким образом, борзые предназначались для гона, доги — для резерва, а волкодавы — для генерального сражения. Кроме того, в свору включили двух-трех гончих, которые должны были своим тонким чутьем выслеживать зверя, если остальные потеряют его из виду. Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день! Воздух был прозрачен и чист, и, несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. Кони охотников слегка горячились и раза два попробовали показать мне, каким образом они избавляются от своих седоков.

Мы заметили на равнине два-три серых пятна, которые были, по словам Гилтона, волками или койотами. Свора понеслась с громким лаем. Но поймать им никого не удалось, хотя они носились до самого вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала.

— Мне кажется, Гилт, что от твоих хваленых волкодавов нет никакого толку,— сказал Га́рвин, младший из братьев.— Маленький черный дог куда лучше, хоть он и простой ублюдок.

— Ничего не пойму! — проворчал Гилтон.— Даже койотам никогда не удавалось уйти от этих борзых, не то что волкам. Гончие также превосходные — пойдут хоть по трехдневному следу. А доги могут справиться даже с медведем.

— Не спорю,— сказал их отец,— твои собаки могут гнать, могут выслеживать и могут справиться с медведем, но дело в том, что им неохота связываться с волком. Вся окаянная свора попросту трусит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за них деньги.

Так они ссорились и ворчали, когда я распростился с ними и уехал дальше. По-видимому, неудача объяснялась тем, что собаки, хотя и были сильны и быстроноги, но вид волка, очевидно, наводил на них ужас. У них не хватало духа помериться с ним силами, и невольно воображение переносило меня к бесстрашному песику, разделявшему со мной постель в течение последнего года. Как мне хотелось, чтобы он был здесь! Неуклюжие гиганты получили бы вожака, которого никогда не покидает смелость.

На следующей моей остановке, в Ба́роке, я получил письма, среди которых нашлись два послания от моей хозяйки: первое — с заявлением, что «эта мерзкая собака безобразничает в моей комнате», другое, еще более пылкое,— с требованием немедленного удаления Снапа.

«Почему бы не выписать его в Мендозу? — подумал я.— Всего двадцать часов пути. Пенруфы будут рады моему Снапу. А на обратном пути я заеду за ним».

III

Следующая моя встреча с Джинджерснапом вовсе не настолько отличалась от первой, как можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал. Но ворчанье было грудное, басистое, а обрубок хвоста усиленно подергивался.

Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту, с тех пор как я побывал у них, и были вне себя от неизменных неудач. Собаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним; охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему они трусят.

Старый Пенруф был теперь вполне убежден, что «во всем негодном сброде нет ни одной собаки похрабрее кролика».

На следующий день мы вышли на заре. Те же превосходные лошади, те же отличные ездоки, те же большие сизые, рыжие и пестрые собаки. Но, кроме того, с нами была маленькая белая собачка, все время льнувшая ко мне и знакомившая со своими зубами не только собак, но и лошадей, когда они осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, Снап перессорился с каждым человеком, собакой и лошадью по соседству. Мы остановились на плоской вершине большого холма. Вдруг Гилтон, осматривавший окрестности в бинокль, воскликнул:

— Вижу его! Вот он бежит к ручью, Скелл. Должно быть, это койот.

Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это нелегкое дело, так как они не могут смотреть в бинокль, а равнина была покрыта полынью выше собачьего роста.

Тогда Гилтон позвал: «Сюда, Да́ндер!» — и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком Дандер взлетел на седло и стал там, балансируя на лошади, между тем как Гилтон настойчиво показывал ему:

— Вот он, Дандер, смотри! Куси, куси его, там, там!

Дандер усиленно всмотрелся в точку, указываемую хозяином, затем, должно быть, увидел что-то, ибо с легким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы поспешили им вслед, однако значительно отставая, так как наш путь затрудняли овраги, барсучьи норы, камни и высокая полынь. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально.

Итак, мы все отстали; я же, человек, непривычный к седлу, отстал больше всех. Время от времени впереди мелькали собаки, то мчавшиеся по равнине, то слетавшие в овраг, с тем чтобы немедленно появиться на другом его склоне. Признанным вожаком был борзой пес Дандер, и, взобравшись на следующий гребень, мы увидели всю картину охоты; койот, летящий вскачь, и собаки,

бегущие в четверти мили позади, но, видимо, настигавшие его. Когда мы в следующий раз увидели их, койот был бездыханен и все собаки сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджерснапа.

— Опоздали к драке! — заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем с гордостью потрепал Дандера: — Все-таки, как видите, не потребовалось вашего щенка!

— Скажи пожалуйста, какая смелость: десять больших собак напали на маленького койота! — насмешливо заметил отец.— Погоди, дай нам встретить волка.

На следующий день мы снова отправились на охоту.

Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает антилопу, красная — лисицу, а серая — волка или койота. Волк это или койот — определяют по хвосту. Опущенный хвост принадлежит койоту, поднятый кверху — ненавистному волку.

Как и вчера, Дандеру показали добычу, и он, как и вчера, повел за собой пеструю стаю — борзых, волкодавов, гончих, догов, бультерьера и всадников. На миг мы увидели погоню: без сомнения впереди собак длинными прыжками двигался волк. Почему-то мне показалось, что передние собаки бегут не так быстро, как тогда, когда они гнались за койотом. Что было дальше, никто не видел. Собаки вернулись обратно одна за другой, а волк исчез.

Теперь на собак посыпались насмешки и попреки.

— Эх! Струсили, попросту струсили! — с отвращением проговорил старик Пенруф.— Свободно могли нагнать его, но чуть только он повернул на них, они удрали. Тьфу!

— А где же несравненный, неустрашимый и героический терьер? — спросил Гилтон презрительно.

— Не знаю,— сказал я.— Вероятнее всего, он и не видел волка. Но если когда-нибудь увидит — бьюсь об заклад, он изберет победу или смерть.

В эту ночь вблизи фермы волки зарезали нескольких коров, и мы еще раз отправились на охоту.

Началась она приблизительно так же, как накануне. Уже к вечеру мы увидели серого молодца с поднятым хвостом не дальше как в полумиле. Гилтон посадил Дандера на седло. Я последовал его примеру и подозвал Снапа. Его лапки были так коротки, что вспрыгнуть на спину лошади он не мог. Наконец он вскарабкался с помощью моей ноги. Я показывал ему волка и повторял: «Куси, куси!» — до тех пор, пока он в конце концов не приметил зверя и не бросился со всех ног вдогонку за уже бежавшими борзыми.

Погоня шла на этот раз не через заросли кустарника в речной долине, а по открытой местности. Мы поднялись все вместе на

плоскогорье и увидели погоню как раз в ту минуту, когда Дандер настиг волка и попытался ухватить его за заднюю лапу. Серый повернулся к нему для боя, и мы отлично видели все дальнейшее. Собаки подбегали по две и по три, окружая волка кольцом, лаяли на него, пока не налетел последним белый песик. Этот не стал тратить времени на лай, а ринулся прямо к горлу волка, но промахнулся и успел только вцепиться ему в нос. Тогда десять больших собак сомкнулись над волком, и две минуты спустя он был мертв. Мы мчались вскачь, чтобы не упустить развязки, и хоть издали, но явственно рассмотрели, что Снап оправдал мою рекомендацию и хвалебную телеграмму.

Теперь настал мой черед торжествовать. Снап показал им, как ловят волков, и наконец-то мендозская свора доконала волка без помощи людей.

Впрочем, два обстоятельства несколько омрачали радость победы. Во-первых, это был молодой волк, почти волчонок. Вот почему он сдуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снап был ранен — волк сильно задел ему плечо.

Когда мы гордо двинулись в обратный путь, я заметил, что он прихрамывает.

— Сюда! — крикнул я.— Сюда, Снап!

Он раза два попытался вскочить на седло, но не мог.

— Дайте мне его сюда, Гилтон,— попросил я.

— Благодарю покорно. Можете сами возиться со своей гремучей змеей,— ответил Гилтон, так как всем теперь было известно, что связываться со Снапом небезопасно.

— Сюда, Снап, бери! — сказал я, протягивая ему хлыст.

Он ухватился за него зубами, и таким образом я поднял его на седло и доставил домой. Я ухаживал за ним, как за ребенком. Он показал этим скотоводам, кого не хватало в их своре. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавы и доги — силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. В этот день скотоводы разрешили волчий вопрос, в чем вы легко убедитесь, если побываете в Мендозе, ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер, по большей части снапомендозской крови.

IV

На следующий день была годовщина появления у меня Снапа. Погода стояла ясная, солнечная. Снега еще не было. Мы снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию, Снап чувствовал себя плохо. Он спал, по обыкновению, у меня в ногах, и на одеяле остались следы крови. Он, конечно, не мог участвовать в травле. Решили отправиться без него. Его заманили в

амбар и заперли там. Затем мы отправились в путь, но меня мучило предчувствие недоброго. Я знал, что без моей собаки мы потерпим неудачу, но не воображал, как она будет велика.

Мы забрались уже далеко, блуждая среди холмов, как вдруг, мелькая в полыни, примчался за нами вдогонку белый мячик. Минуту спустя к моей лошади подбежал Снап, ворча и помахивая обрубком хвоста. Я не мог отправить его обратно, так как он ни за что не послушался бы. Рана его имела скверный вид. Подозвав его, я протянул ему хлыст и поднял на седло. «Здесь,— подумал я,— ты просидишь до возвращения домой». Но не тут-то было. Крик Гилтона «ату, ату!» известил нас, что он увидел волка. Дандер и Райл, его соперник, оба бросились вперед, столкнулись и вместе растянулись на земле. Между тем Снап, зорко приглядываясь, высмотрел волка, и не успел я оглянуться, как он уже соскочил с седла и понесся зигзагами — вверх, вниз — через полынь, под полынью прямо на врага. В течение нескольких минут он вел за собой всю свору. Недолго, конечно. Большие борзые увидели движущуюся точку, и по равнине вытянулась длинная цепь собак. Травля обещала быть интересной, так как волк был совсем недалеко и все собаки мчались во всю прыть.

— Они свернули в Медвежий овраг! — крикнул Гарвин.— За мной! Мы можем выйти им наперерез!

И мы, повернув, быстро поскакали по северному склону холма, в то время как погоня, по-видимому, двигалась вдоль южного склона.

Мы поднялись на гребень и готовились уже спуститься, когда Гилтон крикнул:

— Он здесь! Мы наткнулись прямо на него.

Гилтон соскочил с лошади, бросил поводья и побежал вперед. Я сделал то же. Навстречу нам по открытой поляне, переваливаясь, несся большой волк. Голова его была опущена, хвост вытянут по прямой линии, а в пятидесяти шагах за ним мчался Дандер, вдвое быстрее, чем волк. Минуту спустя борзой пес настиг его и уже оскалил зубы, но попятился, как только волк повернулся к нему. Они находились теперь как раз под нами, не дальше как в пятидесяти футах. Гарвин выхватил револьвер, но Гилтон, к несчастью, остановил его:

— Нет, нет! Посмотрим, что будет.

Через мгновение примчалась вторая борзая, затем одна за другой и остальные собаки. Каждая неслась, горя яростью и жаждой крови, готовая тут же разорвать серого на части. Но каждая поочередно отступала и принималась лаять на безопасном расстоянии. Минуты две спустя подоспели и волкодавы — славные, красивые псы. Приближаясь, они, без сомнения, желали ринуться прямо на старого волка. Но бесстрашный его вид, мускулистая

грудь, смертоносные челюсти устрашили их задолго до встречи с ним, и они также примкнули к общему кругу, в то время как серый разбойник поворачивался то в одну сторону, то в другую, готовый сразиться с каждой из них и со всеми вместе.

Вот появились и доги, грузные твари, каждая такого же веса, как волк. Их тяжелое дыхание переходило в угрожающий хрип, по мере того как они надвигались, готовые разорвать волка в клочья. Но как только они увидели его вблизи — угрюмого, бесстрашного, с мощными челюстями, с неутомимыми лапами, готового умереть, если надо, но уверенного в том, что умрет не он один,— эти большие доги, все трое, почувствовали, подобно остальным, внезапный прилив застенчивости: да, да, они бросятся на него немного погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно, не боятся. Голоса их звучали отвагой. Они хорошо знали, что первому, кто сунется, несдобровать, но это все равно, только не сейчас. Они еще немного полают, чтобы подбодрить себя.

В то время как десять больших псов праздно метались вокруг безмолвного зверя, в полыни позади них послышался шорох. Затем скачками появился белоснежный резиновый мячик, вскоре превратившийся в маленького бультерьера. Снап, самый медленный и самый маленький из своры, примчался, тяжело дыша — так тяжело, что, казалось, он задыхается, и подлетел прямо к кольцу вокруг хищника, с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли он? Ни на мгновение. Сквозь кольцо лающих собак он бросился напролом к старому деспоту холмов, готовясь схватить его за горло. И волк ударил его всеми двадцатью своими кинжалами. Однако малыш бросился на него вторично, и что произошло тогда, трудно сказать. Собаки смешались. Мне почудилось, что я увидел, как маленький белый пес вцепился в нос волка, на которого сейчас напала вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они и не нуждались в нас. У них был вожак несокрушимой смелости, и когда битва наконец закончилась, перед нами на земле лежали волк — могучий гигант — и вцепившаяся в его нос белая собачка.

Мы стояли вокруг, готовые вмешаться, но лишенные возможности это сделать. Наконец все было кончено: волк был мертв. Я окликнул Снапа, но он не двинулся. Я наклонился к нему.

— Снап, Снап, все кончено, ты убил его! — Но песик был неподвижен. Теперь только увидел я две глубокие раны на его теле. Я попытался приподнять его: — Пусти, старина, все кончено!

Он слабо заворчал и отпустил волка.

Грубые скотоводы стояли вокруг него на коленях, и старый Пенруф пробормотал дрогнувшим голосом:

— Лучше бы у меня пропало двадцать быков!

Я взял Снапа на руки, назвал его по имени и погладил по голове. Он слегка заворчал, как видно, на прощание, лизнул мне руку и умолк навсегда.

Печально возвращались мы домой. С нами была шкура чудовищного волка, но она не могла нас утешить. Мы похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. Я слышал при этом, как стоящий рядом Пенруф пробормотал:

— Вот это действительно храбрец! Без храбрости в нашем деле не далеко уйдешь.

ДЖЕК — БОЕВОЙ КОНЕК

История кролика

I

Боевой Конек знал почти всех собак городка. Во-первых, большую бурую собаку, которая много раз гонялась за ним и от которой он всегда избавлялся, проскользнув сквозь дыру в дощатом заборе. Затем маленькую юркую собачонку. Эта могла пролезть в дыру, но от нее можно было удрать, перескочив через канаву с отвесными берегами и быстрым течением. Маленькая собачка всегда отставала от него у этой канавы. Такой прыжок означал бы для нее верную смерть, и мальчики до сих пор зовут это место «скачком старого Джека». Но была в городке и борзая, которая прыгала лучше самого Джека. Хотя она не могла пролезть за Джеком сквозь забор, зато легко перепрыгивала через него. Немало она испортила крови Боевому Коньку. Но Джек проворно увертывался от нее и прятался под изгородью из колючего кустарника. Борзая боялась колючек и отставала.

Кроме этих трех врагов, в городке имелась еще целая армия собак, назойливых, но совершенно неспособных состязаться с кроликом в быстроте.

В окрестностях городка также обитало немало собак, но только одна из них была действительно страшна Джеку — длинноногая свирепая черная дворняжка, такая стремительная и настойчивая, что, убегая от нее, Боевой Конек не раз бывал на волосок от гибели.

Городские кошки не внушали ему страха, да они почти и не пытались нападать на него. Правда, как-то лунной ночью к месту, где он кормился, подкрался огромный кот, гордый сознанием своих многочисленных побед. Джек увидел черного зверя со светящимися глазами. Раньше чем тот успел прыгнуть, Джек повернулся к нему, поднялся на задние лапки, вытянулся во весь рост, поднял уши, громко крикнул «чрр-чрр!» и, прыгнув прямо

на голову кота, вонзил в нее свои острые когти. И старый кот в ужасе бежал от диковинного обутого великана. Джек нередко пускал в ход эту уловку, но два раза она закончилась для него печальной неудачей: в первый раз, когда он угодил на кошку с котятами — от нее пришлось спасаться бегством,— а во второй раз, когда имел неосторожность наброситься таким же образом на скунса.

Но опаснейшим его врагом все же осталась борзая, и Боевой Конек, наверное, погиб бы от ее зубов, если бы его не спас счастливый случай.

Обыкновенно он выходил кормиться ночью, когда вокруг меньше врагов и легче спрятаться. Но как-то раз зимой он замешкался у стога до зари. Он пробирался через луг к своему жилью, когда, на беду, ему повстречалась борзая, рыскавшая по окраинам городка. Снег и рассвет не дали ему возможности спрятаться. Оставалось только мчаться что есть духу по мягкому снегу. А собаке легче бежать по снегу, чем кролику.

Вот и пустились оба отменных бегуна во весь дух. Они неслись по пушистому снегу, взметая его маленькими вихрями при каждом прыжке. Туда-сюда, вправо-влево. Все благоприятствовало собаке: пустой желудок, холодная погода, мягкий снег. А кролик недавно наелся до отвала клеверного сена. Тем не менее ноги его так часто взрывали снег, что в воздухе стояло по дюжине маленьких снежных струек сразу. Погоня шла по открытому месту. Джек нигде не видел спасительных колючих изгородей, а к забору борзая его не подпускала. Уши Джека торчали уже не так лихо — верный признак упадка духа и сил. Вдруг они, словно флажки, опять бойко вскинулись вверх. Боевой Конек напряг все свои силы, не для того, однако, чтобы достигнуть изгороди на севере, а чтобы пересечь равнину на восток. Борзая пустилась вслед за ним. Пробежав пятьдесят шагов, кролик внезапно взял в сторону, увертываясь от свирепого преследователя, потом снова повернул к востоку. Таким образом, непрерывно лавируя и увертываясь, он продолжал держать курс на ближайшую ферму, где был высокий дощатый забор с лазейкой для кур и где жил второй его ненавистный враг — большой черный пес. Забор на миг задержал борзую и дал Джеку время проскочить сквозь куриный лаз во двор, где он и притаился в уголке. Борзая бросилась к низкой калитке и перескочила через нее, упав прямо на кур, разлетевшихся с шумом и кудахтаньем. Громко заблеяли овцы, и их страж, большой черный пес, помчался к ним на выручку. Тогда Боевой Конек выскользнул обратно через отверстие. Позади раздался визг и рычание дерущихся собак, а также людские голоса. Чем кончилась драка, Джек не знал и знать не хотел. Но с тех пор борзая ни разу больше за ним не гонялась.

II

Последние годы принесли кроликам в штате Каска́до много перемен.

В былые времена они вели беспрерывную борьбу с хищными зверями и птицами, со зноем и стужей, с болезнями и мухами, укусы которых разносят заразу, и все же умели постоять за себя. Но когда там поселились фермеры, жизнь кроликов изменилась.

Благодаря собакам и ружьям стало гораздо меньше койотов, лисиц, волков, барсуков и ястребов — исконных врагов кролика. И кролики расплодились за несколько лет в невероятном количестве. Но тут начался мор, сразивший огромное их большинство. Уцелели только самые здоровые и выносливые. Одно время кролики стали редкостью. За это время произошла еще одна перемена: насаженные повсеместно изгороди из колючего кустарника явились новой защитой. Теперь преследуемый кролик больше надеялся на свою смекалку, чем на быстроту, и умнейшие из них, когда за ними гнался койот или собака, бросались к ближайшей изгороди и ныряли в узкую лазейку. Койоты вскоре смекнули, в чем дело, и стали охотиться парами. Один становился на одно поле, второй — на другое, и кролик, проскочив сквозь изгородь, встречал врагов с обеих сторон. Кролику удавалось спастись только в том случае, если он вовремя замечал второго койота и, вместо того чтобы пробираться сквозь изгородь, просто удирал от своего первого врага, положившись на свои быстрые ноги.

После мора кролики снова принялись быстро размножаться. Закаленные в тяжелых испытаниях, они благоденствовали теперь там, где их предки не выжили бы и нескольких месяцев. Они не любили широких, открытых лугов, больших ферм — им нравились путаные, перегороженные поля маленьких ферм, расположенных так близко друг от друга, что они почти сливались в большие деревни...

Один из таких поселков вырос вокруг железнодорожной станции Ньючу́зен. Его окрестности кишели кроликами новой отборной породы. Там жила и маленькая крольчиха, прозванная Ясноглазкой за блестящие глаза. Она была проворна и умела отлично надувать койотов. Для устройства своего гнезда она выбрала открытое пастбище, нетронутый кусочек прежней прерии. Здесь родились и выросли ее крольчата. Один из детенышей пошел в мать ясными глазами и серебристо-серой шубкой, но характер у него был не материнский. А в другом ее сыне соединились все лучшие материнские свойства с дарованиями новой кроличьей породы.

Это и был тот самый кролик, за приключениями которого мы теперь следим,— тот, чьи подвиги позднее заслужили ему прозви-

ще Боевого Конька и всемирную известность. Это он изобрел совершенно новые способы одурачивать своих врагов.

Когда он был еще совсем маленький, он выдумал хитрость, достойную мудрейшего кролика в Каскадо. За ним гналась ужасная рыжая собачонка. Он напрасно пытался отделаться от нее, лавируя между изгородями и фермами. Изгороди и фермы полезны, когда удираешь от койотов, потому что фермеры и собаки подчас невольно помогают кролику, напав на койота. Но тут дело не шло на лад, так как собачонка ухитрялась пролезать сквозь изгороди, и Джек — Боевой Конек, еще совсем маленький и слабый, начал уставать. Уши его уже не торчали прямо кверху, а заламывались углом и временами даже совсем обвисали, когда он еще раз юркнул в очень маленькое отверстие в изгороди и тут же обнаружил, что его проворный враг тоже пролез сквозь это отверстие.

Посреди поля паслось небольшое стадо коров с одним теленком.

В диких животных живет странное стремление довериться первому встречному в минуту отчаяния. Они хорошо знают, что несущийся сзади враг означает смерть. Между тем всегда существует слабая надежда, что незнакомец может оказаться другом. И эта-то последняя отчаянная надежда и направила Джека к коровам.

Не подлежит сомнению, что коровы остались бы невозмутимыми свидетельницами борьбы, если бы дело шло только о кролике, но в них живет врожденная ненависть к собакам, и при виде рыжей шавки их носы и хвосты поднялись кверху. Они, гневно фыркая, сомкнули ряды и с матерью теленка во главе двинулись на собаку, в то время как Джек спрятался под низким терновым кустом. Шавка метнулась в сторону. Старая корова поняла это движение как покушение на теленка и так свирепо погналась за ней, что та едва унесла ноги.

Уловка оказалась превосходной — должно быть, она сохранилась еще с того времени, когда бизон и койот играли роли коровы и собаки. Джек не забыл об этом случае и много раз прибегал впоследствии к такой же хитрости.

Боевой Конек выделялся среди других кроликов не только умом, но и окраской.

Окраска животных либо делает их незаметными и помогает скрываться — это «защитная окраска», либо, наоборот, делает их заметными и тогда называется «направляющей». Кролики замечательны тем, что их окраска сразу и защитная и направляющая. Когда они сидят в своем логовище, среди серых кустарников и кочек, видна только серая шерсть ушей, головы, спины и боков. Тогда они сливаются с землей, и заметить их можно лишь на самом близком расстоянии. Но едва кролику становится ясно, что

приближающийся враг неминуемо увидит его, он вскакивает и пускается в бегство. Теперь он сбросил личину — серого цвета как не бывало, происходит молниеносная перемена: уши оказываются белыми с черными кончиками, ноги — белые, хвостик чернеет пятном на белом фоне. Теперь это уже не серый кролик, а черный с белым. Его окраска стала направляющей. Как это случилось? Очень просто. Уши серые, изнутри — белые с черным. Черный хвост, окружающее его белое пятно и лапки прижаты к земле. Серый плащ натянут книзу и распушен, пока кролик сидит. Когда же кролик вскакивает, все черные и белые отметины резко выступают наружу. Раньше его краски шептали: «Я кочка...», а теперь они громко кричат: «Я кролик!»

Зачем это ему нужно? Почему робкий зверек, все спасенье которого в его быстроте, считает нужным оповещать о себе весь мир, вместо того чтобы стараться скрыться? На то должна быть уважительная причина. Дело вот в чем. Если кролика спугнет другой кролик — другими словами, если тревога ложная,— он мгновенно разрушает заблуждение, показав свои естественные цвета. Наоборот, если его вспугнет койот, лисица или собака, они тотчас видят, что имеют дело с кроликом — стало быть, погоня за ним будет одной потерей времени. И в самом деле, они говорят себе: «Это кролик, а кролика мне не поймать на открытой равнине». Это избавляет кроликов от многих лишних хлопот и беготни.

Белые с черным пятна заменяют кроликам национальный мундир и флаг. У слабых кроликов белые и черные пятна малозаметны, но у сильных и здоровых они сразу бросаются в глаза. И Боевой Конек, серый, когда сидел в гнезде, сверкал, как уголь и снег, когда, бросив вызов лисице или койоту, без труда уносился от них — сперва пестрым кроликом, затем белым пятном и, наконец, белой пушинкой, окончательно терявшейся в пространстве.

Многие из фермерских собак поняли, что серого кролика еще можно поймать, но пестрого поймать невозможно. Конечно, они иной раз увлекались погоней, но больше забавы ради. Сознание своей силы нередко побуждало Боевого Конька затевать с ними рискованную игру.

Джек, как и все дикие животные, считал своей собственностью определенную область и редко выходил за ее границы. По всей этой области были рассеяны его многочисленные логовища, или «постели», как их здесь называют. Это были простые углубления под кустом или пучком травы, выложенные листьями. Однако удобства не были тут забыты. Одни логовища предназначались для жаркой погоды — были обращены к северу и служили главным образом защитой от солнца; зимние логовища, напротив, представляли собой глубокие ямы с выходом на юг; а логовища, предназначенные для сырой погоды, были снабжены травяным

заслоном и обращены на запад. День он проводил в одном из этих логовищ, а ночью выходил кормиться вместе со своими собратьями. Кролики кувыркались и резвились при лунном свете, как стая щенков, но всегда возвращались на рассвете в приспособленную к данной погоде постельку.

Наиболее надежным пастбищем для кроликов были луга между фермами. Ни один враг не мог поймать их тут, среди живых изгородей и колючей проволоки. Но отборнейший корм находился вблизи жилья,— отборнейший корм и самая грозная опасность. Кроликов здесь подстерегали не волки и лисицы, а люди, ружья, собаки и непреодолимые заборы. Тем не менее те, кто знал Боевого Конька, нисколько не удивились, услышав, что он устроил себе гнездо как раз возле грядки с дынями посреди огорода. Здесь его окружали десятки опасностей, но здесь же ему открывались десятки наслаждений. А кроме того, он знал множество лазеек в заборе, а очутившись за ним, мог рассчитывать на десяток надежных уловок.

III

Ньючузен был типичный западноамериканский городок. Все в нем было безобразно. Вместо улиц — прямые дороги, без поворотов, глазу не на чем отдохнуть. Дома — дешевые и ничтожные сооружения из плохих досок и толя, у которых не хватало даже смелости честно признаться в своем уродстве. Каждый дом старался казаться лучше, чем был на самом деле. У одного был приделан фальшивый фасад, внушавший иллюзию, что в нем не один, а два этажа, другой был сделан из досок, крашенных под кирпич, третий притворялся мраморным храмом.

Это были самые безобразные дома в мире, и на каждом из них можно было прочесть затаенное намерение владельца потерпеть год-другой, а затем отправиться в какое-нибудь другое место.

Городок украшали, и то непреднамеренно, лишь ряды насажденных для тени деревьев, изуродованных тем, что стволы их были выбелены, а ветки подстрижены, но все же живых и прекрасных.

Единственным сколько-нибудь живописным зданием в городке был хлебный элеватор. Он не выдавал себя ни за греческий храм, ни за швейцарское шале, а просто-напросто — за большой, грубый, честный хлебный элеватор. В конце каждой улицы открывался вид на прерию, с ее фермами, ветряными водокачками и длинными рядами изгородей из терновника. Здесь было чем полюбоваться. Серо-зеленые изгороди, крепкие, густые и высокие, пестрели золотистыми плодами, непригодными для еды, но более желанными здесь, чем дождь в пустыне, так как эти плоды

были красивы и, свешиваясь с длинных жестких веток, радовали утомленные безобразием глаза.

Попав в такой городок, только и думаешь, как бы поскорей из него выбраться. Так думал, по крайней мере, некий путешественник, застрявший в нем на два дня в конце зимы. Он осведомился о местных достопримечательностях. Чучело белой выхухоли под стеклом в трактире, старый Бэкки Бу́ллин, оскальпированный краснокожими сорок лет назад, и трубка, из которой однажды курил Кит Ка́рсон, показались ему неинтересными, и он решительно повернул к покрытой снегом прерии.

Среди многочисленных собачьих следов ему бросился в глаза след большого кролика. Он спросил прохожего, водятся ли в городке кролики.

— Я никогда ни одного не видал,— был ответ.

Рабочий с мельницы ответил то же самое. Но мальчишка с пачкой газет сказал:

— В лугах они кишмя кишат и то и дело забегают в город. Да прямо на огороде Калба́ живет большущий кролик — здоровеннейший детина и весь рябой, словно шахматная доска.

«Здоровеннейший детина» был не кто иной, как Боевой Конек. Однако он не жил на огороде Калба, а только заходил туда иногда. А в этот день он сидел в своем открытом на запад логовище, потому что дул сырой восточный ветер. Логовище это находилось на восток от Ме́дисон-авеню́. Приезжий направился как раз в том направлении, и кролик принялся наблюдать за ним. До тех пор пока человек держался дороги, Джек был спокоен, но дорога заворачивала на север, а человек пошел прямо через поле. Тогда Джек встревожился. Как только незнакомец оставил проторенный путь, кролик выскочил из гнезда и понесся по лугам на восток.

Бегущий от врага кролик обыкновенно покрывает восемь — десять футов каждым прыжком. После каждых пяти-шести прыжков он прыгает вверх для разведки — взвивается высоко в воздух, чтобы подняться над травой и кустами и хорошенько осмотреться. Неопытный кролик прыгает вверх после каждых четырех скачков и теряет много времени. Разумный кролик довольствуется одним скачком вверх через каждые восемь-девять, и этого вполне достаточно для наблюдения. А Боевой Конек получал все необходимые сведения, взвиваясь вверх после двенадцати скачков, а каждый скачок покрывал десять — двенадцать футов. След, который он оставлял за собой, отличался еще одной особенностью. Другие породы кроликов и зайцев круто задирают хвост на бегу и не касаются им снега. Когда же бежит большой северный кролик, его хвост висит. У некоторых он направлен вниз и таким образом часто оставляет черточку на снегу позади отпечатков ног. Блестящий черный хвост Боевого Конька был необычайной длины

и при каждом скачке оставлял на снегу длинный след — настолько длинный, что одного его было достаточно, чтобы отличить след Джека от следа любого другого кролика.

Многие кролики не испугались бы, увидев человека без собаки, но Боевой Конек помнил о том, как обжег его однажды выстрел из ружья, и, подпустив неприятеля на семьдесят пять шагов, пустился бежать, стелясь над землей, к забору. Перебравшись через забор, он полетел, как низко парящий ястреб, пока через милю не достиг одного из самых тайных своих убежищ, в котором и залег, предварительно подпрыгнув и осмотрев местность.

Но недолго он отдыхал. Двадцать минут спустя его большие чуткие уши уловили четкий звук — хрусть, хрусть, хрусть: скрип человеческой ноги по снегу. И, вскочив, он вновь увидел человека с блестящей палкой — на этот раз гораздо ближе.

Боевой Конек во всю прыть пустился к забору. Ни разу он не позволил себе подпрыгнуть вверх для разведки, пока между ним и неприятелем не оказалась надежная преграда из проволоки и жердей: излишняя, впрочем, предосторожность, так как человек видел только след и кролика даже не заметил.

Между тем Джек несся все дальше, расстилаясь над землей и поглядывая, не покажутся ли и другие враги. Он знал теперь, что человек идет по его следу, и давнишний инстинкт, унаследованный от борьбы с хорьками, заставил его сделать петлю. Он бежал прямо, пока не достиг отдаленного забора, а по другую его сторону пробежал еще пятьдесят шагов, а затем вернулся по старому следу и побежал в другую сторону, пока не достиг другого своего логовища. Он всю ночь был на ногах и рад был бы отдохнуть теперь, потому что солнце ярко сияло. Но едва он успел слегка согреться, как снова мерное хрусть, хрусть, хрусть возвестило о приближении врага и снова Джек понесся вдаль.

Пробежав полмили, он остановился на холмике и, убедившись, что человек все еще идет за ним, старательно запутал следы. Затем он пробежал мимо своего любимого логовища, возвратился к нему с обратной стороны и улегся на отдых, уверенный, что окончательно сбил неприятеля с толку.

Не так скоро, как прежде, но все же вот оно опять: хрусть, хрусть, хрусть.

Джек проснулся, но не двинулся с места. Человек продолжал идти по следу. Джек незаметно выскочил из засады, сознавая, что имеет дело с необычайно хитрым врагом и надо придумать что-то новое. Человек и кролик обходили по большому кругу область, принадлежавшую Боевому Коньку, и находились в эту минуту в полумиле от фермы, где жил большой черный пес. Это была ферма, знаменитая чудесным дощатым забором с так удачно расположенным лазом для кур. Кролик вспомнил это место и обрадовал-

ся: здесь он много раз одерживал победу, здесь одурачил большую борзую.

И Боевой Конек открыто помчался через снежную равнину к забору черного пса.

Куриная лазейка оказалась закрытой. Кролик, озадаченный, поискал другой ход, но безуспешно. Завернув за угол, он вдруг увидел открытую настежь калитку. За калиткой на куче досок лежал большой черный пес и безмятежно спал. Куры сидели тесной кучкой в самом теплом уголке двора, а кошка брезгливо перебегала от амбара к кухне. Боевой Конек остановился у калитки.

Черная фигура его преследователя двигалась по снежной равнине. Джек, спокойно подпрыгивая, вбежал во двор. Длинноногий петух, вместо того чтобы заниматься собственными делами, увидев кролика, громко закричал. Лежавший на солнце пес поднял голову и встал. Джеку грозила смертельная опасность. Недолго думая он припал к земле, обратившись в серую кочку. Сделано это было искусно, но он все же расстался бы с жизнью, если бы не кошка. Невольно, сама того не сознавая, она спасла его. Черный пес сделал три шага к кролику, хотя и не заметил еще, что он здесь, и загородил единственный выход со двора. Но тут из-за угла дома появилась кошка и, вскочив на подоконник, свалила с него цветочный горшок. Этой неловкости было достаточно для нарушения вооруженного нейтралитета, существовавшего между ней и псом. Она бросилась бежать к амбару, а известно, что при виде бегущей кошки всякий пес приходит в ярость. Они промчались в тридцати футах от кролика. Не успели они исчезнуть, как Джек повернулся и, не сказав даже: «Спасибо, киска!», выскочил из двора и пустился по накатанной дороге.

Хозяйка дома спасла кошку от преследований пса, и он уже снова валялся, растянувшись на досках, когда подоспел человек, преследовавший кролика. В руках у него было не ружье, а толстая палка, и поэтому пес его не тронул.

След был потерян. Была ли уловка кролика умышленной или нет, она, однако, увенчалась полным успехом, и Джек избавился от своего назойливого преследователя.

На следующий день незнакомец снова отправился на поиски Джека и нашел не его самого, а его след. Он узнал этот след по отпечатку хвоста, по длинным скачкам и редким разведочным прыжкам вверх. Но рядом с ним тянулся теперь след кролика ростом поменьше. Вот тут они встретились, там гонялись друг за другом, по-видимому играя, так как следов драки видно не было; здесь кормились или отдыхали рядом на солнышке, там бежали рядом, а тут опять резвились на снегу, по-прежнему неразлучные. Незнакомец все понял. Было то время года, когда принято обзаводиться семьей: парный след принадлежал Боевому Коньку и его подруге.

IV

Следующее лето оказалось необычайно удачным для кроликов. Безрассудный закон назначил награду за каждого убитого ястреба и сову. Этих пернатых стражей равнин истребили чуть ли не поголовно. И кролики так расплодились, что угрожали теперь опустошить страну.

Тогда-то фермеры, более всех страдавшие от ими же изобретенного закона, задумали грандиозную облаву на кроликов. Все местное население приглашено было явиться в назначенное утро на главную северную дорогу графства, с тем чтобы обойти всю округу, двигаясь против ветра, и загнать кроликов в большой загон, огороженный проволочной сеткой. Собаки не участвовали в охоте, так как они могли выйти из повиновения. Ружей тоже не взяли, потому что в толпе они опасны. Но каждый мужчина и мальчик явился с парой длинных палок и сумкой камней. Женщины следовали за ними верхом или в повозках. Многие из них были вооружены трещотками, охотничьими рогами и связками жестянок. К некоторым повозкам были привязаны старые ведра или пучки дранки, которые, ударяясь о спицы колес, увеличивали грохот. А ведь кролики обладают таким тонким слухом, что шум, ошеломительный даже для человека, должен был привести их в полное смятение.

Погода стояла ясная, и в восемь часов утра подан был сигнал отправляться в путь. Линия гона вначале растянулась на пять миль. На каждые тридцать — сорок шагов приходилось по человеку. Повозки и верховые лошади поневоле держались почти исключительно дорог, но загонщики шли напрямик через поле. Люди были расположены приблизительно по трем сторонам квадрата. Каждый старался шуметь как можно больше и обшаривал палкой все кусты. Отовсюду стали выбегать кролики. Некоторые бросились к загонщикам, но были встречены градом камней, прикончивших многих. Изредка то один, то другой проскакивал мимо и спасался, но таких было очень немного.

Облава сметала кроликов в кучу, словно метла. Скоро они уже кишели за каждым кустиком. Когда облава прошла пять миль — на что потребовалось около трех часов,— был отдан приказ смыкать оба крыла. Промежутки между загонщиками сократились до десяти футов, и облава двинулась к загородке. Кролики очутились в западне. Люди прибавили шагу, десятками убивая слишком близко подбегавших к ним зверьков. Земля была усеяна их трупиками, но число кроликов, казалось, все возрастало. И, прежде чем жертвы окончательно были загнаны за загородку, оцепленное пространство в два акра представляло собой сплошную трепещущую массу скачущих, бегающих, мечущихся кроликов. Они кружились и прыгали, ища выхода, но не-

умолимая толпа сгущалась по мере того, как постепенно сужи-валось кольцо, и все же масса была втиснута в загон, где некото-рые тупо расселись посередине, другие опрометью стали бегать вдоль решетки, а иные пытались запрятаться по углам или друг под другом.

А Боевой Конек — где был он во время облавы? Облава смела его вместе с остальными, и он одним из первых вбежал за загородку.

Однако устроители облавы намеревались не только истребить кроликов, но и отобрать лучших из них, для чего была придумана хитроумная уловка.

Загон должен был стать смертью для всех кроликов, за исключением наиболее умных и сильных. Много оказалось тут никуда не годных. Тот, кто воображает, что все дикие животные являются образцом совершенства, удивился бы, увидев, как много было в загоне хромых, увечных и хилых.

То была победа наподобие римской: слабосильным предстояло избиение. Отборнейшие кролики предназначались для арены. Арены? Да, для садков Скакового клуба.

В этой заранее приготовленной огромной западне были рас-положены вдоль стен ряды маленьких ящиков, по крайней мере пятьсот. Каждый ящик был рассчитан на одного кролика.

Самые проворные из кроликов первыми попали в загон. Одни были проворны и глупы: очутившись внутри, они принялись метаться. Другие были проворны и умны: эти поспешили воспользоваться ящиками и спрятались в них. Все ящики были полны. Этим способом были отобраны быстрейшие и умнейшие — спо-собом, разумеется, небезошибочным, но самым простым и удобным. Эти пятьсот предназначались для обучения борзых собак. Остальные четыре с лишним тысячи были беспощадно истреблены.

А пятьсот ящиков с пятьюстами ясноглазыми кроликами бы-ли в тот же день погружены в поезд. Среди них находился и Джек — Боевой Конек.

V

Кролики легко относятся к превратностям судьбы, и не следу-ет воображать, что заключенные испытывали большой страх, после того как утих шум облавы. Когда же они прибыли на скаковое поле в большом городе и были осторожно вынуты один за другим, им не на что было пожаловаться. Они очутились в просторном загоне, где находилось много вкусной пищи и не было никаких врагов.

Тренировка их началась с первого же утра.

Открыли ряд дверец, ведущих на примыкавшее к загону обширное скаковое поле.

Когда кролики разбрелись по этому полю, явилась гурьба мальчиков и принялась их гонять, пока все они не оказались опять в прежнем загоне, называвшемся Пристанью. Эти упражнения продолжались несколько дней, и кролики поняли, что спасения следует искать только в Пристани.

Тогда начался второй урок. Всю стаю выгнали через боковую дверь на длинную дорожку, которая огибала скаковое поле и вела в другой загон на противоположном его конце. Дверца этого загона открылась, и мальчишки с собаками погнали кроликов по полю. Некоторые из молодых по привычке делали разведочный скачок, а, низко стелясь над землей, во главе всей погони скакал великолепный черный с белыми пятнами кролик. На его стройные ноги и блестящие глаза все обратили внимание уже в загоне. Теперь же, оказавшись на поле, он повел за собой всю армию, опередив ее ровно настолько же, насколько большинство кроликов опередило собак.

— Гляньте на этого! Ну разве не Боевой Конек? — крикнул конюх-ирландец, и эта кличка так и осталась за Джеком.

Пробежав половину поля, кролики внезапно вспомнили о Пристани и бросились к ней, как снежная вьюга по сугробам.

В этом и заключался второй урок — нестись прямо к Пристани, как только их выпустят. За неделю все кролики успели его выучить и были готовы к торжественному состязанию Скакового клуба.

Боевой Конек хорошо был знаком теперь конюхам и посетителям. Одна окраска уже выделяла его. Кроме того, длинноухая стая сама признавала его своим вожаком. Служители клуба держали пари не только на собак, но и на него.

— Любопытно, выпустит ли в этом году старик Дигнам своего Ми́нки?

— Если да, бьюсь об заклад, что Боевой Конек обгонит и Минки и его напарника.

— Ставлю три против одного, что моя Джен сцапает Боевого Конька еще до Большой трибуны,— заявил какой-то владелец собак.

— Идет! — отозвался ирландец Мики.— Мало того: ставлю месячное жалованье, что из здешних собак ни одной не заставить Боевого Конька хоть раз свернуть с пути за всю скачку.

Так они спорили и гадали, и с каждым днем росло число людей, убежденных в великих способностях Боевого Конька.

VI

Состязания начались солнечным утром. Большую трибуну переполнила городская публика. Псари водили борзых поодиночке и попарно. Спины собак были покрыты попонками, но это не мешало видеть их мускулистые ноги, змеиные шеи, изящные головы с длинными челюстями и блестящими подвижными желтыми глазами. Эти собаки были удивительнейшими приспособлениями для бега, созданными из плоти и крови природой и человеческим хитроумием. Псари берегли их как зеницу ока, ухаживали за ними, как за детьми, тщательно следили, чтобы они не ели отбросов и не обнюхивали непривычных предметов, а главное, не подпускали к ним незнакомых людей. На этих собак ставились большие деньги, и бывали случаи, когда коварно подсунутая приманка, кусок особо приготовленного мяса, даже искусно составленный запах обращали великолепного скорохода в апатичного лентяя и разоряли его владельца.

Собак выпускают на арену парами, так как всякое состязание является в то же время поединком. Псы, выигравшие первый забег, разбиваются на пары. При каждом испытании из-за загородки выпускают одного кролика, которого дожидаются на сворке две собаки-соперницы. Как только кролик отбежит на достаточное расстояние, стартер ставит обеих собак рядом и спускает их сразу. На поле дожидается, верхом на хорошей лошади, судья в красном костюме. Он следует за собаками. Помня пройденный курс наук, кролик мчится через поле к Пристани, на виду у Большой трибуны. Собаки следуют за ним. Когда первая собака приблизится к кролику, он начинает увертываться от нее. Каждый раз, когда кролик сворачивает с прямого пути, собаке прибавляются очки, а умерщвление зверька считается окончательной победой.

Иногда собака расправляется со зверьком в ста шагах от старта. Значит, кролик плох. Чаще это происходит напротив Большой трибуны, но в исключительных случаях кролику удается укрыться в Пристани. Возможны четыре развязки: немедленное убийство кролика, скорое возвращение кролика в Пристань, смена собак, которым угрожает разрыв сердца от продолжительного бега под палящим солнцем, и, наконец, для тех кроликов, которые продолжают увертываться и изматывать собак, но не возвращаются в Пристань, держится про запас заряженное ружье. Вокруг кроличьих садков плутней и подтасовок так же много, как и на скачках. Поэтому, как и на скачках, тут не мешает иметь судью и стартера, достойных доверия.

Накануне следующего состязания состоялась «случайная» встреча между ирландцем Мики и неким человеком в бриллиантовых перстнях.

Мики угостили сигарой. Казалось бы, что ж тут необыкновенного? Но сигара была завернута в зеленую обертку[1], искусно сдернутую с нее перед закуриванием. Последовало несколько небрежных слов:

— Если бы завтра вас поставили у старта, а Минки Дигна́ма проиграл бы, то я дал бы вам еще одну сигару.

— Если я буду у старта, я могу так повернуть дело, что Минки не получит ни одного очка, да и его напарник тоже.

— Вот как? — Его собеседник, видимо, заинтересовался.— Прекрасно. Так и сделайте. Вы получите две сигары.

Стартер Сла́ймен всегда работал честно и отверг немало соблазнительных предложений — это было известно всем. Большинство доверяло ему, но имелось и несколько недовольных. Поэтому, когда к распорядителю подошел господин со множеством золотых брелоков и выдвинул против Слаймена несколько серьезных обвинений, подкрепив их уликами, пришлось поневоле отставить его временно от обязанностей, и на его месте воцарился Мики Ду.

Мики был беден и не слишком щепетилен. Ему представлялся случай заработать годовое жалованье за одну минуту, да еще не причинив никому вреда — ни собаке, ни кролику. Один кролик внешне мало отличается от другого, всем это известно. Весь вопрос в том, чтобы умело выбрать кролика.

Первые забеги закончились. Было выпущено и убито пятьдесят кроликов. Мики выполнял свои обязанности безупречно: все пары собак были спущены без единого нарушения правил. И он остался стартером.

Теперь приближался финал кубка — заключительные забеги и большие пари.

VII

Стройные, изящные борзые дожидались своей очереди. Минки и его соперник бежали в первой паре. Дело до сих пор велось добросовестно, и кто может сказать, что дальше началась нечистая игра? Мики же был вправе выпустить любого кролика.

— Номер третий! — крикнул он помощнику.

Из ящика выскочил Боевой Конек с черно-белыми ушами. Каждый его прыжок равнялся пяти футам. Испуганно глянув на непривычную ему толпу, он сделал поразительный по высоте разведочный скачок.

— Гр-р-р-р! — закричал стартер, а его помощник забарабанил палкой по решетке.

Прыжки Боевого Конька увеличились до восьми-девяти футов.

---

[1] Американские доллары — зеленого цвета.

— Гр-р-р! — И они возросли до десяти, до двенадцати.

Когда он отбежал на тридцать шагов, спустили борзых — одновременно и без какой-либо задержки. Впрочем, многие находили, что довольно было бы отпустить кролика и на двадцать шагов.

— Гр-р-р! Гр-р-р! — И Боевой Конек поплыл четырнадцатифутовыми скачками, ни разу не подпрыгнув для разведки.

— Гр-р-р!

Чудесные собаки! Как они мчались по полю! Но далеко впереди, как белая чайка, как облачко, несся Боевой Конек. Дальше, мимо Большой трибуны! Уменьшалось ли расстояние между кроликом и собаками? Нет, увеличивалось! В меньшее время, нежели требуется, чтобы это описать, черно-белый пушок впорхнул в дверь Пристани — дверь, так похожую на добрый старый куриный лаз в заборе. Борзые остановились под гром насмешек. Толпа кричала «ура» Боевому Коньку. Как хохотал Мики! Как ругался Дигнам! А репортеры писали, писали, писали...

На следующий день во всех газетах появилась заметка:

«Чудесное достижение кролика. Кролик, по имени Боевой Конек, разбил наголову двух знаменитых в спортивном мире собак».

Между владельцами собак произошел яростный спор. Поскольку забег окончился вничью, собак допустили на второе состязание, но после первого гона они были утомлены и на этот раз бежали вяло.

На другой день Мики встретился с человеком в бриллиантовых перстнях. Случайно, конечно.

— Хотите сигару, Мики?

— Благодарю вас, сэр. Уж так они хороши, что не отказался бы и еще от одной. Покорно благодарю, сэр.

VIII

С этого дня Боевой Конек сделался гордостью ирландца. Стартеру Слаймену с почетом вернули его должность. Мики пришлось по-прежнему выпускать кроликов, но это привело только к тому, что с этих пор Мики начал сочувствовать кроликам, а не собакам. Вернее, не кроликам, а Боевому Коньку, потому что один он прославился из пятисот уцелевших от облавы. Были и другие, достигавшие Пристани и выступавшие по нескольку раз, но один только Джек пробежал все поле, ни разу не свернув с прямого пути. Состязания происходили два раза в неделю. Каждый раз гибло от сорока до пятидесяти кроликов. Из пяти сотен пленников скоро не осталось почти никого.

Боевой Конек участвовал в каждом состязании и каждый раз достигал Пристани. Мики приходил в дикий восторг, восхваляя

таланты своего любимца. Он искренне любил длинноногого бегуна и упорно утверждал, что для любой собаки — великая честь потерпеть поражение от такого молодца.

Кроликам крайне редко удается благополучно пробежать все поле, и когда Боевой Конек проделал это шесть раз подряд, не сбиваясь с прямого пути, о нем заговорили в газетах, и после каждого состязания появлялась заметка:

«Боевой Конек снова, ни разу не свернув с пути, скрылся в Пристань. Старожилы говорят, что в наше время совсем исчезли хорошие собаки».

После шестой победы все кроличьи сторожа пришли в восторг, а главный их командир, Мики, ликовал исступленно.

— Черт побери! Его надо выпустить на волю! Он заслужил свою свободу не хуже всякого американца,— говорил он в надежде повлиять на патриотическое чувство распорядителя состязаний, бывшего, в сущности, владельцем кроликов.

— Ладно, Мики. Когда дойдет до тринадцати раз, можешь отправить его обратно на родину,— был ответ.

— Право, сэр, отпустите его сейчас!

— Нет-нет, он мне нужен, чтобы проучить несколько новых собак.

— Значит, по рукам, сэр: тринадцать раз — и он свободен.

В это время была доставлена новая партия кроликов, и один из них оказался очень похож окраской на Боевого Конька, хотя бегал он совсем не так быстро. Мики во избежание ошибок посадил Боевого Конька в ящик, чтобы пометить ему уши щипцами, которые занял у контролера. На тонком хряще ясно отпечаталась звездочка, и Мики воскликнул:

— Ты будешь получать по звездочке за каждое состязание!

И он пробил на правом ухе шесть меток подряд.

— Теперь все в порядке, Боевой Конек. Ты станешь свободнейшим из свободных кроликов, когда заработаешь себе тринадцать звезд. На нашем флаге тоже было тринадцать звезд, когда мы заработали свою свободу![1]

На следующей неделе Боевой Конек победил новых борзых, и звезды перевалили уже с правого уха на левое. Еще неделя — и у него были все тринадцать звезд: шесть на левом ухе, семь на правом.

Газеты шумели о его подвигах.

— Ого-го! — торжествовал Мики.— Ты теперь вольный кролик, Боевой Конек! Тринадцать — счастливое число. Никогда оно меня не обманывало.

---

[1] Соединенные Штаты после освобождения из-под власти Англии состояли всего из тринадцати штатов, поэтому первоначально на американском флаге было тринадцать звезд. Теперь число штатов дошло до пятидесяти, и соответственно с этим увеличилось число звезд на флаге.

IX

— Да-да, знаю, что обещал,— сказал распорядитель,— но мне хочется выпустить его еще разок. Я поставил на него деньги против одной из новых собак. Это ему не опасно, он превосходно с ней справится. Да ну же, Мики, не упрямься! Ведь бегают же собаки по два и три раза в день, почему бы кролику еще раз не побегать?

— Собаки не ставят жизнь на карту, сэр.

— Отстань!

В загородке прибавилось много новых кроликов, крупных и мелких, миролюбивых и воинственных. Один рослый самец с диким нравом, увидев поутру стремительное возвращение Джека в Пристань, воспользовался случаем, чтобы напасть на него.

В другое время Джек щелкнул бы его по голове, как сделал это однажды с кошкой, и мгновенно разделался бы с ним, но теперь драка затянулась. Царапины и ушибы, полученные перед гонкой, повлияли на резвость Джека.

Начало этого состязания ничем не отличалось от предыдущих. Боевой Конек понесся легко и низко, с поднятыми ушами. В тринадцати звездах свистел ветерок. Вслед за ним мчались пес Минки с новичком Фанго, и, к удивлению стартеров, расстояние между ними и кроликом уменьшалось. Боевой Конек замедлил бег, и как раз перед Большой трибуной старый Минки заставил его свернуть с прямого пути. Зрители восторженно заорали, так как все хорошо знали участников состязания. Через пятьдесят шагов Фанго, в свою очередь, сбил кролика с пути, и состязавшиеся вернулись прямо к старту. Там стояли Слаймен и Мики. Кролик лавировал, борзые настигали его.

В тот самый миг, когда гибель казалась неминуемой, Боевой Конек прыгнул прямо на Мики. Мики схватил его на руки, отбиваясь ногами от рассвирепевших собак.

Едва ли Джек сознавал, что Мики ему друг. Он только повиновался старинному инстинкту, повелевающему бежать от верного врага к возможному доброжелателю, но, по счастливой случайности, оказалось, что он не мог поступить разумнее. Публика радостно зашумела, увидев Мики с его любимцем на руках. Но владельцы собак запротестовали: «Неправильно! Надо довести дело до конца!» Они обратились к распорядителю. Тот ставил на Джека против Фанго и, раздосадованный неудачей, назначил новый забег.

Насилу Мики удалось выговорить для кролика хотя бы час отдыха. И вот Джек снова пустился бежать с Фанго и Минки по пятам. Теперь он бежал лучше, чем в прошлый раз, но за трибуной его заставил повернуть сначала Фанго, а потом Минки. Джек прыгал направо, налево, бросался из стороны в сторону и еле

ускользал от врагов. Так длилось несколько минут. Мики видел, что уши Джека начинают обвисать. Собака прыгнула к кролику. Джек проскользнул почти под ее брюхом и увернулся — для того лишь, чтобы встретиться со второй собакой. Теперь оба его уха лежали плашмя на спине. Однако борзые тоже начали уставать. Они высунули языки. Челюсти и вздымавшиеся бока были все в пене. Уши Боевого Конька снова взлетели кверху. Казалось, усталость псов вернула ему бодрость. Он ринулся по прямой линии к Пристани. Но прямая линия была для собак легче поворотов, и ему опять пришлось завернуть, снова начав отчаянную игру. Владельцы борзых испугались за здоровье своих собак, и были спущены еще две, свежие борзые. Эти уж наверняка прикончат кролика. Боевой Конек напряг последние силы. Он оставил первых двух борзых далеко позади и уже подходил к Пристани, как подоспели вторые.

Ничто, кроме лавирования, не могло спасти его. Уши Джека повисли, и сердце колотилось о ребра, но дух был еще силен. Он метался, делая зигзаги. Собаки натыкались друг на друга — казалось, вот-вот они схватят его. Одна из них отщипнула кончик его длинного черного хвоста, и все же он увернулся. Но достигнуть Пристани он уже не смог. Счастье ему изменило. Против воли он очутился снова у Большой трибуны. Тысячи нарядных дам смотрели на него. Срок забега истекал.

Вторые собаки начинали уже уставать, как вдруг на них налетел Мики, выкрикивая безумные, бессвязные слова:

— Негодные твари! Подлые мерзавки!

И он яростно бросился к собакам.

Сбежались служители и оттащили прочь Мики, продолжавшего осыпать людей и собак самыми оскорбительными ругательствами.

— «Честная» игра! Вот что вы зовете честной игрой, лгуны вы, грязные обманщики, кровожадные трусы!

Его уволокли с поля.

Последнее, что он увидел, были четыре собаки, устало преследующие слабого, загнанного кролика, да судья на лошади, подающий знак человеку с ружьем.

Ворота захлопнулись за Мики. Он услышал два выстрела, гомон голосов, смешавшихся с визгом собак, и понял, что для Джека — Боевого Конька наступила развязка номер четыре.

На беговое поле его не пустят. Недолго думая Мики помчался к Пристани. Он увидел Джека — Боевого Конька, ковыляющего к Пристани с полуповисшими ушами. Он понял, что стрелок промахнулся, попал не в того, в кого следовало: одну раненую борзую уносили с поля, около другой хлопотал ветеринар.

Мики оглянулся, схватил ящик, поставил его в угол Пристани, бережно загнал в него измученного беглеца, закрыл крышку,

затем с ящиком под мышкой перелез через забор, не замеченный во всеобщем смятении, и исчез.

Все равно его прогнали бы! Мики ушел из города пешком, сел в поезд на ближайшей станции и через несколько часов очутился в кроличьей стране.

Солнце давно зашло, и над равниной стояла звездная ночь, когда Мики осторожно открыл ящик и здесь, среди ферм, живых изгородей и трав, тихонько выпустил Боевого Конька на свободу, сказав при этом:

— Не в первый раз старая Ирландия выпускает на свободу тринадцать звезд!

Секунду Боевой Конек озирался в недоумении. Затем сделал три или четыре длинных прыжка и один разведочный, чтобы обозреть местность. Тогда, развернув свои украшенные почетными звездами уши, он понесся навстречу так трудно отвоеванной свободе, вновь бодрый и сильный, и затерялся во мраке своих родных равнин.

С тех пор его часто видели в Каскадо. Много раз в этой местности устраивались облавы, но, должно быть, он изобрел какой-нибудь новый способ спасаться от людей, так как среди всех тысяч убитых и пойманных кроликов ни разу более не попадался кролик со звездами на ушах, Джек — Боевой Конек.

АРНО

I

Через боковую дверь мы вошли в конюшню. Слабый запах чисто содержащихся денников терялся в нежном аромате сена. Поднявшись по лестнице, мы очутились на длинном чердаке. Южный конец его был отгорожен, и знакомое «ку-у-у, ку-у-у, рук-эт-э-ку», смешанное с «уирр, уирр, уирр» крыльев, дало нам знать, что мы находимся на голубятне.

В этой голубятне жили знаменитые птицы, и на этот самый день было назначено состязание между пятьюдесятью молодыми голубями. Владелец голубятни пригласил меня быть судьей в этом состязании.

Оно, по своей сути, было испытанием молодых птиц. Раза два уже их относили вместе с родителями в поле и выпускали на свободу, чтобы они научились возвращаться в голубятню. Теперь им предстоял первый самостоятельный полет без старших. Выпустить их решено было в городке Элизабе́т — для молодых голубей такое расстояние было довольно большим.

— Дело в том,— объяснял тренер,— что мы так избавляемся от дурачков. Возвращаются только самые лучшие, а они-то нам и нужны.

Владельцы голубей и многие соседи-любители держали пари на разных птиц. Они установили между собой приз для победителя. Мне, как судье, предстояло определить, который из голубей окажется победителем. Выигравшим должен был считаться не тот, кто вернется первым, но тот, кто первым войдет в голубятню, потому что голубь, возвращающийся только в окрестности своего жилья, но не являющийся немедленно домой, плохой письмоносец.

Голубь, всегда и отовсюду возвращающийся домой, зовется возвратным голубем. Эти голуби не отличаются особой окраской и лишены причудливых украшений, годных для птичьих выставок. Их разводят не напоказ, а потому, что они быстрокрылы и

умны. От них требуется привязанность к родным местам и способность без промаха отыскивать их. Теперь считается, что чувство направления помещается в ушном лабиринте. Нет на свете существа, обладающего более тонким чувством направления, чем хороший возвратный голубь. Такого голубя всегда можно узнать по большим выпуклостям над ушами и по мощным крыльям.

И вот предстояло подвергнуть испытанию способности голубиной молодежи.

Несмотря на множество свидетелей, я счел более надежным запереть все дверцы голубятни, за исключением одной, и стать наготове, чтобы тотчас захлопнуть ее, как только первый голубь влетит в голубятню.

Никогда не забуду, что я пережил в этот день. Меня предупредили, что голубей выпустят в двенадцать часов. В половине первого им следует быть здесь, но надо держать ухо востро — они прилетают, как вихрь. Едва успеешь их заметить, как они уже влетят в голубятню.

Мы выстроились у стенки внутри голубятни, и каждый припал глазом к щели или неплотно закрытой дверце, жадно всматриваясь в юго-западный горизонт, как вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, вот они!

Белое облако низко пронеслось над городскими крышами, обогнуло фабричную трубу, и не прошло двух секунд, как голуби уже были на месте. Появление белого облачка, шелест крыльев — все это было так внезапно, так быстро, что как я ни готовился, а был застигнут врасплох. Мое место было у единственной открытой дверцы. Синяя стрелка просвистела мимо меня, задев мне лицо крыльями, и я едва успел спустить дверцу, как поднялся вопль:

— Арно! Арно! Говорил я вам, что он победит! Ох ты прелесть моя! Всего три месяца — и уже приз! Радость ты моя!

И владелец Арно прыгал, больше радуясь успеху птицы, нежели деньгам.

Все присели на корточки вокруг голубя, созерцая с благоговением победителя, который сперва напился, а потом повернулся к кормушке.

— Смотрите на эти глаза, на эти крылья! А видали вы когда-нибудь такую грудь? О, да он молодец, хоть куда! — болтал его владелец, обращаясь к безмолвным хозяевам-неудачникам.

Это был первый подвиг Арно. Он оказался лучшим из пятидесяти отличных голубей, и ему предстояла блестящая карьера.

Он получил серебряное кольцо, которым награждают лучших голубей. На кольце красовался его номер: 2590 С — номер, о котором и поныне любители говорят с благоговением.

Всего в голубятню возвратилось сорок голубей. Так бывает почти всегда. Некоторые ослабели и отстали, другие сбились с

пути по глупости. Этим простым способом отбора владельцы голубей добиваются усовершенствования породы. Из десяти пятеро пропали без вести, другие пятеро вернулись позднее в тот же день, и не поодиночке, а вместе. Последним из них явился большой, неповоротливый сизый голубь. Работник голубятни заметил его и сказал:

— Вот он, тот безмозглый сизый, на которого ставил Джек. Не думал я, что он вернется. Слишком уж у него большой зоб.

Большой Сизый, прозванный также Угловым, потому что он родился в угловом гнезде, отличался с самых первых дней замечательной силой. Несмотря на то что все голуби были приблизительно одного возраста, он скоро перерос своих ровесников и был красивее всех. Но знатоки мало ценят красоту голубей. Он, видимо, гордился своим превосходством и смолоду любил обижать слабых. Его хозяин предсказывал ему великую будущность, но конюх Би́лли не доверял его длинной шее, большому зобу, неповоротливости и излишнему весу.

— Разве птица может хорошо летать с таким пузырем на шее? Да и длинные ноги только весу прибавляют,— пренебрежительно ворчал Билли, подметая по утрам голубятню.

После первого полета тренировка голубей проводилась систематически. Расстояние с каждым днем увеличивалось на двадцать пять — тридцать миль, и направление менялось до тех пор, пока голуби не ознакомились со всеми окрестностями Нью-Йорка на полтораста миль вокруг. Из пятидесяти птиц осталось всего двадцать, потому что суровый отбор затрагивает не только слабых и неспособных, но еще и тех, кто случайно заболел, или попал в беду, или слишком сытно поел перед гонками.

На голубятне было много красивых птиц, широкогрудых, ясноглазых и длиннокрылых, созданных для того, чтобы служить человеку в минуту серьезной нужды. Окраска их была преимущественно белая, сизая или коричневая. У них не было определенной масти, но у каждого из оставшихся избранников были блестящие глаза и выпуклости над ушами высшей возвратной породы. И лучшим из всех, почти всегда первым в полете, был маленький Арно. Сидя дома, он мало отличался от других, потому что теперь уже все голуби щеголяли серебряными кольцами. Но в воздухе он тотчас давал себя знать. Как только открывали корзинку, Арно первый взлетал, поднимался на необходимую высоту, угадывал путь к дому и безошибочно мчался, не останавливаясь ни для еды, ни для питья, ни для развлечения.

Несмотря на мрачные предсказания Билли, Большой Сизый

из углового гнезда оказался одним из двадцати избранников. Он частенько запаздывал в пути и никогда не возвращался первым. А иной раз, возвратившись на несколько часов позднее остальных, не выказывал ни голода, ни жажды — явный признак, что он отдыхал и кормился в пути. Но всякий раз он возвращался, и на лапке его, как и у всех остальных, имелось серебряное кольцо с номером. Билли презирал Сизого, но хозяин его говаривал:

— Дайте срок. Кто скоро созревает, тот скоро и увядает. Я всегда подмечал, что лучшая птица позднее всех дает себя знать.

Еще не прошло и года, как маленький Арно побил славный рекорд. Труднее всего лететь над морем, где нет возможности узнать дорогу по каким-нибудь приметам. А еще того хуже, если приходится лететь в тумане, когда даже солнца не видно. Но когда память, слух и зрение бессильны, у голубя все же остается врожденное чувство направления. Только страх может уничтожить это чувство. Вот почему необходимо, чтобы между мощными крыльями помещалось мужественное сердечко.

Арно с двумя из своих товарищей был сдан на океанский пароход, шедший в Европу. Их намеревались выпустить при выходе в открытое море, но внезапный густой туман спутал все планы. Пароход увез их с собой дальше. Голубей собирались отправить обратно с первым встречным судном. После десяти часов пути судовая машина испортилась, туман сгустился, и пароход оказался беспомощной игрушкой ветра и волн. Единственное, что можно было делать,— это гудком подавать сигнал тревоги. Но и это не помогло. Тогда-то вспомнили о голубях. Выбор пал на Ста́рбека, 2592 С. Написали записку на непромокаемой бумаге, свернули в трубочку и привязали снизу к перьям хвоста. Старбек взвился в воздух и исчез. Полчаса спустя снарядили Большого Сизого из углового гнезда, 2600 С. Этот также поднялся в воздух, но почти сейчас же вернулся и опустился на снасти. Он съежился от страха. Никак нельзя было заставить его покинуть судно. Он до такой степени был испуган, что дал беспрепятственно себя изловить и постыдно всунуть в клетку.

Достали теперь третьего — маленького плотного голубка. Моряки не имели о нем представления, но отметили имя и номер на его кольце: Арно, 2590 С. Для них эта надпись ничего не означала. Однако державший его моряк заметил, что его сердце колотится не так сильно, как у предыдущего гонца. Его снабдили запиской, снятой с Большого Сизого. Вот эта записка:

10 часов утра, вторник.

Машина испортилась в 210 милях от Нью-Йорка. Беспомощно дрейфуем в тумане. Пришлите буксирное судно как можно скорее. Через каждые шестьдесят секунд даем один длинный гудок, за ним один короткий.

Капитан

Письмо было свернуто в трубочку, обернуто непромокаемой бумагой, адресовано Пароходному обществу и прикреплено к нижней стороне перьев хвоста.

Голубь, едва его отпустили, описал круг над судном, затем другой, повыше, снова выше, пока не скрылся из виду. Он поднимался все выше и выше до тех пор, пока сам не перестал видеть судно. Лишенный возможности пользоваться всеми своими чувствами, кроме одного чувства направления, он всецело предался ему. И страх не затуманивал его. Как стрелка компаса всегда устремляется к северу, так устремился к своей цели Арно — без колебаний, без сомнений. Спустя минуту после освобождения из клетки он уже несся прямо, как луч света, к взрастившей его голубятне, единственному месту, где ему было хорошо.

В этот день на голубятне дежурил Билли. Вдруг послышался шелест быстрых крыльев; в голубятню скользнул синий луч и бросился к корытцу с водой. Голубь тянул уже один глоток за другим, когда Билли вдруг спохватился:

— Да это ты, Арно, красавец мой!

Затем привычным движением голубиного тренера он достал часы и отметил время: 2 часа 40 минут. В то же мгновение он заметил нитку на хвосте. Билли притворил дверцу и быстро опустил сетку на голову Арно. Через минуту он держал в руке записку, а две минуты спустя торопился уже к конторе общества, предвкушая щедрую награду. Здесь он узнал, что Арно проделал двести десять миль над морем, в тумане, за четыре часа сорок минут, и не прошло часа, как на выручку злополучного парохода было отряжено спасательное судно.

Двести десять миль над морем, в тумане, за четыре часа сорок минут! Славный это был рекорд! Его занесли, как и подобало, в списки Голубиного клуба. Арно держали на руках, а секретарь, вооружившись резиновой перчаткой и несмываемыми чернилами, отметил на одном из белоснежных перьев крыла подвиг и день, когда этот подвиг был совершен.

Старбек, второй голубь, так и не вернулся. Без сомнения, он погиб в море.

Сизого из углового гнезда привезло буксирное судно.

III

Это был первый подвиг Арно, а вскоре последовали и другие, так что на голубятне разыгралось немало сцен, главным действующим лицом которых был Арно.

Однажды к конюшне подкатила карета; из нее вышел седоволосый господин, вскарабкался по пыльной лестнице на голубятню и все утро просидел вместе с Билли, поглядывая сквозь

золотые очки то на кучу бумаг, то поверх городских крыш, высматривая и дожидаясь — чего? Ве́сти из местечка, отстоящего всего на сорок миль,— вести, огромной для него важности, вести, которая должна была спасти или погубить его, вести, которую ему необходимо было получить скорее, нежели ее мог доставить телеграф, так как телеграмма задержится по меньшей мере на час в каждом направлении. Что могло прийти быстрее телеграммы на расстоянии сорока миль? В те времена было лишь одно средство — первоклассный почтовый голубь.

Деньги не в счет, если победа останется за ним. Старик банкир просил послать лучшего голубя, сколько бы это ни стоило. И вестником был избран Арно, с его неизгладимыми рекордами на крыльях.

Прошел час, другой и начинался третий, когда синий метеор ворвался, свистя крыльями, в голубятню. Билли захлопнул дверцу и поймал голубя. Живехонько он сорвал нитку и подал записку банкиру. Старик смертельно побледнел, с трудом развернул ее, и лицо его оживилось.

— Благодарение богу! — пролепетал он.

Затем счастливый банкир поспешил на заседание правления, зная, что победа останется за ним. Маленький Арно спас его от гибели. Банкир хотел приобрести голубя, чувствуя, что ему подобает беречь и холить своего спасителя. Но Билли ответил ему:

— Что в этом толку? Вам не купить сердца возвратного голубя. Вы можете превратить его в пленника — вот и все. Но ничто на свете не заставит его забыть голубятню, в которой он родился.

Итак, Арно остался в 211-м номере на Западной Девятнадцатой улице. Но банкир не забыл его.

В нашей стране есть немало негодяев, считающих летящего голубя законной добычей, убивающих его потому лишь, что их трудно уличить. Не один благородный гонец, летевший с вестью о жизни или смерти, был убит злодеем и превращен в начинку для пирога.

Брат Арно, Арно́льф, уже отмеченный тремя славными рекордами, был убит, когда нес спешный вызов врагу. Он упал к ногам стрелка, и великолепные его крылья развернулись, обнаружив список побед. На ножке виднелось серебряное кольцо, и охотник почувствовал угрызения совести. Он отправил доктору письмо и возвратил убитую птицу Голубиному клубу с уведомлением, что «нашел ее». Владелец явился к нему в дом, охотник растерялся и вынужден был сознаться, что застрелил вестника сам, но якобы потому, что его больной сосед мечтал о пироге с голубятиной. Гнев владельца голубя мешался со слезами:

— Моя птичка, мой красавец Арнольф! Двадцать раз он приносил важные известия, побил три рекорда, дважды спас челове-

ческую жизнь, и вы убиваете его на пирог! Я мог бы преследовать вас по закону, но мне претит такая жалкая месть. Прошу вас только об одном: если еще когда-нибудь у вас будет больной сосед, желающий пирога с голубятиной, приходите — мы даром снабдим вас пригодными на то ублюдками. Но если в вас есть хоть капля чести, вы никогда, никогда больше не будете убивать и не позволите другим убивать наших благородных и бесценных вестников.

Это произошло в то время, когда банкир часто бывал в голубятне и сердце его горело благодарностью к голубям. Он был человек влиятельный, и одним из следствий подвига Арно явился принятый в Олбани[1] закон, охраняющий голубей.

IV

У Билли никогда не лежало сердце к Сизому из углового гнезда, 2600 С. Несмотря на то что Сизый все еще числился в списках Серебряного ордена, Билли продолжал пренебрежительно относиться к нему. Случай с пароходом показал в нем труса. Кроме того, он, без сомнения, был еще и буяном.

Однажды утром Билли застал на голубятне драку. Два голубя, один большой и один маленький, носились, сцепившись, по полу, поднимая пыль. Когда удалось их разнять, Билли увидел, что маленький — Арно, а большой — Сизый из углового гнезда. Арно стойко сражался, но побеждал Сизый, так как был вдвое тяжелее.

Вскоре выяснилась и причина поединка — прелестная маленькая голубка. Большой Сизый давно уже раздражал Арно своей грубостью, но окончательным толчком к смертному бою послужила маленькая голубка. Билли не имел права свернуть Сизому шею, но сделал все, что мог, для своего любимца Арно.

Билли запер Арно с маленькой голубкой в отдельном помещении на две недели и для большей верности сделал то же с Большим Сизым, назначив ему в подруги первую подходящую даму.

Все вышло, как он ожидал. Маленькая голубка признала своим владыкой Арно, а «подходящая дама» — Большого Сизого. Обзавелись гнездами, и все, казалось, вело к тому, чтобы жить-поживать и добра наживать. Но Большой Сизый был очень велик и красив. Он умел выпячивать зоб, и на солнце вокруг его шеи появлялась такая радуга, что перед ним не устояла бы ни одна голубка.

А наш Арно, хотя крепко сложенный, был мал ростом и не особенно красив. Только глазки у него чудно сверкали. Вдобавок он часто покидал голубятню по важным делам, между тем как

---

[1] О л б а н и — столица штата Нью-Йорк.

Большому Сизому только и было дела, что красоваться на голубятне и развертывать свои лишенные надписей крылья.

Писатели любят искать у животных, и преимущественно у голубей, примеры супружеской любви и верности. И они, в общем, правы, но — увы! — бывают исключения.

Жена Арно была с самого начала очарована Большим Сизым, и в конце концов однажды, когда муж ее был послан по делам, ужасное событие совершилось.

Возвратившись из Бостона, Арно увидел, что Большой Сизый, не отказываясь, однако, от своей законной «подходящей дамы» в угловом гнезде, в то же время присвоил себе его жену и гнездо. Последовал отчаянный бой. При нем присутствовали одни только жены, взиравшие на него с полным равнодушием. Арно бился своими чудесными крыльями, но изворотливость их не увеличивалась от летописи рекордов. Клюв его и ноги были малы, как у всякого хорошего почтового голубя, и отважное сердечко не могло возместить недостаток веса. Бой должен был кончиться не в его пользу. Жена беззаботно сидела на гнезде, как будто была тут ни при чем, и Арно был бы убит, если бы не подоспел вовремя Билли. Он так обозлился, что готов был скрутить Сизому шею, да только буян успел улизнуть из голубятни.

В течение нескольких дней Билли с нежностью ухаживал за Арно. Через неделю тот совсем оправился, а через десять дней был уже в пути. Он, по-видимому, простил неверной жене, так как спокойно продолжал жить в своем гнезде. В этот месяц он установил два новых рекорда: он принес письмо за десять миль в восемь минут и перелетел из Бостона в Нью-Йорк за четыре часа. Всякий раз его влекла обратно любовь к родине.

Печально было возвращение Арно, так как он снова застал свою жену в приятной беседе с Большим Сизым. Как он ни был утомлен, поединок возобновился и кончился бы смертью Арно, если бы не вмешался Билли. Он разнял бойцов, потом запер Сизого отдельно, решив избавиться от него при первой же возможности.

Между тем приближалось большое соревнование всех возрастов — полет в девятьсот миль от Чика́го в Нью-Йорк.

Голуби были отправлены в Чикаго по железной дороге. Там их выпустили одного за другим. Чем лучше был голубь, тем позже его выпускали. Последним был выпущен Арно.

Миновав Чикаго, несколько голубей инстинктивно соединились в стаю. Возвратный голубь следует по прямой линии, когда повинуется общему чувству направления, но когда ему приходится проделывать знакомый уже путь, он обыкновенно придерживается известных признаков, сохранившихся у него в памяти. Большинство птиц тренировались по пути, ведущему через Колу́мбус и Буффало́. Арно знал дорогу через Колумбус, но знал

дорогу и через Детро́йт. Поэтому, миновав озеро Мичиган, он полетел по прямой линии на Детройт. Таким образом, он сразу выиграл несколько миль.

Детройт, Буффало, Ро́честер с их знакомыми башнями и трубами один за другим растаяли позади, и приближались уже Сиракузы. День клонился к вечеру. Арно пролетел шестьсот миль в двенадцать часов и был, без всякого сомнения, впереди всех. Но вдруг ему захотелось пить. Пролетая над городскими крышами, он увидел голубятню и, спустившись с высоты двумя-тремя большими кругами, примкнул к своим соплеменникам и жадно напился из корыта. Он не раз уже проделывал это и раньше.

Всякий любитель голубей всегда желает, чтобы вестники пользовались его гостеприимством. Владелец голубятни был тут и заметил незнакомого голубя. Он осторожно стал на такое место, откуда мог следить за ним. Один из его собственных голубей вздумал было поспорить с пришельцем, и Арно, защищаясь развернутым крылом, выставил напоказ ряд напечатанных рекордов. Владелец дернул веревку дверцы, и через несколько мгновений Арно очутился у него в плену.

Похититель развернул испещренные надписями крылья, прочел один рекорд за другим и, взглянув на серебряное кольцо — ему бы следовало быть золотым,— прочел имя голубя и воскликнул:

— Арно! Арно! О, я слыхал о тебе, приятель, и очень рад, что получил тебя!

Он срезал записку и прочел:

Арно оставил Чикаго сегодня в 4 часа утра. Он участвует в большом перелете всех возрастов по маршруту Чикаго — Нью-Йорк.

— Шестьсот миль за двенадцать часов! Ты побил все рекорды!

И голубиный вор нежно, почти благоговейно посадил бьющуюся птицу в клетку.

— Ну,— добавил он,— тебя, я знаю, не убедишь остаться, но я могу получить от тебя наследников и развести твою породу.

Итак, Арно был заперт в удобном помещении вместе с несколькими другими узниками. Хозяин голубятни, хотя и вор, был искренний любитель голубей. Он не отказывал своему пленнику ни в чем.

Так прошло три долгих месяца. Сперва Арно только и делал, что шагал по целым дням вдоль клетки, заглядывая вверх и вниз, где бы улизнуть, но на четвертый месяц он, видимо, отказался от побега, и внимательный тюремщик приступил к выполнению второй части программы. Он ввел к Арно застенчивую молодую голубку. Однако толку вышло мало: Арно не стал даже смотреть на нее. Немного погодя тюремщик удалил голубку, и Арно был

на целый месяц оставлен в одиночном заключении. Затем привели новую голубку, но и с этой дело не пошло на лад, и так продолжалось целый год. Арно либо яростно колотил красавиц, либо выказывал к ним презрительное равнодушие, а временами старое желание вернуться домой снова возникало в нем с удвоенной силой, и он бился о проволочную стенку или в волнении метался взад и вперед. Когда началась ежегодная линька голубя, тюремщик бережно стал подбирать на память каждое выпадавшее из крыльев драгоценное перо, и, по мере того как вырастали новые, он аккуратно повторял на них историю славных подвигов Арно.

Медленно протянулось два года. Тюремщик переселил Арно в новую голубятню и дал ему новую самочку. Случайно в ней оказалось большое сходство с оставленной дома изменницей, и Арно обратил на нее внимание. Однажды тюремщику показалось, что его знаменитый пленник слегка ухаживает за красавицей, и — да, сомнения нет! — вот она готовит уже себе гнездо. Заключив из этого, что они окончательно столковались, тюремщик впервые открыл дверцу, и Арно очутился на свободе. Замешкался ли он? Растерялся ли? Ничуть не бывало. Как только перед ним открылось воздушное пространство, он рванулся на волю, развернул свои удивительные расписные крылья и бросился прочь от ненавистной тюрьмы — все дальше и дальше.

V

Ни один человек никогда не любил так свой дом, как Арно любил свою голубятню.

Домой, домой, к милому дому! Все испытания и горести, которые он пережил в родной голубятне, были позабыты. Ни годы тюрьмы, ни поздняя любовь, ни страх смерти не могли подавить любви к родине, и если бы Арно владел даром песни, он, несомненно, запел бы героическую песнь. Он летел ввысь восходящими кругами, повинуясь единственному стремлению, способному подчинить эти славные крылья,— выше, выше, влекомый любовью к родине, верный единственному своему дому и изменнице-подруге. Закрыв, как говорят, глаза, закрыв, как утверждают, уши, закрыв, как все мы думаем, разум, он несся по лазури, всецело отдаваясь своему тайному руководителю — чувству направления.

Арно летел с быстротой стрелы на юго-восток. Сиракузский грабитель простился с Арно навсегда. Внизу, в долине, дымил курьерский поезд. Он был далеко впереди, но Арно нагнал и опередил его, как дикая утка на лету обгоняет плывущего выхухоля. Высоко над долинами, низко над горами Чена́нго, где сосны шепчутся с ветрами, он летел все дальше и дальше.

Из гнезда на дубу безмолвно выплыл ястреб, подсмотревший голубя и наметивший его себе в жертву. Арно не свернул ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, не потерял ни одного взмаха крыльев. Ястреб дожидался. Но Арно пронесся мимо, как олень в полном расцвете сил минует засаду медведя. Домой, домой!

Мах, мах, мах! — мелькали сверкающие крылья по знакомому теперь пути. Через час он увидит знакомые холмы. Вот он уже пролетает над ними. Быстро бегущие навстречу родные места вливали в него новую силу. Домой, домой! — без слов пело его сердце. Как умирающий от жажды путник глядит на едва заметные вдали верхушки пальм, так его блестящие глаза с надеждой всматривались в отдаленный дым Манха́ттана[1].

С гребня гор сорвался сокол-голубятник. Быстрейший из хищников, гордый своей силой, гордый своими крыльями, он радовался достойной добыче. Немало голубей попало в его гнездо, и он плыл теперь по ветру, паря, сберегая силы, выжидая удобного мгновения. О, как точно он выбрал это мгновение! Вниз, вниз ринулся он, мелькнув как стрела. Ни дикая утка, ни ястреб не могли бы увернуться от него, потому что это был сокол.

Лети обратно, голубь! О голубь, спасайся, обогни опасные холмы!

Свернул ли голубь с пути? Нет, так как это был Арно. Домой, домой, домой! Ни о чем другом он не думал. Спасаясь от сокола, он только летел быстрее. Сокол ринулся — ринулся на это сверкающее пятнышко — и возвратился ни с чем. Арно между тем прорезал воздух долины, как камень, пущенный из пращи: сперва белокрылая птица, затем пятно с трепещущим сиянием — и вскоре ничтожная точка. Дальше, вдоль милой долины Гудзона, знакомой ему большой дороги... Прошло уже два года с тех пор, как он видел ее. Теперь он несется ниже. С севера поднялся ветерок и рябит под ним реку. Домой, домой, домой!.. Уже встают перед ним городские башни. Домой, домой! Нужно держаться низко, так как поднялся ветер.

Низко! Увы, он летел слишком низко! Какой злой дух соблазнил охотника в июне притаиться за верхушкой этого холма? Что за бес указал ему белое мелькающее пятнышко, выплывающее из лазури навстречу северу? О Арно, Арно, несущийся так низко, не забывай о стрелке! Слишком, слишком низко ты проносишься над этим холмом. Слишком низко.

Вспышка, треск! — и смертоносный град настиг Арно; настиг, изувечил, но не сбил с пути. Мелькающие крылья уронили сломанные расписные перья, медленно опустившиеся на землю. «Ноль» от его морского рекорда исчез. Теперь уже он показывал не 210, а 21 милю. О постыдный грабеж! На груди расплылось

---

[1] Манха́ттан — остро́в, на котором стоит город Нью-Йорк.

темное пятно, но Арно не сдавался. Домой, домой! Опасность осталась позади. Домой, все домой, так же прямо, как и прежде.

Но чудесная скорость теперь уменьшилась: в минуту уже не выходило мили, и ветер поднимал непривычный шум в испорченных крыльях. Пятно на груди гласило о надломленной силе, но Арно все летел вперед. Дом, дом виднелся уже вдали, и боль в груди была позабыта. Высокие башни города ясно вырисовывались перед его дальнозоркими глазами, в то время как он скользил близ утесов Джёрси. Вперед, вперед! Крыло может ослабеть и глаз померкнуть, но любовь к родине все растет и растет.

Он пролетел вдоль высоких холмов, укрываясь от ветра, над сверкающей водой, над деревьями и под гнездом соколов-голубятников, разбойничьей твердыней на скале, где сидели большие угрюмые хищники. Зорко присматриваясь, похожие на пиратов в черных масках, они подметили приближение голубя. Арно знал их издавна. Много недоставленных посланий нашло приют в этом гнезде, много расписных перьев, трепеща, опустилось с него на землю. Но Арно уже не раз тягался с ними и продолжал теперь свой путь, как бывало,— вперед, вперед, быстро, но все же не так быстро, как прежде. Смертоносное ружье подорвало его силы, убавило его скорость. Вперед, вперед! Соколы, выждав время, слетели, как две стрелы. Они ловили ослабевшего, усталого голубка.

К чему описывать погоню? К чему изображать отчаяние отважного сердечка? Он уже видел свой дом... В одну минуту все было окончено. Голубятники испустили хриплый крик торжества и взвились на свою скалу, держа в когтях голубиное тельце — все, что осталось от бесстрашного маленького Арно.

Там, на скале, клювы и когти пиратов окрасились кровью героя. Несравненные крылья были изорваны в клочья, и летопись их разметана по камням. Там они лежали на солнце, пока сами убийцы не были убиты и твердыня их не опустошена.

И судьба бесподобной птицы так и осталась бы безвестной, если бы в хламе и соре пиратского гнезда случайно не обнаружили серебряное кольцо — священный орден первоклассного почтового голубя, на котором красовалась многозначительная надпись:

Арно, 2590 С

УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ

I

Какая оживленная маленькая толпа! Сколько волнения и трескотни!

Несколько воробьев, порхающих с места на место и прыгающих друг около друга посреди водосточного желоба. В центре этой толпы, когда она немного рассеивается, можно видеть причину всей сумятицы: маленькую воробьиху, отчаянно, с негодованием защищающуюся от своих назойливых поклонников. Воробьи, по-видимому, ухаживают за ней, но их манеры так грубы, что с первого взгляда это ухаживание можно принять за расправу. Они треплют и щиплют ее самым жестоким образом, не причиняя ей, впрочем, как можно заметить, никакого серьезного вреда. Она же сама бьет их без пощады. Кажется даже, что она убила бы всех своих мучителей без всякого сожаления, если б только могла.

Совершенно ясно, что она ни к кому из них не чувствует симпатии. И вот, постаравшись убедить их в этом, насколько возможно, при помощи своего клюва, она пользуется легким замешательством среди соперников и улетает на ближайшую крышу. При этом на одном из ее крыльев становятся видны белые перышки, отличающие ее от других и делающие ее особенно привлекательной.

II

Воробей-самец, щеголяющий великолепным черным галстуком и белым воротничком, был очень занят. Он усердно устраивал себе гнездо в птичьем домике, поставленном детьми в саду. Он был во многих отношениях выдающейся птицей. Строительными материалами служили ему веточки и прутики, которые можно было набрать только на площади, а по утрам он иногда

приостанавливал работу, чтобы на манер канарейки спеть песенку, громкую и звонкую.

Совсем не в обычае у воробьев строить себе гнезда в одиночестве. Но мы недаром назвали этого воробья выдающейся птицей. После недели работы он, видимо, окончил постройку гнезда, так как птичий домик был уже наполнен до самой дверцы веточками, сорванными с деревьев на площади. У него теперь оставалось больше свободного времени для музыкальных упражнений, и все чаще и чаще, на удивление всем, раздавалась его песенка, совсем не похожая на воробьиное чириканье. И наш воробей вошел бы, может быть, в историю как одна из необъяснимых загадок природы, если бы некий любитель птиц, парикмахер с Шестой авеню, не рассказал нам о первых днях его жизни.

Этот человек, оказывается, положил воробьиное яйцо в свитое из ивовых прутьев гнездо своих канареек. Вылупившегося из этого яйца птенца добросовестно воспитывали его приемные родители. Пение было их специальностью. Птенец обладал крепким телосложением и отличными легкими. Канарейки воспитали его на славу. Из него вышел певец, восполнявший энергией недостаток природного таланта. Сильный, драчливый, этот не лишенный музыкальности забияка стал в скором времени хозяином клетки. Он, не колеблясь, принуждал к молчанию канарейку, которую не мог превзойти в совершенстве мелодии, и после каждой из таких побед его песни бывали столь необычно хороши, что парикмахер достал чучело канарейки и подсовывал его в клетку каждый раз, когда хотел позабавить своих гостей торжествующей победной песней Рэнди — так звали воробья. Рэнди заставлял молчать всякую канарейку, с которой его сажали в одну клетку. А сидя в отдельной клетке, он ни от чего не приходил в такую ярость, как от близости какого-нибудь певца-соперника, которого он не мог заставить молчать. В таких случаях он совершенно забывал свою музыку и начинал злобно чирикать по-воробьиному.

К тому времени, когда у него появился черный нагрудник, Рэнди стал едва ли не главной достопримечательностью парикмахерской. Но вот однажды полка, на которой стояли клетки, рухнула, все клетки свалились на пол, и среди всеобщего разрушения многие из птиц очутились на свободе. Среди них был и Рэнди. Канарейки добровольно вернулись в свои клетки или позволили себя поймать. Но Рэнди выпорхнул в окно, почирикал немного, вызывающе запел в ответ на свисток паровоза городской железной дороги и, не позволив себя поймать, приступил к исследованию окрестностей. Он не был рожден для того, чтобы жить пленником, и быстро освоился со своим новым положением свободной птицы. Через неделю он был уже так же дик, как любой представитель его рода, и превратился в маленького уличного буяна, не отличающегося от других воробьев, вечно дерущихся между собой

на улице. Он, отплачивая ударом за удар, иногда поражал слушателей неожиданной музыкальной гаммой, которую заимствовал от канареек, но пел с истинно воробьиным задором.

III

Вот это-то и был Рэнди, воробей, который избрал птичий домик для своего гнезда. Теперь ясно, почему он так усердно собирал прутики. Единственное гнездо, которое он видел в жизни, было плетеной корзиночкой. Поэтому и свое собственное гнездо он намеревался построить из прутиков.

Через несколько дней Рэнди появился с подругой. Я мог бы забыть сцену в водосточном желобе, если бы не узнал теперь в подруге Рэнди маленькой Бидди, той самой белокрылой дамы, которая была причиной потасовки.

Рэнди ей, видимо, нравился, но она еще продолжала пыжиться и клевать его, как только он приближался. А он все расхаживал вокруг нее с опущенными крыльями и хвостом, щебеча что-то, как делал бы всякий другой воробей-самец на его месте, и останавливаясь лишь для того, чтобы запеть.

Наконец ему удалось преодолеть ее сопротивление, быть может, именно благодаря своему удивительному музыкальному таланту, и он уже провожал ее к своему гнезду, летя впереди и показывая дорогу. Она последовала за ним в домик, но тотчас выскочила обратно, а Рэнди за нею, чирикающий и умоляющий. Он долго щебетал, прежде чем ему удалось убедить ее вернуться, но она снова выскочила, на этот раз явно рассерженная. Опять он старался ее убедить, и наконец она вошла внутрь домика, но опять выскочила, неся в своем клюве веточку, уронила ее и улетела прочь. Вышел наружу и Рэнди. Он уже больше не гордился своим домом. Это был большой удар для него. С минуту он безутешно посидел на пороге, щебеча нечто такое, что должно было означать: «О, вернись, вернись!», но его невеста не возвращалась. Потом он опять прыгнул внутрь. Послышалось легкое царапанье, он выскочил с большой веточкой в клюве и швырнул ее из дверей на землю. Он вернулся за другой, которую также отправил вслед за первой, и так далее, пока не вытащил и не побросал на землю все веточки, которые раньше так заботливо и трудолюбиво собирал. Эта редкостная веточка с развилиной, которую стоило столько труда доставить с площади, и эти два ровных прутика вроде тех, из которых было сделано гнездо его приемной матери,— все, все пускай пропадает!

Он трудился около часа молчаливо и в одиночестве. Наконец работа была окончена, и внизу на земле лежала целая куча веток, точно маленький костер.

Рэнди свирепо посмотрел на результаты уничтожения своего недельного труда, оглянулся на пустой домик, издал короткое грубоватое чириканье — вероятно, какое-нибудь бранное слово на воробьином языке — и улетел прочь.

На следующий день он вновь появился с беглянкой, кружась около нее и возбужденно чирикая. Он снова подвел ее к своему домику. Бидди прыгнула внутрь, потом выскочила и посмотрела сверху на кучу веток, лежащую на земле. Затем снова вошла и появилась опять на пороге с крошечной веточкой, видимо забытой Рэнди, бросила ее и с удовольствием следила, как она падала вниз, на кучу. После долгой беготни внутрь домика и обратно оба улетели вместе и вскоре вернулись: Бидди — с пучком сена в клюве, а Рэнди — с соломинкой. Все это было внесено внутрь домика и, вероятно, прилажено на место по всем правилам строительного искусства. Потом они опять отправились за сеном, после чего Бидди осталась в домике устраиваться, пока Рэнди приносил сено, пучок за пучком, и только изредка, когда он слишком медлил, она сама отправлялась за ношей.

Наконец-то мне представился удобный случай испытать их вкусы. Я разложил на балконе, вблизи от птичьего домика, тридцать коротких тесемок и лент. Пятнадцать из них были серенькие, восемь — пестрые и семь ярких шелковых ленточек. Каждый светлый лоскуток чередовался с темным. Бидди первая заметила эту выставку. Она слетела вниз, осмотрела ее со всех сторон левым глазом, правым глазом, потом решила, что не стоит ничего трогать. Но тут подоспел Рэнди; ему, как бывшей комнатной птице, все это было знакомо. Он попрыгал в одну сторону, затем в другую, тронул один лоскуток, отскочил назад, снова приблизился, поклевал там и сям и наконец схватил свою добычу и улетел с нею. Затем опять прилетела Бидди, и на этот раз оба унесли по лоскутку. Предпочтение оказывалось только темным лоскуткам, но когда они кончились, Бидди подобрала несколько более светлых лент. А самые яркие так и остались нетронутыми.

Гнездо было уже наполовину готово, и Рэнди еще раз попробовал встроить в него прутик. Но через мгновение прутик был сброшен вниз, на кучу, а Бидди победоносно глядела ему вслед. Бедный Рэнди! Никакого снисхождения к его слабости. Все чудесные прутики были выброшены! У его матери было гнездо, сплетенное из прутиков,— великолепное гнездо! Однако он вынужден был покориться. Теперь в домике ничего не осталось, кроме соломинок и сена,— ни одной палочки, а только мягкие материалы. И он подчинился этому: свобода ежедневно давала ему уроки подчинения. Раньше он думал, что весь мир исчерпывается парикмахерской, а он, Рэнди,— самый важный из живущих в этом мире существ. Но теперь оба эти представления рушились. Бидди находила, что его воспитание имело весьма существенные пробелы

в практическом отношении, и ей на каждом шагу приходилось заново его учить.

Когда гнездо было на две трети закончено, Бидди, большая любительница роскоши, стала таскать в него большие мягкие перья. Но теперь Рэнди нашел, что это заходит слишком далеко и нужно поставить какой-нибудь предел.

Ему не понравилась постель из перьев, которых не было в его первой колыбели, и он занялся выбрасыванием неприятных ему постельных принадлежностей. Бидди подоспела как раз вовремя с новой ношей, чтобы увидеть принесенные ею раньше перья вылетающими из домика вниз, на кучу веток. Она бросилась за ними, схватила их еще в воздухе и вернулась навстречу своему господину, показавшемуся из дверей с новым пучком злополучных перьев. И так они остановились, смотря друг на друга и громко чирикая, оба с клювами, полными перьев, и с сердцами, полными взаимной обиды.

Сначала разыгралась бурная сцена, во время которой перья то вносили в домик, то выбрасывали прочь и они летели по саду, гонимые ветром. Потом наступило затишье, а на следующий день все перья были водворены обратно в гнездо. Каким образом они пришли к соглашению, навсегда останется тайной. Во всяком случае, большую часть работы выполнил сам Рэнди и не успокоился, пока домик не был набит самыми большими и мягкими из перьев.

Супруги обыкновенно держались вместе, но как-то раз Бидди улетела и долго не возвращалась. Рэнди посмотрел вокруг, почирикал, взглянул вверх, потом вниз и увидел опять кучу прутиков, на собирание которых он столько затратил труда. Чудесные прутики, совсем как в той колыбельке, где он родился! Рэнди слетел вниз. Замечательная веточка с развилиной все еще лежала на месте, и соблазн был непреодолим. Рэнди схватил ее и поспешил с ней к гнезду, потом залез внутрь. С этой веточкой всегда было трудно обращаться, она зацеплялась развилиной за дверь. Но ему так часто приходилось последнее время протаскивать ее внутрь, что он уже знал, как лучше поступить. Провозившись с ней внутри с полминуты, он опять выпорхнул наружу, гордо посмотрел вокруг, почистил себе перья, встряхнулся, затем пропел свою канареечную песню несколько раз с начала до конца и с самым счастливым видом взял несколько новых нот.

Когда Бидди прилетела с перьями, он предусмотрительно помог водворить их на место. Гнездо было готово.

Двумя днями позже я поднялся к гнезду и обнаружил там яйцо. Воробьи видели, как я влезал, но не носились с криком над моей головой, как поступает большинство птиц, а, отлетев на почтительное расстояние, тревожно следили за мной из-за дымовой трубы.

На третий день внутри домика началось какое-то движение, послышались звуки борьбы, чириканье, и два-три раза птичий хвост показывался из дверей, как будто обладатель его пятился, таща что-то. Наконец обладатель хвоста вылез наружу настолько, что в нем уже можно было узнать Бидди. И снова ее втянули внутрь. Очевидно, происходила какая-то семейная ссора. Все это было совершенно необъяснимо, пока Бидди наконец не выбралась наружу и не вытащила любимую ветку Рэнди, которую она тотчас с презреним швырнула вниз. Она нашла ее в своей постели, куда он ее запрятал.

Вот из-за чего они ссорились! Но мне непонятно было, как она могла все-таки ее вытащить при его сопротивлении. Я подозреваю, что ему пришлось уступить, чтобы не нарушить семейный мир.

В пылу сражения вместе с веткой было нечаянно вытолкнуто и яйцо. Оно лежало теперь внизу — фарфоровые черепки на мокром желтом фоне. Воробьи, казалось, не были обеспокоены его участью. Выпав из гнезда, оно ушло из их мира.

IV

После этого наша парочка вела мирную жизнь в течение ряда дней. Одно яйцо за другим откладывалось в гнездо. Через неделю яиц уже было пять, и оба супруга, казалось, были вполне счастливы. Рэнди распевал, на удивление всей округи, а Бидди приносила все больше и больше перьев, словно приготовилась к зимовке. Мне пришло в голову произвести маленький опыт. Улучив благоприятную минуту, поздно вечером, я положил мраморное яйцо в их роскошное гнездо. Что произошло вслед за тем, я не знаю.

На следующее утро я пошел погулять. Было воскресенье, и на улице стояла тишина, только кучка людей глазела на что-то у водосточного желоба. Подойдя ближе, я услышал чириканье и, заглянув в середину круга, увидел двух воробьев, сцепившихся в жестокой схватке, громко чирикавших и беспрестанно колотивших и клевавших друг друга. Некоторое время они кружились и дрались, не обращая никакого внимания на зрителей. Но когда они наконец приостановились, чтобы перевести дух, и в изнеможении присели на свои хвосты, я был совершенно поражен, узнав Бидди и Рэнди. После новой схватки они были спугнуты одним из зрителей, который, видимо, не одобрял ссоры в воскресный день. Тогда они взлетели на ближайшую крышу, чтобы продолжать драку без помехи. В тот же день я нашел на земле под гнездом не только мое мраморное яйцо, но и остатки пяти их собственных яиц, которые были выброшены заодно с ним. И я предпола-

гаю, что все произошло именно из-за этого странного, твердого и круглого яйца.

В этом птичьем домике, очевидно, не могло быть ни счастья, ни мира, поэтому они оставили его вместе со всем содержимым, в том числе и с перьями. Бидди, затеи которой отличались оригинальностью, выбрала на этот раз место для гнезда на колпаке фонаря посреди площади. Целую неделю они трудились и, несмотря на сильный ветер, закончили свою постройку. Трудно было представить себе, как птицы ухитрились спать ночью при таком ярком свете под самым их носом. Тем не менее Бидди казалась довольной, а Рэнди уже научился не высказывать своего мнения. Все было бы хорошо, если бы еще раньше, чем было снесено первое яйцо, фонарь не потух. Фонарщик, исправляя фонарь, безжалостно отправил всю постройку Бидди и Рэнди в мусорный ящик.

Для малиновки или ласточки это был бы непоправимый удар, но энергии и самоуверенности воробья нет предела. Очевидно, гнездо было неудачным или, быть может, ошибка заключалась в выборе материалов. Во всяком случае, лучше устраиваться по-новому.

Похитив несколько соломинок из гнезда отлучившегося соседа, Бидди положила их на высокую ветку вяза в саду на площади, указав этим Рэнди новое место, избранное ею. И Рэнди, познав на опыте, что гораздо спокойнее подчиниться ее решениям, дважды пропел канареечную песню и стал копаться в мусорных кучах, выбирая строительный материал и с неохотой обходя хорошенькие прутики, попадавшиеся ему на пути.

V

На другой стороне площади было гнездо, в котором жила пара воробьев с очень скверной репутацией. В особенности самец-воробей не пользовался любовью других. То был рослый и очень красивый воробей с огромным черным галстуком, отчаянный забияка. Этот воинственный воробей благодаря своей силе взял себе подругу по своему выбору и захватил лучшее место для гнезда, да вдобавок еще и все самые восхитительные материалы с площади. Мои воробьи отказались от роскошных лент, которые я им предлагал, но и у них, конечно, были свои художественные вкусы. Несколько перьев из крыльев гвинейской курочки, попавшие сюда случайно из зоопарка, переходили путем воровства из гнезда в гнездо, пока наконец не остались в великолепном доме, которым Буян и его жена украсили одну из мраморных колонн нового банка.

Буян делал все, что хотел. в пределах площади и однажды,

услышав песню Рэнди, налетел на него. Рэнди был страшилищем для канареек, но справиться с Буяном не мог. Он дрался на славу, но был побит и искал спасения в бегстве. На крыльях победы Буян полетел прямо к новому гнезду Рэнди и после пренебрежительного осмотра принялся вытаскивать лоскутки, которые могли ему пригодиться дома. Рэнди был побежден, но подобный грабеж снова возродил доблесть в нашем певце, и он теперь уже сам набросился на Буяна. В пылу схватки оба упали с веток на землю. Другие воробьи присоединились к драке, и — стыдно сказать! — они дрались на стороне рослого Буяна против того, кого считали чужаком. Рэнди приходилось совсем плохо, и от него уже летели перья, как вдруг в самую середину круга сражавшихся шлепнулась маленькая воробьиха с белыми перышками на крыльях. «Чирик, чирик, бей, колоти!» Бидди тут как тут. О, она хорошо за себя постояла! Воробьи, которые сначала присоединились к драке ради забавы, сразу удрали: тут уже было не до шутки, бой был самый настоящий, и картина резко изменилась. Буян быстро потерял весь свой задор и полетел обратно, в свою сторону, с Бидди, вцепившейся в его хвост подобно маленькому бульдогу. И так она продолжала висеть на нем, пока не вырвала одно перо, которое потом с торжеством использовала для своего гнезда вместе с похищенными материалами.

Через два дня после этого события перья гвинейской курочки, которые так долго были главной достопримечательностью гнезда Буяна, составляли уже часть обстановки нового жилища Бидди, и никто не решался оспаривать ее права.

Весна подходила к концу, перья стали редки, и Бидди не могла их найти для своей постели. Но она нашла нечто их заменяющее, чем лишний раз доказала свою любовь ко всему новому. На площади была извозчичья стоянка. Вокруг лошадей на мостовой постоянно валялся конский волос, который мог служить хорошей подстилкой. Это была превосходная мысль, и наша неунывающая парочка с отменным усердием принялась за собирание конских волос, по два и по три сразу. Возможно, что гнездо другой породы воробьев в одном из парков внушило им эту мысль. Эта порода — чи́ппи — всегда пользуется конским волосом для подстилки и устраивает внутри гнезда настоящий пружинный матрац из свернутых волос. Дело хорошее, но надо уметь за него взяться. Все было бы хорошо, если бы наши воробьи предварительно научились, как обращаться с волосом. Когда чиппи собирает волосы, он никогда не берет больше одного сразу и при этом осторожно поднимает его за конец, зная, что волос, кажущийся таким безобидным, бывает и опасным. Наши воробьи привыкли иметь дело только с соломинками. Бидди схватывала волос у середины и, находя его слишком длинным, перебирала клювом на несколько дюймов дальше. В большинстве случаев от этого получалась боль-

шая петля из волоса над ее головой или под клювом. Но это было очень удобно при полете и первое время не приносило ей вреда, хотя любой чиппи, наверно, содрогнулся бы при виде этой грозной петли.

Наступил последний день устройства их жилища. Бидди каким-то образом дала понять Рэнди, что больше ничего не нужно приносить. С оживлением и гордостью она заканчивала уборку и прилаживала на место последний волос, в то время как Рэнди распевал свои лучшие песенки, усевшись на голове статуи адмирала Фаррагу́та. Вдруг громкое, тревожное чириканье поразило его слух. Он посмотрел по направлению к дому и увидел, что Бидди барахтается в гнезде без всякой видимой причины и безуспешно старается вырваться из него. Ее голова попала в одну из опасных волосяных петель, сделанных ею самой, петля затянулась, и она оказалась пойманной. Чем больше она барахталась, стараясь высвободиться, тем туже затягивалась петля.

Рэнди понял теперь, как глубока была его привязанность к своенравной маленькой подруге. Он пришел в страшное волнение и с громким чириканьем полетел на помощь. Пытаясь ее освободить, он стал тянуть ее за лапку, но это только ухудшило дело. Все их усилия были напрасны и лишь прибавляли новые узлы и петли. Остальные волосы, лежавшие в гнезде, казалось, присоединились к заговору: они спутывались и переплетались, затягивая еще больше несчастную жертву. И вскоре дети, собравшиеся в сквере, с удивлением разглядывали висевший наверху комочек перьев, растрепанный и неподвижный,— все, что осталось от шумливой, предприимчивой Бидди.

Бедный Рэнди был в глубоком горе. Соседи-воробьи собрались на тревогу и присоединились к его крику, но тоже не могли помочь. Теперь они опять разлетелись по своим домам, а Рэнди продолжал прыгать вокруг или тихо сидеть на месте с опущенными крыльями. Долго еще он не мог примириться с мыслью, что его подруга мертва, и весь день старался чем-нибудь ее заинтересовать и вовлечь в их обычную жизнь. Ночь он провел в одиночестве на дереве, а чуть забрезжило утро, он уже опять носился, чирикая и распевая, вокруг гнезда, с края которого на злополучном конском волосе висела его Бидди, молчаливая и окоченевшая.

VI

Рэнди всегда был менее осторожен, чем остальные воробьи. Домашние канарейки не приучили его к осторожности. Он не боялся ни детей, ни экипажей. Теперь это его свойство еще усилилось, потому что он был угнетен и опечален. В тот же самый день, разыскивая себе пищу, он не успел вовремя отскочить от посыль-

ного-велосипедиста и попал хвостом под колесо велосипеда. При попытке вырваться хотя бы ценою потери хвоста его правое крыло очутилось под задним колесом. Посыльный промчался дальше, а Рэнди со сломанным крылом кое-как допрыгал до окаймляющих сквер деревьев. Тут его поймала маленькая девочка. Она взяла его домой, посадила в клетку и с самой неуместной, по мнению ее братьев, нежностью принялась за ним ухаживать. Выздоравливая, он в один прекрасный день привел всех в изумление своими канареечными трелями.

Об этом узнал один газетный репортер. В газете появилась о Рэнди заметка. Заметка эта попалась парикмахеру. Парикмахер явился с несколькими свидетелями, восстановил свои права на диковинную птицу и получил Рэнди обратно.

Итак, Рэнди снова в клетке, его тщательно берегут и откармливают, он снова — первое лицо в этом маленьком мире. Он вовсе не чувствует себя несчастным. Он все-таки никогда не был настоящей дикой птицей. На свободе он очутился совершенно случайно. Случай свел его с Бидди. Их короткая совместная жизнь была полна тревог и случайностей. Случайность погубила ее, и другая случайность вернула его в клетку. Жизнь в клетке, спокойная и бедная событиями, дала ему теперь возможность развивать свои музыкальные способности. Здесь, бок о бок со своими старыми учителями и воспитателями, он живет, словно в консерватории.

Иногда, предоставленный самому себе, он начинает развлекаться постройкой гнезда из прутиков, но с виноватым видом оставляет этот угол, едва кто-нибудь подходит к клетке. Если ему подбросить несколько перьев, он сначала прилаживает их к гнезду, но на следующее утро они неизменно оказываются выброшенными на пол.

Эти упорные попытки навели на мысль, что он нуждается в подруге, и на выбор ему подсаживали в клетку несколько воробьих, но результат получался неблагоприятный. Всякий раз требовалось быстрое вмешательство, чтобы предотвратить кровопролитие и спасти невесту. Наконец эти опыты прекратились, так как было очевидно, что певец предпочитает оставаться холостяком. В его песнях звучал скорее воинственный, чем любовный, пыл, и вскоре парикмахер сделал открытие, что Рэнди поет особенно звонко после победы не над чучелом канарейки, а над чучелом самца-воробья. Колотя чучело, Рэнди поет вдохновенно и громко, в особенности если немой противник имеет памятный ему большой черный галстук на шее.

ТИТО

I

Если бы не маленький камешек, мой рассказ никогда не был бы написан.

Этот камешек лежал на дороге в дакотских Бэдле́ндах и в одну жаркую темную ночь вонзился в копыто лошади, на которой ехал пьяный пастух Джек. Пастух по привычке соскочил на землю, чтобы посмотреть, почему захромала лошадь. Спьяну он выпустил поводья из рук, и лошадь умчалась в темноту. Пастух Джек понял, что лошади ему не догнать, улегся под кустом и захрапел.

Золотые лучи утреннего летнего солнца озаряли вершины изумительных бэдлендских холмов. По дороге, идущей вдоль Верхнего ручья, пробиралась старая самка койота. В зубах она несла кролика на завтрак для своих детенышей.

С давних пор скотоводы этой местности вели ожесточенную войну с койотами. Капканы, ружья, яд и собаки почти совсем уничтожили койотов, а те немногие, что остались в живых, научились остерегаться на каждом шагу.

Поэтому старая самка койота скоро свернула с проезжей дороги: все места, где ступала нога человека, грозят койоту гибелью. Она прошла вдоль гребня невысокого холма, потом спустилась в ложбину, поросшую остролистником, озабоченно внюхалась там в выветрившийся уже запах человеческих следов и поднялась на соседний холм. Здесь на солнечном склоне было ее логово. Она осторожно покружила, сделала несколько прыжков в разные стороны, потянула носом воздух. Запахов, грозящих опасностью, она не почуяла. Успокоенная, она приблизилась ко входу в свое жилье и тихо фыркнула.

Из-за куста полыни, заслонявшего вход, выскочила целая куча маленьких койотов, прыгавших друг через друга. Отрывисто тявкая и повизгивая, точно щенята, они накинулись на завтрак, принесенный матерью. Они пожирали мясо, вырывая его друг у друга, а мать смотрела на них и радовалась.

Пастух Джек проснулся на восходе солнца и успел заметить самку койота в ту минуту, когда она перебиралась через холм. Как только она исчезла из виду, он вскочил на ноги, дошел до вершины холма и увидел оттуда всю веселую семью.

Пастух Джек смотрел и думал только о том, что за каждого убитого койота можно получить хорошую награду. Поэтому он тут же вытащил свой большой револьвер и прицелился в мать, которая как раз облизывала наевшегося детеныша. Грянул выстрел, и она упала мертвая.

Детеныши в ужасе попрятались в логово, а Джек завалил вход камнями и, проклиная свою хитрую лошадь, пошел пешком к ближайшему ранчо, а маленькие пленники, дрожа, забились в дальние углы.

Весь день они просидели в темной норе, удивляясь, почему мать не приходит кормить их. Уже под вечер они услышали шум у входа, и в норе опять стало светло. Самые неосторожные побежали навстречу матери, но это была не она. Два каких-то чудовища разрывали вход в их жилье.

Примерно через час люди добрались до конца логова и тут, в самом дальнем углу, нашли мохнатых, светлоглазых детенышей, сбившихся в один пушистый комок. Сильным ударом лопаты приканчивали они беспомощных и дрожащих от ужаса зверьков и одного за другим кидали в мешок.

Каждый звереныш вел себя перед смертью по-своему. Когда их хватали, одни визжали, а другие рычали. Двое попробовали даже кусаться.

Тот, кто первым понял опасность, спрятался первым, и очередь до него дошла, только когда остальные уже были безжалостно убиты. Он лежал совсем тихо, с полузакрытыми глазами, притворяясь мертвым. Он не шевельнулся, даже когда его коснулась грубая рука. Но тут Джек подумал, что может выслужиться перед хозяином, и сказал:

— Знаешь, оставим этого для ребятишек.

Итак, последний детеныш живым попал в мешок, где лежали его мертвые братья. Даже в мешке он не ворочался и не визжал.

После долгой тряски мешок открыли, зверька вытащили, и он очутился перед целой толпой двуногих чудовищ.

На самом же деле это были обитатели ранчо Чи́мни-Пот. Среди них были и дети, которым Джек тут же вручил живой подарок. Правда, хозяин заплатил ему доллар, полагавшийся за каждого убитого койота.

Мексиканец, который был в это время на ранчо, объяснил детям, что это «койоти́то» — маленький койот, степной волк.

Звереныша стали звать Койотито, а потом, для краткости, просто Ти́то.

II

Оказалось, что это самка. Она была хорошеньким маленьким зверьком с пушистой шерстью и очень большой головой. С виду она походила на щенка, но в товарищи детям не годилась — слишком она была дикой и недоверчивой.

Тито ела все, что ей давали, но ни с кем не дружила и никогда не выходила на зов из своей конуры. Впрочем, это, возможно, объяснялось тем, что ласковыми с ней были только малыши, а мальчики постарше и взрослые грубо вытаскивали ее за цепь, если хотели ее видеть. Тогда она страдала молча, а иногда прикидывалась мертвой.

Среди детей скотовода был тринадцатилетний мальчик Ли́нкольн. Впоследствии он стал похож на своего отца, доброго, мужественного и умного человека, но в то время он был беспощаден и жесток.

Подобно всем своим товарищам, Линкольн мечтал сделаться ковбоем и поэтому все время учился бросать лассо. Но ловить ему было некого. Набрасывать лассо на столбы и пни очень скучно, а ловить братьев и сестер ему запрещали. Собаки удирали от него, как только видели его с арканом в руках. Оставалось охотиться на Тито. Несчастная жертва скоро поняла, что спасение можно найти только в конуре, а если опоздаешь — прильни к земле. Таким образом Линкольн, сам того не подозревая, обучил Тито опасностям лассо и средствам избегать роковой петли, хотя за это учение она платила дорогой ценой.

Когда Тито настолько наловчилась, что поймать ее стало невозможно, жестокий мальчишка придумал новое развлечение. Он достал капкан для лисиц, врыл его в землю у самой конуры и сверху прикрыл разными объедками. Через некоторое время Тито, привлеченная запахом пищи, осторожно подкралась к приманке и одной ногой попала в капкан. Мальчик наблюдал за нею из укромного местечка. Он издал боевой индейский клич и бросился к ней. Он накинул на Тито свое лассо и с помощью младшего брата, своего способного ученика, высвободил ее из капкана, прежде чем старшие открыли его проделку.

Два-три подобных опыта внушили Тито смертельный страх перед капканами. Она скоро научилась узнавать запах стали и избегала капканов, несмотря на то что Линкольн чрезвычайно искусно закапывал их в землю, а младший братишка держал свою курточку перед конурой, чтобы жертва не подглядывала за ним.

Однажды цепь оторвалась от стенки конуры, и Тито попыталась бежать. Нерешительными шагами вышла она из своей конуры, волоча за собою цепь. Но один из пастухов увидел Тито и выстрелил в нее мелкой дробью. Ожог и нежданная боль за-

ставили ее сейчас же вернуться в единственное убежище — конуру.

Цепь снова крепко прибили к стенке. Теперь Тито знала, что следует бояться не только капканов, но и ружей, а спасение от них одно — затаиться.

Скоро она узнала, что есть и другие опасности.

Линкольн не раз слыхал от взрослых, что койотов часто уничтожают отравой. Ему пришло в голову проделать опыт над Тито.

Добыть стрихнин[1] было трудно — взрослые его слишком тщательно прятали. И вот Линкольн достал крысиной отравы и дал ее Тито в куске мяса. Стоя у конуры, он ждал, чем кончится его опыт, не менее спокойно, чем профессор химии, исследующий новое вещество.

Тито понюхала мясо. Всякую вещь необходимо прежде всего проверить носом. Носу пища показалась подозрительной — он различал в ней три запаха: приятный аромат мяса, неприятный, но знакомый запах человеческих рук и еще какой-то незнакомый. Так как это незнакомое не пахло капканом, Тито решила съесть мясо. Но через несколько минут, после того как она проглотила кусок, у нее сильно заболел живот, а потом с ней сделались судороги. Повинуясь инстинкту, общему для всех волков, она заставила себя отрыгнуть отравленное мясо.

После этого она с жадностью проглотила несколько стебельков какой-то травы. Не прошло и часа, как она совсем поправилась. Линкольн закатил ей такую дозу яда, которая могла бы убить десяток волков. Если бы он дал ей меньше, она, вероятно, почувствовала бы боль в желудке слишком поздно и не успела бы отрыгнуть отраву. С того времени Тито навсегда запомнила особенный запах крысиной отравы, от которой бывает так больно.

Кроме того, Тито научилась пользоваться травами — целебным средством, которое природа почти повсюду заготовила для нее. С тех пор как только она чувствовала боль, она бросалась искать траву. И когда Линкольн ухитрился-таки еще раз подсунуть ей отравленную приманку — с небольшой дозой яда,— она уже знала, что ей делать, и спаслась.

Спустя некоторое время один родственник прислал в подарок Линкольну бультерьера. Собака доставила много радости Линкольну и много горя койоту. Мальчик постоянно натравливал на Тито свирепого бультерьера. Тито еще тверже запомнила, что в случае опасности лучше всего тихо и скромно лежать на земле. В конце концов вмешались взрослые, и бультерьера больше не допускали во двор, где жила Тито.

---

[1] Стрихни́н — сильный яд, которым пользовались для истребления хищных животных.

Но не думайте, что Тито всегда была тиха и скромна. Она научилась кусаться. Она охотилась на кур, бродивших по двору. Притворяясь спящей, она незаметно следила за ними и, когда они подходили к самой конуре, внезапно набрасывалась на них и хватала самую неосторожную курицу.

В довершение всего она раздражала людей своим пением: пела она по утрам и по вечерам.

За эту страсть ее много раз били. И едва хлопала дверь и форточка, Тито переставала петь и удирала в конуру. Она знала, что вслед за стуком в нее полетит палка, или камень, или заряд мелкой дроби С каждым днем все больше рос ее ужас перед людьми и ружьями

Почему она любила петь, никому не известно. Песня ее состояла из отрывистого лая и жалобных воплей. Все собаки немедленно отвечали на ее пение, а однажды даже дикий койот отозвался из-за далеких холмов. Обычно Тито пела в сумерках и на заре, но иногда и в полдень она заливалась воем, заслышав какой-нибудь внезапный шум.

В самой глубине своей конуры Тито запрятала маленькую кучку костей, а перед конурой зарыла в землю несколько кусков мяса Это были запасы на случай голодовки. Она прекрасно помнила, где лежат ее сокровища.

Если она замечала, что люди узнавали, где зарыты ее запасы, она при первой возможности зарывала их в другое место.

Прошел год с тех пор, как Тито попала в неволю. За это время она совсем выросла и приобрела много опыта, за который ее дикие сородичи нередко расплачивались жизнью. Тито познакомилась с капканами и ружьями и научилась бояться их. Она навсегда запомнила, как пахнет ядовитая приманка и что надо делать, если нечаянно проглотишь отравленное мясо. Она поняла, что ее вечерние и утренние песни должны быть как можно короче. Она научилась ненавидеть и бояться собак. А тверже всего она запомнила правило: когда опасность близка, приникни к земле, ничего не делай и не шевелись, чтобы тебя не заметили.

Тито была уже взрослой, когда хозяин ранчо купил двух чистокровных борзых. Он думал с их помощью истребить последних койотов, которые иногда еще нападали среди холмов на овец и телят

Тито ему надоела, и он решил использовать ее, чтобы обучить борзых охоте на койотов. Ее засунули в мешок, увезли за четверть мили от дома, затем вытряхнули на землю и сейчас же спустили на нее борзых. Они помчались с той быстротой, на которую не способно ни одно другое четвероногое. Тито тоже бежала со всех ног, напуганная криками и даже тем, что очутилась на свободе Четверть мили, отделявшая ее от собак, скоро сократилась до ста ярдов, затем до пятидесяти. Спасения для Тито не

было. Через минуту собаки должны были настичь ее и разорвать. Но вдруг Тито остановилась, повернула и пошла навстречу собакам, приветливо помахивая хвостом.

Борзые — совсем особенные собаки. Они готовы догнать и растерзать всякого, кто бежит от них. Но тот, кто не убегает, а спокойно глядит им в глаза, сразу перестает быть для них врагом.

Так случилось и теперь. Разогнавшиеся борзые промчались мимо Тито, но сейчас же вернулись, смущенные. Охотники тоже были смущены. Маленькая, смелая самка койота оказалась хитрее всех.

Борзые отказывались нападать на зверя, который вилял хвостом и не желал бежать, но люди вскоре сообразили, что койот и шагом, того гляди, уйдет на безопасное расстояние. В воздухе взвились лассо, и Тито вновь оказалась в плену.

На другой день было решено повторить опыт, но на этот раз к борзым присоединили свирепого бультерьера. Как и накануне, Тито смутила борзых своей хитрой уловкой. Но подоспевший три минуты спустя запыхавшийся бультерьер не был так вежлив. Он ловко схватил Тито за шею, покрытую густой шерстью, и стал трясти изо всех сил. Через несколько мгновений Тито неподвижно лежала на земле. Люди схватили храброго бультерьера, а борзые в это время шныряли кругом, растерянные и недоумевающие.

Один англичанин, приехавший поглядеть, как травят койота, попросил позволения взять себе на память хвост зверя. Ему разрешили. Он поднял Тито за хвост и ударом ножа отрубил половину. Тито упала наземь с пронзительным визгом и кинулась бежать. Оказалось, что она все время только притворялась мертвой. Обезумев от боли, она помчалась во всю прыть через заросли кактуса и полыни.

Для борзых убегающее животное — враг, которого нужно во что бы то ни стало настичь. Тонконогие борзые и белогрудый бультерьер бросились в погоню. Но, к счастью, дорогу собакам перебежал кролик. Потеряв Тито из виду, борзые кинулись за кроликом, который скоро исчез в норе суслика. Тито тем временем ушла на безопасное расстояние.

Она чувствовала себя прекрасно, хотя обрубок хвоста все еще сильно болел. Она быстро бежала вперед, скрываясь в кустах и в ложбинах, пока не нашла надежное убежище среди холмов.

III

У каждого дикого животного есть три источника познания. Первый источник — это опыт предков, инстинкт, переданный ему по наследству. Этот опыт накопился у целого ряда поколений

за долгие века борьбы с опасностями. Он особенно важен в начале жизни, так как хранит животное с часа рождения. Второй источник познания — опыт родителей и других взрослых животных той же породы. Он передается примером и играет наиболее важную роль в первый год жизни. Третий источник — собственный опыт, становящийся с возрастом все более важным.

Наследственный инстинкт не всегда помогает животному, так как он недостаточно изменчив и подвижен, а условия жизни постоянно меняются. Слабость второго заключается в том, что животные неспособны излагать свои мысли с помощью языка. А третий источник знаний плох тем, что личный опыт всегда приобретается слишком опасным путем. Но все три вместе — достаточно надежная защита.

Тито училась жизни не так, как ее сородичи. Собственного опыта она приобрела гораздо больше, чем другие молодые койоты, но зато она никогда не видела примера старших, а наследственные инстинкты в ней еще не пробудились.

Тито бежала и бежала. Иногда присаживаясь, чтобы облизать окровавленный обрубок хвоста. Наконец наткнулась на поселок сусликов. Множество сусликов сидело у своих нор и глядело на непрошеную гостью, но все они мигом исчезли, едва только Тито приблизилась к ним. Напрасно металась она из стороны в сторону, повинуясь охотничьему инстинкту.

Тито так и осталась бы голодной, если бы ей не удалось поймать в траве на речном берегу двух полевых мышей. Но через несколько дней Тито уже знала, как добывать еду. Мышей, кроликов, сусликов, ящериц кругом было много.

С каждым днем Тито охотилась все хитрее и удачнее. Раза два видела она за это время людей с собаками. Всякий дикий койот начал бы на ее месте вызывающе лаять или взобрался бы на холм, чтобы оттуда следить за врагами. Но Тито понимала, что это глупо и опасно. Она только ложилась на землю и замирала. Если бы она бросилась бежать, она неминуемо привлекла бы внимание собак. Так опыт, который она приобрела на ранчо, спасал ее от смертельной опасности.

Койоты славятся быстротой бега. Койот не верит, что на свете есть животное, которое может догнать его,— он обыкновенно только играет со своими преследователями. Но когда его преследуют борзые, эта игра кончается плохо для койота. Он слишком поздно соображает, что ему нужно бежать от этого врага всерьез.

Тито выросла на цепи и совсем не умела бегать. Поэтому у нее не было основания доверять своим ногам. Она жила, полагаясь только на свой ум, и это было для нее спасением.

В течение всего лета Тито оставалась у реки Литл-Миссу́ри. Она продолжала учиться охотничьим хитростям и уловкам. Если

бы она выросла на воле, она изучила бы эти приемы еще до того, как у нее выпали молочные зубы.

Она старалась держаться как можно дальше от жилья и пряталась, как только чуяла запах человека или незнакомого животного.

Тито провела лето в полном одиночестве. Днем она не чувствовала себя одинокой, но, когда солнце заходило, ее охватывало непреодолимое желание петь.

Песню свою выдумала не она сама. С незапамятных времен все койоты выражали свои чувства в этих диких звуках, в которых чувствуешь и самого койота и прерии, его породившие. Когда один койот начинает петь, это действует на остальных, как звук трубы или барабана на солдат или воинственный клич — на индейцев. Всякий койот, где бы он ни вырос, отвечает на ночную песню. Они поют ее после заката солнца и при восходе месяца. Но самую громкую и жуткую песню они поют на рассвете:

«У-я-яяя-оо-оо-о-у...»

Опять и опять повторяется этот дикий напев. Человеку он кажется однообразным только потому, что он не может различить отдельные звуки, точно так же как койот не различает слов в песне ковбоя.

Тито по врожденной привычке пела эти песни в положенное время. Но печальный опыт научил ее петь коротко и глухо. Несколько раз она слышала далекий ответ своих сородичей, но сейчас же смущенно замолкала и быстро переселялась в другое место.

Однажды, бродя вдоль берегов Верхнего ручья,она наткнулась на след: очевидно, здесь волокли мясо. Запах был необыкновенно привлекателен, и она пошла по следу. Вскоре Тито нашла кусок мяса. Она была голодна — теперь ее почти всегда мучил голод. Искушение было велико, и, несмотря на то что запах был совсем особенный, она проглотила мясо. Через несколько минут она почувствовала ужасную боль. Воспоминание об отравленном куске, который ей подсунул мальчик на ранчо, было еще свежо. Дрожащими, покрытыми пеной челюстями она схватила несколько стебельков травы и, изрыгнув отравленное мясо, упала в судорогах на землю.

Этот кусок мяса подбросил Джек. Все это проделал он накануне, а утром, проезжая по мосту через реку, издалека увидел бьющуюся в судорогах Тито. Он сейчас же догадался, что яд подействовал, и быстро подъехал к своей жертве. При стуке лошадиных копыт страшным усилием воли Тито вскочила на ноги. Джек схватил револьвер и выстрелил, но только напугал ее. Тито попробовала бежать, но ее задние ноги отнялись. Она собрала все свои силы и кинулась вперед, волоча обе задние ноги.

Если бы она осталась неподвижной, она умерла бы через

несколько минут. Но выстрелы и приближение человека внушили ей отчаянную решимость. Она продолжала бороться с собственным бессилием. Омертвевшие нервы ее ног напряглись от этих усилий и должны были уступить воле. Каждый выстрел из револьвера придавал Тито все больше и больше энергии. Новое дикое усилие — и одна нога стала слушаться. Еще несколько мгновений — ожила и другая. И Тито легко понеслась между обрывистых холмов, не обращая внимания на ужасную боль, все еще сводившую ее внутренности.

Если бы Джек на этом прекратил преследование, она бы, наверно, все-таки легла на землю и тогда бы неминуемо умерла. Но он скакал вслед за ней и посылал ей вдогонку выстрел за выстрелом, пока наконец, на второй миле, Тито не перестала чувствовать боль. Враг принудил ее прибегнуть к единственному действительному средству — к сверхъестественному напряжению сил, которое заставило ожить отнявшиеся ноги. Так Джек спас Тито.

Новые сведения, которые Тито почерпнула из приключений этого дня, сводились к следующему: странный запах этого мяса влечет за собой смертельные муки. Она никогда не забывала этого и с тех пор всегда узнавала стрихнин.

К счастью, когда охотятся с капканами или отравой, не пускают в дело собак, ибо собаки сами могут попасться в капканы или отравиться стрихнином. Если бы в преследовании Тито участвовала хоть одна собака, наша история была бы окончена.

IV

С приближением осенних холодов Тито сделала большие успехи. Теперь она всеми своими привычками походила на обыкновенного дикого койота и смелее пела свою вечернюю песню.

Однажды лунной ночью, услышав ответ, она, против обыкновения, отозвалась на голос своего сородича и скоро увидела крупного темного койота. Он осторожно двигался к Тито. Грива Тито поднялась дыбом. Она приникла к земле и стала выжидать. Незнакомец решительно приближался. Втягивая носом воздух, он направлялся прямо по ветру к ней. Затем он обошел вокруг нее так, чтобы и она могла почуять его запах, и приветливо замахал хвостом. Такое поведение было ясным выражением дружбы. Тито поднялась, помахала обрубком своего хвоста, и знакомство состоялось.

Пришелец оказался очень крупным койотом, почти вдвое больше Тито, а темная полоса на его спине была так широка и черна, что пастухи прозвали его Оседланным. С этого времени новые друзья стали держаться вместе. Это не значит, что они всегда были друг около друга. Нет, иногда в течение целого дня

их разделяло несколько миль. Но с приближением ночи один из них всегда взбирался на какой-нибудь холм и запевал громко:

«Яп-яп-яп, йу-оу-ууу-ууу-ууу...»

После этого они встречались, чтобы предпринять какой-нибудь грабительский набег.

Оседланный был сильнее Тито, но она была образованнее и умнее и скоро сделалась вожаком; не прошло и месяца, как сначала один койот, а потом еще два присоединились к ним и стали членами этого свободного союза.

Маленькая, куцая самка койота обладала редкими знаниями, которых недоставало другим койотам. Тито знала, как бороться с хитростями людей. Скоро койотам стало ясно, что ее способ охотиться был наиболее успешным, потому что, когда они шли без нее, им большей частью не везло.

У одного соседнего скотовода было двадцать овец. Стадо стерегла громадная свирепая собака. Однажды зимой два койота попробовали напасть на это стадо в открытую, но дело кончилось тем, что овчарка потрепала их.

Несколько дней спустя туда в сумерках явилась вся стая. Никому не известно в точности, как Тито устроила то, что случилось. Ясно только, что она была зачинщиком и руководителем. Койоты спрятались в ивняке, а Оседланный, храбрый и быстрый, пошел прямо на овец и громко залаял, вызывая врага на поединок. Овчарка прыгнула вперед со свирепым рычанием и, увидя врага, кинулась на него.

Оседланный то подпускал к себе собаку так близко, что она почти могла схватить его, то снова отскакивал и таким образом завлек ее далеко в лес. А в это время остальные койоты, с Тито во главе, разогнали стадо по двадцати направлениям и, преследуя овец поодиночке, растерзали несколько штук и бросили их на снегу.

В темноте собака и ее хозяин с трудом собрали уцелевших овец. На следующее утро они убедились, что четыре овцы из стада были загнаны далеко и убиты, а койоты устроили себе ночью роскошный пир.

Пастух посыпал мертвые тела ядом и оставил их лежать. На следующую ночь койоты вернулись. Тито понюхала замерзшие тела, различила запах яда, издала предостерегающее рычание и загрязнила трупы, чтобы никто из ее товарищей не прикоснулся к ним. Впрочем, один, наиболее жадный, не послушался Тито и набросился на мясо. Скоро вся стая удалилась, а он остался на снегу мертвый.

V

Джек слышал со всех сторон, что койоты совсем обнаглели. Он решил серьезно приняться за работу и постараться при помощи капканов и ядов уничтожить хотя бы тех из них, которые жили у Верхнего ручья. Каждую свободную минуту он отправлялся с собаками на розыски по берегу Литл-Миссури. Он провел в таких странствованиях целую зиму, и не без успеха: убил двух волков и нескольких койотов, принадлежавших к стае Куцой, как теперь называли Тито.

Зима эта ознаменовалась целым рядом набегов, даже подвигов, со стороны койотов. Следы на снегу и показания очевидцев не оставляли сомнения, что вожаком стаи был маленький куцый койот.

Одно из этих нашествий возбудило много толков.

Однажды под вечер песня койота раздалась совсем близко от ранчо Чимни-Пот. Собаки ответили обычным лаем, но бросился на койотов один только бультерьер, потому что только он не был на цепи. Но он не нашел никого и, рыча, вернулся домой.

Через двадцать минут, уже совсем близко, снова раздался вой койота. Терьер опять бросился в темноту. Спустя минуту его возбужденный лай показал, что на этот раз он напал на след. Бешено лая, он летел вперед, пока голос его не потерялся вдали, чтобы умолкнуть навсегда.

Наутро люди прочитали на снегу историю ночи.

Первый раз койоты запели свою песню для того, чтобы узнать, все ли собаки спущены с цепи. И, узнав, что на воле была только одна, принялись за работу. Пять койотов притаились вдоль следа, который они оставили, идя на ферму, а один выступил вперед и завыл. Пылкий терьер выскочил на его голос, и койот увлек его в засаду. Что мог сделать он один против шести?

Койоты разорвали терьера на части и съели.

Это случилось как раз на том месте, где он когда-то напал на Тито. И когда на следующее утро люди разглядели следы, они убедились, что все было сделано по определенному плану и что зачинщиком и на этот раз был маленький короткохвостый койот.

Все были очень раздосадованы, Линкольн взбешен, а Джек сказал:

— Уж наверняка Куцая вернулась нарочно, чтобы посчитаться с терьером.

VI

К весне дружба Тито и Оседланного еще более окрепла. Койоты, конечно, не дают друг другу имен, как люди, и Тито и Оседланный никак не называли друг друга, но у них был особый

звук, вроде короткого лая, которым они всегда подзывали друг друга.

Свободный союз койотов теперь распался сам собой, так как весной вся стая разбилась на пары, и, кроме того, теперь появилось столько дичи, что незачем было охотиться стаей.

Обыкновенно койоты не спят в логовищах. Они всю ночь напролет бродят с места на место, а днем спят несколько часов на солнечном склоне какого-нибудь холма, откуда легко заметить приближение врага. Но с наступлением весны их образ жизни меняется.

Когда дни сделались теплее, Тито и Оседланный стали приготовлять логовище для своей будущей семьи. На склоне маленькой, залитой солнцем лощины они нашли заброшенную барсучью нору, вычистили, расширили и углубили ее. Набросав в нее кучу травы и листьев, они устроили из нее уютное жилище. Оно помещалось в сухом, солнечном уголке между холмами в полумиле к западу от Литл-Миссури.

Тито почти все время проводила близ своего нового дома. Оседланный обыкновенно приносил ей пищу, но иногда и сама она отправлялась на охоту в поселок сусликов. Это было то самое место, на которое Тито набрела в тот день, когда добыла себе свободу и потеряла хвост. Если бы она была способна предаваться воспоминаниям, то, конечно, посмеялась бы теперь над собой — так глупа была она тогда. Насколько хитрее и опаснее стала она за это время!

Один из сусликов вырыл себе норку в стороне от других. Норка у него была образцовая.

Как-то раз Тито увидела, что этот суслик щиплет траву шагах в десяти от своей норы. Поймать суслика, когда он один, конечно, гораздо легче, чем тогда, когда он находится в своем поселке, потому что у него ведь только одна пара глаз, чтобы наблюдать за всем окружающим, а в поселке глаз много. Тито решила воспользоваться случаем. Но как приступить к делу, не имея никакого укрытия, кроме чахлой травы?

Белый медведь знает, как приблизиться к тюленю на плоской льдине, а индеец умеет совсем вплотную подойти к пасущемуся оленю. Тито тоже понимала, как действовать, и начала приводить свой план в исполнение.

Суслик видит хорошо, только сидя на задних лапках; его глаза мало помогают ему, когда он уткнется в траву. Тито это знала. Желтовато-серое животное на желтовато-сером фоне песка и травы делается заметным только тогда, когда начинает двигаться. Тито знала и это.

Итак, не пытаясь даже особенно прятаться, она тихонько пошла по направлению к суслику, держась против ветра, для того чтобы все время слышать запах суслика. Как только ее жертва

двинулась вперед, держа что-то в передних лапках, Тито застыла на месте. Но едва только суслик снова уткнулся головой в траву, она решительно пошла вперед, наблюдая за каждым движением зверька, чтобы опять застыть на месте, когда суслик поднимет голову.

Раза два суслик тревожно оглядывался, но, не видя ничего, продолжал пощипывать траву. Расстояние между Тито и ее жертвой скоро сократилось до десяти, затем до пяти шагов, а суслик все еще ничего не замечал. Наконец Тито сделала быстрый прыжок и схватила неосторожного суслика своими острыми зубами.

VII

Далеко не все приключения Тито оканчивались так удачно. Однажды она чуть было не поймала маленькую антилопу, но на выручку детенышу явилась мать и копытами едва не проломила хищнице голову. Тито никогда уже больше не повторяла этой ошибки — у нее пропала охота ловить антилоп.

Раза два ей пришлось стремительно прыгать в сторону, спасаясь от укуса гремучей змеи. Несколько раз охотники стреляли в нее из дальнобойных ружей. Но больше всего приходилось ей остерегаться волков. Волк много крупнее и сильнее койота, но зато койот быстрее бегает и всегда может спастись от волка в открытой местности. Гораздо опаснее встретиться с волком в каком-нибудь закоулке.

У Тито была странная привычка, иногда наблюдающаяся у волков и у койотов,— таскать во рту неизвестно зачем на протяжении многих миль всевозможные несъедобные вещи. Много раз бежала она трусцой милю или две, держа в зубах старый рог бизона или сапог, для того лишь, чтобы бросить их, когда что-нибудь другое привлекало ее внимание.

Эта странная привычка послужила причиной гибели нескольких борзых из ранчо Чимни-Пот. Джек разложил цепь отравленных кусков мяса на западных холмах. Тито знала, что мясо отравлено, и не трогала его. Но однажды она подобрала два куска и направилась через Литл-Миссури к Чимни-Пот. Дом она обошла на почтительном расстоянии и, когда услышала собачий лай, бросила куски. На следующий день собак выпустили погулять. Они наткнулись на отравленное мясо и съели его. Через десять минут на земле лежало несколько мертвых борзых — на сумму в четыреста долларов. После этого был издан закон, запрещающий истреблять койотов отравой. И закон этот был очень полезен койотам.

Тито скоро поняла, что охота — даже на животных одной

породы — требует каждый раз особых приемов. Суслик, живший далеко от своих сородичей, достался ей очень легко, но другие суслики жили совсем близко друг от друга. Посреди поселка жил аппетитный, толстый суслик, настоящий староста, и Тито несколько раз пыталась поймать его. Однажды она уже подкралась к нему на расстояние прыжка, но вдруг шипение гремучей змеи совсем рядом заставило ее отступить. Змею не то чтобы интересовала судьба суслика, но она просто не любила, чтобы ее тревожили. И Тито, боявшаяся змей, принуждена была бросить охоту.

Открыто напасть на «старосту» было невозможно, так как расположение его дома обращало всех обитателей поселка в его сторожей. И Тито оставалось только ждать, пока обстоятельства не подскажут ей какой-нибудь план.

У койотов есть обыкновение наблюдать с возвышенного места за всеми, кто проезжает по дорогам, а потом спускаться и обнюхивать следы. То же проделывала и Тито.

Однажды от города по направлению к югу проехал фургон. Тито приникла к земле и стала наблюдать за ним. Вот что-то упало на дорогу. Когда фургон скрылся из виду, Тито прыгнула на дорогу, чтобы по привычке понюхать след и посмотреть, что упало. Собственно говоря, упало яблоко, но Тито увидела только непривлекательный круглый зеленый предмет вроде листа кактуса, правда без игл и с другим запахом. Она понюхала его, покатила и хотела уже пройти мимо. Но солнце так весело играло на яблоке и оно так занятно катилось, когда она толкала его, что Тито подняла его и побрела обратно через холм, туда, где жили суслики. Как раз в это время два степных ястреба показались над поселком сусликов, и зверьки, завидя птиц, принялись лаять, подергивая хвостами, а потом попрятались в свои норки.

Когда все суслики скрылись, Тито направилась к жилищу «старосты», на которого она давно точила зуб. Оставив яблоко в каких-нибудь двух футах от края ямы, служившей «старосте» норой, она уткнулась носом в отверстие, чтобы насладиться аппетитным запахом жирного суслика. Его нора пахла вкуснее, чем все другие. Нанюхавшись вдоволь, Тито спокойно улеглась за ближайшим кустом шагах в двадцати от норы. Спустя несколько секунд какой-то отважный суслик выглянул из своей норки и, ничего не замечая, успокоительно залаял. Один за другим все суслики появились на поверхности, и через двадцать минут жизнь в поселке кипела по-прежнему. Одним из последних вылез «староста», всегда чрезвычайно заботившийся о своей особе. Он осторожно осмотрелся и затем забрался на верхушку своей насыпи.

Нора суслика устроена наподобие воронки, идущей прямо в

землю. Отверстие окружено высокой насыпью. Края насыпи с наружной стороны довольно пологи.

Когда «староста» увидел странную круглую штуку, лежащую около его порога, он испугался. Подробный осмотр убедил его, что штука эта не опасна и, по-видимому, довольно интересна. Он осторожно приблизился к яблоку, понюхал и попробовал укусить его. Но яблоко покатилось по гладкой и наклонной почве. Суслик последовал за ним, отщипнул кусочек и убедился, что перед ним редкое лакомство. Однако каждый раз, когда он кусал яблоко, оно откатывалось все дальше и дальше. Никакая опасность, казалось, не грозила «старосте»: все его товарищи были на поверхности земли, и он беспечно гнался за катящимся яблоком.

Яблоко, конечно, катилось к кусту в ложбинке. А за кустом притаилась Тито. Она съежилась, напрягла мускулистые ноги и ждала, пока расстояние между нею и сусликом не сократится до трех хороших прыжков. Тогда она, как стрела, пущенная с упругой тетивы, бросилась вперед, и жертва была наконец в ее власти.

Мы никогда не узнаем, случайно ли яблоко было оставлено перед норой суслика, или это было сделано с целью. Как бы то ни было, яблоко на этот раз очень пригодилось Тито. Если бы такой случай приключился еще раза два с Тито или каким-нибудь другим умным койотом — а обыкновенно такие случаи выпадают на долю умных,— у койотов легко мог бы появиться новый, всеми признанный способ охотиться.

VIII

Пришла весна. Казалось, природа сказала себе: «Надо создать место, в котором соединялось бы все, что есть на земле чудесного,— рай для людей, животных и птиц» — и создала эти прекрасные дикие холмы, кипящие жизнью, где открытые прерии переплетаются с тенистыми рощами, а на солнце сверкают озера и ручьи. Здесь, в этой стране холмов, в этой стране вечно яркого неба и вечно яркой земли, природа щедро рассыпала дары, которые она в других местах распределяет скупо, как золото.

Маленькие ложбины на западе от холма Чимни покрылись свежей травой. Весна разукрасила землю пестрыми цветами, и даже кактус, самое убогое из растений, удивил мир прекрасным цветком, столь же мало похожим на него, как жемчужина — на свою мать, раковину. В ложбинах и на холмах — везде благоухала весна. Наступал конец зимней голодовке, начиналось летнее раздолье. В это-то время природа повелевает маленьким койотам увидеть наконец свет.

Матери не нужно учиться любить своих беспомощных детей. В своей темноватой теплой берлоге Тито нянчила, лизала и ласкала своих детенышей.

Но любовь к детям так же велика, как и беспокойство за их жизнь. В прежнее время Тито должна была заботиться только о себе. Все, чему она научилась во время своего странного детства, все, что она узнала впоследствии, служило ей только для самосохранения. Теперь она забыла себя ради своих детей.

Главной ее заботой было сохранить свое убежище в тайне. Тито уходила и приходила с величайшей осторожностью и только после того, как внимательно исследовала местность.

Люди знали Тито только как существо с ужасной пастью, с ногами, не умеющими уставать, существо, одареннос необыкновенным коварством и всюду оставляющим за собой следы разрушения. А детеныши знали ее как любящую, нежную кормилицу и защитницу. Она кормила и отогревала их, сторожила их внимательно и умно. Она всегда была готова на отчаянную борьбу и всевозможные уловки для того, чтоб защитить их в минуту опасности.

Новорожденный койот неуклюж, глуп и для каждого, кроме своей матери, довольно непривлекателен. Но когда глаза его раскроются, ноги окрепнут, когда он научится играть на солнышке со своими братьями и бежать сломя голову на нежный зов матери, принесшей пищу, маленький койот превращается в самое ловкое, самое прелестное существо на свете. И когда девять детенышей Тито подросли, не надо было и материнской нежности, чтобы с нежностью наблюдать за ними.

Наступило лето. Детеныши ели уже мясо, и Тито с помощью Оседланного была постоянно занята добыванием пищи для себя и детей. Иногда она приносила домой суслика, иногда возвращалась с пастью, полной мышей, а иногда ей даже удавалось поймать большого кролика.

Наевшись, все семейство располагалось на солнышке. Тито всходила на какой-нибудь холм и обозревала землю и воздух своими острыми глазами, заботясь о том, чтобы ни один враг не нашел их счастливого дома. А веселые детеныши играли, или охотились за бабочками, или затевали отчаянные схватки друг с другом, или, наконец, теребили кости и перья, валявшиеся у порога их норы. Только один, самый слабенький, как это случается в каждой семье, оставался около матери и карабкался ей на спину или тормошил ее за хвост. Какое это было трогательное зрелище! Тито была горда и счастлива.

IX

Пастух Джек перепробовал много планов разбогатеть, но они лопались один за другим, как только Джек убеждался, что для их осуществления необходимо работать.

Однажды ему пришло в голову, что можно разбогатеть, разводя домашних птиц. Недолго думая он купил дюжину индюшек и поселил их в углу своей убогой хижины. Два дня индюшки были предметом его нежнейших забот, но уже на третий он предоставил их самим себе. И всякий раз, когда Джек возвращался из странствий в свою неприветливую хижину, он убеждался, что число индюшек уменьшается. Наконец в живых остался всего один старый индюк.

Джека не особенно огорчала потеря, но он негодовал на вора.

Его главным занятием теперь сделалось истребление волков и койотов. Скотоводы снабдили его ядами, капканами и лошадьми; надежный человек получил бы еще и денег в придачу, потому что скотоводы — народ щедрый, но Джек не был надежным человеком.

Вести против койотов серьезную войну было всего удобнее летом, когда все логовища полны детенышей. Чтобы отыскать такое логово, существует несколько способов. Один из них — влезть на холм и высмотреть койота, несущего пищу своим детям. Ленивому Джеку больше всего нравился именно этот способ, потому что он требовал продолжительного и спокойного лежания на земле. Положив рядом с собой трубу и отпустив лошадь, Джек проводил неделю за неделей на каком-нибудь холме, он громко храпел и лишь изредка оглядывал окрестность сонными глазами.

Койоты выучились избегать открытых пространств и обычно пробирались домой по лощинам и овражкам. Но это, конечно, удавалось не всегда, и однажды взгляд Джека случайно упал на темное пятно, движущееся по открытому склону холма. Джек узнал койота. Видно было, что он несет что-то в своей пасти, а это означало, что поблизости находится логовище с его детенышами. Джек заметил место и на следующий день вернулся, чтобы снова наблюдать. Прошел целый день, а он ничего не увидел. Но на третий день Джек заметил темного койота — это был Оседланный, который нес в зубах большую птицу. При помощи бинокля Джек разглядел, что койот несет индюка. Он теперь понял, куда девались его индюшки, и поклялся жестоко отомстить врагу, когда найдет его жилье. Он следил за Оседланным, сколько было возможно, и затем отправился на то место, где потерял его из виду. Но тут он не нашел никаких следов и не добрался до лощины, в которой играли дети Тито.

Между тем Оседланный спустился в эту ложбинку и издал

тихое рычание, которое всегда вызывало наружу девять голодных детенышей. Они накинулись на индюка и теребили его, пока не разорвали на куски, а получив каждый свою долю, разбрелись в разные стороны и молчаливо принялись за еду. Лишь изредка издавали они тихое рычание при приближении кого-нибудь из братьев и сверкали белками глаз, стараясь уследить за всеми движениями соседей. Дело не обошлось без драки, но заботливая мать тотчас же прекратила грызню, разделив индюка на равные части. Тогда буяны разбрелись кто куда, облизывая губы и покачивая головами, а самый маленький нырнул в нору, с торжеством неся свою добычу — громадную голову индюка.

X

Джек чувствовал, что койот, укравший его индюка, совсем разорил его, погубил. И он поклялся, что заживо сдерет шкуру с детенышей, когда найдет их, и с удовольствием мечтал об этом. Попытка выследить Оседланного оказалась неудачной, и все поиски его логовища были напрасны, но он был уже готов ко всевозможным неудачам: на случай, если найдет логовище, он захватил лопату и заступ, а если не найдет — белую живую курицу.

Он отправился на полянку недалеко от того места, где видел Оседланного, и там привязал курицу к полену. Курица отбежала, насколько позволяла ей веревка, а затем улеглась на землю, растерянно хлопая крыльями.

Под вечер Тито пошла на охоту. Нора ее была близко, и она строго следовала правилу никогда не показываться на открытом месте. В прежние времена койоты обыкновенно бегали по самому гребню холма, чтобы глядеть по обе его стороны, но Тито знала, что так ее наверняка увидят, и поэтому всегда пробиралась по склону недалеко от вершины, лишь изредка высовывая морду, чтобы заглянуть через гребень.

В этот вечер она с обычной осторожностью отправилась добывать ужин своим детям, и ее зоркие глаза скоро разглядели белую курицу, метавшуюся из стороны в сторону.

Тито была сбита с толку. Это было что-то новое. Курица походила на легкую добычу, но Тито опасалась. Она покружила вокруг птицы, но в конце концов решила лучше оставить ее в покое. Она двинулась дальше и вдруг почувствовала легкий запах дыма. Осторожно повернув в ту сторону, она наткнулась на стоянку Джека. Тут была его постель, паслась лошадь со спутанными ногами, а на догоревшем костре стоял котелок, и его запах был обычным запахом человеческих стоянок — в котелке варилось кофе.

Тито сделалось не по себе, когда она увидела, что так близко от ее дома находится человек, но она все же отправилась на охоту. А Джек, на закате вернувшийся вместе с курицей к месту стоянки, так и не узнал, какой гость у него побывал.

XI

На следующий день курица опять была привязана на том же месте и к вечеру попалась на глаза Оседланному. Он остановился, поглазел на нее несколько мгновений, потом уловил направление ветра и осторожно, ползком стал приближаться. Курица перепугалась и попробовала убежать. Но Оседланный сделал прыжок, схватил ее так яростно, что оборвал веревку, и бросился бежать к своему логову.

Джек было задремал, но кудахтанье курицы разбудило его, и он успел увидеть койота. Как только тот исчез из виду, Джек пошел по дорожке из белых перьев. Сначала след был очень ясен, так как курица в борьбе потеряла много перьев, но после того как она испустила последний вздох в зубах Оседланного, перьев стало падать меньше. Джек спокойно и уверенно шел по следу, который тянулся почти по прямой линии. Только раза два произошла досадная задержка: когда койот менял направление или когда на пути совсем не встречалось кустов, на которых оставались перья. Но одного белого перышка на расстоянии пятидесяти шагов от другого было достаточно для Джека, чтобы снова отыскать дорогу. Когда стемнело, Джек был всего в каких-нибудь двухстах шагах от норы, где в эту самую минуту девять детенышей, рыча и давясь перьями, лакомились мясом белой курочки.

Если бы теперь поднялся ветер, один порыв его донес бы до Джека целое облако белых перьев или даже радостные повизгивания детенышей и он сразу же обнаружил бы их дом. Но по воле судьбы на землю опустилась вечерняя тишина, и треск ветвей, которые Джек ломал, тщетно стараясь отыскать хоть одно белое перышко в кустах, отделявших его от лощины, заглушил все остальные звуки.

В это время Тито, возвращаясь домой с сорокой в зубах, напала на следы Джека. В тех краях пеший человек уже сам по себе есть нечто подозрительное, и Тито пошла по следу, чтобы разобрать, куда направился человек. По запаху она сейчас же определила направление. Каким образом это удается животным, никто не знает, но все охотники утверждают, что животное всегда, внюхавшись, разберет, куда ведут следы. Тито поняла, что эти следы направлялись прямо к ее дому. Охваченная ужасом, она спрятала сороку в кустах и побежала дальше по следу. Через

несколько минут она почуяла присутствие человека в чаще и поняла грозящую опасность. Кружным путем она побежала в лощину и, приблизившись к логову, предостерегающе тявкнула, чтобы расшалившиеся детеныши не бросились к ней навстречу. Но вид лощины, такой заметной теперь благодаря белым, как снег, перьям, вероятно, поразил ее, и она тут же заворчала, предупреждая об опасности. По этому сигналу малыши кинулись в логово, и в лощине водворилась тишина.

Тито убедилась, что человек, которого она всегда знала как существо самое коварное, находится близко от ее детей, выслеживает их и, быть может, уже через несколько мгновений будет держать их в своих жестких руках.

О, какая мука сковала сердце матери, представившей себе эту ужасную картину! Но горячая материнская любовь сейчас же призвала на помощь всю материнскую мудрость. Отослав детей в логово и знáком сообщив о своей тревоге Оседланному, она быстро вернулась к человеку и прошла мимо него, полагая, что человек должен пойти по запаху следов, точно так же, как она бы сделала это сама, а значит, он выберет более свежие следы, которые она теперь оставляла за собой. Для нее-то сумерки не играли никакой роли. Она побежала вперед и запела самую дикую и свирепую песню, какую только знала,— ту, которая столько раз заставляла собак гнаться за ней. Пропела и остановилась. Затем побежала ближе к человеку и запела опять, подбегая все ближе, полная решимости увлечь его за собой.

Однако человек не мог увидеть койота, потому что сумерки уже спустились на землю. Джек принужден был бросить охоту, но он догадался, что вой койота был не что иное, как голос матери, старавшейся отвлечь его от логовища. Из этого он заключил, что детеныши должны быть недалеко и что ему остается только вернуться сюда завтра и докончить начатое дело. Поэтому он отправился обратно к месту своей стоянки.

XII

Оседланный думал, что они одержали победу. Он чувствовал себя в безопасности, потому что знал, что запах следов, который только и мог, по его мнению, снова выдать их человеку, исчезнет к утру. Но Тито была менее спокойна. Ведь это двуногое чудовище слишком близко подошло к ее дому и к ее детям и всегда могло прийти снова.

А Джек напоил свою лошадь, сварил кофе, поужинал и закурил перед сном сигару, изредка вспоминая о маленьких пушистых комочках, которые завтра утром будут в его руках.

Он уже был готов завернуться в свое теплое шерстяное одеяло,

когда где-то далеко в темноте зазвучала песня койотов. Слышны были тягучие переливы двух голосов. Джек прислушался, злорадно усмехнулся и сказал: «Так, все в порядке. Пойте себе, голубчики. Утром увидимся».

Это был обычный ночной вой койотов. Он скоро умолк, и Джек, позабыв о нем, крепко заснул.

Тито и Оседланный выли не ради пустой забавы. У них была ясная, определенная цель — узнать наверняка, были ли с их врагом собаки. Не услышав ответного лая, Тито убедилась, что собак не было.

Она ждала до тех пор, пока мерцающий огонек костра не потух совсем. Только фырканье лошади, пощипывавшей траву, нарушало мертвую тишину, воцарившуюся на полянке. Тито подкралась так тихо, что лошадь услыхала ее только тогда, когда она была уже футах в двадцати от нее. Лошадь фыркнула, вздрогнула, и веревка, которой она была привязана к колышку, туго натянулась. Тито спокойно двинулась вперед и, широко раскрыв свою громадную пасть, схватила веревку большими, острыми, как ножницы, задними зубами. Она пожевала и легко перегрызла сильно натянутые волокна веревки. Лошадь очутилась на свободе. Она не особенно встревожилась, так как запах койотов был ей знаком. Сделав несколько прыжков, лошадь остановилась.

Стук ее подков разбудил спящего человека. Он привстал, оглянулся, но, увидев лошадь на месте, снова спокойно заснул.

Тито шмыгнула было в сторону, но теперь снова вернулась, неслышно, словно тень, обошла неподвижную человеческую фигуру и подозрительно понюхала кофе в жестяной кружке. Следом за ней из темноты вынырнул Оседланный, исследовал сковородку, на которой лежала горстка сухарей, и запачкал ее. Рядом на низком кусте висела уздечка. Койоты не знали, что это такое, но на всякий случай разорвали ее в клочья. Наконец, схватив мешки с салом и мукой, они унесли их далеко в холмы и там закопали в песок.

Причинив таким образом своему врагу как можно больше неприятностей, Тито и Оседланный отправились в поросший лесом овражек. В этом овраге Тито присмотрела уже нору, вырытую земляной белкой, а потом расширенную многими другими — в том числе лисицей, старавшейся выцарапать оттуда обитателей. Тито принялась усердно увеличивать нору. Оседланный следовал за ней в недоумении. И только когда она, усталая, вышла из норы, он полез туда сам и, тщательно обнюхав нору, начал работать, выбрасывая землю задними ногами. Когда позади него выросла целая горка земли, он вышел и отбросил ее подальше. Так работали они в течение многих часов, не обмениваясь ни единым звуком, но тем не менее настолько хорошо понимая друг друга, что один все время помогал другому. И к восходу солнца

перед ними была пещера, которая могла бы служить им убежищем в случае опасности, хотя, конечно, эту нору нельзя было и сравнить с их уютным домом в ложбине, поросшей травой.

XIII

Солнце уже всходило, когда Джек проснулся. Как всякий житель прерий, он прежде всего обернулся, чтобы поглядеть на свою лошадь. Ее не было. Лошадь для жителей прерий — то же, что корабль для моряка, что крылья для птицы. Без нее он беспомощен, без нее он подобен человеку, затерянному в океане, или птице, сломавшей крыло. Оказаться пешим в прерии — значит испытать тысячи невзгод. Даже пьяница Джек понимал это. Но, раньше чем он вполне оценил потерю, он увидел далеко в стороне свою лошадь: она спокойно паслась и с каждым шагом удалялась от его стоянки. Посмотрев внимательно, он заметил, что лошадь волочит за собой веревку. Если бы веревки на ней не оказалось, было бы совершенно невозможно поймать ее. Тогда бы Джек и не пытался ее настичь, а сразу отправился бы на охоту. В этом случае выводку койотов грозила бы неминуемая гибель. Но, увидев веревку, Джек решил попробовать поймать свою лошадь.

Из всех вещей на свете, способных свести человека с ума, самая худшая — это когда в погоне за лошадью ему все кажется, что вот-вот ее схватит. Как ни старался Джек, чего только он ни делал, ему не удавалось приблизиться к лошади настолько, чтобы ухватиться за короткий обрывок веревки. И он метался за ней в разные стороны, пока наконец они не очутились на дороге, ведущей на ранчо.

Несчастный Джек, потеряв всякую надежду поймать лошадь, решил следовать за ней пешком домой. Но, отмахав уже около семи миль, он наконец схватил веревку. Он вскочил в седло и за четверть часа проехал последние три мили, оставшиеся до ранчо. Всю дорогу он, дав волю гневу, вымещал огорчения этого утра на своей лошади. Конечно, это не принесло ему никакой пользы, но он хоть «отвел душу».

На ранчо Джек закусил и, захватив с собой собаку, которая умела выслеживать койотов, уже далеко за полдень отправился снова на охоту. В сущности, он мог бы и без помощи дворняжки легко найти нору, так как она была всего в каких-нибудь двухстах шагах от того места, где он накануне покинул дорожку из белых перьев. Но Джек этого не знал.

Поднявшись на гребень невысокого холма шагах в ста от норы, Джек почти нос к носу столкнулся с койотом, держащим в пасти большого кролика. Койот прыгнул в сторону в ту самую минуту,

когда Джек выстрелил из револьвера. А собака, разразившись громким лаем, бросилась в погоню.

Джек посылал койоту вдогонку выстрел за выстрелом, собака гналась за ним по пятам, а койот, к величайшему изумлению Джека, упорно не выпускал изо рта кролика. Ни один из выстрелов Джека не попал в цель. Когда койот и собака скрылись за холмом, Джек предоставил собаке продолжать преследование, а сам пошел искать логово, которое, по его расчету, было где-нибудь поблизости. Джек не сомневался, что детеныши еще там: ведь он видел мать, которая несла им пищу.

Легко обнаружив логово, он принялся за работу и целый день провозился с киркой и заступом, расширяя вход. По всем признакам было видно, что логово обитаемо. Полный радостных надежд, Джек все рыл и рыл. После нескольких часов тяжелой работы он наконец добрался до конца пещеры и... убедился, что она была пуста. Он сначала страшно выругался, проклиная свою судьбу, а затем надел кожаные рукавицы и принялся обшаривать нору. Вдруг он наткнулся на что-то твердое — это оказалась голова его собственного индюка. Вот и все, что он получил за свои труды.

Тито не теряла времени, пока ее враг ловил свою лошадь. Окончив устройство нового жилья, она вернулась в ложбину, устланную ковром белых перьев, и на пороге дома была встречена большеголовым детенышем, удивительно похожим на нее. Она схватила его за шею и понесла в новое жилье, находившееся милях в двух от старого. Время от времени она должна была выпускать свою ношу из пасти, чтобы отдохнуть самой и дать передохнуть маленькому. Остановки эти очень замедляли переселение, и переноска малышей продолжалась несколько часов. Тито не позволила Оседланному перенести ни одного детеныша — вероятно, потому, что он был слишком неловок.

Начиная с самого крепкого и большого, все детеныши были перенесены по очереди, и к вечеру в старом доме оставался только самый слабенький и маленький. Тито не только проработала всю ночь, роя нору, но сделала за утро около тридцати миль, причем половину этого расстояния с тяжелой ношей в зубах. Но она не стала отдыхать. Когда она выходила из пещеры, держа последнего детеныша в зубах, над краем ложбины появилась собака, за которой следовал Джек.

Как стрела полетела Тито, крепко держа своего детеныша, и так же стремительно бросилась за нею собака.

Выстрелы револьвера гремели непрерывно, но ни одна пуля

не задела ее. Тито перелетела через гребень холма — теперь пуля уже не могла настигнуть ее. Усталая Тито со своим детенышем мчалась впереди, а громадная разъяренная собака — во всю прыть за нею.

Если бы Тито не была так утомлена и бежала бы налегке, она скоро оставила бы далеко позади своего преследователя, но теперь собака, яростно лая, начинала настигать свою жертву. Тито призвала на помощь свои последние силы, стрелой взлетела на холмик и затем, выиграв небольшое расстояние, спустилась снова в долину, где густая трава несколько замедлила ее бег. Но вот опять она очутилась на совсем открытой равнине, и охотник, оставшийся далеко позади, снова увидел ее и начал стрелять с еще большим ожесточением. Правда, пули только взрывали землю и поднимали пыль, но Тито все же приходилось постоянно менять направление, чтобы избегать их. Таким образом, она теряла драгоценное время, между тем как собаку звуки выстрелов только подгоняли. Охотник узнал по куцему хвосту Тито. Ему все еще казалось, что она держит в зубах кролика, и он удивлялся ее странному упорству. «Почему она не бросит эту лишнюю тяжесть, когда дело идет о ее жизни?» — думал он.

Внезапно перед Тито открылся глубокий овражек. Усталая, с тяжелой ношей в зубах, она не решилась перепрыгнуть через него, а обежала кругом. Но собака не успела еще устать и легко перескочила через препятствие. Теперь расстояние между ними сократилось вдвое. Тито неслась все вперед, стараясь держать своего детеныша повыше, над колючими иглами кустарников. Но при этом она держала его так крепко, что беспомощный детеныш начал задыхаться в ее пасти. Бежать долго с такой тяжестью Тито была уже не в силах. Она хотела крикнуть, призвать на помощь, но шерстяной комок во рту заглушал ее голос. Детеныш задыхался, и когда Тито попробовала держать его немного послабее, он дернулся и вдруг упал в траву, во власть безжалостной собаки.

Тито была гораздо меньше собаки. В другое время она, конечно, испугалась бы, но теперь она думала только о спасении своего детеныша. Когда собака прыгнула, чтобы схватить его, Тито встала между ними и замерла. Вздыбившаяся шерсть и оскаленные зубы говорили, что она решила спасти жизнь своего детеныша какой угодно ценой. Собака не отличалась храбростью, и только сознание, что она крупнее врага и что сзади нее находится человек, ободряло ее. Но человек был еще далеко.

Первое нападение на дрожащего маленького детеныша было отбито, и Тито, воспользовавшись передышкой, громко позвала на помощь. Эхо подхватило этот вопль, так что Джек не мог разобрать, откуда он доносится. Но зато некто другой услышал этот клич и понял его. Собака снова прыгнула на детеныша, и

снова мать отразила прыжок своим собственным телом. Они сцепились в смертельной схватке. О, если бы только пришел Оседланный! Но никто не приходил, и не было больше возможности звать на помощь. Тито упала на землю, борясь до конца, но изнемогая. А храбрость собаки росла, и теперь она думала только о том, как скорее покончить с матерью, а потом растерзать ее беззащитного детеныша. Она не видела и не слышала ничего кругом, но вдруг из ближайшего куста полыни вылетела серая молния. Ощетинившаяся собака была отброшена врагом таким же сильным, как она сама. Еще мгновение — и старый Оседланный подмял ее под себя. Тито вскочила и бросилась к нему на помощь. У собаки не хватило дыхания, чтобы лаем призвать хозяина, скрытого за холмами, и в несколько секунд койоты растерзали ее. А затем Тито подняла спасенного детеныша, и койоты не торопясь побрели к своему новому дому.

В этом убежище маленькие койоты жили, пока мать не кончила их обучать. И каждый из них постиг как древнюю мудрость прерий, так и новую науку, родившуюся в войне, которую объявили их племени скотоводы. А потом эти знания перешли к их детям и детям их детей.

Бизоны давно перевелись: их истребили ружья охотников. Стада антилоп тоже почти совсем исчезли: собаки и пули доконали их. Старинные обитатели Бэдлендов исчезли, как исчезает снег под лучами солнца, но койотам вымирание не грозит.

Койоты узнали смертоносные тайны капканов и ядов, они умеют провести охотника и собаку. Их увертливость не меньше догадливости человека. Они нашли десятки способов спокойно пользоваться плодами человеческих трудов вопреки любым ухищрениям людей.

И всему этому научила их Тито.

ОТЧЕГО СИНИЦЫ РАЗ В ГОДУ ТЕРЯЮТ РАССУДОК

В давно минувшие времена, когда на севере Америки еще не бывало зимы, синицы весело жили в лесах вместе с корольками, кедровками и другими своими родичами и ни о чем не заботились, кроме удовольствий.

Но вот однажды осенью мать-природа предупредила всех пернатых певуний, что они должны поскорее улетать на юг, так как сюда надвигаются могущественные враги: снег, холод и голод.

Кедровки и другие родичи синиц принялись обсуждать, куда лететь. И только синица, предводительница всей стаи, хохотала, кувыркаясь на сучке, как на трапеции.

«Отправляться в такую даль? — пищала она.— Вот еще! Нам и здесь хорошо. Враки, не будет ни снега, ни холода, ни голода! Никогда за всю свою жизнь ничего подобного я не видала и не верю в них».

Но кедровки и корольки так суетились, что в конце концов их волнение заразило и синиц. Они даже оставили на время свои забавы и принялись допытываться у родственников, в чем, собственно, дело. К их большому неудовольствию, оказалось, что все они должны отправиться в длительное путешествие,— корольки, например, полетят до самого Мексиканского залива. А кроме того, лететь придется по ночам, чтобы не попасть в лапы к ястребу, а погода наверняка будет бурной.

Конечно, синицы сказали, что все это чепуха, и снова принялись беззаботно распевать и гоняться друг за другом.

Между тем корольки и другие птички стали готовиться к длинному путешествию и разузнавать дорогу на юг. Большая, широкая река, текущая к югу, луна в небе и дикие гуси, также переселявшиеся в теплые страны, должны были служить им путеводителями, а во время ночного полета нужно будет петь, чтобы не отбиться друг от друга.

Шумные, веселые синицы продолжали насмехаться над своими родичами, которые собрались в огромную стаю в лесу над рекой.

Наконец, когда луна подсказала им, что время настало, пернатые переселенцы разом вспорхнули и улетели в темноту. Синицы заявили, что все их родичи — сумасшедшие, еще раз посмеялись над Мексиканским заливом и, кувыркаясь в воздухе, принялись играть в салочки в лесу, который был теперь пустынным и неприветливым, а кроме того, погода становилась непривычно холодной.

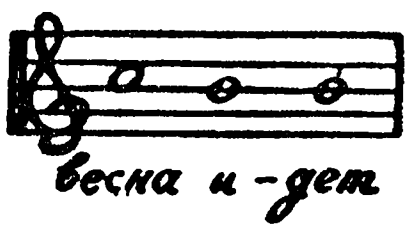
Наконец действительно пошел снег, наступили морозы, и синицы совсем растерялись. Куда девалась их былая веселость! Им стало страшно, и они беспомощно носились по лесу, ища, у кого бы спросить совета, у кого бы узнать, как найти путь на юг. По-моему, не было беличьего дупла, в которое не заглянули бы синицы и не спросили, уж не это ли Мексиканский залив. Но — увы! — никто ничего не мог им объяснить, никто не собирался в ту сторону, а большая река была скрыта под ледяным и снежным покровом.

Тут мимо них промчался вестник, которого мать-природа послала на север к оленям. Однако он заявил синицам, что не может служить им проводником, так как не получил никаких распоряжений, да и вообще летит не в ту сторону. Кроме того, они ведь были предупреждены, как и их родичи, которых они же называли «сумасшедшими», а теперь мать-природа, разгневанная непослушанием, наверное, прикажет им оставить всякую надежду на переселение в теплые страны. Не хотели слушаться вовремя — теперь пусть пеняют на себя.

Мало было утешительного в этой вести, но синицы — мужественные пичужки, и, поняв, что иного выхода нет, они решили приспособиться к новым условиям жизни. Не прошло и недели, как синицы приободрились и развеселились. Они снова стали весело щебетать, гоняться друг за дружкой, прыгать по веткам деревьев. Ведь им же было обещано, что и зиме придет конец. Они так горячо верили в это, что даже в самом начале зимы стоило разыграться бурану, как какая-нибудь синичка уже начинала весело уверять подруг, что это «верный признак весны», а другая радостно запевала:

«Весна идет!»

И хор весело подхватывал:



«Весна и-дет!»

Угрюмый лес слушал радостную весть, а люди научились любить мужественных птичек, которые так бодро переносят все тяготы и невзгоды.

Но и по сей день раз в году, глубокой осенью, когда по опустевшему лесному царству зашумит, загудит и завоет холодный ветер, со всеми синицами творится что-то странное: они на несколько дней теряют рассудок и начинают точно угорелые метаться между деревьями и забираться куда попало, даже в самые опасные места. Их тогда можно видеть и в лугах, и в прериях, и в городах, в подвалах, в дымовых трубах и в сараях — словом, всюду, где не следует быть маленькой лесной птичке.

И если вам случится в это время года встретить в подобных местах синиц, то так и знайте, что они временно сошли с ума. И возможно, забрались в такое неподходящее место потому, что решили, будто это и есть Мексиканский залив.

МЕДВЕЖОНОК ДЖОННИ

I

Джонни был забавный маленький медвежонок, живший со своей матерью в Йеллоустóнском парке. Мать его звали Злюка. Вместе с другими медведями они жили в лесу возле гостиницы.

По распоряжению управляющего гостиницей все отбросы из кухни сносили на открытую поляну в окрестном лесу, где медведи могли пировать ежедневно в течение всего лета.

С тех пор как Йеллоустонский парк был объявлен заповедником для диких животных, где они пользовались полной неприкосновенностью, количество медведей там из года в год возрастало. Мирные дары человека не остались в пренебрежении, и многие из медведей были настолько хорошо знакомы прислуге гостиницы, что даже получили прозвища, соответствующие их внешнему виду и поведению. Один очень длинноногий и худой черный медведь назывался Тощим Джимом. Другой черный медведь звался Фыркалка; он был так черен, будто его закоптили. Толстяк был очень жирный, ленивый медведь, который всегда норовил лечь, когда ел. Два лохматых подростка, которые всегда приходили и уходили вместе, назывались Близнецами. Но наибольшей известностью пользовались Злюка и маленький Джонни.

Злюка была самой большой и свирепой из черных медведей, а Джонни, ее единственный сын, был надоедлив и несносен, так как никогда не переставал ворчать и скулить. Вероятно, это объяснялось какой-нибудь болезнью, потому что ни один здоровый медвежонок, как и всякое здоровое дитя, не станет беспричинно ныть все время. Да и правда, Джонни был похож на больного. У него, по-видимому, постоянно болел живот, и это показалось мне вполне естественным, когда я увидел, какую ужасающую мешанину пожирал он на свалке. Он пробовал решительно все, что видел. А мать, вместо того чтобы запретить ему, давала что угодно.

У Джонни были только три здоровые лапы, блеклый облезлый

мех и несоразмерно большие уши и брюхо. Однако мать обожала его; она, по-видимому, была убеждена, что сын ее красавец, и, конечно, совсем избаловала его. Злюка была готова подвергаться каким угодно неприятностям ради него, а он всегда с удовольствием давал ей повод для беспокойства. Больной и хилый Джонни был далеко не дурак и умел заставлять свою мамашу делать все, что он захочет.

II

Я познакомился с Джонни летом 1897 года, когда посетил Йеллоустонский парк, чтобы наблюдать животных в естественных условиях. Мне рассказали, что в лесу около Гейзерной гостиницы можно увидеть медведей в любое время. Я не особенно верил этим рассказам, пока сам не столкнулся, выйдя из дверей гостиницы через пять минут после приезда, с большой черной медведицей и двумя медвежатами.

Я остановился, испуганный этой встречей. Медведи тоже остановились и, присев на задние лапы, разглядывали меня. Затем медведица издала странный звук, похожий на кашель: «Кофф, кофф!» — и посмотрела на ближайшую сосну. Медвежата, казалось, поняли, что она хотела сказать, так как немедленно побежали к дереву и стали взбираться на него, как две обезьянки. Почувствовав себя в безопасности, они уселись наверху на ветках, точно мальчишки, придерживаясь одной лапой за ствол и болтая в воздухе маленькими черными ножками.

Медведица-мать, все еще на задних лапах, медленно приближалась ко мне, и я уже начинал чувствовать себя весьма неприятно от близости этого мохнатого чудовища, стоявшего во весь свой саженный рост и, по-видимому, никогда не слыхавшего о волшебной силе человеческого взгляда.

У меня не было с собой даже палки для защиты, и когда медведица тихо заворчала, я стал уже помышлять о бегстве, несмотря на то что, как меня уверяли, медведи здесь никогда еще не нападали на человека. Но медведица снова остановилась. Она стояла шагах в тридцати от меня, продолжая молча меня рассматривать, точно в нерешительности. Казалось, она размышляла: «Этот человек, может быть, и не хочет зла моим детенышам, но рисковать не стоит».

Она взглянула на своих малышей и издала странный жалобный звук, вроде «ер-р-р, ер-р...»— и они начали спускаться с дерева, как послушные дети, получившие приказание. В их движениях не было ничего неуклюжего, медвежьего. Легко и проворно они спрыгивали с ветки на ветку, пока не очутились на земле. И все трое ушли в лес.

Мне очень понравились эти послушные медвежата. Как только мать приказывала им что-нибудь, они беспрекословно ей повиновались. Но я узнал также, что стоило бы им ослушаться, и она безжалостно их отшлепала бы.

Так мне удалось с первых же шагов довольно удачно заглянуть в семейную жизнь медведей. Ради этого стоило сюда приехать, даже если бы этим дело и ограничилось. Но мои друзья в гостинице сказали мне, что я попал далеко не в лучшее место для наблюдений. Они посоветовали мне пройти за четверть мили, на свалку в лесу, где, по их словам, я могу вдосталь налюбоваться медведями (как будто это было возможно!).

На следующий день рано утром я направился к этой медвежьей столовой, расположенной посреди сосен, и спрятался в ближайших кустах.

Ждать пришлось недолго. Из лесу тихо вышел большой черный медведь. Подойдя к свалке, он принялся раскапывать кучу и пожирать отбросы. Он был все время настороже, приседал на задние лапы и оглядывался при всяком шорохе или отбегал на несколько шагов, как будто в испуге. Наконец, при появлении другого медведя, он поднял уши и бросился наутек под сосны. Второй медведь вел себя так же боязливо и тотчас убежал, едва я зашевелился в кустах, пытаясь лучше его разглядеть.

Вначале я и сам волновался — ведь носить оружие в Йеллоустонском парке строго воспрещено. Но робкое поведение медведей меня успокоило. Я с жадностью рассматривал этих больших косматых зверей, заглядывая в их домашнюю жизнь.

Однако вскоре я убедился, что избранный мною наблюдательный пункт недостаточно хорош, так как он находился шагах в семидесяти пяти от мусорной кучи. А ближе не было ни одного куста, за которым можно было бы укрыться. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось: подошел к самой куче и, выкопав в ней углубление, достаточное для того, чтобы в нем спрятаться, пробыл там целый день, окруженный капустными стеблями, картофельной шелухой, жестянками из-под томатов и гниющими остатками мяса. Это место мне нравилось гораздо меньше, чем мухам. По правде говоря, аромат медвежьей столовой был настолько неприятен, что, когда я вернулся вечером в гостиницу, мне не позволили войти в нее, пока я не переоделся в лесу.

Сидеть в мусорной куче нелегко, но зато я могу сказать, что в этот день действительно видел медведей. Если бы я считал каждого приходившего на свалку медведя, я мог бы насчитать их больше сорока. Но, конечно, это было бы неправильно, так как медведи уходили и возвращались. Впрочем, я уверен, что их там было не менее тринадцати, потому что именно такое количество я видел одновременно.

Весь тот день я не оставлял альбома и записной книжки, отме-

чая каждого вновь появившегося медведя, и вскоре научился отличать их одного от другого.

Многие ненаблюдательные люди полагают, что все животные одной породы одинаковы. Но в действительности они так же отличаются друг от друга, как и люди. Иначе, каким образом взрослые животные узнают друг друга, а детеныши — своих матерей? Каждый из этих пирующих медведей имел свою особенность. Среди них не было двух совершенно одинаковых по облику и по характеру.

Мне удалось сделать еще одно удивительное открытие: я легко различал стук дятла за сто шагов в лесу, щебет синиц, крик голубой сойки, слышал даже, как белка пробиралась сквозь листву, но я не мог уловить ни малейшего звука при приближении медведей. Их громадные мягкие лапы всегда ступают так осторожно, что ни ветку не сломают, ни листок не шевельнут — так велико их искусство ходить по лесу бесшумно.

III

Все утро медведи приходили и уходили, не замечая меня. Если не считать одной-двух маленьких ссор, ничего особенного не произошло.

Но около трех часов пополудни наступило некоторое оживление.

К этому времени на свалке находились четыре больших медведя, занятых обедом. В середине был Толстяк, растянувшийся во всю длину, миролюбивый и счастливый. Иногда он пыхтел и, избавляя себя от лишних движений, все дальше и дальше высовывал язык, похожий на длинную красную змею, стараясь слизнуть лакомые кусочки, которые легко мог бы достать лапой. Позади него Тощий Джим изучал анатомию древнего мира. С омарами он еще не был знаком, поэтому он решил ради опыта съесть одного.

Два других медведя с поразительной ловкостью очищали жестянки из-под фруктов. Гибкая медвежья лапа держала жестянку, а длинный язык двигался взад и вперед в узком отверстии, осторожно избегая острых краев и вылизывая все, что было внутри. Эта трогательная сцена продолжалась так долго, что я успел зарисовать ее, прежде чем она внезапно прервалась.

Сначала мой взгляд уловил какое-то движение на вершине откоса, в том месте, откуда обычно появлялись медведи. Затем из лесу вышла огромная черная медведица в сопровождении крошечного медвежонка. Это были Злюка и маленький Джонни.

Старая медведица спускалась вниз по откосу. Джонни семенил рядом с нею, по обыкновению ворча и скуля, а мать не сводила

с него глаз, как курица со своего единственного цыпленка. Шагах в тридцати от свалки Злюка повернулась к своему сыну и, должно быть, сказала ему приблизительно следующее: «Джонни, дитя мое, тебе лучше подождать здесь, пока я схожу и разгоню эту компанию».

Джонни послушно остался, но ему хотелось видеть, что произойдет, поэтому он поднялся на задние лапы, выпучив глаза и навострив уши.

Злюка направилась к свалке, с достоинством переступая с лапы на лапу, и предостерегающе заворчала. Четыре медведя, однако, были слишком увлечены едой, чтобы обратить на нее внимание. Что за беда, если еще один медведь собирается присоединиться к их пиршеству! Тогда Злюка, подойдя к ним почти вплотную, издала ряд громких звуков, похожих на кашель, и бросилась в атаку. Смешно сказать, но медведи даже не пытались ей сопротивляться. Как только они увидели, кто на них напал, все сразу же помчались в лес.

Тощий Джим улепетывал во все лопатки, остальные двое тоже не отставали, но бедный Толстяк двигался слишком медленно, пыхтя и переваливаясь, как и положено толстяку. Вдобавок, к своему несчастью, он имел неосторожность направиться в сторону Джонни. В несколько прыжков Злюка настигла его и надавала ему здоровенных шлепков по задней части. Шлепки хотя и не ускорили его шагов, но заставили его завыть и переменить направление. Только это и спасло его от дальнейшей расправы. Злюка, оставшаяся теперь единственной владелицей всей свалки, повернулась к сыну со знакомым уже мне жалобным призывом: «Ер-р-р...» В ответ Джонни радостно заковылял на своих трех здоровых лапах — так быстро, как только мог. Присоединившись к матери, он с такой жадностью набросился на еду, что даже перестал скулить.

Очевидно, он уже бывал на свалке, так как отлично разбирался в жестянках и коробках. Коробки из-под омаров не прельщали его, если он мог найти банку из-под варенья. Некоторые жестянки доставили ему много неприятностей, так как он был слишком жаден и неловок, чтобы избежать их острых краев. У одной соблазнительной жестянки из-под фруктов было такое большое отверстие, что он просунул внутрь всю голову и в течение нескольких минут наслаждался, вылизывая самые дальние уголки. Но вытащить голову обратно ему не удалось, он оказался пойманным. Тогда Джонни стал царапать жестянку и кричать, как сделал бы всякий другой ребенок на его месте, доставляя этим большое огорчение своей матери, которая никак не могла ему помочь. Когда ему наконец удалось освободиться, он колотил жестянку до тех пор, пока совсем ее не расплющил.

Другая большая жестянка, из-под сиропа, вознаградила его

вполне. Она когда-то закрывалась крышкой, так что ее отверстие имело совершенно гладкие края. Но зато голова Джонни не влезала в это отверстие, и как он ни вытягивал свой язык, он не мог добраться до ее сокровищ. Однако Джонни быстро нашел выход из положения. Запустив внутрь свою маленькую черную лапу, он стал водить ею по стенкам, потом вытаскивал и вылизывал ее начисто. Облизывая одну лапу, он другой работал внутри жестянки, повторяя эту операцию до тех пор, пока жестянка не сделалась такой чистой внутри, как только что выпущенная с фабрики.

Потом он заинтересовался сломанной мышеловкой. Захватив ее крепко передними лапами, он принялся ее исследовать. От мышеловки очень соблазнительно пахло сыром. Однако эта невиданная вещица ответила на удар его лапы ударом, и он едва сдержал крик о помощи, проявив в этом случае необычное для него самообладание.

После внимательного осмотра, во время которого он наклонял голову то в одну сторону, то в другую и вытягивал губы трубочкой, мышеловка подверглась тому же наказанию, как раньше непокорная жестянка из-под фруктов. Усердие Джонни было на этот раз вознаграждено: в самом сердце преступницы он нашел кусочек сыру.

Джонни, по-видимому, никогда еще не случалось отравляться. После того как он вылизал все жестянки из-под варенья и фруктов, он обратил свое благосклонное внимание на коробку из-под сардин и омаров и даже не испугался армейских мясных консервов. Его живот раздулся, как шар, а передние лапы от беспрестанного облизывания сделались тонкими и блестящими, словно он надел черные шелковые перчатки.

IV

Мне пришло в голову, что мое место может оказаться очень опасным, так как одно дело — попасться на глаза одинокому медведю и совершенно другое — привлечь к себе внимание сердитой медведицы, испугав чем-нибудь ее медвежонка.

«Предположим,— подумал я невольно,— что шалун Джонни проберется к этому концу свалки и найдет меня в моем убежище. Он сразу поднимет крик, а его мать, конечно, вообразит, что я напал на него и, не дав мне возможности объясниться, позабудет все правила вежливости, установленные в парке. Тогда дело может принять весьма неприятный оборот».

По счастью, все банки из-под варенья были в другом конце свалки. Джонни держался возле банок, а Злюка не отходила от него далеко. Заметив, что в лапы матери попалась соблазнительная

жестянка, Джонни с плачем побежал к ней, требуя ее себе, но тут нечаянно бросил взгляд на вершину холма. То, что он там увидел, заставило его сразу присесть на задние лапы и тревожно закашлять: «Кофф, кофф, кофф, кофф...»

Мать быстро повернулась и стала смотреть в ту же сторону. Я последовал за их взглядом и там — о ужас! — увидел громадного гризли[1]. Это было настоящее чудовище, которое походило на омнибус, закутанный в мех и двигавшийся меж деревьев. Джонни заскулил и спрятался за мать. Злюка глухо заворчала, и шерсть на ее спине встала дыбом. Признаюсь, и у меня волосы поднялись дыбом, но я старался не шелохнуться.

Гризли приближался величественной походкой. Его широкие плечи и серебристый мех, колыхавшийся при каждом шаге, производили впечатление такой мощи, что невольно внушали ужас.

Джонни начал скулить еще громче. Я вполне ему сочувствовал, но старался молчать по весьма понятной причине. После минутной нерешительности Злюка повернулась к своему плаксивому медвежонку и произнесла несколько слов, которые для меня звучали как короткое покашливанье: «Кофф, кофф, кофф...» Но я могу представить себе, что она сказала: «Дитя мое, тебе следует взобраться на то дерево и подождать, пока я пойду и прогоню этого нахала».

Во всяком случае, так именно поступил Джонни и такое желание изъявила его мать. Но Джонни вовсе не был склонен отказываться от развлечения. Он хотел видеть, что произойдет, и не удовольствовался тем, что спрятался в густых ветвях сосны, а постарался соединить безопасность с возможностью наблюдения. Он взобрался на самую высокую ветку и там, отчетливо вырисовываясь на фоне неба, вертелся и громко визжал от волнения. Ветка была так тонка, что гнулась под его тяжестью, раскачиваясь в разные стороны при любом его движении, и я каждый миг ожидал, что она сломается. Если бы при этом Джонни упал в мою сторону, это навлекло бы на меня гнев его матери. Но ветка, к счастью, оказалась крепче, чем я думал, а Джонни был слишком искусен в подобных упражнениях, чтобы сломать ее или самому потерять равновесие.

Тем временем Злюка шла навстречу Гризли, вытянувшись во весь свой рост, с ощетинившейся шерстью, лязгая зубами. Гризли, насколько я мог видеть, не обращал на нее внимания и прямо направился к свалке, как будто он был совершенно один. Но когда он поравнялся со Злюкой, она зарычала, бросилась на него и отвесила ему жестокую оплеуху. Озадаченный, он все же успел ответить ей ударом левой лапы и опрокинул ее, как куль с сеном.

---

[1] В Америке водятся медведи двух пород: черные и серые. «Гризли» по-английски значит «сероватый», отсюда серые медведи и получили название «гризли».

Нисколько этим не укрощенная, она рассвирепела еще больше, вскочила и снова бросилась на него.

Они обхватили друг друга и катались по земле, фыркая, рыча и поднимая целые облака пыли. Но сквозь весь этот шум я мог ясно расслышать Джонни, который визжал во весь голос на верхушке сосны и, видимо, ободрял мать, чтобы она поскорее покончила с противником.

Почему Гризли не сломал ее пополам, я так и не мог понять. Через несколько минут, в течение которых мне не было видно ничего, кроме пыли и неясных очертаний дерущихся, они вдруг разошлись, как будто по взаимному уговору,— быть может, согласно правилам медвежьей борьбы,— и остановились, глядя в упор друг на друга, причем Злюка казалась сильно утомленной.

Гризли, по-видимому, готов был этим ограничиться. В намерения его вовсе не входило продолжать драку, а тем более обращать внимание на Джонни. Он хотел только одного: мирно пообедать. Но нет! В тот миг, когда он сделал первый шаг по направлению к свалке, а по мнению Злюки — к ее медвежонку, она возобновила нападение. Но теперь Гризли был начеку. Одним ударом он свалил медведицу с ног и отшвырнул на громадный, выдернутый с корнями пень. Это ее наконец образумило. Сила полученного удара и жесткий прием, оказанный ей торчащими корнями, похожими на рога, отбили у нее весь воинственный пыл. Кое-как поднявшись, она попыталась скрыться. Однако теперь Гризли сам пришел в ярость и, желая хорошенько ее проучить, стал гоняться за нею вокруг пня. Злюка была подвижнее и успевала увертываться так, что пень всегда оказывался между нею и противником. Джонни, оставаясь на дереве, продолжал проявлять самый живой и шумный интерес к происходящему.

Наконец убедившись, что поймать ее таким способом невозможно, Гризли присел на задние лапы, словно обдумывая какой-то новый маневр. Злюка воспользовалась передышкой и, сделав прыжок от пня, успела взобраться на дерево, где сидел Джонни. Медвежонок спустился немного ниже, быть может, для того, чтобы ее встретить или чтобы дерево не треснуло под их двойной тяжестью.

Сфотографировав эту интересную группу, я решил любой ценой получить снимок с более близкого расстояния. В первый раз за этот день я выскочил из своей норы и перебежал под самое дерево. Но эта перемена места была ошибкой, так как густые нижние ветви совершенно заслонили от меня медведей, сидевших у вершины.

Прижавшись к самому стволу, я глядел вверх и выжидал момента, чтобы пустить в ход фотоаппарат. Вдруг Злюка стала спускаться, щелкая зубами и угрожающе кашляя. Пока я стоял в нерешительности, сзади меня раздался чей-то голос:

— Эй, мистер, берегитесь! Старая медведица нападет на вас.

Я обернулся и увидел молодого ковбоя. Он проезжал мимо верхом на лошади как раз в то время, когда развертывались события.

— Вы знаете этих медведей? — спросил я, когда он подъехал ближе.

— Еще бы! — отвечал он.— Этот малыш наверху — Джонни, а медведица — его мать Злюка. Она и всегда-то может напасть. А уж если Джонни так разревется, то добра не жди!

— Мне бы хотелось сфотографировать ее, когда она сойдет вниз.

— Тогда вот что,— сказал пастух.— Я останусь рядом с вами на лошади и, если медведица на вас нападет, попробую ее отогнать.

Он стал рядом со мною, как было условлено, в то время как Злюка с грозным ворчаньем медленно спускалась с сука на сук. Но, почти достигнув земли, она вдруг перебралась на другую сторону ствола и, спрыгнув вниз, убежала, не попытавшись выполнить свои страшные угрозы.

Итак, Джонни остался один. Взобравшись на старое место, он жалобно заплакал: «Уа, уа, уа!»

Камера была наготове, и я уже собирался запечатлеть Джонни в его любимой позе, которую он принимал всегда, когда плакал, но вдруг он вытянул шею и стал кричать во все горло, как во время драки.

Взглянув в ту сторону, куда смотрел Джонни, я увидел, что прямо на меня идет Гризли, пока еще не начиная враждебных действий, но с очевидным намерением пройти все расстояние, отделявшее нас друг от друга.

Я спросил моего приятеля, пастуха, знает ли он этого медведя.

— Как не знать! Это старый Гризли, самый большой медведь в парке. Обыкновенно он занят только своими делами, но он никого не боится, а сегодня ему уже довелось подраться, так что он может и напасть.

— Мне бы хотелось его сфотографировать,— заметил я.— Если вы мне поможете, я готов рискнуть.

— Ладно,— ответил пастух, широко улыбнувшись.— Я останусь на лошади и, если он бросится на вас, постараюсь его отвлечь. Я могу ударить его один раз, но второй раз мне вряд ли это удастся. Так что присмотрите-ка заранее дерево получше.

Но так как единственное дерево поблизости было то, на котором сидел Джонни, предложение пастуха меня совершенно не прельщало. Я живо представил себе, как карабкаюсь наверх, к Джонни, а мать его преследует меня по пятам, в то время как Гризли поджидает внизу той секунды, когда Злюка сбросит меня прямо ему в лапы.

Гризли приближался. Я сфотографировал его в сорока шагах, затем еще раз — в двадцати, а он спокойно продолжал шествовать ко мне. Я присел на кучу мусора и приготовился. Восемнадцать шагов, семнадцать шагов, двенадцать, восемь... Он все еще шел, а Джонни кричал все громче. Наконец в пяти шагах от меня он остановился и наклонил свою страшную бородатую голову набок, чтобы рассмотреть, кто поднимает такой гам на вершине дерева. Это движение показало мне его в профиль, и я снова щелкнул камерой. При этом звуке он обернулся с таким ужасным рычанием, что я замер на месте, думая, что пришла моя последняя минута. Некоторое время он смотрел на меня в упор, и я мог различить маленькие зеленые огоньки в его глазах. Затем он опять медленно повернулся и схватил большую банку из-под томата.

«Господи! Неужели он швырнет ею в меня?»

Так я подумал. Но вместо этого он принялся неторопливо ее вылизывать, затем отбросил в сторону и взял другую банку, потеряв сразу всякий интерес ко мне и к Джонни и решив, по-видимому, что мы оба не стоим его внимания.

Я стал пятиться назад, медленно и почтительно, как подобает в присутствии короля лесов, оставляя в его полном распоряжении все богатства свалки, в то время как Джонни в своем убежище продолжал вопить.

Что произошло со Злюкой дальше в тот день, мне неизвестно. Джонни, поплакав еще некоторое время, понял наконец, что ему не у кого искать сочувствия, и весьма благоразумно замолчал. Оставшись без матери, которая одна могла бы о нем позаботиться, он решил, что надо действовать самому, и проявил при этом бо́льшую сообразительность, чем можно было от него ожидать. Проследив за Гризли с лукавым выражением на маленькой черной мордочке и подождав, пока тот отошел на некоторое расстояние от дерева, он тихо соскользнул на землю с другой стороны ствола, потом на трех ногах перебежал, как заяц, к соседнему дереву, не останавливаясь и не переводя дыхания, пока не взобрался на самую верхнюю ветку. Несомненно, он был вполне убежден в том, что Гризли только и думает, как бы убить его, маленького Джонни. Но он так же твердо знал, что его враг не может лазить по деревьям.

Внимательно понаблюдав за Гризли, который не обращал на него ни малейшего внимания, Джонни повторил опять тот же маневр, сделав для разнообразия движение в сторону, чтобы обмануть врага. Так он перебегал от дерева к дереву, взбираясь на самую вершину каждого из них, хотя бы оно было совсем рядом, пока наконец не скрылся в лесу. Минут через десять снова послышался его плаксивый голос в отдалении. Я понял, что он нашел мать и возобновил свои жалобы, рассчитанные на пробуждение ее родительских чувств.

V

Из всех консервных банок на свалке больше всего по вкусу Джонни приходились те, на которых была этикетка, изображавшая большую лиловую сливу. Самый запах этих слив волновал его.

Однажды, когда в кухне гостиницы пекли сразу громадное количество пирожков со сливовым вареньем, болтливый ветерок разнес известие об этом событии далеко по лесу. Оно проникло через нос Джонни в самую его душу.

Джонни, по своему обыкновению, в это время скулил и хныкал. Злюка была занята облизыванием и причесыванием своего сынка, так что он вдвойне имел основание жаловаться. Но запах пирожков совсем заворожил его. Он вскочил, а при попытке матери удержать его на месте поднял крик и даже укусил ее. Нужно было бы хорошенько проучить его за это, но она только неодобрительно поворчала и пошла за ним, чтобы защитить, если кто-нибудь вздумает его обидеть.

Держа свой черный носик по ветру, Джонни помчался прямо к кухне. Впрочем, по дороге он принимал некоторые предосторожности, взбираясь время от времени на самые вершины сосен, для того чтобы бросить взгляд на окрестность, а Злюка сторожила внизу. Так они добрались до самой кухни. Там, на верхушке последнего дерева, предприимчивость Джонни сразу иссякла, и он так и не решился спуститься вниз, выражая свою тоску по пирожкам душераздирающим плачем. Вряд ли Злюка поняла, почему он плачет. Но когда она захотела повернуть назад, в лес, Джонни устроил такой скандал, что она не решилась его оставить, а он сам не изъявлял никакого желания сойти с дерева.

Злюка и сама была не прочь отведать сливового варенья, запах которого возле гостиницы был особенно силен. И вот с некоторой опаской она направилась к кухонной двери. В этом не было ничего удивительного. В Йеллоустонском парке медведи нередко приходят к дверям кухни за подачками и, получив что-нибудь, так же мирно удаляются обратно в лес. Несомненно, Джонни и Злюка получили бы каждый по пирожку, если бы не совершенно неожиданное обстоятельство.

Незадолго до этого какой-то заезжий путешественник из Восточных штатов привез в гостиницу кошку. Сама она была еще почти котенком, но уже имела целую семью собственных котят. Когда Злюка подошла, кошка вместе с котятами нежилась на солнце, лежа на кухонном крыльце. Раскрыв глаза, кошка с удивлением смотрела на громадное мохнатое чудовище, стоящее над нею.

Кошка никогда раньше не видела медведя: она еще слишком недолго прожила в парке. Она даже не понимала, что такое мед-

ведь. С собаками она была хорошо знакома, и если это была собака, то, во всяком случае, самая большая и страшная из всех, каких только она видела наяву и во сне. Первая мысль кошки была спастись бегством, но затем она подумала о котятах. Она должна позаботиться о них и, по крайней мере, дать им возможность уйти. И вот маленькая мать встала посреди крыльца и, выгнув спину, выпустив когти и распустив хвост, прошипела медведице свой приказ: «Стой!»

Хотя это было сказано на кошачьем языке, но медведица вполне поняла смысл. Очевидцы утверждают, что Злюка не только остановилась, но даже подняла вверх передние лапы в знак покорности.

Но когда она приняла это положение и взглянула на кошку сверху, кошка показалась ей уж совсем крошечной. Старая Злюка не побоялась даже Гризли, неужели теперь ее удержит такое ничтожное хвостатое существо величиной не больше ее пасти? Ей стало стыдно самой себя. А плач Джонни напомнил ей о ее прямом долге — защищать сына.

Тогда она снова опустилась на все четыре лапы с намерением идти дальше.

И опять кошка крикнула: «Стой!»

Однако Злюка на этот раз не послушалась. Испуганное мяуканье котят волновало кошку, и она бросилась на неприятеля. Восемнадцать острых когтей и полная пасть зубов — все оружие, которое имела кошка,— было пущено ею в ход, и с мужеством отчаяния она вцепилась в голый чувствительный нос Злюки — самое слабое место у всякого медведя — и потом по ее спине перебралась к хвосту. После двух-трех попыток сбросить разъяренного маленького зверя старая Злюка поступила так, как поступает большинство при таких обстоятельствах: она показала пятки и бросилась прочь из неприятельского лагеря в родные леса.

Но в кошке проснулись воинственные наклонности. Она не удовлетворилась изгнанием врага, а хотела добиться полного его поражения и безусловной покорности. Хотя старая Злюка убегала во всю прыть, кошка оставалась у нее на спине, орудуя зубами и когтями, как маленький чертенок. Злюка, охваченная ужасом, стала кидаться в разные стороны, и путь этой странной пары отмечался на земле клочками длинной черной шерсти и даже кое-где пятнышками крови.

Гордость кошки была удовлетворена, но этого ей было мало, она продолжала бешеную скачку. Злюка пришла в полное отчаяние. Она была унижена и готова принять любые условия сдачи, но кошка казалась глухой к ее вою. И неизвестно, как далеко зашло бы дело, если бы не Джонни, который пронзительным криком с верхушки дерева внушил матери новый план спасения. Злюка в два прыжка достигла сосны и вскарабкалась наверх.

Здесь кошка ясно почувствовала, что попала в лагерь неприятеля, численность которого вдобавок удвоилась. Благоразумно решив прекратить преследование, она соскочила со спины медведицы на землю и стала прогуливаться вокруг дерева с высоко поднятым хвостом, вызывающе поглядывая вверх, точно приглашая врага спуститься. Потом к ней присоединились котята и, усевшись в кружок, стали громко выражать свое удовольствие. По уверениям свидетелей, медведи ни за что не спустились бы с дерева и погибли от голода, если бы повар не отозвал кошку. Впрочем, последнее может быть и преувеличением.

VI

Когда я в последний раз видел Джонни, он сидел на верхушке дерева и, по обыкновению, оплакивал свою несчастную участь. А в это время Злюка рыскала между соснами, высматривая какую-нибудь жертву для расправы, при условии, конечно, что это не будет Гризли или кошка.

Было начало августа, и в поведении Злюки уже замечалась некоторая перемена. Среди обитателей парка она всегда считалась опасной, а ее любовь к Джонни признавалась основной чертой ее характера.

Между тем к концу этого месяца Джонни уже нередко проводил целые дни на верхушке какого-нибудь дерева в полном одиночестве, чувствуя себя глубоко несчастным.

Последняя глава его короткой истории относится уже к тому времени, когда я уехал из Йеллоустонского парка.

Однажды на рассвете Джонни тащился следом за своей матерью, блуждавшей вблизи гостиницы. В кухне в это время находилась девушка-ирландка, незадолго до того принятая на службу. Выглянув в окно, она увидела, как ей показалось, теленка, забредшего куда не следует, и побежала прогнать его. Открытая кухонная дверь со времени истории с кошкой все еще вызывала такой ужас в Злюке, что она сейчас же пустилась наутек. Джонни, зараженный ее испугом, бросился к ближайшему дереву, которое, к несчастью, оказалось... столбом. Быстро, слишком быстро достиг он его верхушки в каких-нибудь семи футах от земли и там принялся изливать свое горе, тогда как Злюка продолжала бежать без оглядки. Когда девушка подошла ближе и увидела, что загнала на столб какого-то дикого зверя, она перепугалась не меньше своей жертвы. Но тут подоспели другие кухонные служители и, узнав крикуна Джонни, решили взять его в плен.

Принесли ошейник и цепь, и после борьбы, во время которой несколько человек были сильно поцарапаны, на шею стропти-

вого медвежонка был надет ошейник, а цепь крепко привязана к столбу.

Почувствовав себя в плену, Джонни пришел в такое бешенство, что даже не мог кричать. Он только кусался, рвал и царапал все вокруг себя, пока не выбился из сил. Тогда он снова заголосил, призывая мать. А она хотя и показывалась раза два на почтительном расстоянии, но, боясь встретиться с кошкой, в конце концов ушла в лес, предоставив Джонни своей участи.

Весь этот день он то бился, то принимался кричать. К вечеру он окончательно обессилел и даже принял пищу, которую ему принесла ирландка Нора. Эта девушка чувствовала себя обязанной принять на себя роль приемной матери Джонни: ведь по ее вине он лишился настоящей матери!

Ночь была очень холодная, но Джонни только тогда решился спуститься вниз, на приготовленную для него теплую постель, когда совсем замерз на верхушке своего столба.

В последующие дни Злюка часто появлялась на свалке, но, по-видимому, совершенно забыла о своем сыне. Джонни продолжал оставаться на попечении Норы и получать от нее пищу. Впрочем, он получил от нее и кое-что новое для себя: однажды, когда она принесла ему обед, он цапнул ее и за это впервые в своей жизни был отшлепан самым настоящим образом. В течение нескольких часов он дулся: он не привык к подобному обращению. Но голод взял свое, и с тех пор он стал относиться к своей воспитательнице с большим почтением. Нора усердно воспитывала осиротевшего медвежонка, и через две недели нрав Джонни уже значительно изменился. Он стал много спокойнее и хотя по-прежнему выражал свой голод в плаксивых звуках «ер-рр-р, ер-р-р, ер-р-р...», но уже редко поднимал крик, а его неистовые выходки совершенно прекратились.

Ко второй половине сентября перемена в его характере сделалась еще более заметной. Брошенный своей матерью, он всецело привязался к Норе, которая его кормила и наказывала, и из него выработался чрезвычайно благовоспитанный медвежонок. Иногда Нора даже отпускала его на свободу. И он в таких случаях направлялся не в лес, а в кухню, где находилась его приемная мать, и ходил за нею по пятам на задних лапах. Здесь ему также пришлось познакомиться с грозной кошкой. Но Джонни имел теперь могущественного покровителя, и кошке в конце концов пришлось заключить с ним мир.

В октябре гостиница должна была закрыться на зиму. Стали думать о том, как поступить с Джонни: выпустить ли его на свободу, или отправить в Вашингтонский зоологический сад. Однако Нора предъявила на него свои права, которыми ни за что не хотела поступиться.

С наступлением морозных ночей, в последних числах сен-

тября, у Джонни появился сильный кашель. Осмотрели его хромую ногу и увидели, что хромота зависела не от какого-либо повреждения, а объяснялась общим недомоганием и слабостью всего организма.

Осенью он не только не разжирел, как большинство медведей, но, наоборот, продолжал худеть. Живот у него ввалился, кашель делался все сильнее и сильнее, и однажды утром его нашли совсем больным и дрожащим в его постели у столба. Тогда Нора взяла его в дом, и с тех пор он остался на кухне.

На несколько дней в его здоровье, казалось, наступило улучшение, в нем пробудилось прежнее любопытство ко всему окружающему. Большое светлое пламя в кухонном очаге особенно привлекало его, и когда открывали дверцы, он усаживался на задние лапы с выражением сосредоточенного внимания. Но через неделю он потерял интерес даже к этому зрелищу и со дня на день хирел все больше и больше. В конце концов, что бы ни происходило около него, уже ничто не могло больше пробудить его былую любознательность.

Кашель его все усиливался, и он казался очень несчастным, за исключением тех минут, которые проводил на коленях у Норы. Тогда он ласкался к ней и разными способами выражал свою радость, но всякий раз принимался жалобно плакать, как только она отправляла его обратно в корзинку, служившую ему постелью.

За несколько дней до закрытия гостиницы Джонни впервые отказался от своего обычного завтрака и тихо скулил, пока Нора не взяла его к себе на колени. Он прижался к ней, но его нежное «ер-р-р, ер-р-р...» звучало все слабее и слабее, пока совсем не затихло. Через полчаса после того, как она уложила его обратно в корзинку и принялась за свою работу, маленький Джонни навсегда утратил стремление видеть и понимать все, что происходило вокруг него.

ЧИНК

I

Чинк был уже таким большим щенком, что считал себя замечательной взрослой собакой — и правда замечательным он был, но совсем не таким, каким воображал. Он не был ни свиреп, ни даже внушителен с виду, не отличался ни силой, ни быстротой, но зато был одним из самых шумливых, добродушных и глупых щенков, какие когда-либо грызли сапоги своего хозяина. Его хозяином был Билл Обри, старый горец, живший в то время под горой Гарнет, в Йеллоустонском парке. Это очень тихий уголок, далеко в стороне от путей, излюбленных путешественниками. И то место, где Билл разбил свою палатку, можно было бы признать одним из самых уединенных человеческих обиталищ, если бы не мохнатый, вечно неугомонный щенок Чинк.

Чинк никогда не оставался спокойным хотя бы в течение пяти минут. Он охотно исполнял все, что ему велели, кроме одного: сидеть спокойно. Он постоянно пытался проделывать самые нелепые и невозможные штуки, а когда брался за что-нибудь обыкновенное и легкое, неизменно портил все дело какой-нибудь выходкой. Однажды, например, он провел целое утро в напрасных попытках вскарабкаться на высокую прямую сосну, в ветвях которой он увидел белку.

В течение нескольких недель самой заветной мечтой Чинка было поймать суслика.

Суслики во множестве жили вокруг палатки Билла. Эти маленькие животные имеют обыкновение усаживаться на задние лапы, выпрямившись и плотно сложив передние лапки на груди, благодаря чему издали их можно принять за колышки. Вечером, когда нам надо было привязать лошадей, мы нередко направлялись к какому-нибудь суслику, и ошибка выяснялась только после того, как суслик исчезал в норе с задорным писком.

Чинк в первый же день своего прибытия в долину решил непременно поймать суслика. Как это за ним водилось, он сразу же

натворил много разных глупостей. Еще за четверть мили до суслика он припадал к земле и полз на брюхе от кочки до кочки не меньше ста шагов. Но скоро его возбуждение достигало такой степени, что он, не стерпев, вскакивал на ноги, шел напрямик к суслику, который уже сидел возле норы, отлично понимая, что происходит. Через минуту Чинк бросался бежать, и именно тогда, когда ему следовало красться, он забывал всякую осторожность и с лаем бросался на врага. Суслик сидел неподвижно до самого последнего момента, затем, внезапно пискнув, нырял в нору, бросив задними лапками целую горсть песку прямо в открытую пасть Чинка.

День за днем проходил в таких бесплодных попытках. Однако Чинк не унывал, уверенный в том, что настойчивостью он своего добьется. Так оно и случилось.

В один прекрасный день он долго и тщательно подкрадывался к очень большому суслику, проделал все свои нелепые штуки, завершив их яростной атакой, и действительно схватил свою жертву — только на этот раз оказалось, что он охотился за деревянным колышком. Собака отлично понимает, что значит очутиться в дураках. Всякому, кто в этом сомневается, следовало бы посмотреть на Чинка, когда он в тот день смущенно прятался позади палатки, подальше от посторонних глаз.

Но эта неудача ненадолго охладила Чинка, который был от природы наделен не только пылкостью, но и порядочным упрямством. Ничто не могло лишить его бодрости. Он любил всегда двигаться, всегда что-нибудь делать. Каждый проезжающий фургон, каждый всадник, каждый пасущийся теленок подвергались его преследованию, а если ему на глаза попадалась кошка с соседнего сторожевого поста, он считал своим священным долгом перед солдатами, перед ней и перед самим собой гнать ее домой как можно скорее. Он готов был по двадцать раз на день бегать за старой шляпой, которую Билл обыкновенно забрасывал в осиное гнездо, командуя ему: «Принеси!»

Понадобилось много времени, для того чтобы бесчисленные неприятности научили его умерять свой пыл. Но мало-помалу Чинк понял, что у фургонов есть длинные кнуты и большие злые собаки, что у лошадей на ногах есть зубы, что у телят есть матери, чьи головы снабжены крепкими дубинками, что кошка может оказаться скунсом, а осы — вовсе не бабочки. Да, на это понадобилось время, но в конце концов он усвоил все, что следует знать каждой собаке. И постепенно в нем стало развиваться зерно — пока еще маленькое, но живое зернышко собачьего здравого смысла.

II

Все нелепые промахи Чинка были словно воссоединены в нечто единое, и его характер обрел целостность и силу после промаха, увенчавшего их все,— после его стычки с большим койотом. Этот койот жил недалеко от нашего лагеря и, по-видимому, как и прочие дикие обитатели Йеллоустонского парка, прекрасно понимал, что находится под защитой закона, который запрещал здесь стрелять, охотиться и ставить ловушки или как-нибудь иначе вредить животным. К тому же он жил как раз в той части парка, где был расположен сторожевой пост и солдаты зорко следили за соблюдением закона.

Убежденный в своей безнаказанности, койот каждую ночь бродил вокруг лагеря в поисках отбросов. Сначала я находил только его следы, показывавшие, что он несколько раз обходил лагерь, но не решался подойти ближе. Потом он начал распевать свою заунывную песню тотчас после захода солнца или при первых проблесках утра. И, наконец, я начал находить его четкие следы около мусорного ведра, куда каждое утро выходил посмотреть, какие животные побывали там в течение ночи. Осмелев еще больше, он стал иногда подходить к лагерю даже днем, сначала робко, затем с возрастающей самоуверенностью; наконец, он не только посещал нас каждую ночь, но и целыми днями держался поблизости от лагеря и то пробирался к палаткам, чтобы украсть что-нибудь съедобное, то восседал на виду у всех на соседнем пригорке.

Однажды утром, когда он таким образом сидел шагах в пятидесяти от лагеря, один из нашей компании в шутку сказал Чинку: «Чинк, ты видишь этого койота, который смеется над тобой? Пойди прогони его!»

Чинк всегда исполнял то, что ему говорили. Желая отличиться, он бросился в погоню за койотом, который пустился наутек.

Это было великолепное состязание в беге на протяжении четверти мили, но оно и в сравнение не шло с тем, которое началось, когда койот повернул и бросился на своего преследователя. Чинк сразу сообразил, что ему несдобровать, и во всю прыть пустился к лагерю. Но койот бегал быстрее и скоро настиг щенка. Куснув его в один бок, потом в другой, он всем своим видом выразил полное удовольствие.

Чинк с визгом и воем мчался что было мочи, а его мучитель преследовал его без передышки до самого лагеря. Стыдно сказать, но мы смеялись над бедным псом заодно с койотом, и Чинк так и не дождался сочувствия. Еще одного такого опыта, только в меньших размерах, оказалось вполне достаточно для Чинка: с тех пор он решил оставить койота в покое.

Но зато сам койот нашел себе приятное развлечение. Теперь он каждый день слонялся около лагеря, великолепно зная, что

никто не осмелится в него стрелять. К тому же замки всех наших ружей были опечатаны правительственным агентом, а кругом всюду была охрана.

Койот следил за Чинком и выискивал возможность его помучить. Щенок знал теперь, что стоит ему отойти на сто шагов от лагеря, койот окажется тут как тут и начнет кусать и гнать его назад до самой палатки хозяина.

Это продолжалось изо дня в день, и наконец жизнь Чинка превратилась в сплошное мучение. Он больше уже не смел отходить один на пятьдесят шагов от палатки. И даже когда он сопровождал нас во время наших поездок по окрестностям, этот нахальный и злобный койот следовал за нами по пятам, выжидая случая поиздеваться над бедным Чинком, и портил ему все удовольствие прогулки.

Билл Обри перенес свою палатку на милю от нас выше по течению реки, и койот почти перестал посещать наш лагерь, так как переселился на такое же расстояние вверх по течению. Как всякий хулиган, не встречающий противодействия, он становился день ото дня нахальнее, и Чинк постоянно испытывал величайший страх, над которым его хозяин только подсмеивался.

Свой переезд Обри объяснил необходимостью отыскать лучшее пастбище для лошади, но вскоре выяснилось, что он просто искал одиночества, чтобы без помехи распить бутылку водки, которую где-то раздобыл. А так как одна бутылка не могла его удовлетворить, то на другой же день он оседлал коня и, сказав: «Чинк, охраняй палатку!», ускакал через горы к ближайшему кабаку. И Чинк послушно остался, свернувшись клубочком у входа в палатку.

III

При всей своей щенячьей глупости Чинк был сторожевым псом, и его хозяин знал, что он будет исправно исполнять свои обязанности по мере сил.

Во второй половине этого дня один проезжавший мимо горец остановился, по обычаю, на некотором расстоянии от палатки и крикнул:

— Послушай, Билл! Эй, Билл!

Но, не получив ответа, он направился к палатке и был встречен Чинком самым подобающим образом: шерсть его ощетинилась, он рычал, как взрослая собака. Горец понял, в чем дело, и отправился своей дорогой.

Настал вечер, хозяин все еще не возвращался, а Чинка начал мучить сильный голод. В палатке лежал мешок, а в мешке было немного копченой грудинки. Но хозяин приказал Чинку стеречь

его имущество, и Чинк скорее издох бы с голоду, чем притронулся к мешку.

Терзаемый голодом, он осмелился наконец покинуть свой пост и стал бродить невдалеке от палатки в надежде поймать мышь или найти что-нибудь съедобное. Но тут на него внезапно напал его мучитель койот и заставил бежать обратно к палатке.

Но там в Чинке произошла перемена. Он помнил о своем долге, и это придало ему силы, подобно тому как крик котенка превращает робкую кошку-мать в яростную тигрицу. Он был еще только щенком, глуповатым и нелепым, но в нем жил твердый характер, который должен был развиться с годами. Когда койот попытался последовать за ним в палатку — палатку его хозяина,— Чинк забыл свои страхи и набросился на врага, грозный, словно маленький демон.

Всякий зверь знает, когда он прав, а когда неправ. Моральное преимущество было на стороне испуганного щенка, и койот попятился, злобно рыча и обещая разорвать щенка на куски, но все-таки не осмелился войти в палатку.

И началась настоящая осада. Койот возвращался каждую минуту. Расхаживая вокруг, он скреб землю задними лапами в знак презрения и вдруг опять направлялся прямо ко входу в палатку, а бедный Чинк, полумертвый от страха, мужественно защищал имущество, вверенное его охране.

Все это время Чинк ничего не ел. Раза два в течение дня ему удалось выбежать к протекавшему рядом ручью и напиться, но он не мог так же быстро раздобыть себе пищу. Он мог бы прогрызть мешок, лежавший в палатке, и поесть грудинки, но он не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Он мог бы, наконец, улучить минуту и, оставив свой пост, сбегать в наш лагерь, где, конечно, его бы хорошо накормили. Но нет, беда превратила его в настоящего сторожевого пса, и он должен был оправдать доверие хозяина во что бы то ни стало, был готов, если нужно, умереть на своем посту, в то время как его хозяин пьянствовал где-то за горой.

Четыре мучительных дня и четыре ночи провел этот маленький героический пес, почти не сходя с места и стойко охраняя палатку и хозяйское добро от койота, которого смертельно боялся.

На пятый день утром старый Обри протрезвился и вспомнил, что он не у себя дома, а его лагерь в горах оставлен им на попечение щенка. Он уже устал от беспробудного пьянства и поэтому сразу оседлал коня и направился в обратный путь. На полдороге в его затуманенной голове мелькнула мысль, что он оставил Чинка без всякой еды.

«Уж наверное от грудинки ничего не осталось»,— подумал он и погнал лошадь быстрее. Он доехал до гребня горы и увидел

палатку, а у входа, ощетинившись и рыча друг на друга, стояли большой злобный койот и бедный маленький Чинк.

— Ах, чтоб меня! — воскликнул Обри смущенно.— Я же совсем забыл про этого проклятого койота. Бедняге Чинку пришлось туго, и как это койот еще не разорвал его на куски, да и палатку в придачу.

Да, мужественный Чинк, быть может, в последний раз выдерживал натиск врага. Его ноги дрожали от страха и голода, но он все еще принимал самый воинственный вид и, без сомнения, готов был умереть, защищая свой пост.

Биллу Обри с первого взгляда все стало ясно, а когда он подскакал к палатке и увидел нетронутый мешок с грудинкой, то понял, что Чинк ничего не ел с самого дня его отъезда. Щенок, дрожа от страха и усталости, подполз к нему, заглянул ему в лицо и стал лизать руку, как бы желая сказать: «Я сделал то, что ты мне велел, хозяин». Старик Обри не выдержал: в его глазах стояли слезы, когда он торопливо доставал еду маленькому герою.

Затем он повернулся к нему и сказал:

— Чинк, старый друг, я тебя подвел, а ты меня никогда не подводил, и уж если я отправлюсь погулять, то обязательно возьму тебя с собой. Не знаю, чем тебя порадовать, друг, раз ты не пьешь водки. Вот разве я избавлю тебя от твоего самого большого врага!

Он снял с шеста посреди палатки свою гордость — дорогой магазинный карабин. Не думая о последствиях, он сломал казенную печать и вышел за дверь.

Койот, по обыкновению, сидел невдалеке, скаля зубы в ехидной усмешке. Но прогремел выстрел, и страхи Чинка кончились.

Подоспевшие сторожа обнаружили, что нарушен закон об охране парка, что старый Обри застрелил одного из его диких обитателей. Его карабин был отнят и уничтожен, и он вместе со своим четвероногим другом был позорно изгнан из парка и лишен права вернуться под угрозой тюремного заключения.

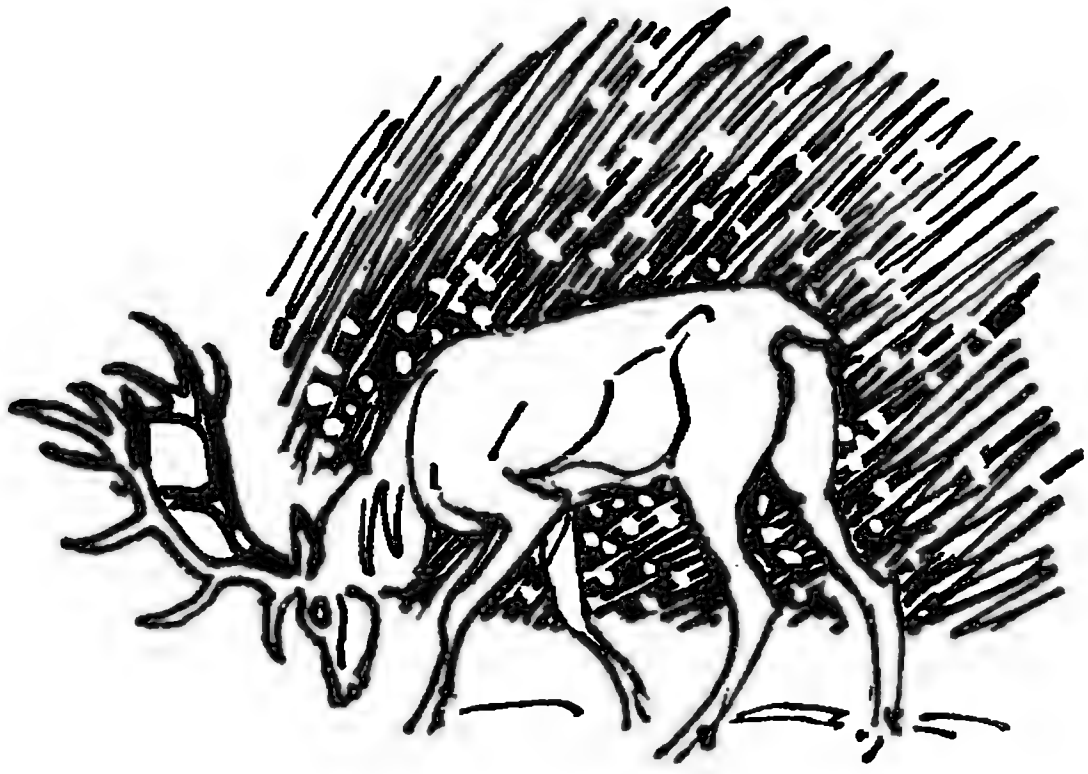
Но Билл Обри ни о чем не жалел.

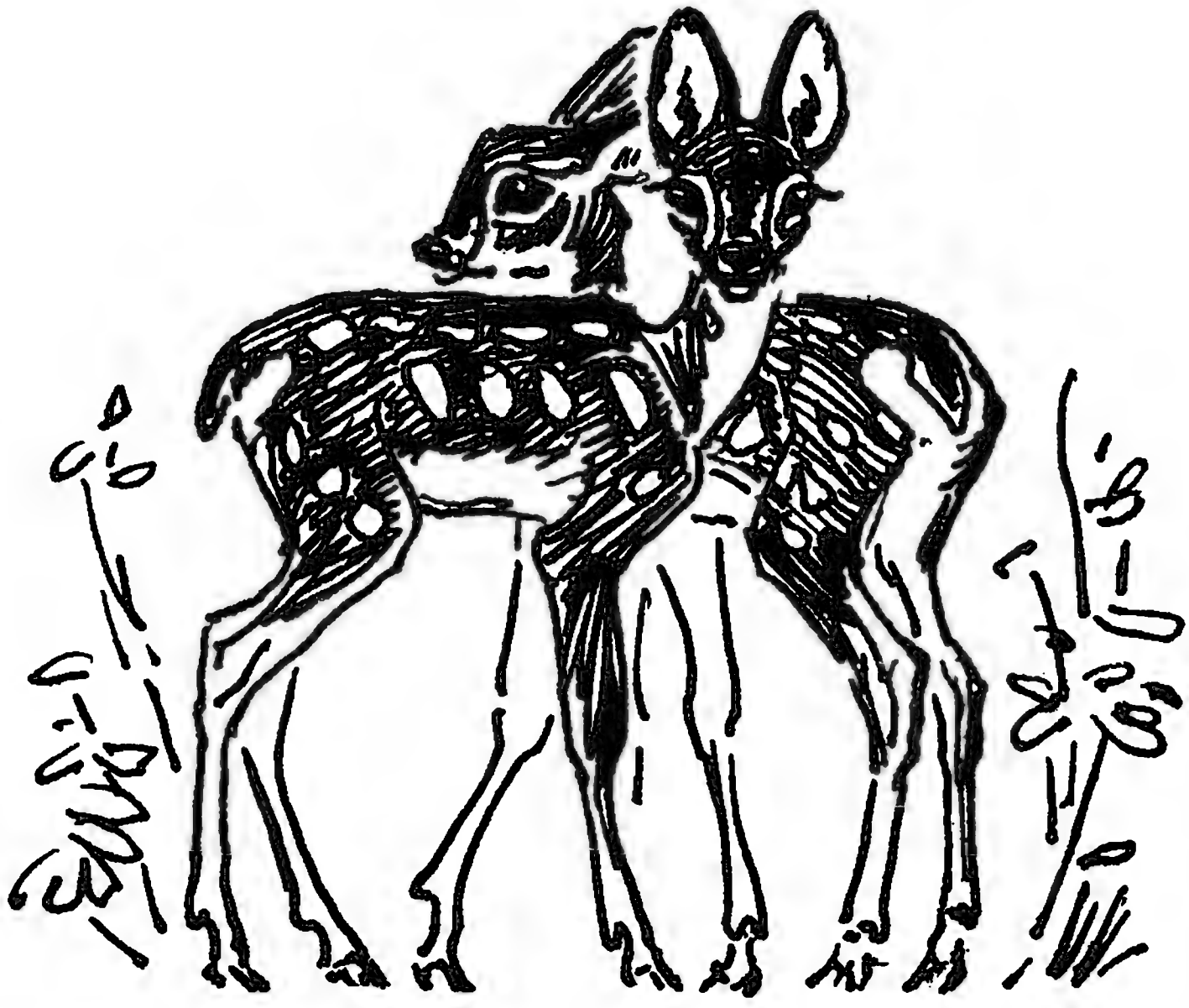
— Ладно! — сказал он.— Должен же я был помочь своему товарищу, который никогда меня не подводил.

Ф. ЗАЛЬТЕН

Бемби

Лесная сказка





Он появился на свет в дремучей чащобе, в одном из тех укромных лесных тайников, о которых ведают лишь исконные обитатели леса.

Его большие мутные глаза еще не видели, его большие мягкие уши еще не слышали, но он уже мог стоять чуть пошатываясь на своих тонких ножках, и частая дрожь морщила его блестящую шкурку.

— Что за прелестный малыш! — воскликнула сорока. Она летела по своим делам, но сейчас разом обо всем забыла и уселась на ближайший сучок.— Что за прелестный малыш! — повторила она.

Ей никто не ответил, но сорока ничуть не смутилась.

— Это поразительно! — тараторила сорока.— Такой малютка — и уже может стоять и даже ходить! В жизни не видала ничего подобного. Правда, я еще очень молода, что́ вам, наверно, известно,— всего год, как из гнезда... Но нет, это поистине изумительно и необыкновенно! Впрочем, я считаю, что у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно. Скажите, а бегать он тоже может?

— Конечно,— тихо ответила мать.— Но извините меня, пожалуйста, я не в состоянии поддерживать беседу. У меня столько дел... к тому же я чувствую себя немного слабой.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— поспешно сказала сорока.— У меня самой нет ни минутки времени. Но я так поражена!.. Подумать только, как сложно проходят все эти вещи у нас, сорок! Дети вылупляются из яиц такими беспомощными! Они ничего, ну ничего не могут сделать для себя сами. Вы не представляете, какой за ними нужен уход! И они все время хотят есть. Ах, это так трудно — добывать пропитание и следить, чтоб с ними чего не приключилось! Голова идет кру́гом. Разве я не права? Ну согласитесь со мной. Просто не хватает терпения ждать, пока они оперятся и приобретут мало-мальски приличный вид!

— Простите,— сказала мать,— но я не слушала.

Сорока улетела. «Глупое создание! — думала сорока.— Удивительное, необыкновенное, но глупое».

Мать не обратила никакого внимания на исчезновение сороки. Она принялась мыть новорожденного. Она мыла его языком, бережно и старательно, волосок за волоском, вылизывая шкурку сына. И в этой нежной работе было все: и ванна, и согревающий массаж, и ласка.

Малыш немного пошатывался. От прикосновений теплого материнского языка им овладела сладкая истома, он опустился на землю и замер. Его красная влажная, растрепанная шубка была усеяна белыми крапинками, не определившееся, детское лицо хранило тихое, сонное выражение.

Лес густо порос орешником, боярышником и бузиною. Рослые клены, дубы и буки зеленым шатром накрывали чащу; у подножий деревьев росли пышные папоротники и лесные ягоды, а совсем внизу ластились к смуглой, бурой земле листочки уже отцветших фиалок и еще не зацветшей земляники.

Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес звенел на тысячи голосов, он был весь пронизан их веселым волнением. Без устали ворковали голуби, свистели дрозды, сухонько пощелкивали синицы и звонко бил зяблик. В эту радостную музыку врывались резкий, злой вскрик сыча и металлическое гуканье фазанов. Порой всю многоголосицу заглушало звенящее, взахлеб, ликование дятла.

А в выси, над кронами деревьев, неумолчно металлическими, гортанными голосами ссорились вороны и, прорезая их хриплое, назойливое бормотание, долетали светлые, гордые ноты соколиного призыва.

Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, он не понимал ни одного слова в напряженном и бурном лесном разговоре.

Не воспринимал он и запахов, которыми дышал лес. Он чувствовал лишь нежные, легкие толчки, проникавшие сквозь его шубку в то время, как его мыли, обогревали и целовали. Он вдыхал лишь близкое тепло матери. Тесно прижался он к этому мягкому, ароматному теплу и в неумелом голодном поиске отыскал добрый источник жизни.

И пока сын пил из нее благостную влагу, мать тихо шептала: «Бемби». Она вскидывала голову, прядала ушами и чутко втягивала ноздрями воздух. Затем, успокоенная и счастливая, целовала своего ребенка.

— Бемби,— говорила она,— мой маленький Бемби!

Ранней летней порой воздух тих, деревья стоят недвижно, простирая руки-ветви к голубому небу, и молодое солнце изливает на них свою щедрую силу.

Белые, красные, желтые звездочки усеяли живую изгородь кустарника. А другие звездочки зажглись в траве. Сумеречная лесная глубь сверкает, пылает всеми красками цветения.

Лес крепко и остро благоухает свежей листвой, цветами, влажной землей, юными нежно-зелеными побегами. Все звонче и богаче его многоголосье; погуд пчел, жужжание ос, низкий звук шмелиной трубы влились в лесной оркестр. Первая пора детства Бемби...

Бемби шел за матерью по узкой тропе, пролегавшей между кустами. Это было приятное путешествие. Густая листва, уступая дорогу, мягко колотила его по бокам. Ему то и дело мерещились неодолимые преграды, но преграды рушились от одного его прикосновения, и он спокойно шел дальше. Тропинок было не счесть, они во всех направлениях исчертили лес. И все они были знакомы его матери. Когда Бемби остановился перед непроницаемой зеленой стеной жимолости, мать мгновенно отыскала лаз.

Бемби так и сыпал вопросами. Он очень любил спрашивать. Для него не было большего удовольствия, чем задавать вопросы и выслушивать ответы матери. Бемби казалось вполне естественным, что вопросы возникают у него на каждом шагу. Он восхищался собственной любознательностью. Но особенно восхитительным было то нетерпеливое чувство, с каким он ожидал ответа матери. Пусть он порой и не все понимал, но тогда он мог спрашивать дальше, и это тоже было прекрасно. Иногда Бемби нарочно не спрашивал дальше, пытаясь своими силами разгадать непонятное, и это тоже было прекрасно. Подчас он испытывал чувство, будто мать нарочно чего-то недоговаривает. И это тоже было прекрасно, потому что наполняло его ощущением таинственности и неизведанности жизни, что-то сладко замирало в

нем, пронзая все его маленькое существо счастливым страхом перед величием и неохватностью подаренного ему мира.

Вот сейчас он спросил:

— Кому принадлежит эта тропа, мама?

А мать ответила:

— Нам.

Бемби спросил:

— Тебе и мне?

— Да.

— Нам обоим?

— Да.

— Нам одним?

— Нет,— ответила мать.— Нам, оленям.

— Что это такое — олени? — спросил Бемби, смеясь.

Мать посмотрела на сына и тоже рассмеялась:

— Ты — олень, я — олень, мы — олени. Понимаешь?

От смеха Бемби подпрыгнул высоко в воздух.

— Понимаю. Я — маленький олень, ты — большой олень. Правильно?

Мать кивнула.

— А есть еще олени, кроме тебя и меня? — став серьезным, спросил Бемби.

— Конечно,— ответила мать.— Много-много оленей.

— Где же они? — воскликнул Бемби.

— Здесь... всюду.

— Но я их не вижу!

— Ты их увидишь.

— Когда? — Охваченный любопытством, Бемби остановился.

— Скоро,— спокойно сказала мать и пошла дальше.

Бемби последовал за ней. Он молчал, раздумывая над тем, что значит «скоро». Ясно, что «скоро» — это не «сейчас», это «потом». Но ведь «потом» может быть и «не скоро».

Вдруг он спросил:

— А кто проложил эту тропу?

— Мы,— ответила мать.

Бемби посмотрел удивленно:

— Мы? Ты и я?

Мать ответила:

— Ну, мы — олени.

Бемби спросил:

— Какие?

— Мы все,— ответила мать.

И они пошли дальше.

Бемби развеселился. Он храбро прыгал в сторону от дороги, но тут же возвращался к матери.

Вдруг что-то зашуршало в траве. Закачались папоротники,

тонкий, как ниточка, голосочек жалко пропищал, затем все смолкло, лишь тихо шептались стебельки и травы, растревоженные чьим-то незримым бегом.

Это хорек охотился за мышью. Вот он прошмыгнул мимо них, осмотрелся и принялся уничтожать добычу...

— Что это было? — возбужденно спросил Бемби.

— Ничего,— сказала мать.

— Но...— Бемби дрожал.— Я же видел...

— Не бойся,— сказала мать.— Это всего-навсего хорек убил мышь.— И она повторила: — Не бойся.

Но Бемби был ужасно испуган, незнакомое щемящее, жалкое чувство проникло к нему в сердце.

Долго не мог он вымолвить слова, потом спросил:

— Зачем он убил мышь?

— Зачем?..— Мать колебалась.— Пойдем скорей! — проговорила она, будто ей что-то внезапно пришло на ум.

Она быстро устремилась вперед, и Бемби пришлось потрудиться, чтоб не отстать от матери. Он скакал изо всех силенок, а мать молчала, она как будто забыла о его вопросе.

Когда же они снова пошли обычным шагом, Бемби спросил подавленно:

— А мы тоже когда-нибудь убьем мышь?

— Нет,— ответила мать.

— Никогда?

— Никогда.

— А почему так? — с облегчением спросил Бемби.

— Потому что мы никогда никого не убиваем,— просто сказала мать.

Они проходили мимо молодого ясеня, когда сверху послышался громкий, злой крик. Мать спокойно продолжала путь, но Бемби, полный чового любопытства, остановился. Высоко в ветвях над лохматым гнездом ссорились два ястреба.

— Убирайся отсюда, негодяй! — кричал один.

— Не очень-то задавайся, болван! — отвечал другой.— Мы и не таких видывали!

— Вон из моего гнезда! — бесновался первый.— Разбойник! Я размозжу тебе голову! Такая подлость! Такая низость!

Другой, заметив стоящего под деревом Бемби, слетел на нижнюю ветку и гаркнул:

— А тебе чего надо, морда? Пошел вон!

Бемби скакнул прочь, нагнал мать и пошел за ней следом, притихший и напуганный. Мать не подавала виду, что заметила его короткое отсутствие, и через некоторое время Бемби заговорил сам:

— Мама, что такое подлость?

Мать сказала:

— Я не знаю.

Бемби немного подумал, затем начал снова:

— Мама, а почему те двое так злились друг на друга?

Мать ответила:

— Они повздорили из-за еды.

Бемби спросил:

— А мы, олени, тоже ссоримся из-за еды?

— Нет,— сказала мать.

— Почему нет?

— Потому что тут достаточно еды для всех нас.

Но Бемби хотелось еще кое-что узнать.

— Мама...

— Что тебе?

— А мы, олени, злимся когда-нибудь друг на друга?

— Нет, маленький, у нас, оленей, этого не бывает.

Они шли дальше. В какой-то миг перед ними разверзлась широкая светлая, слепяще-светлая щель. Там кончалась живая изгородь кустарника, обрывалась тропа. Еще несколько шагов — и перед ними во все стороны распахнулся залитый солнцем простор. Бемби хотел прыгнуть вперед, но мать стояла недвижно.

— Что это такое? — воскликнул он нетерпеливо, очарованный новой прелестью мира.

— Поляна,— ответила мать.

— А что такое поляна?

— Это ты скоро сам увидишь,— строго сказала мать.

Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она к чему-то напряженно прислушивалась и глубоко втягивала ноздрями воздух.

— Все спокойно,— произнесла она наконец.

Бемби прыгнул вперед, но мать преградила ему дорогу:

— Жди, когда я тебя позову.

Бемби послушно остановился.

— Вот так,— одобрила мать.— А теперь слушай меня внимательно.

Бемби чувствовал скрытое волнение в голосе матери. Он напряг все свое внимание.

— Это не так просто — идти на поляну,— сказала мать.— Это трудное и опасное дело. Не спрашивай почему — когда-нибудь ты и сам узнаешь. А сейчас запомни хорошенько, что́ я тебе скажу. Обещаешь?

— Да,— ответил Бемби.

— Так вот. Сперва я пойду одна. Ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, то и ты беги прочь, беги как можно быстрее. Я уж догоню тебя.

Она замолчала, о чем-то думая, затем продолжала глубоким, проникновенным голосом:

— Во всяком случае беги, беги изо всех сил. Беги... если даже что случится со мной... Если увидишь, что я... что я упала... не обращай внимания. Что бы ты ни увидел, что бы ни услышал — прочь отсюда, немедленно прочь... Обещаешь?

— Да,— сказал Бемби тихо.

— А сейчас мы пойдем на поляну, сперва я, потом ты. Тебе там очень понравится. Ты будешь играть, бегать. Только обещай, что при первом же моем зове ты будешь около меня. Обещаешь?

— Да,— сказал Бемби еще тише — ведь мать говорила так серьезно.

— Когда ты услышишь мой зов, не глазей по сторонам, ни о чем не спрашивай, а сразу, как ветер, лети ко мне. Без промедлений, без раздумий. Запомни это. Если я побегу, мчись за мной и не останавливайся, пока мы не очутимся в чаще. Ты не забудешь?

— Нет,— ответил Бемби с тоской.

— А теперь я пойду,— сказала мать и двинулась вперед. Она выступала медленно, высоко поднимая ноги. Бемби не спускал с нее глаз. Любопытство, страх, ожидание чего-то необычайного боролись в его душе. Он видел, как мать сторожко прислушивалась, видел, как напряжено ее тело, и сам напрягся, готовый в любую секунду броситься наутек. Но вот мать вытянула шею, удовлетворенно осмотрелась и крикнула:

— Иди сюда!

Бемби прыгнул вперед. Огромная радость, охватившая его с волшебной силой, прогнала страх. В чащобе он видел лишь зеленый свод листвы, сквозивший кое-где голубыми крапинами неба. А сейчас ему открылась вся неохватная голубизна небесного свода, и он чувствовал себя счастливым, сам не ведая почему. В лесу он почти не знал солнца. Он думал, что солнце — это широкие полосы света, скользящие по стволам деревьев, да редкие блики в листве. А сейчас он стоял в ослепительном сиянии, в благостном царстве тепла и света; чудесная властная сила закрывала ему глаза и открывала сердце.

Бемби был потрясен, опьянен, одурманен. Он подпрыгивал на месте — два, три, четыре, пять, шесть... десять раз. Это делалось помимо его воли, он и не прыгал даже — его подбрасывало в воздух. Его юные члены так напрягались, его грудь дышала так полно и глубоко ароматным, пряным воздухом поляны, что его возносило кверху.

Ведь Бемби был ребенком. Будь он сыном человеческим, он бы громко кричал от счастья. Но он был олененком, а олятам недоступно выражение радости на человеческий лад. Бемби ликовал по-своему.

Мать видела его беспомощные, смешные прыжки и все понимала. Бемби знал лишь узкие оленьи тропы, в короткий век своего

существования он свыкся с теснотой чащобы, он не ведал, что такое простор и как им пользоваться.

Она наклонила голову и стремительно кинулась вперед. Бемби засмеялся, а через секунду и сам припустил за ней следом, да так, что высокие травы громко зашуршали. Это испугало Бемби, он остановился, не зная, как ему поступить. И тут, сопровождаемая тем же странным шелестом, крупными прыжками приблизилась к нему мать, со смехом пригнулась, крикнула:

— А ну, ищи меня! — и вмиг исчезла.

Бемби был озадачен. Что бы это могло означать? Куда девалась мать? Но вот она показалась снова, быстро пронеслась мимо, ткнула его на бегу носом и крикнула:

— А ну, поймай меня!

Бемби бросился за ней. Два, три шага... Но это не шаги, это легкие, парящие скачки́. Его несло над землей, он был охвачен волнующим ощущением полета. Лишь на краткий миг касался он земли и снова уносился в пространство. Рослые травы шелестели у самых его ушей, то мягко и ласково, то шелковисто-упруго охлестывали они его стремящееся вперед тело. Он мчался без цели и направления, кидался из стороны в сторону, а затем опять описывал круги в сладостно-дурманном полете. Мать следила за ним затаив дыхание.

Бемби самозабвенно резвился. Впрочем, это продолжалось не так уж долго. Высоким, грациозным шагом приблизился он к матери и заглянул ей в глаза влажным от счастья взором. Теперь они стали прогуливаться неторопливо, бок о бок.

До сих пор Бемби воспринимал простор, солнце, небо как бы телесно; ему грело спинку, ему легко и свободно дышалось, он испытал радость свободного, ничем не ограниченного движения, но лишь на краткий миг его ослепленному взгляду открылась мерцающая голубизна неба. А сейчас он впервые наслаждался всей полнотой видения. На каждом шагу его восхищенному и жадному взгляду открывались всё новые чудеса поляны.

Здесь совсем не было потайных уголков, как в глубине леса. Каждое местечко просматривалось до последнего стебелька, до самой крошечной травинки, и так манило поваляться, понежиться в этой чудной благоуханной мягкости! Зеленый простор был усеян белыми звездочками маргариток, толстенькими головками фиолетовой и розовой кашки, золотыми свечками львиного зева.

— Смотри, мама! — воскликнул Бемби.— Цветочек полетел!

— Это не цветок,— сказала мать.— Это бабочка.

Бемби изумленно смотрел на мотылька, который то кружился в полете, то присаживался на стебелек, то вновь взмывал ввысь. Теперь Бемби видел, что множество таких же мотыльков кружится над поляной, стремительно и вместе плавно опускаясь на

облюбованный стебелек. Они и в самом деле напоминали летающие цветы, веселые цветы, покинувшие свои докучно неподвижные стебли, чтобы немного потанцевать. А еще они казались цветами, спустившимися с солнца. Чужаки на земле, они без устали ищут пристанища, но все лучшие стебли заняты земными цветами; им ничего не остается, как продолжать свой тщетный поиск...

Бемби хотелось рассмотреть бабочку вблизи или хотя бы проследить полет одной бабочки, но они мелькали так быстро, что кружилась голова.

Когда взгляд его снова обратился к земле, он заметил, что каждый его шаг подымает из травы тысячи крошечных проворных существ. Они прыскали во все стороны мелким зеленым дождиком и, лишь на краткий миг обнаружив свое существование, вновь поглощались зеленым покровом земли.

— Что это такое, мама? — спросил Бемби.

— Так... Всякая мелочь,— ответила мать.

— Нет, ты посмотри! — вскричал Бемби.— Травинка, а прыгает!.. И как высоко прыгает!

— Какая же это травинка? — сказала мать.— Это самый настоящий кузнечик.

— Зачем же он так прыгает? — спросил Бемби.

— Мы вспугнули его.

— О! — Бемби повернулся к кузнечику, усевшемуся на стебель маргаритки.— О! Вы напрасно пугаетесь, мы не сделаем вам ничего плохого,— сказал Бемби вежливо.

— Я не из пугливых,— скрипучим голосом ответил кузнечик.— Я только в первый момент немного испугался. От неожиданности. Я разговаривал с женой...

— Извините, пожалуйста,— сказал Бемби огорченно.— Мы вам помешали...

— Не беда,— проскрипел кузнечик.— Раз это вы — не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку.

— Видите ли,— доверительно начал Бемби,— я первый раз в жизни попал на поляну. Моя мать...

Кузнечик капризно склонил голову, нахмурился и проскрипел:

— Знаете, меня это нисколько не интересует. У меня нет времени выслушивать болтовню. Меня ждет жена. Хоп!..— И он исчез.

— Хоп! — повторил Бемби, ошеломленный изумительным прыжком кузнечика.

Он подбежал к матери:

— Знаешь... я говорил с ним!

— С кем?

— С кузнечиком. Он очень приветливый. И мне он тоже понравился. Он такой зеленый, а потом вдруг стал совсем прозрачным, прозрачней самого тоненького листа.

— Это крылья,— сказала мать.— Он выпустил крылья.

— Да? — Бемби продолжал свой рассказ:— У него такое серьезное, задумчивое лицо. И очень милое. А как он прыгает! Наверно, это ужасно трудно. Сказал «хоп» и сразу пропал.

Они пошли дальше. Беседа с кузнечиком разволновала и немного утомила Бемби — ведь он никогда еще не беседовал с посторонними. Он почувствовал, что должен подкрепить свои силы, и потянулся к матери.

Когда он вновь стоял спокойно в нежном дурмане того легкого опьянения, какое всегда испытывал, насытившись из тела матери, он приметил в плетении травинок светлый, подвижный цветок. Нет, это не цветок, это опять бабочка. Бемби подкрался ближе.

Мотылек лениво повис на стебельке и тихонько двигал крылышками.

— Пожалуйста, посидите вот так! — попросил Бемби.

— Почему я должен сидеть? Я же бабочка! — удивленно отозвался мотылек.

— Ах, посидите хоть одну минуточку! — умолял Бемби.— Мне так хотелось увидеть вас вблизи. Окажите милость!..

— Ну, если вы так просите,— снисходительно сказала белянка.— Только недолго.

— Как вы прекрасны! — восторгался Бемби.— Вы прекрасны, как цветок!

— Что? — Бабочка захлопала крылышками.— Как цветок? В нашем кругу принято считать, что мы красивее цветов.

Бемби смутился.

— Конечно...— пробормотал он.— Куда красивее. Извините, пожалуйста... Я только хотел сказать...

— Мне совершенно безразлично, что вы хотели сказать,— оборвал его мотылек.

Он жеманно изгибал свое хилое тельце, кокетливо двигал усиками.

— Как вы прелестны! — восхищался Бемби.— Что за чудо эти белые крылья!

Мотылек расправил крылышки, затем плотно сложил их парусом.

— О! — воскликнул Бемби.— Теперь я вижу: вы куда красивее любого цветка! К тому же вы еще можете летать, а цветы не могут. Ведь они привязаны к одному месту.

— Хватит,— сказал мотылек.— Я действительно могу летать.

Он так легко вспорхнул, что Бемби не уловил момента взлета.

Мотылек плавно и грациозно взмахивал белыми крылышками и вот уже парил в сиянии солнечного луча.

— Только по вашей просьбе просидел я так долго на одном месте,— сказал он, порхая вокруг Бемби,— но теперь я улетаю.

И все это было поляной...

В глубине леса хоронилось убежище, принадлежавшее матери Бемби. Маленькая хижина, настолько тесная, что Бемби и его матери едва хватало места, настолько низенькая, что, когда мать стояла, голова ее упиралась в ветви, образующие потолок. Всего в нескольких шагах от хижины проходила оленья тропа, и все же хижину было очень трудно, почти невозможно обнаружить. Надо было знать особую примету, скрытую в кустарнике...

Густое плетение орешника, боярышника и бузины лишало хижину даже того скудного света, который проникал в лес сквозь кроны деревьев; ни один лучик солнца не достигал травяного пола хижины. Здесь, в этой хижине, появился на свет Бемби, здесь ему предстояло жить.

Сейчас усталая мать крепко спала. Бемби тоже было задремал, но вдруг проснулся, полный свежих жизненных сил. Он вскочил на ноги и огляделся. Хижина была погружена в тень, и можно было подумать, что уже наступили сумерки. Лес негромко шелестел. По-прежнему слышался слабый писк синицы, порой высокий хохоток дятла или радостный крик вороны. Но все эти отдельные звуки тонули в большой тишине, объявшей полдневный мир. Если же хорошенько прислушаться, то можно было уловить, как в раскаленном зное кипит воздух. Истомная духота наполняла хижину.

Бемби наклонился к матери:

— Ты спишь?

Нет, мать уже не спала. Она проснулась в тот самый миг, когда Бемби вскочил на ноги.

— А что мы сейчас будем делать? — спросил Бемби.

— Ничего,— ответила мать.— Нам нечего делать. Ложись спать.

Но спать Бемби совсем не хотелось.

— Пойде-ом,— завел он.— Пойдем на поляну.

Мать подняла голову:

— На поляну? Сейчас... на поляну?

Страх, звучавший в ее голосе, передался Бемби.

— Разве сейчас нельзя на поляну? — спросил он робко.

— Нет,— резко и твердо прозвучал ответ.— Нет, сейчас это невозможно.

— Почему? — Бемби чувствовал, что за этим скрывается что-то таинственное и грозное. Но вместе со страхом росло в нем

желание знать все, до самого конца.— Почему мы не можем пойти на поляну?

— Ты все узнаешь, когда подрастешь.

— А я хочу сейчас,— не отставал Бемби.

— В свое время ты узнаешь,— повторила мать.— Ты еще маленький, а с детьми не говорят о таких вещах. Сейчас... на поляну!.. Как можно думать об этом?.. Средь бела дня...

— Но ведь мы уже были на поляне,— возразил Бемби.

— Это совсем другое дело,— сказала мать.— Мы были ранним утром.

— Разве только ранним утром можно ходить на поляну?

Бемби был очень любопытен, но терпение не изменяло матери.

— Да, ранним утром, или поздно вечером, или ночью.

— И никогда днем? Никогда?..

Мать колебалась.

— Бывает, что некоторые из нас ходят туда и днем,— сказала она наконец.— Но я не могу тебе всего объяснить, ты слишком мал... Те, кто ходит туда, подвергают себя великой опасности.

— А что значит «великая опасность»?

Бемби был очень упрям, когда его что-либо интересовало.

— Вот теперь ты видишь сам, что тебе этого не понять,— уклонилась мать от ответа.

Бемби казалось, что он мог бы все понять, если б мать захотела ему объяснить как следует. Но он замолчал.

— Мы все любим день,— продолжала мать,— особенно в детстве. И все же днем мы должны затаиваться. Только с вечера до утра можем мы свободно гулять. Понимаешь?

— Да...

— Вот потому-то, дитя мое, мы и должны оставаться дома. Здесь мы в безопасности... А теперь ложись спать.

Но Бемби никак не мог угомониться.

— Почему здесь мы в безопасности? — спросил он.

— Потому что нас охраняют кусты, валежник и старые, прошлогодние листья, потому что в вышине несет свой дозор ласточка. Все они наши друзья, в особенности старые, сухие листья, устилающие землю. Чужой может подкрасться, не потревожив кустарника, не хрустнув сучком валежника, он может обмануть даже зоркий глаз ласточки, но ему не обмануть старую, пожухлую, вялую и чуткую прошлогоднюю листву. Она тут же подаст нам знак сухим и громким шорохом. И мы задолго узнаем о приближении чужака.

— А что такое «прошлогодняя листва»? — осведомился Бемби.

— Поди сядь подле меня,— сказала мать.— Я расскажу тебе.

Бемби послушно уселся рядом с матерью, и та начала свой

рассказ. Оказывается, деревья не всегда зеленеют и солнце не всегда льет с неба свое щедрое тепло. Наступает пора, когда солнечный свет слабеет и холод окутывает землю. Тогда листья теряют свою свежую зеленую окраску, желтеют, краснеют, буреют и медленно опадают. И лишившиеся своего наряда деревья, словно жалкие нищие, простирают к небу голые, черные, обобранные ветви. Опавшая листва устилает землю и громко шуршит при каждом прикосновении. Попробуй-ка подкрасться незамеченным! О, эти добрые сухие листья — усердные и неусыпные стражи! Даже сейчас, среди лета, схоронившись под свежей травой, несут они свою верную службу...

Бемби прижался к матери, он забыл о поляне. Когда мать кончила рассказывать, он глубоко задумался. В нем пробудилась любовь к милым старым листьям, так прилежно творящим свою добрую работу, несмотря на то что они увяли и давно утратили тепло жизни. Но что же такое, в конце концов, «опасность», о которой постоянно твердит мать? Раздумье утомило его. Кругом было тихо, лишь снаружи приглушенно кипел на жаре воздух. И Бемби уснул.

Однажды вечером Бемби вновь пришел с матерью на поляну. Он думал, что знает поляну вдоль и поперек, что он видел там все, что можно увидеть, слышал все, что можно услышать. Но оказалось, мир куда богаче и разнообразнее, нежели он себе представлял.

Вначале все было так же, как и в первый раз. Он долго играл с матерью в веселую игру «догонялку». Он самозабвенно носился по поляне, хмельной от воздуха, простора и небесной голубизны, как вдруг заметил, что мать остановилась. Бемби затормозил так круто, что все его четыре ноги разъехались в разные стороны, и ему пришлось высоко подпрыгнуть, чтобы снова собрать их под собой.

Судя по всему, мать с кем-то разговаривала, но высокие травы скрывали ее собеседника. Бемби подошел ближе. Рядом с матерью в метелках травы шевелились два уха, два больших серо-коричневых, разрисованных черными полосками уха. Бемби никогда не видел таких ушей и немного оробел, но мать сказала:

— Иди сюда. Это наш друг заяц. Подойди, не бойся и дай на себя посмотреть.

Бемби не заставил себя просить дважды. Он шагнул вперед и тут же увидел зайца. Его большие, похожие на ложки уши то вскидывались кверху, то вдруг падали, как будто от внезапного приступа слабости.

Бемби смутили усы зайца, торчащие во все стороны вокруг маленького рта прямыми, длинными стрелами. Но это не помеша-

ло ему заметить, что лицо у зайца симпатичное, с хорошим, открытым выражением и глядит он на мир двумя блестящими круглыми глазами. Нет, в дружелюбии зайца невозможно было усомниться.

— Добрый вечер, молодой человек,— приветствовал его заяц с изысканной любезностью.

Бемби только кивнул: «Добрый вечер». Он и сам не знал, почему он ограничился кивком, очень приветливым, очень учтивым, но все же чуточку снисходительным. Должно быть, это было у него врожденное.

— Что за прелестный юный принц! — сказал заяц.

Он разглядывал Бемби, ставя торчком то одно ухо, то другое, порой вскидывая их одновременно, порой бессильно роняя. Эта манера не понравилась Бемби, в ней было что-то нарочитое.

А заяц все рассматривал Бемби большими круглыми глазами. При этом его нос и рот с великолепными усами беспрестанно двигались, будто он превозмогал желание чихнуть. Бемби рассмеялся. Тотчас засмеялся и заяц, лишь глаза его оставались задумчивыми.

— Поздравляю вас,— сказал он матери,— от всего сердца поздравляю с таким сыном. Да, да, да, это истинный принц... да, да, да, иначе его не назовешь...

Заяц выпрямился и, к немалому удивлению Бемби, уселся на задние ноги. Поставив уши торчмя, он внимательно прислушался, затем опробовал воздух своим подвижным носом и снова чинно опустился на все четыре ноги.

— Мое почтение достойным господам,— сказал заяц.— У меня столько дел сегодня вечером! Покорнейше прошу извинить меня.

Он повернулся и поскакал прочь, тесно прижав уши, достигавшие ему до середины спины.

— До свидания! — крикнул ему вдогонку Бемби.

Мать улыбнулась:

— Славный заяц!.. Такой милый и скромный. Ему тоже нелегко живется на свете.— В ее словах чувствовалась глубокая симпатия.

Пока мать обедала, Бемби пошел немного побродить. Он рассчитывал встретить кого-либо из старых знакомых и завязать новые знакомства. Не то чтобы он в этом особенно нуждался, но ему приятно было самое чувство ожидания. Вдруг до его слуха долетел какой-то шорох и словно бы негромкий топот. Он присмотрелся. Вдалеке, на опушке леса, что-то промелькнуло в траве. Какое-то существо... за ним второе. Бемби быстро оглянулся на мать. Но та, ничуть не тревожась, глубоко погрузила голову в

траву. А неизвестные существа бегали по кругу точь-в-точь как проделывал это сам Бемби. Он был озадачен и невольно подался назад, словно намереваясь пуститься наутек. Мать заметила его волнение и подняла голову.

— Что с тобой? — крикнула она.

Но Бемби лишился дара речи, он мог только пролепетать:

— Там... там...

Мать проследила за его взглядом.

— Ах, вот оно что! Это моя кузина Энна. Ну конечно же, у нее тоже маленький... нет, целых двое.— Мать говорила весело, но вдруг посерьезнела: — Надо же! У Энны двойня... В самом деле двойня.

Бемби глядел во все глаза. На поляне у опушки он обнаружил существо, очень похожее на его мать. Странно, что он его раньше не приметил. А в траве кто-то по-прежнему выписывал круги, но ничего не было видно, кроме двух рыженьких спинок, двух красноватых тоненьких полосок...

— Идем,— сказала мать.— Вот наконец подходящая для тебя компания.

Бемби охотно бы побежал, но мать выступала медленно, при каждом шаге осматриваясь по сторонам, и ему пришлось сдержать шаг. Он был очень недоволен, он просто изнывал от нетерпения и любопытства.

Мать рассуждала вслух:

— Я была уверена, что мы встретим тетю Энну. «Где она пропадает?» — думала я. Конечно, я знала, что у нее тоже ребенок, об этом легко было догадаться. Но двойня!..

Энна наконец-то увидела кузину с племянником. Она подозвала детей и двинулась навстречу родичам.

Нужно было бы как следует приветствовать тетку, но Бемби ничего не замечал, кроме своих будущих товарищей.

— Ну,— сказала тетка, обратившись к Бемби,— вот это Гобо, а это Фалина. Можешь с ними играть.

Три малыша стояли как вкопанные, не в силах отвести глаза друг от дружки. Гобо — рядом с Фалиной, Бемби — напротив них. Стояли и смотрели во все глаза. Не шевелясь.

— Пусть их,— сказала мать.— Они сами разберутся.

— Прелестный ребенок! — сказала тетя Энна.— Крепкий, сильный, стройный!..

— Конечно, нам не на что жаловаться,— сказала польщенная мать.— Но у тебя двое, Энна!..

— Да, это так, это так! — подхватила Энна.— Ты же знаешь, дорогая, детьми я никогда не была обижена.

— Бемби мой первенец...— сказала мать.

— Видишь ли,— начала Энна,— раз на раз не приходится. Возможно, что в дальнейшем...

Дети все еще стояли неподвижно, тараща глаза. Ни один не проронил ни слова. Внезапно Фалина подпрыгнула и кинулась в сторону. Ей надоело такое бессмысленное времяпрепровождение.

Бемби бросился за ней, Гобо последовал его примеру. Они гонялись друг за дружкой, носились взад и вперед, выписывая красивые полукружья. Это было замечательно! Когда же, немного утомленные и запыхавшиеся, они остановились, то уже не было сомнений, что знакомство состоялось. Они принялись болтать. Бемби рассказал о своих беседах с кузнечиком и бабочкой-белянкой.

— А с майским жуком ты разговаривал? — спросила Фалина.

Нет, с майским жуком Бемби не разговаривал. Он даже не был с ним знаком. По правде, Бемби в глаза его не видал.

— Я частенько с ним болтаю,— заметила Фалина чуточку свысока.

— А меня обругал ястреб! — сообщил Бемби.

— Не может быть! — поразился Гобо.— Неужели он тебя обругал? — Гобо вообще легко удивлялся.— А меня ежик уколол в нос,— заметил он, но так, между прочим: Гобо был очень скромен.

— Кто это — ежик? — заинтересовался Бемби. Приятно иметь таких осведомленных друзей.

— Еж — ужасное создание! — воскликнула Фалина.— Весь в иголках и такой злющий!

— Ты думаешь, он злой? — сказал Гобо.— Он же никому не делает ничего плохого.

— А разве он тебя не уколол? — быстро возразила Фалина.

— Ах, я сам приставал к нему с разговорами. Да и уколол-то он меня совсем не больно.

Бемби повернулся к Гобо:

— А почему он не хотел с тобой разговаривать?

— Он ни с кем не желает разговаривать,— вмешалась Фалина.— Когда к нему подходишь, он сворачивается в клубок и весь ощетинивается иголками. Наша мама говорит, что он вообще ни с кем не водится.

— Может быть, он просто боится? — скромно заметил Гобо.

Но Фалина заявила решительно:

— Мама говорит, что от таких надо держаться подальше.

Бемби спросил Гобо тихонько:

— А ты знаешь, что такое... опасность?

Все трое, разом посерьезнев, тесно сблизили головы.

Гобо задумался. Он и сам хотел бы понять, что такое опасность. Он видел, с каким нетерпением ждет его ответа Бемби.

— Опасность,— прошептал он,— опасность... это очень плохо.

— Я сам понимаю, что плохо, но... какая она?..

Все трое дрожали от страха.

Вдруг Фалина вскричала громко и весело:

— Опасность — это когда надо удирать! — и резво скакнула в сторону.

Ей надоело стоять и бояться невесть чего. Гобо и Бемби прыгнули за ней. И снова началось...

Они прятались, зарываясь в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились и совсем забыли о том большом и грозном, что волновало их несколько минут назад. Наигравшись всласть, они снова стали болтать.

Их матери тоже не теряли времени даром: они пощипывали траву и вели дружескую беседу.

Но вот тетя Энна подняла голову и крикнула:

— Гобо, Фалина! Собирайтесь домой!..

Мать Бемби тоже позвала сына:

— Идем!.. Нам пора!..

— Еще немножечко! — бурно запротестовала Фалина.— Ну еще чуточку!

Бемби умолял мать:

— Побудем еще! Пожалуйста! Здесь так хорошо!

И Гобо повторял застенчиво:

— Так хорошо... еще чуточку!..

И тут случилось нечто, что было куда значительнее и важнее всего, что пережил Бемби в этот день. Из леса донесся грохочущий топот, от которого дрогнула земля. Затрещали сучья, зашумели ветви, и, прежде чем можно было навострить уши, это грозно грохочущее вынеслось из чащи, оставив там по себе треск, гул, свист. Словно ураган, промчались Двое по поляне звонкогремящим галопом и скрылись в чаще; но не прошло и минуты, как они вновь появились на том же месте, что и в первый раз, и замерли на фоне опушки, будто окаменели, шагах в двадцати друг от друга.

Бемби смотрел на них как зачарованный. Они были очень похожи на мать и тетю Энну, но голову каждого из них венчала ветвистая корона в коричневых бусинах и белых зубцах. Бемби безмолвно переводил взгляд с одного на другого. Один — поменьше ростом и корона его скромнее, другой величественно прекрасен. Он высоко и гордо нес голову, и бесконечно высоко возносились его рога. Переливчатый тон их колебался от совсем темного до белесого; они были усеяны множеством бусин и широко простирали свои сияюще-белые отростки.

— О! — воскликнула Фалина восхищенно.

— О! — тихонько повторил Гобо.

Бемби молчал.

Но вот те Двое зашевелились, повернули в разные стороны

и медленно направились к лесу. Величественный олень прошел совсем близко от детей. В покойной красоте прошествовал он, гордо неся царственную голову и никого не удостоив взглядом. Дети боялись дышать, пока он не скрылся в чаще. Они отважились обменяться взглядом лишь в тот момент, когда лес задернул свой зеленый полог за великолепным незнакомцем.

Фалина первая прервала молчание.

— Кто это был? — воскликнула она, и ее маленький дерзкий голосок дрожал.

Гобо повторил чуть слышно:

— Кто это был?

Бемби молчал.

Тетя Энна ответила торжественно:

— Это были отцы.

Больше ничего не было сказано, и родичи расстались. Тетя Энна с детьми сразу скрылась в ближнем кустарнике — там пролегал их путь. Бемби и его матери пришлось пересечь всю поляну, чтобы попасть к старому дубу, откуда начиналась их тропа. Бемби молчал очень долго. Наконец он спросил:

— Они нас видели?

— Да, они видят всё,— ответила мать.

Странное чувство владело Бемби: он и боялся спрашивать, и не мог молчать.

— Почему они...— начал он и осекся.

Мать пришла к нему на помощь:

— Что ты хотел сказать, маленький?

— Почему они не остались с нами?

— Да, они не остались с нами,— ответила мать,— но настанет время...

— Почему они с нами не говорили? — перебил ее Бемби.

Мать ответила:

— Сейчас они с нами не говорят... но настанет время... Нужно терпеливо ждать, когда они придут, и нужно ждать, когда они заговорят. Все будет так, как они захотят.

— А мой отец будет со мной разговаривать? — замирая, спросил Бемби.

— Конечно, дитя мое. Когда ты подрастешь, он будет с тобой разговаривать. И порой тебе будет дозволено находиться при нем.

Бемби молча шел рядом с матерью, все его существо было потрясено встречей с отцом. «Как он прекрасен! — шептал он про себя.— Как дивно прекрасен!» И все думал о величественном олене.

Мать как будто угадала мысли сына:

— Если ты сохранишь жизнь, дитя мое, если ты будешь благоразумен и сумеешь избежать опасности, ты будешь когда-

нибудь так же силен и статен, как отец, и будешь носить такую же корону.

Бемби глубоко дышал. Его сердце заходилось радостью, тревогой, надеждой...

Время шло, и каждый день приносил новые открытия, новые переживания. Подчас у Бемби голова шла кру́гом — столько ему нужно было познать, охватить.

Он научился вслушиваться. Не просто слышать то, что происходит вблизи и, можно сказать, само лезет в уши — в этом нет ничего мудреного,— теперь он умел вслушиваться в те далекие, едва уловимые, легчайшие звуки, что приносит ветер. Ему стал ведом каждый лесной шорох. Он знал, к примеру, что где-то поодаль пробежал сквозь кустарник фазан; он сразу угадывал его особый, лишь ему одному присущий шаг. Он узнавал по слуху летучих мышей, распарывающих ночное небо своим коротким, стремительным полетом. Узнавал мягкий топоток кротов, бегающих взапуски вокруг бузины. Он знал отважный, светлый призыв сокола и улавливал в нем сердитые нотки, когда орел или ястреб вторгались в его владения. Он знал воркованье лесных голубей, далекое, влекущее кряканье уток и многое, многое другое...

Постепенно овладевал он и чутьем. Он научился втягивать ноздрями воздух, то глубоко, то маленькими порциями, будто смакуя каждую понюшку. Когда ветер прилетал с лужайки, он говорил себе: это клевер, это чайная ромашка, а где-то поблизости находится наш друг заяц. Он различал среди ароматов земли, листвы и пахучей смолы едкий запах прошмыгнувшего неподалеку хорька, узнавал, хорошенько принюхавшись к земле, что лиса вышла на охоту, или решал: приближаются наши родичи — тетя Энна с детьми.

Он сдружился с ночью, и его уже не соблазняли прогулки среди бела дня. Он охотно лежал днем в тесной, сумеречной хижине и дремал у теплого бока матери. Время от времени он просыпался, вслушивался и принюхивался, желая знать, что происходит вокруг. Все спокойно. Только маленькие синицы болтают между собой да погуживают не умеющие молчать комары, и голуби не прекращают своей нежной воркотни. Что ему до всего этого? И он снова засыпал.

Ночь нравилась ему куда больше. Все бодрствует, живет, движется. Конечно, и ночью не следует забывать об осторожности, но это не идет ни в какое сравнение с днем. Можно свободно прогуливаться, встречая знакомых, которые тоже чувствуют себя куда беззаботнее, нежели днем. Ночь в лесу праздничная и тиха. Правда, и в ночи звучат порой громкие голоса, но это особое дело.

Бемби уважал сову. Ее степенный полет был легок и беззвучен, как полет бабочки. У нее такое выразительное, осмысленное лицо и прекрасные глаза. Бемби удивлялся их твердому, спокойному и смелому взгляду. Он с удовольствием слушал ее разговор с матерью или с другими обитателями леса. Он стоял в сторонке, немного робея под твердо-повелительным взглядом совы, и не слишком разбирался в тех умных вещах, о которых шел разговор. Он только чувствовал, что вещи эти очень умны и значительны, и преисполнялся еще большим почтением к сове.

Вдруг сова затягивала песню. «Гха-а-а! Гха-а-а! Гха-а-х!» — пела она. Это звучало совсем иначе, чем песня дрозда или иволги, иначе, чем дружелюбный переклик кукушек, но Бемби любил песню совы, чувствуя в ней влекущую таинственность, несказанную мудрость и загадочную грусть.

Еще имелся здесь сыч, небольшой занятный паренек. Хитрый, любопытный и очень тщеславный.

«У-ик! У-ик!» — кричит он пронзительным, надсадным, полным ужаса голосом. И кажется, будто он находится в смертельной опасности. Но это обман. Он приходит в отменное расположение духа, радуется, как дитя, если ему удается кого-нибудь испугать. «У-ик!» — кричит он так громко, что эхо еще с полчаса разносится по лесу. Сам же он в это время издает про себя смешливое воркованье, которое можно услышать, лишь находясь совсем близко от него.

Бемби вскоре догадался, что сыча радует, когда окружающие пугаются или же думают, что с ним самим стряслась беда. С тех пор Бемби не пропускал случая при встрече с сычом спросить с наигранным беспокойством:

— С вами ничего не случилось?

Или же, притворно трясясь от страха, сказать:

— Ах, как вы меня испугали!

Сыч приходил в восторг.

— Да, да,— посмеивался он,— мой голос звучит ужасно, невыносимо!

И он раздувал перья, отчего становился похожим на мягкий коричневый шарик, что очень шло ему.

Несколько раз бывали грозы. Первый раз это произошло днем, и, по мере того как тьма окутывала их маленькую хижину, страх все сильнее охватывал Бемби. Казалось, будто ночь внезапно спустилась с неба в самый разгар дня. Когда же мощный порыв ветра, рыча, продул лес, сверкнула молния и грохнул раскат грома, Бемби чуть не лишился чувств: ему представилось, что мир вот-вот расколется на куски.

Другой раз гроза застала их в пути. Бемби бежал позади матери. Каждый удар грома словно сдувал его с дороги в кусты, каждый высверк молнии возвращал назад. Бемби потерял над

собой всякую власть. Лес казался вымершим, его обитатели попрятались кто куда. Да и как было не прятаться, когда с каждого сучка, с каждой ветки бежал свой водопадик, когда деревья, кусты и травы были пропитаны водой и каждая вспышка молнии отражалась в тысячах капель и струй, будто лес на миг воспламенялся!

Но все имеет конец. Молнии пригасли, их огненные лучи не проникали больше сквозь кроны деревьев. Гром укатил вдаль. Некоторое время еще слышалось его неясное бормотание, затем и оно смолкло. Дождь проредился. Его равномерный шум звучал еще около часа. Сквозь него, сквозь мокрую листву засверкало солнце. Казалось, лес глубоко дышит, подставляя себя свежим, чистым, золотистым струям. И уж никто больше не прятался. Страх исчез, его вымыл вон солнечный дождь.

Никогда еще их приход на поляну не был так ко времени, как в этот вечер после грозы. Впрочем, до вечера еще было далеко. Солнце высоко стояло в небе, воздух был живительно свеж и благоухал пряно и остро. Лес звенел на тысячи голосов, его обитатели повылазили из своих укрытий, хижинок и тайников и спешили поделиться только что пережитым.

Чтоб попасть на поляну, Бемби и его матери нужно было обойти огромный старый дуб, переступивший своими толстыми, узловатыми корнями их тропу. На суке сидела белочка. Она приветствовала мать и сына, как добрых знакомых.

Когда-то, при первой встрече, Бемби принял белочку из-за ее красненькой шкурки за очень маленького олененка. Но тогда он был еще совсем глупым и многого не понимал. Белочка ему очень понравилась. Общительная, приветливая, она отличалась прекрасными манерами, умела замечательно бегать, прыгать и кувыркаться в ветвях дуба. Беседуя, она без устали носилась вверх и вниз по гладкому стволу, словно это было сущим пустяком. А то усаживалась столбиком на качающейся ветке, опершись на свой пушистый хвост и выставив белую грудку, изящно помахивала лапками, склоняла головку с боку на бок и вмиг наговаривала множество интересных и шутливых вещей...

Вот и сейчас она молниеносно спустилась вниз такими невероятными прыжками, что можно было подумать, будто она кувыркается через голову. Размахивая пушистым хвостом, она кричала:

— Добрый вечер! Добрый вечер! Как мило, что вы пришли!

Мать и Бемби остановились. Белочка скользнула еще ниже по гладкому стволу.

— Ну,— принялась она болтать,— как вы перенесли грозу? Конечно, я вижу, что у вас все в порядке. В конце концов, это самое главное.— Она припустила по стволу вверх, приговаривая: — Нет, внизу слишком сыро. Подождите секунду, сейчас

я найду себе местечко получше. Я вас не задерживаю?.. Благодарю вас! Можно прекрасно разговаривать и отсюда.

Бегая взад и вперед по ветке, она продолжала:

— Ну и беспорядок же творится! Шум, треск, скандал! Вы представить себе не можете, как я была испугана. Я забилась в уголок и сидела тихо-тихо, я боялась пошевельнуться. «Ох, только бы пронесло!» — думала я. Правда, мое дерево — лучшая защита в мире, это я могу твердо сказать. Я-то ведь облазила все кругом, другого такого дерева не сыскать. И все-таки волнуешься ужасно!..

Белочка уселась на свой великолепный хвост, показав белую грудку. Она прижимала к сердцу передние лапки, и нетрудно было представить, как сильно она переволновалась.

— Мы идем на лужайку обсушиваться,— сказала мать.

— О, это прекрасная мысль! — воскликнула белочка.— Вы так умны! Недаром я всегда утверждаю, что вы необыкновенно умны! — Одним прыжком она вскочила на верхнюю ветку.— Право, вы не можете придумать ничего лучшего, чем пойти сейчас на поляну.— Легким скачком она достигла вершины дуба.— Я тоже хочу наверх, к солнцу. Я насквозь промокла. Я хочу на самый-самый верх,— болтала она, не заботясь о том, слушают ее или нет.

На поляне было очень оживленно. Там находился и друг-приятель заяц со всей семьей, и тетя Энна со своими ребятишками стояла в кругу знакомых. На этот раз Бемби снова увидел отцов. Они медленно вышли из леса с двух сторон, а потом появился и третий. Затем, сохраняя расстояние, они так же медленно двинулись вдоль опушки. Они ни на кого не обращали внимания и даже друг с другом не разговаривали. Бемби следил за ними с почтительным восхищением...

Потом он болтал с Гобо, Фалиной и еще двумя знакомыми оленятами. Он предложил поиграть. Остальные охотно согласились, и они принялись кружить по поляне. Фалина была самой неугомонной из всех. Свежая, ловкая, неистощимая на выдумки. А вот Гобо вскоре утомился. Гроза вызвала у него сердцебиение, и сейчас это сердцебиение возобновилось. Гобо вообще был слабенький, но Бемби любил его за добрый нрав и неизменную благожелательность. Гобо, правда, был всегда немного грустен, но старался не показывать этого...

Пришло время, когда Бемби узнал вкус молодых побегов, мягких метелочек, сладкой кашки. И теперь, когда он приникал к матери, чтоб немного освежиться, она нередко гнала его прочь.

— Ты уже не маленький,— говорила она, а иной раз добавляла: — Уйди, оставь меня в покое.

Случалось даже, что мать покидала хижину, нисколько не заботясь о том, следует ли за ней Бемби. И во время прогулок она совсем не обращала на него внимания.

Однажды мать и вовсе исчезла. Бемби не понимал, как это произошло, как мог он не заметить ее ухода. Но матери не было. Впервые Бемби остался один.

Сперва он только удивился, потом его охватило беспокойство, быстро перешедшее в страх, а затем лишь глубокая, безнадежная тоска. Долго звучал его потерянный, печальный зов, но никто не откликался, никто не шел.

Тщетно прядал он ушами, тщетно внюхивался. Никого. И он снова звал, совсем тихо, чуть слышно, с робкой мольбой:

— Мама!.. Мама!..

Охваченный отчаянием, он побрел, сам не ведая куда. Вначале он шел по знакомой тропе, останавливался и звал мать и снова шел неуверенным, колеблющимся шагом, несчастный, покинутый Бемби. Он шел все дальше и дальше по уже незнакомым нехоженым тропам и наконец оказался в каком-то неведомом, до боли чужом месте.

И тут он услышал два детских голоса, взывавших совсем на его лад:

— Мама!.. Мама!..

Бемби прислушался. Кажется, это Гобо и Фалина. Ну конечно же, это они. Быстро побежал он на голоса и вскоре увидел две красненькие шубки, просвечивающие сквозь листву. Гобо и Фалина! Они стояли под бузиной, тесно прижавшись друг к дружке.

— Мама!..— кричали они.— Мама!..

Они обрадовались, заслышав шорох в кустах, но это был всего-навсего Бемби, и дети не могли скрыть разочарование. Но все же они немножечко обрадовались ему. А Бемби — тот был рад по-настоящему: он уже больше не одинок.

— Моя мама ушла,— сказал Бемби.

— Наша мама тоже ушла! — жалобно отозвался Гобо.

Подавленные, смотрели они друг на друга.

— Куда же они девались? — сказал Бемби, и в голосе его чувствовались слезы.

— Я не знаю,— вздохнул Гобо. У него опять началось сердцебиение, он совсем расклеился.

Неожиданно Фалина сказала:

— Я думаю... они у отцов.

Гобо и Бемби посмотрели на нее озадаченно. Это почему-то испугало их.

— Ты полагаешь?..— спросил Бемби, дрожа.

Фалина тоже струхнула, но держалась так, будто ей известно больше, нежели она может сказать. Она и сама не знала, почему

ей пришло в голову, что мамы находятся у отцов, но на вопрос Бемби сказала с умной и значительной миной:

— Да, я совершенно уверена.

Предположение Фалины заслуживало того, чтобы над ним поразмыслить, но Бемби не мог ни о чем думать, ему было слишком тоскливо. Он пошел прочь, Фалина и Гобо поплелись за ним. Все трое громко звали:

— Мама!.. Мама!..

Но вот Гобо и Фалина остановились. Дальше они не пойдут. Фалина сказала:

— Зачем? Мама знает, где мы, она сразу отыщет нас, как только вернется.

Но Бемби не мог стоять на месте. Он пробрался сквозь чащу, вышел на маленькую лесную прогалину и вдруг замер...

Там, на другом конце прогалины, в зарослях орешника стояло неведомое, небывалое существо. От него тянуло незнакомым, резким запахом, чужим, тяжким, сводящим с ума.

Бемби был не в силах отвести глаз от незнакомца. Тот стоял удивительно прямо, на двух ногах, тонкий и узкий, у него было белесое лицо, совсем голое вокруг глаз и носа, отвратительно голое. Несказанным, холодным ужасом веяло от этого лица, но и странной, повелительной силой. Бемби не мог оторвать от него взгляд.

Незнакомец долго оставался недвижимым. Затем он поднял верхнюю ногу, расположенную так близко от лица, что Бемби поначалу даже не заметил ее. Но сейчас он вдруг увидел эту странную ногу, простертую в воздухе, и одного этого движения незнакомца было достаточно, чтобы Бемби сдунуло в сторону, как пушинку.

Он и сам не заметил, как оказался в чаще. Откуда-то возникла мать и помчалась с ним рядом. Они мчались бок о бок сквозь кусты и валежник, мчались изо всех сил. Мать вела по одной ей ведомой тропе. Они сдержали шаг лишь у порога своей хижины.

— Ты видел?..— тихо спросила мать.

Бемби не мог ответить, у него сперло дыхание. Он лишь кивнул головой.

— Это был... Он! — сказала мать.

И обоих пронизала дрожь...

Теперь Бемби все чаще приходилось оставаться одному, но он уже не испытывал прежнего страха. Мать исчезала, он мог звать ее сколько душе угодно, она все равно не приходила. Но неожиданно она появлялась и снова была с ним, как прежде.

Однажды ночью, вновь покинутый, Бемби одиноко бродил по лесу. Тьма уже проредилась в близости рассвета, на серо-сизом

фоне неба зыбко обрисовались верхушки деревьев. Что-то зашуршало в кустах, шорох прокатился по листве, все ближе, ближе и вдруг обернулся матерью. Она была не одна. Кто был этот второй, Бемби не сумел разглядеть, но мать он узнал сразу, хотя она лишь на краткий миг мелькнула мимо него и с громким криком унеслась прочь. Все сжалось в Бемби — так непонятны были ему и этот странный галоп сквозь кусты, и этот ликующий, но с оттенком страха крик матери.

Еще более удивительный случай произошел с ним однажды днем. Он долго плутал по лесу без цели и смысла. Не выбирая дороги, он сворачивал то влево, то вправо, то возвращался вспять, то снова брел вперед. А затем в какой-то момент он остановился и звонким, отчаянным голосом стал звать маму. Не то чтобы он испугался — он просто не мог больше оставаться один, ему не под силу стало одиночество. И вдруг рядом с ним оказался один из отцов. Бемби не слышал его приближения и сильно струхнул. Этот старый олень был самым мощным из всех виденных Бемби, самым рослым и горделивым. Шуба его полыхала ярко-красным пламенем, от лица исходило серебристо-серое мерцание, развесистые, в темных буграх рога высоко возносились над чутко прядающими ушами.

Он смерил Бемби суровым взглядом.

— Чего ты кричишь? — произнес он.— Ты что же, не можешь быть один? Стыдись!

Бемби хотел сказать, что ему уже не раз приходилось оставаться одному, что он привык быть один, но язык словно прилип к гортани. Жгучий стыд охватил все его маленькое существо. А старый олень повернулся и вмиг исчез, будто провалился сквозь землю. Это было невероятно: как ни прислушивался Бемби, его слух не уловил ни топота копыт, ни хотя бы слабого шороха потревоженного кустарника. Бемби обнюхивал воздух — никого. Он вздохнул облегченно, и все же он бы многое дал, чтобы еще раз увидеться со старым оленем и снискать его расположение.

Бемби ни слова не сказал матери об этой встрече. Но теперь он уже не кричал, не звал ее, когда она исчезала. Бродя в одиночестве, он страстно мечтал о встрече со старым оленем. Он бы сказал ему: «Видишь, я больше не боюсь». И тогда старый олень, может, похвалил бы его.

Но с Гобо и Фалиной Бемби поделился своей тайной. Друзья слушали его затаив дыхание. Это действительно необычная встреча, у них в жизни не случалось ничего подобного.

— Ты, наверно, здорово испугался? — сочувственно сказал Гобо.

Еще бы! Конечно, Бемби испугался, но совсем немножечко.

— Я бы на твоем месте умер от страха! — признался Гобо.

Нет, большого страха Бемби не испытывал: старый олень держался так сердечно.

— Это немного ободряет меня,— сказал Гобо.— Мне кажется, я бы не смел поднять на него взгляд. Когда мне страшно, у меня все расплывается в глазах, а сердце колотится так сильно, что я задыхаюсь.

Фалину рассказ Бемби заставил глубоко задуматься, но она сохранила свои мысли про себя.

Когда им снова довелось встретиться, Гобо и Фалина бросились к Бемби со всех ног. Они, как и Бемби, опять были одни.

— Мы тебя все время ищем! — воскликнул Гобо.

— Да,— важно подтвердила Фалина.— Мы знаем теперь, с кем ты встретился.

Бемби подскочил:

— С кем?..

Фалина чуть помолчала, затем сказала значительно:

— Это был Старейший.

— Откуда ты знаешь?..

— От нашей матери,— заявила Фалина.

Бемби изумился:

— Вы рассказали ей мою историю?

Оба кивнули.

— Но это же тайна! — возмущенно воскликнул Бемби.

Гобо тут же принялся извиняться:

— Я ни при чем, это все Фалина...

Но Фалина вскричала весело:

— Ах, что тайна! Мне хотелось знать, кто это был! Теперь мы знаем, и так гораздо интересней!

С этим Бемби не мог не согласиться. Фалина охотно удовлетворила его любопытство.

Это самый благородный из всех оленей. Он — старейший. Ему нет равного. Никто не знает, сколько ему лет, есть ли у него близкие. Лишь немногим посчастливилось видеть его хоть раз. Нередко по лесу проходит молва, что он умер — так долго отсутствует он порой. Но затем он покажется на миг, и таким образом все узнают, что он жив. Никто не осмеливается спросить, где он пропадал,— ведь он ни с кем не разговаривает, и никто не решится заговорить с ним первым. Его пути никому не ведомы, но знают, что он исходил лес до самых дальних далей. Он презирает опасность. Бывает, олени борются друг с другом, иногда играючи, иногда всерьез, но с ним никто не вступал в единоборство с незапамятных времен. Из его давних соперников ни один не остался в живых. Он великий боец.

Бемби охотно простил Фалине и Гобо, что они проболтались о его тайне, иначе он никогда не узнал бы столько важных вещей. Но хорошо, что Гобо и Фалине известно не все. Так, они не

знают, что Старейший сказал Бемби: «Ты не можешь быть один? Стыдись!» Да, Бемби поступил правильно, умолчав об этом: ведь Гобо и Фалина все равно проболтались бы, и он стал бы посмешищем всего леса.

В эту ночь, когда взошел месяц, вернулась мать. Нежданно появилась она у высокой сосны. Она тихо стояла там и смотрела на Бемби. Он кинулся к ней. Эта ночь принесла Бемби новое переживание.

Мать вернулась усталой и голодной, и они сократили свою обычную прогулку. Они пошли на поляну. Мать стала пощипывать влажную, прохладную ночную траву. Потом они оба принялись за молодые побеги и за этим занятием незаметно углубились в лес. Нежданно и грозно зашумели кусты. Прежде чем Бемби что-нибудь сообразил, мать закричала в смятении и страхе.

— А-о-о! — кричала она.— А-о-о!

Из-за кустов в ровном и сильном шуме, словно гигантские призраки, выступили какие-то невиданные существа. Они походили и на мать, и на тетю Энну, и на других сородичей Бемби, но были такого богатырского роста, что Бемби пришлось сильно задрать голову, чтобы целиком охватить их. И тогда Бемби тоже вдруг закричал во все горло:

— А-о-о!.. Ба-о-о! — Он не понимал, почему кричит, но не кричать не мог.

Процессия медленно прошествовала мимо. Три, четыре богатыря друг за другом. Напоследок появился еще один. Он был еще выше, еще мощнее, с его шеи спускалась густая грива, а голову венчало целое дерево. Что-то клокотало, рвалось в груди у Бемби, так жутко на душе у него еще не было. Это не было страхом, но никогда еще не казался он себе таким маленьким и ничтожным. Даже мать и та как-то жалко умалилась в его представлении. Стыдясь своего странного чувства, он трубил:

— Ба-а-о-о! Ба-о-о!

Крик приносил некоторое облегчение.

Процессия скрылась из виду. Стало тихо. Лишь Бемби время от времени издавал короткий трубный звук.

— Да успокойся же,— сказала мать,— они ушли.

— О мама! — пролепетал Бемби.— Кто они такие?

— Ах, это совсем не так опасно,— сказала мать.— Это лоси, наши родичи... Да, они велики и благородны, еще благороднее нас.

— И они не опасны? — спросил Бемби.

— По-моему, нет,— ответила мать.— Об этом говорят разное, но стоит ли придавать значение слухам? Мне и моим знакомым они не сделали ничего худого.

— А почему они должны делать нам худое? — размышлял вслух Бемби.— Ведь они наши родственники.

— Да ничего они нам не сделают,— сказала мать. И после короткого молчания добавила: — Я сама не знаю, почему их появление так пугает. Я теряю над собой всякую власть. И так всегда...

Разговор заставил Бемби задуматься. Как раз в эту минуту в ветвях ольхи появился сыч и, по свойственной ему привычке, оповестил о себе душераздирающим воплем. Но Бемби был так погружен в свои мысли, что, вопреки обыкновению, забыл испугаться. Сыч слетел на нижнюю ветку и осведомился:

— Я вас, наверное, испугал?

— Конечно,— ответил Бемби.— Вы меня всегда пугаете.

Сыч тихонько засмеялся.

— Надеюсь, вы на меня не в обиде? — сказал он.— Такая уж у меня повадка!

Он раздулся, став похожим на шарик, погрузил клюв в пушистые грудные перышки и сделал удивительно милое и серьезное лицо.

— Знаете,— доверительно сказал Бемби,— совсем недавно я испугался куда сильнее.

— Что-о?—произнес сыч недовольно.

Бемби рассказал ему о своей встрече с могучими родичами.

— Ох уж эти родственники! — проворчал сыч.— У меня тоже полно родственников. Стоит мне только показаться днем, как от них отбою нет. А есть ли на свете что-либо столь же ненужное, как родственники? Ведь если они знатнее вас, вам нечего с ними делать, а если нет, то и подавно. Первых мы терпеть не можем за гордость, вторых — за ничтожество. Словом, от родственников лучше держаться подальше.

— Но... я совсем не знаю своих родичей,— робко сказал Бемби.

— Не заботьтесь об этой публике,— прохрипел сыч.— Поверьте мне,— для вящей убедительности сыч закатил глаза,— поверьте доброму совету. Родственники не стоят друзей. Вот мы с вами просто добрые знакомые, и это так приятно для нас обоих.

Бемби хотел было вставить слово, но сыч ему не дал:

— Вы еще так молоды, доверьтесь моему опыту. Я понимаю толк в этих вещах. Впрочем, мне не просто вмешиваться в ваши семейные отношения.

Он глубокомысленно закатил глаза, и его лицо стало таким отрешенным и значительным, что Бемби не отважился возражать...

Однажды случилось страшное...

Утро этого дня выдалось свежее и росистое, на небе ни облачка. Кажется, сильнее обычного благоухал освеженный вла-

гой ночи кустарник, и поляна широкими волнами слала во все концы свои пряные запахи.

— Пи-и! — сказали синицы, проснувшись.

Сказали совсем тихо, ведь по земле еще стелился сероватый сумрак. Снова надолго воцарилась тишина. Затем откуда-то сверху прозвучали резкие, гортанные голоса ворон. Тотчас откликнулась сорока:

— Ча-ча-га-ра! Уж не думает ли кто, что я сплю?

И тут на множество ладов защебетали сотни тоненьких голосов:

— Пиу, пиу, тью, тюить, тюить, тюить, тью!

В этом гомоне еще чувствовались и сон и сумерки, но с каждой минутой он звучал все свежее и радостнее.

Но вот прилетел черный дрозд и уселся на верхушке бука. Он выбрал самую высокую веточку, тоненькую и остро прорезавшую голубоватый воздух, и, оглядев простор поверх деревьев, увидел на востоке палево-серое, будто усталое, небо, зацветающее молодой зарей. И дрозд начал свою приветственную песнь. Он был лишь чуть темнее веточки, на которой сидел, его маленькое черное тельце напоминало увядший листок, но его песня ликующим гимном разливалась над лесом. Все ожило.

Забили зяблики, защелкали малиновки и щеглы. Громко хлопая крыльями, голуби перелетали с ветки на ветку. Орали фазаны, словно у них разрывалось горло. С тугим и мягким шорохом слетали они с деревьев, служивших им для ночлега, и, разорвав гортань металлическим воплем, начинали тихо ворковать. Высоко в небе воинственно и ликующе взывали соколы:

— Йя-йя-йя!..

Взошло солнце.

— Дью, дью! — звонко пропела иволга.

Она летала меж ветвей взад и вперед, и ее желтенькое кругленькое тельце сверкало в лучах золотой пулькой.

Бемби вышел из-за старого дуба на поляну. Она сверкала росой, благоухала влажной травой, землей и цветами. В ней ощущался трепет бесчисленных жизней.

Много знакомых собралось сейчас на поляне. Там сидел друг-приятель заяц и, казалось, раздумывал о каких-то важных вещах. Не спеша прогуливался благородный фазан; он поклевывал в траве и порой сторожко озирался, его изумрудное горло сверкало на солнце.

А почти рядом с Бемби стоял незнакомый молодой олень. Впервые в жизни оказался Бемби так близко от взрослого оленя. Чуть заслоненный кустами бузины, стоял он недвижимо против Бемби. Бемби тоже замер.

А что, если олень совсем выйдет из кустов — посмеет ли Бемби заговорить с ним?

Надо посоветоваться с матерью. Бемби оглянулся, но мать была далеко, она разговаривала с тетей Энной. Бемби не двигался, он переживал мучительные сомнения. Чтобы попасть к матери, он должен был пройти мимо молодого оленя. Бемби находил это неприличным.

«Ах,— думал он,— зачем мне спрашивать маму! Ведь говорил же со мной Старейший, а я и словечком не обмолвился маме. Попробую сам заговорить с молодым оленем. Пусть все увидят, как я с ним разговариваю. Я скажу: «С добрым утром, господин!» Не может же он рассердиться на это. А если рассердится, я удеру...»

И все же Бемби продолжал колебаться.

Но вот молодой олень выступил из-за кустов бузины.

«Сейчас я скажу ему...» — подумал Бемби.

И тут ударил гром.

Бемби весь сжался, не понимая, что случилось. Он видел только, что молодой олень высоко подпрыгнул и кинулся в чащу. Он пронесся совсем близко от Бемби...

Бемби растерянно озирался. Страшный раскат грома еще звучал в его теле. Он видел, как мать, тетя Энна, Гобо и Фалина кинулись к лесу, как после короткого замешательства поскакал туда же друг-приятель заяц и вдогон ему, высоко задирая голенастые ноги, помчался фазан. Ощутил он и мгновенную цепенящую тишину, охватившую поляну и лес, подобрался и прыгнул в чащу.

Бемби не сделал и трех прыжков, как наткнулся на молодого оленя, простертого на земле. Широкая рваная рана зияла на его плече, из раны струилась кровь.

— Не останавливайся! — услышал он рядом с собой. Это была мать.— Беги! — кричала она.— Беги что есть силы!

Отчаянный зов матери сорвал Бемби с места, он устремился вперед.

— Что это было, мама? — спросил он на бегу.— Что это было?

И, задохнувшись, мать ответила:

— Это был... Он!..

Наконец они остановились в изнеможении.

— Что вы сказали? Я прошу повторить, что вы сказали! — донесся сверху голосок.

Бемби поднял голову и увидел спускающуюся по ветвям белочку.

— Я следовала за вами! — кричала она.— Нет, это ужасно!

— Вы были при этом? — спросила мать.

— Само собой разумеется! — ответила белочка.— Я до сих пор вся дрожу!

Она уселась столбиком, опершись на свой пушистый хвост и выставив узенькую белую грудку; передние лапки она прижала к груди, словно клятвенно подтверждая истинность своих слов:

— Я вне себя, я потрясена до глубины души!

— Это непостижимо! — сказала мать.— Никто из нас не видел Его.

— Ну! — горячо вскричала белочка.— Вы ошибаетесь, я заметила Его давным-давно!

— Я тоже! — прокричал другой голос.

Это была сорока, она подлетела и опустилась на ветку.

— Я тоже! — раздалось где-то еще выше: там на сучке сидела сойка.

А с верхушек деревьев мрачно прокаркали две вороны:

— Мы тоже видели Его!

Так говорили лесные обитатели, напуганные и обозленные.

— .Я приложила огромные усилия,— говорила белочка, клятвенно прижимая к груди лапки,— да, огромные усилия, чтобы предупредить бедного юношу.

— И я,— присоединилась сойка.— Я кричала ему, но он не хотел меня слушать.

— Меня он тоже не послушал,— затараторила сорока.— А я ли не кричала, я ли не старалась! Я уже хотела подлететь к нему, но тут-то как раз все и случилось.

— Мой голос громче, чем у вас всех, вместе взятых, и я кричала во всю мочь,— горько сказала ворона,— но их высочество обращают слишком мало внимания на таких, как мы.

— Действительно, слишком мало,— подтвердила белочка.

— Мы сделали что могли,— забисерила сорока,— и если случилось несчастье, то нас ни в чем нельзя обвинить.

— Такой красивый юноша! — сокрушенно сказала белочка.— В самом расцвете лет!..

— Гха! — проскрипела сойка.— Был бы он не таким заносчивым и побольше слушал бы нас...

— Да он вовсе не заносчивый,— возразила белочка.— Не более, чем другие принцы из его рода.

— И столь же глуп! — засмеялась сойка.

— Ты сама глупа! — закричала ворона сверху.— Всему лесу известна твоя глупость!

— Я? — остолбенело повторила сойка.— Я глупа? Первый раз слышу! Быть может, немного забывчива, но глупа — это невероятно!

— Как вам угодно,— сказала ворона со вздохом.— Забудьте все, что я сказала. Но одно запомните: принц погиб не потому, что был глуп или заносчив, а потому, что никто не может противостоять Ему!

— Гха! — скрипнула сойка.— Не выношу подобных разговоров! — И улетела.

Ворона продолжала:

— И в моем клане Он уничтожил многих. Он убивает, когда захочет. И ничто не может помочь нам...

— Мы все должны быть настороже,— заметила сорока.

— Разумеется,— печально согласилась ворона.— До свиданья.

Она полетела прочь, а вслед за ней и вся воронья стая.

Бемби огляделся. Матери не было рядом.

«О чем они говорили? — думал Бемби.— Кто такой Он, о котором они твердят? Не тот ли Он, которого я встретил однажды на прогалине? Но ведь меня-то Он не убил?..»

И тут Бемби представился молодой олень, лежащий в луже собственной крови. Мертвый, недвижный...

А лес снова разливался на тысячи голосов, и солнце пронизывало его прямыми, широкими лучами. Всюду царил свет, благоухала листва, вверху звенел клич сокола, внизу рассыпался хохоток дятла, будто ничего и не случилось. Но все это не радовало Бемби: что-то темное навалилось на душу. Он не понимал, как могут другие быть беззаботны и веселы. Ведь жизнь так трудна и опасна! Укрыться бы в лесной глухомани, в потайном, никому не доступном убежище, и скоротать там жизнь тихо и неприметно. Зачем ему поляна со всеми своими радостями, если за них приходится так жестоко расплачиваться?..

Что-то зашуршало в кустах. Бемби быстро обернулся: перед ним стоял Старейший.

Бемби сжался, готовый обратиться в бегство. Старый олень глядел на него своими огромными, глубокими, пронзительными глазами:

— Ты был при этом?

— Да,— сдавленно проговорил Бемби: его сердце билось почти у самого горла.

— Где твоя мать? — спросил Старейший.

— Я не знаю,— грустно ответил Бемби.

Старейший сверлил его своим взглядом:

— И ты не зовешь ее?

Бемби взглянул на полную достоинства мерцающую серебром голову, на венчающую ее царственную корону, и сердце его вдруг исполнилось мужества.

— Я могу быть один,— сказал он.

Старейший некоторое время держал его на прицеле своих удивительных глаз, затем чуть мягче спросил:

— Ты тот самый малыш, который плакал, оставшись без матери?

Бемби смутился, но сразу овладел собой:

— Да, это я.

Старейший смотрел на него молча, но Бемби почудилась ласка в глубине его взгляда.

— Ты выбранил меня тогда, Старейший! — воскликнул он порывисто.— Ведь я боялся оставаться один. А теперь я не боюсь больше!

Тот смотрел все так же испытующе, но Бемби показалось, что он чуть приметно улыбнулся.

— Что случилось сегодня? — осмелев, сказал Бемби.— Кто такой этот Он, о котором все говорят?..— Бемби осекся под взглядом оленя, сверкнувшим темным огнем.

Старейший смотрел мимо Бемби, вдаль, затем медленно проговорил:

— Умей слушать, умей чуять, умей смотреть. Умей сам познавать жизнь.— Он поднял венчанную голову.— Будь счастлив.— И, не прибавив ни слова, исчез...

Бемби остался один, и ему снова взгрустнулось, но тут в ушах его прозвучали прощальные слова Старейшего:

«Будь счастлив!..»

И незнакомое чувство гордости вошло ему в душу. Да, жизнь трудна и полна опасностей, но что бы ни ждало его впереди, он не боится жизни.

Бемби не спеша углубился в лес...

Со старого дуба, преграждавшего выход на поляну, медленно кружась, слетел лист. И с других деревьев то раздумчиво-плавно, то стремительно ввинчиваясь в воздух, облетали красные, желтые, в мрамористых разводах листья.

День за днем, день за днем...

Высоко над остальными ветвями, достигая чуть ли не середины поляны, простирался могучий сук старого дуба. На самом его конце, чуть покачиваясь на ослабевших черенках, два листка вели тихий разговор.

— Как все изменилось! — сказал один лист другому.

— Да,— подтвердил другой.— Многие ушли сегодня ночью. Кажется, мы последние остались на нашем суку.

— Никто не ведает, когда придет к нему конец,— сказал первый.— Помнишь, еще было тепло и ясно светило солнышко, и вдруг порыв ветра или хлест ливня нежданно-негаданно приносили гибель многим из нас, молодым и крепким. Разве знаешь, близок ли, далек ли твой конец?

— Сейчас солнце светит так редко,— вздохнул второй.— И свет его не прибавляет сил.

— Правда ли,— сказал первый,— правда ли, что, когда мы опадем, наше место займут другие листья, а за ними еще другие, и так без конца?

— Правда,— прошептал второй лист.— Но не стоит думать об этом, это выше нашего понимания.

— И от этого становится так грустно...— добавил первый.

Они помолчали, затем первый, словно про себя, сказал:

— Но почему же мы должны опасть?

Другой спросил:

— А что будет с нами, когда мы опадем?

— Мы окажемся внизу.

— А что там, внизу?

— Не знаю,— отвечал первый.— Одни говорят одно, другие — другое. Разве узнаешь, где правда?

Они вновь помолчали, затем второй спросил:

— А там, внизу, мы будем что-нибудь чувствовать, сознавать?

— Кто может это сказать? Ни один не вернулся оттуда...

И снова наступило молчание. Затем первый лист с нежностью сказал:

— Не грусти так. Ты весь трепещешь.

— Ах нет! Я только чуть-чуть подрагиваю. Но ведь не чувствуешь себя так прочно, как прежде...

— Оставим этот разговор,— сказал первый лист.

— Что ж, оставим. Но о чем же нам тогда говорить?

Он умолк, затем проговорил тихо:

— И наш час близок... Чей же раньше наступит черед?..

— Не будем об этом,— сказал первый лист.— Давай лучше вспомним, как хорошо, как удивительно хорошо было нам раньше! Помнишь, как грело солнце, как бурлили в нас соки жизни? Помнишь? А живительная роса в утренние часы? А мягкие, чудесные ночи?..

— Сейчас ночи ужасны,— заметил второй.— И длятся бесконечно.

— Мы не должны жаловаться,— сказал первый лист,— ведь мы всех пережили.

— Я правда очень изменился? — жалобно спросил второй лист.

— Нисколько! — убежденно сказал первый.— Ты нисколько не изменился. Это я пожелтел и сморщился, а ты — ты все такой же красавец.

— Ах, оставь! — прервал первый.

— Нет, правда! — пылко воскликнул второй.— Ты красив, как в первый день. А маленькие желтые прожилочки, еле-еле приметные, очень тебе идут. Уж поверь мне!

— Спасибо тебе,— растроганно прошептал второй.— Я тебе не верю... не совсем верю... но спасибо за твою доброту. Ты всегда был так добр ко мне! Я только сейчас понял, какой ты добрый.

— Замолчи! — сказал первый и замолчал сам, потому что боль его была слишком сильна.

Так, в молчании, прошли часы.

Порыв мокрого ветра просквозил лес.

— Ах, вот оно!..— проговорил второй лист.— Я...— Он потерял голос и, мягко оторвавшись от сука, полетел вниз.

Настала зима.

Мир неузнаваемо изменился. И нелегко было Бемби приспособиться к этому изменившемуся миру. На смену прежнему богатству пришла нищета. Бемби считал чем-то само собой разумеющимся, что его окружали избыток и довольство, что он никогда не знал недостатка в еде, что спал он в прекрасной, убранной зеленью хижине и разгуливал в красивой гладенькой красной шубке. Но теперь все стало по-иному...

Правда, перемена шла исподволь и поначалу даже радовала Бемби. Он с удовольствием наблюдал, как густой белый туман, по утрам окутывавший поляну, медленно таял с первыми лучами солнца и уносился в чуть голубеющее рассветное небо. Ему нравился иней, заботливо украшавший своей колючей бахромкой все веточки и травинки. С острым волнением прислушивался Бемби к реву своих могучих родичей, северных богатырей. Весь лес содрогался от громовых кличей высокородных. Сладкий трепет охватывал сердце Бемби. «Как все огромно, величественно у высокородных! — думал он.— Их короны под стать развесистым деревьям, их голоса могут поспорить с громом». Заслышав очередной клич, он замирал в недвижности. Властное желание звучало в том кличе, неистовая тоска, гневное, гордое нетерпение.

И в какой-то момент страх охватывал Бемби. Против воли эти голоса подавляли его. И хотя он гордился своей благородной родней, их недоступность вызывала в нем раздражение. Он чувствовал себя оскорбленным, униженным, сам не отдавая себе отчета почему. Нет, он никогда не станет искать с ними близости!

Когда же миновала пора любви высокородных и замолк громовый раскат их призывов, Бемби стал примечать и другие вещи. Бродя ночью по лесу или лежа в своей хижине, он слышал неумолчный шорох опадающих листьев. Шуршало, шелестело, потрескивало во всех уголках леса. Нежный серебристый звон беспрестанно изливался с верхушек деревьев на землю. Было удивительно приятно слышать его, просыпаясь, и так хорошо было засыпать под это таинственное, чудесное перешептывание!

Теперь листва покрывала всю землю и при каждом шаге громко хрускала. Весело было расшвыривать ее ногами в разные стороны. Листва шелестела: «Ш-ш-ш-ш!» — нежно, светло, сере-

бристо. Чуткий шорох листвы был не только приятен — он приносил немалую пользу. В эти дни ни к чему стало напрягать чутье и слух. Зачем внюхиваться, вслушиваться, если листва издалека предупреждает о всяком подозрительном движении в лесу. «Ш-ш-ш! — сухо и звонко шуршат опавшие листья.— Попробуй кто подкрасться незамеченным!»

Но вот зарядил дождь. С раннего утра и до позднего вечера лил он не переставая; всю ночь напролет шумел и шумел он до самого утра и после короткой передышки вновь принимался лить с освеженной силой. Воздух был пропитан влагой, во всем лесу не осталось ни одного сухого местечка. При каждой попытке ущипнуть травку рот мгновенно наполнялся водой, и стоило лишь слегка потеребить кустик, чтоб потоки воды залили глаза и нос.

Теперь Бемби изведал, как мучительно день и ночь находиться во власти студеных потоков воды. Он, правда, еще не мерз по-настоящему, но он тосковал по теплу и жалко трясся в своей насквозь промокшей шубке.

Листва уж больше не шуршала. Она лежала на земле, мягкая и тяжелая, спрессованная дождем и потерявшая свою чуткость.

А затем задул северный ветер, и Бемби узнал, что такое мороз. Как ни прижимайся к матери, ничто не защитит тебя от стужи. Прежде так приятно было лежать в тесноте хижины, чувствуя живое материнское тепло с одного бока, но сейчас это тепло не сообщалось телу, пронизанному ледяной ознобью.

Ветер дул денно и нощно. Казалось, в бешеной злобе хочет он вырвать с корнем лес и унести его прочь или, растрепав в воздухе, уничтожить. Деревья скрипели в могучем противоборстве, они стойко сопротивлялись яростному натиску. Слышался их стонущий треск, слышались громкие выстрелы лопающихся сучьев, слышался яростный грохот сломленного ствола большого дерева и горестный всхлип, вырвавшийся из всех ран его разбитого, умирающего тела. Затем не стало слышно ничего, кроме ветра: его угрюмый вой заглушил все остальные звуки.

Тут-то и пришла нужда. Ветер и дождь чисто сделали свое дело. Ни одного листочка не сохранилось на кустах и деревьях. Лесные исполины стояли нагие, обобранные и жалобно простирали к небу свои голые коричневые ветви-руки. Трава на лужайке пожухла и стала такой низенькой, будто вросла назад в землю. Голой и бесприютной выглядела хижина. С тех пор как исчезли ее зеленые стены, там уже нельзя было чувствовать себя так надежно, как прежде, к тому же со всех сторон пронзительно дуло...

Однажды утром молоденькая сорока летела над лужайкой. Что-то белое, прохладное упало ей на глаза светлой и легкой вуалькой, еще и еще, и вот мириады белых мягких, сверкающих

К стр. 597

хлопьев зареяли вокруг нее. Сорока захлопала крыльями и взмыла вверх. Тщетно. Мягкие, прохладные хлопья слепили ей глаза и здесь. Она еще набрала высоту.

— Не трудитесь понапрасну, дорогая! — крикнула ей ворона, летевшая в том же направлении.— Вам не уйти от этих хлопьев. Это снег.

— Снег? — удивленно повторила сорока, борясь с метелью.

— Ну да,— сказала ворона.— Сейчас зима, и это снег.

— Простите,— сказала сорока,— я только в мае вышла из гнезда. Я не знаю, что такое зима.

— Бывает,— заметила ворона.— Но ничего, вы еще узнаете!..

«Раз это снег,— подумала сорока,— мне лучше присесть». И она опустилась на ветку ольхи. Ворона полетела дальше.

Бемби вначале обрадовался снегу. Когда падали белые звездочки, воздух становился тих и мягок, а простор казался обновленным и радостным. Стоило проглянуть солнышку, как белое покрывало земли загоралось яркими блестками; оно так сияло и сверкало, что болели глаза.

Но вскоре Бемби перестал радоваться снегу. Приходилось долго разгребать его, чтобы отыскать хоть несколько травинок. Сухой снег больно кололся, и надо было внимательно следить за тем, чтобы не поранить ноги. С Гобо так и случилось. Но Гобо вообще был такой беспомощный, за ним нужен был глаз да глаз...

Теперь они почти все время проводили вместе. Тетя Энна что ни день приходила в гости со своими ребятами. В их кругу появилась и Марена, юная девушка, почти ребенок. Но кто действительно умел оживлять беседу, так это старая тетя Неттла. Она была личностью крайне своеобразной и обо всем имела особое мнение.

— Нет,— говорила она,— детьми я сыта по горло. С меня довольно этих шуток.

— Но почему? — спрашивала Фалина.— Разве это шутки?

И тетя Неттла, притворяясь рассерженной, отвечала резко:

— Да, и притом злые...

Все были крайне предупредительны друг к другу. Сидя в кругу, взрослые вели нескончаемые разговоры. Это очень расширяло ребячий кругозор.

Иногда к ним присоединялся то один, то другой из принцев. Вначале это вызывало некоторую натянутость, потому что дети робели, но затем они привыкли, и беседы обрели прежнюю непринужденность. Бемби восхищался принцем Ронно, очень видным господином, а молодого, прекрасного собой Каруса он любил самозабвенно. Они сбросили свои короны, и Бемби с любопытством рассматривал обозначившиеся на головах принцев округлые бле-

стящие бугорки, усеянные черными точками. Это выглядело так изысканно!

Было необычайно интересно, когда принцы рассказывали о себе. У Ронно на левой ноге бугрился толстый, заросший мехом нарост. Ронно немного прихрамывал на левую ногу и находил нужным время от времени указывать на этот свой недостаток.

— Вы, конечно, заметили, что я прихрамываю?

Все спешили уверить его, что это совсем не заметно. Ронно только того и хотелось. Но хромота его и в самом деле была еле приметна.

— Да,— начинал Ронно,— я спасся лишь чудом...

И Ронно рассказывал, как Он застал его однажды врасплох и метнул в него огонь. Но Он попал только в ногу. Треснула кость, боль была нестерпимая. Превозмогая боль, Ронно кинулся бежать на трех ногах. Он бежал все дальше и дальше, без передышки, потому что чувствовал, что его преследуют. Он бежал до наступления темноты и только тогда дал себе отдых. А наутро он снова пустился в бегство. Почувствовав себя наконец в безопасности, он схоронился в укромном тайнике и здесь терпеливо ждал, пока не затянулась рана. Лишь тогда покинул он свое убежище, и весь лес признал его героем. Он, правда, прихрамывает, но ведь это почти незаметно. Так ему, во всяком случае, кажется...

О чем бы ни говорили во время этих вечерних сборищ, кончалось все разговором о Нем. О том, как ужасен Его облик — никто не смеет взглянуть Ему в лицо,— о возбуждающем, едком запахе, который Он несет с собой. Бемби тоже мог бы кое-что порассказать об этом, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы вмешиваться в беседу взрослых. Этот загадочный запах имеет тысячи оттенков, и все же его узнаешь мгновенно по тому ужасу, который он несет в себе.

Говорили о том, что для ходьбы Он пользуется только двумя ногами, и поражались удивительной силе и ловкости Его рук. Но тетя Неттла придерживалась особого мнения:

— По-моему, в этом нет ничего особенного. Белочка делает передними лапками все, что ей нужно, и любая маленькая мышка проделывает такие же фокусы.— Она победоносно откинула голову.

— Ого! — дружно вскричали остальные и дали понять тете Неттле, что это совсем не одно и то же.

Но тетя Неттла не сдавалась.

— А сокол? — воскликнула она.— А сары́ч? А сова? У них всего-то по две ноги, и, когда им надо чего-нибудь взять — так, кажется, это у них называется,— они преспокойно стоят на одной-единственной ноге, а действуют другой. Это куда труднее, и Ему нипочем так не сделать!

Тетя Неттла отнюдь не была склонна чему-либо удивляться в Нем: она ненавидела его от всего сердца.

— Он отвратителен! — говорила она и твердо стояла на том.

Ей и не думали возражать — едва ли кто из присутствующих находил Его симпатичным.

Дело запуталось, когда речь зашла о том, что у Него есть еще и третья рука.

— Старая басня! — отрезала тетя Неттла.— Никогда я этому не поверю!

— Да? — вмешался Ронно.— А скажите на милость, чем же Он раздробил мне ногу?

— Это твое дело, дорогой мой,— беззаботно ответила тетя Неттла,— мне-то Он ничего не раздробил.

Тетя Энна сказала:

— Я многое повидала на своем веку и думаю, что разговоры о третьей руке не лишены основания.

Юный Карус заметил вежливо:

— Я присоединяюсь к вам. Дело в том, что я знаком с одной вороной...— Карус замялся и обвел взглядом присутствующих — не смеются ли над ним,— но, увидев внимание на лицах слушателей, успокоился и продолжал: — Ворона чрезвычайно сведуща... Я позволю себе это заметить... удивительно сведуща. И она говорит, что Он в самом деле пользуется третьей рукой, хотя и не всегда. Третья рука, говорит ворона, очень злая. Она не растет у него из тела, как две другие, Он носит ее за плечом. Ворона утверждает, что всегда может заранее сказать, опасен Он или нет. Если Он приходит без третьей руки, Его нечего опасаться...

Тетя Неттла засмеялась:

— Твоя ворона чрезвычайно глупа, дорогой Карус, можешь мне поверить. Будь у нее хоть какой-то умишко, она бы знала, что Он всегда опасен.

Но с ней не согласились.

Мать Бемби сказала:

— Все же среди Них попадаются и такие, что не опасны. Это как-то сразу чувствуется.

— Ах, вот что! — усмехнулась тетя Неттла.— И, конечно, ты спокойно ждешь, когда Он приблизится, чтоб сказать ему: добрый вечер!

— Нет,— мягко ответила мать,— я все-таки убегаю...

Нежданно Фалина воскликнула:

— Нужно всегда удирать!

Все засмеялись. Но постепенно веселье, вызванное выходкой Фалины, стихло. Оленям казалось, будто что-то мрачное, давяще-душное нависло над ними. Ведь как ни называй это — третьей ли рукой или как-то иначе,— гибель не заговоришь словом. Немногие сталкивались с Ним вплотную, большинство знало о

Его повадках лишь понаслышке. Вот Он стоит вдалеке, недвижно, и вдруг что-то такое происходит, раздается громкий треск, подобный удару грома, вылетает огонь. Это чья-то смерть.

Олени тесно прижались друг к другу, всей слабостью сердца ощущая ту темную власть, которая безраздельно господствовала над ними. Жадно внимали они рассказам, полным ужаса и крови. События недавних дней перемежались с преданиями далекой старины, ибо Он был всегда и всегда нес с собой смерть, и каждый невольно думал, чем бы умилостивить Его, как избежать Его роковой власти.

— Как же так получается,— сказал вдруг Карус,— что Он убивает на расстоянии?

— А ты бы спросил свою умную ворону,— усмехнулась тетя Неттла.

— Я уже спрашивал, она сама не знает...

— Кстати, Он убивает и ворон на деревьях, когда захочет,— заметил Ронно.

— И фазанов в воздухе,— вставила тетя Энна.

Мать Бемби сказала:

— Он швыряет свою руку. Так мне говорила моя бабушка.

— Да? — усомнилась тетя Неттла.— А что же это такое, что так громко хлопает?

— Когда он бросает свою руку,— пояснила мать Бемби,— вспыхивает огонь и ударяет гром. Он весь состоит из огня.

— Простите,— сказал Ронно,— то, что он весь из огня, конечно, верно, но насчет руки вы заблуждаетесь. Рукой нельзя нанести такую рану, какую вы видите. Это скорее зуб. Он мечет в нас зуб. Понимаете — зуб, это многое объясняет. Мы же знаем, что бывают смертельные укусы.

Юный Карус глубоко вздохнул:

— Он никогда не перестанет нас преследовать!

Тогда заговорила Марена, девушка, почти ребенок:

— Говорят, в один прекрасный день Он придет к нам и будет так же добр, как мы. Он будет с нами играть. Весь лес станет счастливым, наступит всеобщее примирение.

— Нет уж! — со смехом воскликнула тетя Неттла.— Пускай лучше Он будет сам по себе, а нас оставит в покое.

Тетя Энна сказала:

— Но... так тоже нельзя говорить...

— Почему же? — возразила тетя Неттла.— Я Ему ни на грош не верю. Помилуйте! С тех пор как мы себя помним, Он убивает нас: наших сестер, братьев, матерей. С тех пор как существует мир, нет для нас покоя. Он убивает нас всегда, когда увидит, а мы должны с Ним мириться? Какая чепуха!

Марена обвела всех большими глазами, источающими спокойный, ясный свет:

— Всеобщее примирение — не чепуха, оно должно когда-нибудь наступить.

Тетя Неттла отвернулась.

— Пойду-ка поищу чего-нибудь поесть,— сказала она ворчливо и покинула общество.

Зима продолжалась. Порой непогодь стихала ненадолго, опять валил снег, наметывая огромные, непролазные сугробы. Когда же пригревало солнце, снег подтаивал. Ночью его прихватывало морозом, на поверхности застывала тонкая ледяная корочка. Стоило поскользнуться, и корочка трескалась, острые ее края больно ранили нежные суставы ног.

Последние дни стоял трескучий мороз. Ядреный, звенящий воздух был чист и прозрачен. Но в притихшем, будто очарованном лесу вершились страшные, кровавые дела.

Ворона напала на маленького больного сына зайца и заклевала его насмерть. Долго звучал в лесу его тонкий, страдающий голосок. Друг-приятель заяц находился в это время в пути, и, когда до него дошло печальное известие, он едва не лишился рассудка.

В другой раз куница разорвала белочке горло. Белочка вырвалась из ее цепких когтей, взобралась на дерево и как одержимая стала кататься по ветвям. Иногда она вдруг садилась, в отчаянии подымала передние лапки, обхватывала бедную свою голову, и красная кровь струилась по белой грудке. Внезапно она сжалась, хрустнули сучья, и белочка упала в снег. Тотчас к тушке слетелись сороки и принялись за свое мрачное пиршество.

А вскоре после этого лиса разорвала красивого, сильного фазана, которого любил и уважал весь лес.

Весть о его гибели разнеслась далеко окрест, вызвав всеобщее сожаление и горячее сочувствие к безутешной вдове. Лиса выкопала фазана из-под снега, где он перемогал зиму в полной уверенности, что он надежно укрыт. Теперь уж никто не мог считать себя в безопасности, коль такое случалось средь бела дня. Нужда, которой не предвиделось конца, породила ожесточение и грубость. Нужда усыпляла совесть, пресекала добрые побуждения, разрушала хорошие обычаи, убивала жалость.

— Даже не верится, что когда-нибудь будет лучше! — вздыхала мать Бемби.

И тетя Энна вздыхала тоже:

— Не верится, что когда-нибудь было лучше.

— О нет! — возражала Марена, задумчиво глядя в какую-то ей одной ведомую даль.— Я постоянно думаю о том, как хорошо было прежде...

— Послушайте,— обратилась тетя Неттла к тете Энне, кив-

нув на Гобо,— что это ваш мальчик дрожит? Он всегда так дрожит?

— К сожалению, да,— огорченно сказала тетя Энна.— Уже с давних пор.

— О! — сказала тетя Неттла со своей обычной прямотой.— Будь он моим ребенком, я бы сильно опасалась, что он не дотянет до весны.

С Гобо в самом деле обстояло неважно. Он был такой хрупкий — куда слабее Бемби и Фалины и сильно отстал от них в росте. Теперь ему с каждым днем становилось все хуже. Гобо не мог добывать пищу из-под снега: это причиняло ему боль. И он совсем обессилел от голода, холода и лишений. Он беспрерывно дрожал и стал ко всему безучастен.

Тетя Неттла подошла к Гобо и дружелюбно толкнула его в бок:

— Ну, не вешать нос! Это вредно и совсем не идет маленькому принцу! — Она отвернулась, чтоб скрыть волнение.

Вдруг Ронно, сидевший неподалеку, вскочил.

— Я не знаю... что это?..— пробормотал он, озираясь.

Все насторожились.

— Что случилось?..

— Не знаю, ничего не знаю,—повторил Ронно.—Но мне неспокойно... вдруг мне стало неспокойно... Что-то такое происходит...

Карус втянул воздух:

— Я ничего не чувствую.

Оба стояли, навострив уши и глубоко втягивая ноздрями воздух.

— Ничего... вроде ничего...— проговорили они.

— И все же,— убежденно произнес Ронно,— вам меня не разубедить... что-то такое происходит...

Марена сказала:

— Кричали вороны...

— Они снова кричат! — быстро добавила Фалина.

Теперь и остальные услышали вороний карк.

— Вон они летят! — воскликнул Карус.

Все дружно подняли головы. Высоко над кронами деревьев летела воронья стая. Они летели с окраины леса, с того последнего рубежа, откуда всегда приходила опасность. Вороны сердито переговаривались.

— Ну что, разве я неправ? — сказал Ронно.— Сразу видно — что-то надвигается.

— Что же делать? — испуганно прошептала мать Бемби.

— Бежать! — воскликнула тетя Энна.

— Ждать,— убежденно сказал Ронно.

— С детьми? — переспросила тетя Энна.— Ждать, когда Гобо еле передвигает ноги?

— Ну хорошо,— сказал Ронно,— уходите. По-моему, это бессмысленно, но я не хочу, чтобы меня потом упрекали.

— Идем, Гобо, Фалина, идем! — И тетя Энна вместе со своими детьми двинулась вперед.

Остальные остались на месте. Они стояли тихо, прислушиваясь и дрожа общей дрожью.

— Только этого недоставало ко всему, что нам пришлось пережить! — сказала тетя Неттла.

Сорочий таратор послышался в той же стороне леса, откуда прилетели вороны.

— Внимание!.. Внимание!.. Внимание!..— трещали они.

Их еще не было видно, но отчетливо слышался предостерегающий, вразнобой, вперебив крик:

— Вни-вни-вни-ма-ние!..

Но вот сороки показались. Перелетая с дерева на дерево, носились они взад и вперед испуганно и неутомимо.

— Гха-х! — вскричала сойка и громко прокричала знакомый всем сигнал тревоги.

Внезапно олени тесно сбились в кучу.

То был Он!

Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, дурманила голову, ужасом холодила сердце.

Взбудораженный лес наполнился движением, щебетом, писком. В ветвях шныряли синицы — сотни маленьких пушистых комочков — и пищали изо всех силенок:

— Вперед! Вперед!

С паническим криком пронесся черный дятел. Сквозь темную сетку обнаженного кустарника было видно, как на снегу метались узкие, длинные тени. То были фазаны. Посреди них мелькало что-то красное, вероятно лиса. Но никто теперь не боялся ее. Тяжкий, невыносимый запах тек сквозь лес, примиряя всех его обитателей в общем страхе, в общем стремлении спастись во что бы то ни стало.

Этот таинственный давящий запах пронизывал лес с такой неслыханной, небывалой силой, что все поняли: на этот раз Он не один, Он идет с себе подобными.

Не двигаясь, смотрели олени на встрепанных, растерянных синиц и дроздов, на белок, отчаянно скачущих со ствола на ствол, и думали, что всем этим малюткам, в сущности, нечего бояться. И все же олени понимали их: ведь и эти малютки чуяли Его, а ни одно лесное существо не может вынести Его приближение...

Вот прискакал друг-приятель заяц, на миг остановился и поспешно заскакал дальше.

— Что там происходит? — крикнул ему вдогон Карус.

Друг заяц присел, но лишь повел глазами, говорить он не мог.

— К чему спрашивать? — сумрачно проговорил Ронно.

Друг заяц глотнул воздуха.

— Мы окружены,— прошептал он беззвучно.— Выхода нет. Всюду Он!

И в тот же миг все услышали Его голос. Десять, двадцать, тридцать раз подряд Он прокричал:

— Хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха-ха!..

Это звучало сокрушительно, как буря или ураган. Он колошматил по стволам деревьев, заставляя их громко стонать. Это было ужасно. Шорох и свист раздвигаемых кустов, стон деревьев, гром и треск ломаемых сучьев сопровождали каждый Его шаг.

Он шел сюда, в самую чащу.

Там, откуда Он шел, послышались короткие свистящие трели, всхлопы широких крыльев — это поднялся фазан. Секунду или две было слышно, как набирает он высоту, и тут раздался резкий удар грома. Тишина. Затем глухой удар о землю.

— Он убит,— трепеща, сказала мать Бемби.

— Первая жертва,— добавил Ронно.

Марена, юная девушка, почти ребенок, сказала:

— В этот час погибнут многие из нас. И я буду среди них.

Но сейчас было не до нее, над всем господствовал страх.

Бемби пытался понять происходящее, но все нарастающий шум путал его мысли. Гремело, свистело, трещало, громыхало со всех сторон, и в этом сумбуре звуков Бемби слышал, как бьется его сердце. Время от времени мать говорила ему: «Будь подле меня». Она говорила громко, почти кричала, но в окружающем гуле казалось, что она шепчет.

Это «будь подле меня» давало Бемби какую-то опору. Слова матери приковывали его будто цепью, иначе бы он давно кинулся наутек. Но всякий раз, когда он терял над собой власть, слышал он эти слова.

Бемби осмотрелся. Вот проскочила чета ласок: две узенькие извивающиеся полоски, едва уловимые глазом. Еж жадно прислушивался к каждой новости, которую, запинаясь, сообщал ему вконец отчаявшийся заяц. Вертелась лиса в сутолоке мельтешащихся фазанов. Они не обращали на нее никакого внимания, сновали под самым ее носом, но и лисе было не до них. Вытянув шею, насторожив уши, она вовсю работала носом, пытаясь что-нибудь понять во всей этой суматохе. Рыжим пушистым хвостом она часто колотила себя по ногам.

Торопливо подбежал фазан. Он выскочил из самого пекла и был вне себя.

— Только не подниматься! — кричал он своим.— Только не подниматься! Бежать, бежать и бежать!

Он без конца твердил одно и то же, будто хотел убедить самого себя, но едва ли сознавал, что́ говорит.

— Хо-хо-хо!.. Ха-ха-ха!..— прозвучало совсем рядом.

— Только не подниматься! — крикнул фазан и тут же, с громким треском расправив крылья, взлетел.

Бемби следил, как прямо и круто взмыл он меж деревьев, шурша крыльями, мерцая синим и коричневым в золото глянцем своего роскошного убора, чудесного, как драгоценность. Шлейф его длинных хвостовых перьев гордо распространялся по воздуху. Резко прозвучал короткий удар грома. Фазан сложился, перевернулся через голову, будто желая ухватить клювом собственные ноги, и тяжело рухнул наземь. Он упал посреди фазаньей сутолоки и больше не двигался.

Пять или шесть фазанов одновременно поднялись в воздух, громко шурша крыльями.

— Не подниматься! — кричали остальные, бросившись врассыпную.

Гром ударил пять или шесть раз, и взлетевшие фазаны бездыханными упали на землю.

— Теперь идем! — сказала мать.

Бемби обернулся. Ронно и Карус уже ушли. Исчезла и тетя Неттла. Лишь одна Марена осталась с ними. Они двинулись вперед: Бемби рядом с матерью, позади скромно выступала Марена.

Бушевало, ревело, трещало, гремело со всех сторон. Мать оставалась спокойной. Она, правда, не могла унять дрожь, но сохраняла ясный разум.

— Бемби, дитя мое,— говорила она,— об одном прошу: держись все время возле меня. Мы отсюда выберемся, только не надо торопиться.

А канонада все нарастала. Десять — двенадцать раз подряд прогремел гром, который Он извлекал из своих рук.

— Спокойно,— повторяла мать.— Только не бежать! Когда мы найдем лаз, тогда беги, беги изо всех сил. И помни, дитя мое: ты не должен обращать внимание на меня. Что бы ни случилось со мной... даже если я упаду... помни одно: бежать, бежать изо всех сил!

Мать расчетливо, шаг за шагом, продвигалась вперед, не обращая внимания на то, что́ творилось вокруг.

Взад и вперед носились фазаны, с размаху зарывались в снег, тут же выпрастывались и мчались дальше. Вычерчивая зигзаги, прискакала вся зайчиная семья, присела и враз, дружно заскакала дальше.

Никто не произносил ни слова. Измученные страхом, оглушенные непрерывными раскатами грома, лесные обитатели словно утратили разум.

Лес немного проредился, и впереди, в плетении кустарника, засияла светлая щель. А позади, приближаясь с каждой секун-

дой, раздавался барабанный постук по стволам деревьев, треск ломаемых сучьев, раскатистое «Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!..».

Дорогу оленям перескочил друг-приятель заяц с двумя сородичами. Бум-та-ра-рах! — прогремел гром. Бемби увидел, как заяц на бегу перекувырнулся, показав светлое брюшко, и остался лежать. Он дернулся раз, другой и затих. Бемби в страхе остановился.

Но тут раздался чей-то крик:

— Они идут!.. Прочь отсюда!.. Скорее прочь!..

Громкий шорох широко распластанных крыльев, свист, рыдание, шелест оперенья — это всей стаей поднялись фазаны. А громовые удары рвали воздух в клочья. Было слышно, как глухо шлепались на землю сбитые птицы, как отряхивались те из них, кому удалось спастись.

И вдруг Бемби услышал чью-то незнакомую поступь и оглянулся. То был Он. Он возникал изо всех кустов, ближних и дальних. Отовсюду, куда ни кинешь взгляд, круша все на своем пути, барабаня по стволам деревьев, ломая кустарник, со всех сторон надвигался Он.

— Пора! — сказала мать.— Вперед! Не прижимайся ко мне, держись чуть поодаль.

Одним прыжком достигла она лаза и, взметнув столб снега, выскочила наружу, Бемби ринулся следом. Гром гремел над самой его головой; казалось, раскалывается небо. Ничего не видя перед собой, Бемби мчался вперед. Лишь одно неистовое желание владело им: вырваться из этого грохота и чадного дурмана, спастись, спастись во что бы то ни стало, иного не было в его сердце. Он бежал. На какой-то миг Бемби привиделось, будто мать упала, но, возможно, это только показалось ему. Пелена застилала глаза. Гонимый страхом, мчался он вперед, мчался без памяти, без чувств, без разума...

Но вот он миновал пустое пространство, и другая чаща приняла его в свои объятия. Позади еще звучали крики, гремели выстрелы, и в ветвях что-то пересыпалось, будто начинался град. Затем все стихло.

На снегу лежал умирающий фазан со свернутой шеей, крылья его слегка трепыхались. Услышав шаги Бемби, он чуть дернулся и прошептал:

— Вот и все...

Не обратив на него внимания, Бемби пробежал мимо. Вскоре, запутавшись в густом валежнике, он вынужден был сдержать шаг. Нетерпеливо принялся он нащупывать тропу и вдруг услышал:

— Бемби!

Бемби круто остановился. Голос принадлежал кому-то из его племени.

Снова прозвучало:

— Бемби!.. Это ты?..

В стороне от тропы по самую шею увяз в снегу Гобо. Видно, он совсем выбился из сил и уже не пытался стать на ноги.

Охваченный горячей жалостью, Бемби кинулся к своему другу.

— Где твоя мама, Гобо? — спросил он, задохнувшись.— Где Фалина? — Бемби говорил быстро, возбужденно, нетерпеливо, страх все еще стучал в его сердце.

— Мама и Фалина побежали дальше,— покорно ответил Гобо.— Я упал, и они вынуждены были оставить меня здесь. Я не могу идти дальше, но ты должен бежать.— Он говорил тихо, но серьезно и рассудительно, как взрослый.

— Вставай! — крикнул Бемби.— Вставай, Гобо! Ты довольно отдохнул. Вставай! Идем со мной!

— Нет, оставь меня,— тихо сказал Гобо.— Я не могу подняться, у меня нет сил. Правда, Бемби. Я бы охотно исполнил твое желание, но я не могу.

— Что же с тобой будет? — с тоской спросил Бемби.

— Не знаю. Наверно, я умру,— просто сказал Гобо.

И тут снова послышались выстрелы и крики. Бемби весь подобрался. Что-то затрещало в зарослях, затопало по снегу и вдруг обернулось юным Карусом. Заметив Бемби, Карус крикнул на бегу:

— Вперед! Не останавливаться! Кто может — вперед!

Он исчез, но его стремительный бег повлек Бемби за собой. Бемби даже не сознавал, что бежит, и прошло какое-то время, прежде чем он, не оборачиваясь назад, крикнул:

— Прощай, Гобо!

Но он был слишком далеко, чтобы Гобо мог его услышать.

До самого вечера носился Бемби по гремящему, грохочущему лесу. Лишь с наступлением темноты все утихло. Легкий ветерок выдул прочь отвратительный запах, успевший проникнуть в самые укромные уголки леса. Первым, кого встретил Бемби, был Ронно. Он хромал сильнее обычного.

— У подножия большой сосны,— принялся рассказывать Ронно,— лежит лисица в предсмертной агонии. Я только что проходил мимо. Ужасно видеть ее мучения. Она прогрызла снег и сейчас грызет землю...

— Вы не видели мою маму? — спросил Бемби.

— Нет,— испуганно ответил Ронно и тут же отошел.

Уже поздней ночью Бемби повстречал тетю Неттлу с Фалиной. То-то была радость!

— Вы не видели мою маму? — спросил Бемби.

— Нет,— ответила Фалина.— Я даже не знаю, где моя собственная мама!

— Вот те раз! — весело сказала тетя Неттла.— Я, кажется, получила нежданный подарок! Я-то радовалась, что мне никогда больше не придется иметь дело с детьми, и вдруг у меня на шее сразу двое! Премного благодарна!

Бемби и Фалина засмеялись.

Потом разговор зашел о Гобо. Бемби рассказал, в каком положении застал его, и обоим стало грустно, глаза их наполнились слезами. Но тетя Неттла не дала им поплакать.

— Прежде всего мы должны позаботиться о еде. Это же неслыханно — за целый день у нас не было маковой росинки во рту!

Тетя Неттла повела ребят к кустарнику, на котором еще сохранились пожухлые, полузасохшие листья. Сама она не прикасалась к еде — она хотела, чтобы Фалина и Бемби хорошенько поели. Затем она потащила их на другое место, где из-под снега торчали кусточки травы. «Вот здесь хорошо... Нет, вот здесь лучше...»

Иногда тетя Неттла принималась ворчать:

— Чужие дети! Какой вздор! Вечно ты, Неттла, попадаешь в глупейшие истории.

Вдруг все они увидели тетю Энну и кинулись ей навстречу. Фалина вне себя от радости высоко подпрыгивала, напевая:

— Мамочка!.. Мамочка!..

— Тетя Энна! — кричал Бемби.

Но тетя Энна плакала, она казалась до смерти измученной.

— Пропал Гобо! — рыдала она.— Я была на том месте, где мы его оставили,— там пусто. Нет его, нет моего маленького Гобо!

Тетя Неттла пробормотала:

— Ты бы посмотрела, куда ведут следы. Это лучше, чем плакать.

— Там нет следов моего сыночка,— отозвалась тетя Энна.— Но Он оставил множество следов... там, где лежал Гобо.

Наступило молчание, и тогда Бемби с глубоким унынием спросил:

— Тетя Энна... ты не видела мою маму?

— Нет...— тихо ответила Энна.

Бемби никогда больше не видал своей матери...

Луга давно расцвели. Зазеленели кусты и деревья, но новорожденные листочки были совсем крошечные. Озаренные нежным светом раннего утра, свежие, будто улыбающиеся, они напоминали детей, только что пробудившихся от сна.

Стоя перед кустом орешника, Бемби терся своей молодой короной о ствол. Это было необычайно приятно! Кроме того,

это было необходимо, потому что луб и мех еще обволакивали его рога. Конечно, этот некрасивый чехол и так отпал бы в конце концов, но тому, кто любит порядок, лучше самому позаботиться о себе. И Бемби так старательно чистил свою корону, что лубяная оболочка рвалась в клочья и длинными лохмотьями свешивалась ему на уши.

И в какой-то миг, наддав орешник рогами, Бемби почувствовал, что его корона крепче ствола орешника. Это ощущение наполнило его гордостью и силой. Все яростнее наскакивал он на орешник, срывая с него лоскуты коры. Обнажившееся белое тело дерева быстро покрывалось на воздухе красным налетом ржавчины. Но Бемби не жалел дерево, напротив — свежие раны орешника еще сильнее возбуждали его. Вскоре и окружающие орешник кусты бузины покрылись глубокими метинами...

— Ну, еще немного — и все будет в порядке,— произнес рядом с Бемби чей-то юный голосок.

Бемби вскинул голову и увидел белочку, с дружеским вниманием следившую за его работой.

— Тья-ха! — резко и коротко всхохотнул кто-то в вышине.

Бемби и белочка не успели испугаться, как из чащобы дубовых ветвей прозвучал голос дятла:

— Извините, пожалуйста... Я не могу удержаться от смеха, когда вижу такое!..

— Что, собственно, вас так рассмешило? — вежливо спросил Бемби.

— Ну,— сказал дятел,— вы совсем не умеете взяться за дело. Прежде всего следует выбирать стволы потолще, на тонких стволах они вообще не водятся.

— Кого вы имеете в виду,— спросил Бемби.

— Жуков, разумеется! — засмеялся дятел.— Жуков и личинок. Смотрите, как это делается.— И он забарабанил по стволу: тук, тук, тук!..

Белочка прошмыгнула по стволу и, найдя дятла, принялась его бранить:

— Ну что вы болтаете? Какое принцу дело до всяких жуков и личинок?

— А почему же нет? — удивился дятел.— Они очень вкусны.— Он с хрустом раскусил жука, проглотил его и вновь застучал клювом по коре дуба.

— Ах, вы ничего не понимаете! — возмущалась белочка.— У этого знатного господина совсем иные, более высокие цели... Вы поставили себя в глупое положение!

— Меня это ничуть не трогает, я плюю на высокие цели! — весело вскричал дятел и улетел прочь.

Белочка скользнула вниз.

— Вы меня не знаете? — кокетливо спросила она Бемби.

— Я полагаю, что знаю вас очень хорошо,— дружелюбно ответил Бемби.— Вы живете там, наверху.— Он кивнул на вершину дуба.

Белочка весело посмотрела на него.

— Вы путаете меня с моей бабушкой,— сказала она.— Я так и знала, что вы путаете меня с бабушкой. Это она жила там, наверху, когда вы еще были ребенком, принц Бемби. Она часто рассказывала мне о вас. Да... но затем ее убила куница. Это было давно, зимой. Вы, наверное, не помните...

— Отчего же,— Бемби склонил голову,— я слышал об этом.

— После нее сюда переселился мой отец.— Белочка сделала большие глаза, выпрямилась и вежливо прижала к груди передние лапки.— Быть может, вы путаете меня с моим отцом? Вы знали моего отца?

— К сожалению, я был лишен этого удовольствия.

— Ну, это не удивительно! — воскликнула белочка.— Он был такой угрюмый и боязливый, он ни с кем не общался.

— А где он теперь? — осведомился Бемби.

— Ах! — воскликнула белочка.— С месяц назад он попал в лапы к сове. С тех пор я и поселилась здесь и так прижилась, что многие думают, будто я жила тут всегда.

Бемби повернулся, чтобы идти своей дорогой.

— Подождите минуточку! — окликнула его белочка.— Я вовсе не о том собиралась с вами говорить. У меня совсем иное было на уме!

— Что вы хотели сказать? — ласково спросил Бемби,останавливаясь.

— Да, что я хотела сказать? — Белочка задумалась, затем подпрыгнула вдруг и села столбиком, опершись на свой пушистый хвост.— Ах, я вспомнила! Я хотела сказать, что ваша корона необычайно красива!

— Вы находите? — обрадованно спросил Бемби.

— Чудо как хороша! — И белочка клятвенно прижала к груди передние лапки.— Такая высокая и пышная! И с такими длинными светлыми зубцами! Это так редко бывает...

— Правда? — спросил Бемби.

Он так обрадовался, что тут же снова атаковал орешник. Кора спадала длинными тяжами.

— Я должна прямо сказать,— продолжала тем временем белочка,— что ни у кого из ваших нет такой короны, кроме Старейшего, конечно... Это просто необычайно... Для тех, кто знал вас прошлым летом... Я видела вас однажды, но трудно поверить, что вы тот самый малыш. Эти тоненькие росточки, которые...

— Будьте здоровы,— неожиданно прервал ее Бемби.— Мне пора идти.— И он побежал прочь.

Бемби не любил, когда ему напоминали о прошлом лете. Это была самая тяжелая пора в его жизни. Первое время после исчезновения матери он чувствовал себя совсем потерянным. В тот год зима длилась бесконечно; намерзшим, наголодавшим лесным жителям казалось, что весна никогда не придет. Если бы не тетя Неттла, Бемби едва ли перенес бы зиму. Она взяла его под свою опеку и помогала всем, чем только могла. И все же Бемби чувствовал себя очень одиноким. Ему не хватало Гобо, бедняги Гобо, разделившего печальную участь многих обитателей леса. Бемби часто вспоминал о нем. Только теперь понял он по-настоящему, как добр и благороден был его погибший друг.

Фалину он видел редко. Необычно робкая и боязливая, она держалась постоянно возле матери.

Поздней весной, когда наконец потеплело, Бемби немного приободрился. Он начистил до белизны свою первую молодую корону и очень гордился ею. Но тут пришла новая напасть: все другие коронованные олени возненавидели его и преследовали всеми возможными способами. Они гнали его прочь от себя, не могли терпеть его соседства. Их жестокое обращение держало Бемби в постоянном страхе. На каждом шагу подстерегала его беда. Он стал избегать публичных сборищ, выбирал заброшенные, потайные тропы и бродил там в мрачном, молчаливом одиночестве.

В ясные, солнечные дни его охватывало непонятное беспокойство, сердце наполнялось страстным, тоскующим стремлением, жутким и сладостным. Встречая изредка Фалину или какую-нибудь из ее подруг, он испытывал к ним неудержимое влечение. То же ощущение владело им, если он узнавал их след или чутьем угадывал их близость. Тогда, не в силах справиться с собой, он кидался на розыски. В лучшем случае он никого не находил и тщетно, измученный душой и телом, слонялся по лесу; в худшем — набредал на кого-либо из своих коронованных родичей. Тогда ему задавали изрядную трепку. Его били, валили с ног, катали по земле и с позором прогоняли прочь. Хуже всего обращались с ним Ронно и Карус.

Зачем только напомнила ему белочка об этой горькой поре! Зачем всколыхнула тяжкие и унизительные воспоминания! Словно желая уйти от них, Бемби ринулся прочь, не разбирая дороги.

Синицы и корольки испуганно выпархивали из кустов, через которые мчался Бемби, и удивленно спрашивали друг у дружки:

— Кто это?.. Что это?..

Сорока гаркнула тревожно:

— Что случилось? Что случилось?

И в тон ей обозленно вскричала сойка:

— Ну, что там еще у вас?

Бемби не обращал на них никакого внимания.

Черный дрозд, перелетая с дерева на дерево, напевал ему:

— С добрым утром!.. Как я ра-ад!..

Бемби остался глух к его привету.

Лес вокруг посветлел, пронизанный лучами набравшего силу солнца, но Бемби и этого не заметил...

Внезапно что-то с треском вылетело из-под самых его ног и, сверкнув всеми цветами радуги, на миг ослепило Бемби. То был Джанелло, фазан. Еще мгновение — и Бемби наступил бы ему на спину. Набирая высоту, Джанелло громко бранился.

— Это неслыханно!..— кричал он своим надтреснутым, клохчущим голосом.

Бемби озадаченно поглядел ему вслед.

— Хорошо еще, что так обошлось...— проговорил нежный, воркующий голосок рядом с Бемби.— Но с вашей стороны это, право, неосторожно.

То была Джанеллина, жена фазана. Она высиживала в траве яйца.

— Мой муж ужасно испугался,— продолжала она укоризненно.— Так же, впрочем, как и я сама. Но я не могу двинуться, я прикована к месту, как и всегда в подобных обстоятельствах, и вы легко могли раздавить меня...

Бемби смутился.

— Извините, пожалуйста,— произнес он, запинаясь.— Я сделал это не со зла.

— О, пожалуйста! Конечно же, это было не со зла. Но мой муж и я — мы такие нервные сейчас. Вы же сами понимаете...

Бемби ничего не понял и побрел дальше. Лес пел вокруг него. Солнце позолотило и нагрело воздух, а кустарники, травы и тихо дымящаяся росистыми испарениями земля остро заблагоухали. Молодая сила разлилась по телу Бемби, и он двинулся вперед каким-то особенно упругим, пружинистым шагом.

Вот он приблизился к кусту бузины и, высоко вскидывая колени, стал рыть землю, разбрасывая во все стороны черные, жирные комья. Его тонкие, остро раздвоенные копытца скашивали росшую у подножия бузины траву, заячью капустку, подснежники, фиалки и отгребали их прочь, пока не обнажилась темная, взрыхленная земля.

Два крота, работавших над своими ходами в развилке корня старой бирючины, с любопытством уставились на Бемби.

— Однако... Это же курам на смех то, что он делает! — прошептал один крот другому.— Разве так роют?

Другой иронически поджал уголки тонкого рта:

— Да он понятия не имеет о рытье... сразу видно... Так всегда бывает, когда берутся не за свое дело.

Вдруг Бемби поднял голову, навострил уши и внимательно огляделся. Сквозь плетение листьев кустарника просвечивало

что-то красное, смутно белели зубцы короны. Бемби фыркнул. Кто же это опять преследует его: Ронно, Карус или кто-то другой? Хватит! «Покажи, что ты никого не боишься! — в смятении думал Бемби.— Пусть боятся тебя!» И он бросился вперед...

Шелестели кусты, трещали и ломались сучья на пути стремительного скока Бемби. Теперь уже он видел противника во весь рост, он не узнавал его. Все плыло перед глазами, лишь одна отчетливая мысль билась в мозгу: вперед!

Низко опустив рога, собрав в затылке всю силу, готовился Бемби к удару. Он уже слышал запах шерсти противника, видел его незащищенный бок. Но тут противник Бемби сделал едва уловимое движение, и Бемби, скакнув, вместо ожидаемого препятствия встретил пустоту. Проскочив мимо цели, он шатнулся, но все же сохранил равновесие и быстро повернулся, готовый к новому броску. И тут он узнал Старейшего...

Бемби от неожиданности так растерялся, что совсем пал духом, и только стыд помешал ему броситься наутек. Он стоял, беспомощно переминаясь с ноги на ногу.

— Ну? — спокойно произнес Старейший.

Его глубокий голос, звучавший негромко, но повелительно, как и всегда, проник Бемби в самое сердце.

— Ну? — повторил старый олень.

— Я думал...— пробормотал Бемби,— я думал, это Ронно или...— Он замялся и лишь робко глядел на Старейшего.

А тот стоял, недвижный и могучий, его голова уже совсем поседела, но темный, глубокий взгляд сверкал прежней гордой, огневой силой.

— Почему же ты не нападаешь на меня? — спросил Старейший.

Бемби смотрел на него теперь со странным, неизведанным воодушевлением и тайным содроганием. Ему хотелось ответить: «Потому что я люблю тебя»,— но вместо этого он сказал:

— Не знаю.

А Старейший ощупывал его глазами:

— Давно я не видел тебя. Ты стал большим и сильным.

Бемби ничего не ответил, он дрожал от счастья. А Старейший продолжал испытующе разглядывать его. Неожиданно он подступил вплотную к Бемби.

— Будь храбр,— сказал он, повернулся и в то же мгновение исчез.

Бемби долго оставался на месте...

Настало жаркое лето. И сладкая, влекущая, уже раз испытанная тоска вновь охватила Бемби. Она пела в его крови, горячим беспокойством пронизывала тело. Он без устали блуждал по лесу в страстной и напряженной погоне за неведомым.

Однажды он встретил Фалину. Встретил совсем неожиданно

и, отуманенный своей странной тоской, не сразу узнал ее. И вот она стоит перед ним...

Несколько секунд Бемби созерцал ее молча, затем у него вырвалось:

— Фалина, какая ты стала красивая!

— А ты все-таки узнал меня? — спросила Фалина.

— Как мог я тебя не узнать! — вскричал Бемби.— Разве мы не выросли вместе?

Фалина вздохнула:

— Мы так долго не виделись...— И добавила: — Мы стали совсем чужими друг другу.— Это было сказано ее прежним легким, непринужденным тоном.

Теперь они стояли близко друг возле друга.

— Вот этой тропинкой,— после короткого молчания начал Бемби,— мы часто ходили с мамой, когда я был еще маленьким.

— Она ведет на поляну,— сказала Фалина.

— На поляне я впервые встретил тебя! — восторженно сказал Бемби.— Ты помнишь?

— Да,— ответила Фалина,— меня и Гобо.— Она тихонько вздохнула.— Бедный Гобо!

И Бемби повторил:

— Бедный Гобо!

Они стали вспоминать прошлое, то и дело спрашивая друг друга: «А помнишь»?, «А это ты помнишь?»

Оказалось, что оба помнят все. Это радовало их и удивляло.

— Там, на поляне,— вспомнил Бемби,— мы играли в «догонялку». Помнишь?

— Кажется, это было вот так...— начала Фалина и вдруг с быстротой молнии скакнула в сторону.

В первое мгновение Бемби опешил, затем закричал счастливым голосом:

— Погоди! Погоди минуточку!

— Я не могу ждать,— поддразнила его Фалина.— Я очень тороплюсь.— И легкими прыжками заскакала через кусты и травы, описывая полукружья.

Бемби кинулся ей наперерез, быстро нагнал и преградил ей дорогу.

Теперь они вновь спокойно стояли рядом, болтали и смеялись. Им было легко и радостно. Внезапно Фалина высоко подпрыгнула, словно ее укололи, метнулась в сторону и вновь принялась кружить по поляне. Бемби припустил за ней. Но сейчас ему не удавалось так быстро ее поймать — Фалина ускользала.

— Подожди! — молил Бемби.— Ну подожди же... Мне надо тебе что-то сказать!..

Фалина остановилась.

— Ну, что?..— спросила она с любопытством.

Бемби молчал.

— Ах, вечно ты все выдумываешь! — И Фалина повернулась, будто намереваясь уйти.

— Подожди,— быстро сказал Бемби.— Я хотел... Я хотел тебя спросить... Ты любишь меня, Фалина?

Она посмотрела на него заинтересованно и выжидательно:

— Я не знаю.

— Но ты должна это знать,— настаивал Бемби.— Я же вот знаю, всем своим существом знаю, что люблю тебя. Ужасно люблю. Ну скажи, что ты любишь меня.

— Может быть, и люблю...— ответила Фалина неуверенно.

— И ты всегда будешь со мной?

— Если ты как следует попросишь! — улыбнулась она.

— Я прошу тебя, Фалина! Любимая, дорогая, чудная моя Фалина! — вскричал Бемби.— Ты слышишь? Я прошу тебя всем сердцем!

— Ну, тогда я, конечно, буду с тобой,— нежно ответила Фалина и, кивнув ему, пошла прочь.

Восхищенный и растроганный, Бемби двинулся за ней на почтительном расстоянии. Обогнув по опушке поляну, Фалина углубилась в чащу. Бемби хотел последовать за ней, но тут затрещали кусты, и перед ним предстал разъяренный Карус.

— Стой! — крикнул он.

Но, занятый одной лишь Фалиной, Бемби едва взглянул на него.

— Пусти! — сказал он торопливо.— Мне сейчас не до тебя.

— Прочь! — злобно прохрипел Карус.— Сию минуту прочь! Или я изувечу тебя! Я запрещаю тебе преследовать Фалину!

Эти слова пробудили в Бемби самые горькие, самые ненавистные воспоминания: как долго, как несправедливо, как беспощадно преследовали его, травили, мучили! Он не произнес ни слова, но вмиг, исполненный бешенства, опустил голову и ринулся на Каруса. Это был неотразимый удар. Прежде чем Карус мог сообразить, что же произошло, он уже лежал на земле. Карус тотчас вскочил, но едва он оказался на ногах, как новый мощный удар отбросил его в сторону. Карус зашатался, присел, чувствуя непривычную слабость во всех членах.

— Бемби! — крикнул он и хотел еще раз крикнуть.— Бем...

Но третий удар в лопатку едва не вышиб из него дух.

Карус отклонился в сторону, чтобы избежать очередного наскока Бемби, и вдруг странно похолодевшим сердцем понял: это гибель. Он повернулся и кинулся бежать.

Бемби молча гнался за ним по пятам, и в этом грозном молчании противника Карус прочел свой приговор: не жди милости, Бемби разделается с тобой раз и навсегда. Карус круто

свернул с дороги, из последних, скудных сил вломился в кустарник и повлекся дальше, оставляя на сучьях клочья шерсти. Но Бемби вдруг оставил погоню. Он прислушался, чутко прядая ушами, затем поспешил назад.

Едва выбежав на опушку, Бемби увидел Фалину, преследуемую Ронно.

— Ронно! — крикнул он, сам не слыша своего голоса.

Хромой Ронно бегал плохо. Он словно обрадовался нежданной помехе и тут же бросил преследование.

— Вот те на! — сказал он надменно.— Мой маленький Бемби! Тебе что-нибудь нужно от меня?

— Я хочу,— сказал Бемби с подавленным гневом,— я хочу, чтобы ты оставил в покое Фалину и сейчас же удалился отсюда.

— Только-то? — издевательски спросил Ронно.— А ты, однако, стал дерзким парнем!

— Ронно,— сказал Бемби еще тише,— я прошу об этом ради тебя. Сейчас ты еще можешь уйти, но потом... потом...

— Ого! — воскликнул Ронно, не на шутку обозленный.— Вот как ты заговорил? Уж не считаешь ли ты меня и впрямь хромым? Или победа над беднягой Карусом ударила тебе в голову? Послушай доброго совета...

— Нет, Ронно,— прервал его Бемби,— это я даю тебе добрый совет: уходи.— Голос его дрожал.— Я всегда любил тебя, Ронно, и преклонялся перед твоим умом. Я отдаю тебе должное, Ронно, потому что ты старше и опытнее меня. Но сейчас в последний раз говорю: уходи... Моему терпению приходит конец...

— Плохо, что у тебя так мало терпения,— презрительно сказал Ронно.— Это большой недостаток, малыш. Но успокойся, я тебя не задержу. Я разделаюсь с тобой в одно мгновение. Или ты забыл, сколько раз я задавал тебе трепку?

Лучше бы Ронно не вспоминал об этом. Бемби онемел от ярости и как безумный ринулся на Ронно. Тот ждал его, низко опустив голову. С треском сшиблись они лоб в лоб. Ронно стоял твердо, и его удивило, что Бемби не отлетел назад. Он никак не ожидал, что Бемби отважится напасть первым. Дерзость противника смутила его. Почувствовал он и молодую, увесистую силу Бемби и понял, что ему не устоять. Тогда Ронно решился на хитрость: быстрым движением отвел он голову, рассчитывая, что, потеряв упор, Бемби повергнется наземь. Но Бемби лишь чуть пошатнулся, стал на задние ноги и ринулся на Ронно с удвоенной яростью. Послышался резкий, звонкий хруст — у Ронно обломился зубец короны, но Ронно показалось, что треснул лоб. В ушах у него засвистело, из глаз посыпались искры. В следующий миг мощный удар разорвал ему плечо. У Ронно сперло

дыхание, он опустился на землю, а над ним в неукротимом гневе вырос Бемби.

— Пощади!..— простонал Ронно.

Бемби вслепую, наугад, нанес ему еще удар.

— Я прошу тебя...— жалобно молил Ронно.— Ты же знаешь, что я хромой... Я же просто шутил... Пощади меня...

Грудь Бемби тяжело вздымалась. Он медленно отвел нацеленные для удара рога и ступил в сторону. Ронно с трудом поднялся. Он истекал кровью, его шатало из стороны в сторону. Безмолвно заковылял он прочь... Бемби устремился в чащу, чтобы разыскать Фалину, но она сама вышла ему навстречу. Она пряталась близ опушки и все видела.

— Это было замечательно! — сказала она со смехом, а затем добавила тихо и серьезно: — Я люблю тебя...

Они пошли вместе счастливые.

Однажды они решили разыскать прогалинку, на которой Бемби последний раз встретил Старейшего. Бемби уже не раз с воодушевлением рассказывал Фалине об этой встрече.

— Может быть, нам посчастливится его увидеть. Я так соскучился по нему!

— Это было бы мило,— небрежно сказала Фалина.— Я не прочь поболтать с ним.

Она говорила неправду: при всей своей легкомысленной дерзости она побаивалась старого вождя.

Сумерки расцедились, близился восход солнца. Они тихо двигались сквозь колышущийся под утренним ветерком кустарник. Неподалеку от них что-то зашуршало. Они замерли, настороженно вглядываясь в окружающую заросль. И вот что они увидели. Раздвигая кусты, к прогалине медленно двигался их громадный сородич. В предрассветном сумраке, лишающем простор обычных красок, он казался гигантским серым призраком.

Фалина жалобно закричала. Бемби тоже был испуган, и привычный вопль готов был вырваться из его горла, но он страстным усилием сдержал себя. Голос Фалины звучал так беспомощно, что жалость и сострадание пересилили в Бемби страх.

— Что с тобой? — шептал он с заботливой лаской, хотя голос его дрожал.— Что с тобой? Он не сделает нам ничего плохого.

Но Фалина вопила как исступленная.

— Не волнуйся, дорогая,— просил Бемби.— Он же наш родич, в конце концов.

Но Фалина не желала и слышать о подобном родстве. Как

завороженная взирала она на лося, который, нисколько не заботясь о произведенном впечатлении, спокойно шествовал дальше. Она все кричала и кричала.

— Ну пересиль же себя! — молил Бемби.— Что он подумает о нас!

— Пусть думает что угодно! — воскликнула Фалина, не в силах овладеть собой.— А-а-о!.. Ба-а-о!.. А-а-о! Это чересчур — быть таким громадным!..— Она продолжала вопить во все горло: — А-а-о!.. Ба-а-о!..— А в промежутках между выкриками бросала Бемби: — Оставь меня в покое! Я не могу иначе! А-а-о!.. Ба-а-о!..

Могучий родич остановился на прогалине и принялся отыскивать в траве сочные былинки.

Переводя растерянный взгляд с обезумевшей Фалины на спокойного, равнодушного богатыря, Бемби испытывал какое-то новое, незнакомое чувство. Успокаивая Фалину, он преодолел собственный страх, и сейчас ему было непонятно, как мог он раньше так теряться при встрече с этими высокородными.

— Глупо!.. Стыдно!..— произнес он в сердцах.— Сейчас я пойду и познакомлюсь с ним.

— Не делай этого! — вскричала Фалина.— Не делай этого! Ба-а-о! Это принесет нам несчастье! Ба-а-о!

— Я сделаю это непременно,— твердо возразил Бемби.

Его оскорбляло и унижало высокомерное спокойствие лося, не обращавшего на них никакого внимания.

— Я иду к нему,— сказал он.— А ты постарайся успокоиться, Фалина. Увидишь, все будет хорошо.— И он действительно пошел.

Но Фалина не стала ждать развязки. Она повернулась и с громким криком побежала прочь. Долго звучал ее голос:

— Ба-а-о! Ба-а-о!..

По чести говоря, Бемби охотно последовал бы ее примеру, но это уже было невозможно. Собравшись с духом, он пошел вперед.

Сердце громко забилось в груди Бемби, когда он вышагнул на прогалину. Лось вскинул голову, глянул на пришельца сверху вниз и тотчас же отвел взгляд.

Высокомерие сказывалось в каждом его движении. И в том, как он смерил Бемби взглядом, и в том, как глядел сейчас поверх его головы в какую-то далекую пустоту.

Бемби растерялся. У него было твердое намерение заговорить с лосем. «Доброе утро,— хотел он сказать,— меня зовут Бемби. Могу ли спросить о вашем почтенном имени?» Вот и все! Но как же не просто оказалось это на деле! Приличие обязывало Бемби заговорить первым, раз он подошел к лосю, но боязнь показаться навязчивым затыкала ему рот.

Лось стоял величественный и неприступный, вид его сковывал, подавлял Бемби. Тщетно пытался он стряхнуть с себя эту странную оцепенелость, тщетно твердил себе: «Почему я робею? Я почти такой же большой, как он... Я такой же большой, как он...»

Но уговоры не помогали: в глубине своего существа Бемби сознавал, что он вовсе не такой большой, как лось. Далеко не такой большой. Тоскливо и мутно было у него на сердце.

А лось глядел на Бемби и думал:

«Он великолепен!.. Он поистине великолепен!.. Какая стать!.. Какое изящество в каждом движении!.. Но я не должен так разглядывать этого прекрасного юношу. Это может смутить его...»

И он вновь стал глядеть поверх Бемби, вдаль...

Какой высокомерный взгляд! Это просто невыносимо — ты чувствуешь себя рядом с ним не больше самой хилой козявки на паутинных ножках!..

А лось думал: «Я бы с удовольствием заговорил с ним. Как это нелепо и досадно, что мы никогда не общаемся!» — И взгляд его чуть затуманился грустью.

«Я для него просто не существую,— думал Бемби.— Все мы ничто для господ из этого клана!..»

«Но о чем бы мог я с ним говорить? — думал лось.— Я не речист, скажу что-нибудь несуразное и лишь опозорюсь в глазах этого юноши, который, наверно, очень умен...»

Бемби собрался наконец с духом и твердо взглянул на лося. «Как он горд и прекрасен!» — подумал он с отчаянием.

«Нет, видно, придется отложить знакомство до другого раза»,— решил лось и пошел своей дорогой, недовольный, разочарованный и, как всегда, величавый.

Бемби долго глядел ему вслед...

Лес курился под палящими лучами солнца. Едва взойдя, оно согнало с неба все тучи, не оставив даже самого маленького перистого облачка, и сейчас единовластно царило в бескрайней, блеклой от зноя голубизне.

Над полянами и лугами, над кронами деревьев воздух колебался стеклянно-прозрачными волнами — так колеблется, дрожит и мерцает он над жарким пламенем. Не шелохнутся ни лист, ни былинка. Умолкли птицы, попрятавшись в тень листвы. Пустынны прогалины, дороги и просеки, ни один зверь не выйдет сейчас на тропу. Пронизанный сверкающим светом, лес недвижим, он словно вымер. Но на деле он полон скрытой жизни. Дышит земля, дышат цветы, кусты, деревья, дышит зверьё в тяжком блаженстве зноя.

Бемби спал.

Всю ночь был он счастлив с Фалиной, до самого утра не прекращали они своей веселой игры. Наконец забрезжил рассвет, и пора было подумать о еде. Но Бемби так устал, что совсем не чувствовал голода. Глаза у него слипались, его неудержимо клонило долу. Прямо посреди кустарника опустился он на землю и тотчас заснул. Горьковато-острый дух нагретого солнцем можжевельника и нежный аромат молодой черемухи у него в головах овевали его, сонного, наполняя свежей, хмельной силой.

Он проснулся внезапно, пронизанный острой тревогой. Сквозь сон услышал он чей-то зов. Фалина?..

Бемби огляделся. Ему помнилось, что Фалина стояла рядом с ним и ощипывала листочки белобородника. Он думал, что она так и останется возле него. Но, видно, она ушла и сейчас, прискучив одиночеством, призывала его...

Прислушиваясь, Бемби пытался понять, долго ли он спал и давно ли зовет его Фалина, но сон все еще туманил голову.

Снова прозвучал зов, и Бемби мигом повернулся на голос. Вот еще и еще. Бемби сразу обрел бодрость, он почувствовал себя отдохнувшим, сильным и... очень голодным.

Вновь прозвучало чисто, как птичий щебет, тоскующе и нежно:

— Приди!.. Приди!..

Да, то был ее голос! То была Фалина! Бемби стремительно рванулся с места; враз пригнулись ветки кустарника, затрепетали листочки. Но на самом разлете скачка Бемби пришлось круто забрать в сторону: прямо перед ним, преграждая ему путь, стоял Старейший.

Любовь бурлила в Бемби, и старик был ему сейчас безразличен. Он охотно повидался бы с ним в другое время, но сейчас ему было не до него. Бемби слегка кивнул Старейшему и хотел пройти мимо.

— Куда? — строго спросил тот.

Бемби почувствовал стыд и честно ответил:

— К ней, к Фалине...

— Не ходи,— сказал Старейший.

Искра гнева пронизала Бемби. Не идти к Фалине? Как может этого требовать злой старик? Бемби решил было удрать, но глубокий взгляд больших темных глаз, как и всегда, приковал его к месту.

— Она зовет меня...— проговорил он, дрожа от нетерпения.

— Нет,— сказал Старейший,— она не зовет тебя.

И тут тоненько, как птичий щебет, прозвенело:

— Приди-и!..

— Вот опять! — возбужденно воскликнул Бемби.— Ты слышишь теперь?

— Слышу,— кивнул Старейший.

— Так я пойду,— торопливо сказал Бемби.— Позволь мне идти...

Но Старейший приказал:

— Стой!

— Чего вы хотите от меня? — вскричал Бемби.— Пустите меня! Ведь Фалина зовет... Должны вы понять...

— Я говорю тебе, это не она.

— Но... я же узнал ее, это ее голос...— в отчаянии сказал Бемби.

— Послушай меня...— начал было Старейший.

Но тут снова прозвучал зов, и Бемби показалось, что земля горит у него под ногами.

— Пустите! — взмолился он.— Я скоро, я сразу же вернусь!..

— Нет,— печально сказал Старейший,— ты не вернешься. Никогда!

Снова прозвучал зов.

— Я должен идти... Должен! — вне себя бормотал Бемби.

— Хорошо же,— печально сказал Старейший,— мы пойдем вместе.

— Быстрее!..— крикнул Бемби и прыгнул вперед.

— Не спеши! — повелительно сказал Старейший.— Ты пойдешь позади меня. След в след.

Он двинулся вперед, и Бемби, нетерпеливо вздыхая, последовал за ним.

— Слушай,— говорил Старейший,— сколько бы раз ты ни слышал зов, оставайся при мне. Если это Фалина, она никуда от тебя не уйдет. Но это не Фалина. Верь мне и подчиняйся.

Бемби молчал, он словно онемел от горя.

Медленно продвигались они вперед. О, старый знал, как надо ходить! Шаг его был беззвучен, ни один лист не шелохнулся на их пути, ни один сучок не хрустнул. А ведь Старейший пробирался сквозь густой кустарник, сквозь частое плетение зарослей. И Бемби, несмотря на все свое нетерпение, восхищался им и пытался ему подражать.

Вновь и вновь звучал тоскующий призыв. Вдруг Старейший резко забрал вправо. Бемби понял, что тот ведет в обход, и эта ненужная задержка привела его в отчаяние.

— При-и-ди!..— послышалось снова, но теперь голос уже звучал в стороне.

Как ни мучительно текло время, но они все ближе и ближе подходили к голосу, неутомимо славшему в простор свой нежный призыв.

— Что бы ты ни увидел,— тихо сказал Старейший,— не двигайся... Слышишь?.. Внимательно следи за мной и делай то же, что и я... и не поддавайся страху...

Еще несколько шагов — и вдруг резкий, возбуждающий, хорошо знакомый запах ударил Бемби в ноздри. Он глотнул его так много, что едва удержался от вскрика. Как пригвожденный, замер он на месте, сердце его билось у самого горла.

Старейший хранил полное спокойствие.

«Там!» — указал он Бемби взглядом.

А там, прислонившись к стволу дуба, полускрытый кустами орешника, совсем близко от них стоял Он и тихонько звал:

— Приди!.. Приди!..

Его широкая спина была обращена к оленям, лицо оставалось скрытым.

Бемби был потрясен, он раз за разом повторял себе:

«Да, это Он... Это действительно Он... Это Он подражал голосу Фалины... Это Он звал: приди, приди!..»

И когда наконец эта истина проникла в сознание Бемби, леденящий ужас охватил его, и мысль о бегстве вмиг напружила тело.

— Ни с места! — быстро и властно прошептал Старейший.

И такова была мощь этого голоса, что смятенный, растерянный Бемби повиновался.

Старейший смотрел на него чуть насмешливо, затем взгляд его вновь стал серьезным и благожелательным. И все же Бемби чувствовал, что не может дольше оставаться здесь, в нестерпимой близости к Нему.

— Идем,— сказал Старейший, угадав его чувство, и повернул назад.

Осторожно скользили они прочь. Старейший уходил не прямо, а зигзагами, смысла которых Бемби не понимал. Но, не смея ослушаться, он старательно подражал шагу вожака, хотя каждая его жилка дрожала от нетерпения. Только теперь его подстегивала уже не любовь, а страх...

А Старейший то и дело останавливался; прислушивался, выписывал новый зигзаг и останавливался; и снова шел неторопливо, очень неторопливо. И все же в какой-то миг Бемби почувствовал, что они уже далеко ушли от опасного места...

«Когда он снова остановится,— подумал Бемби,— я поблагодарю его».

Но тут Старейший на глазах у Бемби свернул в орешник и скрылся в его густом плетении. И опять ни один лист не шелохнулся, ни один сучок не хрустнул там, где он скользил. Бемби последовал за ним, пытаясь двигаться столь же бесшумно, столь же искусно обходить препятствия. Но листья тихонько шелестели

на его пути, ветки, сгибаясь о его бока, распрямлялись со свистом, тонкие сучки ломались с коротким треском о его грудь.

«Он спас мне жизнь,— думал Бемби.— Что я скажу ему?»

Но Старейшего и след простыл. Бемби вышел из кустарника и оказался на пустынном, глухом месте, поросшем рутой. Вскинув голову, он огляделся, но нигде не мог обнаружить даже легкого шевеления листка, даже слабого вздрога травинки. Бемби был один, совсем один. И, уже не чувствуя над собой чужой власти, он дал волю давно томившему его позыву к бегству. Под его летящим вперед телом тугой ракитник стлался словно под косой...

После долгих блужданий ему удалось отыскать Фалину. Он задыхался, он был измучен, но счастлив.

— Прошу тебя, любимая,— сказал он,— я прошу тебя... не зови меня, когда мы в разлуке... никогда не зови меня!.. Будем лучше искать друг друга, пока не найдем... Но не зови, никогда не зови меня, потому что я не смогу устоять перед твоим зовом...

Через несколько дней они беззаботно шли рощицей молодых дубков по ту сторону поляны. Они хотели пересечь поляну и выйти к старому дубу, от которого зачиналась их обычная дорожка.

У опушки заросль проредилась, тогда они сдержали шаг и внимательно осмотрелись. Близ старого дуба, в зеленой листве, мелькало что-то красное.

— Кто бы это мог быть? — прошептал Бемби.

— Ах, ну кому там быть, кроме Ронно или Каруса! — отозвалась Фалина.

— Едва ли,— покачал головой Бемби.— С некоторых пор они избегают меня... Нет, это не Ронно и не Карус... это чужой...

— Правда чужой, теперь я тоже вижу,— согласилась Фалина.— Но как странно он себя ведет!

— Не странно, а глупо! — сказал Бемби.— Удивительно глупо! Он ведет себя, как малое дитя... Словно на свете не существует опасности!

Фалина сгорала от любопытства:

— Пойдем туда!

— Пойдем,— согласился Бемби.— Не мешает получше рассмотреть молодца...

Они не сделали и трех шагов, как Фалина заколебалась:

— А если он затеет ссору... Он, кажется, сильный...

— Ба! — Бемби пренебрежительно мотнул головой.— Посмотри, какая у него маленькая корона... Мне ли его бояться? Парень, правда, плотный и толстый, но сильный ли... Не думаю. Идем!

И они двинулись дальше.

Между тем незнакомец как ни в чем не бывало лакомился сочными метелками трав. Он заметил их, когда они уже достигли середины поляны, и тут же бросился им навстречу, игриво и радостно подпрыгивая. Бемби и Фалина остановились. Но вот он подскакал еще ближе и стал в двух шагах от них.

— Вы не узнаете меня? — спросил он.

Бемби стоял в боевой готовности, низко опустив голову.

— А разве ты знаешь нас? — отозвался он.

— Но Бемби! — воскликнул тот доверчиво и укоризненно.

Услышав свое имя, Бемби вздрогнул и невольно отступил назад. При звуке этого голоса его сердце тронулось каким-то далеким воспоминанием, а Фалина уже прыгнула навстречу незнакомцу.

— Гобо! — крикнула она.— Это ты, Гобо!

— Фалина,— тихо сказал Гобо.— Фалина... Сестренка... Ты все-таки узнала меня.

Он подошел к ней и поцеловал ее. По щекам его текли слезы. И Фалина заплакала, не в силах вымолвить слова.

— Да... Гобо...— пробормотал Бемби. Он был потрясен, растроган, сбит с толку.— Да... Гобо... Значит, ты не умер?

Гобо рассмеялся:

— Как видишь... Думаю, что это сразу заметно.

— Но... тогда... на снегу...— настаивал Бемби.

— Тогда... Это Он спас меня тогда.

— И где же ты был все это время? — спросила Фалина, глядя на брата широко открытыми глазами.

— У Него...— ответил Гобо.— Все это время я был у Него.— Посматривая то на Фалину, то на Бемби, Гобо наслаждался их удивлением.— Да, мои дорогие... Я много пережил, больше, чем вы оба здесь, в вашем лесу.

Слова его звучали немного хвастливо, но Фалина и Бемби были слишком поражены, чтобы обратить на это внимание:

— Ну говори же, не мучай нас! — вскричала Фалина.

— О! — произнес Гобо самодовольно.— Я могу рассказывать целый день и все-таки не дойду до конца.

— Так начни хотя бы, Гобо! — сказал Бемби.

Но Гобо повернулся к Фалине. Он сразу стал очень серьезным.

— Мама жива? — спросил он тихим, робким голосом.

— Да! — весело вскричала Фалина.— Она жива... Но я давно не видела ее.

— Я хочу сейчас же к ней! — сказал Гобо.— Вы пойдете со мной?

И они втроем двинулись в путь и шли в полном молчании.

Бемби и Фалина чувствовали, что мысли Гобо заняты матерью, и не хотели ему мешать. Лишь порой, когда Гобо второпях пробегал мимо нужного поворота или сгоряча сворачивал не туда, куда следовало, они тихо поправляли его.

— Прямо! — шептал Бемби.

— Нет, не сюда! — шептала Фалина.

Несколько раз им пришлось пересечь открытые места. Бемби и Фалина заметили, что Гобо ни разу не остановился на краю чащи, чтобы оглядеться, а выбегал на простор сразу, без всякой опаски. Они обменивались удивленными взглядами, но ничего не говорили Гобо и следовали за ним со смущенным сердцем.

Долго блуждали они по лесу, пока Гобо не узнал тропинку своего детства. Растроганный, он обернулся и, не подозревая, что его вели Фалина и Бемби, крикнул:

— Что скажете — ловко я вас привел?..

Вскоре они подошли к маленькому лесному тайнику.

— Здесь! — крикнула Фалина и проскользнула внутрь.

Гобо последовал за ней, и сердце его замерло сладкой болью. Это был тот самый тайничок, та зеленая хижина, где оба они появились на свет и возле матери провели все свое детство. Взгляды их встретились, и Фалина тихонько поцеловала брата.

Еще долго блуждали они по лесу. Солнце светило сквозь ветви все ярче и ярче, дневная тишина окутывала лес, приближалось время отдыха. Но Гобо не чувствовал усталости. Он шагал, не разбирая дороги и бесцельно шаря вокруг себя глазами. Он совсем отвык от лесной жизни. Он весь сжался, когда в траве прошмыгнула ласка, и едва не наступил на фазанов, тесно прижавшихся к земле. Когда же фазаны, громко шурша крыльями, взлетели перед самым его носом, Гобо ужасно испугался.

Бемби удивляли слепота и неуклюжесть Гобо — он вел себя на лесной тропе, как чужак.

Но вот Гобо сдержал шаг и, повернувшись к Фалине, сказал с отчаянием:

— Мы никогда не найдем маму!

У него опять появилось то унылое выражение, которое Фалина так хорошо знала.

— Скоро, Гобо,— сказала она мягко,— скоро.— И добавила со смехом: — А хочешь — давай звать маму, как мы звали ее в детстве, помнишь?

И тут Бемби, шедший немного впереди, вдруг увидел тетю Энну.

Она отдыхала, лежа в тени орешины. Не успел он окликнуть Гобо и Фалину, как они уже оказались возле него. Все трое молча смотрели на тетю Энну. Та тихо подняла голову и приоткрыла сонные глаза.

Гобо робко шагнул вперед.

— Мама!..— произнес он негромким, шатким голосом.

Словно вспугнутая громовым ударом, тетя Энна вмиг вскочила на ноги, и Гобо всем телом подался к ней.

— Мама!..— Голос его пресекся.

Мать посмотрела сыну в глаза, крупная дрожь пронизывала ее с головы до ног. Она ничего не сказала, ни о чем не спросила, она только медленно целовала Гобо в губы, целовала его щеки и шею; она омывала его своими поцелуями, как в ту далекую пору, когда он только появился на свет...

Все обитатели леса собрались в тесный кружок в глубине чащи, чтобы послушать рассказы Гобо.

Был тут и друг-приятель заяц, сын покойного зайца. В крайнем изумлении подымал он свои уши-ложки, боясь пропустить хоть слово, и вдруг ронял их бессильно, чтобы тут же снова поднять.

Сорока пристроилась на низеньком сучке молодого бука и внимала рассказчику с остолбенелым видом. В отличие от нее сидевшая на ясене сойка вела себя неспокойно: она то и дело пронзительно вскрикивала, не в силах побороть изумление. Тут же находились и знакомые фазаны со своими женами и детьми. Они в безмолвном удивлении ворочали шеями, изгибая их и так и этак, и во все стороны летели от них золотые стрелы.

Без устали скакала по ветвям взволнованная белочка. Она то соскальзывала по стволу чуть ли не до самой земли, то взлетала до маковки дерева, то вдруг усаживалась столбиком на свой пушистый хвост, показывая белую грудку. Ей не терпелось прервать Гобо, чтобы высказаться самой, но окружающие всякий раз призывали ее к порядку.

А Гобо рассказывал, как, оставшись без всякой помощи на снегу, он поджидал смерти.

— Собаки нашли меня,— говорил он.— Собаки — это самое страшное в мире. Их пасть полна крови, их голос полон гнева, они не ведают сострадания.

Свысока оглядев слушателей, он продолжал:

— Ну... с тех пор я не раз играл с ними, словно они мои родичи, и теперь я совсем не боюсь их. И все же, когда я слышу их лай, у меня по-прежнему начинает шуметь в голове и цепенеет сердце. Они далеко не всегда делают это с плохими намерениями, но их голос трудно выносить...— Гобо многозначительно замолчал.

— Ну, а что же было в тот раз? — с испуганным любопытством спросила Фалина.

— В тот раз собаки хотели растерзать меня, но тут явился Он!

Гобо сделал паузу, слушатели почти не дышали.

— Да,— сказал Гобо,— тут явился Он, прикрикнул на собак, и они отползли от меня прочь. Он прикрикнул еще раз, и собаки покорно легли у Его ног. Тогда он поднял меня и, ласково прижимая к себе, понес...

— Что это значит — понес? — спросила Фалина.

Гобо принялся объяснять ей важно и обстоятельно.

— Да это совсем просто! — прервал его Бемби.— Ты погляди, Фалина, как это делает белочка, когда она скачет с орешком в лапах. Это и значит «нести».

Тут белочка сочла наконец возможным вставить слово.

— Один из моих кузенов...— начала она быстро.

Но все вокруг закричали:

— Тише, тише, пусть Гобо продолжает!

Белочке пришлось замолчать.

Она огорченно прижала к груди передние лапки и повернулась к сороке в надежде, что та выслушает ее в частном порядке.

— В самом деле... один из моих кузенов...

Но сорока просто-напросто показала ей спину.

А Гобо все рассказывал о разных чудесах.

— Снаружи холодно, бушует непогода, а внутри тихо и тепло, как летом...

— Гхах! — проскрипела сойка.

— Снаружи льет дождь, все мокнет, а внутри хоть бы одна капля упала, и ты совсем сухой.

Сверкнув драгоценным оперением, фазаны в лад склонили головы набок.

— Снаружи все было покрыто толстым, пушистым снегом, а я находился в тепле, мне было просто жарко. Он кормил меня каштанами, картофелем, репой, даже сеном — словом, всем, чего я только мог пожелать.

— Се-ном? — возбужденно и недоверчиво вскричали олени в один голос.

— Да, свежим сладким сеном,— повторил Гобо таким тоном, будто речь шла о самой обычной вещи.

В наступившей почти молитвенной тишине снова прозвучал тонкий голосок белочки:

— Один из моих кузенов...

— Да замолчишь ли ты! — закричали на нее хором.

И когда снова настала тишина, Фалина спросила брата:

— Откуда же брал Он зимой сено да и все остальное?

— Он выращивал,— важно ответил Гобо.— Он может вырастить все что захочет и когда захочет. Чего бы Он ни пожелал— все тут же появляется перед Ним.

— Скажи правду, Гобо: неужели тебе не было страшно в Его присутствии?

Гобо покровительственно усмехнулся:

— Нет, дорогая Фалина, нисколько. Я знал, что Он не сделает мне ничего дурного. Зачем же мне было бояться? Вы все считаете Его злым, но Он вовсе не злой. С теми, кого Он любит, кто верно служит Ему, Он удивительно добр. Никто в целом мире не может быть добрее Его.

Гобо все еще восхвалял доброту своего нового друга, когда из зарослей бесшумно выступил Старейший. Гобо не заметил его, но все остальные увидели Старейшего и замерли в благоговейном испуге. А тот стоял недвижно, как бы ощупывая Гобо своими строгими, глубокими глазами.

— Его дети тоже любили меня,— рассказывал Гобо,— и Его жена любила меня, и все Его домочадцы. Они ласкали меня, давали мне есть разные лакомства, играли со мной...

Тут Гобо осекся, заметив наконец Старейшего.

И в наступившей тишине Старейший обратился к Гобо своим обычным спокойным и властным голосом:

— Что это за полоса у тебя на шее?

Тут только все приметили на шее Гобо словно каемку из примятых, а частью вытертых волос.

Гобо смущенно ответил:

— Это?.. Это след от красивого банта, который я носил... Это Его бант... Большая честь носить Его бант...

Старейший долго глядел на Гобо, проницательно и печально:

— Несчастный,— сказал он тихо, повернулся и вмиг исчез.

Воспользовавшись минутным замешательством, белочка опять принялась за свое:

— В самом деле... Один из моих кузенов тоже побывал у Него... Он поймал моего кузена и долго держал взаперти... О, очень долго. Но как-то раз мой кузен...

Никто не стал слушать белочку, все расходились в глубокой задумчивости и смятении.

Нежданно-негаданно появилась Марена.

В ту зиму, когда исчез Гобо, она была почти взрослой девушкой, но с тех пор никто не видел ее — она держалась особняком, предпочитая одинокую дорогу.

Она осталась такой же худенькой и потому выглядела совсем юной. Но она была серьезна, тиха и превосходила всех сверстниц мягкой сдержанностью. Сейчас она узнала от белочки, сойки, дрозда и сороки, что в лес вернулся Гобо, переживший удивительные приключения, и пришла, чтобы повидать его.

Мать Гобо была польщена посещением Марены. Она переживала сейчас лучшую пору своей жизни: весь лес говорил о ее сыне, она наслаждалась славой и требовала, чтобы каждый признавал Гобо самым умным, самым достойным, самым лучшим в целом свете.

К стр. 631

— Что скажешь, Марена? — приветствовала она гостью.— Что скажешь ты о Гобо? — Не дожидаясь ответа, она продолжала: — Ты помнишь, тетя Неттла ни во что не ставила Гобо, и потому лишь, что он чуть дрожал во время морозов. Помнишь, она предсказывала, что он не принесет мне радости?

— Но вы хлебнули немало горя с Гобо,— заметила Марена.

— Это все позади! — воскликнула мать, от души удивленная, как можно вспоминать теперь подобные пустяки.— Ах, мне до слез жаль бедную тетю Неттлу! Умереть, так и не увидев, каким стал мой Гобо!

— Да, бедная тетя Неттла,— тихо сказала Марена.— Грустно, что ее нет среди нас.

Гобо с удовольствием слушал похвалы, которые расточала ему мать, они ласкали его, словно солнечное тепло.

— Даже Старейший приходил, чтобы взглянуть на Гобо,— продолжала мать таинственным шепотом.— А ведь он никогда не показывался среди нас... Но ради Гобо он пришел.

— Почему он назвал меня несчастным? — сказал Гобо недовольным тоном.— Хотел бы я знать, какой в этом смысл?

— Оставь! — утешила его мать.— Он стар и чудаковат.

Но Гобо никак не мог успокоиться:

— Я все время ломаю над этим голову. Несчастный! Какой же я несчастный? Я очень счастливый. Я видел и пережил больше, чем все вы, вместе взятые! Я лучше знаю мир и лучше знаю жизнь, чем любой из обитателей леса. Как ты полагаешь, Марена?

— Без сомнения, — убежденно сказала Марена.— Этого никто не сможет отрицать!..

С тех пор Гобо и Марена стали ходить вместе.

Бемби искал Старейшего. И в ночную пору, и в предрассветные часы, и на утренних зорях блуждал он нехожеными тропами один, без Фалины.

Порой его еще тянуло к Фалине и он с прежним удовольствием гулял с ней, слушая ее болтовню, обедал с ней на поляне или на лесной опушке, но это уже не захватывало его целиком.

Раньше, поглощенный близостью Фалины, он лишь очень редко, мельком, думал о встрече со Старейшим. Сейчас, разыскивая его по всему лесу, он почти не вспоминал о Фалине.

Слово, которое Старейший сказал Гобо, неотвязно звучало в ушах Бемби. С самого своего возвращения Гобо причинял Бемби острое беспокойство. Было что-то жалкое и мучительное в его облике. Бемби ни на миг не оставляла боязнь за Гобо, перед которым он испытывал странное и необъяснимое чувство стыда.

Когда ему доводилось теперь бывать в обществе Гобо, простодушного, самодовольного, наивно-высокомерного Гобо, в уме его

неотступно звенело слово: «Несчастный!» Он не мог выкинуть это слово из головы.

Однажды темной ночью Бемби был остановлен пронзительным вскриком своего старого приятеля сыча. Разыграв, по обыкновению, испуг, Бемби вдруг смекнул, что ночной летун может быть полезен ему в его поисках.

— Не знаете ли вы случайно, где сейчас Старейший? — спросил он сыча.

Сыч проворчал, что не имеет об этом ни малейшего понятия, но Бемби показалось, что голос его звучит неискренне.

— Нет,— сказал он,— я вам не верю. Вы так умны, вам известно все, что творится в лесу. Можете ли вы не знать, где находится Старейший?

Сыч, крайне польщенный, тесно прижал перышки к телу и стал совсем крошечным и гладким.

— Само собой разумеется, мне это известно,— проговорил он тихо и важно,— но я не смею разглашать тайну...

Бемби принялся упрашивать:

— Я не выдам вас, да и могу ли я при моем глубоком к вам уважении...

Сыч, снова превратившийся в пушистый, мягкий серо-коричневый шарик, повращал своими умными большими глазами, как и всегда, когда ему приходилось что-либо по душе, и сказал:

— Так-так. Значит, вы меня уважаете. А за что, позвольте спросить?

— За вашу мудрость,— искренне сказал Бемби.— Кроме того, за вашу всегдашнюю веселость и приветливость и еще за то, что вы так искусно умеете пугать окружающих. Это так умно, необыкновенно умно! Если бы я обладал вашим талантом, это принесло бы мне большую пользу.

Сыч глубоко погрузил клюв в грудное оперение — он был счастлив.

— Ну,— сказал он,— мне известно, что старый очень расположен к вам.

— Почему вы так думаете? — спросил Бемби, и сердце его радостно забилось.

— Я совершенно уверен в этом,— ответил сыч.— Он от души расположен к вам, и я полагаю, это дает мне право открыть вам его местонахождение.

Он снова стянул свои перышки к телу, словно ожидая, что его в благодарность погладят.

— Знаете ли вы ров, заросший ивами?

— Да,— кивнул Бемби.

— А знаком ли вам молодой дубняк по ту сторону рва?

— Нет,— признался Бемби,— я еще не бывал на той стороне.

— Тогда слушайте внимательно,— прошептал сыч.— По ту

сторону рва растет дубняк. За дубняком раскинулся кустарник, много кустарника: орешник, серебристый тополь, боярышник и бирючина. А посреди лежит старый, поверженный ветром бук. Там вы и должны искать. Но смотрите не выдавайте меня!

— Под стволом? — ошеломленно повторил Бемби.

— Ну да! — засмеялся сыч.— Ведь ствол лежит поперек глубокой ямы. Там вы и найдете старика.

— Спасибо вам! — сказал Бемби от всего сердца.— Не знаю, сумею ли я отыскать его по этим приметам, но тысячу раз благодарю вас.

И он быстро побежал прочь.

Сыч бесшумно следовал за ним и вдруг заорал над самым его ухом:

— У-ик! У-ик! У-ик!

Бемби всего передернуло.

— Вы испугались? — осведомился сыч.— Я напугал вас?

— Да...— пролепетал Бемби, и на этот раз он сказал правду.

Сыч заворковал, очень довольный:

— Я только хотел еще раз напомнить вам — не выдавайте меня.

Но Бемби уже бежал дальше.

Когда он достиг края рва, из темной, мрачной глуби нежданно и бесшумно вырос перед ним Старейший.

— Меня уже нет там, куда ты стремишься,— сказал он.— Что тебе нужно от меня?

— Ничего...— пробормотал Бемби, охваченный внезапной робостью.— О... ничего особенного...

После короткого молчания Старейший сказал мягким голосом:

— Но ты ищешь меня не первый день. Вчера ты дважды прошел совсем близко от меня, а сегодня ты едва не задел меня, пробираясь через валежник у лисьей норы.

— Почему...— Бемби собрал все свое мужество,— почему вы так сказали тогда о Гобо?..

— Ты что же, думаешь, я неправ?

— Нет, я чувствую, что это правда!..— страстно воскликнул Бемби.

Старейший чуть приметно кивнул. Глаза его еще никогда не глядели на Бемби так благосклонно, и Бемби, осмелев, повторил:

— Но почему? Вот что я не могу понять.

— Довольно и того, что ты чувствуешь это. Придет время — и ты все поймешь. Прощай.

Вскоре уже все обитатели леса стали замечать странное и опасное поведение Гобо.

Ночью, когда все бодрствовали и бродили по лесу, Гобо спал. Зато днем, когда каждое разумное существо ищет укрытия, чтобы

выспаться и отдохнуть, Гобо без малейшей опаски выходил из чащи и стоял посреди поляны в ярком свете солнца, сохраняя полное душевное спокойствие.

Бемби не мог больше терпеть подобное безрассудство.

— Ты что же, совсем не думаешь об опасности? — спросил он Гобо.

— Нет,— отвечал Гобо,— для меня ее просто не существует.

— Ты забываешь, дорогой Бемби,— вмешалась тетя Энна,— ты забываешь, что Он лучший друг моего Гобо. Вот почему Гобо может позволить себе гораздо больше, чем ты или кто другой.— И тетя Энна победоносно огляделась.

Однажды Гобо сказал ему доверительно:

— Странные порядки у вас тут в лесу: каждый кормится когда попало и где попало.

— А как же может быть иначе? — не понял Бемби.

— Что касается меня,— самодовольно сказал Гобо,— то я привык, чтобы еду мне приносили в положенное время и приглашали меня откушать.

Бемби с состраданием взглянул на Гобо. Затем он перевел взгляд на тетю Энну, Фалину и Марену, но те лишь посмеивались, восхищенные словами Гобо.

— Мне кажется,— сказала Фалина,— тебе будет особенно трудно привыкнуть к зиме, Гобо. У нас тут зимой не водится ни свежего сена, ни картофеля, ни репы.

— А ведь верно,— задумчиво произнес Гобо.— Мне это как-то не приходило в голову. Я даже представить себе не могу, каково это будет зимой. Должно быть, ужасно!..

— Не надо преувеличивать,— спокойно сказал Бемби.— Иной раз, правда, приходится трудно, но ничего ужасного в этом нет.

— Ну,— высокомерно сказал Гобо,— если мне будет трудно, я просто-напросто опять отправлюсь к Нему. Почему я должен голодать? Это не в моих привычках.

Бемби молча отвернулся и пошел прочь.

Когда Гобо остался наедине с Мареной, он заговорил о Бемби.

— Он не понимает меня,— жаловался Гобо.— Милый Бемби думает, что я все тот же маленький, глупый Гобо, каким он меня знал когда-то. Он никак не может взять в толк, что из меня вышло нечто не совсем обычное, что я не такой, как все. Далась ему эта опасность! Он, конечно, говорит из добрых побуждений, но пусть он раз и навсегда усвоит, что опасность существует только для него и ему подобных, но не для меня.

Марена во всем соглашалась с Гобо. Она любила его, и Гобо любил ее, они были очень счастливы друг с другом.

— Видишь ли,— продолжал Гобо,— никто не понимает меня

так хорошо, как ты. Конечно, мне не на что жаловаться, меня уважают и чтут повсеместно. Но ты, ты понимаешь меня лучше всех. Сколько ни рассказываю я другим о Его доброте, они все равно остаются при своем...

— А я всегда верила в Него! — мечтательно сказала Марена.— Разве ты не помнишь, что мы говорили о Нем незадолго до твоего исчезновения? И я сказала тогда, что настанет время и Он придет к нам в лес и будет играть с нами...

— Не-ет,— протянул Гобо,— этого я не помню...

Минуло несколько недель. Раннее хмарное утро застало Бемби и Фалину, Гобо и Марену в родном орешнике, неподалеку от поляны. Бемби и Фалина только что вернулись с прогулки; миновав старый дуб, они стали подыскивать себе место для ночлега, как вдруг столкнулись с Гобо и Мареной. Гобо держал путь на поляну.

— Оставайся-ка лучше с нами,— сказал Бемби.— Скоро взойдет солнце, сейчас никто не выходит на волю.

— Вот как! — усмехнулся Гобо.— Но я уж не раз говорил тебе, что другие мне не указка.

Он двинулся своей дорогой, Марена последовала за ним.

— Пусть делает что ему угодно! — в сердцах сказал Бемби Фалине.— Пойдем!..

Но не успели они и шага шагнуть, как с другой стороны поляны послышался пронзительный, предостерегающий крик сойки.

Бемби вмиг повернулся и кинулся вслед за Гобо. Он настиг его и Марену почти у самого дуба.

— Слышишь? — крикнул Бемби.

— Ты о чем?..— озадаченно спросил Гобо.

Снова пронзительно закричала сойка.

— Неужели ты не слышишь? — повторил Бемби.

— Ах, ты о сойке!..— спокойно сказал Гобо.— Но какое мне до нее дело?

— Это опасность! — пытался внушить ему Бемби.— Пойми ты — опасность!

Но вот затрещала сорока, за ней вторая, а вскоре и третья вплела свой стрекот в их тревожный переклик. Еще раз прокричала сойка, а высоко в воздухе подала свой сигнал ворона.

Теперь и Фалина принялась уговаривать брата:

— Не выходи, Гобо! Это опасно! Останься здесь, Гобо! Ну будь таким милым! Останься сегодня с нами... Ведь там опасность!..

Но Гобо только посмеивался:

— «Опасность»!.. «Опасность»!.. Какое мне дело до вашей опасности?

И тут Фалине пришла хорошая мысль:

— Пусть тогда один из нас выйдет первым, чтобы мы хоть знали...

Не успела Фалина договорить, как Марена одним прыжком выскочила из укрытия.

Все трое стояли и смотрели ей вслед. Бемби и Фалина — затаив дыхание, Гобо — с нарочито покорным видом.

Они видели, как Марена медленной, колеблющейся походкой шаг за шагом продвигалась к поляне. Высоко подняв голову, она во все стороны обнюхивала воздух.

Внезапно — молниеносный поворот, высокий прыжок, и словно мощным порывом ветра ее внесло обратно в чащу.

— Он!.. Он там! — лепетала она прерывающимся от ужаса голосом.— Я... я видела Его... Он там, по ту сторону, у ольхи...

— Надо бежать! — вскричал Бемби.

— Бежим, Гобо! — взмолилась Фалина.

А Марена беззвучно шептала:

— Прошу тебя, Гобо, бежим отсюда... я прошу тебя...

Но Гобо оставался невозмутим:

— Бегите, кто вас держит! А я пойду к Нему навстречу, чтобы приветствовать Его!

И он тут же без колебаний двинулся вперед.

Охваченные страхом за Гобо, они остались стоять и видели, как уверенно и неторопливо вышел он на поляну.

Спокойно стоя посреди поляны, Гобо взглядом отыскивал ольху. Вот он радостно вскинул голову, видимо приветствуя своего друга, и тут грянул гром. Гобо подкинуло в воздух, он стремительно повернулся и неверными прыжками бросился обратно в чащу.

Бемби, Фалина и Марена всё еще стояли, оцепенев от ужаса, когда мимо них промчался Гобо. Они услышали его свистящее дыхание, враз повернулись, нагнали Гобо и, заключив его в середину, понеслись дальше.

У старого дуба Гобо упал.

Они сразу остановились: Марена — рядом с Гобо, Бемби и Фалина — немного поодаль.

Гобо лежал с развороченным боком. Слабым, неверным движением приподнял он голову.

— Марена...— проговорил он с трудом.— Марена... Он не узнал меня...— Голос его прервался.

Буйно и грозно зашумели кусты на краю поляны.

Марена наклонилась к Гобо:

— Он идет, Гобо, Он идет... Вставай же, ты должен встать!..

Гобо еще раз попытался приподнять голову, засучил ногами и сник.

С треском, шорохом, свистом раздвинулись кусты — и вышел Он.

Марена увидела Его совсем близко. Медленно и бесшумно ступила она назад и скрылась в кустах орешника, затем легкими, неслышными скачками устремилась к Бемби и Фалине.

На пути она еще раз оглянулась и увидела, как Он склонился над поверженным и схватил его.

Затем раздался звенящий предсмертный крик Гобо.

Бемби был один. Он шел на реку, тихо катившую свои воды между густыми тростниками и старыми ветлами. С тех пор как Бемби избрал одинокую дорогу, он все чаще и чаще приходил сюда. Здесь не было проторенных троп, и ему не грозила встреча с кем-либо из родичей. Он очень изменился за последнее время: посуровел и погрустнел, жизнь представлялась ему безнадежно мрачной. Он и сам не понимал, что с ним происходит, да и не пытался разобраться в этом. В голове его бродили какие-то смутные, сбивчивые мысли, но раздумье приносило лишь усталость.

Бемби имел обыкновение подолгу стоять на речном берегу. Ему нравилось наблюдать течение воды на излучине; прохладное дыхание волн несло с собой незнакомый горьковатый аромат, успокаивающий и освежающий душу. Бемби стоял и смотрел на уток, которых тут было множество — настоящее утиное царство! Они беспрерывно переговаривались друг с дружкой, всегда любезно, умно и серьезно. У берега плавали утки-матери, каждая со своим выводком. Матери все время учили и воспитывали малышей, без устали сообщая им всё новые и новые полезные сведения. Порой то одна, то другая мать подавала сигнал опасности. Утята, не мешкая, кидались врассыпную, совершенно беззвучно и очень быстро.

Бемби видел, как малыши, еще не умевшие летать, задавали стрекача в густом камыше. Они продвигались так ловко и осмотрительно, что ни одна камышинка не могла выдать их предательским вздрогом. И там и здесь маленькие темные тела быстро прошмыгивали в ситник. Короткий зов матери — и вся ватага вихрем неслась назад. В один миг выводок был в сборе и вновь принимался осторожно крейсировать в заводи. Бемби не переставал удивляться ловкой утиной повадке. Право, это было похоже на фокус!

Как-то раз после очередной тревоги Бемби спросил почтенную утку-мать:

— А чем была вызвана тревога? Я смотрел очень внимательно, но ровным счетом ничего не заметил.

— Ничего и не было,— ответила утка.

В другой раз сигнал тревоги подал маленький утенок. Издав две-три резкие ноты, он быстро повернулся, стрелой пронесся

сквозь камыш и вышел на берег как раз в том самом месте, где стоял Бемби.

— Что случилось? — спросил Бемби.— Я ничего не заметил.

— Да ничего и не было,— ответил малыш.

Он не по годам умело отряхнул хвостовые перышки, искусно сложил над ними острые кончики крыльев и снова нырнул в воду.

Но Бемби был слишком высокого мнения об утках, чтобы поверить этим словам. Он понимал, что они более чутки и бдительны, чем он, у них острее слух и зорче взгляд. Когда он находился рядом с ними, его немного отпускало то постоянное трудное напряжение, в котором он жил последнее время.

Бемби любил беседовать с утками. В отличие от других обитателей леса, они не любили судачить о пустяках. Они рассказывали о воздухе, о ветре, о далеких полях, где растут вкусные сочные травы.

Несколько раз Бемби видел, как вдоль берега, подобно многоцветной молнии, проносился в воздухе неизвестный ему маленький летун. «Шр-р!» — тихонько, словно про себя, верещал зимородок, крошечная жужжащая точка. Он сиял голубым и зеленым, искрился красным, вдруг вспыхивал и исчезал. Восхищенный редкостным нарядом незнакомца, Бемби не раз окликал его, но тщетно.

— Напрасно вы стараетесь,— послышался из густого камыша голос водяной курочки,— он все равно не ответит.

— Где вы? — спросил Бемби, отыскивая ее взглядом в камыше.

— Я здесь! — послышался из ситника смешок водяной курочки.— Этот мрачный тип, которого вы только что звали, ни с кем не общается. Так что не трудитесь понапрасну.

— Он такой красивый! — сказал Бемби.

— Но скверный! — заключила водяная курочка, успевшая опять переменить место.

— Почему вы так думаете? — поинтересовался Бемби.

Совсем с другой стороны, из сухого желтого тростника, прозвучал ответ водяной курочки:

— Его ничто и никто не интересует. Пусть хоть весь мир пойдет прахом. Он ни с кем не здоровается и не отвечает на приветствия. Он никогда не даст знать, что опасность близка. Он еще ни с кем не перемолвился словом.

— Бедняга,— сказал Бемби.

Водяная курочка продолжала; теперь ее веселый голосок звучал среди широких темных листьев кувшинок:

— Он думает, что его две-три красочки вызывают зависть, и не хочет, чтобы кто-нибудь разглядел его получше.

— Но вы тоже не даете на себя взглянуть,— заметил Бемби.

Тотчас водяная курочка предстала перед ним. Ростом невеличка, но изящно сложенная, в темном простеньком, блестящем от воды наряде, появилась она перед Бемби — подвижная, живая, забавная. И вмиг скрылась под водой.

— Не понимаю, неужели можно так долго оставаться на одном месте! — крикнула она и добавила уже из отдаления: — Это скучно и опасно!

И еще раз прозвучал ее голосок, но совсем в другой стороне:

— Больше двигаться!

Снова переменив место, водяная курочка весело заключила:

— Если хочешь долго жить и быть всегда сытым, нужно двигаться!..

Легкое покачивание былинок заставило Бемби насторожиться. Он пригляделся. На береговом откосе мелькнула чья-то рыжая шубка и скрылась в тростнике. И сразу почуял он горячий, острый запах лисицы. Бемби хотел крикнуть, предупреждающе стукнуть оземь копытом, но не успел. Зашуршали камыши, что-то бултыхнулось, и жалобно закричала утка. Бемби услышал ее отчаянное трепыхание, на миг утка возникла над травой, и Бемби увидел, что она изо всех сил хлещет лисицу крыльями по щекам. Затем борющиеся скрылись за береговым откосом. Но вот снова появилась лисица, с добычей в зубах. Голова утки бессильно поникла, ее крылья слегка трепыхались, но это нисколько не заботило лисицу. Искоса насмешливо глянула она на Бемби и скрылась в чаще.

Бемби стоял неподвижно. С громким кряканьем поднялись на воздух две старые утки. Водяная курочка изо всех сил подавала запоздалый сигнал тревоги. Казалось, ее голосок звучит одновременно в нескольких местах. Синицы на кустах взволнованно попискивали. В камыше потерянно шныряли утята. Над берегом, сверкая и переливаясь, летел зимородок.

— Простите! — вскричали утята.— Вы не видели нашу маму?

— Шр-р! — просвиристел зимородок.— Мне нет до нее дела! — и, вспыхнув пунцовым пламенем, исчез.

Бемби повернулся и пошел прочь. Он пересек пустырь, заросший рутой, миновал высокий смешанный кустарник, долго шел ореховой порослью, пока не оказался на краю глубокого оврага. Бемби перебрался через овраг и стал искать Старейшего. Давно уже, с самой гибели Гобо, не виделись они.

Наконец Бемби увидел его и со всех ног кинулся ему навстречу.

Некоторое время они молча шли бок о бок. Затем Старейший спросил:

— Ну, часто среди ваших вспоминают о нем?

Бемби догадался, что тот имеет в виду Гобо.

— Не знаю... я почти все время один...— И нерешительно добавил: — Но я... я часто думаю о нем.

— Значит, ты теперь один?

— Да,— сказал Бемби и выжидательно посмотрел на Старейшего.

Но тот молчал. Они пошли дальше. Внезапно Старейший остановился:

— Ты ничего не слышишь?

Бемби прислушался. Нет, он ничего не слышит.

— Идем! — воскликнул Старейший и поспешно зашагал вперед.

Бемби следовал за ним. И снова Старейший остановился:

— Ты все еще ничего не слышишь?

На этот раз Бемби уловил какой-то невнятный шорох. Похоже было, что где-то пригнулись и резко распрямились ветви. При этом что-то глухо и мягко ударилось о землю.

Бемби приготовился к бегству.

— Идем туда! — приказал Старейший и, повернувшись на шум, устремился вперед.

— А там не опасно? — спросил на бегу Бемби.

— Как же!..— мрачно отозвался Старейший.— Там большая опасность!

Вскоре они увидели рослый куст черемухи. Ее ветки порывисто раскачивались вверх и вниз, словно их кто-то дергал и тряс. Подбежав ближе, они обнаружили, что здесь пролегает небольшая просека. И в самом начале просеки, на земле, простерся друг-приятель заяц. Он то метался в разные стороны, то вдруг замирал, то снова начинал метаться, причем каждое его движение отзывалось на ветвях черемухи.

Бемби приметил тонкую нить, похожую на побег или усик растения. Туго натянутая нить спускалась с ветки, другим концом захлестнув шею зайца.

Верно, друг-приятель заяц услышал, что кто-то идет. Он подскочил, упал, снова вскочил, порываясь бежать, но тут же кувырком полетел в траву и беспомощно забарахтался.

— Спокойно, друг заяц! Спокойно, это я! — сказал Старейший мягким, исполненным сострадания голосом, пронявшим Бемби до самого сердца.— Только не двигайся! Главное — не двигайся!

Заяц послушался. Теперь он лежал совсем тихо, лишь из груди его вырывалось сдавленное, хриплое дыхание.

Старый олень взял губами ветку черемухи, пригнул книзу и наступил на ее конец. Плотно придавив ветку копытом, он одним ударом рогов переломил ее.

Затем повернулся к зайцу:

— Крепись, как бы больно тебе ни было.

Склонив голову набок, он прижал один из рогов короны к затылку зайца, глубоко просунул его за ушами-ложками в мех и стал нащупывать петлю. Короткая судорога пронизала тело зайца. Олень тотчас его отпустил.

— Спокойно! — сказал он.— Дело идет о жизни!

Сызнова принялся он за свою работу. Заяц лежал тихо и неподвижно. Бемби следил за ними в молчаливом изумлении.

Рог оленя далеко проник в мех зайца и нащупал наконец петлю. Опустившись на колени, Старейший сверлящим движением головы просунул рог глубоко в петлю, чуть ослабив ее хватку.

Заяц судорожно глотнул воздух, и тотчас же его ужас и боль вырвались из него громким воплем.

— Молчи же! — сказал Старейший с кроткой укоризной.

Его рог упирался в плечо зайца, рог торчал между ушами-ложками, и было похоже, словно он насквозь проткнул друга-приятеля зайца.

— Не будь же таким глупым и перестань плакать,— совсем не строго ворчал олень.— Ты что же, хочешь лису сюда приманить? То-то и оно! Лежи спокойно!..

И он продолжал работать медленно, осторожно, сосредоточенно. Внезапно петля со свистом скользнула прочь. В первое мгновение заяц даже не заметил, что оказался на свободе. Затем он вскочил, сделал шаг и ошеломленно припал к земле. Но вот он прыгнул, еще раз и еще. Вначале робко, затем все смелее и вдруг припустил со всех ног.

— Даже не поблагодарил!..— возмущенно воскликнул Бемби.

— Он еще не пришел в себя,— мягко сказал Старейший.

Петля лежала на земле, на вид такая мирная и неопасная. Бемби тихонечко дотронулся до нее копытом. Она тонко зашипела, и Бемби испуганно отдернул ногу. Этот звук не принадлежал к знакомым ему лесным шумам.

— Он? — тихо спросил Бемби.

Старейший кивнул.

Не спеша двинулись они прочь.

— Запомни этот урок,— говорил Старейший.— Когда идешь по просеке, всегда проверяй ветки. Выставляй вперед рога и води ими вверх и вниз и, если услышишь такой вот шип, поворачивай назад. Будь вдвойне внимателен и осторожен в то время, когда ты не носишь корону. Я в эту пору вообще не хожу по просекам.

Бемби молчал, погруженный в свои думы.

— Так Его самого здесь нет...— прошептал он наконец в глубоком удивлении.

— Нет, сейчас Его нет в лесу.

— И все-таки Он есть! — горько сказал Бемби.

Старейший пристально взглянул на Бемби.

— Как это говорил ваш Гобо? Кажется, бедняга называл Его всемогущим и всемилостивейшим?

— А разве он не всемогущий?..— прошептал Бемби.

— Так же, как и не всемилостивейший! — гневно сказал Старейший.

— А как же с Гобо?..— робко пробормотал Бемби.— С Гобо он был добр...

Старый олень остановился.

— Ты так думаешь, Бемби? — спросил он печально. Впервые назвал он Бемби по имени.

— Не знаю! — воскликнул Бемби томительно.— Я ничего не знаю!

Старейший проговорил медленно:

— Что ж, учись жизни и будь настороже.

В этот день с Бемби случилось несчастье.

Бледный сумрак предрассветья растекся по лесу, с поля и лужаек поднялся молочно-белый туман. Была та удивительная мягкая, чуть колеблемая ветром тишина, что предшествует рождению утра. Еще не проснулись вороны и сороки, еще спала сойка.

Минувшей ночью Бемби встретил Фалину. Она глядела на него робко и печально.

— Я так одинока! — сказала она тихо.

— Я тоже одинок,— медленно проговорил Бемби.

— Почему ты больше не бываешь со мной? — смиренно спросила Фалина.

Бемби испытал мгновенную боль: веселая, дерзкая Фалина стала такой покорной и тихой.

— Одинокий путник идет дальше других! — Бемби хотел сказать это мягко, жалеючи, но против воли голос его прозвучал сурово.

— Ты больше не любишь меня? — спросила Фалина чуть слышно.

— Не знаю,— ответил Бемби.

Ничего более не сказав, Фалина медленно побрела прочь...

Теперь Бемби стоял один под старым дубом на краю поляны и пил утренний ветерок, который был так чист, что ничем не тревожил обоняние. Влажный бодрящий ветерок, приятно и свежо пахнущий землей, росой, травой и сырым деревом.

Бемби всей грудью вобрал воздух. Ему вдруг стало так легко на душе, как давно уже не было. Весело вышел он на поляну, окутанную бледным туманом.

И тут ударил гром.

Страшный толчок заставил Бемби покачнуться, осесть на задние ноги. В неистовом ужасе прыгнул он назад в чащу и бросился бежать. Он не понимал, что́ случилось, он не мог сосредоточиться ни на одной мысли, он только бежал, бежал. Страх с такой силой сдавил ему сердце, что трудно было дышать. Внезапно он почувствовал острую, колющую боль, правое бедро облилось нестерпимым жаром. Он невольно сдержал бег, затем перешел с бега на шаг. Задние ноги налились тяжестью, и Бемби показалось, что у него сломлен крестец. Он опустился на землю.

Какое наслаждение тихо лежать и ни о чем не думать!..

— Вставай, Бемби! Вставай! — Он почувствовал, что кто-то толкает его в плечо.

Он приоткрыл глаза и увидел Старейшего.

— Я не могу...— Бемби и сам не знал, произнес ли он это вслух или только подумал.

— Вставай, Бемби, вставай!

В голосе старого оленя было столько властного напора и вместе нежности, что даже боль, переполнявшая Бемби, на мгновение стихла.

— Вставай! Ну вставай же!..— Глубокий, мощный голос впервые дрогнул испугом.— Надо бежать, дитя мое!..

«Дитя мое»! Эти слова непроизвольно вырвались из сердца Старейшего, и вмиг Бемби встал на ноги.

— Вот так! — кивнул Старейший, тяжело дыша.— Сейчас ты пойдешь со мной... Теперь ты всегда будешь со мной!..

Он быстро зашагал вперед. Бемби побрел за ним, но его томило желание опуститься на землю, смежить веки и потерять себя в не ведающем боли забытьи.

Старый олень догадывался о том, что́ происходит с Бемби.

— Сейчас ты должен стерпеть любую боль. Ты не смеешь думать о покое... Думай только о спасении, только о спасении и ни о чем больше... Ты слышишь меня, Бемби? Беги... иначе ты погиб... Думай о том, что Он идет по твоим следам и убьет тебя без сожаления. Ну, прибавь шагу... Так... хорошо... Вперед, дитя мое, вперед!

Но Бемби уже ни о чем не думал. Каждый шаг причинял ему невыносимую муку, казалось, все его тело стало сплошной кровоточащей раной.

Старейший описывал широкий круг. Это длилось бесконечно долго. Сквозь пелену боли и слабости Бемби с удивлением обнаружил, что они вновь оказались у старого дуба. Тут Старейший остановился, обнюхал землю и прошептал:

— Где-то здесь... поблизости... Он и Его собака... Вперед, быстрее!..

Они побежали.

Внезапно старый олень остановился.

— Ты видишь? — воскликнул он.— Вот тут ты лежал.

Бемби увидел примятую траву и широкую лужу крови. Густая, темная кровь медленно впитывалась в землю.

— Чуешь? — Ноздри старого оленя трепетали.— Чуешь, Бемби? Они уже побывали на этом месте... Он и Его собака. Вперед!..

Они двинулись дальше. Бемби увидел кровавые капли на листьях кустов и стеблях трав. «Мы уже проходили тут...» — хотел он сказать и не мог.

— Ну вот...— с глубоким удовлетворением проговорил наконец Старейший.— Сейчас мы зашли им в спину.

Еще некоторое время вел он Бемби по прежнему следу, затем сделал петлю и принялся описывать новый круг. Бемби следовал за ним в полузабытьи.

Вторично, но уже с другой стороны вышли они к дубу, вторично прошли место, где Бемби упал, затем Старейший вновь круто изменил направление.

— Ешь вот это! — Старейший остановился и указал Бемби на крохотные темно-зеленые жирные и курчавые листочки, росшие у самой земли.

Бемби повиновался. Вкус листочков был горек и невообразимо противен.

Через некоторое время Старейший спросил:

— Ну, как теперь?

— Лучше,— ответил Бемби.

К нему внезапно вернулся дар речи, сознание прояснилось, и усталость как рукой сняло.

— Теперь ты пойдешь впереди,— приказал Старейший.

Долго шел он позади Бемби, пока не остановил его вдруг радостным возгласом:

— Наконец-то!

Бемби недоуменно оглянулся.

— Твои раны больше не кровоточат. Кровь перестала капать на кусты и травы и уже не указывает Ему и Его собаке дорогу к твоей жизни!

Старый олень казался усталым, измученным, но голос его вновь был полон бодрой силы.

— Идем же,— сказал он,— теперь тебе нужен покой.

Они подошли к широкому рву. Старейший спустился вниз, затем в несколько могучих прыжков одолел крутой подъем. Бемби последовал за ним, но ему никак не удавалось взобраться на другую сторону.

Боль снова проснулась в нем, он спотыкался, падал, вставал, карабкался дальше и вновь оскользал назад.

— Я ничем не могу помочь тебе,— говорил сверху Старей-

ший,— но ты должен — слышишь меня, Бемби? — должен взобраться сюда.

И мучительным, неистовым усилием Бемби одолел кручу. Он чувствовал, как стремительно истаивает в нем сила, тяжелый жар боли подкатил к самому сердцу.

— Твоя рана опять кровоточит, хотя и не так сильно,— сказал Старейший.— Я этого ждал. Но сейчас это не причинит нам вреда...

Медленно, шаг за шагом, продвигались они сквозь высокий, чуть не до неба, кустарник. Почва была твердой и гладкой. Ноги разъезжались, идти становилось все труднее. Бемби снова захотелось лечь на землю, закрыть глаза и ни о чем не думать. У него начиналась лихорадка, голова раскалывалась, темная пелена застилала зрение. И ничего не осталось в нем, кроме желания отдыха и покоя да еще равнодушного удивления перед тем, как внезапно, в один миг, изменилась его жизнь. Неужели был он когда-то здоровым и бодрым?.. Да, был... еще сегодня утром... совсем недавно... Но казалось, что это счастье было пережито в какие-то неправдоподобно далекие времена...

И все же он шел. Позади остался дубняк, молодой ольшаник, и вот громадный потрескавшийся ствол бука в густотище боярышника преградил им путь.

— Мы пришли...— как сквозь сон, где-то в стороне от себя услышал Бемби голос Старейшего.

Слепой от боли и усталости, он двинулся на голос и вдруг провалился в какую-то яму.

— Вот так! — спокойно сказал Старейший.— Теперь продвинься немного вперед и ложись.

Яма, в которую упал Бемби, уходила под ствол бука, там она углублялась и расширялась наподобие пещеры. Боярышник и дрок сомкнулись над ее входом, укрыв Бемби от всего света.

— Здесь ты будешь в безопасности,— донесся сверху голос старого оленя.

Шли дни.

Бемби лежал в теплом лоне земли, над головой — гнилая кора поверженного дерева. Он прислушивался к своей боли, которая вначале все росла и ширилась в его теле, затем словно сжалась, стянулась в малый очажок, все еще оставаясь острой, и вдруг начала быстро, день ото дня, слабеть, утихать.

Изредка Бемби выбирался наружу. Вначале он мог только стоять на своих ослабевших ногах, но вскоре отважился сделать два-три шатких, неверных шага. Теперь он мог добывать себе пищу.

Бемби выбирал такие травы, на которые никогда бы не поль-

стился прежде, даже в зимнюю бескормицу. Но сейчас они манили, притягивали его своим ароматом редкой, влекущей остроты. То, чем он прежде брезговал, что выплевывал обратно, случайно прихватив вместе с хорошей, сладкой травой, казалось теперь удивительно вкусным, пряным яством. Некоторые стебли и травы и сейчас были противны ему по вкусу, но он заставлял себя есть их, чувствуя их целебную силу. И раны его быстро затягивались.

Бемби был почти здоров, но все еще не покидал яму. Лишь ночью выходил он немного размяться, а день проводил в своей надежной земляной постели.

Только сейчас, когда боль отпустила его, Бемби впервые осознал, как бы наново пережил все, что произошло с ним, и великий ужас потряс его душу.

Он выздоровел телом, но еще долго не мог вернуть себе свою прежнюю, несмятенную душу и потому не решался выйти в большой мир, зажить прежней вольной жизнью.

Дни, недели лежал он в яме под стволом поверженного бука, испытывая то страх, то стыд, то удивление, то глубокую благодарность к своему спасителю, и был порой то безнадежно грустен, то почти счастлив.

Вначале Старейший не покидал Бемби ни днем, ни ночью. Потом он стал ненадолго отлучаться, считая, что Бемби полезно одинокое раздумье. Но и тогда он держался поблизости от пещеры.

Однажды вечером разразился ливень с громом и молниями. А небо, озаренное лучами заходящего солнца, оставалось прозрачным, чистым, голубым. На верхушках деревьев вовсю заливались черные дрозды, били зяблики. В кустах свистели синицы, в траве у подножий деревьев фазаны рвали глотку металлическими короткими воплями, дятел звеняще подхохатывал, и задушевно ворковали голуби в своем неизменном любовном согласии.

Бемби покинул пещеру. Жизнь была прекрасна. Неподалеку, словно поджидая его, стоял старый олень, и они тихо пошли рядом.

В одну из ночей, напоенную шорохом осенних листьев, на верхушке ясеня пронзительно закричал сыч. Затем он немного выждал и закричал снова.

Но Бемби давно заметил его сквозь поредевший убор ветвей и остался спокоен. Сыч слетел вниз и закричал еще пронзительней. И снова подождал. Но Бемби и на этот раз не оценил его стараний. Больше сыч не мог выдержать.

— Вы не испугались? — спросил он недовольно.

— Нет, почему же,— мягко ответил Бемби,— немножко испугался.

— Так, так,— огорченно проворчал сыч.— Всего лишь не-

множко? А раньше вы ужасно пугались. Было поистине наслаждением смотреть, как вы пугались. Отчего же все-таки вы сегодня так мало испугались?..— И он сердито передразнил: — «Немножко»! «Немножко»!..

Сыч состарился и стал еще тщеславнее, чем прежде.

Бемби хотелось ответить: «Я и прежде никогда не пугался, просто я лгал, чтобы доставить вам удовольствие». Но он сохранил это признание про себя. Ему было жалко доброго старого сыча, который сидел на своей ветке такой сердитый и огорченный.

— Видите ли,— снова солгал Бемби,— это случилось, наверно, потому, что в ту минуту я как раз думал о вас.

— Что? — Сыч немного приободрился.— Что? Вы думали обо мне?

— Да,— ответил Бемби.— Как раз когда вы закричали. Иначе я, без сомнения, испугался бы так же сильно, как и всегда.

— В самом деле? — проворковал сыч.

Бемби готов был подтвердить все что угодно, ведь ему не было от этого никакого вреда: пусть порадуется старина сыч.

— В самом деле! — сказал он убежденно.— У меня всякий раз подгибаются ноги, когда я слышу ваш ни с чем не сравнимый голос.

Сыч раздул перья и превратился в мягкий коричнево-серый пушистый шарик. Он был счастлив.

— Это очень мило, что вы думали обо мне... очень мило...— проворковал он нежно.— Давненько мы с вами не виделись.

— Очень давно,— сказал Бемби.

— Вы больше не ходите старыми дорогами? — поинтересовался сыч.

— Нет,— медленно ответил Бемби,— старыми дорогами я больше не хожу.

— Я тоже теперь шире охватываю мир,— величественно сказал сыч, умолчав о том, что его просто-напросто согнал со старого места бесцеремонный юнец.— Нельзя же все время оставаться на одном месте,— добавил он и стал ждать ответа.

Но Бемби уже ушел. Он научился удивительному искусству старого оленя исчезать внезапно и бесшумно.

— Это бессовестно! — вознегодовал сыч.

Он встряхнулся, погрузил клюв в грудные перышки и принялся философствовать сам с собой:

— Верь после этого дружбе знатных господ!.. Даже когда они так любезны... в один прекрасный день они теряют всякую совесть, и тогда ты чувствуешь себя столь же глупо, как вот я сейчас...

Внезапно он камнем упал вниз. Он высмотрел мышь, и вот она уже попискивает у него в когтях. Вымещая свою злобу, сыч

безжалостно разорвал ее и, хоть не был голоден, быстро, жадно поклевал маленькие кусочки. Затем он полетел прочь.

«Какое мне, в конце концов, дело до Бемби? — думал он.— Какое мне дело до всей этой достойной компании? Они нисколько мне не нужны!»

И он принялся кричать, беспрерывно и так пронзительно, что спавшая на дереве чета витютней в испуге проснулась и взлетела, громко треща крыльями.

Много дней кряду свирепствовал холодный осенний ветер. Он начисто ободрал деревья, не оставив ни одного листочка на черных влажных ветвях. Лес стоял сквозной и прозрачный.

На утреннем знойком рассвете Бемби направился к оврагу, где отдыхал обычно вместе со Старейшим на ворохе опавшей листвы. Кто-то окликнул его тоненьким голоском. Бемби остановился. Словно молния, мелькнула в головокружительном прыжке с верхушки дерева белочка и вмиг оказалась на земле.

— Так это действительно вы? — проговорила она с благоговейным изумлением.— Я узнала вас, едва вы показались, но я не могла поверить, что это вы.

— Как вы сюда попали? — спросил Бемби.

Маленькая задорная мордочка, только что глядевшая на него так весело, стала печальной.

— Нет больше нашего дуба!..— запричитала белочка.— Нашего прекрасного старого дуба... О, это было ужасно! Он опрокинул наше дорогое дерево.

Бемби понурил голову. Ему от души было жаль чудесный старый дуб.

— Это произошло так неожиданно,— рассказывала белочка.— Правда, все мы, жившие на дубе, успели удрать и смотрели издалека, как Он перекусил наш дуб гигантским сверкающим зубом. Дерево страшно кричало из своей открытой раны, и зуб кричал, просто невыносимо было слушать. А затем бедное прекрасное дерево рухнуло на поляну. Все мы так плакали!..

Бемби молчал.

— Да,— вздохнула белочка,— для Него нет невозможного. Он всемогущ.

Она посмотрела на Бемби большими глазами и навострила ушки, но Бемби молчал.

— Вот мы и остались бесприютными,— продолжала белочка.— Не знаю, куда разбрелись остальные, я же пришла сюда... Но разве найдешь другое такое дерево!..

— Старый дуб...— задумчиво проговорил Бемби.— Старый знакомец далекой, невозвратной поры...

— Значит, это действительно вы! — Белочка была очень

довольна.— А все думают, что вас давно нет на свете. Правда, иногда проходит слух, что вы живы... Порой рассказывают, будто вас кто-то видел. Но этим слухам не очень-то верят.— Белочка пытливо посмотрела на Бемби.— Это же так понятно, раз вы не вернулись к своим...

Нетрудно было заметить, с каким нетерпением ждала она ответа Бемби. Но Бемби молчал. В нем самом шевельнулось слабое, боязливое любопытство. Ему хотелось спросить о Фалине, о тете Энне, о Ронно и Карусе, обо всех спутниках своей далекой юности. Но он молчал.

Белочка все еще сидела, поглядывая на Бемби.

— Какая у вас удивительная корона! — изумленно произнесла она.— Чудо-корона! Ни у кого в целом лесу, кроме Старейшего, нет подобной короны!

В прежние времена такая похвала порадовала бы Бемби, но сейчас он только сказал:

— Вот как? Возможно.

Белочка прижала к груди передние лапки.

— Что я вижу! — воскликнула она.— Вы начинаете седеть!

Бемби ничего не ответил и двинулся своей дорогой. Белочка поняла, что разговор окончен.

— Доброе утро! — крикнула она вдогон Бемби.— Будьте здоровы! Вы меня так порадовали! Если я встречу наших общих знакомых, я расскажу им, что вы живы. Все будут очень рады!..

Бемби слышал ее слова, и что-то вновь шевельнулось в его сердце. Но он и тут ничего не сказал. Умению быть одному учил его Старейший, когда Бемби был еще ребенком. Как-то раз, когда он горестно призывал свою мать, приблизился к нему старый олень и сказал: «Ты что же, не можешь быть один? Стыдись!»

Бемби шел дальше...

Снега вновь укутали землю, и сонно затих лес под толстым белым покровом. Редко-редко слышался вороний карк, озабоченный таратор сороки, слабый, боязливый чирк синиц. Затем круто завернул мороз, и все умолкло, лишь звенел от стужи воздух.

Однажды утром тишину распорол собачий лай.

Непрерывный, торопливый, взахлеб, лай быстро катился по лесу, звонкий, трескучий, сводящий с ума своей злобной настырностью.

В пещерке, перекрытой поверженным буком, Бемби чутко поднял голову и взглянул на лежащего подле Старейшего.

— Это нас не касается,— сказал тот.

Тихо лежали они в своей пещерке, прикрытой надежным буковым стволом. Высокие навалы снега защищали их от студеного сквозняка, густо сплетенные ветки кустарника, словно частая решетка, скрывали от чужих острых глаз.

Лай все приближался, злой, задышливый, разгоряченный,— наверно, это была маленькая собака.

Вскоре они услышали сквозь лай чью-то тихую, болезненную ворчбу.

Бемби забеспокоился, но Старейший снова сказал:

— Это нас не касается.

Они продолжали лежать, только чуть подвинулись к выходу. Теперь им стало видно, что́ происходит снаружи.

Хрустел валежник, с ветвей, задетых чьим-то невидимым бегом, опадал снег, и вот уже можно разглядеть бегущих.

Через сугробы и кусты, через пни и толстые корни прыгала, ползла, продиралась старая лиса. А по пятам за ней гналась собака — невзрачный лохматый пес на коротких лапах.

У лисы была перебита передняя нога, на лопатке вырван мех. Она держала перебитую лапу на весу, перед собой, кровь хлестала из раны на груди. Лиса была вне себя от страха и злобы, от усталости и безнадежности. В какой-то миг она резко повернулась, ощерив зубы. Этот неожиданный маневр противника испугал собаку, она отскочила на несколько шагов. Лиса уселась на задние лапы, дальше бежать у нее не было сил. Лязгая зубами, она яростно зашипела на собаку, та ответила новым приступом бешеного лая.

— Вот! Вот! Вот она! — надрывалась собака.— Вот! Вот! Вот она!

Крик ее явно предназначался не лисе, а кому-то другому, кто был еще далеко отсюда.

И Бемби и Старейший понимали, что собака призывает Его. Знала это и лиса. Кровь лилась из нее потоком. Лиса слабела на глазах, ее разбитая лапа бессильно опустилась, прикосновение к холодному снегу причиняло лисе жгучую боль. С трудом приподняла она дрожащую лапу и вытянула ее перед собой.

— Пощади меня...— взмолилась лиса.— Пощади меня!..

— Нет! Нет! Нет! — заладила собака с злобным хрипом.

— Прошу тебя,— смиренно и униженно просила лиса.— Я больше не могу... мне приходит конец... Дай мне уйти, дай мне хоть умереть спокойно.

— Нет! Нет! Нет! Нет! — заходилась собака.

— Ведь мы же родня с тобой...— молила лиса.— Почти сестры... отпусти меня... позволь мне умереть среди своих... ведь мы же почти сестры... ты и я...

— Нет! Нет! Нет! Нет! — упорствовала собака.

Последним усилием лиса выпрямилась, ее красивые острые усы горестно отвисли, но глаза открыто и прямо глянули на противника и совсем иным, спокойным, печальным голосом лиса сказала:

— И тебе не стыдно? Предательница!..

— Нет! Нет! Нет! Нет! — надсаживалась собака.

— Ты перебежчица!.. Ты отступница!..— с горечью говорила лиса; ее израненное тело напряглось силой ненависти и презрения.— Ищейка!.. Подлая ищейка!.. Ты выслеживаешь нас там, где даже Он не смог бы найти нас... Ты преследуешь нас там, куда даже Ему не добраться... Ты губишь нас, твоих родичей, меня, твою сестру... И ты не знаешь никакого стыда!..

И сразу вокруг забурлили голоса.

— Предательница! — кричали сороки с верхушек деревьев.

— Отступница! — шипел хорек.

— Перебежчица! — хрипела сойка.

— Ищейка! — просвиристела ласка.

Со всех деревьев, из всех кустов шипели, свистели, пищали, хрипели, а высоко в небе закаркали вороны:

— Кар-караул!.. Среди нас предатель!..

Все спешили сюда, покидая верхушки деревьев, норки, земляные укрытия, чтобы внести свою гневную лепту в этот спор. Возмущение, прорвавшееся в лисе, пробудило и в других старые обиды, годами скопленную горечь и ненависть, а вид крови, пятнающей белизну снега, пьянил, убивая привычный страх.

Собака злобно огляделась.

— Вы! — крикнула она.— Чего вы хотите? Что вы знаете? О чем говорите? Всё, всё принадлежит Ему! Я тоже принадлежу Ему. И я люблю Его, я молюсь на Него, я служу Ему! Вы что же, хотите восстать против Него, всесильного, вы — убогие! Знайте же, Он царит над всем и над всеми! Все, что есть у вас,— от Него! Все, что растет и дышит,— от Него! — Собака тряслась от возбуждения.

— Предательница!..— прошипела лиса.— Гадина!

И тут собака вцепилась ей в глотку. Рыча, сопя, хрипя, катались они по снегу — мохнатый пестрый, дико кружащийся ком. Вокруг летали клочья шерсти, взвихренный снег, брызги крови. Но через несколько мгновений ком распался — лиса так и осталась лежать на взрыхленном снегу. Вот она дернулась, вытянулась и умерла.

Собака для верности тряхнула ее еще раз, другой и бросила. Широко расставив короткие лапы, она закричала торжествующим голосом:

— Вот! Вот! Вот она здесь!..

Свидетели битвы в ужасе кинулись врассыпную.

— Мне страшно...— тихо сказал Бемби.

— Страшно ее убийство,— отозвался Старейший.— Страшна их вера в то, что говорила собака. Они верят в Его всемогущество и проводят свою жизнь в вечном страхе. Они ненавидят Его, презирают себя... и безропотно принимают гибель от Его руки!..

...Холода внезапно кончились, в зиме словно наступил перерыв. Земля жадными глотками пила подтаявший снег и вскоре покрылась темными плешинами. Черные дрозды, правда, еще не пели, но, поднимаясь с земли, где отыскивали червяков, или перелетая с дерева на дерево, они издавали долгие, радостные ноты, под стать весеннему пению. Послышался и хохоток дятла, разговорчивее стали вороны и сороки, безумолчно болтали между собой синицы, а фазаны, слетая с деревьев, на которых они зимовали, подолгу, как в добрую летнюю пору, оставались на земле, чтобы почистить перышки и приветствовать восход солнца металлическими надсадными воплями.

Однажды Бемби забрел дальше чем обычно и на утреннем рассвете добрался до пади оврага. На той стороне, где он некогда жил, мелькала чья-то красная шубка. Схоронившись в чапыжнике, Бемби стал наблюдать. Да, там действительно расхаживал кто-то из его племени и, выискивая свободные от снега местечки, лакомился молодой, едва пробившейся травкой.

Бемби хотел уже повернуть назад, как вдруг узнал Фалину. Первым его движением было броситься к ней, но он остался стоять, словно ноги его приросли к земле. Сердце его горячо билось. Он так давно не видел Фалину! Поступь ее была медленной, затрудненной, то ли от усталости, то ли от печали. Она стала очень похожа на свою мать. Точь-в-точь тетя Энна, с грустным удивлением отметил Бемби. Фалина подняла голову и поискала глазами, будто почувствовав его близость...

Снова Бемби неудержимо потянуло к ней, но он и на этот раз остался недвижным. Бедная Фалина, как поседела и постарела она! «Веселая, дерзкая маленькая Фалина,— думал он,— какой красивой, ловкой и беспечной была ты когда-то!» Вся его юность трепетно всколыхнулась в нем. Он вспомнил поляну, дороги, которыми водила его мать, веселые игры с Гобо и Фалиной, славного кузнечика, изящного мотылька, битвы с Карусом и Ронно, в которых он завоевал Фалину...

А там, вдалеке, медленно, устало и печально, опустив голову, удалялась Фалина. Бемби любил ее в эту минуту так, как никогда не любил ее молодой. Он любил ее последней, нежной, грустной и безнадежной любовью. Ему хотелось перескочить через ров, так долго отделявший его от Фалины и от других близких, хотелось догнать ее и говорить с ней о вместе проведенной юности, обо всем дорогом и милом, что было у них в жизни. Но он не двигался с места, и вот уже Фалина скрылась в голом, черном кустарнике...

Долго стоял Бемби на краю оврага, неотрывно глядя вдаль.

И вдруг ударил гром.

Бемби весь подобрался. Гром прогремел по эту сторону оврага, не очень близко, но и не очень далеко. Затем еще и еще.

В несколько скачков Бемби достиг чащи и прислушался. Тишина. Тогда он осторожно двинулся к дому. Старейший поджидал его возле ствола поверженного бука.

— Ты слышал? — спросил Старейший.

— Да,— ответил Бемби,— трижды гремел гром. Он в лесу.

— Он в лесу,— с каким-то странным выражением повторил Старейший.— И мы должны идти...

— Куда?..— вырвалось у Бемби. Он не представлял себе лучшего укрытия, чем глубокая пещера под стволом поверженного бука.

— Туда,— сказал Старейший тяжелым голосом.— Туда, где находится Он.

Бемби вздрогнул.

— Не бойся,— продолжал старик,— сейчас ты можешь идти к Нему без опаски. Я рад, что могу повести тебя туда, прежде...— Голос его будто споткнулся, но он овладел собой и твердо закончил: — Прежде чем мы расстанемся навсегда.

И тут Бемби словно впервые увидел, как одряхлел Старейший. Голова его стала белее снега, лицо исхудало, в прекрасных больших глазах погас глубокий блеск, они приобрели усталый, зеленоватый оттенок.

Они отошли совсем недалеко от своего убежища, когда в ноздри им ударил знакомый едкий запах — вечная угроза, вечный ужас.

Бемби остановился, но Старейший шел дальше, навстречу запаху, и Бемби нерешительно последовал за ним.

Все более тяжкими волнами набегал этот возбуждающий, раздражающий запах. Он заглушил уже все остальные запахи леса, он закладывал нос и глотку, так что нельзя было продохнуть. Необоримый позыв к бегству засосал под сердцем у Бемби, голова затуманилась, все жилы напряглись, и, не надеясь на себя, Бемби теснее прижался к старому вожаку. Но тот безостановочно шел вперед.

— Здесь! — сказал Старейший и отступил в сторону.

В поломанном кустарнике, на взрыхленном снегу, навзничь простерся Он. Страх, перед которым меркли все иные когда-либо испытанные страхи, охватил Бемби. Давно подавляемое стремление к бегству рванулось наружу стремительным скачком.

— Стой! — услышал он грозный оклик, оглянулся и увидел, что Старейший спокойно стоит подле Него, по-прежнему простертого на земле.

Вне себя от изумления, Бемби замер, затем, охваченный безграничным любопытством и ожиданием чего-то необыкновенного, медленно приблизился к Старейшему.

Он лежал, обратив к небу бледное голое лицо, Его шляпа ва-

лялась поодаль на снегу, и Бемби, не имевший понятия о том, что такое шляпа, решил, что Его страшная голова раскололась надвое.

На обнаженной шее браконьера зияла рана, напоминавшая маленький красный рот. Кровь еще стекала из раны в земную жижу подтаявшего снега.

— Вот мы стоим здесь,— тихо сказал Старейший,— стоим рядом с Ним... Где же его хваленое всемогущество?

Бемби смотрел на лежавшего, чей стан, чьи члены, чья кожа казались ему загадочными и неуязвимыми, смотрел на Его потухшие глаза и не понимал ничего.

— Бемби,— сказал Старейший,— помнишь ли ты, что говорил о Нем Гобо, что говорила собака и чему слепо верят все обитатели леса?.. Помнишь ли ты?

— Да...— чуть слышно прошептал Бемби.

— Теперь ты видишь, Бемби,— продолжал Старейший,— видишь собственными глазами, что Он вовсе не всемогущ, как утверждают лесные братья. Он такой же, как и все мы. Он знает и страх, и нужду, и страдание, и смерть. Грозный и неустрашимый, идет Он против нас, и Он же, бездыханный, лежит на земле... Так почему же трепещут все перед Ним? У Него нет таких сильных ног, как у нас, у Него нет ни крыльев сокола, ни ловкости ласки, ни зубов лисицы, и все же Он стал самым сильным из всех. Ибо Он — великий борец! Мы, олени, никого не убиваем, но мы должны сравняться с Ним в силе и упорстве жизни. Мы должны жить, сколько бы ни насылал Он на нас смерть. Мы должны множить, охранять, длить наш кроткий и упрямый род, должны защищать свою жизнь и жизнь своих близких, помогать друг другу и лесным братьям нашим против Него. Мы должны быть чуткими, бдительными, осторожными, ловкими, находчивыми, неуловимыми, но никогда — трусливыми. Таков великий закон жизни. Понял ли ты меня, дитя мое?..

— Да,— тихо ответил Бемби.— Закон жизни — это борьба.

Старейший наклонил седую голову, и взгляд его в последний раз сверкнул былым темным огнем.

— Тогда я покину тебя со спокойной душой...

Медленно побрели они вспять. У высокого ясеня старый вождь остановился.

— Не ходи за мной дальше, Бемби,— сказал он спокойно и властно.— Мои дни сочтены, мне осталось лишь подыскать место, где я встречу свой конец.

— Позволь мне...— дрогнувшим голосом начал Бемби.

Но Старейший прервал его.

— Нет,— сказал он твердо,— здесь мы расстанемся. Каждый должен в одиночестве встречать свой последний час. Прощай, мой сын... я очень любил тебя.

...Этот летний день родился прямо с рассветом, не было ни утренних сумерек, ни утренней прохлады, ни тихого ветерка. Казалось, солнце поторопилось с восходом; едва погасли ночные светила, оно разожгло свой гигантский костер, жарким пламенем охвативший все небо.

Туман, устилавший поляну и запутавшийся в ветвях кустарников, испарился в единый миг, земля лежала сухая, пыля из трещин золотистым прахом. Но в лесу по раннему часу еще царила тишина. Лишь слышался хохоток дятла да неумолчно ворковали неутомимые в нежности голуби.

Бемби стоял на маленькой укрытой лужайке, выкроившей себе местечко в непроходимой, глухой чаще. Над его головой в луче солнца плясал и кружился комариный рой.

Тихое жужжание донеслось из листвы орешника, приблизилось, и рядом с Бемби пролетел большой майский жук. Пронизав комариный рой, он поднимался все выше и выше, к маковкам деревьев, где он привык отсыпаться до самого вечера. Его роговицы остренько торчали, его крылышки звенели. Раздавшийся комариный рой вновь сомкнулся за ним. Но еще некоторое время в перехвате солнечного луча сверкало его золотисто-коричневое тельце, опутанное стеклянным сверком крылышек.

Проводив взглядом майского жука, Бемби двинулся дальше.

— Вы знаете, кто это? — взволнованно гудели комары, роясь почти над самой его короной.

— Это Старейший,— говорили одни.

А другие добавляли:

— Все его родичи давно умерли, а он все живет и живет.

— Сколько же ему лет? — полюбопытствовал крошечный комарик.

— Это трудно сказать,— ответил взрослый комар.— Олени живут долго, чуть ли не целый век. Возможно, они тридцать, сорок раз видят солнце... Наша жизнь тоже длится немало, но мы видим день лишь однажды или дважды.

— А этот старик? — спросил комарик.

— Он пережил всех своих. Вероятно, он стар, как мир... Он столько видел, столько испытал, что это невозможно представить себе.

«Комариные песни,— подумал Бемби,— комариные сказки».

Нежный, боязливый клич достиг его уха.

Бемби прислушался и пошел напролом сквозь густую заросль, совсем тихо, совсем беззвучно,— это давно уже стало его привычкой.

Снова прозвучал зов, настойчивый, жалостный, в два голоса, и эти голоса напомнили Бемби его былой, детский голос.

— Мама!.. Мама!..

На прогалинке, тесно прижавшись друг к дружке, стояли

два малыша в красных шубках, брат и сестра, покинутые и унылые.

— Мама!.. Мама!..

Еще не замер их горестный крик, когда перед ними предстал Бемби.

Робко уставились малыши на пришельца.

— У матери нет сейчас времени для вас,— строго сказал Бемби. Он заглянул в глаза маленькому: — Ты что же, не можешь быть один? Стыдись!

Малыш и его сестренка испуганно молчали.

Бемби повернулся и исчез в зарослях орешника.

«Малыш нравится мне,— думал он с нежностью, бесшумно скользя сквозь рослые травы, кустарник и бурелом.— Мы еще встретимся с ним, когда он подрастет... И маленькая тоже очень мила. Она похожа на Фалину, когда та была девочкой...»

Он шел все дальше и дальше, и сумеречная глубина леса поглотила его.

Комментарии

Творческое наследие *Джека Лондона* (1876—1916) очень обширно. Писатель создал около пятидесяти книг: романы, сборники рассказов, документальные и репортажные произведения, дневники плавания на яхте «Снарк» по Тихому океану, публицистика. Помимо повести «Белый Клык» (1906), Лондоном написано еще три книги о собаках: повесть «Зов предков» (1903) и дилогия «Джерри-островитянин» и «Майкл, брат Джерри» (опубликована посмертно, в 1916 и 1917 годах).

Северные рассказы Лондона переводились на русский язык еще в самом начале XX века, а затем почти одновременно с американскими изданиями стали выходить и русские переводы других книг Лондона. Он всегда пользовался в России огромной популярностью. О Лондоне тепло отзывались М. Горький, Л. Андреев, А. Куприн и другие крупные русские писатели, его современники.

Существует пять собраний сочинений Лондоиа на русском языке (последнее — в десяти томах — вышло в 1978 году). По количеству изданий Джек Лондон занимает в СССР одно из первых мест среди переводных авторов.

Книги *Эрнеста Сетона-Томпсона* (1860—1946) начали переводить в России почти одновременно с произведениями Джека Лондона. Уже в 1910 году в Москве вышло собрание сочинений канадского писателя в десяти томах. Его рассказы о животных издавались отдельными сборниками десятки раз (новейшее издание — в 1980 году). Сетон-Томпсон писал художественную прозу и научно-популярные книги по зоологии («Жизнь лугового тетерева», 1883; «Биография гризли», 1900; «Биография серебристой лисицы», 1909). Главным своим трудом он считал восьмитомную научную работу «Жизнь диких зверей» (1925—1927), и сегодня сохраняющую значение для биологической науки.

Сетон-Томпсон увлекался также фольклором коренных жителей Канады — индейцев и эскимосов, собирал их предания, песни и сказки, составил несколько антологий. Он сам иллюстрировал свои книги.

Переводы Н. К. Чуковского, публикуемые в этом томе, были сделаны в 20-е и 30-е годы и тогда же впервые напечатаны в многочисленных сборниках рассказов Сетона-Томпсона.

Феликс Зальтен (настоящее имя — Зигмунд Зальцман, 1869—1945) родился в Будапеште, но почти всю жизнь прожил в Вене, которую был вынужден покинуть после захвата Австрии фашистами в 1934 году. Зальтен был активным

участником кружка литераторов, сложившегося в начале XX века вокруг журнала «Современная поэзия», и много лет вел постоянную рубрику в газете «Свободный театр». Он автор известной в свое время антивоенной драмы «Рядовой» (1899) и нескольких произведений в прозе, показывающих нравственный упадок буржуазного общества.

О животных Зальтен начал писать лишь в 20-е годы, создав ряд книг, которые широко известны в странах немецкого языка и за их пределами: роман «Флорентийская собака» (1921), повести-сказки «Судьбы пятнадцати зайцев» (1929), «Хорошее общество» (1930), «Флориан — лошадь императора» (1933). Лучшая повесть Зальтена «Бемби» опубликована в 1923 году и переведена на многие языки (на английский ее перевел Джон Голсуорси).

В 1940 году вышло продолжение этой повести — «Дети Бемби». Еще через два года знаменитый американский режиссер Уолт Дисней снял по «Бемби» мультипликационный фильм, обошедший экраны всего мира.

Пересказ Ю. М. Нагибина впервые опубликован в 1957 году.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Зверев. Большой материк естественной жизни . . . 3

Джек Лондон

Перевод с английского

Белый Клык. Повесть. *Перевод Н. Волжиной* 19

Рассказы

Любовь к жизни. *Перевод Н. Дарузес* 167
Через стремнины к Клондайку. *Перевод В. Быкова* 182
Белое Безмолвие. *Перевод А. Елеонской* 186
Костер. *Перевод В. Топер* 194
Конец сказки. *Перевод Н. Аверьяновой* 207
Сказание о Кише. *Перевод Н. Георгиевской* 226
На берегах Сакраменто. *Перевод М. Богословской* 233
Приключение в воздушном океане. *Перевод Н. Галь* . . . 241
Отступник. *Перевод З. Александровой* 245
Прямой рейс. *Перевод В. Быкова* 260
Под палубным тентом. *Перевод И. Гуровой* 262
Мексиканец. *Перевод Н. Ман* 268

Э. Сетон-Томпсон

Перевод с английского Николая Чуковского

Рассказы о животных 291

Ф. Зальтен

Пересказ с немецкого Юрия Нагибина

Бемби. Лесная сказка 555

Комментарии 651

Составитель тома
К. А. Федорова

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Том 48)

Джек Лондон

БЕЛЫЙ КЛЫК

Повесть

РАССКАЗЫ

*

Э. Сетон-Томпсон

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

*

Ф. Зальтен

БЕМБИ

Лесная сказка

ИБ № 5154

Ответственный редактор
Н. В. Шерешевская
Художественный редактор
И. Г. Найденова
Технический редактор
Л. П. Костикова
Корректоры
Э. Л. Лофенфельд и Г. В. Русакова

Сдано в набор 09.11.81. Подписано к печати 29.03.82. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академич. Печать высокая. Усл. печ. л. 42,13. Усл. кр.-отт. 44,88. Уч.-изд. л. 43,29+ +9 вкл.=43,91. Тираж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ № 4658. Цена 2 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Лондон Д.

Л76 Белый Клык: Повесть; Рассказы/ Пер. с англ.; Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных/ Пер. с англ.; Зальтен Ф. Бемби: Лесная сказка/ Пересказ с нем.; Вступит. ст. и коммент. А. М. Зверева; Оформл. тома и илл. В. Е. Цигаля.— М.: Дет. лит., 1982.—654 с., ил., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 48).

В пер.: 2 руб.

В этот том входят: повесть «Белый Клык» и рассказы классика американской литературы Джека Лондона; «Рассказы о животных» классика канадской литературы Э. Сетона-Томпсона и сказочная повесть «Бемби» современного австрийского писателя Ф. Зальтена.

Л $\frac{4803020000—266}{М101(03)82}$ Подп. изд. Сб3

Scan Kreyder - 25.05.2016
STERLITAMAK

2 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»